

Избранные произведения. Том I. Джойс Джеймс

### ЭПИФАНИИ

Перед читателем – ряд авторских зарисовок, в дальнейшем имеющих развитие в более поздней прозе Джойса. Эти эпизоды не имеют чёткой формы, начала или конца, являясь по сути лишь черновиками идей, представляющих интерес не для широкого читателя, но для почитателей писателя, желающих прикоснуться к истокам творчества классика.

1 (1)

[Брэй: в гостиной дома на Мартелло-Террас]

МИСТЕР ВЭНС (входит с тростью):...Он, знаете ли, должен извиниться, миссис Джойс.

МИССИС ДЖОЙС: Должен, вы правы... Джим, ты слышишь?

МИСТЕР ВЭНС: А то прилетят коршуны, ему глаза расклюют.

МИССИС ДЖОЙС: Нет-нет, он конечно извинится, иначе ведь его в рай не возьмут....

ДЖОЙС (к самому себе, под столом):

Глаза расклюют,  
В рай не возьмут,  
В рай не возьмут,  
Глаза расклюют.

В рай не возьмут,  
Глаза расклюют,  
Глаза расклюют,  
В рай не возьмут.

2

Завтра занятий нет: субботний вечер, зима, я сижу у камина. Они скоро уже вернутся со всякой едой, мясо, овощи, чай и масло и хлеб, и белый пудинг, который ворчит в кастрюле... Сижу и читаю про Эльзас, переворачиваю желтые страницы, рассматриваю мужчин и женщин в странных нарядах. Мне нравится читать про их обычаи; кажется как будто я через них прикасаюсь к жизни страны как будто у меня общение с немецким народом. Драгоценнейшая иллюзия, друг моей юности!.. В него я вкладывал образ меня самого. Наши жизни остаются священны в их сокровенных симпатиях. Я с ним по ночам когда он читает книги философов или какую-нибудь повесть о старине. Я с ним когда он бродит один или с кем-то кого он никогда не видел, с той девушкой, что обвиняет его своими руками не знающими ничего дурного дарует свою простую и щедрую любовь, слыша душу его и ей отвечая он не ведает как.

3

Праздник окончен, последние расходящиеся по домам дети одеваются. Рейс последний. Гнедые облезлые лошадки знают это и потряхивают бубенчиками, в ясную

ночь посылая вразумление о том. Кондуктор разговаривает с водителем, и оба то и дело кивают головами в зеленом свете фонаря. Вокруг никого. Мы как будто прислушиваемся, я на верхней ступеньке, она на нижней. Пока мы разговариваем, она много раз поднимается на мою ступеньку и снова спускается на свою, а раз или два остается рядом со мной, забыв сойти вниз и сходит лишь погода... Пусть так, пусть так... Теперь она уж не задается передо мной своим платьем, нарядным пояском, длинными черными чулками, потому что теперь мы как будто знаем (мудрость детей) что такой конец нам больше понравится чем любой ради которого мы трудились.

4 (5)

[Дублин: на Маунтджой-сквер]

ДЖОЙС (подводит итог)... Значит это будет сорок тысяч фунтов.

ТЕТЯ ЛИЛИ (со смешком): Сусе!.. Я вот тоже была такая... Когда я была девочка я просто уверена была что выйду замуж за лорда... или в таком роде...

ДЖОЙС (в размышлении): Это она никак сравнивает себя со мной?

5

На верхнем этаже старого темнооконного дома: в узкой комнате отблески огня из камина: за окном сумерки. Старушка возится, готовит чай; говорит про изменения, про всякие странности у нее, и что священник сказал и что врач... Я слышу ее слова издали. Я брожу среди углей очага, по тропам приключений... Господи! А что это в тамбуре?... Череп – обезьяна; существо привлеченное к огню, к голосам: бессмысленное существо.

– Это Мэри-Элин?

– Нет, Элиза, это Джим...

– А... Добрый вечер, Джим...

– Тебе чего-то надо, Элиза?..

– Я думала, это Мэри-Элин... Я думала ты это Мэри-Элин, Джим...

6

Небольшое поле заросшее сорняками и чертополохом населено смутными фигурами, полулюди, полукозлы. Волоча длинные хвосты они передвигаются туда и сюда, угрожая. Лица у них с жидкими бороденками, заостренные, каучуково-серые. Тайный личный грех направляет их, собрав их сейчас, как бы в ответ, к постоянному злорадству. Один кутается в рваный фланелевый жилет, другой скульпт

без конца когда его бороденка застревает в колючках. Они движутся вокруг меня, окружают меня, тот старый грех делает их глаза острыми и жестокими, со свистящим звуком они медленно кружат по полю, ужасающие морды задраны кверху. Спасите!

7

Пора уходить – завтрак уже готов. Но прочитаю еще молитву... Есть хочется, но хочется и оставаться здесь в этой тихой часовне где месса началась и окончилась так тихо... Радуйся, Пресвятая Царица и Всемиловитая Мать, жизнь наша, наше тепло и надежда! Уповаю что завтра и потом всякий день я буду приносить в дар тебе благие дела ибо знаю что порадует тебя если буду делать так. А сейчас прощай... О, прекрасный свет солнца на улице и – О, свет солнца в сердце моем!

8

Небо покрыли серые облака. На развилке трех дорог у заболоченной полосы берега валяется большая собака. Время от времени она задирает морду и издает долгий печальный вой. Люди останавливаются на нее взглянуть и идут дальше, некоторые задерживаются привлеченные, быть может, этим плачем, в котором они слышат как будто эхо собственной своей скорби имевшей некогда голос но теперь безгласной, прислуживающей трудовым будням.

9 (12)

[Маллинггар: июльское воскресенье, полдень]

ТОБИН (звучно ступая в тяжелых башмаках и стуча по мостовой посохом): ...Чтоб парню остепениться, вернее женитьбы не придумаешь. Я пока сюда не попал в «Икземинаер», я и с друзьями погуливал и попивал... А теперь у меня дом хороший и... вечером уже ты идешь в свой дом... ну а захочешь выпить – что же, можешь и выпить... Совет мой каждому молодому парню, кто это может себе устроить, – женись молодым.

10 (13)

[Дублин: в «Оленьей голове» на Дэйм-лейн]

О'МЭХОНИ: А у вас есть там такой маленький священник что занимается поэзией, отец Рассел?

ДЖОЙС: Есть, есть... Я слышал, он писал стихи.

О'МЭХОНИ (с понимающей улыбкой): Вот-вот, стихи... Это самое для них правильное слово...

11 (14)

[Дублин: в доме Шихи на Бельведер-плейс]

ДЖОЙС: Я знал, что вы имеете в виду его. Только вы с возрастом ошиблись.

МЭГГИ ШИХИ (наклоняется вперед, чтобы говорить со всей серьезностью): Ну а сколько же ему?

ДЖОЙС: Семьдесят два.

МЭГГИ ШИХИ: Правда?

12 (16)

[Дублин: в доме Шихи на Бельведер-плейс]

О'РЕЙЛИ (становясь серьезным): Так, кажется, моя очередь... (со всей серьезностью)... Кто ваш любимый поэт?

(пауза)

ХАННА ШИХИ: ...Немецкий?

О'РЕЙЛИ: ...Да.

(молчание)

ХАННА ШИХИ: Я думаю... Гёте...

13 (19)

[Дублин: в доме Шихи на Бельведер-плейс]

Фоллон (проходя мимо): Мне сказали, чтобы я особо поздравил вас по случаю вашего выступления.

ДЖОЙС: Благодарю вас.

БЛЕЙК (после паузы): Я никому бы и никогда не посоветовал этого... Нет, это ужасная жизнь!..

ДЖОЙС: Ага.

БЛЕЙК (между двумя затяжками): Конечно... тут все отлично на вид... для тех, кто не

знает... Но если б вы знали... это просто ужасно. Огарок свечи, никакого... ужина, убогая... бедность. Вы просто не представляете себе...

14 (21)

[Дублин: в доме Шихи на Бельведер-плейс]

ДИК ШИХИ: Это как это ложь? Господин спикер, я должен попросить...

МИСТЕР ШИХИ: К порядку, к порядку!

Фоллон: Вы знаете, что это ложь!

МИСТЕР ШИХИ: Вам следует взять эти слова обратно, сэр.

ДИК ШИХИ: Как я уже говорил...

Фоллон: Нет, я их не возьму обратно.

МИСТЕР ШИХИ: Я призываю уважаемого депутата от Денби... К порядку, к порядку!..

15 (22)

[В Маллингаре: осенний вечер]

ХРОМОЙ НИЩИЙ (стискивая свою палку):...Так это вы мне вчера кричали вдогонку, вы.

ДВА МАЛЬЧУГАНА (уставившись на него): Нет, сэр.

ХРОМОЙ НИЩИЙ: Я знаю, это вы были... (махая угрожающе палкой)... Зарубите себе, что я вам говорю... Видите эту палку?

ДВА МАЛЬЧУГАНА: Да, сэр.

ХРОМОЙ НИЩИЙ: Так вот, если будете еще мне кричать, я вас этой палкой распотрошу. Я вам отобью все печенки... (разъясняет свои слова)... Слышали? Распотрошу вас. Отобью вам все нутро, все печенки.

16 (26)

Белый туман выпадает снежными хлопьями. Тропа меня выводит к полутемному пруду. В пруду что-то движется, какой-то полярный зверь с грубой рыжей шкурой. Я тыкаю своей тростью и когда он вылезает из воды, я вижу, что у него покатаая спина и что он очень неуклюж. Я не пугаюсь и, тыкая в него быстро тростью, гоню его впереди себя. Он тяжело переставляет лапы и бормочет слова на каком-то языке,

которого я не понимаю.

17 (28)

[Дублин: в доме Шихи на Бельведер-плейс]

ХАННА ШИХИ: Конечно, будут огромные толпы.

СКЕФФИНГТОН: Это, знаете ли, будет, как выразится наш друг Джокекс, триумф черни.

МЭГГИ ШИХИ (произносит с пафосом): Быть может, уже в этот миг чернь у наших дверей!

18 (30)

[Дублин, на Северной Кольцевой: Рождество]

МИСС О'КАЛЛАХАН (почти шепчет): Я же вам сказала название, «Сбежавшая монахиня».

ДИК ШИХИ (громко): О, я бы не стал читать подобную книгу... Я должен спросить у Джойса. Послушайте, Джойс, вам случалось читать «Сбежавшую монахиню»?

ДЖОЙС: По моим наблюдениям, в данное время происходит некоторый феномен.

ДИК ШИХИ: Какой феномен?

ДЖОЙС: О... появляются звезды.

ДИК ШИХИ (обращаясь к мисс О'Каллахан): Вам не случалось ли наблюдать, как... в данное время на кончике носа у Джойса появляются звезды?... (она улыбается)... Ибо по моим наблюдениям сейчас происходит этот феномен.

19 (42)

[Дублин: в доме на Гленгарифф-пэрейд, вечер]

МИССИС ДЖОЙС (появляется на пороге гостиной, трясущаяся, багровая): Джим!

ДЖОЙС (за пианино): Что, мама?

МИССИС ДЖОЙС: Ты что-нибудь знаешь про тело?... Что надо делать?... Там что-то такое течет у Джорджи из отверстия в животе... Ты не слышал никогда, чтобы такое случилось?

ДЖОЙС (с удивлением):...Не знаю...

МИССИС ДЖОЙС: Надо наверно за врачом, как ты думаешь?

ДЖОЙС: Не знаю... Какое отверстие?

МИССИС ДЖОЙС (начиная раздражаться): Отверстие, которое у нас всех... тут (показывает).

ДЖОЙС (поднимается).

20

Все заснули. Я встану сейчас... Он лежит на моей постели, где прошлую ночь я лежал: его накрыли простыней, на глаза положили ему монетки... Бедный малыш! Мы часто с ним вместе хохотали, он так легко носил свое тельце... Как мне жаль, как жаль что он умер. Я не могу молиться за него как другие... Бедный малыш! А все остальное так непонятно!

21 (44)

Двое участников похорон проталкиваются сквозь толпу. Девочка, держась ручонкой за платье женщины, бежит впереди. Лицо девочки бесцветное как у рыбы, со скошенными глазами; лицо женщины небольшое, квадратное, лицо барышницы. Девочка, искривив рот, глядит на женщину снизу вверх, понять, не время ли плакать; женщина, поправляя плоскую шляпку, спешит к кладбищенской часовне.

22 (45)

[Дублин: в Национальной библиотеке]

СКЕФФИНГТОН: Я с такой печалью узнал о смерти твоего брата... мы, к сожалению, слишком поздно услышали... не могли быть на похоронах.

ДЖОЙС: О, он еще был маленький... совсем мальчик...

СКЕФФИНГТОН: И все-таки... это причиняет боль...

23

Тут нет танцев. Выйди вперед, мальчуган, станцуй для них... Он выбегает вперед, гибкий, одетый в темное, серьезный оттого что танцует перед всеми. Музыка для него нет. Он начинает свой танец совсем внизу, в амфитеатре, плавными и медленными движениями, раздельно от одного движенья к другому, со всею грацией юности и чуждости, и вскоре он уж кажется вихрем, паучком, закруживающим свою

паутину в пространстве, звездой. Меня тянет крикнуть ему какие-то слова восторга, вызывающе прокричать над головами толпы: «Глядите! Глядите!»... Его танец это не танец шлюх, не танец дочерей Иродиады. Он исходит из недр народа, внезапный, молодой, мужественный, и падает обратно на землю, сотрясаясь в рыданиях, и умирает среди своего торжества.

24

На минуту она положила руку мне на колени, потом сняла, и взгляд ее на минуту раскрыл ее – таящуюся и сторожкую, сад, стеной обнесенный. Я помню эту гармонию красного и белого, что создана была для такой как она, славословя ее, призывая ее, нареченную невесту, восстать для обручения и двинуться в путь, с вершины Аманы, от гор барсовых[1 - Парафраз Песн. 4: 8.]. И помню я тот ответ, что выбрал в себя всю совершенную и нежную чуткость тела и души и все тайны ее: *Inter ubera mea commorabitur*[2 - У груди моих пребывает (лат.). Песн. 1: 12.].

25

Быстрый и легкий ливень прошел, замешкавшись алмазною гроздью среди кустов на прямоугольнике двора, где подымался пар от почерневшей земли. В колоннаде апрельская девичья компания. Они покидают убежище, поглядывая наружу с сомнением, шелестя тонкими башмачками, мило оберегая юбки и направляя под искусно выбранными углами легкое вооружение зонтиков. Они возвращаются в монастырь – в строгие коридоры, простые дортуары, тихие четки часов – услышав прекрасные посулы Весны, посланницы благодатной.....

Посреди дождеомытой равнины высокое простое здание с окнами, едва пропускающими сумрачный свет дня. Триста шумливых и голодных мальчишек сидят за длинными столами, поедая говядину с каемкой зеленого жира и овощи, что еще отдают землей.

26

Она обручена. Она с ними танцует в хороводе – белое платье слегка развевается в танце, в волосах ветка белых цветов; глаза смотрят чуть в сторону, на щеках легкий румянец. На мгновение ее ручка в моей руке, будто изящнейшая покупка.

– Вы сейчас так редко сюда приходите. –

– Да, я превращаюсь в затворника. –

– А я встретила как-то вашего брата... Он так похож на вас. –

– В самом деле? –

Она с ними танцует в хороводе – плавно, неуловимо кружа, не отдаваясь никому. Белая ветка слегка сбивается во время танца, и когда она в полосе тени, румянец на ее щеках кажется ярче.



27

Чуть слышно, под тяжким покровом летней ночи, чрез безмолвие града, чьи сны сменились тяжким сном без сновидений, подобно усталому любовнику, которого не трогают больше ласки, по дублинской дороге доносится стук копыт. Звуки приближаются к мосту, стали слышней – и в тот миг, когда они мчатся мимо темных окон, безмолвие прорезает будто стрела тревога. Теперь они уже слышны вдалеке, копыта алмазами сверкнули под тяжким покровом ночи, стремясь среди притихших серых болот – к какой цели странствия? – к чьему сердцу? – и с какими вестями?

28

Слабо поблескивают волны в безлунной ночи. Корабль входит в гавань, где светятся кой-где огоньки. Море беспокойно, в нем накопившийся темный гнев, словно глаза зверя, который готов к прыжку, который во власти мучительного голода. По побережью плоская равнина с редкими деревцами. На берегу столпилось много народа, они глазят, что за корабль входит в их гавань.

29

Длинная загибающаяся галерея. С пола поднимаются как столбы темные испарения. Множество каменных изваяний каких-то легендарных королей. Их руки устало сложены на коленях, их взоры застланы, потому что пред ними как темные испарения без конца поднимаются заблужденья людей.

30

Зов рук и голосов: белые руки дорог, их обещания тесных объятий и черные руки высоких кораблей, неподвижно застывших под луной, их повесть о дальних странах. Их руки тянутся ко мне, желая сказать: мы одни – приди. И голоса вторят им: мы народ твой. И в воздухе делается тесно от их скопления, они взывают ко мне, своему сородичу, готовясь в путь, расправляя крылья юности, ликующей и пугающей.

31

Тут мы сошлись все вместе, странники, тут мы обитаем среди запутанных улочек, укрытые плотно молчаньем и ночью. Мы здесь в дружестве и покое и совершенном довольстве, убрав из памяти всю непрямоту тех путей, какими ходили мы. Но что надвигается на меня из тьмы, мягко и шепчуще как поток, страстно и бурно, с непристойными движениями чресл? Что вырывается из меня с ответным криком, как орел отзывается орлу в полете, с криком победным, криком, взывающим о жесточайшей покинутости?

32 (52)

Толпа людей сгрудилась в загончике, топчутся по грязи. Проходит толстуха, юбки до неприличия подняты, уткнулась физиономией в апельсин. Бледный парень без пиджака, с лондонским акцентом, делает фокусы, прихлебывает из бутылки. Маленький старичок, у него на зонтике мыши; полицейский в тяжелых башмаках бросается и хватает зонтик: маленький старичок исчезает. Букмекеры выкрикивают имена, ставки, один вопит детским голоском: «Красавчик!», «Красавчик!»... Сгрудившиеся в загончике человеческие создания топчутся туда и сюда в густой слякоти. Некоторые спрашивают, идут ли скачки, им отвечают «Да» или «Нет». Оркестр заиграл... Вдали на солнце посверкивает прекрасный вороной конь с желтым наездником.

33

По две или по три они фланируют среди бульварного оживленья с походкой людей, проводящих свободное время в местах, что освещаются специально для их прогулок. Вот они в кондитерской, болтают, поедают маленькие булочки или молча сидят за столиками кафе ближе к выходу или спускаются из фиакров, и их одеяния шуршат деловито и мягко как голос прелюбодея. Они фланируют в надушенном воздухе, и их надушенные тела распространяют запах теплый и влажный... Ни один мужчина их не любил, и они сами не любили себя: они не давали ничего за все то, что давалось им.

34 (56)

Она приходит в ночи, когда город стихает; она невидима и неслышима, и не была призвана ничьим зовом. Она приходит из старого своего обиталища навестить самого смиренного из своих сыновей, самая чтимая из матерей, словно он никогда от нее не отчуждался. Ей ведомы все глубины сердца и поэтому она нежна, она не требует и не укоряет, говоря: я умею чувствовать перемену, влияния воображения в сердцах у моих детей. Кто жалеет тебя, когда тебе тоскливо среди чужих? Годы и годы я любила тебя, когда носила тебя во чреве.

35 (57)

[Лондон: в заведении на Кеннингтон]

ЕВА ЛЕСЛИ: Ну да, Моды Лесли сеструха мне а Фред Лесли брат – ты-то вот небось не слышал про Фреда Лесли?.. (мечтательно)... У-у, а он знашь та-акой хер белохопай... Ну щас-то нету ево...

(погодя)

Я ж те балакала как один со мной кончил десять разов за ночку... Так то он, Фред, родной братуха мой Фред... (мечтательно)... Из себе красавчик... Ух, уж кого люблю –

Фреда...

36 (59)

Да, они сестры. Та, что взбивает мощными руками (их масло славится), выглядит мрачной и расстроенной – другая довольна, потому что поставила на своем. Ее зовут Р... Рина. Я знаю, как на их языке глагол «быть».

– А вы Рина?

Я знал, что она Рина.

Но вот и он сам в сюртуке с фалдами, в старомодном цилиндре. Не обращает внимания на них: шествует мелкими шажками, отводя фалды сюртука... Боже милостивый, какой же он небольшой! Наверняка, он уже очень стар, тщеславен... Может быть, он совсем и не то что я... Смешно, эти две крупные женщины рассорились из-за такого небольшого человечка. Но, простите, он самый великий человек в мире...

37 (65)

Я улегся на палубе напротив машинного отделения, откуда шел тепловатый запах смазки. Под французскими скалами гуляют гигантские туманы, окутывая берег от мыса до мыса. Шум моря словно шорох несметной чешуи... За туманными стенами, в темном кафедральном соборе Богоматери я слышу звонкие слаженные голоса мальчиков, поющих там перед алтарем.

38 (70)

[Дублин: на углу Коннахт-стейшн, Фибсборо]

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК (у садовой калитки):...Не-е...

ПЕРВАЯ ДЕВУШКА (став на одно колено, берет его за ручку): Ну тогда ты Мейби больше всех любишь?

МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК: Не-е...

ВТОРАЯ ДЕВУШКА (наклоняется над ним, поднимая взгляд): Кого ж ты больше всех любишь?

39 (71)

Она стоит, слегка придерживая у груди книгу, читает урок. На фоне темной материи ее платья ее лицо с мягкими чертами, опущенными глазами, мягко очерчивается

светом; а с шапочки в складках, сдвинутой небрежно вперед, свисает кисточка на каштановые вьющиеся волосы..

Что это за урок она читает – про обезьян, про необыкновенные изобретения, а может быть, сказания о мучениках? Кто ведаёт, какие глубокие размышления и воспоминания пробуждает этот милый силуэт Рафаэля?

40

[Дублин: на О'Коннелл-стрит, в аптеке Гамильтона Лонга]

ГОГАРТИ: Так это для Гогарти?

ПРОДАВЕЦ (смотрит): Да, сэр... Изволите заплатить сейчас?

ГОГАРТИ: Нет, выпишите счет и доставьте. Адрес вам известен.

ПРОДАВЕЦ (берет перо): Д-да.

ГОГАРТИ: 5, Ратленд-сквер.

ПРОДАВЕЦ (наполовину про себя, записывая):... 5... Ратленд... Сквер.

#### ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

Обыкновенно черты младенчества не передаются в портрете отроческом, ибо настолько мы переменчивы, что не можем иль не желаем представлять прошлое ни в каком ином виде, кроме чугунного мемориала. А ведь прошлое с ручательством предполагает текучую смену настоящих, развитие некой сущности, лишь одною из фаз которой служит наше теперешнее настоящее. И опять-таки мир наш осознает соприкосновение с нею разве что по признакам бороды или дюймов роста и, по большей части, отстраняется от тех из членов своих, кто тщится путем некоего искусства, некоего умственного процесса, пока еще нерасчисленного, высвободить из олицетворенных сгустков материи то, что есть их индивидуирующий ритм, первое или формальное отношение их частей. Но для им подобных портрет – не удостоверяющий документ, а скорей уж изгиб эмоции.

По общим суждениям, употребление разума предваряется приблизительно семью годами и потому нелегко установить точный возраст, в котором природная восприимчивость героя сего портрета пробудилась к идеям вечного проклятия, необходимости покаяния и действенности молитвы. Обучение рано развило в нем усиленное чувство духовных обязанностей, в ущерб тому, что именуется «здравым смыслом». Он торопился весь выложиться, будто расточительный святой, изумляя многих своим порывистым пылом и многих задевая монастырским своим обличьем. Однажды в лесу неподалеку от Малахайда какой-то труженик был приведен в восхищенье зрелищем отрока лет пятнадцати, охваченного экстазом молитвы, в восточной позе. Прошло поистине немалое время, прежде нежели этот отрок уразумел природу того ходкого

товара, что удобным образом позволяет отдавать должное устоям, отнюдь не изменяя сообразно с ними собственной жизни. Пищеварительная ценность религии им никогда не ставилась высоко, и он выбирал, полагая более подходящим к своему случаю, те более бедные и смиренные ордена, в которых исповедник не тщился выказать себя, хотя бы в теории, человеком светским. И все ж, вопреки продолжавшимся срывам, постыдно низвергавшим его с захватывающих высот благочестия, в пору своего поступления в университет он еще по-прежнему обретал исцеление в духовных подвигах.

В ту же приблизительно пору, чтобы оградить свой кризис, он перед всеми и каждым напускал на себя своеобразную загадочность. Он довольно быстро сумел увидеть, что ему следует распутывать свои дела под покровом тайны, и необходимость скрытности была всегда для него легким бременем. Он избегал судачить о скандалах, проявлять любопытство к другим, и это поддерживало фактически выносимый им приговор, отчасти внося еще привкус героичности, дающий удовлетворение. Частью неискоренимого эгоизма, который позднее ему предстояло назвать искупителем, было то, что все деяния и помыслы микрокосма он воображал сходящимися к себе самому. Является ли отроческий разум средневековым, что он так прозорлив к тайным пружинам? Полевые виды спорта (или то, что аналогично им в мире умственном) суть, вероятно, самое действенное лечение, но для этого фантастического идеалиста, готового одним махом ускользнуть от сопящего виденья в бутсах, эти игры в охоту были равно смехотворны и неравны, на поле, выбранном с невыгодой для него. Но за быстро отвердевающим щитом отзывался чутко чувствительный. Пусть-ка эта свора злобностей, всхрапывая и спотыкаясь, пожалует к нему, в его горы после своих игрищ; у него есть свои уголья: и его блещущие олени рога метали презренье им. В этом образе сквозила явная лесть себе, а вдобавок и опасность самодовольства. По каковой причине, пренебрегая натужным гавканьем того хора, что никакие лиги расстояний не сделают музыкальным, он принялся с высокомерием диагностировать юнцов.

Его суждения были изящны, нарочиты и резки; его фразы пластичны. Эти юноши видели во внезапной смерти скучного французского романиста явленный нам перст Бога Эммануила; они восхищались Гладстоном, физикой и трагедиями Шекспира и верили в приложимость католического учения ко всем повседневным нуждам, посредством дипломатического языка Церкви. В своих отношениях между собой и со старшими они выказывали некий нервический и – когда речь заходила о власти – чрезвычайно английский либерализм. Он заметил полувосторженное, полусуждающее обхождение со стороны одного кружка негласно давших зарок чуждаться тех, для кого (ходил слух) разгульная жизнь не была неведомой. Хотя союз веры и отечества всегда был свят в этом мире легко воспламеняемых порывов, куплет Дэвиса с обвинениями наименее послушных натур срывал неизменный аплодисмент и едва ли память Макмануса читалась здесь менее памяти кардинала Коллена. У них были многие основания считаться с властями; и даже если студенту запрещали сходить на «Отелло» («Там есть грубые выражения», говорили ему), насколько этот крест не был тяжек! Не было ли это скорей свидетельством чуткой заботы и внимания и не заверяли ли их в том, что в их будущей жизни эта забота продлится и внимание сохранится? По поводу действий власти могли еще иногда выражаться сомнения, но по поводу ее намерений – никогда. И кто ж тогда живеет этих юношей готов откликнуться на шуточки добряка-профессора или на неотесанность мужлана-привратника, кто сильнее озабочен тем, чтобы всемерно оберегать и лично превозносить честь Alma Mater? Со своей стороны, он был в трудном возрасте, обездоленный и нуждающийся, чувствительный ко всему, что было недостойного в подобных нравах, и принадлежащий к тем, кто по меньшей мере в мечтах знал благородство. Честнейший иезуит порекомендовал службу клерком у Гиннеса: и без

сомнения, кандидат в клерки на пивоварне не питал бы к замечательному сообществу всего лишь презрение и жалость, не будь того обстоятельства, что он желал (на языке людей учености) труднодостижимого блага. Невозможным было, чтобы он нашел утешение в обществах для поощрения умственных занятий мирян или какой-нибудь еще комфорт, помимо физического, в теплом благочестивом братстве, среди скопления шальных или нелепых невинностей. В добавление, невозможным было, чтобы натура, вечно и трепетно устремленная к экстазу, решила смириться, чтобы душа предписала той своей части, над которой подобно мантии уже ниспадал образ красоты, рабскую покорность. Однажды вечером, ранней весной, стоя у подножья ступеней библиотеки, он сказал другу: «Я покинул Церковь». И по пути домой, пока они шли по улицам рука об руку, он поведал ему, в словах, что казались отзвуком их закрытия, как он покинул ее через врата Ассизи.

Воцарился выверт. Вскоре простая история Поверелло вышла из головы у него, и он водворился в самом безумнейшем окружении. Аббат Иоахим, Бруно Ноланец, Михаил Сендивогиус, все иерархи инициаций свершали над ним свои заклатья. Он нисходил в преисподние Сведенборга и простирался во мраке святого Иоанна Креста. Внезапно небеса его озарялись сонмищем звезд, отметами сути всей природы: то душа вспоминала древние дни. Как алхимик, склонялся он над своим ремеслом, сводя воедино таинственные стихии, отделяя тончайшее от грубого. Превыше всего для художника были ритмы фраз и периодов, символы слова и аллюзии. И было ли хоть на йоту странным, что из этой дивной жизни, в которой он уничтожил опыт и выстроил его заново, утрудившийся и отчаявшийся, он вышел с единственной целью – воссоединить сынов духа, издавна разделенных и ревнующих, собрать их воедино против лжи и господства Князя. Тысячу вечностей предстояло утвердить вновь, и Божественному знанию предстояло быть восстановленным. О тщета! с той же легкостью мог бы он выстроить полком ветры. Они ссылались на свои житейские попечения – общественные правила, наследственную апатию расы, мать, не чающую души, христианскую басню. Предательства их были по чистому расчету. Всюду, где общественный монстр это позволял, они дерзали на самую крайнюю неортодоксальность, отстаивали примат воображения в этике, анархию (простой народ), синие треугольники, рыбообразные божества, в порыве провозглашая необходимость действия. Его отместкою были фраза и изоляция. Сваливши эмансипантов в одну грудку – Отравленное Масло – он удалился из этих слишком скользких кругов.

Он как-то написал, что изоляция – первый принцип художественной экономии, однако в ту пору откровения, от имени традиции или от собственного, настойчиво заявляли свои права, и самососредоточенность приветствовалась разве что с робостью. Но все ж в промежутках меж дружбами (ибо он отодвинул от себя три) он познал сестринскую близость задумчивых часов, и сейчас внутри у него начинала расти надежда, что он обретет с ними то чувство безмятежности, ту уверенность, каких не мог обрести среди людей. В ненастный сезон какая-то тяга увлекала его в одинокие и молчаливые места, где туманы развешаны лентами меж деревьев; и когда он проходил там, во власти обволакивающей ночи, среди потаенного падения листьев, запаха дождевых струй, пронзаемой луной завесы испарений, ему мнилось предостереженья о хрупкости всех вещей. Летом же его увлекало к морю. Блуждая по сухим, поросшим травой холмам или вдоль берега, с видом сборщика моллюсков, он почти был готов в нетерпении торопить день. Бродящие в полосе отлива, в чьи детские или девичьи волосы, девичьи или детские одежды забиралась вся своенравность моря, – даже они не завораживали. Однако при увяданьи дня приятно было глядеть на последние редкие фигурки, разбросанные островками в дальних озерцах отлива, и когда вечер сгущал серое мерцанье над морем, он отправлялся прочь, прочь по мелководью, взносимый святою радостью одиночества, поющий пылку

песнь приливу. Скептически, цинически, мистически он жаждал абсолютного удовлетворения и теперь мало-помалу начинал постигать красоту смертного жребия. Он помнил одну сентенцию Августина: «Открылось мне, что те вещи благи, каковые предались порче; каковые не могли бы предаться порче ни если бы они были совершенно благи, ни если бы вовсе не были благими: ибо, будь они совершенно благи, были бы недоступны порче, а будь несколько не благи, не имели бы в себе ничего, что могло бы предаться порче». Философия примирения... возможно... [две строки оригинала утрачены из-за дефекта рукописи]... освещены цветными огнями, но в покоях сердца огни ничуть не угасли, напротив, они горят как на свадьбу.

Дражайшая из смертных! Невзирая на посвящавшиеся стихи, на комедию встреч, здесь и в нелепом обществе сна, фонтан бытия (как казалось) смешал свои воды. Годы назад, в мальчишестве, когда энергия греха раскрывала перед ним мир, он узнал о тебе. В его помутненном взоре возникали на фоне осеннего неба желтые газовые фонари, таинственно поблескивающие там, перед этим пурпурным алтарем, – группы у дверей, расположившиеся как для какого-то обряда, – мелькнувшие сцены пиршества, призрачного веселья – чье-то смутное лицо, приветствующее его, словно пробуждаясь от вековой дремы под его взглядом, – слепое смятение (бесчинство! бесчинство!), внезапно охватывающее его, – во всем этом страстном приключении похоти ужели ты была в совершенной непричастности? Благодетельнейшая! (находчивость любви была в этом именовании) в урочный час являешься ты, как колдунья в миг агонии самопожирателя, посланница сияющих царств жизни. Как мог бы он воздать тебе за это обогащенье души, тобою вкушенное? Владенье искусством достигнуто было в иронии; аскетизм разума был одним из расположений возмущенной гордыни; но кто, коль не ты единственная, открыл ему его самого? Путями нежности простой и не мудрствующей лукаво, любовь твоя вызвала в нем стержневые потоки жизни. Руки твои ты обвила вокруг него, и в интимном пленении сем, в мягком волнении твоей груди, в экстазах молчаний, шепотах слов, сердце твое говорило к его сердцу. Твое водительство могло утончить и направить его страсть, придав хитроумнейший угол непритязательной красоте. Священнодейственной была ты, напечатлевая зримой благодати нестираемый знак твой. Литанией надлежит чтить тебя; Дева Древ Яблоневых, Благая Мудрость, Нежный Цветок Заката. В иную пору не было непривычным вымышлять трапезы в белом и пурпурном над действительностью похлебки, но здесь уж точно в распоряжении имелась пища и тонкая, и грубая, и не было нужды в вымыслах. Его путь (резкая натура!) сейчас выводит к измеримому миру, на широкие пространства действия. Кровь в его жилах лихорадочно ускоряет бег, нервы скапливают электрическую силу, стопы подбиты пламенем. Поцелуй: и вот они взвиваются нераздельно ввысь, глаза и губы сияют, в телах звучанье торжествующих арф! Еще, возлюбленная! Еще, суженая! Еще, жизнь принадлежит нам!

В более спокойном расположении критик, сидящий в нем, не мог не подметить странной прелюдии к новой венчающей эре в период меланхолии и разлада. Он составил роспись своих утрат – весьма-таки удручающую, даже если не входить в обсуждение. Вид фальшивого Христа был явно маскою физической немощи, а та, в свою очередь, клеймом и знаком вульгарных эксцессов; откуда простодушие, воздержность, мягкая любезность и весь сей сонм одомашненных достоинств. В печальной настроенности на худшее, он осаждаем сумрачными видениями своих умерших, видениями (будящими еще большую жалость) всех жизней, от рожденья тупо влачащихся вперед, то зевая, то завывая, заморышей и телом и духом, чьи видения явились как знак временного провала его былой выдержки. Сквозь тучи трудностей, окутавшие его, пробивались одни лишь слабые проблески; даже его риторика проповедовала переход. Он мог бы вменить себе в вину по меньшей мере неспособность доказать одним махом все, и некие разрозненные попытки подсказывали необходимость планомерной кампании. Вера его росла. Она внушила ему

дерзость сказать покровителю искусств: «А какой у вас аванс под духовные блага?», капиталисту же заявить: «Мне требуются две тысячи фунтов для одного предприятия». Он истолковал для ортодоксальной классической учености живую мысль «Поэтики» и из неопалимой купины беспутств глаголил ночью полисмену об истинном положении публичных женщин: но горы сии не подвинулись и не воспоследовало грозящей гибелью церебрации. В горячечном порыве он взывал к эльфам. В наши дни многие, казалось бы, не могут избежать выбора между чувствительностью и косностью; они либо рекомендуют себя сомнительному меньшинству посредством верительных грамот культуры, либо подчиняют более обширный мир, словно сгусток мышц. Но он усматривал между лагерями подходящий для себя кусок почвы, шансы для демона-насмешника на острове, вдвойне удаленном от материка, под соединенным управлением Их Мощностей и Их Бычностей. Итак, его Negro[3 - Отрицаю, отвергаю (лат.).], писавшееся среди хоров галдящих торговцев-иудеев и орущих язычников, было отважно начертано тогда, когда истинно верующие предрекали жаровни для атеистов, и выставлено в пику похабству преисподних нашей Святой Матери: однако, когда сей взрыв миновал, в военных действиях соблюдалась обходительность. Возможно, его государство отправило бы старую тиранию на пенсию – милость, что уже не была безнадежно далека, – во имя той зрелой цивилизации, в которую (если все учесть) оно внесло все же кой-какой вклад. Уже телеграф разносил по всему миру посланья граждан, уже из тридцатилетней войны в Германии родилась великодушная идея и завладевала умами на соборах латинян. К тем множествам, что еще покуда не пребывали в утробах человечества, однако с ручательством способны были там зародиться, он бы обратил слово: Мужчина и женщина, от вас приходит та нация, что должна прийти, просветление ваших трудящихся масс; строй, основанный на конкуренции, сам подрывает себя, аристократии вытесняются; и посреди всеобщего паралича нездорового общественного порядка вступает в действие воля конфедератов.

ГЕРОЙ СТИВЕН

XIV

[...][4 - Рукопись романа не была подготовлена автором к печати, дойдя до нас неполной и неисправной. Пояснения помет в тексте, связанных с состоянием рукописи, см. в заметке Т. Спенсера (первого публикатора «Героя Стивена»), которую мы приводим в начале Комментария.] наций. Они протягивались, желая сказать: Мы одни – приди; и голоса говорили вместе с ними: Мы твой народ; и в воздухе становилось тесно от их скопления, и они взывали к нему, своему сородичу, готовясь в путь, расправляя крылья юности, ликующей и пугающей.

Отъезд в Париж[5 - Заголовок крупно вписан между абзацами наискосок, синим карандашом.]

С вокзала Бродстоун до Маллингара – миль пятьдесят пути, пролегающего по срединным землям Ирландии. Маллингара – столица графства Уэстмит и главный город



всего этого края; меж ним и Дублином оживленное движение крестьян и перевозки скота. Поезд покрывает эти пятьдесят миль примерно за два часа – и потому вам надлежит представить Стивена Дедала прижатым в углу вагона третьего класса и слабым дымком своих сигарет вносящим лепту в смердящую и без того атмосферу. Вагон населяло сообщество крестьян, почти у каждого из которых имелся при себе узел, связанный из платка в горошек. В вагоне крепко пахло крестьянами (запах, унижающая человечность которого крепко запомнилась Стивену с утра его первого причастия в маленькой церквушке Клонгоуза) – до того едко и терпко, что юноша не мог решить, шокировал ли его [был ли ему неприятен] этот запах пота оттого, что крестьянский пот нечто монструозное, или оттого, что на сей раз он не исходил от его собственного тела. Ему не стыдно было сознаться себе, что запах его шокировал [был ему неприятен] по обеим причинам. От самого Бродстоуна крестьяне играли в карты обтерханной и потемневшей колодой, и всякий раз, когда кому-то из них пора было выходить, он брал свой узел и неуклюже проталкивался в дверь, которую никто за собой не закрывал. Они разговаривали мало и редко поглядывали на сменявшиеся за окном картины; только на вокзале в Мануте джентльмен, облаченный в цилиндр и фрак и громогласно наставлявший носильщика касательно ящика с машинами, привлек на несколько минут изумленное их внимание.

В Маллингаре Стивен извлек из сетки свой маленький ладный саквояж и вышел на станционную платформу. Пройдя меж когтями контролеров, он немного помедлил в нерешительности, покуда не был замечен кучером небольшого темно-зеленого кабриолета. Кучер осведомился у него, не тот ли он молодой человек, которого ожидают к мистеру Фулэму, и, получив утвердительный ответ, пригласил садиться. Отправились без происшествий. Кабриолет был не слишком чистым и весьма тряским, и время от времени Стивен с беспокойством поглядывал на свой подпрыгивающий саквояж, а кучер неизменно заверял его, что ничего не случится. Повторив это точно в тех же словах несколько раз, кучер смолк и после продолжительной паузы спросил Стивена, не из Дублина ли он. Будучи успокоен на сей предмет, он опять смолк и принялся задумчивыми движениями сгонять кнутом мух, устроившихся на неопрятной шкуре между оглоблями.

Кабриолет проследовал длинной, извилистой главной улицей и, миновав мост через канал, взял направление к выезду в поля. Стивен заметил, что большинство строений были маленькими домишками, и, увидав массивное квадратное здание, что поднималось посреди парка, обнесенного сплошной высокой стеной, спросил у кучера, что там. Последний ответил, что там лечебница для душевнобольных, добавив со значительной миной, что пациентов в ней множество. Дорога извивалась меж тучных пастбищ, и в полях, сменявших друг друга, Стивен видел пасущиеся стада. При некоторых из них виднелись сонные пастухи, но большинство были предоставлены самим себе и, следуя теченью своих фантазий, неторопливо перемещались с земель болотистых на твердые или же с твердых на болотистые. Крохотные хижинки вдоль дороги утопали в буйно цветущих кустах роз, и часто в дверях можно было увидеть фигуру женщины, в молчании созерцавшей равнину. Порой им случалось обогнать путника-крестьянина, тяжело топающего по дороге, и тот, если находил Стивена достойным таковой чести, приветственно приподнимал шляпу. Двигаясь по пыльной дороге, кабриолет мало-помалу приближался к дому мистера Фулэма.

Это был старый дом неправильных очертаний, стоявший в окружении красивой рощицы и почти не видный с дороги. К дому вела неухоженная подъездная аллея, а позади дома сплошные заросли рододендронов постепенно спускались к берегу Лох-Оул. Сторожка привратника была выбелена известкой, и у дверей ее сидел малыш в рубашонке, грызущий большую корку хлеба. Ворота были открыты, и кабриолет

свернул на аллею. Она шла дугой, и, проехав по ней несколько сотен метров, экипаж стал у дверей старого дома, утратившего свою окраску.

Едва кабриолет остановился, из дверей навстречу прибывшим вышла молодая женщина, державшаяся со спокойным достоинством. Она была с ног до головы в черном; темные волосы схватывал на висках простой гладкий зачес. Она протянула руку.

– Добро пожаловать, – проговорила она. – Дядя сейчас в саду. Мы услышали, как вы подъезжаете.

Слегка коснувшись ее руки, Стивен поклонился.

– Дэн, оставь пока этот саквояж в передней, а вы пожалуйста со мной, мистер Дедал. Надеюсь, вы не слишком устали с дороги; путешествовать – это так утомительно.

– Нет-нет, нисколько.

Она провела его из передней по коридору, и через маленькую стеклянную дверь они вышли в большой фруктовый сад, разбитый квадратом; его ближняя половина оставалась еще на солнце. Здесь, под прикрытием широкополой соломенной шляпы, обретался мистер Фулэм в плетеном кресле. Он встретил Стивена наиприветливее образом; последовали обычные вежливые расспросы. Мисс Хауард принесла небольшой поднос, на котором были фрукты и молоко, и гость с удовольствием принялся за еду и питье, потому что горло его [было] заполонила дорожная пыль. Мистер Фулэм задавал множество вопросов о занятиях Стивена, о его вкусах; мисс Хауард, храня молчание, оставалась у его кресла. При одной из пауз в допросе она взяла подносик и отнесла в дом. Вернувшись, она предложила показать Стивену сад. Мистер Фулэм не замедлил вновь углубиться в свою газету, а она повлекла юношу за собой по дорожке между кустами смородины. Расспросы крестного оказались для Стивена довольно суровым испытанием, и он взял реванш, контратаковав мисс Хауард вопросами о названиях, о сроках цветения и плодоношения, об условиях разведения ее разнообразных растений. Она внимательно выслушивала и отвечала на все, но с тем же видом некой безучастной точности, что отмечала все ее действия. В отличие от их последней встречи, он больше не ощущал благоговения в ее присутствии, и ему подумалось, что, быть может, та непорочность природы, которую он тогда воспринимал как укор себе, была всего лишь умением держаться с редким достоинством. Такое достоинство не особенно привлекало его, а новая юношеская пылкость его переживаний была заметно задета отсутствием всякого оживления у нее. Он приписал это отсутствие не привычке к механическому исполнению функций, а некой особой цели и решил сделать для себя интеллектуальную игру из разгадыванья этой цели. Поставить эту задачу толкало его еще и подозрение в том, что предполагаемая цель, управляющая ее поведением, наверняка враждебна его теперешним сердечным порывам и будет, видимо, ее побуждать из импульсивного недоверия избегать его, ища естественной защиты в бегстве. Этот-то импульс к бегству и должен сделаться его добычей; и он немедленно мобилизовал все свои способности для охоты на него.

Ужин был подан в половине седьмого в длинной комнате, обставленной без затей. Стол освещался высоким серебряным светильником хорошей работы и оставлял впечатление элегантно-простоты. Приспособиться к этому холодному стилю было небольшим испытанием для голода Стивена, и, согретаемый удовольствием от еды, он осуждал эту странную манеру человеческих существ как неестественную и неблагоприятную. Беседа также отдавала жеманностью, и слова «мило», «прелестно» и

«чудесно» слышались слишком часто, чтобы Стивену это могло быть по вкусу. Очень скоро он обнаружил слабое место в броне мистера Фулэма; как большинство своих соотечественников, тот был политиком с убеждениями. Соседи мистера Фулэма были, по большей части, примитивные личности, и он среди них, при всей ограниченности своих идей, считался человеком зрелой культуры. В дискуссии, что завязалась за игрой в безик, Стивен услышал, как его крестный разъясняет менее отесанному владельцу природу деяний отцов-миссионеров, приобщающих к цивилизации китайский народ. Он отстаивал положения о том, что Церковь является главным хранилищем также и светской культуры и что традиция учености происходит бесспорно от монахов. В пышной славе Церкви он видел единственное убежище людей от угрозы демократии и заявил также, что Аквинат предвидел все современные открытия. Соседа его весьма занимали перипетии, ожидающие души китайцев в мире ином, однако мистер Фулэм оставил эту проблему у открытых врат милости Божией. В этот момент беседы мисс Хауард, прежде хранившая молчание, сказала, что существуют три рода крещения, и данная справка была принята в качестве заключения дискуссии.

Долгое время Стивен пребывал в сомнениях относительно мотивов покровительства крестного. На другой день после его приезда, когда они возвращались в экипаже с теннисного турнира, мистер Фулэм спросил:

– А мистер Тэйт – твой профессор английского языка, не так ли?

– Да, сэр.

– Он родом из Уэстмита. Мы его тут частенько видим во время каникул. Мне сдается, он очень интересуется тобой.

– А, так вы с ним знакомы?

– Да. Сейчас у него что-то с коленом, он слег, а то я написал бы ему и пригласил. Может быть, в какой-то из дней мы сами прокатимся его навестить... Он, знаешь ли, необычайно начитанный человек.

– Да, – отвечал Стивен.

Для развлечения Стивена были мобилизованы военные оркестры, теннисные турниры, матчи в крикет на природе и местные выставки цветов. Во время таких событий он замечал, что перед его крестным отцом весьма открыто заискивали, а с мисс Хауард обращались с крайней почтительностью, и он начал подозревать, что за этим кроются какие-то деньги. Развлечения не особенно веселили юношу; он держался настолько незаметно, что часто его оставляли без внимания и ни с кем не знакомили. Порой какой-нибудь офицер окидывал неучтиво пристальным взглядом его неказистые белые башмаки, но в таких случаях Стивен всегда вперял свой взгляд прямо в лицо врагу. После недолгой дуэли взглядов юноша обычно достигал перемирия. Он обнаружил, к своему удивлению, что мисс Хауард исполняла свои светские обязанности с полнейшей охотой. Он был неприятно поражен, услышав однажды из ее уст шуточный каламбур – каламбур, который, не будучи слишком остроумным, тем не менее вызвал вежливые смешки двух чопорных лейтенантов. В силу солидного возраста и всеобщего почтения, мистер Фулэм мог не отказывать себе в роскоши отчитать публично кого-нибудь, когда к тому представлялся случай. [Когда] Однажды какой-то офицер рассказал с юмором историю, соль которой состояла в высмеивании деревенских представлений. [Мистер Фулэм сказал:

– Многие вещи могут быть неведомы для наших крестьян]

История была такова. Как-то вечером этот офицер с одной знакомой были застигнуты проливным дождем в глуши, на дороге в Киллукан, и им пришлось искать убежища в крестьянском домишке. Там сидел у огня старик, покуривая грязную глиняную носогрейку, которую он зажимал в углу рта перевернутою вниз. Поскольку вечер был зябкий, старик пригласил вошедших устраиваться ближе к огню, сказав, что из-за своего ревматизма он не может подняться и принять их как должно. Знакомая офицера, молодая и ученая дама, заметила над очагом какой-то рисунок, грубо сделанный мелом, и спросила, что он изображает. Крестьянин ответил:

– Внучонок мой Джонни намалевал о ту пору как цирк здесь наежжал в город. Увидал по стенкам картинку и давай-кося клянчить у мамки четыре пенса вишь ему слонов поглядеть. Ну попасть-то туды попал да только черта кривога тама энти слоны были. Ну он стало и намалевал.

Дама рассмеялась, а старик, поморгав на огонь красными глазами, продолжал посасывать трубочку ровными затяжками, шамкая сам с собой:

– А слышать энти слоны-то грят дело обнаковенное, у них-де и разуменье ровно как у хрисян... Однова видывал сам картинку как ездют на них черные арапы верхами да так-то околачивают так-то охаживают дрючками што ахти мне. Пра-слово те с робятенком боле хлопот как[6 - На полях карандашом написано: «чем».] с энтими даром што аграмадины.

Молодая дама, которую это необычайно забавляло, принялась рассказывать мужику про доисторических животных. Выслушав и помолчав, старик медленно произнес:

– Пра-слово, ну и должно страхолюдные тварины на том на последнем конце света.

На взгляд Стивена, офицер отлично рассказал историю, и, когда она кончилась, он смеялся вместе со всеми. Мистер Фулэм оказался, однако, иного мнения; он стал весьма назидательно высказываться против заключающейся здесь морали.

– Смеяться над крестьянином просто. Ему неведомо множество вещей, которые считаются в мире важными. Но мы не должны в то же время забывать, капитан Старки, что крестьянин, очень возможно, [является] ближе к идеалу истинно христианской жизни, чем многие из нас, осуждающих его.

– Я не осуждаю его, – ответил капитан Старки, – но меня это развеселило.

– Наше ирландское крестьянство, – продолжал мистер Фулэм с убежденным напором, – это становой хребет нации.

Становой иль нет, однако главное наслаждение Стивену доставляли его постоянные наблюдения за крестьянами. Физически это были образцы почти монгольского типа – грузные, угловатые, с узко прорезанными глазами. Всякий раз, когда он шел сзади какого-нибудь крестьянина, Стивен всегда[7 - Мы воспроизводим стилистическую ошибку оригинала.] обращал внимание на его скулы, выступающие так резко, что, казалось, они раскалывали воздух; крестьяне же, в свою очередь, умели, видимо, распознавать черты горожанина, поскольку разглядывали юношу словно диковинного зверя. Однажды Дэна послали в город для покупки какого-то лекарства в аптеке; Стивен поехал с ним. Кабриолет остановился на главной улице у аптеки, и Дэн протянул рецепт уличному мальчишке-оборванцу, сказав, чтобы тот передал его

аптекаря. Оборванец показал предварительно рецепт приятелю, оборванному не менее чем он сам, и оба вошли в аптеку. Выйдя обратно, они остались у дверей, привалившись к ним и переводя взгляд попеременно со Стивена на хвост кобылы и с хвоста кобылы на Стивена. Глубоко погружившись в созерцание, оба не заметили, как прямо перед ними вдруг очутился горбатый нищий, который надвигался на них, сжимая палку в руке:

– Так это вы мне вчера кричали вдогонку, вы!

Два мальчугана, съежившиеся в дверях, испуганно глядя на него, отвечали:

– Нет, сэр.

– Я знаю, это вы были!

Вплотную приблизив к их лицам свою злобную физиономию, нищий начал угрожающе махать палкой.

– Зарубите себе, что я вам говорю. Видите эту палку?

– Да, сэр.

– Так вот, если будете еще мне кричать, я вас этой палкой распотрошу. Я вам отобью все печенки.

Он принялся разъяснять подробней перепуганным детям:

– Слыхали? Я вас этой палкой распотрошу. Отобью вам все нутро, все печенки.

Инцидент вызвал тупое восхищение нескольких зевак, которые расступились перед нищим, когда он заковылял дальше по тротуару. Дэн, наблюдавший сцену из кабриолета, спустился с козел и, попросив Стивена присмотреть за лошадью, направился в ближний, весьма грязного вида трактир. Стивен остался в экипаже, вспоминая физиономию нищего. Никогда прежде ему не случалось видеть в человеческом лице столько злобы. Несколько раз он наблюдал за лицами инспекторов в школе, когда те наказывали учеников широкой линейкой в кожу, но эти лица казались ему не столько злобными, сколько глупыми, распаленными исполнением служебного долга. Образ пронзительных глазок нищего задел в юноше чуткую струну ужаса, и, чтобы унять острую ее дрожь, он стал насвистывать.

Через несколько минут из аптеки появился толстый и ярко-рыжий юноша с двумя аккуратными пакетиками. Стивен узнал Нэша, а Нэш узнал Стивена – засвидетельствовав это тем, что мучительно переменялся в лице. Стивен мог бы насладиться сполна замешательством своего старого недруга, однако, презрев такой путь, он вместо этого протянул ему руку. Нэш был здесь помощником фармацевта, и когда он узнал, что Стивен гостит у мистера Фулэма, в его обращении появилась сдержанная почтительность. Стивен, однако, вернул его быстро к непринужденности, и когда Дэн вернулся из затрапезного заведения, двое уже оживленно болтали. Нэш заявил, что Маллинггар – чертова дыра, последнее из всех мест, что сотворил Бог, и спросил Стивена, как тот его может переносить.

– Я об одном тут мечтаю – вернуться в Дублин, больше я ничего не хочу.

– А как ты тут развлекаешься? – спросил Стивен.

– Развлекаешься! Ты тут не можешь. Тут нету ничего.

– Но иногда ведь у вас концерты? В день моего приезда я видел какие-то афиши насчет концерта.

– А, с этим все уже. Патер Лохан наложил тяжелую лапу – как же, приходской пастырь.

– Почему это он?

– Ты лучше его спроси. Он говорит, его прихожане не желают куплетов и канканов. Если они хотят приличный концерт, они могут его устроить в школе. Ну, он их так приструнил, я тебе доложу.

– А, вон тут что!

– Они тут его до смерти боятся. Если он вечером заслышит, что где-то в каком-то доме поздно танцуют, стучит в окно, – и раз! – свеча мигом гаснет.

– Ну и дела!

– Факт. И знаешь, у него есть коллекция женских шляпок.

– Шляпок!

– Вот-вот. Вечерком, когда девочки выходят гулять с солдатами, он тоже выходит и, если поймает какую-нибудь, срывает шляпку с нее и уносит домой к себе, а тем, кто потом приходит, просит отдать, уж он им прописывает пилюлю!

– Какой славный малый!.. Слушай, нам пора уже. Я думаю, еще увидимся.

– Заходи завтра, ладно? У меня короткий день будет. И знаешь, кстати, я тебя познакомлю тут с моим другом – очень приличный парень – в газете служит, в «Икземинер». Тебе он понравится.

– Отлично. До завтра!

– Пока! Приходи часа в два.

По дороге домой Стивен начал задавать Дэну вопросы, а тот притворялся, будто не слышит их; если же Стивен проявлял настойчивость, он отделялся самыми краткими ответами. Было ясно как день, что он не желает обсуждать своего духовного наставника, и Стивену пришлось отступить.

За ужином в этот день мистер Фулэм был настроен общительно, и он начал явственно направлять нить беседы к Стивену. Его метод «втягивать» собеседника был не самым тактичным методом, но Стивен, видя осуществляемую стратегию, ждал, пока к нему обратятся прямо. К ужину был приглашен сосед, некий мистер Хеффернан. Мистер Хеффернан далеко не разделял воззрений хозяина, и потому в этот вечер разгорелись оживленные споры. Сын мистера Хеффернана изучал ирландский язык, ибо он считал, что ирландцам следует говорить на своем родном языке, а не на языке своих завоевателей.

– Но в Америке, где такая свобода, какой Ирландия вообще вряд ли достигнет когда-нибудь, люди совсем не возражают против английского языка, – сказал мистер Фулэм.

– Американцы другое дело. У них нет языка, который они могли б возродить.

– Что до меня, то я не возражаю против моих завоевателей.

– Потому что вы при них занимаете хорошее положение. Вы не труженик. Вы пожинаете плоды работы националистов.

– Пожалуй, вы мне начнете сейчас говорить, что все люди равны, – заметил иронически мистер Фулэм.

– Что же, в этом есть смысл.

– Скорей бессмыслица, дорогой сэр. Наши соотечественники не ведают ничего о Реформации, как они ее называют, и я надеюсь, [это] они пребудут в том же неведении о французской революции.

Мистер Хеффернан вернулся к исходной теме:

– Но им бы заведомо не повредило узнать кой-что о своей собственной стране – о ее традициях, истории, языке!

– Для тех, у кого масса досуга, это может быть и неплохо. Но я, как вам известно, противник всяческих подрывных движений. Наш жребий бесповоротно с Англией.

– Юное поколение с вами не согласно. Мой сын, Пэт, сейчас обучается в Клонлиффе, и как он мне рассказывал, там все семинаристы, а им завтра быть нашими священниками, имеют такие настроения.

– Католическая Церковь, дорогой сэр, никогда не будет подстрекать к мятежу. Но здесь вот с нами один из юного поколения. Пускай он выскажется.

– Я совершенно равнодушен к принципам национализма, – сказал Стивен. – У меня достаточная личная свобода.

– И вы не чувствуете никакого долга перед родиной, никакой любви к ней? – спросил мистер Хеффернан.

– Честно говоря, нет.

– Но в таком случае вы живете как животное, лишённое разума! – воскликнул мистер Хеффернан.

– Мой собственный разум, – отвечал Стивен, – для меня более интересен, чем вся страна.

– Вы думаете, пожалуй, что ваш разум важнее Ирландии!

– Именно так я думаю.

- У вашего крестника странные идеи, мистер Фулэм. Позвольте спросить, это иезуиты вас научили этому?
- Иезуиты научили меня другому – читать и писать.
- Но и религии также?
- Естественно. «Какая польза человеку, если он приобретет целый мир, а душу свою потеряет?» [8 - Мф. 8: 36.]
- Никакой пользы, безусловно. Это совершенно так. Но человечество предъявляет требования к нам. У нас есть долг по отношению к ближнему. Мы восприняли заповедь любви.
- Да-да, я это слышу каждое Рождество, – молвил Стивен. Мистер Фулэм рассмеялся на это, но мистер Хеффернан был уязвлен.
- Возможно, я прочел меньше, чем вы, мистер Фулэм, и даже меньше, чем вы, молодой человек, но я верю, что благороднейшее чувство любви у человека, после любви к Богу, это любовь к родине.
- Иисус был другого мнения, чем вы, мистер Хеффернан, – сказал Стивен.
- Вы произносите очень дерзкие речи, молодой человек, – произнес мистер Хеффернан тоном неодобрения.
- Я не боюсь высказываться открыто, – отвечал Стивен, – даже по поводу приходских священников.
- Вы еще слишком молоды, чтобы поминать Имя Святое с такой легкостью.
- Я не богохульствую. Я сказал то, что хотел сказать. Идеал, который Иисус открывает человечеству, – это идеал отрешенности, чистоты и одиночества; идеал, который предлагаете вы, – это идеал мщенья, страстей и поглощенности мирскими делами.
- Мне кажется, Стивен прав, – произнесла мисс Хауард.
- Я хорошо вижу, – сказал мистер Фулэм, – к чему ведут эти все движения.
- Но ведь невозможно, чтобы мы все вели жизнь отшельников! – воскликнул в отчаянии мистер Хеффернан.
- Мы можем примирить между собой оба образа жизни, если изберем путь добрых католиков, исполняя сначала наш долг пред Богом, а затем обязанности нашего положения в жизни сей, – сказал мистер Фулэм, с удовлетворением напирая на последнюю часть фразы.
- Вы можете быть патриотом, мистер Хеффернан, – сказал Стивен, – не обвиняя при этом в безбожии тех, у кого другие взгляды.
- Но я вовсе не обвинял...
- Хорошо-хорошо, – благодушно произнес мистер Фулэм, – мы все понимаем друг



друга.

Эта небольшая перепалка доставила удовольствие Стивену; для него было приятным упражнением направить артиллерию ортодоксии на строй ортодоксов и поглядеть, как он держится под огнем. Мистер Хеффернан казался ему типичным ирландцем-провинциалом: категоричный и боязливый, сентиментальный и злобствующий, идеалист в речах и реалист в поведении. Труднее было понять мистера Фулэма. Его восхваления ирландского крестьянина полны были ярого патернализма, за истовой приверженностью к Церкви крылась приверженность к феодальным привилегиям и природная покорность той силе, в которой он видел источник этих привилегий. Он любил внедрять свои аристократические взгляды в живом стиле:

– Послушайте, мистер Такой-то, вы ведь по ярмарочным дням закупаете в городе скотинку?

– Да.

– А потом заходите [9 - Пропущено «на».] бега и там ставите на лошадок, какие вам приглянутся?

– Ваша правда.

– И вы гордитесь, что смыслите кой-что в скачках и в беговой породе?

– Должен признаться.

– Так как же вы тогда говорите, что у людей нет аристократической породы, если у животных она, сами знаете, имеется?

Гордость мистера Фулэма была гордостью бюргера под тяжким дорогим балдахином, который он соорудил [воздвиг] и любовно содержал. Он питал страсть к феодальному порядку вещей и не желал лучшей участи, чем быть раздавленным им, – извечная тяга человека поклоняющегося, бросается ли он под колесницу Джаггернаута, или со слезами умиления молит Бога искоренить в нем страсти, или же сладко обмирает под властной рукой любовницы. Для человека нижестоящего и с чувствительною душой его милость обернулась бы нестерпимой пыткой ума, но при этом у подателя милости не было бы ни вида самодовольного фарисея, ни фарисейского языка. Его взгляд на человеческие отношения был бы, пожалуй, прогрессивным в те эпохи, когда земля считалась ладьеобразной, и живи он тогда, он мог бы заслужить репутацию самого [мягкосердого] просвещенного из рабовладельцев. Глядя, как старый джентльмен с важностью протягивает мистеру Хеффернану табакерку и тот, запуская туда крупные свои пальцы, волей-неволей умиротворяется, Стивен думал: [к]

– Мой крестный отец – папский посланник в Уэстмите.

Нэш поджидал его у дверей аптеки, и они вместе направились по главной улице к редакции «Икземинера». В окне, поверх коричневой грязной шторы, [была] торчала [мордочка] голова белого фокстерьера, умные глаза коего были единственным признаком жизни в редакции. Послали за мистером Гарви и вскоре получили от него сообщение, чтобы два его визитера следовали в «Гревильский герб». Мистер Гарви обнаружился сидящим в баре; шляпа его была сдвинута с раскрасневшегося лба далеко на затылок. Он был занят тем, что «обхаживал» барменшу, однако при входе посетителей встал и пожал им руки. Затем, по его настоянию, они все уселись

пропустить стаканчик. Барменша вновь подверглась «обхаживанию» Гарви, а также и Нэша, однако все оставалось в рамках. Она была девушкой с мягкой манерой обращения и весьма соблазнительной фигурой. Протирая стаканы, она занималась легкой беседой с молодыми людьми, кокетничая и сплетничая; казалось, вся жизнь городка знакома ей как свои пять пальцев. Один-два раза она упрекнула мистера Гарви в ветрености, спросив Стивена, не стыдно ли это женому человеку. Подтвердив ее мнение, Стивен принялся считать пуговицы на ее корсаже. Барменша сказала, что Стивен разумный и симпатичный юноша, не какой-нибудь ловелас, и очень мило улыбнулась ему, ловко орудуя салфеткой. Через некоторое время юноши покинули бар, но не прежде чем коснулись пальчиков барменши и приподняли перед нею шляпы.

Мистер Гарви призвал свистом терьера из редакции, и они отправились на прогулку. Он носил тяжелые башмаки и продвигался в них грузно и решительно, стуча по мостовой посохом. Дорога и реальность душного дня расположили его к рассудительности, и он принялся подавать своим спутникам здравые советы старшего.

– В конечном счете, чтоб парню остепениться, вернее женитьбы не придумаешь. Покамест не получил это место, в «Икземинере», я тут погуливал с дружками, попивал малость... Ну, ты знаешь, – адресовался он к Нэшу. – Нэ[ш][10 - Рукопись здесь надорвана.] кивнул.

– А теперь у меня дом хороший, – продолжал мистер Гарви, – и... вечером уже ты идешь в свой дом... ну, а захочешь выпить... что же, можешь и выпить. Совет мой каждому молодому парню, кто это может себе устроить, – женись молодым.

– Что-то есть в этом, – сказал Нэш, – конечно, когда слегка уже погулял.

– Само собой, – сказал мистер Гарви. – Кстати, надеюсь, ты ко мне как-нибудь зайдешь вечером, и друга приводи тоже. Вы придете, мистер Дедал? Хозяйка рада будет; она, знаете, немного на пианино играет.

Стивен промямлил благодарственные слова, решив про себя, что он скорей вытерпит тяжкие физические страдания, чем нанесет визит мистеру Гарви.

Гарви начал рассказывать журналистские истории. Услышав от Нэша, что Стивен имеет склонность писать, он сказал:

– Даю ценное указание: стенография.

Он поведал много примеров, которые все иллюстрировали его бойкость и удачливость в своем ремесле, и сообщил, что однажды он «тиснул» заметку в лондонской утренней газете и получил за нее недурной гонорар тут же с обратной почтой.

– Эти парни в Англии, они, знаете, умеют наладить дело. Да и платят дай Бог.

День стоял знойный, и весь городок как будто подремывал, разомлев, но когда они подошли к мосту через канал, то заметили метрах в сорока целую толпу, которая собралась на берегу. Мальчишка из мясной лавки рассказывал обступившим его рабочим:

– Я ее первый увидел. Примечаю – чего-то там зеленое, длинное среди значаща ряски ну и пошел Джо Коклана позвать. Мы с ним обое ладим вытащить, ну больно

тяжело. Ну што тогда я смеаю значаца нам бы ежели где багром разжиться. Ну што тогда я да Джо идем к Слэйтеру во двор на зады...

Рядом с самой кромкой воды на берегу виднелся какой-то предмет; часть его была накрыта бурым мешком. То было тело женщины: она лежала лицом к земле, подле черных густых волос натекла лужица воды. Тело было выгнуто вверх, ноги раскинуты, но на [слово оторвано] кто-то натянул [слово оторвано] ночную рубашку. Женщина прошлой ночью сбежала из лечебницы для душевнобольных, и Стивен слышал, как многие бранят санитарок.

– Лучше б ‘циентам абеспечивали уход, чем ухлестывать за каждым там докторишкой.

– Уж их такое абзаведенье.

Пес мистера Гарви стал обнюхивать тело, однако хозяин дал ему увесистого пинка, и собака сжалась в дугу, визжа. На некоторое время воцарилось молчание; не двигаясь с мест, все продолжали смотреть на тело, пока не раздался чей-то голос: «Вон доктор!» По тропке быстро спускался плотный хорошо одетый человек, не обращая внимания на приветствия; через несколько минут Стивен услышал, как он сказал, что женщина мертва, и дал указания найти телегу для перевозки тела. Трое молодых людей продолжали путь, однако Стивена пришлось сначала подождать и окликнуть. Он задержался, глядя в воду канала у ног ее тела и всматриваясь в клочок бумаги, на котором было напечатано: «Лампа. Журнал...» – остальное было оторвано, и вокруг плавали в воде еще несколько обрывков.

День уже близился к закату, когда молодые люди расстались. Стивен попрощался с приятелями, обещая повидаться вскоре опять, и пошел по тропинке, которая уходила в поля. Почва под ногами была коварной, и Стивен то и дело соскальзывал в воду, выступавшую на торфяниках. Ему удалось, однако, обнаружить широкую тропу, шедшую выше болота и столь же надежную, как проезжая дорога. Солнце снижалось, и на глубоком золоте закатных небес прочерчивались склоненные силуэты редких сборщиков торфа. Тропа вывела его к задворкам усадьбы мистера Фулэма; он перелез через ограду, пересек рожицу и достиг места назначения. На мягкой траве шаги его были совершенно бесшумны. При выходе из рожицы он резко остановился. Мисс Хауард стояла, прислонясь к высоким входным дверям, лицом к закату. Полыхающий закат покрывал ее платье ржавыми полосами и осыпал блестками ржавчины копну темных волос. Стивен направился к ней, но когда был уже в нескольких шагах

[Лакуна в сохранившейся рукописи: со с. 506 до с. 519 по нумерации Джойса]

## XV

[...] все, кто с ним говорил, примешивали к ожиданию подчеркнуто вежливое недоверие. «Его [жесткие] непокорные каштановые волосы были зачесаны со лба назад, однако без особого тщания. [Лицо] Девушке он бы мог показаться привлекательным – а мог и не показаться: черты лица были правильны, и выражение смягчалось небольшим женственным ртом, почти обретая [определенно заметную] красоту. При беглом взгляде глаза не особенно выделялись на лице: они были небольшие и светло-голубые, пресекающие охоту к сближению. Хотя они были чисты и бесстрашны, его лицо вопреки этому было до некой степени лицом распутника.»

Ректор колледжа был личностью, изъятый из повседневного обращения и возникавшей

в качестве председательствующего на встречах выпускников и на открытиях студенческих клубов. Зримыми заместителями его были декан и эконом. Эконом, думалось Стивену, вполне подходил к своему званию: тяжеловесный, краснолицый человек «с шапкой черных седеющих волос.» Он отправлял свою должность с большим чувством, и часто видели, как он дефилирует по вестибюлю, наблюдая за приходом и уходом студентов. Он требовал пунктуальности: опоздание раз-другой на одну или две минуты – из этого он не делал истории; хлопнет в ладоши и отпустит добродушный упрек. Но ежедневно на несколько минут – вот это уж делало его суровым: тут нарушался надлежащий порядок учебы. Стивен почти всегда опаздывал больше чем на четверть часа, и [потому], когда он являлся, эконом обычно уже сидел у себя в кабинете. Однако как-то раз он пришел в колледж раньше обычного. Перед ним по лестнице поднимался полный [юный] студент, очень усердный и робкий юноша, лицо у которого было цвета хлеба с вареньем. Эконом стоял в вестибюле, скрестив руки [у себя] на груди, и, завидев толстяка, многозначительно посмотрел на часы. Они показывали восемь минут двенадцатого.

– Слушайте, Молони, вы же знаете, что так не пойдет. Опоздали на восемь минут! Так нарушать учебный процесс – с этим мы не можем мириться. Впредь приходите на лекции точно вовремя.

Варенье на лице Молони совершенно закрыло хлеб; он промямлил что-то извиняющееся про неправильные часы и со всех ног бросился по лестнице в свою аудиторию. Стивен [немного] чуть помедлил, вешая пальто под торжественным взглядом тучного священника. Затем он неспешно повернул голову к отцу эконому и сказал:

– Чудесное утро сегодня, сэр.

Эконом тут же хлопнул в ладоши, потер их и снова хлопнул. Красота утра и уместность реплики поразили его одновременно, и он весело ответил:

– Прекрасное утро! Отличное бодрящее утро! – и снова принялся потирать ладони.

Однажды [он] Стивен явился в колледж с опозданием на три четверти часа и решил, что более благоприличной стратегией будет подождать до начала лекции по французскому. Свесившись через перила, он ожидал, когда прозвонит двенадцать; и в это время по вьющимся маршам лестницы стал медленно подниматься какой-то юноша. Не дойдя до площадки нескольких шагов, он остановился и повернул свое квадратное деревенское лицо к Стивену.

– Скажите, пожалуйста, я правильно иду в деканат? – спросил он с провинциальным выговором, ставя в слове «деканат» ударение на первом слоге.

Стивен объяснил, как пройти, и двое юношей разговорились. Новичка звали Мэдден, он приехал из графства Лимерик. Держался он не то чтобы неуверенно, но как-то слегка напуганно и был явно благодарен Стивену за его знаки внимания. После лекции по французскому они прошли вместе через Грин, и Стивен отвел нового знакомого в Национальную Библиотеку. У турникета Мэдден снял шляпу; когда он наклонился над стойкой, чтобы заполнить требование на книгу, Стивен отметил у него по-крестьянски сильные челюсти.

Деканом колледжа был профессор английского языка патер Батт. Его считали самым талантливым в колледже; он был философ и эрудит. Он прочел в клубе общества трезвости несколько докладов, где доказывал, что Шекспир был католиком; он также вел полемику с другим отцом-иезуитом, который на склоне лет стал приверженцем

бэконовской теории в проблеме авторства шекспировских пьес. В руках патер Батт всегда держал ворох бумаг, а его сутана была обильно выпачкана мелом. Он напоминал по виду стареющую борзую, и казалось, что его голосовые связки, подобно облаченью, тоже в мелу. Он умел держаться убедительно с каждым и был особенно –

[Лакуна в сохранившейся рукописи: отсутствуют сс. 524, 525 по нумерации Джойса]

стиха суть главные условия, которым должны подчиняться слова, ритм – это эстетический результат чувств, ценностей и отношений слов, удовлетворяющих этим условиям. Красота стиха равно заключалась в том, что он скрывает свое строение и что он раскрывает его, но она заведомо не могла обеспечиваться только одним или другим. Поэтому манера чтения стихов патера Батта, как и старательное чтение стихов какой-нибудь школьницей, для него были равно невыносимы. Читать стихи в соответствии с ритмом значит читать в соответствии с ударениями, то есть не в точном соответствии со стопами, но и не с полным невниманием к ним. Всю эту теорию он постарался изложить Морису, и Морис, когда он уяснил значения терминов и прилежно свел эти значения воедино, согласился, что теория Стивена правильна. Существовал лишь один возможный способ декламации первого катрена стихотворения Байрона:

Днесь жи#769;знь моя – ос#233;нный лист  
Цветов, плод#243;в любви уж нет  
Лишь язвы г#243;ря, бури сви#769;ст  
Ост#225;лись мне.

Братья применяли эту теорию ко всем стихам, какие могли припомнить, и результаты были великолепны. Вскоре Стивен взялся самостоятельно исследовать язык, отбирая и тем спасая для вечности слова и фразы, наиболее отвечающие его теории. «Он стал поэтом с заранее обдуманым преступным намерением.»

Его сразу же захватила кажущаяся экстравагантность прозы Фримена и Уильяма Морриса. Он прочел их произведения как тезаурус и собрал себе «житницу» из слов. Он часами читал этимологический словарь Скита, и его ум, всегда слишком готовый поддаться детскому чувству удивления, бывал часто загипнотизирован самой обычной беседой. Ему казалось, что все люди в странном неведении касательно ценности тех слов, которыми они так небрежно пользуются. И шаг за шагом, по мере того как эта недостойность жизни все более властно обступала его, он все сильнее начинал любить идеализацию – более истинно человеческую традицию. Это явление представлялось ему важным, и он постепенно видел, что люди объединились в заговор низости и Судьба с презрением сбавила для них свои цены. Он не желал такой скидки для себя и предпочитал служить ей на прежних условиях.

Был специальный семинар по английской литературной композиции, и именно здесь Стивен заслужил впервые известность. Английский реферат был для него единственной серьезной работой за всю неделю. Обычно его рефераты были очень длинными, и профессор, который писал передовицы для «Фрименс Джорнел», всегда оставлял их напоследок. Стиль изложения Стивена, [который] хотя он слишком тяготел к архаичному, даже к отжившему и часто впадал в риторику, отличала некая грубоватая оригинальность выражения. Он не давал себе особого труда чем-либо подкреплять продерзости, что утверждались или подразумевались в его рефератах. То были наспех сделанные защитные бастионы, меж тем как по-настоящему он был занят сооружением загадки собственной манеры письма. Ибо этот юноша был осведомлен еще об одном кризисе и хотел подготовить себя к потрясениям, что он

принесет. Вследствие подобных маневров его начали считать крайне неуравновешенным [юношей] молодым человеком, проявляющим необычный для его сверстников интерес к теориям, приемлемым разве что на правах развлечений. Патер Батт, которому не преминули доложить о появлении этих необычных особенностей, однажды заговорил со Стивеном с целью его «прощупать». Патер Батт выразил великое восхищение рефератами Стивена, которые, по его словам, все до одного ему показал профессор литературной композиции. Он поощрил юношу, высказав мысль, что вскоре тот, пожалуй, смог бы что-нибудь написать для какой-нибудь дублинской газеты или журнала. Стивен воспринял это поощрение как знак наилучших, однако же заблуждающихся чувств и пустился в старательные объяснения своих теорий. Патер Батт выслушал и согласился со всем даже с большей готовностью, нежели ранее [Стивен] Морис. Стивен изложил свое учение со всею конкретностью, настаивая на важности того, что он называл литературной традицией. «Слова, говорил он, имеют определенную ценность в литературной традиции и определенную ценность на торжище – ценность девальвированную.» Слова суть просто вместители человеческой мысли; в литературной традиции в них вкладываются более ценные мысли, чем на рынке. Патер Батт выслушивал это все, поминутно потирая подбородок рукой, выпачканной в мелу, кивал головой и «говорил, что Стивен, очевидно, понял важность традиции.» Для иллюстрации своей теории Стивен привел цитату из Ньюмена.

– В этой фразе Ньюмена, – сказал он, – слово используется в соответствии с литературной традицией; здесь оно имеет полную ценность. В обычном употреблении, то бишь на торжище, его ценность совершенно иная, там она снижена. «Надеюсь, я вас не ввожу в заблуждение».

– Что вы, вовсе нет!

– Нет-нет, я...

– Да-да, мистер Дедал, понимаю. Я понял, что вы имеете в виду... глагол «вводить»...

На следующее же утро патер Батт доставил своеобразный ответ на монолог Стивена. Стоял свежий, пощипывающий морозец, и когда Стивен, опоздавший на лекцию по латыни, завернул в физическую аудиторию, он увидел, что патер Батт, стоя на коленях, растапливает огромный камин. Он делал из бумаги аккуратные жгутики и со всем тщанием раскладывал их между палочек и кусков угля. При этом он все время негромким бормотанием комментировал свои действия; наконец в кульминационный момент он извлек из самых дальних карманов выпачканной мелом сутаны три грязных свечных огарка. Их он разместил в различных ямках – и с торжествующим видом взглянул на Стивена. Затем он поднес к выступающим концам бумажек спичку, и через несколько минут уголь занялся.

– Разжечь камин, мистер Дедал, – это искусство.

– Вижу, сэр. Очень полезное искусство.

– Вот именно, полезное искусство. Бывают полезные искусства и изящные искусства.

Сделавши это заявление, патер Батт поднялся с колен и ушел по своим делам, оставив Стивена блюсти разгорающийся огонь; и Стивен предавался раздумьям о быстро тающих огарках и о порицании, ошутимом в манере священника, до самого начала лекции по физике.

Задачу было невозможно решить с налета, но, по крайней мере, художественная

часть ее не представляла особых трудностей. Разбирая на семинаре «Двенадцатую ночь», патер Батт пропустил обе песни шута без единого слова о них, и когда Стивен, решивший любой ценой привлечь к ним его внимание, с видом большой озабоченности спросил, надо ли их выучить наизусть, патер Батт ответил, что такой вопрос наверняка не будет в программе:

– Шут поет эти песни для герцога. В то время у аристократов было в обычае держать шутов, которые им пели... ради забавы.

К «Отелло» он отнесся более серьезно и обратил внимание аудитории на мораль пьесы: предметный урок касательно страсти ревности. Шекспир, сказал он, проник в самые глубины человеческой природы; его пьесы показывают нам мужчин и женщин под властью разных страстей, а также нравственные последствия этих страстей. Мы видим борьбу страстей человеческих, и подобное зрелище очищает наши собственные страсти. Драмы Шекспира имеют бесспорную нравственную силу, и «Отелло» – одна из величайших трагедий. Стивен приучил себя выслушивать все это с полной невозмутимостью, однако его позабавило, что в то же время ректор не дал разрешения двум жившим в общежитии студентам пойти «на спектакль «Отелло» в театре «Гэйети», заявив, что в пьесе слишком много грубых выражений.»

Монстр, обитавший в Стивене, пустился в последнее время буяннить и был готов на кровопролитие по любому поводу. Едва ли не каждое происшествие распалило его, и разум с большим трудом удерживал его в рамках. Но эпизод со вспышкой религиозности, быстро уходящей в область воспоминаний, выработал у него некоторое умение внешне владеть собой, и оно теперь оказывалось весьма полезным. Кроме того, Стивен довольно быстро понял, что он должен распутывать свои дела втайне, и сдержанность отнюдь не обременяла его. Его нежелание обсуждать сплетни и проявлять невежливое любопытство к другим подкрепляло выдвигаемое им на поверку обвинение и не было лишено приятного привкуса героизма. Уже и тогда, когда тот лихорадочный приступ святости снизошел на него, он был знаком с силами разочарования, однако, движимый благочестием, отстранился от них. Эти удары постыдно низвели его к себе самому с захватывающих высот духовного рвения, и самое большее, что могли доставить ему духовные подвиги, было утешение. В этом утешении он крайне нуждался, ибо все соприкосновения с его новым окружением причиняли ему страдание. Он почти не разговаривал с товарищами и исполнял учебные дела без всякого комментария и всякого интереса. Каждое утро он вставал и спускался к завтраку. После завтрака он ехал в город на трамвае, где усаживался наверху на переднем сиденье и подставлял лицо ветру. Он сходил с трамвая у станции Эмьенс-стрит, вместо того чтобы ехать до Колонны, ибо ему хотелось быть участником утренней жизни города. Утренняя прогулка была приятна ему, и ни одно лицо не проследовало мимо него в свою коммерческую тюрьму без того, чтобы он не попытался впиться в него до самого движущего центра его уродства. Входя на Грин и видя на дальней стороне угрюмое здание колледжа, он всегда испытывал недовольное чувство.

В этих прогулках по городским путям и дорогам глаза и уши его были всегда готовы схватывать впечатления. Слова для своей сокровищницы он находил не только у Скита, он обретал их ненароком в лавках, в рекламах, на устах толкующегося кругом люда. Он продолжал их твердить про себя до тех пор, пока они не теряли для него всякий непосредственный смысл, превращаясь в волшебные вокабулы. Он был полон решимости бороться всеми силами тела и души против любых соглашений с тем, что теперь было в его глазах точно ад в аду – иначе выражаясь, с той областью, где все представало очевидным, – и недавний святой, что был прежде «скуп на слова,» повинувшись заповеди молчания, лишь с трудом был узнаваем в художнике, приучавшем

себя к молчанию, дабы слова не отплатили ему той же монетой за его непочтение. К нему являлись фразы, требуя своего объяснения. Он говорил себе: я должен ждать, когда ко мне придет Евхаристия; и потом принимался переводить фразу на язык обыденного смысла. День и ночь, стуча громко молотком, он строил себе дом молчания, где мог бы ожидать своей Евхаристии; день и ночь сбирал первые плоды и всяческие дары мира, громоздя их на свой алтарь, куда, о чем он взывал в молитве, снизошел бы огненный знак удовлетворения. В аудитории, в тиши Библиотеки, в студенческой компании он мог внезапно услышать повеление удалиться и остаться одному, голос, ударяющий прямо в барабанную перепонку, язык пламени, разом достигающий божественную жизнь мозга. Он подчинялся велению и бродил в одиночестве по улицам, поддерживая в себе пылкость надежды восклицаниями, пока не уверялся, что бродить далее бесполезно; и тогда он возвращался домой размеренною неутомимой походкой, без конца сочетая меж собой бессмысленные слова и фразы с размеренною неутомимой серьезностью.

Конец первого эпизода V[11 - Надпись, сделанная красным карандашом и, вероятно, отражающая процесс перехода от «Героя Стивена» к «Портрету художника в юности».]

## XVI

В Святейшей Коллегии во время избрания наместника Христова их преосвященства едва ли блюдут свое уединение неукоснительней, нежели это делал Стивен в то время. Он написал немало стихов и, за отсутствием лучших планов, стихи позволяли ему совмещать в одном лице кающегося и исповедника. В стихах он старался схватить свои самые ускользящие настроения и складывал строки не по словам, а по буквам. Он прочитал у Блейка и Рембо о значениях букв и даже переставлял и комбинировал пять гласных, строя из них вопли для выражения примитивных эмоций. Ни одному из прежних пылов своих не отдавался он так всецело, как этому; «монах теперь казался ему не более чем полухудожником. Он убеждал себя, что для художника необходимо непрестанно трудиться на ниве своего искусства, если он хочет выразить со всей полнотой даже простейшее понятие, и верил, что за каждый миг вдохновения нужно платить вперед. Он не был убежден в справедливости афоризма [Poeta nascitur, non fit] «Поэтами рождаются, а не становятся», но, по крайней мере, был целиком уверен в» справедливости суждения [Poeta fit, non nascitur] «стихи создаются, а не рождаются». Буржуазное представление о поэте Байроне в неглиже, изливающим из себя стихи как городской фонтан изливает воду, казалось ему типичным для самых расхожих мнений по эстетическим вопросам и, ополчаясь на него, он поражал его в корень, с «торжественностью заявляя Морису: «Изоляция – первый принцип художественной экономии»».

Стивен никоим образом не погружался в искусство в порыве юношеского дилетантизма, но пытался впиться в смысловое средоточие всего сущего. Он перегибался назад, в прошлое человечества, и ловил там проблески возникающего искусства, как могло бы мелькнуть виденье плезиозавра, возникающего из океана слизистого ила. Ему почти слышались эти первородные вопли страха, радости, удивления, что предшествуют всякой песне, дикие ритмы гребцов на веслах, почти виделись грубые каракули и фигурки божков тех людей, наследниками которых будут Леонардо и Микеланджело. И сквозь весь этот хаос сказаний и легенд, фактов и предположений он стремился провести некую упорядочивающую линию, стремился свести эти бездны прошлого к некоему графическому порядку. Трактаты, что указывались ему, он находил пустячными, ничего не стоящими; «Лаокоон» Лессинга



его раздражал. Он удивлялся, как может мир считать ценными достижениями настолько [фантастические] надуманные обобщения. Мог ли художник продвинуться к большей несомненности, если он верил, что древнее искусство было пластическим, а современное искусство – изобразительным, причем в данном контексте под древним понималось искусство между Балканами и Мореей, а под современным – повсюду от Кавказа и до Атлантики, исключая область священную и неприкосновенную. Его снедало глубочайшее презрение к тем критикам, для которых термины «греческий» и «классический» были взаимно заменимы; и невоздержный гнев так переполнял его, что [всю неделю в субботу], когда патер Батт дал темой очередного реферата «Отелло», на следующий понедельник Стивен представил лобовое и весьма пространное разоблачение «шедевра»! Студенты покатывались со смеху, а Стивен, с презрением оглядывая веселящиеся физиономии, думал о рептилиях, наделенных способностью самопогужения.

Никто не слушал его теорий; никого не интересовало искусство. «Молодые люди в колледже» считали искусство пороком континента, и за их словами стояло, собственно: «Если нам следует иметь искусство, разве недостаточно тем в Священном Писании?» – ибо художник для них был тот, кто пишет картины. Считалось дурным признаком, если молодой человек проявлял интерес к чему-либо, кроме своих экзаменов или будущего «местешка». Уметь поговорить об искусстве было неплохо, но на поверку оно было сплошь «гниль», и притом наверняка безнравственно, они же знали (или, по крайней мере, слыхивали) насчет мастерских. Они не желали подобных дел у себя в стране. Разглагольствованья о красоте, о ритмах, об эстетике – они знали, что кроется за этими милыми словесами. Однажды к Стивену подошел крупный, деревенского вида студент и спросил:

– «Скажи-ка, а ты часом не художник?»

Стивен, не говоря ни слова, оглядел умственно непробиваемого юношу.

– А то если художник, так чо у тебя волосы-то не длинные?»

Несколько свидетелей сцены рассмеялись, а Стивен попытался вообразить, для какого ученого поприща отец юноши предназначал отпрыска.

В пику своему окруженью, Стивен продолжал научные изыскания, с тем большим пылом, что ему мнилось, будто бы на них наложили запрет. Частью неискоренимого эгоизма, который позднее ему предстояло назвать искупителем, было то, что все деяния и помыслы своего микрокосма он мыслил сходящимися к себе самому. Является ли отроческий разум средневековым, что он так прозорлив к тайным пружинам? Полевые виды спорта (или то, что аналогично им в мире умственном) суть, вероятно, самое действенное лечение, и англосаксонские воспитатели предпочитают скорей систему грубой закалки. Но для этого фантастического идеалиста, готового одним махом ускользнуть от сопящего виденья в бутсах, эти игры в войну были равно смехотворны и неравны, на поле, выбранном с невыгодой для него. За быстро твердеющим щитом, уязвимый давал ответ: Пусть-ка эта свора злобностей, всхрапывая и спотыкаясь, пожалует в мои горы за добычей. У него имелась своя земля, и его блещущие олени рога метали презренье им.

И в самом деле, он чувствовал, как в крови его занимается утро; он сознавал, что в Европе уже начинает распространяться какое-то движение. Эта последняя фраза ему определенно нравилась, ибо она, казалось, развертывает ковром для поступи островитян весь обозримый мир. Ничто не могло убедить его, что мир таков, каким его представляют студенты патера Батта. Он не испытывал ни нужды в

осмотрительности, которую именовали необходимейшей, ни пиетета к кодексам, которые именовали основаниями жизни. Он был загадочной фигурой посреди дрожащего общества, в котором у него сложилась некая репутация. Его товарищи не представляли, как далеко можно заходить, следуя за ним, а профессора делали вид, будто полагают, что его серьезность служит достаточной гарантией против попыток неповиновения на практике. Он же, со своей стороны, найдя целомудрие большим неудобством, спокойно и без шума расстался с ним и предавался развлечениям в компании нескольких однокашников из числа тех, кому (как ходили слухи) разгульная жизнь не была неведома. У ректора Бельведера был брат, в то время один из студентов колледжа, и однажды вечером на галерке «Гэйети» (ибо Стивен стал завсегдаем «райка») другой паренек из Бельведера, который тоже учился в колледже, сообщил на ухо Стивену скандальные сведения:

– Слушай, Дедал...

– Ну?

– Интересно, что бы сказал Макналли, если бы встретил своего брата – знаешь этого парня в колледже?

– Знаю...

– На днях я вижу его в Стивенс-Грин с девкой. Мне тут же подумалось, если б Макналли его увидел...

Сплетник сделал паузу, а затем, испугавшись чрезмерных выводов, с видом знатока серьезно добавил:

– Правда, она из себя была... ничего.

Каждый вечер после чая Стивен выходил из дома и направлялся в город вместе с Морисом. Старший курил сигареты, младший сосал лимонные леденцы, и при содействии этих животных благ они коротали долгие прогулки за философской дискуссией. Морис отличался большим вниманием и как-то вечером сообщил Стивену, что он ведет дневник их бесед. Стивен попросил посмотреть дневник, но Морис сказал, что для этого еще хватит времени по окончании первого курса. Оба юноши нисколько не сомневались в себе; они смотрели на жизнь чистыми любопытными глазами (Морис пользовался, естественно, зрением Стивена, когда собственного еще не хватало) и согласно питали такое чувство, что достичь здравого понимания так называемых тайн вполне возможно, если только иметь довольно терпения. В этих ежевечерних странствиях их рассуждения достигали высот, и младший из двух смело оказывал помощь старшему в строительстве целой науки эстетики. Они говорили друг с другом в самом решительном тоне, и Стивен находил Мориса весьма полезным, чтобы выдвигать возражения. У них вошло в привычку, дойдя до ворот Библиотеки, задерживаться за окончанием какой-нибудь нити разговора, и это нередко так затягивалось, что уже не имело смысла, как решал Стивен, заходить и усаживаться за чтение; они обращали лица свои к Клонтарфу и тем же манером отправлялись обратно. Не без известного колебания, Стивен показал Морису первенцев своей поэзии, и Морис спросил, кто же она. Стивен уставил перед собой слегка блуждающий взгляд, прежде чем отвечать, и должен был ответить, в конце концов, что он не знает, кто она.

К сей неизвестной стихи были обращаемы теперь регулярно, и казалось, будто тот дурной сон любви, который Стивен счел нужным увековечить в этих стихах, отныне,

в эту пору «сырого сиреневого тумана, доподлинно простерся над миром. Он покинул свою Мадонну,» отказался от своего слова и неумолимо отбросил весь свой мирок, – и конечно уж, не было удивительно, что его изоляция растревляла у него исступленные вспышки юношеской страсти и пароксизмы одиночества? То свойство ума, что проявляется таким образом, называют (в случае неисправимости) декадентством, однако, если мы взглянем на [жизнь] мир шире, мы неизбежно увидим здесь процесс, ведущий через разложение к жизни. Случались моменты, однако, когда такой процесс казался невыносимым, жизнь на любых общепринятых основаниях – невыносимым оскорблением, и в эти моменты он не молил ни о чем и ни на что не жаловался, но сладко угасающим сознанием чувствовал, что если к нему придет конец, он достигнет его в объятиях неизвестной:

Заря встает, тревога гложет грудь.  
Как все бело, и голо, и постыло!  
Кольцо объятий поспеши сомкнуть!  
Волной волос укрыла б!

Жизнь – сон, всего лишь сон. Прочли уже часы,  
Пропели антифон.  
От солнца лживого, от призрачной красы  
Уходим к мертвым в дом.

Мало-помалу появления Стивена в колледже делались все менее регулярными. Каждый день он выходил из дома в обычное время и отправлялся в центр на трамвае. Однако он сходил всегда на станции Эмьенс-стрит и, идя дальше пешком, частенько предпочитал понаблюдать какие-нибудь обыкновенные проявления городской жизни вместо того, чтобы погружаться в гнетущую жизнь колледжа. Так он часто бродил по семь и по восемь часов кряду, не ощущая ни малейшей усталости. Сырая дублинская зима, казалось, гармонировала с его внутренним чувством неготовности, и малейшие женские заигрыванья заставляли его следовать виляющими неведомыми путями несколько не с большим рвением, чем следовал он по еще менее подходящим путям за проворным движеньем той, что ускользала, а не заигрывала. Что же такое была эта Одна: объятия любви, лишённые губительности любви, смех, разносящийся поутру в горах, час, когда он мог бы повстречать непередаваемое? И если бы только его сердце вздрогнуло хоть на миг в некоем предчувствии этого, он бы вскричал со всей юношеской страстью: «Это так! Это так! Жизнь такова, какую мыслится мне». Он презрительно оттолкнул со своей дороги заплесневелые прописи иезуитов и поклялся, что никогда не будет под их господством. Он презрительно оттолкнул со своей дороги и мир более высокой культуры, в котором не было ни учености, ни искусства, ни достойного обхождения, – мир банальных интриг и банальных побед. И прежде всего он презрительно оттолкнул со своей дороги компанию потасканных юнцов – и поклялся, что никогда не даст им втянуть себя в комплот обмана. Чудесные слова! чудесные клятвы! выкрикиваемые смело и страстно наперекор обстоятельствам. Ибо не так уж нечасто, когда экстаз прерывался на время, Дублин внезапно рукой брал его за плечо, и «холод от этого вызова по повестке резко сжимал сердце. Однажды он шел домой через Фэрвью. У развилки дороги на заболоченной полосе берега валялась большая собака. Время от времени она задирала морду в наполненный испарениями воздух и издавала долгий печальный вой.» Люди на тротуарах останавливались, прислушивались. [и] Стивен был среди них, пока не почувствовал первые капли дождя, а потом продолжал свой путь под хмурым надзором небес, слыша время от времени за спиной этот странный плач.

Было естественно, что чем больше стремился юноша к изоляции, тем больше его окружение пыталось помешать ему в этом. Хотя он был всего лишь на первом курсе,

его считали личностью, а многие даже думали, что хоть его теории отдадут горячкой, смысл-то в них есть. Стивен редко приходил на лекции, ничего не готовил и не появлялся на зачетах, однако не только никто не прохаживался по поводу таких вольностей, но многие допускали, что он, видимо, тип настоящего художника и в духе нравов этого малоизвестного племени занимается самообразованием. Не надо думать, что популярный Ирландский университет был лишен умственного ядра. За пределами сомкнутых рядов поборников национального возрождения тут и там встречались студенты, у которых были свои идеи, и их сотоварищи проявляли к ним относительную терпимость. К примеру, был серьезный молодой феминист по имени Макканн, быстрый в движениях и прямой в речах, носивший бородку и охотничий костюм и бывший верным читателем «Ривью оф ривьюз». Студенты не могли взять в толк, что за идеи влекут его, и считали, что достаточной наградой за оригинальность ему служит кличка «Бриджи». Был также записной оратор – необычайно сговорчивый молодой человек, выступавший на всех собраниях. Крэнли тоже был личностью, а Мэдден вскоре был признан «рупором» патриотической партии. Стивен же, можно сказать, занимал положение вельможи с причудами: весьма немногие слышали о писателях, которых он, как передавали, читал, а слышавшие считали их сплошь безумцами. Но вместе с тем его поведение со всеми было столь непреклонным, что его соглашались признать оставшимся в здравом уме и без ущерба преодолевшим все искушения. К нему начали проявлять внимание, звать в гости и делать, обращаясь к нему, серьезную мину. Его теории были всего лишь теориями, и, коль скоро за ним покуда не числилось никаких нарушений закона, он был почтительно приглашен сделать доклад в Литературно-историческом обществе колледжа. Дата была назначена на конец марта, и тема была объявлена как «Драма и жизнь». Незирая на риск убийственной отповеди, многие пытались разговорить молодого оригинала, но Стивен хранил надменное молчание. Однажды, когда он возвращался с вечеринки, репортер одной из дублинских газет, который был в тот вечер представлен юному дарованию, подошел к нему и, обменявшись какими-то репликами, пустил пробный шар:

– Я тут читал этого писателя... как его бишь вы называли... Метерлинка на днях... знаете?

– Да...

– Я читал... По-моему, называлось «Самозванец»... Очень... любопытная пьеса...

Стивен не желал беседовать о Метерлинке с этой личностью, однако ему не хотелось и причинить обиду молчанием, какого равно заслуживали и слова, и тон, и намерение; так что он принялся спешно отыскивать в уме ни к чему не обязывающую банальность, пригодную для уплаты долга взаимности. Наконец он сказал:

– Поставить ее на сцене было бы нелегко.

Журналист был вполне удовлетворен таким ответом, как если бы именно это впечатление и вызвала у него пьеса Метерлинка. Он с убежденностью подтвердил:

– О да!.. почти невозможно...

Когда так задевали самое дорогое сердцу, Стивен чувствовал глубокую рану. Здесь надо сразу и напрямик сказать, что в это время Стивен испытывал определенное влияние, самое прочное в своей жизни. Зрелище мира, которое доставлял ему его разум, со всеми низостями и заблуждениями, рядом с тем зрелищем мира, что доставлял ему сидящий внутри него монстр, достигший сейчас относительно

героической стадии, нередко наполняло его существо внезапным отчаянием, смягчить которое удавалось только меланхолическим виршеплетством. Он было совсем уж решил считать оба эти мира чуждыми друг другу – будь сей предельный пессимизм тайным или явным, – но тут, чрез медиума добытых с трудом переводов, он повстречался с духом Генрика Ибсена. Этот дух стал ему понятен «мгновенно.» То же мгновенное понимание явилось у него несколько лет назад, когда он прочел в английской биографии Руссо рассказ, в тоне крайнего замешательства и извинения, о том как юный философ, в ту самую пору, когда он вставал на борьбу за Истину и Свободу, стащил ложки у своей любовницы и допустил, чтобы в краже обвинили служанку. Сейчас было снова как с [извращенным] порочным философом: Ибсен не нуждался ни в адвокатах, ни в критиках: умы старого скандинавского поэта и смятенного юного кельта встретились и совпали в один сияющий миг. Прежде всего Стивена пленила очевиднейшая высота искусства: он был уже недалек от тех дней, когда он стал провозглашать Ибсена – руководясь довольно скудным, конечно, знанием предмета – первым из драматургов мира. В переводах индийских, греческих или китайских драм он видел только его предвестия или предварительные пробы, а в классической французской и романтической английской драме – предвестия более смутные и пробы менее удачные. Однако не одни высота и блеск пленили его, не этому он воздавал ликующую хвалу в радостном порыве духа. За бесстрастную манеру художника чувствовался подлинный дух самого Ибсена: [Ибсен с его глубоким самодовольством, Ибсен с его надменным, утратившим все иллюзии мужеством, Ибсен с его скрупулезной и своевольной энергией.] дух искренней, мальчишеской смелости, гордости, лишенной иллюзий, скрупулезной и своевольной [12 - Измененный вариант фразы написан карандашом на полях, возможно, позднее основной рукописи.]. Пускай мир разгадывает себя каким ему угодно манером, пускай гипотетический его Создатель оправдывает Себя любыми процессами, какие сочтет за благо, но достоинство человека нельзя было утвердить ни на иоту сильнее, нежели этим ответом. Здесь, а не в Шекспире и не в Гёте пребывал наследник первого поэта европейцев, здесь, как с тем же успехом лишь у Данте, человеческая личность возымела соединение с художественной манерой, которая сама была почти что естественным явлением; а дух времени готовней сближал с норвежцем, нежели с флорентинцем.

Молодые люди в колледже не имели ни малейшего представления о том, кто такой Ибсен, но из того, что они смогли подхватить там и сям, они подозревали, что он, по всей видимости, один из тех безбожных писателей, которых секретарь Папы заносит в Индекс. Услышать в своем колледже такое имя из чьих-то уст было явно в новинку, но коль скоро наставники не подавали знака к осуждению, они заключили, что лучше всего переждать. Между тем это все произвело на них некоторое впечатление; многие стали поговаривать, что Ибсен, хотя и безнравственен, однако большой писатель, а один из профессоров, как передавали, сказал, что когда он прошлым летом проводил в Берлине свои каникулы, там много говорили о пьесе Ибсена, шедшей в одном из театров. Вместо того чтобы писать курсовую работу, Стивен начал изучать датский язык, и это раздули до сообщений, будто бы он глубокий специалист в датском. Юноша был достаточно лукав, чтобы извлечь выгоду из слухов, опровергать которые он труда себе не давал. Он улыбался при мысли, что эти люди побаиваются его в глубине души как иноверца, и дивился, на каком же уровне должны быть их верования. Патер Батт беседовал с ним помногу, и Стивен с большой охотой выступал «провозвестником» нового порядка. В беседе он никогда не горячился и спорил так, будто бы ход спора заботил его не слишком, в то же время ни на секунду не упуская нити. Иезуиты и их паства могли бы сказать себе: юнцы, независимые с виду, нам знакомы и сговорчивые патриоты знакомы тоже, но что ты за птица? С учетом всех невыгод их положенья, они отлично ему подыгрывали, и Стивен не мог понять, зачем они себя утруждают, приноравливаясь к нему.

– Да-да, – сказал однажды ему патер Батт после одной из подобных сцен, – понимаю... я понял вашу мысль... Ее можно, разумеется, отнести и к драмам Тургенева?

Стивен читал некоторые переводы романов и рассказов Тургенева и был ими восхищен. Поэтому он спросил живо:

– Вы имеете в виду его романы?

– Да, романы... – поспешил подтвердить патер Батт, – его романы, конечно... но ведь они не что иное, как драмы... разве не так, мистер Дедал?

Стивен частенько посещал один дом в Доннибруке, в котором царил дух либерального патриотизма и усердных занятий. В семействе было несколько дочерей на выданье, и едва кто-нибудь из студентов подавал в этом отношении надежду, его неизбежно ожидало приглашение в дом. Молодой феминист Макканн был здесь постоянным гостем, а Мэдден навещался время от времени. Отец семейства, мужчина уже в годах, в будни по вечерам играл в шахматы со взрослыми сыновьями, а по воскресеньям устраивал вечеринки с играми и музыкой. Музыку обеспечивал Стивен. В гостиной стояло старое пианино, и обычно, когда игры надоедали гостям, одна из дочерей подходила с улыбкой к Стивену и «просила спеть какую-нибудь из его прекрасных песен. Клавиши инструмента были стерты и порой не давали звука, но тембр был мягким и сочным; Стивен усаживался и исполнял свои прекрасные песни пред вежливой, утомившейся и чуждой музыке публикой.» [13 - На полях против этих фраз написано красным карандашом: «не хотелось уходить».] Песни, во всяком случае для него, были и впрямь прекрасны – старинные народные песни Англии, изысканные песни елизаветинцев. По части «морали» они бывали порою слегка сомнительны, и слух Стивена тотчас улавливал нотку неодобрения, когда ему хлопали после них. Любопытные дочери находили эти песни очень оригинальными, но мистер Дэниэл говорил, что Стивену следует петь оперные арии, если он хочет, чтобы его голос оценили как должно. Хотя Стивен не чувствовал никакой взаимной симпатии между собой и этим кружком, ему в нем было легко и просто, и, в полном согласии с их призывами, он там «был как дома», когда сидел на диване, слушая разговоры и пересчитывая пальцами комки конского волоса в обивке. «Молодые люди и хозяйские дочери предавались невинным развлечениям под надзором мистера Дэниэла, но всякий раз как в их играх задевались художественные материи, эгоистически настроенный Стивен относил это на счет своего присутствия. Он видел, как наползает серьезность на умные черты молодого человека, которому выпало задать какой-нибудь вопрос одной из хозяйских дочерей:

– Так, кажется, моя очередь... Что ж... дайте подумать... (и тут он делался так серьезен, как только может молодой человек, до этого хохотавший пять минут кряду)... – кто ваш любимый поэт, Энни?

Воцарялось молчание: Энни думала. Энни с молодым человеком слушали один курс.

– ...Немецкий?

– ...Да.

Энни снова думала, а общество ожидало, когда его просветят.

– Думаю... Гёте.

Макканн зачастую устраивал шарады,» в которых отводил себе самые неистовые роли. Шарады были с большим юмором, и все охотно принимали участие, не исключая и Стивена. Обдуманый и спокойный стиль Стивена был полной противоположностью бурной манере действия Макканна, и поэтому их часто «спаривали» вместе. Эти шарады слегка утомляли Стивена, однако Макканн чрезвычайно заботился об их устройстве, будучи убежден, что развлечения необходимы для телесного благополучия человечества. Северный акцент молодого феминиста неизменно возбуждал смех, а его украшенное эспаньолкой лицо было весьма способно делать нахальные мины. В колледже Макканн из-за его «идей» так и не стал до конца своим, но здесь он был явно причастен к внутренней жизни семейства[14 - Напротив этого абзаца написаны красным карандашом слова: «маскарад: Эмма».]. В этом доме было в обычае чуть не сразу переходить с молодыми гостями на обращение «по имени,» и хотя Стивен не удостоился такой чести, Макканна никогда не именовали иначе как «Фил». Стивен прозвал его «Душка Данди», по бессмысленной чисто звуковой ассоциации его отрывистого имени и «отрывистых манер с одной» строчкой из этой песни:

Макай, простофиля, макай в чарку нос.

Когда собравшиеся настраивались на серьезный лад, мистера Дэниэла просили что-нибудь продекламировать. Мистер Дэниэл был прежде директором театра в Вексфорде и ему часто приходилось «выступать на митингах и собраниях» по всей стране. В почтительной тишине он читал патриотические стихи, произнося их с резкими интонациями. Читали стихи также и дочери. Во время этих декламаций Стивен всегда, не отрываясь, глядел на картину с изображением Святого Сердца, что висела прямо над головой читающего. Сестры Дэниэл выглядели не столь импозантно, как их отец, а их наряды были [слово вымарано] демонстративно национальны. «Иисус же на рыночной литографии как-то демонстративно» выставлял напоказ свое сердце: и обычно эта переключка пустых потуг завораживала сознание Стивена до некоего приятного отупения. Часто представлялась шарада на парламентскую тему. Несколько лет назад мистер Дэниэл был депутатом от своего графства, и поэтому его избирали представлять спикера палаты. Макканн изображал всегда члена оппозиции и резал без обиняков. Какой-нибудь депутат протестовал, и так разыгрывалась пародия на парламентские дебаты:

– Господин спикер, я должен попросить...

– К порядку! К порядку!

– Вы знаете, что это ложь!

– Вам следует взять эти слова обратно, сэр!

– Как я уже говорил до того, как сей достопочтенный джентльмен меня перебил, мы должны...

– Я не возьму этих слов обратно!

– Я вынужден попросить достопочтенных депутатов соблюдать порядок.

– Я не возьму своих слов обратно!

– К порядку! К порядку!

Другой любимой игрой была «Кто есть кто». Человек выходит из комнаты, а оставшиеся загадывают имя кого-нибудь, к кому отсутствующий, как считают, питает особую симпатию. Когда же вышедший возвращается, он должен, задавая вопросы по кругу, попытаться отгадать имя. Игру эту часто использовали для того, чтобы привести в смущенье юного гостя мужского пола, поскольку по ходу игры как бы предполагалось, что у каждого студента сердечная история с какой-нибудь юной леди, находящейся не в особенном отдалении; но молодые люди, сперва озадаченные намеками, делали в конце концов вид, будто бы, по их мнению, проницательность прочих игроков всего лишь опередила их собственное открытие, неожиданное и не лишённое приятности. В случае Стивена компания не могла всерьёз делать подобных предположений, и потому, когда он участвовал в игре в первый раз, для него загадали по-другому. [Компания была] Играющие были не в состоянии ответить на его вопросы, когда он возвратился в комнату: никто из кружка не мог дать ответ на такие вопросы как: «Где это лицо живет?», «Состоит ли в браке?», «Сколько лет ему?» до тех пор, пока они быстро вполголоса не посоветовались с Макканном. Ответ «В Норвегии» сразу же дал Стивену ключ к разгадке, игра на этом закончилась, и компания принялась развлекаться в том же духе, как и до этого вторжения серьезности. Стивен уселся рядом с одной из дочерей и, любясь деревенской милоткой ее черт, спокойно ожидал ее первых слов, которые, как он заранее знал, мгновенно разрушат впечатление. С минуту ее большие красивые глаза смотрели на него, словно «собирались ему довериться,» и после этого она спросила:

– Как это вы так быстро отгадали?

– Я знал, что вы имеете в виду его. Только вы с возрастом ошиблись.

Другие слышали это; но ее поразила возможная необъятность неведомого, и ей льстило беседовать с одним из тех, кто напрямик беседовал с необычным. Она наклонилась вперед и заговорила с мягкой серьезностью:

– Ну а сколько же ему?

– За семьдесят.

– Правда?

Стивен считал уже, что он достаточно исследовал данную область, и он прекратил бы свои визиты, не будь двух причин, которые побуждали его продолжать их. Первая причина состояла в неприятности его собственного дома, вторую же служил интерес, вызванный появлением нового лица. Однажды вечером, когда он рассеянно размышлял на диване с набивкой конского волоса, он услышал свое имя и поднялся, чтобы его представили. Перед ним стояла смуглая девушка с развитыми формами, которая произнесла, не дожидаясь, куда мисс Дэниэл представит их:

– Кажется, мы уже знакомы.

Она присела рядом с ним на диван, и он узнал, что она учится в одном колледже с барышнями Дэниэл и подписывается всегда только по-ирландски. Она сказала, что Стивен «тоже должен учить ирландский» и вступить в Лигу. Молодой человек из числа гостей, [с] лицо которого всегда выражало ту же заученную целеустремленность, заговорил с ней через голову Стивена, обращаясь по-свойски и называя ее ирландским именем. Вследствие этого Стивен принял сугубо формальный тон и называл ее исключительно «мисс Клеры». Она же, со своей стороны, как будто



собралась «включить его в глобальную орбиту своих патриотических чар; и когда он помогал ей надеть жакет, она позволила ему на мгновение задержать руки на теплой телесности своих плеч».

## XVII

К этому времени домашняя жизнь Стивена стала достаточно неприятной; направление его развития шло вразрез с течением устремлений его семейства. Вечерние прогулки с Морисом были запрещены, ибо сделалось очевидным, что Стивен совращает брата на стези праздности. На Стивена усиленно наседали с расспросами об его успехах в колледже, и мистер Дедал, раздумывая над его уклончивыми ответами, начал выражать опасения, что его сын попал в дурную компанию. Юноше дали понять, что, если на предстоящих экзаменах он не покажет себя блестяще, на его университетском образовании будет поставлен крест. Предостережение не слишком его смутило, так как он знал, что его судьба в этом отношении в руках его крестного отца, скорей чем родного. Как чувствовалось ему, мгновения юности слишком драгоценны, чтобы растрачиваться в тупых механических усилиях, и он решил идти в своих намерениях до конца, к чему бы это ни привело. В семье рассчитывали, что он сразу же последует по пути респектабельности, сулящей выгоду, и спасет положение, но он не мог оправдать этих ожиданий. Он был признателен за них: они впервые дали расцвести его эгоизму, и он радовался, что его жизнь становится настолько эгоцентрична. Однако он [также] ощущал, что есть некоторые занятия, которые «было бы губительно» откладывать.

Морис воспринял запрет с крайним неудовольствием, и брату пришлось удерживать его от открытого протеста. Сам же Стивен его перенес легко: он мог прекрасно расслабиться в одиночестве, а человеческие связи, уж если на то пошло, можно было обрести и с некоторыми из однокашников. Теперь он энергично занимался подготовкой своего доклада в Литературно-историческом обществе и всячески старался придать ему максимум взрывной силы. Ему казалось, что одного слова могло бы хватить, чтобы зажечь в студентах порыв к свободе, или, по крайней мере, его трубный глас мог бы созвать под его знамена некое избранное меньшинство. Макканн был председателем общества, и поскольку он стремился заранее узнать идеи доклада, они почасту вместе уходили из Библиотеки в десять и, беседуя, направлялись к жилищу председателя. Макканн слыл человеком бесстрашным и смелым в выражениях, но Стивен обнаружил, что от него трудно добиться какой-то определенности в тех вопросах, которые считались опасной областью. Макканн мог свободно рассуждать о феминизме и рациональном устройстве жизни: он считал, что необходимо совместное обучение обоих полов, дабы они с раннего возраста осваивались с влияниями друг друга, считал, что женщинам должны быть даны все те же возможности, какие даны так называемому сильному полу, и считал также, что женщина имеет право соперничать с мужчиной во всех областях общественной и умственной жизни. Он отстаивал мнение, что человек должен жить, не прибегая ни к каким возбуждающим средствам, что он морально обязан оставить после себя потомство, здоровое духом и телом, и что он не должен допускать над собой диктата каких-либо условностей во всем, что касается одежды. Стивену доставляло удовольствие обстреливать эти теории меткими пулями:

– По-твоему, никакие сферы жизни не должны быть для них закрыты?

– Безусловно.

- Так по-твоему, солдат, полицию и пожарников тоже следует набирать из них?
- Для некоторых общественных обязанностей женщины не приспособлены физически.
- Готов тебе верить.
- Но им должно быть позволено избирать любую гражданскую профессию, к которой они имеют склонность.
- Быть врачами и юристами?
- Безусловно.
- А как насчет третьей ученой профессии?
- Что ты имеешь в виду?
- Ты считаешь, из них выйдут хорошие исповедники?
- Ты далеко заходишь. Церковь не допускает женского священства.
- Ах, Церковь!

Как только беседа доходила до этой точки, Макканн отказывался продолжать. Концом разговора обычно оказывался тупик:

- Но ты же лазаешь по горам, чтобы дышать свежим воздухом?
- Да.
- А летом купаешься?
- Да.
- Но ведь горный воздух и морская вода являются возбуждающими средствами!
- Да, но естественными.
- А что ты называешь неестественным возбуждающим средством?
- Опьяняющие напитки.
- Но ведь их производят из природных растительных веществ, разве не так?
- Возможно, но это делается путем неестественного процесса.
- Значит, ты считаешь винокуров великими чудотворцами?
- Опьяняющие напитки изготавливаются для удовлетворения искусственно внушенных потребностей. В нормальном состоянии человек не нуждается для жизни в таких подпорках.
- Дай мне пример человека в состоянии, которое ты называешь «нормальным».

- Это человек, живущий здоровой и естественной жизнью.
- Скажем, ты?
- Да.
- Значит, ты представляешь нормальное человечество?
- Представляю.
- Выходит, нормальное человечество близоруко и не имеет слуха?
- Не имеет слуха?
- Да, я так полагаю, у тебя нет слуха.
- Мне нравится слушать музыку.
- Какую?
- Всякую.
- Ты же не можешь отличить одну мелодию от другой.
- Нет, я различаю некоторые мелодии.
- Например?
- Я узнаю «Боже, храни королеву».
- Не потому ли что кругом все встанут и снимают шляпы.
- Ладно, допустим, у меня ухо слегка с дефектом.
- А как с глазами?
- Ну, и они тоже.
- Так почему же ты представляешь нормальное человечество?
- В моем образе жизни.
- То есть в твоих потребностях и в тех способах, какими ты их удовлетворяешь?
- Вот именно.
- И каковы же твои потребности?
- Воздух и пища.
- А нет ли каких-нибудь дополнительных?
- Приобретение знаний.

– А ты не нуждаешься также в религиозном утешении?

– Возможно... время от времени.

– А в женщине... время от времени?

– Никогда!

Последняя реплика сопровождалась неким благонаправленным движением челюстей и была сказана столь деловым тоном, что Стивен громко расхохотался. Что до самого факта, то Стивен, при всей своей подозрительности на сей предмет, склонен был верить в девственность Макканна и, хотя относился к ней с большой неприязнью, решил иметь в виду скорее ее, нежели противоположное явление. При мысли о том, к какой обратной отдаче приводит это не имеющее границ упрямство, его почти что бросало в дрожь.

Упорство, с каким Макканн отстаивал праведную жизнь и осуждал беспутство как грех перед будущим, и раздражало, и уязвляло Стивена. Оно раздражало его тем, что было настолько в стиле *paterfamilias*, а уязвляло тем, что словно бы признавало его самого неспособным к подобной участи. Со стороны Макканна это ему казалось несправедливым и неестественным, и он привлек одну сентенцию Бэкона. Цитата гласила, что заботу о потомстве больше всего проявляют те, у кого нет потомства; что же до остального, Стивен заявил, что ему непонятно, по какому праву будущее может ему препятствовать в проявлениях своих страстей в настоящем.

– Учение Ибсена вовсе не таково, – сказал Макканн.

– Учение! – вскричал Стивен.

– Мораль «Призраков» – полная противоположность тому, что ты говоришь.

– Ты рассматриваешь пьесу как научный документ. Фу!

– «Призраки» учат самоограничению.

– О Боже! – с мукой в голосе воскликнул Стивен.

– Вот мой дом, – сказал Макканн, останавливаясь у ворот. – Я должен войти.

– Благодаря тебе для меня теперь Ибсен навеки связан с фруктовой солью Эно, – сказал Стивен.

– Дедал, – произнес решительно председатель, – ты парень неплохой, но тебе еще предстоит усвоить «ценность альтруизма и чувство ответственности индивидуума.»

Стивен решил обратиться к Мэддену, чтобы [разузнать] выяснить, где можно найти мисс Клери. К этой задаче он подошел с осмотрительностью. Они с Мэдденом сталкивались часто, однако редко заводили серьезные разговоры, и хотя крестьянское сознание одного было под весьма сильным впечатлением от столичности другого, в отношениях юношей были тепло и непринужденность. Мэдден, прежде безуспешно пытавшийся привить Стивену националистическую горячку, был удивлен новым поворотом в речах друга. Перспектива свершить столь важное обращение привела его в восторг, и он со всем красноречием начал взывать к чувству справедливости. Стивен на время усыпил свои критические наклонности. Желанная

община, к созданию которой Мэдден тщился привлечь его силы, казалась ему не больше чем идеалом, и то освобождение, которым удовольствовался бы Мэдден, ничуть не удовлетворило бы его. Тираном островитян для него был римлянин, а не сакс; и тирания так глубоко въелась во все души, что разум, некогда попранный столь надменно, ныне с пылом доказывал, что эта надменность друг ему. Боевым кличем были слова «Вера и Родина», священные слова в этом мире искусно разжигаемых энтузиазмов. Беспрекословной покорностью и ежегодною данью ирландцы истово добивались той чести, которой с расчетом лишили их, наделив ею те народы, что и в [настоящем] прошлом, и в [прошлом] настоящем если и преклоняли колена, то всегда с вызовом. Меж тем сонмища проповедников уверяли их, что великие почести уже грядут, и призывали вечно хранить надежду. Последние станут первыми, как говорит христианство, и тот, кто себя принизил, возвысится, и в награду за несколько столетий слепой верности «его Святейшество Папа» преподнес запоздалого кардинала острову, что был для него, возможно, всего лишь «позднейшим добавленьем к Европе».

Мэдден был готов признать истиной большую часть этого, но дал понять Стивену, что новое движение является политическим. Если знамя его будет запятнано хотя бы малейшей неверностью, народ не сплотится вокруг него, и вот поэтому его работники стремятся, насколько возможно, действовать рука об руку с духовенством. На это Стивен возразил, что, действуя рука об руку с духовенством, революционеры снова и снова обрекают свое дело на неудачу. Мэдден согласился, но ведь сейчас по крайней мере духовенство приняло сторону народа.

– Но как ты не понимаешь, – сказал Стивен, – что они поощряют изучение ирландского, чтобы их паства была тем надежней защищена от «волков неверия»; что они тут видят возможность увлечь народ в прошлое с его слепой заученной верой?

– Но для нашего крестьянина действительно нет никакой пользы в английской литературе.

– Вздор!

– Во всяком случае современной. Ты сам же всегда бранишь...

– Английский язык – средство, связующее с континентом.

– Нам нужна ирландская Ирландия.

– Мне сдается, тебе не важно, какие глупости человек несет, лишь бы он их нес по-ирландски.

– Я не могу во всем согласиться с твоими современными идеями. Мы ничего не хотим принимать от этой английской цивилизации.

– Но цивилизация, о которой ты говоришь, не английская – она арийская. Современные идеи не английские; они в общем русле арийской цивилизации.

– Ты хочешь, чтобы наши крестьяне переняли бы грубый материализм йоркширских крестьян?

– Можно подумать, эту страну населяли херувимы. Черт меня побери, если я вижу большую разницу между крестьянами; они все для меня неотличимы, как один гороховый стручок от другого. Правда, йоркширский, наверно, лучше питается.

- Конечно, ты презираешь крестьянина, потому что живешь в городе.
- Я ни в коей мере не презираю его труд.
- Но ты презираешь его самого – он для тебя недостаточно умен.
- Послушай, Мэдден, это же абсурд. Начать с того, что он хитер как лиса – попробуй-ка, всучи ему фальшивую монету! Но его ум низшего порядка. Я действительно не считаю, что ирландский крестьянин «представляет» какой-то замечательный тип культуры.
- В этом ты весь! Конечно, ты над ним издеваешься, потому что он отстал от века и живет простой жизнью.
- Вот именно, тусклой рутинной жизнью – счет медяков, еженедельный загул и еженедельная обедня – жизнь, проживаемая в мелких плутнях и в страхе, между тенями приходской церкви и богадельни!
- А жизнь в большом городе вроде Лондона кажется тебе лучше?
- Возможно, в английском городе [английский] интеллект не на особо высоком уровне, но уж по крайней мере повыше, чем умственное болото ирландского крестьянина.
- А если сравнить их с точки зрения морали?
- И что же?
- Ирландцы во всем мире известны по крайней мере одной своей добродетелью.
- Ого! Я знаю, что сейчас последует!
- Но это же правда: они целомудренны.
- Без сомнения.
- Тебе нравится на каждом шагу смешивать свой народ с грязью, но ты не можешь его обвинять...
- Хорошо, отчасти ты прав. Я целиком признаю, что мои земляки еще не продвинулись до технических достижений парижского распутства, потому что...
- Потому что?..
- Потому что они делают то же самое вручную, вот почему!
- Бог мой, ты же не хочешь сказать, будто ты думаешь...
- Милый мой юноша, я знаю, что говорю правду, и знаю, что тебе это точно так же известно. Спроси любого нашего священника и любого доктора. Мы с тобой оба учились в школе – и довольны об этом.
- О, Дедал!

На этом обвинении разговор смолк. Потом Мэдден произнес:

– Что ж, если у тебя такие мысли, я не понимаю, зачем ты приходишь ко мне и начинаешь говорить про изучение ирландского.

– Я бы хотел его выучить... просто как язык, – отвечал Стивен лживо. – Во всяком случае, хотел бы попробовать.

– Значит, ты признаешь, что все-таки ты ирландец, а не из этих красномундирных.

– Разумеется, признаю.

– А ты не думаешь, что всякий ирландец, достойный этого имени, должен уметь объясняться на родном языке?

– Право, не знаю.

– А ты не думаешь, что мы, как народ, имеем право быть свободными?

– Знаешь, Мэдден, не задавай мне таких вопросов. Ты можешь выражаться лозунгами, но я не могу.

– Но все-таки, человек, должны же у тебя быть какие-то политические взгляды!

– Мне еще нужно их продумать. Я художник, ты же знаешь это. Ты веришь, что я художник?

– О да, я знаю это.

– Отлично, но тогда какого дьявола ты от меня ждешь, чтобы я разрешил все вопросы одним махом? Дай мне время.

Так было решено, что Стивен начнет ходить на курсы ирландского языка. Он купил учебники О'Грони начального уровня, изданные Гэльской Лигой, но отказался платить вступительный взнос в эту лигу и носить ее значок в петлице. Он разыскал что хотел, а именно ту группу, в которой была мисс Клери. Домашние не стали возражать против его новой причуды. Мистер Кейси научил его нескольким южным песням по-ирландски и, чокаясь со Стивеном, всегда говорил «Шинн Фейн» вместо «Ваше здоровье». Миссис Дедал, по всей вероятности, была довольна, поскольку надеялась, что бдительному надзору священников и компании безобидных энтузиастов удастся в конце концов наставить ее сына на путь истинный: она уже начинала за него бояться. Морис ничего не сказал и не стал спрашивать ни о чем. Он не понимал, что заставило его брата примкнуть к патриотам, и не верил, что Стивен находит для себя хоть какую-то пользу в изучении ирландского; однако выжидал молча. Мистер Дедал сказал, что он не против того, чтобы его сын изучал язык, покуда это не отвлекает его от основных занятий.

Однажды вечером, придя из школы, Морис принес весть, что через три дня начнется говение. Эта внезапно услышанная новость разом показала Стивену его состояние. Он едва мог поверить, что за протекший год его взгляды так неузнаваемо изменились. Всего лишь двенадцать месяцев назад он молил о прощении грехов и давал обеты бесконечного раскаяния. Он едва мог поверить, что это он, а не кто-то другой так истово стремился к тому единственному средству спасения, какое

Церковь дарует своим грешным чадам. Он изумлялся тому ужасу, который охватывал его тогда. Однажды вечером во время говения он спросил брата, о чем сейчас читает проповеди священник. Они стояли у витрины писчебумажного магазина, и Стивена подтолкнула задать вопрос картинка в витрине, изображавшая святого Антония. Весь расплывшись в улыбке, Морис ответил:

– Сегодня про ад.

– И в каком духе проповедь?

– В обычном. С утра вонь, а вечером боль.

Рассмеявшись, Стивен взглянул на коренастую фигуру подростка рядом с собой. Морис возвещал факты сухим и саркастическим тоном, и сумрачное лицо его не менялось в цвете, когда он смеялся. При виде его Стивену вспоминались иллюстрации к «Сайлесу Верни». Его мрачная серьезность, старательная вычищенность сильно поношенного платья, вид преждевременного разочарования – все это вызывало мысль о некой духовной или философской проблеме, пересаженной из Голландии и принявшей человеческое обличье. Стивен не знал, на какой стадии пребывает проблема, и полагал, что будет мудрей дать ей решиться своим путем.

– А знаешь, что еще священник сказал? – спросил Морис, помолчав.

– Что?

– Он сказал, что мы не должны иметь спутников.

– Спутников?

– «Что мы не должны по вечерам гулять ни с каким постоянным спутником. Если мы хотим прогуляться, так он сказал, то надо сразу несколькими идти вместе».

Стивен остановился посреди улицы и прихлопнул в ладоши.

– Что это с тобой? – спросил Морис.

– Я знаю, что это с ними, – ответил Стивен. – Они боятся.

– Конечно боятся, – подтвердил Морис хмуро.

– Ну а ты, кстати сказать, конечно, говеешь по всей форме?

– Ну да. Я буду причащаться завтра утром.

– Неужто?

– Скажи правду, Стивен. Когда тебе мать по воскресеньям дает деньги, чтобы пойти к малой полуденной мессе на Мальборо-стрит, ты в самом деле ходишь к мессе?

Стивен слегка покраснел:

– Почему ты об этом спрашиваешь?

– Скажи правду.



– Нет... не хожу.

– А куда ты ходишь?

– Да повсюду... по городу.

– Так я и думал.

– Смышленный парень, – произнес Стивен как бы в сторону. – А могу я спросить, ходишь ли ты сам к мессе?

– Да, хожу, – ответил Морис.

[Затем] Некоторое время они шли молча. Потом Морис сказал:

– Я плохо слышу.

Стивен никак не отозвался.

– И по-моему, я слегка глуповат.

– То есть?

В глубине души Стивен чувствовал, что он осуждает брата. В эту минуту он не мог счесть желательной свободу от давящих влияний религии. Ему казалось, что всякий, кто способен так прозаически смотреть на свои душевные состояния, недостоин свободы и годен только для жесточайших «оков Церкви».

– Понимаешь, священник нам рассказал сегодня одну подлинную историю, про смерть пьяницы. Патер пришел к нему, начал с ним говорить и предложил – пусть тот скажет, что он обо всем жалеет и пьянство свое обещает бросить. Тот чувствовал уже, что ему вот-вот конец, но уселся в постели прямо, так священник сказал, и откуда-то из-под одеял вытаскивает черную бутылку...

– Ну и?

– ...и говорит: «Отче, если вот эта последняя, которую мне суждено выпить на этом свете, так я ее должен выпить».

– Ну и?

– И до дна ее осушает. И в ту же минуту упал мертвым, говорит священник, понизив голос. «Этот человек рухнул мертвым в своей постели, он рухнул трупом. Он умер и отправился...» Он говорил так тихо, что мне было не слышно, а я хотел знать, куда отправился этот человек, и я поэтому нагнулся вперед, прислушиваясь, и бац! – ударился носом о переднюю скамейку. А пока я тер нос, все уже начали становиться на колени к молитве, и я так и не узнал, куда он отправился. Разве не глупо?

Стивен расхохотался. Он хохотал так громко и заразительно, что прохожие оборачивались на него и начинали улыбаться в ответ. Он упер руки в боки, и из глаз его текли слезы. При каждом взгляде на смугловатое строго-торжественное лицо Мориса его разбирал новый приступ хохота. В промежутках он только мог выговорить – «Я бы все отдал, чтоб поглядеть – «Отче, если эта последняя...» – и

ты с разинутым ртом. Все бы отдал, чтоб поглядеть».

Уроки ирландского проходили по средам вечером в доме на О'Коннелл-стрит, в одной из задних комнат на третьем этаже. В группе были шестеро юношей и три девушки. Преподавателем был молодой человек в очках с весьма болезненным выражением на лице и весьма искривленным ртом. Говорил он высоким голосом с резким северным акцентом. Он никогда не упускал случая поиздеваться над шонизмом и над теми, кто не желает изучать свой родной язык. Он говорил, что бьюрла [15 - Английский язык (ирл.)] – язык торговли, а ирландский – глагол души, и имел две дежурные остроты, неизменно вызывавшие смех. Одна из них была «Всемогущий доллар», а другая – «Высокодуховный англосакс». Все считали мистера Хьюза великим энтузиастом, а некоторые верили, что его ждет карьера великого оратора. Вечерами по пятницам, когда Лига устраивала общественные собрания, он часто брал слово, но, не владея достаточно ирландским, всегда извинялся в начале речи, что будет обращаться к слушателям на языке [бравых] «высокодуховных англосаксов». Каждую речь он всегда заканчивал какой-нибудь стихотворной цитатой. Он осыпал саркастическими нападкамии Тринити-колледж и Ирландскую парламентскую партию. Он не мог считать патриотами людей, которые принесли присягу на верность королеве Англии, и не мог считать национальным университетом учреждение, где не выражаются религиозные верования большинства ирландского народа. Его речам всегда громко аплодировали, и Стивен слышал, как некоторые в зале выражали уверенность, что он имел бы огромный успех в суде. Наведя справки о Хьюзе, Стивен узнал, что его отец – стряпчий националистических взглядов, живущий в Армахе, а сам он изучает право в Кингс-Иннс.

Уроки, которые посещал Стивен, происходили в очень скудно мебелированной комнате, освещавшейся [с помощью] газовым рожком с треснувшим абажуром. Над стойкой камина висел портрет священника с бородой, которым и был отец О'Грони, как узнал Стивен. То были курсы для начинающих, и продвижение сильно замедлялось из-за тупости двух юношей. Другие же схватывали все быстро и трудились прилежно. Для Стивена оказалось весьма [тяжело] затруднительно произносить гуттуральные, однако он старался как мог. Вся группа настроена была чрезвычайно серьезно и патриотично. Единственный случай, когда Стивен мог наблюдать у них некоторое легкомыслие, был на уроке, где их познакомили со словом «gradh». Три девушки начали смеяться, а с ними и двое тупых юношей, увидев что-то очень забавное то ли в ирландском слове, обозначающем любовь, то ли в самом этом понятии. Но мистер Хьюз, трое остальных юношей и Стивен сохраняли полную серьезность. Когда возбужденность улеглась, внимание Стивена привлек младший из двух тупиц, который еще оставался весь раскрасневшимся. Румянец у него не сходил так долго, что Стивену даже стало не по себе. «Юношу это все больше и больше смущало, но самое худшее было в том, что все это смущение существовало лишь для него одного, поскольку никто, кроме Стивена, ничего ровно не замечал. Так продолжалось с ним до конца урока: он ни разу не посмел поднять взгляд от книги, а когда ему понадобился носовой платок, он его достал и пользовался им украдкой, левой рукой».

Собрания по пятницам были открытыми, и в большой мере на них верховодили священники. Организаторы сообщали вести из разных областей страны, а священники произносили наставительные речи. Затем призывали двух молодых людей, которые исполняли песни на ирландском языке, а когда наступало время расходиться, все вставали и пели Песнь Единства. После этого молодые дамы принимались судачить между собой, а их кавалеры помогали им надеть жакеты. Завсегдатаем собраний был на редкость крепкий и плотный чернобородый гражданин, который всегда носил широкополую фетровую шляпу и длинный ярко-зеленый шарф. Когда все шли домой, его

обычно видели в окружении молодых людей, казавшихся худосочными на фоне его туши. Голос у него был необычайно зычный, и можно было слышать издали, как он без устали клеймит, хулит и шельмует. Его кружок был центром сепаратизма, и там царил дух непримиримости. Штаб-квартирой кружка была табачная лавка Куни, где его члены по вечерам устраивали заседания «дивана», с жаром разглагольствуя по-ирландски и покуривая глиняные трубки. Мэдден, который был капитаном клуба игроков в хэрлинг, докладывал этому кружку о физической форме юных непримиримых, состоявших под его попечением, а редактор еженедельника партии непримиримых докладывал обо всех знаках филокельтизма, какие ему удалось отыскать в парижских газетах.

Для всего этого общества свобода была венцом стремлений; все они были яркими демократами. Свобода, которой они желали для себя, была главным образом свободой в одежде и в языке; и Стивен с трудом представлял себе, как столь жалкое чучело свободы могло стать [для них] предметом коленопреклоненного культа серьезных человеческих существ. Если у Дэниэлов он наблюдал, как люди разыгрывают из себя важных персон, то здесь он видел, как из себя разыгрывают свободных людей. Он видел, что множество нелепостей в сфере политики возникает из-за того, что у общественных деятелей отсутствует верное чувство сравнения. Ораторы этой патриотической партии могли, не устыдясь, говорить о прецедентах Швейцарии и Франции. Умственные центры движения были так плохо осведомлены, что те аналогии, которые они выдавали за точные и доказательные, на поверку случались выдвинутыми по чистому произволу, на базе самых неточных сведений. Выкрик одиночки-француза («&#192; bas l'Angleterre!») на собрании Кельтского объединения в Париже эти энтузиасты могли раздуть в тему для передовой статьи, где бы доказывалась вернейшая перспектива помощи Ирландии со стороны французского правительства. Блестящим примером для Ирландии выставляли случай Венгрии, случай, в котором, согласно воображению патриотов, многострадальное меньшинство, по всем принципам расы и справедливости достойное независимости и свободы, наконец достигало освобождения. В подражание этому успеху кучки юных кельтов устраивали в Феникс-парке кровавые сражения здоровенными клюшками для хэрлинга, с утроенной силой бросаясь в праведный бой, поскольку их революцию благословил сам Помазанник; и эти кучки начинали пылать негодованием, стоило появиться среди них какому-нибудь незваному молодому скептику, кому известно было об успешных нападениях мадьяр на романские, тевтонские и славянские народы, превосходившие их числом и бывшие их политическими союзниками, а также о том, что один пехотный полк может держать в повиновении город с двадцатитысячным населением.

Однажды Стивен сказал Мэддену:

– Я полагаю, эти игры в хэрлинг и туристические походы – приготовления к неким великим событиям.

– В Ирландии сейчас происходит больше, чем тебе известно.

– Но к чему вам клюшки?

– Ну, понимаешь, мы хотим улучшить физические данные нашего народа.

После минутного раздумья Стивен сказал:

– Мне кажется, английское правительство вам в этом оказывает большую услугу.

– Каким это образом, позволю спросить?

– Английское правительство каждое лето отправляет вас группами в лагерь территориальной милиции, обучает пользованию современным оружием, муштрует, кормит вас, платит вам, а затем по окончании маневров отправляет домой.

– Ну и что же?

– Может, для ваших юношей это было бы полезней, чем драки на клюшках в парке?

– Ты что же, хочешь сказать, что, по-твоему, молодежь из Лиги должна надеть красный мундир, принести присягу верности королеве и принимать еще этот шиллинг?

– Взгляни на своего друга Хьюза.

– А при чем тут он?

– В один прекрасный день он будет адвокатом, советником Короны, может быть, и судьей – и при всем том он издевается над парламентской партией за то, что они приносят присягу.

– По всему миру закон есть закон – кто-то должен контролировать его исполнение, особенно здесь, где у народа нет друзей в судах.

– Точно так же пуля есть пуля. Я не улавливаю, какое различие ты проводишь между отправлением английских законов и отправлением английских пуль: в обеих профессиях принимают ту же присягу.

– При любых обстоятельствах человеку лучше следовать правилам, которые цивилизация признает гуманными. Лучше быть адвокатом, чем красномундирным.

– Ты считаешь военное ремесло позорным. Так почему же тогда у вас клубы имени Сарсфилда, имени Хью О'Нила, имени Хью Рыжего?

– О, биться за свободу – совсем другое. Но поступать на службу к своему угнетателю, делаться рабом его – это низость.

– А скажи тогда, сколько в вашей Лиге таких, кто учится для гражданской службы и намерен делать чиновничью карьеру?

– Это другое дело. Они всего лишь гражданские чиновники, а не...

– Какая, к черту, разница, что гражданские! Они присягают правительству и получают от него жалованье.

– Ну конечно, если тебе угодно так на это смотреть...

– А у скольких членов Лиги найдутся родичи в полиции или жандармерии? Даже мне известен десяток твоих друзей, [которые] у кого отцы – полицейские инспекторы.

– Несправедливо обвинять человека за то, что его отец был тем-то и тем-то. У сына и отца сплошь и рядом разные взгляды.

– Но ирландцы любят хвалиться верностью традициям своей юности. «Как все вы, парни, верны Матери Церкви! Почему бы вам не хранить такую же верность традиции

боевого шлема, как традиции тонзуры?»

– Мы храним верность Церкви потому, что это наша национальная церковь, та церковь, за которую наш народ страдал и готов снова пострадать. Полиция – другое дело. Мы смотрим на них как на чужаков, предателей, притеснителей народа.

– Старик-крестьянин в деревенской глуши, как видно, другого мнения, когда он пересчитывает свои замусоленные бумажки и приговаривает: «Тома отдам в попы, а Микки – в фараоны».

– Полагаю, ты эту фразу услышал в какой-нибудь пьеске про опереточных ирландцев. Это клевета на наших соплеменников.

– Ну нет уж, это и есть ирландская крестьянская мудрость: он прикидывает на одной чашке весов попа, на другой полисмена, и все отлично уравнивается, потому как оба завидной корпуленции. Система противовесов!

– Последний британчик[16 - В оригинале West-Briton, «западный британец» – одна из множества презрительных кличек ирландских приспешников англичан.] не станет так чернить своих земляков. Ты просто повторяешь лживые избитые штампы – ирландец-пьяница, ирландец с физиономией павиана, как изображают в «Панче».

– То, что я говорю, я вижу вокруг меня. Трактирщики и ростовщики, что наживаются на народной нищете, тратят некую часть доходов, чтобы пристроить своих сыновей и дочек в религию, а те бы за них молились. Один из твоих профессоров, который тебе преподает на медицинском факультете санитарию или судебную медицину или что-то такое, Бог его знает что, он в то же время владелец целой улицы борделей, меньше чем в миле вот отсюда, где мы стоим.

– Кто тебе это сказал?

– Сорока на хвосте принесла.

– Это ложь!

– Да, это противоречие в терминах, или то, что я называю систематической компенсацией.

Не все разговоры Стивена с патриотами были в столь резком духе. Каждую пятницу он встречался по вечерам с мисс Клери, или же – поскольку он вернулся-таки к имени – с Эммой. Она жила возле Портобелло, и в те вечера, когда собрание заканчивалось пораньше, отправлялась домой пешком. Часто она подолгу задерживалась, беседуя с невысоким молодым священником, отцом Мораном, у которого были выразительные темные глаза и вьющаяся ухоженная шевелюра черных волос. Молодой патер играл на пианино, исполнял сентиментальные песни и по многим основаниям пользовался успехом у дам. Стивен часто наблюдал за Эммой и отцом Мораном. Однажды отец Моран, у которого был тенор, сделал Стивену комплимент, сказав, что он от многих слышал лестные отзывы о его голосе и надеется когда-нибудь иметь удовольствие его услышать. Стивен повторил то же самое священнику, добавив, что мисс Клери отзывалась самым высоким образом о его голосе. В ответ патер улыбнулся и поглядел лукаво на Стивена. «Не надо верить всем похвалам, которые мы слышим от дам, – сказал он. – Дамы всегда немножко склонны – как бы тут выразиться – склонны привирать, я боюсь». Тут патер слегка прикусил свою розовую нижнюю губу двумя маленькими белыми ровными зубами, его

выразительные глаза улынулись, и со всем этим он принял вид такого обаятельно-вульгарного сердцееда, что Стивену захотелось хлопнуть его по спине в знак восхищения. Стивен продолжал разговор еще несколько минут, и как только дело коснулось ирландских тем, священник необычайно посерьезнел и сказал очень набожно: «О да. «Благослови Господь сей труд!» «Отец Моран не был любителем старых монотонных песнопений, заявил он Стивену. Разумеется, сказал он, это очень величественная музыка музыка сурового стиля [sic]. Но он был того мнения, что не следует делать Церковь чересчур мрачной, и с обаятельной улыбкой заметил, что дух Церкви вовсе не мрачен. Он сказал, что нельзя ожидать от людей особой симпатии к суровой музыке и что люди нуждаются в более человеческой религиозной музыке, чем грегорианские хоралы, в завершение порекомендовав Стивену разучить «Град священный» Адамса.

– Вот вам прекрасная песня, с чудесной мелодией и в то же время религиозная. Тут есть религиозное чувство, волнующая «мелодия, сила – одним словом, душа».

Когда Стивен видел этого молодого священника рядом с Эммой, он обычно приходил в состояние некоего неистовства. И дело было скорей не в том, что он лично страдал; в большей степени зрелище казалось ему примером вечной ирландской несостоятельности. Зачастую он чувствовал, что руки у него так и чешутся. Взор отца Морана был столь ясным и нежным, и Эмма стояла перед этим взором в позе такой вызывающей и самозабвенной «гордости плоти», что Стивена неудержимо тянуло толкнуть их в объятия друг друга, шокируя общество и пренебрегая болью, которую, как он знал, причинит ему это безличное великодушие. Эмма несколько раз позволила ему проводить себя до дома, но вовсе не создавала впечатления, что она сохраняет свое общество лишь для него. Юноша был задет этим, ибо больше всего ему было невыносимо, когда его ставили на одну доску с другими и, если бы только ее тело не представлялось ему столь полным наслаждения, он бы предпочел оказаться униженно отвергнутым. Ее шумная наигранная манера вначале шокировала его, пока его ум не раскусил до конца всю глупость ее ума. Она очень резко критиковала барышень Дэниэл, предполагая, к большому неудовольствию Стивена, что и он настроен к ним так же. С рассчитанным кокетством она вопрошала Стивена, не может ли он уговорить ректора своего колледжа принимать туда женщин. Стивен предложил ей обратиться к Макканну, великому защитнику женщин. Она рассмеялась на это и сказала с искренним беспокойством: «Слушайте, откровенно говоря, какой жутковатый персонаж!» Она смотрела чисто по-женски на все, что молодым людям полагается считать серьезным, но из вежливости делала исключения для самого Стивена и для Гэльского Возрождения. Она спросила, не собирается ли он читать доклад и о чем там будет. Она бы все отдала за то, чтобы прийти послушать его и она сама просто без ума от театра и однажды цыганка гадала ей по руке и нагадала, что она будет актрисой. Она три раза ходила на пантомиму и спросила Стивена, что ему больше всего нравится в пантомиме. Стивен ответил, что ему нравятся хорошие клоуны, но она сказала, что предпочитает балет. Потом она захотела узнать, часто ли он ходит на танцы, и начала его убеждать записаться в кружок ирландских танцев, который она посещала. Глаза ее начали «копировать выражение» патера Морана – выражение нежной многозначительности в моменты, когда разговор опускался на самое дно банальности. Нередко, идя рядом с ней, Стивен раздумывал, чем она занималась со времени их последней встречи, и поздравлял себя с тем, что успел схватить впечатление от нее в ее прекраснейший миг. В глубине души он оплакивал перемену в ней, ибо ничто сейчас не было бы ему так желанно, как роман с нею; но он сознавал, что даже это полное и теплое тело едва ли сможет полностью заслонить для него ее удручающую развязность и мещанское жеманство. Ему казалось, что он различил в глубине ее отношения к нему некую импульсивную недоброежелательность, и он думал, что понял и ее причину. Он

отправил эпизод в память, фигуру и пейзаж в камеру сокровищ и, поколдовав со всеми тремя, произвел на свет несколько страниц «убогих стихов». Однажды, дождливым вечером, когда улицы были непригодны для прогулок, она села у Колонны на трамвай в сторону Рэтмайнса и, стоя на подножке, протянула руку ему, благодаря за любезность и прощаясь. И в тот же миг тот эпизод их детства с магнетической силой возник в уме у обоих. Перемена обстоятельств заставила их поменяться местами и теперь верх был за нею. Он взял ее за руку, лаская, ласково поглаживая один за другим три шва на тыльной стороне ее лайковой перчатки, пересчитывая костяшки пальчиков, лаская и собственное прошлое, к которому сей непоследовательный ненавистник [традиций] наследий всегда питал благосклонность. Они улыбнулись друг другу; и вновь в глубине ее дружелюбия он различил [момент] недоброжелательность, и родилось подозрение, что по своему кодексу чести она обязана была настаивать на сдержанности мужчины и презирать его за сдержанность.

### XVIII

Доклад Стивена был назначен на вторую субботу марта. От Рождества и до этой даты у него оказалось поэтому обширное пространство времени для подготовительных воздержаний. Сорокадневный пост его проходил в бесцельных одиноких прогулках, во время которых он оттачивал свои фразы. Таким путем весь доклад, «с первого до последнего слова,» был готов у него в уме, прежде чем он занес на бумагу хотя бы строчку. Он обнаружил, что «сидячая поза весьма мешает» и думать, и строить форму доклада. Его тело докучало ему, и он выработал надлежащие средства его умиротворения неспешными променадами. Порой во время своих прогулок он терял нить мысли, и всякий раз, когда пустота ума казалась непреодолимой, он принуждал его к порядку яростными рывками. На утренних прогулках работала критическая мысль, на вечерних – воображение, и все, что вечером казалось достоверным, при свете дня подвергалось беспощадному разбору. Об этих блужданиях в пустыне из разных источников поступали репортажи, и однажды мистер Дедал спросил сына, какого черта его занесло в «Долфинс-Барн.» Стивен ответил, что он провожал часть пути до дома одного приятеля из колледжа, и мистер Дедал на это заметил, что, как пить дать, приятель из колледжа [должно быть] отыскал себе жилье где-нибудь этак в графстве Мит. Любым знакомым, что попадались во время прогулок, никоим образом не дозволялось вторгаться в мыслительный процесс молодого человека пошлыми разговорами – и казалось, они заранее все признали этот порядок, ограничиваясь почтительным приветствием. Поэтому Стивен был весьма удивлен, когда однажды вечером, проходя мимо школы Христианских Братьев на Северной Ричмонд-стрит, он вдруг почувствовал, как его ухватили под руку сзади и чей-то голос довольно грубовато воскликнул:

– Привет, старина Дедал, это ты?

Стивен обернулся и увидел высокого молодого человека со многими следами прыщей на лице, одетого с головы до ног в черное. Минуту он глядел на него, пытаясь вспомнить лицо.

– Ты что, не помнишь меня? А я сразу тебя узнал.

– Ну да, теперь вспоминаю, – сказал Стивен. – Но ты изменился.

– Ты так считаешь?

– Я б не узнал тебя... А ты... в трауре?

Уэллс рассмеялся:

– Ей-ей, недурная шутка. Тебе явно неизвестно, как выглядит твоя Церковь.

– Что? Не хочешь ли ты сказать...?

– Истинный факт, старина. Я нынче в Клонлиффе. Сегодня отпустили в Балбригган: с начальником совсем худо. Бедный старикан!

– Понимаю!

– Мне Боланд сказал, ты в Грине сейчас. Знаешь его? Он говорит, вы с ним были вместе в Бельведере.

– А он что, тоже? Да, я с ним знаком.

– Он, знаешь, такого о тебе мнения! Говорит, ты теперь литератор.

Стивен улыбнулся, не ведая, на какую тему дальше переходить. Он спрашивал себя, как далеко этот семинарист с зычным голосом вознамерился идти с ним.

– Ты не проводишь меня слегка, ладно? Я только что с поезда, с вокзала на Эмьенс-стрит. Направляюсь обедать.

– Да-да, конечно.

Итак, они продолжали путь рядом.

– Ну а с тобой что же делалось? Я так думаю, вел приятную жизнь? Все там, в Брэйе?

– Да все как обычно, – ответил Стивен.

– Знаю-знаю. За девочками по набережной, небось? Пустое дело, старина, дело пустое! Надоедает.

– Тебе явно надоело.

– Пожалуй; да и время к тому же... Видишь кого-нибудь из Клонгоуза?

– Никого.

– Так вот и получается. Разъехались и растерялись из вида. Помнишь Рэта?

– Да, помню.

– Он нынче в Австралии – овец пасет или что-то вроде того. А ты собираешься в литературу, наверно?

– Не знаю, правду сказать, куда я собираюсь.

– Знаю-знаю. Загулял, небось? «Такое и со мной было.»



– Ну не совсем так... – начал Стивен.

– Да-да, ясное дело, не совсем! – перебил Уэллс с громким смехом.

Идя по Джонс-роуд, они увидели броскую, в кричащих красках, афишу какой-то мелодрамы. Уэллс спросил Стивена, читал ли он «Трильби».

– Не читал? Знаменитая книга, понимаешь, и стиль бы тебе подошел, я думаю. Конечно, она немного того... скользкая.

– То есть?

– Ну, понимаешь, там... Париж, понимаешь... художники.

– А, так это такого сорта?

– Ничего уж особенно дурного я там не увидел. Но все-таки некоторые считают, она грешит по части морали.

– У вас-то в Клонлиффе ее нет в библиотеке?

– Какое там... Ох, как мне не терпится из этой лавочки!

– Подумываешь уйти?

– На следующий год – а может и в этом – поеду в Париж изучать богословие.

– Думаю, ты об этом не пожалеешь.

– Не говори. Тут уж такая гнилая лавочка. Кормят еще неплохо, но до того скучища, ты понимаешь.

– А много сейчас тут учится?

– Да, порядком... Я, понимаешь ли, не сильно с ними общаюсь... Порядком их тут.

– В один прекрасный день ты будешь приходским священником, надо думать.

– Надеюсь. Когда буду, обязательно приходи проведать.

– Хорошо.

– А ты сам тогда будешь великим писателем – напишешь вторую «Трильби» или в этом духе... Не зайдешь?

– А разрешается?

– Ну, со мной... входи, не смущайся.

Двое молодых людей вошли на территорию колледжа и двинулись по кольцевому проезду для экипажей. Стоял уж вечер, было сыро и сумрачно. В уходящем свете виднелись фигуры нескольких сорвиголов, что как оголтелые гоняли в гандбол в боковой короткой аллее, и плюханья мокрого мяча о стенку бетона в конце аллеи

чередовались с их неистовыми криками. Большею же частью семинаристы малыми группками гуляли по парку, скуфейки у некоторых были сдвинуты на самый затылок, а некоторые ходили с высоко подобранными сутанами – так женщины подбирают юбки, пересекая грязную улицу.

– Вам можно гулять кто с кем хочет? – спросил Стивен.

– «Гулять парами не разрешается.» Ты должен ходить с первой компанией, какую встретишь.

– А почему ты не вступил в орден иезуитов?

– Еще чего, милый мой! Шестнадцать лет в послушниках и никаких шансов когда-нибудь осесть прочно. Сегодня здесь, завтра там.

Глядя на массивный каменный куб, вздымавшийся перед ними в угасающем свете дня, Стивен вновь мысленно входил в жизнь семинариста, которую он жил столько лет и в пониманье распisanного круга дел которой он мог без труда проникнуть сейчас острым сознанием участливого постороннего. Воинственный дух ирландской церкви был узнаваем для него с первого взгляда в стиле этих церковных казарм. Он тщетно искал печати нравственной высоты на лицах и фигурах тех, кто проходил мимо: вид у всех был прибитый, но без смирения, модничающий, но без простоты манер. Некоторые семинаристы приветствовали Уэллса, но знаки признательности в ответ на любезный жест были весьма скудны. Уэллс хотел создать у Стивена впечатление, что он презирает своих соучеников, но те помимо его желаний считают его важной персоной. У подножия каменных ступеней он обернулся к Стивену:

– Мне надо зайти к декану на минуту. Боюсь, уже слишком поздно, чтобы я мог тебе показать всю эту лавочку сейчас...

– О, ничего страшного. В другой раз.

– Ладно, так ты подожди меня. Пройдись вон туда, к часовне. Я мигом.

Он кивнул Стивену, на время прощаясь, и пустился прыжками вверх по ступенькам. [Уэллс] Стивен побрел к часовне, задумчиво поддавая ногой плоский белый камушек по серой гравиевой дорожке. Словам Уэллса не удалось ввести его в заблуждение, он не мог принять этого юношу за глубоко порочную личность. Стивен знал, что Уэллс нарочито важничает, пытается скрыть то чувство горького унижения, что вызвала у него встреча с человеком, который не отрекся от мира, плоти и дьявола, и он подозревал, что, если б в душе этого семинариста с вольною речью возникла хотя бы тень колебаний, Церковь властно вмешалась бы, чтобы восстановить стабильность железною рукой дисциплины. Одновременно Стивен чувствовал известное возмущение тем, что кто-то мог от него ожидать, будто он станет поверять свои духовные проблемы подобному духовнику или благоговейно принимать таинства и благословение от рук молодых семинаристов, которых он видел тут гуляющими по парку. И не какая-то личная гордыня препятствовала бы в этом ему, а понимание несовместимости двух натур, из коих одна приучена к насильственному внедрению некоей догмы, другая же наделена зрением, угол которого никогда не приспособить к восприятию галлюцинаций, и разумом, который равно влюблен в смех и в битву.

Вечерний туман сгущался в тонкую пелену дождя, и Стивен приостановился в конце узкой тропинки возле лаврового кустарника, вглядываясь, как на кончике листа образуется, поблескивая, крохотная дождевая точка, как она нерешительно

колеблется и как, в конце концов, срываясь, ныряет вниз в размокшую глину. Он подумал о том, идет ли сейчас дождь в Вестмите [где коровы стоят терпеливо, скучившись под прикрытием стогов]. Ему припомнилось, как он видел коров, стоящих терпеливо в своих загонах, сгрудившись и резко смердя под дождем. По другую сторону кустарника прошла небольшая компания семинаристов, они беседовали:

– А ты видел миссис Бергин?

– О да, видел... в таком черно-белом боа.

– И обе мисс Кеннеди там были.

– Где?

– Прямо за креслом архиепископа.

– А, я ее тоже видел – одну из них. У нее серая шляпа с птичкой?

– Точно, это она! Вид настоящей леди, правда же?

Компания прошла дальше по тропинке. Через несколько минут за кустами проследовала другая. Один из семинаристов рассказывал, остальные слушали:

– Да, и к тому же он астроном; поэтому у него и [построена] была эта обсерватория, которую он построил рядом с дворцом. При мне как-то один священник сказал, что три самых великих человека в Европе, во всех отношениях великих, это Гладстон, Бисмарк (великий государственный муж у немцев) и наш архиепископ. Он его знал в Мануте. Он рассказывал, что в Мануте...

Хруст гравия под тяжелыми башмаками заглушил слова говорящего. Дождь распространялся, усиливался, и бродившие по парку кучки семинаристов одна за другой направлялись к дому. Стивен продолжал ждать на своем посту и наконец увидел, как по тропинке торопливо приближается Уэллс, сменивший уже на сутану свое городское платье. Он принялся усиленно извиняться, а фамильярность его манер заметно утратилась. Стивен предложил ему возвращаться под крышу вместе с другими, но он непременно желал проводить своего гостя до ворот. Они срезали путь, пройдя вдоль стены, и вскоре оказались перед сторожкой. [Ворота] Боковые ворота были закрыты, и Уэллс громко крикнул привратнице, чтобы та открыла их и выпустила джентльмена. Затем он пожал руку Стивену и пригласил его заходить еще. Привратница открыла ворота, и секунду-другую Уэллс смотрел через них на улицу почти с завистью. Потом он сказал:

– Ну что ж, старина, до встречи. Надо бежать. Страшно рад повидаться – и с тобой, и со всяким из старой команды, понимаешь ли, из Клонгоуза. Счастливо, я побежал. Всего тебе.

В мрачных сумерках, высоко подоткнув сутану и торопливо, неуклюже шлепая к проезжей дороге, он «выглядел каким-то странным беглецом, быть может, даже преступником.» Проводив взглядом бегущую фигуру, Стивен вышел через калитку на освещенную фонарями улицу – и улыбнулся своему импульсу жалости.

Конец Второго Эпизода V[17 - Надпись красным карандашом – позднейшая, ибо в рукописи нет разделяющего пространства.]

Он улыбнулся, потому что она показалась ему в себе настолько неожиданной зрелостью – эта жалость – или, скорей, этот импульс жалости, ведь он всего лишь дал ей приют в себе. Но, безусловно, столь зрелое наслаждение, как чувство жалости к другому, стало ему доступно благодаря его работе над докладом. Стивену во многих вещах была свойственна дотошность: его доклад ни в какой мере не был демонстрацией культурных достижений. Напротив, он самым серьезным образом был намерен определить в нем для себя собственные позиции. Он не мог убедить себя, будто может выйти что-нибудь путное, если он опишет свой предмет обтекаемо и легко или станет рассматривать его в свете какого-либо впечатления. С другой стороны, он был убежден, что никто не сослужил бы лучшую службу поколению, к которому ему довелось принадлежать, нежели тот, кто своим искусством или своею жизнью явил бы этому поколению дар уверенности и достоверности. Программа патриотов внушала Стивену вполне резонные сомнения; ее тезисы не могли пройти апробацию его разума. Притом он знал, что сообразоваться с нею значило бы для него подчинить ее интересам все без остатка, и он был бы вынужден тем самым замутить родники своей мысли у самых истоков их. Вследствие этого он решил не браться ни за какое предприятие, в котором условием успеха была присяга на верность отечеству, и такое решение привело к появлению теории искусства, что была одновременно строгой и лишенной предвзятости. В основном его эстетика была не что иное, как «прикладной Аквинат», и он излагал ее напрямик, с наивным видом первооткрывателя. Он делал так, отчасти потакая своей слабости к загадочным ролям, а отчасти из органической предрасположенности ко всему в «схоластике», кроме исходных посылок. Он провозглашал с порога, что искусство есть преобразование человеком чувственных или умственных предметов с эстетической целью, и далее объявлял, что все подобные преобразования должны подразделяться на три естественных рода: лирические, эпические и драматические. Лирическое искусство, говорил он, есть искусство, в котором художник создает свой образ в непосредственном отношении к самому себе; эпическое искусство есть искусство, в котором художник создает свой образ в непосредственном отношении к себе и другим; а драматическое искусство – искусство, в котором художник создает свой образ в непосредственном отношении к другим.» В различных формах искусства, таких как музыка, скульптура, литература, это разделение выступает с разной отчетливостью, и он делал отсюда вывод, что наиболее совершенными следует называть те формы искусства, в которых данное разделение выражено наиболее отчетливо, причем его не слишком смущало, что он не мог для себя решить, принадлежит ли портрет к роду эпического искусства и может ли архитектор по своему желанию выступать в качестве эпического, лирического или драматического поэта. Утвердив подобным простым путем в качестве наиболее совершенной литературную форму искусства, он переходил к ее рассмотрению в свете своей теории или же, как он это формулировал, к установлению отношений, которые должны наличествовать между литературным образом, произведением искусства как таковым и тою энергией, что вообразила и сформировала его, тем центром сознательной, ре-активной и особой жизни: художником.

Художник, как представлялось Стивену, находясь в положении посредника меж миром своего опыта и миром своих мечтаний, – «посредник, наделенный тем самым двумя неразделимыми способностями, избирательной и воспроизводительной.» Тайна его успеха лежит в уравнении, связывающем эти две способности: художник, что способен бережнее всего высвободить нежную душу образа из путаницы окутывающих его обстоятельств и вновь «воплотить» ее в художественных обстоятельствах, избранных как самые адекватные ее новому служению, – вот высочайший художник. Это абсолютное совпадение двух художественных способностей Стивен называл

поэзией, и вся область искусства воображалась ему в виде конуса. Термин «литература» теперь казался ему уничижительным словом, и он употреблял его для обозначения обширных срединных пространств между вершиной конуса и его основанием, между поэзией и хаосом незапоминаемой писанины. Достоинство литературы – в портретировании внешнего; владения ее князей – область нравов и обычаев общества, и область эта пространна. Но общество само по себе, рассуждал он, есть сложный организм, в котором действуют определенные замаскированные законы, а посему он объявлял владениями поэта область этих незыблемых законов. Такая теория легко могла бы привести своего изобретателя к приятию духовной анархии в литературе, если бы он не настаивал одновременно на классическом стиле. Классический стиль, заявлял он, это силлогизм искусства, единственный законный процесс перехода из одного мира в другой. Классицизм – это не манера, присущая некоторой определенной эпохе, определенной стране: это постоянная установка и склад художественного разума. Это – склад надежности, удовлетворенности и долготерпения. Романтический склад, столь часто понимаемый глубоко превратно, причем не столько его противниками, сколько сторонниками, выдает неудовлетворенный и неуверенный в себе, мятущийся дух, что не находит пристанища для своих идеалов и потому решает усматривать их в бессмысленных формах. Вследствие этого решения он начинает пренебрегать определенными границами. Созданные формы пускаются в необузданные похождения, не имея весомости твердых тел, и дух, что их породил, в конце концов отступает от них. С другой стороны, классический склад, всегда памятующий о границах, решает скорее опираться на вещи наличествующие, работать над ними и приводить их в такой вид, чтобы проворный разум мог проникнуть сквозь них к их смыслу, еще покуда не изреченному. Благодаря этому методу здоровый и радостный дух устремляется вперед и достигает нетленного совершенства, при благосклонном и признательном содействии природы. «Покуда нам отведено это место в природе, справедливо то, что искусство не должно учинять насилия над дарованием».

Оказавшись меж двумя спорящими школами, град искусств замечательным образом лишился мира. Для многих зрителей спор этот представлялся спором о словах, такую битвой, в которой расположение знамен нельзя было предсказать ни на минуту вперед. Добавьте еще к этому междуусобицы – классическая школа сражалась против материализма, ей свойственного, романтическая же за сохранение осмысленности – и тогда вы узрите, из сколь неучтивых нравов зарождаются, как это вынуждена признать критика, все и всяческие достижения. Критик – это тот, кто способен, используя поданные художником знаки, приблизиться к духу, который создал произведение, и увидеть, что в произведении удалось и что оно означает. Для него песнь Шекспира, казалось бы столь же свободная и живая, далекая от умышленной цели, как краски вечера или шорох дождя в саду, не что иное, как ритмическая речь чувства, которое нельзя передать иначе – нельзя, по крайней мере, с такой же ладностью. Но приблизиться к духу, создавшему искусство, значит воздать ему почитание, и для этого сперва нужно отбросить много условностей, ибо никогда сокровеннейшая сфера не откроется тому, кто опутан сетями пошлости.

Главнейшей среди всех пошлостей Стивен объявил древний принцип, по которому назначение искусства – наставлять, возвышать и развлекать. «Я не в силах найти никаких следов этой пуританской концепции эстетической цели в данном Фомой Аквинским определении красоты, – писал он, – как равно и вообще во всем, что написал Фома о прекрасном. Те качества, каких он ожидает от красоты, на поверку носят столь отвлеченный и всеобщий характер, что даже самому ревностному его приверженцу невозможно использовать его теорию для нападок на какое бы то ни было произведение искусства, доставшееся нам из рук какого бы то ни было художника». Такое опознание прекрасного на основании самых абстрактных

отношений, доставляемых предметом, к которому приложим сей термин, заведомо ничуть не подкрепляющее заповеди *Noli Tangere*, само являлось всего лишь оправданным следствием снятия с художника всех запретов. Границы приличия как-то слишком навязчиво заявляют о себе современному спекулятору и своим воздействием подвигают неискушенный ум выносить самые поверхностные приговоры. Ибо невозможно переусердствовать в упорном внушении обществу, что традиция искусства состоит в ведении художников, и даже если они не превращают нарушение границ приличий в свое постоянное занятие, общество не имеет права делать отсюда вывод, будто они не требуют для себя полнейшей свободы нарушить эти границы, как только сочтут нужным. Не менее абсурдно, писал сей пламенный революционер, для критики, которая сама замешана на гомилиях, воспрещать художнику в его откровении прекрасного свободный выбор своих путей, чем для полиции – воспрещать сумме двух сторон треугольника быть больше третьей стороны оного.

*In fine*, истина состоит не в том, что художник требует от домовладельцев лицензии, позволяющей ему действовать тем или иным образом, но в том, что, напротив, каждая эпоха должна искать санкций на собственное существование у своих поэтов и философов. Поэт есть центр жизненных напряжений своей эпохи, и он пребывает в таком отношении к ней, что никакое иное отношение не может быть более существенным. Лишь он один способен вобрать в себя окружающую жизнь, чтобы затем вновь, среди музыки сфер, ее разметать окрест. Когда в небесах замечается новое поэтическое явление, восклицал сей в небеса возносящийся сочинитель, критикам настает время выверять по нему свои расчеты. Настает время для них убедиться в том, что здесь воображение истово созерцало истину бытия видимого мира и что свершилось рождение красоты, сияния истины. Наша эпоха, пускай она на целые сажени глубины уходит в царство машин и формул, испытывает нужду в этих реальностях, которые одни лишь дают и питают жизнь, и от этих избранных животворных центров она должна ждать жизненных сил и жизненной уверенности, ибо лишь отсюда могут они явиться. Так человеческий дух непрестанно утверждает себя.

За вычетом этих цветистых и дерзновенных глаголений, доклад Стивена был тщательным изложением тщательно продуманной эстетической теории. Когда он его закончил, ему показалось необходимым заменить название «Драма и жизнь» на «Искусство и жизнь», поскольку он так погрузился в закладывание фундамента, что не оставил себе достаточно места для возведения всей постройки. Сей манифест, на удивление далекий от популярности, два брата прошли насквозь, от фразы к фразе и от слова к слову, в конце концов признав его безупречным до последней точки. Затем он был отправлен лежать спокойно, ожидая появления перед публикой. Кроме Мориса, с ним заранее ознакомились еще два доброжелателя: то были мать Стивена и его друг Мэдден. Мэдден не просил напрямик об этом, но в конце разговора, в котором Стивен саркастически описывал свой визит в семинарию Клонлифф, он неопределенно поинтересовался, каким же состоянием ума могли породиться подобные непочтительности; и в ответ Стивен тут же протянул ему рукопись со словами: «Это первое из моих подрывных средств». На следующий вечер Мэдден возвратил рукопись с самыми высокими похвалами. В отдельных местах, он сказал, это было для него чересчур глубоко, но он смог оценить, что доклад написан прекрасно.

– Знаешь, Стиви, – сказал он (у Мэддена был брат Стивен, и он порой пользовался этой фамильярной формой) ты мне всегда говорил, что я деревенский *buachaill*[18 - Чурбан, неотесанный (ирл.)] и мне вашего брата, мистиков, не понять.

– Мистиков? – переспросил Стивен.

– Насчет там звезд, планет, понимаешь. В Лиге есть некоторые, кто входит в эту здешнюю мистическую команду. Они б живо поняли.

– Но тут никакой мистики, я тебя уверяю. Я так старательно писал...

– Да-да, я вижу. Так красиво написано. Но я уверен, до слушателей твоих это не дойдет.

– Но ты же не хочешь мне сказать, что это, по-твоему, одни «цветистости»?

– Я знаю, что ты это все продумал. Но ты же ведь поэт, правда?

– Я... писал стихи... если ты это имеешь в виду.

– А ты знаешь, что Хьюз тоже поэт?

– Хьюз!

– Да. Понимаешь, он для нашей газеты пишет. Не хочешь поглядеть на его стихи?

– Отчего ж нет, ты мне мог бы их показать?

– Так совпало, что одно стихотворение у меня с собой. А еще одно есть в «Мече» [19 - Дублинский еженедельник на ирландском языке, с полным названием «Меч света» (An Claidheamh Soluis).] за эту неделю. Вот, прочти.

Взяв у него газету, Стивен прочел стихотворение под названием «Mo N#225;ire T#249;» («Ты – мой позор»). Здесь было четыре строфы, и каждая заканчивалась ирландской фразой «Mo N#225;ire T#249;», конец которой, разумеется, рифмовался с соответствующей английской строкой. Начинались эти стихи так:

Как! Гэльской речи нежный звук  
Сменится саксов болтовней?

и далее строки, полные патриотической экзальтации, изливали презрение на тех ирландцев, что не желают изучать древний язык своего родного края. Стивен не нашел ничего примечательного в стихах, кроме частого употребления разговорных сжатых форм с заглыванием согласной, и возвратил Мэддену газету без единого слова отзыва.

– Я думаю, это тебе не нравится, потому что слишком ирландское, но вот это должно, думаю, понравиться, потому что как раз в таком мистическом, идеалистическом духе, как вы все любите писать, поэты. Только не говори, что я тебе показал...

– Нет-нет.

Мэдден извлек из внутреннего кармана сложенный вчетверо тетрадный листок, на котором было записано стихотворение из четырех восьмистиший под заглавием «Мой Идеал». Каждая строфа начиналась со слов: «Явь ли ты?» Здесь рассказывалось о бедствиях, пережитых поэтом в «юдоли скорби», о том, как эти бедствия «терзали сердце» его. Рассказывалось о «томительных ночах», о «днях тоски», а также о «неутолимой жажде» такого совершенства, какого «земля не в силах дать». После этого меланхолического идеализма в последней строфе приоткрывались возможности

некой утешительной альтернативы скорбям поэта; строфа начиналась довольно обещающе:

Явь ли ты, мой Идеал?  
Посетишь ли мой очаг,  
С милой деткой на колене  
В тихий сумеречный час?

Это финальное видение подействовало [в целом] на Стивена так, что он покрылся пятнами гнева. Кричащая безвкусица этих строк, абсурдная замена числа, смехотворное пришествие Хьюзова «Идеала», ковыляющего с грузом непостижимого младенца, – все это, соединясь, вызвало у него резкий приступ боли в самом чувствительном месте. Он снова вернул Мэддену стихи, не проронив ни слова хвалы или порицания, но про себя решил, что посещение курсов мистера Хьюза более невозможно для него, и, проявив глупость, пожалел, что уступил импульсу сочувствия со стороны друга.

Когда потребность в понимающем сочувствии остается без ответа, лишь [слишком] непомерно строгий педант может себя упрекать за то, что предоставил некоему тупице шанс приобщиться к более жаркому движению более высокоорганизованной жизни. Поэтому Стивен рассматривал ссужения своих рукописей как особый способ «сигнализации фразами.» Он не причислял свою мать к тупицам, но, когда надежда его быть оцененным по заслугам потерпела крах вторично, он счел себя вправе переложить за это вину на чужие плечи со своих собственных: на них лежало уже довольно ответственности, и за содеянное, и за унаследованное. Мать не просила, чтобы он дал ей рукопись: она продолжала гладить одежду на кухонном столе, «ничуть не подозревая о возбуждении, творящемся в мозгу сына.» Он успел посидеть на трех или четырех кухонных стульях, пересаживаясь с одного на другой, и пробовал безуспешно примоститься, болтая ногами, на всех свободных углах стола. Наконец, не в силах справиться со своим возбуждением, он спросил в лоб, не хочет ли она, чтобы он прочел ей свой доклад.

– Конечно, Стивен, – если тебя только не смущает, что я тут глажу...

– Да нет, это ничего.

Стивен читал ей доклад медленно, с выражением, и когда он закончил, она сказала, что написано очень красиво, но отдельные вещи она не смогла уловить, так что не мог бы он прочесть ей все еще раз и кое-что разъяснить. Он прочел снова и потом дал себе волю, пустившись в длинное изложение своих теорий, «приперченное множеством грубовато-выразительных примеров, с которыми, он надеялся, до нее лучше дойдет.» Для матери, которая, вероятно, никогда прежде не подозревала, что «красота» может быть чем-то еще помимо светской условности или некой естественной преамбулы к браку и супружеской жизни, было удивительно увидеть, каким безмерным почетом окружает «прекрасное» ее сын. В сознании такой женщины красота зачастую синонимична распушенности, и по этой, вероятно, причине для нее было облегчением узнать, что за эксцессами новоявленного культа стоял признанный священный авторитет. Но все же, поскольку новые привычки докладчика были не слишком успокаивающими, она решила сочетать осторожную материнскую заботливость с проявлением интереса, который не мог быть уличен в притворности и в первую очередь предназначался как комплимент. Плавно складывая выглаженный платок, она спросила:

– Стивен, а что пишет Ибсен?



– Пьесы.

– Я никогда раньше не слыхала его имени. Он сейчас жив?

– Да, жив. Но, знаешь ли, в Ирландии вообще не слишком знают, что делается в Европе.

– Как ты о нем пишешь, он должен быть великий писатель.

– А ты бы не хотела почитать его пьесы, мама? У меня есть.

– Да. Я бы хотела прочесть самую лучшую из всех. Какая у него лучшая?

– Не знаю, право... Но ты в самом деле хочешь прочесть Ибсена?

– В самом деле.

– Чтоб поглядеть, не читаю ли я опасных авторов, для этого?

– Нет, Стивен, – возразила мать, храбро решаясь на уклончивость. – По-моему, ты уже достаточно взрослый, чтобы знать, что хорошо и что плохо, и я тебе не должна указывать, что читать.

– Я тоже так думаю... Но я удивился, когда ты спросила об Ибсене. Мне в голову не приходило, что ты можешь интересоваться такими вещами.

Миссис Дедал плавно водила утюгом по белой нижней юбке, следуя за ритмом своих воспоминаний.

– Да, я об этом не разговариваю, конечно, но я не так уж и безразлична... До того как я вышла замуж за отца, я очень много читала. И я интересовалась всеми новыми пьесами.

– Но ведь с тех пор как вы поженились, вы оба даже ни разу не купили ни одной книги!

– Видишь ли, Стивен, твой отец не такой, как ты, его эти вещи не интересуют... Он мне рассказывал, как он в молодости пропадал на псовой охоте все время, занимался греблей на Ли. Он был больше по части спорта.

– Я догадываюсь, по какой он был части, – заметил непочтительно Стивен. – Я знаю, что он плевать хотел с высоты, что я там думаю или чего пишу.

– Ему хочется, чтобы ты сам себе проложил дорогу, продвинулся бы в жизни, – вступилась мать. – Вот в чем его амбиция. И не надо его корить за это.

– Нет-нет, что ты. Только моя-то амбиция не в этом. Меня тошнит частенько от такой жизни, по мне она уродлива и труслива.

– Что говорить, жизнь вовсе не то, что я думала о ней, когда была в девушках. Поэтому я и хотела бы почитать какого-нибудь великого писателя, понять, какой у него жизненный идеал – я правильно здесь говорю «идеал»?

– Да, но...

– Потому что иногда... не то что я ворчу на судьбу, какую мне послал Всемогущий, у меня в общем счастливая жизнь с твоим отцом – но иногда я чувствую, как хотелось бы выйти из этой вот, из реальной жизни и войти в другую... на время.

– Но это совсем неверно, это великая ошибка, которую все делают. Искусство это не бегство от жизни!

– Нет?

– Ты явно не слушала, что я говорил, или же ты не поняла. Искусство это не бегство от жизни. Это в точности противоположное. Наоборот, искусство и есть центральное выражение жизни. Художник это не штукарь, что показывает публике заводное царствие небесное. Этим попы занимаются. То, что утверждает художник, он утверждает из полноты собственной жизни, он творит... Понимаешь?

И так далее. На другой день или через день Стивен вручил матери несколько пьес для прочтения. Она прочла с большим интересом и нашла Нору Хельмер очаровательной. Доктор Штокман вызвал у нее восхищение, которое, однако, неизбежно уменьшилось, когда ее сын небрежно-кощунственно назвал этого непоколебимого бюргера «Иисусом во фраке». Но той пьесой, которую она предпочитала всем, оказалась «Дикая утка». О ней она говорила охотно и, случалось, сама начинала тему: пьеса тронула ее глубоко. Чтобы не быть обвиненным в разгоряченности и пристрастности, Стивен не побуждал ее к открытым выражениям чувств.

– Надеюсь, ты не будешь вспоминать малютку Нелл из «Лавки древностей».

– Я, конечно, люблю и Диккенса, но, по-моему, есть большая разница между малюткой Нелл и этой бедняжкой – как там ее имя?

– Хедвиг Экдал?

– Да-да, Хедвиг... это все так печально: ужасно, даже когда читаешь... Я с тобой совершенно согласна, что Ибсен замечательный писатель.

– Правда?

– Да, правда. Его пьесы на меня очень действуют.

– А ты его считаешь безнравственным?

– Ну конечно, он говорит на такие темы, Стивен, ты понимаешь... Я о них сама очень мало знаю... такие темы...

– Темы, о которых, по-твоему, вообще не следует говорить?

– Ну, в старину именно так считали, но я не уверена, что это правильно. Я не уверена, что для людей хорошо оставаться в полном неведении...

– Тогда почему не обсуждать все это открыто?

– Я думаю, это могло бы повредить некоторым – тем, кто необразованным,

неуравновешенны. Характеры у людей такие разные. Ты-то, возможно...

– Давай обо мне не будем... Ты думаешь, эти пьесы не подходят, чтобы их читали?

– Нет, я считаю, это по-настоящему чудесные пьесы.

– И не безнравственные?

– Мне кажется, Ибсен... у него необыкновенное знание человеческой природы... И мне кажется, иногда человеческая природа – это что-то совершенно необыкновенное.

Этим затрепанным обобщением Стивен должен был быть удовлетворен, поскольку он распознал за ним неподдельное чувство. Мать и вправду настолько прониклась новым евангелием, что решила приняться за обращение язычников; иначе говоря, она предложила своему супругу прочесть пьесы. Он слушал ее хвалы Ибсену с каким-то оторопелым видом, не замечая черт ее лица, с моноклем, ввинченным в изумленный глаз, и с разинутым в наивном удивлении ртом. Он всегда питал интерес к новинкам, детский восприимчивый интерес, а это новое имя и те явления, что оно вызвало в его доме, были явными новинками. Он не пытался развенчать новое направление своей жены, но ему не по нраву было и то, что она дошла до этого без его помощи, и то, что она приобретала таким путем возможность играть роль посредницы меж ним и сыном его. Прихотливые изысканья сына в странной литературе он не считал стоящим делом, но и не осуждал, и хотя у него самого было никак не обнаружить подобных вкусов, он был готов свершить благочестивейшее из всех геройств, а именно, будучи уж на склоне лет, расширить круг своих пристрастий во уважение к взглядам младшего. По обычаю некоторых людей старого закала, которым никогда не дано понять, отчего их покровительство или их суд приводят в ярость занимающихся словесностью, он выбирал себе пьесу по заглавию. Метафора – порок, который привлекает к себе недалекий ум своей меткостью и отталкивает чрезмерно серьезный ум своею рискованностью и ложностью, – так что, в конце концов, имеется что сказать, возможно, уж не такие горы, но хотя бы доброе слово, в пользу того общественного класса, который в литературе, как и во всем остальном, предпочитает стоять на земле всеми четырьмя лапами. Так или иначе, мистер Дедал предположил, что «Кукольный дом» будет каким-то пустячком в духе «Маленького лорда Фаунтлероя», и, не будучи даже неформальным членом того международного общества, что коллекционирует и рассматривает психические явления, он решил, что «Призраки» – это, вернее всего, какая-нибудь незанимательная история про дом с привидениями. Он остановился на «Союзе молодежи», где рассчитывал найти воспоминания родственных себе душ, закоренелых гуляк, и, одолев два акта провинциальных интриг, оставил всю затею за утомительностью. Судя по отчужденной позе и полупочтительным полунамекам знакомых журналистов при упоминании имени, он настроен был ждать известной экстравагантности, быть может, аномальной знойности Севера, и [он] хотя подпись под фотографией Ибсена неизменно будила в нем чувство удивления – «b» столь странно вносила свою вертикаль рядом с вертикалью начальной, что [человек] ум как бы зависал в неуверенности на несколько мгновений забвенья, – все же окончательное впечатление от фигуры, к которой относилась подпись и которая у него ассоциировалась с конторой какого-то адвоката или биржевика на Дэйм-стрит, было впечатлением [разочарования с примесью] облегчения, смешанного с разочарованием, причем облегчение за сына, как и должно, преобладало над личным несильным, но явно ощутимым разочарованием. Таким образом, ни в одном из родителей Стивена респектабельность не находила полной приверженности.

За неделю до назначенной даты доклада Стивен вверил рукам председателя небольшую

стопку бумаги, исписанной аккуратным почерком.

Макканн причмокнул губами и положил рукопись во внутренний карман сюртука:

– Я прочитаю это сегодня вечером, и давай завтра встретимся здесь в этот же час. По-моему, я уже заранее знаю все, что там есть.

На следующий [вечер] день Макканн сообщил:

– Что же, я прочел твой доклад.

– И что же?

– Блестяще написано – правда, на мой взгляд, резковато. Но сегодня утром я отдал его ректору, чтобы он прочел.

– Зачем?

– Ты знаешь, все доклады нужно сначала передавать ему на утверждение.

– Ты хочешь сказать, – с презрением сказал Стивен, – что ректор должен одобрить мой доклад, прежде чем я смогу его зачитать в вашем обществе?!

– Да. Он наш цензор.

– Отличнейшее общество!

– А почему бы и нет?

– Парень, это же детские игры. Вы мне напоминаете детей под присмотром няньки.

– Ничего не поделаешь. Приходится брать, что в наших возможностях.

– А почему попросту не прикрыть лавочку?

– Это все-таки ценно для нас. Молодежь приучается выступать на публике – как им потом придется в суде или на политическом митинге.

– Мистер Дэниэл мог бы то же сказать про свои шарады.

– Ручаюсь, мог бы.

– Так значит, этот ваш цензор сейчас изучает мой доклад?

– Что ж, он свободомыслящий человек...

– Ага.

Меж тем как двое юношей вели эту беседу на ступенях Библиотеки, к ним приблизился Хилан, главный оратор[20 - В этом месте на полях рукописи написана карандашом фраза для вставки после слова «оратор»: «предлагает ему виноград, «Я не ем мускатного винограда»», – но изменений текста, нужных для вставки, не сделано. Эта фраза встречается в гл. II «Портрета художника в юности».] колледжа. Этот округлый и слащавый молодой человек, бывший секретарем Общества,

готовился быть адвокатом. Сейчас он взирал на Стивена с выражением легкого завистливого ужаса, растеряв весь свой аттический багаж:

– Ваш доклад попал под запрет, Дедал.

– Кто это сказал?

– Его высокопреподобие доктор Диллон.

За сообщением новости последовало молчание, во время которого Хилан медленно облизывал языком нижнюю губу, а Макканн как бы готовился пожать плечами.

– Где этот чертов старый осел? – бросил автор доклада нетерпеливо.

Хилан, побагровев, показал большим пальцем через плечо. В секунду Стивен перемахнул половину двора. Макканн закричал вдогонку:

– Ты куда?

Стивен приостановился, но, обнаружив, что неспособен говорить от гнева, ткнул жестом в сторону колледжа и быстро продолжал путь.

Итак, после всех трудов над докладом, после продумыванья идей, оттачиванья периодов, этот старый олух собрался его запретить! Пока он пересекал двор, его негодование отлилось в форму политического презрения. Часы в вестибюле колледжа показывали полчетвертого, когда Стивен оказался перед дряхлым швейцаром. Он должен был произнести дважды, во второй раз отчеканивая раздельно по слогам, настолько швейцар был глуповат и глуховат:

– Могу – я – видеть – ректора?

Ректора в кабинете не оказалось; он читал молитвенное правило в саду. Стивен вышел в сад и направился в сторону площадки для игры в мяч. Небольшая фигурка, завернутая в черный просторный плащ испанского вида, представилась ему со спины в дальнем конце боковой аллеи. Фигурка неспешно достигла конца аллеи, помедлила там с минуту и, повернув обратно, явила ему поверх молитвенника круглую голову четких очертаний, с вьющимися сединами, и покрытое густой сеткой морщин лицо трудноопределимого цвета: верхняя его часть была цвета замазки, нижняя же усеяна пятнами шиферного цвета. Ректор неспешно приближался по аллее в своем обширном плаще, беззвучно шевеля серыми губами, произносящими слова молитвы. В конце аллеи он снова остановился и вопросительно посмотрел на Стивена. Приподняв кепку, Стивен проговорил: «Добрый вечер, сэр». Ректор ответил улыбкой – так улыбается хорошенькая девушка, услышав озадачивший ее комплимент: улыбкой «обезоруживающей».

– Чем могу вам служить? – спросил он [удивительно] глубоким и полнзвучным голосом, с рассчитанной интонацией.

– Насколько мне известно, – ответил Стивен, – вы желаете меня видеть в связи с моим докладом – докладом, который я написал для дискуссионного общества.

– А, так вы мистер Дедал, – произнес ректор более серьезным тоном, но все же любезно.

– Возможно, я отвлекаю..

– Нет, я уже закончил молитву, – промолвил ректор.

Он [начал] медленно двинулся по дорожке в таком темпе, который предполагал приглашение присоединиться. Стивен зашагал рядом.

– Я восхищен стилем вашего доклада, – произнес он твердо, – да, весьма восхищен, но я абсолютно не одобряю ваших теорий. Боюсь, я не могу разрешить вам прочесть этот доклад в обществе.

Они дошли до конца дорожки молча. Затем Стивен спросил:

– А почему, сэр?

– Я не могу создавать для вас условия, чтобы вы сеяли такие идеи среди молодежи колледжа.

– Вы считаете, что моя теория искусства неправильна?

– Это безусловно не та теория искусства, которую поддерживают в нашем колледже.

– С этим я соглашусь, – сказал Стивен.

– Больше того, это есть полное собрание современных брожений и современного вольнодумства. Те авторы, которых вы приводите в пример, которыми восхищаетесь, как видно...

– Аквинат?

– Нет, не Аквинат, о нем я скажу потом. Но Ибсен, Метерлинк... эти писатели-атеисты...

– Вам не нравится...

– Меня удивляет, что хоть один студент в нашем колледже мог найти у этих писателей нечто достойное, у тех, кто недостойн имени поэта, кто проповедует открыто атеистические доктрины и наполняет умы читателей всем сором современного общества. Это не искусство.

– Даже допуская вредоносность, о которой вы говорите, я не вижу ничего противозаконного в исследовании этой вредоносности.

– Да, оно может быть законным – для ученого, для реформатора...

– А почему же не для поэта? Данте, несомненно, исследует общество и бичует его.

– О да, – сказал ректор разъяснительно, – имея в виду нравственную цель. Данте был великим поэтом.

– Ибсен тоже великий поэт.

– Вы не можете сравнивать Данте с Ибсеном.

- Я не сравниваю.
  - Данте, горделивый рыцарь прекрасного, величайший из поэтов Италии, и Ибсен, писатель над всеми и за пределами всех, Ибсен и Золя, стремящиеся сделать свое искусство низменным, потакающие развращенным вкусам...
  - Но это вы их сравниваете!
  - Нет, их сравнивать невозможно. Один имеет высокую нравственную цель – он делает род человеческий благородней; другой же делает его низменней.
  - Если у поэта отсутствует какой-то особый кодекс моральных условностей, это еще не делает его низменным, по моему мнению.
  - Да, если бы он исследовал даже самые низменные предметы, – сказал ректор, показывая свои закрома терпимости, – [то] дело бы обстояло иначе, если бы он их исследовал, а потом показал бы людям путь к очищению себя.
  - Это для Армии Спасения, – сказал Стивен.
  - Вы хотите сказать...
  - Я хочу сказать, что Ибсен рисует современное общество с тою же подлинной иронией, с какой Ньюмен рассматривает мораль и веру английского протестанта.
  - Возможно, – сказал ректор, умиротворенный подобной параллелью.
  - И с тем же отсутствием всякого миссионерского намерения.
- Ректор промолчал.
- Вопрос темперамента. Ньюмен мог удерживаться двадцать лет от того, чтобы написать «Апологию».
  - Но уж когда накинулся на него! – проговорил ректор со смешком, выразительно не закончив фразу. – Бедный Кингсли!
  - Исключительно вопрос темперамента – отношения к обществу, будь то у поэта или у критика.
  - Да-да.
  - У Ибсена темперамент архангела.
  - Возможно; но я всегда полагал, что он одержимый реалист, как Золя, и проповедует какое-то новое учение.
  - Вы были неправы, сэр.
  - Это общепринятое мнение.
  - Однако ошибочное.
  - Как я представлял, у него есть некоторое учение – социальное учение, о

свободном образе жизни, и художественное учение, о необузданной распущенности, до такой степени, что публика не допускает его пьесы на сцену, а его имя даже нельзя называть в присутствии дам.

– Где вы такое нашли?

– Ну как же, всюду... в газетах.

– Это серьезный довод, – заметил Стивен осуждающим тоном.

Нисколько не будучи задет дерзостью этих слов, ректор, казалось, признавал справедливость их: он был самого низкого мнения о нынешних полуграмотных журналистах и заведомо не позволил бы, чтобы газеты навязывали ему свои суждения. Но вместе с тем по поводу Ибсена все мнения были всюду настолько единодушны, что он подумал...

– А можно узнать, многое ли из написанного им вы прочли? – спросил Стивен.

– Знаете ли, нет... Я должен сказать, что я...

– А можно узнать, прочли ли вы хотя бы одну его строчку?

– Знаете ли, нет... Я должен признаться...

– И полагаю, вы не считаете правильным выносить суждение о писателе, у которого вы не прочли ни единой строчки?

– Да, должен согласиться с этим.

Одержав эту первую победу, Стивен помедлил, колеблясь. Ректор заговорил снова:

– Меня очень заинтересовало ваше восторженное отношение к этому писателю. Мне самому до сих пор не выпало случая прочесть что-нибудь Ибсена, но я знаю, что у него самая высокая репутация. Должен сознаться, то, что вы о нем говорите, весьма изменяет мои взгляды на него. Быть может, я когда-нибудь...

– Если пожелаете, сэр, я могу вам дать некоторые его пьесы, – сказал Стивен с неосторожною простотой.

– В самом деле?

Оба сделали небольшую паузу: затем –

– Вы увидите, что это великий поэт и великий художник, – сказал Стивен.

– Мне будет очень интересно, – сказал ректор любезным тоном, – прочесть какие-то его вещи для себя, просто очень интересно.

Стивена подмывало сказать: «Извините, я отлучусь на пять минут – пошлю телеграмму в Христианию», но он преодолел искушение. За время этой беседы у него не раз являлась необходимость сурово подавлять безрассудного беса, который обитал в нем, имея ненасытный аппетит к фарсу. Ректор начинал обнаруживать либеральную широту своей натуры, однако сохранял подобающую духовному сану сдержанность.



– Да, мне будет необычайно интересно. Ваши взгляды довольно необычны. Вы собираетесь опубликовать этот доклад?

– Опубликовать?!

– Нежелательно, если кто-то примет идеи в вашем докладе за то, чему учат у нас в колледже. Мы управляем им на правах попечителей.

– Но вы же не обязаны нести ответственность за любые слова и мысли каждого студента в колледже.

– Нет, разумеется, нет... но все же, читая ваш доклад и зная, что вы из нашего колледжа, люди предположат, что мы насаждаем здесь такие идеи.

– Студент колледжа может, безусловно, выбрать свое собственное направление занятий.

– Именно это мы и стараемся всегда поощрять в студентах, но только ваши занятия, мне кажется, ведут вас к весьма революционным... весьма революционным теориям.

– А если бы завтра я опубликовал весьма революционную брошюру о мерах борьбы с картофельной чумой, вы бы считали себя ответственным за мою теорию?

– Конечно же, нет... но у нас не сельскохозяйственное учебное заведение.

– Однако и не драматургическое, – возразил Стивен.

– Ваши доводы не столь неопровержимы, как кажется, – сказал ректор после небольшой паузы. – Но я рад видеть, что у вас такое по-настоящему серьезное отношение к вашей теме. Тем не менее вам надо признать, что эта ваша теория – если довести ее до логического конца – освобождала бы поэта от любых нравственных норм. Я также замечая, что вы в докладе намекаете иронически на то, что у вас именуется «древней» теорией – то есть на ту теорию, по которой драма должна иметь особые этические цели, по которой она должна наставлять, возвышать и развлекать. Я думаю, ваша позиция – Искусство ради Искусства.

– Я всего лишь довел до логического конца то определение, которое Аквинат дал прекрасному.

– Аквинат?

– *Pulcra sunt quae visa placent*[21 - Прекрасны те [предметы], что приятны для взгляда (лат.)]. По-видимому, он считает прекрасным то, что удовлетворяет эстетической потребности и ничему более – то, простое восприятие чего доставляет наслаждение...

– Но он имеет в виду возвышенное – то, что возводит ввысь человека.

– Картина какого-нибудь голландца, на которой блюдо с луковичками, тоже подошла бы под его замечание.

– Нет-нет, только то, что доставляет наслаждение душе, наделенной благодатью, душе, ищущей духовного блага.

– Определение блага у Аквината – ненадежная основа для рассуждения, оно крайне широко. Мне видится у него едва ли не ирония в том, как он говорит о «потребностях».

Ректор с некоторым сомнением почесал затылок.

– Конечно, Аквинат – необыкновеннейший ум, – пробормотал он, – величайший из учителей Церкви; но он требует нескончаемого толкования. Есть такие места у него, которые ни один священник не помыслит возглашать с амвона.

– А что, если я, как художник, отказываюсь соблюдать предосторожности, полагаемые необходимыми для тех, кто еще в состоянии первородной глупости?

– Я верю в вашу искренность, но вот что я вам скажу как личность постарше вас и как человек, имеющий некий опыт: культ красоты чреват трудностями. Бывает, что эстетизм начинается хорошо, но заводит в самые гнусные мерзости, о которых...

– *Ad pulcritudinem tria requiruntur.*

– Он коварен, он прокрадывается в ум тихой сапой...

– *Integritas, consonantia, claritas*[22 - Для красоты потребны три вещи. [...] Цельность, согласованность, ясность (лат.)]. Мне кажется... эта теория сияет блеском, а не таит опасность. Разум немедленно воспринимает ее.

– Конечно, святой Фома...

– Аквинат, безусловно, на стороне талантливого художника. Я не слышу от него ровно ничего про наставление и возвышение.

– Поддерживать ибсенизм с помощью Аквината мне кажется довольно парадоксальным. Молодые люди часто заменяют убеждения блестящими парадоксами.

– Мои убеждения меня никуда не увели; моя теория говорит сама за себя.

– А-а, так вы парадоксалист, – произнес ректор, улыбаясь с кротким удовлетворением. – Теперь я вижу... Но есть и еще одно – пожалуй, это вопрос вкуса скорей, нежели чего-то еще – что заставляет меня считать вашу теорию юношески незрелой. Не видно, чтобы вы понимали все значение классической драмы... Конечно, в своем собственном русле Ибсен тоже может быть замечательным писателем...

– Но позвольте, сэр! – перебил Стивен. – Классической школе в искусстве я воздаю почтение в полной мере. Вы, разумеется, не забыли моих слов...

– Насколько я помню, – сказал ректор, вознося к блеклым небесам слабо улыбающееся лицо, на коем память стремилась поселить пустую оболочку любезности, – насколько я помню, вы говорили о греческой драме – о классическом направлении – право же, совершенно огульно и с неким незрелым юношеским... сказать, что ли, нахальством?

– Но греческая драма – это драма героическая, чудовищная [sic]. Эсхил вовсе не классический писатель!

– Я уже сказал, что вы парадоксалист, мистер Дедал. Вы пытаетесь опрокинуть многовековые труды критиков блестящим оборотом речи, парадоксом.

– Я всего лишь употребляю слово «классический» в определенном смысле, с определенным заданным значением.

– Но вы не можете применять любую терминологию, какая заблагорассудится.

– Я не менял терминов. Я их разъяснил. Под «классическим» я понимаю неспешное кропотливое терпенье искусства удовлетворения. Искусство же героическое, фантазирующее я называю романтическим. Скажем, Менандр или не знаю там...

– Весь мир считает Эсхила великим классическим драматургом.

– Да, мир профессоров, которые благодаря ему кормятся...

– Сведущих критиков, – произнес ректор строгим тоном, – людей высочайшей культуры. И публика даже и сама способна оценить его. Я читал где-то... в газете, кажется... что Ирвинг, Генри Ирвинг, великий актер, поставил одну из его пьес в Лондоне и лондонская публика валила на нее толпами.

– Из любопытства. Лондонская публика повалит поглазеть на любую курьезную новинку. Если бы Ирвинг начал представлять крутое яйцо, они бы тоже повалили глядеть.

Ректор воспринял эту бессмыслицу с несокрушимой серьезностью и, дойдя до конца дорожки, несколько мгновений помедлил, прежде чем выбрать путь в направлении дома.

– Как мне предвидится, защита вашего дела в этой стране едва ли будет успешной, – сказал он отвлеченно. – Наш народ тверд в вере, и поэтому он счастлив. Он верен своей Церкви, и Церкви для него вполне достаточно. Даже для мирской публики эти современные писатели-пессимисты – это уже... уже слишком.

Перемахивая презрительным умом из Клонлифской семинарии в Маллинггар, Стивен стремился подготовить себя к некоему определенному соглашению. Ректор заботливо перевел разговор в русло легкой беседы.

– Да, мы счастливы. Даже англичане стали убеждаться в безумии этих болезненных трагедий, этих жалких, несчастных, нездоровых трагедий. На днях я читал, что один драматург был вынужден заменить последний акт в своей пьесе, потому что там заканчивалось катастрофой – каким-то жутким убийством, самоубийством или чьей-то смертью.

– Почему бы не объявить смерть уголовным преступлением? – спросил Стивен. – У них слишком робкий подход. Гораздо проще взять быка за рога и покончить с этим раз навсегда.

Когда они вошли в вестибюль колледжа, ректор остановился у подножия лестницы, прежде чем подняться в свой кабинет. Стивен ждал молча.

– Начните видеть в окружающем светлую сторону, мистер Дедал. В первую очередь, искусство должно быть здоровым.

Замедленным гермафродитическим жестом ректор присобрал сутану, чтобы взбираться по лестнице:

– Должен сказать, что вы отлично защищали свою теорию... право, отлично. Я, разумеется, не согласен с ней, но я вижу, что вы продумали всю ее целиком и весьма тщательно. Ведь вы тщательно ее продумали?

– Да, продумал.

– Это очень интересно – местами немного парадоксально, юношески незрело – но меня это очень заинтересовало. Я, кроме того, уверен, что, когда ваши занятия обретут большую глубину, вы сможете исправить свою теорию – чтобы она лучше отвечала общепризнанным фактам; я уверен, тогда вы сможете успешнее ее применять – когда ваш ум пройдет некую... систематическую... выучку и у вас появится более широкий кругозор... чувство сопоставления...

## XIX

Неопределенный стиль ректорского окончания беседы оставил ум Стивена в сомнениях; он не мог решить, было ли отступление вверх разрывом дружественных отношений или дипломатичным признанием собственной несостоятельности. Однако, коль скоро ему не было объявлено прямого запрета, он решил идти спокойно своим путем, пока на этом пути не встретится реальных препятствий. При новой встрече с Макканном он с улыбкою ждал, чтобы тот сам начал его расспрашивать. Его рассказ о беседе обошел все курсы, и ему было очень забавно наблюдать потрясенные выражения многих пар глаз, которые, судя по их нескрываемому и приниженному изумлению, явно видели в нем черты некоего морального Нельсона. Морис также выслушал рассказ брата о его битве с властью предрержащим, однако не сделал никаких замечаний. Не получив содействия со стороны, Стивен сам принялся комментировать происшествие, пространнейше обсуждая каждый наводящий на размышление момент беседы. Он истратил массу горячего для воображения в сей увлекательной ловле предположительного, и эти стремительные, переменчивые гонки разожгли в нем огонек недовольства безразличием Мориса:

– Да ты меня слушаешь или нет? Ты знаешь, о чем я говорю?

– Да, все окей... Тебе разрешили прочесть доклад, так ведь?

– Разрешили, да... Только что это с тобой? Тебе что, скучно? Или ты думаешь о чем-то?

– Ну... в общем, да.

– И о чем же?

– Я понял, почему я сегодня вечером себя чувствую по-другому. Как ты думаешь, почему?

– Не знаю. Поведай сам.

– Я встал сегодня [на] с левой ноги. А обычно я встаю с правой ноги.

Стивен бросил искоса взгляд на торжественное лицо говорящего, ища на нем признаки насмешливого настроения, но, обнаружив лишь прилежный самоанализ, промолвил:

– Неужто? Это чертовски интересно.

В субботний вечер, что был назначен для чтения доклада, Стивен обнаружил себя находящимся перед скамьями амфитеатра Физической аудитории. Пока секретарь зачитывал повестку дня, он успел заметить монокль отца, блеснувший наверху у окна, и скорей угадал, чем разглядел вплотную к сему наблюдательному прибору дородную фигуру мистера Кейси. Брата он не увидел, но на передних скамьях помещались отец Батт и Макканн, а также и еще два священника. Заседание вел мистер Кин, профессор английской словесности. Когда официальная часть закончилась, председатель предоставил слово докладчику, и Стивен поднялся. Он переждал скромные аплодисменты и следом за ними, «в качестве заключительного приветственного соло, четыре звучных хлопка энергических ладоней» Макканна. Затем он прочел доклад. Читал он негромко и отчетливо, обертывая каждую дерзость мысли или стиля в невинную оболочку ровно льющегося звучания. Он спокойно дочитал до конца; чтение ни разу не прерывалось аплодисментами; и металлически ясным тоном произнес заключительные фразы, сел на место.

Первой мыслью, которая прорезала стремительно охватившее его смятение, было острое убеждение, что этот доклад ни за что не надо было писать. Покуда он мрачно держал сам с собой совет, следует ли ему «швырнуть рукопись им в физиономию» и уйти восвояси или остаться на своем месте, прикрывая лицо от свечей на председательском столе, до него вдруг дошло, что доклад начали обсуждать: это открытие удивило его. Хилан, оратор колледжа, предлагал выразить благодарность докладчику и в такт своим цветастым фразам мотал головой. Стивена занимало, видит ли еще кто-нибудь, как совершенно по-детски шевелятся губы оратора. Ему хотелось, чтобы Хилан как-нибудь энергично клацнул челюстями, чтобы объявилось наличие у него крепких зубов; сам звук речи напоминал ему звуки при растирании хлеба в молоке, когда нянька Сэра готовила для Айсабел в голубой миске, где мать теперь держала крахмал. Но он тут же одернул себя за подобный тип критики и заставил вслушаться в слова оратора. Хилан велеречиво восхищался: ему представлялось (как он сказал) во время чтения доклада мистера Дедала, будто он слушает разговоры ангелов и не знает языка, на коем они беседуют. Не без великой робости он дерзает на критику, однако явственно было, что мистер Дедал не постиг всей красоты аттического театра. Оратор указал, что имя Эсхила вовеки нетленно, и предсказал, что драма эллинов еще переживет немало цивилизаций. Стивен заметил, что Хилан дважды заменял в произношении гласную «е» на «и», подражая отцу Батту, происходившему с Юга Англии, и принялся размышлять о том, [у кого] была ли заключительная фраза оратора взята им у доминиканского или иезуитского проповедника. «Греческое искусство, – сказал Хилан, – принадлежит не одной эпохе, а всем эпохам. Оно возвышается в гордом одиночестве. Оно является «имперским, императорским, императивным».»

Макканн поддержал предложение о благодарности докладчику, столь уместно выдвинутое мистером Хиланом; он желал также присоединить свою хвалу к выразительным похвалам мистера Хилана. Возможно, в докладе, что зачитал аудитории мистер Дедал, нашлось бы немало вещей, с которыми он не мог согласиться, однако он не был и слепым приверженцем античности ради античности, в отличие от мистера Хилана. Современные идеи должны обретать свое выражение; современный мир должен отвечать на вызов своих насущных проблем; и он полагал, что каждый автор, сумевший ярко и убедительно привлечь внимание к этим

проблемам, достоин всяческого внимания любого серьезного человека. Он полагал, что выразит единодушное мнение всех собравшихся, если заявит, что мистер Дедал, представив в сегодняшнем заседании столь глубокий и откровенный доклад, оказал обществу неоценимую услугу и честь.

Основное развлечение всего вечера началось, когда отзвучали эти два первых выступления. Стивен попал под огонь шести или семи противников. Один из них, молодой человек по имени Маги, выразил удивление тем, что доклад, весь дух которого настолько враждебен духу самой религии – он не мог судить, понимает ли мистер Дедал истинную направленность защищаемой им теории, – может получать одобрение в их Обществе. Кто, как не Церковь, поддерживал и пестовал творческий дух? Разве не религии драма обязана своим рождением? Поистине, только жалкая теория может превозносить скучные пьески о греховных интрижках и при этом хулить бессмертные шедевры. Мистер Маги заявил, что он не знает об Ибсене столько же, сколько мистер Дедал, – да и не желает ничего знать о нем, – однако ему известно, что у этого автора сюжетом одной из пьес служат санитарные условия банного заведения. Если такое называют драмой, то ему неясно, почему бы какому-нибудь дублинскому Шекспиру не накропать бессмертного творения на тему о новом муниципальном проекте центральной канализации. Это выступление послужило сигналом к всеобщему нападению. Доклад Стивена был объявлен мешаниной из бессмысленных слов, ловким протаскиванием порочных принципов под видом эстетических теорий, отражением декадентских литературных вкусов пресыщенных европейских столиц. Высказали предположение, что отдельные части доклада предназначались его автором в качестве попыток розыгрыша: каждый понимает, что слава «Макбета» будет греметь и тогда, когда эти неведомые авторы, которых так обожает мистер Дедал, будут погребены и забыты. Искусство прежних времен любило созерцать прекрасное и возвышенное; современное искусство может предпочитать иные темы; но те, кто еще сумел уберечь разум от отравления ядами атеизма, знают, на чем остановить выбор. Агрессивность достигла высшей точки, когда с места поднялся Хьюз. Со звонким северным выговором он объявил, что «подобные теории несут угрозу» моральному здоровью ирландской нации. Народ не желает чужеземной грязи. Мистер Дедал, конечно, волен читать любых авторов, каких пожелает, но у ирландского народа есть своя славная и великая литература, где он всегда может обрести обновленные идеалы, побуждающие его к новым патриотическим свершениям. Сам же мистер Дедал был ренегатом, покинувшим ряды националистов; он исповедует космополитизм. Но человек, принадлежащий всем странам, не принадлежит никакой стране – чтобы иметь искусство, нужно сначала иметь нацию. Мистер Дедал волен поступать как ему заблагорассудится, поклоняться алтарю Искусства (с большой буквы) и приходить в экстаз от никому не известных авторов. Но вопреки всем [его] лицемерным ссылкам на великого учителя Церкви Ирландия будет стоять во всеоружии против злокозненной теории, уверяющей, будто искусство может быть отделено от морали. Если нам суждено иметь искусство, пусть будет оно искусством нравственным, искусством возвышающим, а главное – национальным искусством,

Старым добрым ирландским,  
Не саксонским, не итальянским.

Когда подошло время для председательствующего подвести итоги и предложить резолюцию собрания, настала, как обычно, пауза. Воспользовавшись ею, патер Батт поднялся и испросил позволения сказать несколько слов. Аудитория возбужденно зааплодировала, настраиваясь услышать обличение *ex cathedra*. Патер Батт принес извинения, сопровождаемые возгласами «Нет, нет», в том, что задерживает собравшихся в столь поздний час, однако он полагал своим долгом замолвить слово в защиту докладчика, на долю которого выпало столько поруганий. Он был готов

выступить «адвокатом дьявола», и он сознавал все неудобство этой роли, тем паче что один из ораторов, и не без оснований к тому, описал язык, в который облечен был доклад мистера Дедала, как язык ангелов. Мистер Дедал представил чрезвычайно яркий доклад, доклад, который собрал полную аудиторию и удерживал ее внимание, породив оживленную дискуссию. Разумеется, невозможно, чтобы «в вопросах искусства» все были одного мнения. Мистер Дедал исходил из того, что конфликт между романтиками и классицистами есть условие всякого достижения и продвижения, и в этот вечер мы получили неоспоримое доказательство, что конфликт между противоборствующими теориями способен породить столь различные достижения, как сам доклад – безусловно, замечательная работа, – с одной стороны, и достопамятная атака на него, совершенная лидером оппонентов, мистером Хьюзом, – с другой стороны. По его мнению, некоторые из выступавших были незаслуженно суровы к докладчику, но ему было ведомо, что по части доводов в споре докладчик весьма способен постоять за себя. По поводу же самой теории отец Батт признался, что для него было настоящей новостью услышать, как Фому Аквинского цитируют в качестве авторитета в области эстетической философии. Эстетическая философия – новая дисциплина, и если она вообще что-либо представляет собой, то как дисциплина практическая. Аквинат бегло затрагивал тему о прекрасном, но всегда лишь с теоретической точки зрения. Чтобы толковать его положения в практическом смысле, надо иметь более полные знания обо всей его теологии, нежели те, какими мог обладать мистер Дедал. Вместе с тем он не пошел бы так далеко, чтобы утверждать, что мистер Дедал и вправду искажил учение Аквината, вольно или невольно. Но, как поступок, что сам по себе мог бы быть благим, может оказаться дурным в силу обстоятельств, так же точно предмет, внутренне прекрасный, с иных точек зрения может нести в себе порчу. Мистер Дедал избрал путь внутреннего рассмотрения прекрасного, отбросив эти иные точки зрения. Однако у красоты есть и практическая сторона. Мистер Дедал – страстный почитатель художественного, а такие люди отнюдь не всегда оказываются и самыми практическими людьми на [белом] свете. Здесь патер Батт напомнил слушателям историю про короля Альфреда и старушку, которая пекла пироги, – как раз про теоретика и практика – и выразил в заключение надежду, что докладчик, следуя примеру короля Альфреда, не будет слишком суров к тем практикам, которые критиковали его.

Председатель в заключительном слове выразил похвалу докладчику за его стиль, но сказал также, что докладчик явно забыл о принципе, согласно которому искусство предполагает отбор. Он находит, что обсуждение доклада было весьма поучительным и выражает уверенность, что все присутствующие благодарны отцу Батту за его ясную и отточенную критику. Мистер Дедал подвергся несколько суровому обхождению, но, с учетом многих блестящих достоинств его доклада, он (председатель) полагает, что есть полные основания предложить собравшимся членам Общества выразить единодушную и глубокую благодарность мистеру Дедалу за его превосходный и содержательный доклад! Предложение было принято единогласно, хотя и без особого энтузиазма.

Стивен, поднявшись, поклонился. Было в обычае, чтобы докладчик использовал этот момент для ответа критикам, но Стивен удовольствовался ответом на выражение благодарности. Кое-кто призывал его высказаться, но после того, как председатель выждал с минуту безрезультатно, заседание быстро завершилось. Не прошло и пяти минут, как Физическая аудитория опустела. Внизу в вестибюле молодые люди деловито надевали пальто и закуривали. Стивен огляделся кругом в поисках отца и Мориса и, не увидев их, отправился домой в одиночестве. На углу Стивенс-Грин ему повстречалась группа из четырех юношей – Мэдден, Крэнли, студент-медик, которого звали Темпл, и один клерк, служивший в таможене. Мэдден взял Стивена под руку и сказал утешительным тоном, втихомолку от других:

– Ну вот, старина, я же говорил, что эти чурбаны не поймут. Для них это слишком здорово.

Стивена тронуло это дружеское участие, но он покачал головой в знак того, что хотел бы переменить тему. К тому же он знал, что Мэдден, в действительности, понял в докладе очень мало и того, что понял, не одобрял. Когда Стивен поравнялся с четверкой, они брели медленно по улице, обсуждая вылазку в Уиклоу, которую намечали на Святой Понедельник. Стивен шел по обочине тротуара рядом с Мэдденом, так что вся компания продвигалась по широкому тротуару в одну шеренгу. Крэнли, идущий в центре, держал под руку Мэддена и клерка с таможни. Стивен рассеянно прислушался. Крэнли изъяснялся (как было в обычае у него, когда он на досуге прогуливался с товарищами) на некоем языке, в основе которого была латынь, а суперструктура заимствовалась из ирландского, французского и немецкого:

– *Atque ad duas horas in Wicklowio venit.*

– *Damnum longum tempus prendit,* – откликнулся клерк с таможни.

– *Quando... то есть... quo in... bateau... irons-nous?* – спросил Темпл.

– *Quo in batello?* – спросил Крэнли. – *In «Regina Maris»*[23 - – И прибывает в Уиклоу в два часа.– Это занимает чертовски долго [...]– Когда [...] на каком (лом. лат.) пароходе мы поедем? (фр.)– На каком пароходе? [...] На «Королеве морей» (лом. лат.)].

Итак, немного посоветовавшись, молодые люди решили отправиться в Уиклоу на «Королеве морей». Внимать этому разговору было для Стивена большим облегчением: через несколько минут он уже перестал так остро чувствовать язвющую боль своего «крушения. Крэнли, заметив наконец идущего по обочине тротуара Стивена, произнес:

– *Ecce orator qui in malo humore est.*

– *Non sum,* – парировал Стивен.

– *Credo ut estis,* – возразил Крэнли.

– *Minime.*

– *Credo ut vos sanguinarius mendax estis quia facies vestra monstrat [sic] ut vos in malo humore estis»*[24 - – А вот оратор, который в дурном настроении.– Вовсе нет.– Я думаю, что в дурном.– Минимально.– Я думаю, что ты треклятый лгун, поскольку лицо твое говорит, что ты в дурном настроении (лом. лат.)].

Мэдден, не вполне владевший этим наречием, вернул компанию к английскому. У клерка с таможни засело, по-видимому, в голове, что он должен выразить восхищение стилем Стивена. То был высокий молодой человек крепкого сложения, полнолицый; в руке он держал «зонтик». Он был на несколько лет [моложе] старше всех своих сотоварищей, но принял решение подготовиться для получения степени по отделению философии и морали. Он всюду сопровождал Крэнли, и красноречие последнего как раз и было причиной, заставившей его посещать вечерние занятия в колледже. Крэнли проводил большую часть времени, убеждая молодых людей



переменить курс своей жизни. Клерка с таможни звали О'Нил. Он был славный малый, всегда отзывавшийся астматическим смехом на невозмутимые розыгрыши Крэнли, но больше всего его интересовали сведения о любой возможности умственного совершенствования. Он ходил на заседания дискуссионного общества и студенческого братства, поскольку благодаря этому был «в курсе» университетской жизни. Будучи осторожным и осмотрительным, он тем не менее позволял Крэнли «поддевать» его по поводу девушек. Стивен попытался уклонить компанию от пересудов по поводу его доклада, однако О'Нил воспринял тему как случай, которым необходимо воспользоваться. Он начал задавать Стивену вопросы в духе тех, что можно найти в альбомах признаний юных девиц, и Стивену подумалось, что умственные небеса его должны весьма походить на галантерейный магазин. Темпл был цыганского вида неотесанный юнец со спотыкающейся походкой и такую же спотыкающуюся речью. Он был с Запада страны и слыл за ярого революционера. После того как О'Нил беседовал некоторое время с Крэнли, получая от него более вежливые ответы, чем от Стивена, Темпл после нескольких фальстартов вставил-таки фразу:

– По-моему... чертовски шикарный был доклад.

Крэнли с холодной миной повернул лицо к говорящему, однако [О'Нил] Темпл продолжил:

– Как он энтих расшевелил.

– *Habesne bibitum?*[25 - Ты подвыпил? (лом. лат.)] – спросил Крэнли.

– Извиняйте, сэр, – спросил [О'Нил] Темпл у Стивена через головы шедших между ними, – а вы в Иисуса верите?.. Я вот не верю в Иисуса, – добавил он.

Тон этого заявления вызвал громкий смех Стивена, и смех продолжился, когда Темпл пошел спотыкаться чрез некое подобие извинений:

– Так я ж не знаю... если вы в Иисуса верите... Вот я верю в Человека... Если вы верите в Иисуса... оно конечно... Негоже мне было приставать сразу как вас увидел... вы так небось располагаете?

О'Нил хранил торжественное молчание до тех пор, пока речь Темпла не перешла в невнятное бормотанье; затем он сказал таким тоном, как будто бы начинал совершенно новую тему:

– Меня до крайности заинтересовал ваш доклад, а также и речи... Что вы думаете о Хьюзе?

Стивен не ответил.

– Жулик паршивый, – сказал Темпл.

– Я думаю, его речь была самого дурного вкуса, – с сочувствием сказал О'Нил.

– *Bellam vocam habet*, – произнес Крэнли.

– Да, он хватил через край, пожалуй, – сказал Мэдден, – но, знаете, это энтузиазм, бывает, его заносит.

– *Patrioticus est*[26 - Хорошо говорит. [...] Он патриот (лом. лат.)].

– Раз орет – патриот! – сказал с визгливым смехом О’Нил. – Зато речь Батта была, по-моему, отличной – такая ясная, философская.

– А вы считаете так? – крикнул Темпл Стивену с середины тротуара. – Звиняйте... я хочу знать, чего он думает насчет речи Батта, – объяснял он одновременно троим [четверым] остальным... – Вы не считаете... что он тоже жулик паршивый?

Услыхав эту новую форму обращения, Стивен не мог удержаться от смеха, хотя речь патера Батта вызвала у него настроение, крайне далекое от благодушия.

– Да это те же самые штуки, какими он начиняет нас каждый день, – сказал Мэдден. – Знаем мы этот стиль.

– Его речь меня раздражила, – сухо произнес Стивен.

– А с чего? – спросил живо Темпл. – С чего она раздражила вас?

Вместо ответа Стивен состроил гримасу.

– Речь жулика паршивого, – сказал Темпл, – ... а я вот рационалист. Я в эту религию ни в какую не верю.

– Я думаю, в некой части речи у него были добрые намерения, – медленно проговорил Крэнли после небольшой паузы, всем лицом повернувшись к Стивену. Стивен ответно поднял свой взгляд, [и встретил] твердо посмотрев в его блестящие черные глаза, и в то мгновение, когда взгляды их встретились, он ощутил надежду. Фраза не содержала ничего ободряющего; он весьма сомневался в ее истине; и все же он знал, что его коснулась надежда. В задумчивости он продолжал шагать рядом с четверкой юношей. На одной из бедных улиц, где они проходили, Крэнли остановился перед витриной небольшой лавочки с мелочным товаром, недвижно уставившись в старый пожелтевший номер «Дейли Грэфик», косо висевший за стеклом. Иллюстрация представляла зимний пейзаж. Никто не сказал ни слова, и поскольку молчание казалось воцарившимся надолго, Мэдден спросил, на что он смотрит. Крэнли посмотрел на спрашивающего и снова вернулся взглядом к пыльной картинке, мотнув тяжело головой в ее направлении.

– Чего там... чего там? – спросил Темпл, который разглядывал какие-то холодные crubeens[27 - Свиные ножки (ирл., верное написание cruibins).] в соседней витрине.

Крэнли вновь повернул отсутствующее лицо к спрашивавшему его и указал на картинку со словами:

– Feuc an eis super stradam... in Liverpoolio[28 - – Видите, лед на улице... в Ливерпуле (гэл., нем. и лат., верное написание feuch).].

Семейный круг Стивена между тем расширился благодаря возвращению Айсабел из монастыря. С некоторых пор ее здоровье ухудшилось, и монахини решили, что ей необходим домашний уход. Она вернулась домой через несколько дней после знаменательного события Стивенова доклада. Стоя у небольшого переднего окна, смотревшего на устье реки, Стивен увидел родителей, выходящих из трамвая; между ними шла худенькая бледная девочка. Отцу Стивена вовсе не улыбалось появление лишнего обитателя в доме, тем более дочери, которую он не слишком любил. Его

раздражало, что возможность пребывания дочери в монастыре останется неиспользованной, но его чувство общественных приличий и долга было реальным, хотя и находящим приступами, и он ни за что бы не допустил, чтобы жена одна, без его помощи, отправилась забирать дочь домой. Его взгляд в будущее омрачался размышлениями о том, что дочь станет ему помехой, а не помощницей, а также и подозрением, что бремя ответственности, которое он благочестиво взвалил на плечи старшего сына, начинает этого юношу тяготить. Ему нравились, пожалуй, контрасты, и потому он ждал от своего отпрыска трудолюбия и трезвости, [и] однако нельзя сказать, чтобы он слишком желал обратного материального возвышения. От сына он всего лишь желал, чтобы тот вновь, в тисках обстоятельств, утвердил дух некоего неосязаемого превосходства, и за это Стивен давал ему условное оправдание. Но эта тонкая нить союза между отцом и сыном была порядком истрепана в испытаниях повседневности, и по причине ее хрупкости, а также и [неспособности] постепенного ржавения, начавшего разъедать ее верхний край, сигналы, передававшиеся по ней, делались все слабее и малочисленней.

Отец Стивена был вполне способен уговорить себя поверить тому, что было, как сам же он знал, неправдой. Он знал, что его разорение было делом его собственных рук, однако уговорил себя поверить, что то было дело рук других. Он питал то же отвращение к ответственности, что и его сын, не имея того же мужества. Он был из тех сумасбродных умников, у которых никакие доказательства не в силах победить первого впечатления. Его жена исполняла свой долг пред ним с поражающе буквальнойностью и тем не менее никогда не могла искупить греха своего происхождения. Расхожденья такого рода считают естественными в высших классах общества, однако ошибочно не признают их существования в мещанском сословии, где они зачастую выливаются в семейные раздоры с тупой, ненасытной ненавистью. Мистер Дедал ненавидел девичью фамилию своей жены с некой средневековой истовостью: она несла зловоние для ноздрей его. Узы союза с ней были единственным злом, в котором он, в полнейшей честности своей трусости, мог себя укорить. Теперь, когда он вступал в закатные года жизни, болезненно сознавая, что расточил удобные блага и накопил неудобные привычки, он обретал себе утешение и отмщение в тирадах столь бесконечных и столь часто повторяемых, что возникала опасность его превращения в маньяка. Вечерами его очаг становился сакраментальным свидетелем того, как эти отмщения вынашивались, бормотались, ворчались и извергались. Исключение в пользу жены, которое первоначально делалось его милосердием, вскоре исчезло из головы у него, и жена начала раздражать его символичностью своей покорности. Великий крах его жизненных надежд усугублялся утратой менее крупной и более острой – утратой чаемой славы. Имея некоторый доход и некоторые светские таланты, мистер Дедал привык считать себя центром какого-то малого мирка, любимцем какого-то небольшого общества. Он еще силился удержать это положение, но делал это ценой такой безрассудной широты, от которой его домашним приходилось страдать и материально и духовно. Ему рисовалось, что, пока он силится сохранять это иллюзорное положение, домашние дела его, чрез воздействие сына, понять которого он не делал никаких усилий, неким божественным образом исправятся. Когда он предавался этой надежде, она порой вносила враждебность в его чувство к сыну, которого он тем самым признавал имеющим превосходство над собой, однако ныне, когда ему приходилось подозревать надежду в напрасности, присутствие враждебности в этом чувстве делалось, судя по всему, одною из постоянных вех его эмоционального ландшафта. Понятие об аристократии, бывшее у сына, было отнюдь не тем, к какому он мог присоединиться, а молчание сына во время домашних баталий ему уже больше не казалось знаком согласия. Он был, на поверку, достаточно проницательным, чтобы заметить здесь скрытую угрозу для своих прав сеньора, и он не ошибся бы, решив, что сын рассматривает [эти] свое присутствие во время этих фальшивых и

непристойных монологов как дань, взимаемую отцом в обмен на снабжение своевольного чада средствами существования...

Стивен принимал своих родителей не слишком всерьез. По его мнению, они установили с ним неправильные и неестественные отношения, и он полагал, что их привязанность к нему уравнивается с его стороны внимательным обхождением с ними и искренней готовностью оказывать им множество таких материальных услуг, которые, в своем нынешнем состоянии воинствующего идеализма, он мог рассматривать свысока как мелочи. Единственными материальными услугами, в которых он отказал бы им, были те, что он находил духовно опасными, и, как надлежит признать, его милосердие почти сводилось к нулю этим исключением, поскольку он культивировал независимость души, с которой могли совмещаться лишь очень немногие подчиненности. Божественные образчики укрепляли в этом его. Фраза, которую проповедники превращают в заповедь повиновения, казалась ему скудной, ироничной и недостаточно определенной, а рассказ о жизни Иисуса не оставлял у него впечатления [с] рассказа о жизни того, кто повиновался другим. Когда он был католиком в подлинном смысле слова, фигура Иисуса всегда казалась ему слишком «далекой и бесстрастной,» и из сердца его никогда не излилось ни единой пылкой молитвы к Искупителю: лишь Марии, как слабейшему и более влекущему сосуду спасения, вверял он свои духовные дела. Теперь его раскрепощение от дисциплины Церкви, казалось, совпадало с [естественным] инстинктивным возвращением к Основателю таковой, и этот импульс, возможно, привел бы его к признанию достоинств протестантизма, если бы другой естественный импульс не побуждал его упорядочивать даже то, что было самопротиворечащим и абсурдным. К тому же он не знал, не обязано ли папство своим высокомерием самому Иисусу в той же мере, как нежеланию и несогласию заходить в какой бы то ни было теме дальше «Аминь, глаголю вам»; но зато он был совершенно уверен в том, что за криптическими речениями Иисуса стояла гораздо более определенная концепция, нежели все те, что могли, при любых ожиданиях, открываться за протестантским богословием.

– Занеси в свой дневник, – сказал он всезаписывающему Морису. – Протестантская ортодоксия – как собачка Ланти Макхейла, что каждому хвостиком виляет.

– Мне кажется, эту собачку дрессировал апостол Павел, – ответил Морис.

Зайдя однажды случайно в колледж, Стивен обнаружил Макканна, стоящего в вестибюле с длинным адресом в руках. Другая часть адреса лежала на столе, и почти все студенты колледжа, подходя, ставили под адресом свои подписи. Макканн красноречиво ораторствовал перед небольшой собравшейся группой, и Стивен узнал, что адрес был приветствием студентов Дублинского университета русскому царю. Мир во всем мире; разрешение всех конфликтов через третейский суд; всеобщее разоружение наций – таковы были те благодеяния, за которые студенты слали свою благодарность. На столе были выставлены две фотографии, одна – русского царя, другая – редактора «Ривью оф ривьюз»; на обеих стояли подписи этой знаменитой четы. Макканн стоял боком к свету, и Стивена позабавило замечавшееся сходство между ним и миролюбивым императором, который был снят в профиль. Вид осоловелого Христа, который имел царь, пробудил в нем презрение, и он обернулся, ища поддержки, к стоявшему у дверей Крэнли. На голове у Крэнли была сильно перепачканная шляпа желтой соломки в форме перевернутого ведра, и под ее прикрытием лицо его застыло в матово-тусклом спокойствии.

– Похож на плаксивого Джейсуса, правда? – спросил Стивен, показывая на фотографию царя и пользуясь дублинским вариантом имени как выразительного

общеизвестного существительного[29 - «Дублинский вариант» Джейсус (Jaysus) включает игру слов: жау – модник, щеголь.].

Крэнли взглянул туда, где стоял Макканн, и, кивнув, ответил:

– Плаксивого Джейсуса и волосатого Джейсуса.

Макканн в эту минуту заметил Стивена и сделал знак, что через минуту подойдет к нему.

– Ты подписал? – спросил Крэнли.

– Эту штуку? Нет – а ты?

После некоторого колебания Крэнли издал весьма замедленное «Да».

– Зачем?

– Зачем?

– Ну да.

– Чтобы был... Рах.

Стивен заглянул под ведроподобную шляпу, однако не сумел прочесть никакого выражения на лице ближнего своего. Взгляд его, блуждая, достиг засаленной вершины головного убора.

– Боже правый, чего ради ты это напялил? Страшной жары как будто нет, правда? – спросил он.

Крэнли не спеша снял шляпу и уставился в ее бездонные глубины. После небольшой паузы, указывая на нее, он сказал:

– Viginti-uno-denarios.

– Где? – спросил Стивен.

– Я купил ее, – произнес Крэнли весьма внушительно и весьма подчеркнуто, – прошлым летом в Викла[30 - Народное произношение названия графства Уиклоу.].

Он снова глянул на шляпу и сказал «с насмешливой теплотой»:

– Не так уж... не так уж и дрянь... шапчонка... понимаешь ты.

И он неспешно водрузил ее обратно на голову, продолжая по инерции бормотать себе под нос: «Viginti-uno-denarios».

– Sicut bucketus est[31 - Двадцать один динарий [...] Сиречь ведро (лом. лат.)], – заключил Стивен.

Далее тема не обсуждалась. Из одного из карманов Крэнли извлек маленький серый шарик и принялся тщательно исследовать его, делая отметины во многих точках поверхности. Наблюдая за этой операцией, Стивен услышал, как к нему обращается

Макканн.

– Я хочу, чтобы ты подписал этот адрес.

– О чем?

– Адрес выражает восхищение мужеством, которое проявил русский царь, когда выпустил рескрипт к мировым державам, где он защищает принцип третейского суда вместо войн в качестве средства разрешения споров между нациями.

Стивен покачал головой. В этот момент Темпл, который слонялся по вестибюлю в поисках единомышленников, приблизился к нему и спросил:

– А вы верите в мир?

Никто ему не ответил.

– Значит, ты не подпишешь? – спросил Макканн.

Стивен еще раз покачал головой.

– А почему? – сухо спросил Макканн.

– Если нам требуется Иисус, – ответил Стивен, – пусть это будет легитимный Иисус.

– Адская сила! – расхохотался Темпл. – Ну, здорово. Слыхали? – обратился он к Макканну и Крэнли, как будто считая их обоих крайне тугими на ухо. – Слыхали такое? Иисус легитимный!..

– Я заключаю отсюда, что ты одобряешь войну и человекоубийство, – сказал Макканн.

– Не я создал этот мир, – ответил Стивен.

– Адская сила! – сказал Темпл Крэнли. – А я вот верю во всеобщее братство. Звиняйте, – сказал он, поворачиваясь к Макканну, – а вы верите во всеобщее братство?

Макканн пропустил вопрос мимо ушей, по-прежнему обращаясь к Стивену. Он начал развивать доводы в пользу мира, к которым Темпл сперва пытался прислушиваться, но, поскольку говорящий находился к нему спиной, революционный юноша не мог как следует расслышать речь и вновь принялся блуждать по залу. Стивен не вступал в спор с Макканном, но, выбрав подходящую паузу, произнес:

– Я не намерен подписывать.

Макканн умолк, а Крэнли, подхватив Стивена под руку, сказал:

– Nos ad manum ballum jocabimus[32 - Пошли играть в гандбол (лом. лат.)].

– Хорошо, – тут же проговорил Макканн, как если бы получать отпор было ему привычно, – если нет, так нет.

Он отправился собирать другие подписи для царя, а Крэнли и Стивен между тем вышли в сад. На площадке для игры в мяч никого не было, и они устроили матч до двадцати очков, причем Крэнли дал Стивену фору в семь очков. Стивен был не слишком опытным игроком и потому успел набрать лишь семнадцать, когда Крэнли крикнул: «Партия!» Потом он проиграл и вторую партию. У Крэнли был сильный и точный бросок, но, на взгляд Стивена, чтобы быть классным игроком, ему не хватало быстроты. Во время их матча появился Мэдден, который уселся рядом с площадкой на старом ящике. Он волновался гораздо сильнее, чем оба игрока, стуча по ящику каблуками и выкрикивая: «Давай, Крэнли! Давай, Крэнли!» и «Да ну же, Стиви!» Крэнли, который был подающим в третьей партии, забросил мяч за площадку на территорию лорда Айви, и игра была прервана, пока он отправился на розыски. Стивен присел на корточки рядом с Мэдденом, и они вместе глядели снизу на Крэнли, который, держась за сетку, делал со стены призывные знаки одному из садовников. Мэдден вытащил курительные принадлежности:

– Вы тут давно с Крэнли?

– Недавно, – ответил Стивен.

Мэдден принялся набивать трубку крупным и грубым табаком:

– Знаешь что, Стиви?

– Что?

– Хьюз... он тебя не любит... напрочь. Я слышал, как он про тебя говорил одному.

– «Одному» – это туманно.

– Словом, напрочь не любит.

– Его энтузиазм заносит его, – сказал Стивен.

В субботний вечер, в канун Вербного Воскресенья, Стивен и Крэнли оказались одни вдвоем. Они стояли на лестнице Библиотеки, облокотившись на мраморную балюстраду, и бездельно смотрели на входящих и выходящих. Большие окна перед ними были [открыты] распахнуты, и [через] в них задувал теплый ветерок.

– Ты любишь службы Страстной Седмицы? – спросил Стивен.

– Да, – отвечал Крэнли.

– Они чудесны, – проговорил Стивен. – Во время *Tenebrae* [33 - Тьма; Преисподняя (лат.)] – это же безумно по-детски, когда нас пугают, стуча молитвенниками по скамейке. И разве не странно смотреть на Мессу Преждеосвященных Даров – никаких свечей, никаких облачений, голый алтарь, двери дарохранительницы настежь и священники лежат ниц на ступенях алтаря?

– Да, – сказал Крэнли.

– И тебе не кажется, что псаломщик, который открывает службу, – какая-то странная фигура. Никому неизвестно, откуда он возникает: у него никакой связи со службой. Приходит сам по себе, становится справа от алтаря, раскрывает книгу, а когда прочтет текст, закроет книгу и удаляется как пришел. Разве не странно?

– Да, – сказал Крэнли.

– А знаешь, как начинается его чтение? Dixit enim Dominus[34 - Исправлено красным карандашом на Haec dicit Dominus (как и следует); ниже требуется и еще поправка: после sua пропущено слово mane.]: in tribulatione sua consurgent ad me: venite et revertamur ad Dominum[35 - С вышеуказанными поправками: «Речет Господь: В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: пойдём и возвратимся к Господу» (лат.). Первое чтение католической службы Великой Пятницы (Ос. 6: 1).] –

Он проскандировал речитативом, *mezza voce*, начало чтения, и голос его поплыл вниз, над лестницей, по круглому залу вестибюля, и каждый звук возвращался обратно, звуча для уха богаче и мягче.

– Он взывает, – проговорил Стивен. – Он – это тот, кем этот мелочицей деятель был для меня, «адвокат дьявола». В Страстную Пятницу Иисус не имел друга. Ты знаешь, какая фигура встает у меня перед глазами в Страстную Пятницу?

– Какая?

– Маленький уродливый человечек, что принял в тело свое грехи мира[36 - На полях карандашом написано: «Идея козла отпущения в Ветхом Завете и Агнца Божьего в Новом (собственные слова Христа)». Возможно, это должно было следовать за словом «мира».]: Нечто между Сократом и гностическим Христом – Христос Темных Веков. Это то, что его искупительная миссия уготовала ему: скрюченное, уродливое тело, к которому не будет жалости ни у Бога, ни у человека. У Иисуса странные отношения с этим его отцом. Отец его, мне кажется, имеет нечто от сноба. Ты заметил, что он никогда не замечает своего сына на публике, кроме единственного раза – когда Иисус в парадном мундире на вершине Фавора?

– Я не очень люблю Великий Четверг, – сказал Крэнли.

– Я тоже. Слишком много мамаш с дочками осаждают исповедальню. Слишком пахнет цветами, жар от свечей, женщины. И потом, молящиеся девицы, это меня сбивает.

– А ты любишь Великую Субботу?

– Люблю, хотя служба начинается очень рано.

– И я люблю.

– Да, это как будто Церковь все обдумала, рассмотрела и говорит: «В конечном счете, видите, наступило утро, и он был не так уж мертв, как мы думали». Труп превратился в пасхальную свечу, в которой пять зернышек ладана, взамен его пяти ран. Три верные Марии, которые в пятницу думали, что все кончено, тоже каждая со свечой. Колокольный звон, и всю службу сплошные аллилуйи, не относящиеся к делу. Довольно техническое, в общем, мероприятие, благословляют то, се, пятое, десятое, но все так радостно, торжественно.

– Но ты же не думаешь, что все это набитое дурачьё чего-то там видит в этих службах?

– А разве не видит? – спросил Стивен.



– Ну уж! – сказал Крэнли.

Пока они разговаривали, по лестнице поднялся один из друзей Крэнли. То был юноша, служивший днем клерком на пивоварне Гиннеса, а вечерами занимавшийся в колледже на вечернем отделении философии и морали. Склонил его к занятиям, разумеется, Крэнли. Молодой человек, фамилия которого была Глинн, не мог держать голову неподвижно, страдая наследственной нервозностью, и руки у него начинали сильно дрожать, как только он пытался что-то делать ими. Он говорил с нервной нерешительностью и, казалось, убеждал себя только методическим притопыванием ноги. Он был низкоросл, с негритянским лицом и черной курчавой головой негра. Обычно он ходил с зонтиком, а разговор его представлял собой, в основном, переложение прописных истин в многосложные фразы. Такую манеру он выработал у себя отчасти оттого, что она избавляла его от неудобств мозговой работы с нормальной скоростью, а также, возможно, и оттого, что он видел в этом наилучший путь выражения для своего своеобразного чувства юмора.

– А вот и профессор Зверски-Здоровый-Зонтик Глинн, – сказал Крэнли.

– Добрый вечер, джентльмены, – сказал Глинн, кланяясь.

– Добрый... вечер, – произнес Крэнли отсутствующе. – Да-да... вечер нынче хороший.

– Я вижу, – сказал Глинн, укоряюще грозя дрожащим указательным пальцем, – я вижу, вы собрались говорить самоочевидные вещи.

В Среду Предателя[37 - Употребительное в Ирландии название Страстной Среды, когда Иисус был предан Иудой.] Крэнли и Стивен были на службе Тенебрае в соборе. Они обошли алтарь и стали на колени позади семинаристов из Клонлиффа, которые пели службу. Стивен оказался прямо напротив Уэллса и сразу заметил, как надетый стихарь разительно изменил весь облик юноши. Стивену не понравилась служба, которую пробубнили слишком быстро. Он сказал Крэнли, что придел с отполированными скамьями и лампочками накаливания напоминает ему страховую контору. По предложению Крэнли, они решили в Страстную Пятницу пойти на службу в церковь кармелиток на Уайтфрайрс-стрит, где, по его словам, служили гораздо теплее. Крэнли проводил Стивена домой часть пути, расписывая ему с великими подробностями и с подмогой своих больших рук все достоинства бекона из Уиклоу.

– Нет, ты не иудей, – сказал Стивен, – ты, я вижу, поедает нечистое животное.

Крэнли возразил, что абсурдно считать нечистой свинью за то, что она жрет грязные отбросы, и в то же время считать деликатесом устрицу, которая кормится в основном испражнениями. По его мнению, свинью злостно оклеветали: он заявил, что на свиньях можно заработать кучу денег. Тезис он иллюстрировал всеми немцами, которые составили себе в Дублине скромные состояния, открыв колбасные лавочки.

– Я всерьез подумывал, и не раз, – сказал он, останавливаясь, дабы придать вес замечанию, – открыть колбасную лавку, понимаешь... повесить над дверью вывеску «Кранлиберг»[38 - На полях написано карандашом: «джентльмен-мясник», однако не указано, куда должны быть вставлены эти слова.] или там какую-нибудь немецкую фамилию... да и зашибить, понимаешь, капитал на свинине.

– Господи помилуй! – произнес Стивен. – Что за жуткая идея!

– Ага, – молвил Крэнли, грузно двинувшись дальше, – зашибил бы, как пить дать.

В Страстную Пятницу, бесцельно бродя по городу, Стивен увидел на стене плакат, возвещавший, что в иезуитской церкви на Гардинер-стрит его высокопреподобие У. Диллон, О. И., и его высокопреподобие Дж. Кэмпбелл, О. И., имеют проповедовать на тему о Трех Часах Страстей Иисусовых. Меряя шагами одну безлюдную улицу за другой, Стивен ощущал острую неприкаянность и одиночество, и, сам ясно не осознавая этого, он начал двигаться в направлении Гардинер-стрит. Был теплый пасмурный день, и город выглядел, словно пораженный божественным оцепенением. Проходя мимо церкви Святого Георгия, Стивен увидел что уже полтретьего – он бродил по городу целых три часа. Он вошел в церковь на Гардинер-стрит и, пройдя, не воздавши, мимо столика брата-мирянина, очнувшегося из ослонившей дремы в ожидании лепты, достиг правого крыла церкви. От алтаря до самых входных дверей церковь была запружена хорошо одетой толпой. Всюду он замечал то же польщенное обожание иезуитов, которые без труда заполучают в приверженцы своего ордена тысячи душ ненадежно respectable среднего класса, даруя им рафинированное убежище, участливого и тактичного исповедника, а также и особую приятность манер, каковой их духовные похождения никак не давали оснований ждать от них. Неподалеку от себя, под укрытием одной из колонн, Стивен увидел своего отца и его двух друзей. Отец направлял монокль на хор, расположенный в отдалении, и на лице его было выражение растроганной набожности. Хор исполнял какой-то обильно расцвеченный мотив, долженствующий выражать скорбь. Ходьба, давка, жар, полумрак церкви лишили Стивена сил, и, прислонясь к перекладине дверей, он прикрыл глаза и отпустил мысли в вольное плавание. В голове начали складываться рифмы.

Он смутно различал, что на кафедру поднялась белая фигура, и он услышал голос, произносящий *Consummatum est* [39 - Совершилось (лат.). Ин. 19: 30.]. Он узнал голос, и он понимал, что это патер Диллон читает проповедь о Седьмом Слове. Он не делал усилий слышать проповедь, но через каждые несколько минут он слышал раздающийся над собранием новый перевод Слова. «Совершилось», «Окончилось». Этот звук пробудил Стивена от грез, и пока переводы следовали [друг] один за другим с нарастающей быстротой, он обнаружил, что в нем встрепенулся инстинкт игрока. Он бился об заклад сам с собой, каким будет очередное слово проповедника. «...Окончилось», «...Завершилось», «...Исполнилось». За несколько секунд, разделявших первую и вторую части фразы, ум Стивена побивал рекорды скоростного угадыванья: «...Сбылось», «...Состоялось», «...Заклучилось». Наконец, на финальном взлете риторики, отец Диллон вскричал, что все окончено, и собрание начало растекаться по улицам. Влекомый толпой, Стивен повсюду вокруг себя слышал одинаковые шепоты восхищения и видел одинаковые мины удовлетворения, шепоты приглушенные, мины сдерживаемые. Избранные подопечные иезуитов поздравляли самих себя и друг друга с хорошо проведенной Великой Пятницей.

Чтобы не встретиться с отцом, Стивен по кругу выбрался в середину церкви и, стоя подле главного входа, выжидал, покуда мимо него, шаркая и спотыкаясь, проходил простой люд. Прошел молодой рабочий с женой, и до Стивена донеслось: «Уж этот секет свою тилогию, я те скажу». Две женщины остановились у купели для святой воды и, «тщетно поведив» руками по дну, нерешительно перекрестились сухими руками. Одна вздохнула, кутаясь в темную шаль.

– А грит-то как, – сказала другая.

– Уж как ладно.

В свою очередь, другая вздохнула, кутаясь в шаль.

– Благослови Господь барина, – сказала она, – такие грит тиритические слова, ни тебе ни мне не в толк[40 - Вслед за этим карандашом написано: «Если я им сказал, что отсутствие воды в купели символизирует то, что, когда мы все омыты в крови Агнца, уже не требуется иных окроплений».]

XX

Между Пасхой и концом мая отношения Стивена с Крэнли делались что ни вечер все ближе. Надвигалось время летних экзаменов, и Морису со Стивеном полагалось рьяно трудиться. Каждый день после полдника Морис неукоснительно удалялся в свою комнату, а Стивен направлялся в Библиотеку, где, как считалось, погружался в серьезные занятия. На самом же деле, в Библиотеке он ничего почти не читал. Часами он беседовал с Крэнли, сидя за столом или же стоя на верхней площадке лестницы, если библиотекарь или негодующие взгляды студентов заставляли их покинуть зал. Когда в десять Библиотека закрывалась, они возвращались вдвоем по центральным улицам, болтая о пустяках с другими студентами.

Казалось на первый взгляд странным, даже невероятным, что эти двое могут иметь еще что-то общее между собой, кроме неизлечимого стремления к праздности. Стивен начал всерьез рассматривать себя как художника слова; он демонстрировал пренебрежение к черни и презрение к власти. Сотоварищи, избираемые Крэнли, представляли собою чернь в начальной стадии брожения, на полпути между чаном и бутылью, и Крэнли, казалось, находил удовольствие в зрелище этой карикатуры на собственную нерешительность. Во всяком случае, он держался подчиненно-оборонительно равно по отношению к черни и к власти, и Стивен склонялся бы рассматривать эту чересчур обдуманную манеру как верный знак внутренней испорченности, не будь у него ежедневного свидетельства, что Крэнли готов riskовать своим добрым именем члена Братства и преданного Церкви мирянина, сближаясь с человеком, который слывет несущим опасную заразу. Но, может статься, Крэнли хотелось, чтобы святые отцы решили, будто он сближается с молодым бунтарем-художником, имея тайную цель вернуть его на путь истинный, и, словно прикидывая тайком свою способность к таковой миссии, он постоянно перемежал толкования церковных учений и рассуждения о них с обсуждениями теорий Стивена. Поставив, таким образом, то и другое рядом, защитник ортодоксии в качестве следующего трюка подводил к возможности примиренья соседей и [даже] к дальнейшей возможности того, что Церковь не очень спешила бы осуждать причуды в архитектуре или даже использование языческих украшений и эмблем, если бы только ей вперед и ежеквартально платилась земельная аренда. Этот язык практических сделок, богоугодность которого была бы сомнительной для более бесхитростных душ, не мог удивить наших молодых людей, которым весьма нравилось возводить даже и моральные феномены к их первичным зародышам. Моральная доктрина католицизма [с], столь хитроумно соединенная и переплетенная с точно рассчитанной дозой совести, под ловким руководством способна была совершать чудеса сжатия и расширения. После тысячи таких изменений формы это эластичное тело внезапно обнаруживалось в трансформированном положении, и точка, до тех пор находившаяся снаружи, теперь оказывалась полностью заключенной в нем: и все это происходило неуловимо, покуда глаз усыплялся простою демонстрацией множества вариаций, выполняемых с неким инстинктом амебы.

Что до художественных вкусов, то едва ли можно сказать, что у Крэнли они имелись. Он в полной мере питал привязанность поселянина к прозе будней и, в

дополнение к этому, отнюдь не питал того лицемерного влечения к изящным искусствам, какое поселянин проявляет по выходным. В Библиотеке он не читал ничего, кроме иллюстрированных еженедельников. Время от времени он брал со стойки толстую книгу, торжественно приносил ее на то место, где сидел, затем раскрывал ее и в течение часа изучал титульный лист и предисловие. Познания его в художественной литературе равнялись, почти в буквальном смысле, нулю. Знакомство его с английской прозой, как кажется, ограничивалось смутным знакомством с началом «Николаса Никльби», а в области английской поэзии он определенно прочел стихотворение Вордсворта под названием «Совет отцу». О том и о другом достижении он поведал Стивену в день, когда тот обнаружил его глубоко погруженным в чтение титульного листа книги, называвшейся «Болезни быков». Он никак не комментировал прочитанное, попросту констатировал свои достижения, не без некоторого удивления тем, что он их достиг. Он имел в своем подчинении разбредающий полк слов и потому способен был выражать себя, однако изъяснялся прямолинейно и часто делал ребяческие ошибки. У него была вызывающая манера употреблять иностранные слова и технические термины, как бы давая понять, что они для него пустые условности языка. Его восприимчивость не омрачалась никакими рвотными реакциями; он принимал все, что встречал на своем пути, и только чистым инстинктом Стивен мог угадать какие-то особые пристрастия в столь неразборчивом вместилище. Он любил сводить философский спор к механизмам самой умственной способности, и точно так же он поступал с мирскими материями, проверяя все, в первую голову, на питательность.

Таков был юноша, ради которого Стивен решил нарушить свою заповедь скрытности. Со своей стороны, Крэнли должен был бы быть полностью неуязвим для всех превратностей жизни, чтобы не испытать легкого смятения, столкнувшись с такими лестными и деликатно-настойчивыми проявлениями. Стивен взывал к его обнищавшему слуху со всей полнотой накопленного им словаря и противопоставлял безапелляционным трюизмам, выражавшим настроения его компаньона, сияющую сложность мысли. Во время этих монологов Крэнли почти никогда и ничем не проявлял своего присутствия. Он все выслушивал, казалось, все понимал и, казалось, держался мысли, что предполагаемый в нем характер влечет обязанность слушать и понимать. Он никогда не отказывался быть слушателем. Стивен пользовался этой его готовностью вовремя и не вовремя, ощущая нужду в понимающем сочувствии. Они вышагивали многие мили, прогуливаясь по улицам рука об руку. В сырую погоду они пережидали дождь в просторных портиках, отвлекаясь при виде какой-нибудь зазывающей безделицы. Иногда они усаживались в партере мюзик-холла, и один разворачивал перед другим расшитый ковер своих поэтических планов, меж тем как оркестр и комик переругивались во всю глотку. Крэнли постепенно привык к тому, что чувства и впечатления схватываются и анализируются на его глазах, в самый миг своего появления на свет. Ему [Крэнли] была неведома подобная сосредоточенность на себе, и первое время он дивился прямодушной дерзости Стивена, испытывая радость единоличного обладания. Этот феномен, который требовал пересмотра всех прежних его суждений и открывал какую-то новую систему жизни на предельных границах его мира [Крэнли], в некой степени мучил его сознание. Он также раздражал его, поскольку, слишком хорошо зная, какой великий процент христианских чувств таится под его маской стоика, он никак не мог ожидать у себя способностей к такой же экстравагантности. И все же, слушая, как чистосердечный молодой эгоист изливает к его ногам свою гордыню и гнев, будто драгоценные благовония, обогащаясь от этой широты, казалось ничего ровно не скрывающей и не приберегающей, — как ни желал бы он воздержаться от таких связей, он постепенно ощущал, что начинает откликаться на зов молчаливой и извращенной симпатией. Он демонстрировал грубость сильнее, чем то было в его натуре, и, как бы заражаясь высокомерием товарища, ожидал, казалось, что

практика агрессивной критики сделает для него исключение.

Вольность, которую он себе довольно свободно позволял, состояла в нелюбимых абстракциях, которые своей глубиной говорили о немалой умственной активности, но в конечном счете выливались в какую-нибудь тупую эмпирику. Если ему казалось, что [беседа] монолог, начавшийся с какой-нибудь тривиальности, заходит чрезмерно далеко, он слушал его в молчании, за которым различалось отталкивание, и в паузе или промежутке обрушивал грубый молот на злополучный исходный предмет. В иные дни Стивен находил эту ультраклассическую привычку до крайности неприятной. Как-то раз монолог прерываем был без конца. В тот вечер Стивен упомянул про болезнь сестры и развернул теорию длиною в несколько миль на тему домашней тирании. Крэнли абсолютно не вступал в обсуждение самого предмета речи, однако непрерывно вставлял один вопрос за другим, едва представлялась к тому возможность. Он спрашивал о возрасте Айсабел, о симптомах болезни, о фамилии врача, о лечении, о диете, о том, как она выглядит, как мать за ней смотрит, звали священника или нет, болела ли она раньше или нет. На все эти вопросы Стивен ответил, и все же Крэнли не удовлетворился. Он продолжал свои расспросы, пока монолог не пришлось волей-неволей прекратить; и Стивен, размышляя над его поведением, не мог решить, следует ли видеть в нем знак глубокого участия к человеческой болезни или же знак раздраженного недовольства бесчеловечным теоретиком.

Стивен отнюдь не уклонялся от подобного упрека в свой адрес, однако обнаружил в себе откровенную неспособность признать упрек справедливым. Все воспитание сестры проходило так, что она стала почти чужой для него. С тех пор как они оба были детьми, он вряд ли обменялся с ней сотней слов. Сейчас он не мог говорить с ней иначе как с чужим человеком. Она покорно приняла религию матери; приняла все, что ей предлагалось. Если она будет жить, у нее в точности подходящая натура для католической супруги ограниченного ума и набожной всепопослушности, а если умрет, то ей, надо полагать, уготовано местечко в небесной вечности христиан, куда двум братьям ее, по всей видимости, вход заказан. Невзгоды мира сего, судя по сообщениям, суть легкое бремя на плечах истинного христианина, у которого есть возможность подождать, пока Творец не учредит царство праведников. Судьба Айсабел возбуждала гнев и сочувствие Стивена, но он тут же видел, сколь безнадежна эта судьба и сколь бесплодно было бы его вмешательство. Ее жизнь была до сих пор, и была бы впредь, трепещущим хождением пред Богом. Любой обмен мыслями между ними был обречен оказаться с его стороны либо проявлением снисходительности, либо попыткой совратить. Сознание их кровной близости нисколько не наполняло его природной, нерассуждающей привязанностью. Она называлась его сестрой, как мать называлась его матерью, однако никогда не было никакого доказательства этого отношения, которое он мог бы усмотреть в их чувствах к нему, как не было и никакого признания этого отношения, которое позволялось бы в его чувствах к ним. Католическим мужу и жене, католическим отцу и матери дозволяется быть естественными, сколько им угодно, однако католическим детям не даровано этой благодати. Им следует вести себя беспрекословно по правилам, даже рискуя получить упрек в неестественности от тех же пастырей, что «объявляют естественную природу владением сатаны». Стивен испытывал порывы жалости к матери, к отцу, к Айсабел, даже к Уэллсу, но верил, что поступает правильно, не поддаваясь им: прежде всего ему надлежало спасти себя, и попытки спасения других могли быть его делом лишь тогда, когда их оправдывал его эксперимент на себе. Крэнли почти совсем уже сформулировал серьезные обвинения против него, прямыми намеками вызывая образ Айсабел с ее неумолимо тающим огоньком, черными длинными прядями волос и огромными удивленными глазами, но Стивен отвергал обвинения, ответствуя в своем сердце, что несправедливо

указывать на него укоряющим перстом и что вялая пассивная жалость тех, кто укреплял систему круговой поруки рабства, к тем, кто смирялся с этой системой, есть попросту игра на чувствах, равно типичная и для эгоиста, и для сентименталиста. К тому же Стивену не казалось, что Айсабел что-то грозит всерьез. Он сказал Крэнли, что, верней всего, у нее просто слишком быстрый рост; в таком возрасте многие девочки в хрупком состоянии. Он признался, что эта тема ему слегка надоела. Крэнли остановился и пристально взглянул на него.

– Милый мой, – произнес он, – хошь, я скажу тебе... Странный ты... человек.

За неделю до сессии Крэнли представил Стивену свой план, как выучить весь «курс за пять дней». То был тщательный план, основанный на тонком знании экзаменаторов и экзаменационных программ. По плану Крэнли предполагалось заниматься с десяти утра до половины третьего дня, затем с четырех до шести и затем с полвосьмого до десяти. Стивен отказался принять сей план, поскольку надеялся на свои хорошие шансы сдать за счет того, что он называл познаниями «вокруг да около»; но Крэнли утверждал, что его план целиком надежен.

– Я этого не вижу, – заметил Стивен. – Как это у тебя выйдет сдать – к примеру, латинский письменный – после такой беглой пробежки? Если хочешь, какие-то вещи я тебе покажу – не то чтобы я уж так чудесно писал...

Крэнли раздумывал, казалось пропустив предложение мимо ушей. Затем он решительно объявил, что его план удастся.

– Вот те на святой библии, – сказал он, – я им выдам такую штуку, хошь знать, ага, – такую отличную, как им надо. Что они смыслят в латинской прозе?

– Полагаю, не так уж много, – ответил Стивен, – но, возможно, они не совсем профаны в латинской грамматике.

Крэнли обдумал обстоятельство и отыскал средство.

– Вот те, если хошь знать, – сказал он, – как я только начну плавать по грамматике, я им тут же кусок из Тацита.

– А с какой стати?

– А какая хренова разница с какой?

– Убедительно, – признал Стивен.

План Крэнли не оказался ни успешным, ни неудачным по той основательной причине, что он не вступал в действие. Вечера перед экзаменами юноши проводили на воздухе, сидя в портике Библиотеки. Глядя в безмятежные небеса, они обсуждали способы жить с наименьшей затратой труда. Крэнли предлагал пчел: он был как будто знаком со всей доскональной механикой пчелиной жизни и относился к пчелам, похоже, не с такой нетерпимостью, как к людям. Стивен сказал, что было бы отличной системой, если бы Крэнли жил за счет труда пчел и предоставил ему (Стивену) жить за счет соединенных трудов пчел и пчеловода.

– «День-деньской глядел бы, как

Блики солнца на волнах

Осентяют пчел в цветах».

– «Осентяют?» – спросил Крэнли.

– Ты же знаешь глагол «осентять»?

– А кто это написал?

– Шелли.

– «Осентять» – это прямо, знаешь, слово для осени, такого темно-золотистого цвета.

– Очень редко можно найти одухотворенное описание пейзажа. Некоторые думают, они пишут одухотворенно, если у них все рисуется тусклым и туманным.

– А мне это не кажется одухотворенным, то, что ты только что прочел.

– Мне тоже: но иногда Шелли обращается не к зрению. У него сказано: «множество флейт в окружении волн». Что это говорит твоему зрению или чувству цвета?

– Мне кажется, у Шелли лицо, похожее на птицу. Как там у него? «Осентяет блик в волнах»?..

– «Блики солнца на волнах

Осентяют пчел в цветах».

– А что вы цитируете? – спросил Глинн, только что вышедший из Библиотеки после нескольких часов занятий.

Крэнли смерил взглядом его, прежде чем дать ответ:

– Шелли.

– Ах, Шелли? А можно эту цитату еще раз?

Крэнли мотнул головой в сторону Стивена.

– Что это за цитата? – спросил Глинн. – Шелли – моя давняя страсть.

Стивен повторил строки, и Глинн нервически покивал головой несколько раз в знак одобрения.

– Что за прекрасные стихи писал Шелли! Такие мистические.

– А хошь знать, как их прозывают в Викла, энтих пчел? – неожиданно спросил Крэнли, обернувшись к Глинну.

– Нет, а как?

– Красножопые мухи.

Крэнли громко расхохотался, довольный собственной репликой, и даже притопнул каблуком по гранитным ступеням. Глинн, видя, что попал в ложное положение, принялся вертеть зонтиком в поисках какой-нибудь из своих дежурных остроумий.

– Но ведь это всего лишь, – произнес он, – если будет позволено так выразиться, это всего лишь, так сказать...

– «Осняет блик в волнах

Красножопых мух в цветах» – вот те хренова поэзия ни на один хренов ноготь не хуже Шелли, – сказал Крэнли Глинну. – А по-твоему как?

– Мне кажется неоспоримым, – произнес Глинн, тыча вперед своим подрагивающим зонтом, как бы в подкрепление слов, – что пчелы располагаются в цветах. Мы можем сказать об этом, что это определено так.

Экзамены продолжались пять дней. В течение первых двух Крэнли даже для проформы не заглянул в экзаменационный зал, но после каждого экзамена его можно было видеть возле университетского здания тщательно разбирающим все вопросы с более прилежными из своих друзей. Он заявил, что экзамены очень легкие и сдать их может любой, имеющий средние познания. Он не задавал особых вопросов Стивену, а просто говорил: «Я так думаю, ты прошел». «Полагаю, да», – отвечал Стивен. Макканн появлялся обычно встретить студентов после экзамена. Отчасти он приходил, потому что полагал своим долгом высказывать интерес ко всему, что касалось колледжа, а отчасти потому, что экзамены сдавала и одна из дочерей мистера Дэниэла. Стивену, которого не очень заботило, сдаст ли он экзамен или провалится, было необычайно забавно выслеживать знаки зависти и нервного напряжения, пытавшиеся укрыться под маской беззаботности. Студенты, что усердно занимались весь год, делали вид, будто их положение ничем не лучше, чем у лентяев, и как лентяи, так и усердные казались сдающими сессию с крайней неохотой. Те, кто были соперниками, не заговаривали друг с другом, опасаясь взглядом выдать себя, но украдкой расспрашивали подвернувшихся знакомых об успехах другого. Возбуждение настолько владело ими, что даже возбуждение пола бессильно было его превозмочь. Студентки не были уж предметом обычных шуточек и смешков, на них смотрели теперь с некою неприязнью, как на коварных врагов. Некоторые из юношей давали одновременно выход своей враждебности и утверждались в чувстве своего превосходства, заявляя, что для женщин только естественно делать успехи, они могут заниматься по десять часов [круглый] в день круглый год. Макканн, исполнявший роль посредника, сообщал им слухи и сплетни из противного лагеря, и именно через него все узнали, что Лэнди не получит первой награды по английскому, потому что мисс Ривз написала двадцатистраничное сочинение на тему: «Верное и неверное употребление юмора».

Экзамены заканчивались во вторник. В среду утром мать Стивена выглядела чем-то обеспокоенной. Стивен не слишком порадовал родителей своим поведением на экзаменах, но вовсе не думал, чтобы волнение матери могло быть вызвано этим: и он выжидал, пока причина как-то объявится сама. Мать дождалась, чтобы комната опустела, и словно между делом сказала:

– Ты ведь еще не исполнил пасхальный долг, правда, Стивен?

Стивен ответил, что нет.

– Лучше всего тебе пойти на исповедь днем. Завтра Вознесение, и наверняка



вечером сегодня церкви полны народа, там все, кто откладывали пасхальный долг до последнего. Удивительно, как это у людей нет стыда. Видит Бог, у них с Пепельной Среды было предовольно времени, чтобы не ждать двенадцатого часа для приобщения к Господу... Я это не о тебе, Стивен. Я знаю, ты готовился к экзаменам. Но те, кому делать нечего...

Стивен ничего на это не отвечал, продолжая старательно выскрести остатки яйца из скорлупы.

– Я уже исполнила пасхальный долг – в Великий Четверг – но утром я снова подойду к алтарю. У меня сейчас обет девятидневной молитвы, и я хочу, чтобы ты, причастившись, присоединился к моему особому прошению.

– Какому особому прошению?

– Ты понимаешь, милый, я так тревожусь за Айсабел... Я прямо не знаю, что думать...

Стивен «в сердцах» пробил ложечкой дно скорлупы яйца и спросил, нет ли еще чаю.

– В чайнике больше нет, но я быстренько вскипячу еще.

– Да ладно, не надо.

– Что ты, это совсем минутка.

Стивен не возражал, чтобы она поставила воду, это ему давало время, чтобы закончить разговор. Его сильно злило, что мать пытается втащить его в русло благонамеренности, используя здоровье сестры как средство. Возникло чувство, что такая попытка оскорбляет его честь и освобождает от последних доводов внимательной сыновней почтительности. Мать поставила воду, и вид ее был уже менее тревожным, как если бы она прежде ждала решительного отказа. Она попробовала даже перейти на непринужденную беседу в стиле религиозных матрон.

– Завтра мне надо бы постараться вовремя попасть в город, успеть к торжественной мессе на Мальборо-стрит. Завтра великий церковный праздник.

– Почему это? – спросил Стивен с улыбкой.

– Вознесение Господа нашего, – торжественным тоном ответила мать.

– А почему это великий праздник?

– Потому что Он явил Свою Божественность в этот день: Он вознесся на небеса.

Стивен принялся намазывать масло на хрустящую горбушку, меж тем как черты его складывались в решительное выражение враждебности:

– Откуда же он отчалил?

– С Масличной Горы, – ответила мать; под глазами у нее появились красные пятна.

– Головой вперед?

– Что ты хочешь сказать, Стивен?

– Хочу сказать, что, пока он долетел, у него, наверно, голова закружилась. Почему он не полетел на воздушном шаре?

– Ты хочешь глумиться над Господом нашим, Стивен? Клянусь, я думала, у тебя хватит разума, чтобы не пасть до такого языка: так говорят одни люди, способные верить только в то, что под носом. От тебя я такого не ожидала.

– Скажи, мама, – произнес Стивен между жевками, – ты мне в самом деле хочешь сказать, что ты веришь, будто наш друг воспарил с той горы, как про него говорят?

– Да, верю.

– А я нет.

– Стивен, что же ты говоришь?

– Это абсурд, цирк. Он является в мир Бог весть как, ходит по воде, выбирается из могилы и отправляется по воздуху с холма Хоут. Что это за чушь?

– Стивен!

– Я в это не верю, а если б верил, это не было бы моей заслугой. Что я не верю, в этом тоже нет заслуги. Это просто чушь.

– Самые просвещенные учителя Церкви в это верят, и для меня этого вполне достаточно.

– Он может поститься сорок дней.

– Бог может все...

– Сейчас на Кэйпл-стрит дает представления один парень, который говорит, что он может есть стекло и железные гвозди. Он называет себя «Человек-устрица».

– Стивен, – сказала мать, – я боюсь, что ты потерял веру.

– Я тоже боюсь, что это так, – ответил Стивен.

С видом, расстроенным до предела, миссис Дедал беспомощно опустилась на ближний стул. Стивен сосредоточил внимание на воде и, когда она вскипела, налил себе еще чашку чаю.

– Никак я не думала, что до такого дойдет, – сказала мать, – чтобы кто-то из моих детей потерял веру.

– Но ты уже знала с каких-то пор.

– Как я могла знать?

– Знала.

– Я подозревала, что-то происходит неладное, но мне в голову не могло прийти...

– И ты все-таки хотела, чтобы я принял причастие!

– Конечно, сейчас ты не можешь принять причастие. Но я думала, ты исполнишь пасхальный долг как все годы до этого. Я не знаю, что тебя совратило с пути, наверно, книги, которые ты читаешь. Твой дядя Джон – его тоже в молодости совратили книги, но только на время.

– Бедняга! – произнес Стивен.

– Ты же воспитывался в религии и вере, у иезуитов, в католической семье...

– В весьма католической!

– Ни у кого из твоих родных, ни с отцовской, ни с моей стороны, нет в жилах ни капли какой-нибудь другой крови, не католической.

– Что же, я положу начало в нашей семье.

– Тебе давали слишком много свободы. И в результате ты делаешь что вздумается и веруешь во что вздумается.

– Я, например, не верю, что Иисус был единственным во все времена, кто имел волосы совершенно каштанового цвета.

– Ну и что?

– Как и в то, что он был единственным, кто имел рост в точности шесть футов, не больше и не меньше.

– Ну и что?

– А то, что ты в это веришь. Давным-давно я слышал, как ты это говорила нашей няньке в Брэе – помнишь няню Сэру?

Миссис Дедал нерешительно встала на защиту традиции.

– Так говорят.

– Ах, говорят! Говорят очень много чего.

– Но тебя не заставляют в это верить, если не хочешь.

– Покорно благодарю.

– Все, во что тебе предлагают верить, это слово Божие. Вспомни прекрасное учение Господа нашего. Вспомни собственную свою жизнь, когда ты верил в это учение. Разве ты тогда не был лучше, счастливее?

– Возможно, тогда это было хорошо для меня, но сейчас это для меня абсолютно бесполезно.

– Я знаю, что неладно с тобой – ты впал в гордыню разума. Ты забываешь, что мы всего лишь черви земные. Ты думаешь, что ты можешь бросить вызов Богу, лишь

потому что злоупотребил талантами, которые тебе Он же дал.

– Я считаю, Иегова получает слишком большое жалование за суд над людскими помыслами. Я его хочу отправить на пенсию по старости.

Миссис Дедал встала:

– Стивен, ты можешь говорить таким языком с приятелями, кем бы они там ни были, но я тебе не позволю говорить так со мной. Даже твой отец, о котором так дурно говорят, не богохульствует так, как ты. Ты, наверно, связался с кем-нибудь из этих студентов...

– Боже праведный, мама, – ответил Стивен, – не верь ты этому. Все студенты ужасно милые мальчики. Они обожают свою веру; они мухи не обидят.

– Где бы ты этого ни набрался, я не позволю, чтобы ты при мне выражался так о святыне. Оставь это для ночных шатаний по улицам.

– Очень хорошо, мама, – сказал Стивен. – Но этот разговор начала ты.

– Я никогда не думала, что доживу до того, чтобы мой ребенок потерял веру. Видит Бог, я не думала. Я делала все, что могла, чтобы ты не сбился с пути.

Миссис Дедал заплакала. Стивен, съев и выпив все, что было в пределах досягания, поднялся и направился к двери.

– Это все из-за тех книжек, из-за твоей компании. По ночам неизвестно где, вместо того, чтоб быть дома, на своем месте. Я их все сожгу, я не хочу, чтоб они были в доме и растлевали еще других.

Задержавшись в дверях, Стивен обернулся к матери, которая уже рыдала в голос:

– Если бы ты была истинной католичкой, мама, ты бы сожгла и меня, а не только книги.

– Я знала, не будет от этого добра, когда ты поступил в это место. Ты губишь себя, губишь тело и душу. Вот, вера уже ушла!

– Мама, – молвил Стивен уже с порога, – я не вижу, из-за чего ты плачешь. Я молод, здоров и счастлив. Из-за чего плакать?.. Просто глупо...

В этот вечер Стивен пошел в Библиотеку специально для того, чтобы встретить Крэнли и [рассказать ему о] поведать о своем новейшем конфликте с правоверием. Крэнли стоял в портике Библиотеки и объявлял свои предсказания результатов экзамена. Как обычно, вокруг него толпилась небольшая компания, среди которой был его друг, клерк с таможни, и еще один закадычный друг, студент солидного возраста и весьма степенного вида, по фамилии Линч. Линч имел великую склонность к праздности, и он дал себе лет шесть или семь передышки между окончанием школы и началом обучения медицине в Колледже Хирургии. Он пользовался большим уважением коллег за то, что говорил густым басом, никогда не «выставлял» выпивки в ответ на ту, которую принимал от других, и очень редко ронял какие-нибудь слова в ответ на те, которые выслушивал от других. Гуляя, он держал всегда обе руки в карманах штанов и выпячивал вперед грудь в намерении тем выразить критическое отношение к жизни. С Крэнли, однако, он говорил главным образом о

женщинах, и по этой причине Крэнли дал ему прозвище Нерон. Однако, хотя уста его и можно было обвинить в неронической тенденции, он разрушал имперские аллюзии тем, что сдвигал фуражку необычайно далеко на затылок со своего «чубастого лба». Он питал безграничное презрение к студентам-медикам и к их манерам, и если бы только его голова была чуть меньше забита Дублином, он бы стал ценителем изящных искусств. Во всяком случае, он сильно интересовался вокальным искусством. [и] Используя этот интерес, он тоже сделал попытку сблизиться со Стивеном, и, поскольку за его степенностью скрывался «стыдливый идеализм,» то через посредство Крэнли он уже начинал ощущать влияние живительной безалаберности Стивена. Он отвергал – что весьма уникально при вялом и безвольном характере – затертые и бессмысленные ругательства, «дешевые прегрешенья» уст, и отсюда в нем родились два взлета вдохновения. Он «сделал ругательством желтое,» в знак протеста против кровавого прилагательного с темной этимологией, а для описания брачного тракта употреблял единственный неизменный термин. Этим термином был «оракул», и все, что в пределах данной области, именовалось «оракулярным». В его окружении термин считался изысканным, и он строжайше уклонялся от объяснений, каков был процесс его открытия.

Стивен стоял на одной из ступеней портика, но Крэнли не уважил его никаким знаком приветствия. Стивен вставил несколько фраз в разговор, но по-прежнему его присутствие не удостоилось внимания Крэнли. Подобный прием ничуть не обескуражил его, хотя довольно заинтриговал, и он выжидал спокойно своего часа. Один раз он обратился напрямик к Крэнли, однако не получил ответа. Ум его начал это переваривать, и в конце концов переваривание отразилось в продолжительной улыбке. Пока он так получал удовольствие, улыбаясь, он заметил, что за ним наблюдает Линч. Линч отделился от компании и сказал: «Добрый вечер». Потом он вынул из бокового кармана пачку сигарет «Вудбайн» и протянул одну Стивену со словами:

– Пяток на пенни.

Зная, что Линч живет в большой бедности, Стивен взял сигарету с признательностью. В молчании они курили несколько минут, и наконец вся компания в портике тоже смолкла.

– У тебя есть копия твоего доклада? – спросил Линч.

– А тебе нужно?

– Я бы хотел прочесть.

– Завтра вечером захвачу тебе, – сказал Стивен, поднимаясь по ступенькам выше.

Он подошел к Крэнли, который стоял, прислонясь к колонне и глядя прямо перед собой, и легким жестом тронул его за плечо.

– Мне надо поговорить с тобой, – сказал он.

Крэнли медленно повернулся и поглядел на него. Затем спросил:

– Сейчас?

– Да.

Они направились по Килдер-стрит, ничего не говоря. Когда они подошли к Грину, Крэнли сказал:

– Я еду домой в субботу. Может, мы дойдем до станции Харкорт-стрит? Я хочу посмотреть час отправления поезда.

– Хорошо.

На станции Крэнли очень долго разглядывал расписания поездов и делал таинственные выкладки. Затем он проследовал на платформу и продолжительно наблюдал, как перецепляют паровоз от товарного поезда к поезду пассажирскому. Паровоз пускал пары, оглушительно свистел и катил волны густого дыма к своду вокзала. Крэнли сказал, что машинист родом из его мест, сын одного сапожника из Тайнахили. Паровоз совершил серию неуверенных рывков и наконец прилачился к поезду. Машинист высунулся сбоку и апатично смерил поезд неспешным взглядом.

– Я думаю, ты бы назвал его чумазым Джейсусом, – сказал Крэнли.

– Крэнли, – произнес Стивен, – я оставил Церковь.

При этих словах Крэнли взял его под руку, они вышли с платформы и спустились по лестнице. Как только они были вновь на улице, он ободряюще спросил:

– Так ты оставил Церковь?

Стивен передал всю беседу фраза за фразой.

– Так значит, ты уже совсем не веришь?

– Я не могу верить.

– Но в прежнее время ты мог.

– Теперь не могу.

– Если бы захотел, ты бы смог и теперь.

– Ну значит, не хочу.

– Но ты уверен, что ты не веришь?

– Абсолютно уверен.

– Почему ты не идешь к причастию?

– Потому что я не верую.

– А ты бы не причастился кощунственно?

– Зачем это мне?

– Ради матери.

– Не вижу, почему я это должен.

– Твоя мать будет мучиться. Ты говоришь, что ты не веришь. Гостию это для тебя кусочек простого хлеба. И ты бы не съел кусочек простого хлеба, чтобы не причинять матери страданий?

– Во многих случаях съел бы.

– А почему не в этом случае? Тебя разве что-нибудь останавливает от кощунства? Раз ты не веруешь, тебя ничто не должно.

– погоди минуту, – сказал Стивен. – В данный момент совершение кощунства меня отталкивает. Я продукт католичества. Меня запродали Риму еще до моего рождения. Теперь я порвал цепи рабства, но я не могу вмиг избавиться от всех чувств, что были в моей натуре. На это потребно время. Но если бы возник случай крайней необходимости – например, речь шла бы о моей жизни – я бы совершил любую чудовищность с гостиюй.

– Многие католики сделали бы то же самое, – сказал Крэнли, – если бы речь шла об их жизни.

– Верующие католики?

– Ну да, верующие. Выходит, по тому, как ты себя проявляешь, ты верующий.

– Я совсем не из страха отстраняюсь от кощунства.

– Тогда из-за чего?

– Я не вижу оснований совершить кощунство.

– Но ты всегда исполнял пасхальный долг. Почему же меняться? Это ведь для тебя одна насмешка, комедия.

– Когда я ломаю комедию, это акт подчинения, публичный акт подчинения Церкви. Я не буду подчиняться Церкви.

– Даже если это только комедия?

– Это комедия с целью. Внешняя видимость сама по себе ничто, но она многое значит.

– Ты снова говоришь как католик. Гостию это ничто по внешней видимости – кусок хлеба.

– Согласен: и все равно я настаиваю на непокорности Церкви. Больше я подчиняться не буду.

– Но разве нельзя быть поддипломатичней? Разве ты не можешь быть в сердце бунтарем и следовать форме из презрения? Ты бы мог быть бунтарем духа.

– Любой, у кого восприимчивая натура, не может долго так делать. Церковь знает, чего стоит служить ей: священник должен каждое утро гипнотизировать себя перед дарохранительницей. Если я каждое утро буду вставать, подходить к зеркалу и говорить себе: «Ты – Сын Божий», через год мне понадобятся апостолы.

– Если ты можешь сделать, чтобы твоя религия давала такую же отдачу, как христианство, я тебе посоветую каждое утро вставать и подходить к зеркалу.

– Это было бы отлично для моих заместителей на земле, но мне самому распятие причинило бы некоторые неудобства.

– Но тут, в Ирландии, если ты будешь следовать новой своей религии неверия, ты рискуешь быть распятым, как Иисус, – пускай не физически, а социально.

– Только есть разница. Иисус к этому относился легко. Я так легко не дамся.

– Как же ты можешь сулить себе подобное будущее и при этом бояться устроить всего-то навсего маленькую комедию в церкви?

– Это уж мое дело, – сказал Стивен, похлопав себя по лбу.

Подойдя к Стивенс-Грин, они перешли через улицы и стали прогуливаться по площадке, огражденной цепями. Несколько рабочих со своими подружками, пользуясь темнотой, раскачивались на цепях, словно на качелях. Аллея была безлюдна, лишь в отдалении, предупреждением для всех, прямо под снопом лучей газового фонаря, высилась металлическая фигура полисмена. Проходя мимо колледжа, оба молодых человека как по команде подняли взгляд к темным окнам.

– Так можно спросить, почему ты оставил Церковь? – спросил Крэнли.

– Я не мог следовать ее предписаниям.

– Даже если с помощью благодати?

– Да.

– Предписания Иисуса самые простые. Это Церковь строга.

– Иисус или Церковь – мне это все едино. Я не могу следовать за ним. Мне необходима свобода поступать как мне нравится.

– Никому не дано поступать как нравится.

– Морально.

– Нет, и морально тоже нет.

– Ты хочешь, – сказал Стивен, – чтобы я тоже был как эти доносчики и лицемеры в колледже. Никогда я таким не буду.

– Нет. Я сказал про Иисуса.

– Не будем о нем. Я его превратил в имя нарицательное. В него не верят, его заповедям не следуют. Так или иначе, давай мы Иисуса оставим. В пределах моего зрения только его заместитель в Риме. Это пустое дело. Меня не запугают, чтобы я платил дань, безразлично, деньгами или мыслями.

– Ты мне сказал – помнишь вечер, когда мы стояли у балюстрады наверху и говорили



про...

– Да помню, помню, – сказал Стивен, который терпеть не мог этот метод Крэнли «вспоминать прошедшее», – что я тебе говорил?

– Ты рассказал мне, какие мысли у тебя были про Иисуса в Страстную Пятницу, про безобразного скрюченного Иисуса. А тебе никогда в голову не приходило, что Иисус мог быть сознательным самозванцем?

– Я никогда не верил в его целомудрие – в смысле, с тех пор, как я стал думать о нем. Я уверен, он вовсе не был евнухом-священником. Его интерес к распутным женщинам слишком настойчиво человеческий. Все женщины, что вокруг него, – сомнительной репутации.

– И ты не думаешь, что он Бог?

– Хорош вопрос! Ты мне объясни это: объясни соединение ипостасей; скажи, подходит ли та фигура, которой этот вот полисмен поклоняется как Святому Духу, на роль сперматозоида с крылышками. Хорош вопрос! Он делает общие замечания о жизни, вот все, что я знаю, – и с этими замечаниями я не согласен.

– Ну например?

– Например... Слушай, я не могу говорить об этом. Я не специалист, и мне никто не платит как служителю Бога. Я хочу жить, пойми. Макканн желает воздух и пищу – я желаю это и еще массу другого. Мне все равно, прав я или нет. Я думаю, в человеческих делах всегда риск. Но пусть даже я не прав, мне не придется по крайней мере выносить общество патера Батта целую вечность.

Крэнли рассмеялся:

– Не забывай, он наверняка будет со прославленными.

– Выходит, по климату лучше рай, а по компании ад... Все это до того по-идиотски, вся эта канитель. Бросить все к черту. Я еще молод. Когда у меня вырастет борода по пояс, я изучу древнееврейский и тогда все тебе напишу про это.

– Почему ты так не выносишь иезуитов? – спросил Крэнли.

Стивен ничего не ответил, и когда они вошли снова в полосу света, Крэнли воскликнул:

– Ты стал весь красный!

– Я это чувствую, – ответил Стивен.

– Большинство считает тебя сдержанным человеком, – после паузы сказал Крэнли.

– Правильно считает, – сказал Стивен.

– Только не в этом вопросе. С чего ты так разволновался – не понимаю. Тебе это следует обдумать.

– Когда захочу, я могу обдумать все, что угодно. Все это дело я обдумал

тщательно и внимательно, можешь мне в этом верить или не верить. Но мой побег из неволи меня волнует – я должен говорить именно так. Я чувствую, как лицо у меня горит. Чувствую, как сквозь меня проносится ветер.

– «Шум как бы от несущегося сильного ветра»[41 - Деян. 2: 2.], – сказал Крэнли.

– Ты убеждаешь меня отложить жизнь – отложить насколько? Жизнь – это жизнь сейчас: если я ее отложу, я, может быть, никогда не начну жить. Ходить с достоинством по земле, выражать себя без тупой претензии, осознавать собственную человечность! И не думай, пожалуйста, что я занимаюсь декламацией, я совершенно серьезен. Я говорю из глубины души.

– Души?

– Да, моей души, моей духовной природы. Жизнь это не значит позевывать. Философия, любовь, искусство не исчезнут из моего мира из-за того, что я перестал верить, будто позволив себе вождение на одну десятую секунды, я для себя готовлю вечные муки. Я счастлив.

– Ты правда это можешь сказать?

– Иисус печален. Почему он так печален? Он одинок... Послушай, надо, чтоб ты увидел истину в том, что я говорю. Ты поддерживаешь Церковь против меня...

– Дай мне...

– Но что такое Церковь? Это не Иисус, блистательный одиночка со своими неподражаемыми воздержаньями. Церковь создана мною и мне подобными[42 - В рукописи слова «создана мною и мне подобными» вставлены красным карандашом.] – ее службы, предания, обряды, живопись, музыка, традиции. Все это ей дали ее художники. Они сделали ее тем, что она есть. Они приняли комментарий Аквината к Аристотелю как Слово Божие и сделали ее тем, что она есть.

– А почему ты не поможешь ей и дальше такую быть – ты как художник?

– Я вижу, ты признаешь истину того, что я говорю, хотя не хочешь в этом сознаться.

– Церковь позволяет индивидуальному разуму иметь огромную... в действительности, если ты веруешь... то есть веруешь, – сказал Крэнли, тяжело притопнув обеими ногами на этом слове, – истинно и честно...

– Довольно! – воскликнул Стивен, хватая спутника за руку. – Не нужно меня защищать. Я беру весь риск на себя.

В молчании они обошли три стороны Грина, меж тем как парочки начали сниматься с цепей, отправляясь послушно к своим скромным местам упокоения, и через некоторое время Крэнли начал объяснять Стивену, как он тоже ощущал жажду жизни – жизни свободной и счастливой, – когда он был моложе, и как в этот период он тоже был близок к тому, чтобы оставить Церковь в поисках счастья, однако по многим соображениям удержался от этого.

Крэнли отправился в Уиклоу в конце недели, предоставив Стивену отыскивать другого слушателя. По счастью, у Мориса были каникулы, и хотя Стивен проводил добрую долю времени, шатаясь по дублинским трущобам, меж тем как Морис пропадал на острове Булл, братья встречались и беседовали часто. Стивен излагал свои длинные разговоры с Крэнли, и Морис производил их полную запись. По всей видимости, младший скептик не разделял высокого мнения старшего о Крэнли, хотя говорил он скупой. Это предубеждение Мориса сложилось у него не от ревности, а скорей в силу преувеличения деревенского начала в Крэнли. На его взгляд, быть поселянином значило быть скоплением привычек, порожденных хитростью, глупостью и трусостью. Разговаривал он с Крэнли всего однажды, однако часто видел его. Он заявил, что, по его мнению, Крэнли начинает думать лишь тогда, когда с ним заговорят, после чего производит на свет какую-нибудь банальность, которой сам, если бы мог, предпочел не верить. Стивен находил это несправедливым, говоря, что у Крэнли дерзостные банальности, что он «может заливаться соловьем» и что в нем возможно признать некий извращенный гений. Утрированный скептицизм Крэнли и его грузная походка подвинули Мориса на то, чтобы «заклеймить деревенщину» в нем особым прозвищем. Он прозвал его Томас Чурбан и не желал даже слышать про то, что [Крэнли], в известной мере, тот умел держаться внушительно. Крэнли, по его мнению, уехал в Уиклоу, потому что ему требовалось «быть кумиром» для какой-нибудь публики. Он тебя невзлюбит, предрекал смшеленый юный язычник, когда ты начнешь становиться кумиром еще для кого-нибудь. Есть ли у него что дать или нет, но он все равно не даст тебе ничего в обмен на то, что ты даешь ему, потому что в его [природе] характере подавлять другого. Очень возможно, он не понимает и половины того, что ты ему говоришь, но при всем том он желает, чтобы его считали единственным, кто может тебя понять. Он хочет, чтобы ты нуждался в нем все больше и больше, пока не окажешься в его власти. Следи всегда внимательно, когда вы вместе, чтобы не показывать ему никаких своих слабостей. Он будет в твоей власти до тех пор, пока ты будешь вести себя с позиции силы. Стивен отвечал, что это, на его взгляд, некая новоиспеченная концепция дружбы, ни правоту, ни ложность которой нельзя доказать простым обсуждением, однако сам он не кто иной, как сознательный обладатель интуитивного аппарата, вполне достаточного и надежного для немедленной регистрации любых проявлений неприязни. Он защищал одновременно и друга, и свою дружбу с ним.

Лето тянулось скучным и теплым. «Почти ежедневно Стивен скитался по бедняцким кварталам, наблюдая за убогой жизнью их обитателей. Он читал все уличные баллады, которые налеплялись на запыленные витрины в Либертизе. Читал клички лошадей и ставки на скачках, нацарапанные синим карандашом подле дверей грязных табачных лавчонок, в витринах которых красовались алые полицейские ведомости. Разглядывал все лотки с книгами, где предлагались старые справочники, тома проповедей и никому неведомые трактаты по цене пенни штука или два пенса за три. Нередко располагался около двух напротив выхода с какой-нибудь фабрики в старом городе и смотрел, как идут работяги на обед» – большей частью молодые парни и девушки с лицами без цвета, без выражения, которые ловили этот момент, чтобы полюбезничать на свой манер. Захаживал в нескончаемые церквушки, где дремал старик на скамье, или служка обметал пыль со всего деревянного, или молилась женщина перед поставленной ею свечкой. Медленно следуя через лабиринт бедных улочек, он отвечал гордым взглядом в упор на встречаемые взгляды туповатого изумления и наблюдал исподлобья, как крупные быкоподобные туши постовых полицейских медленно поворачивались ему вслед, когда он проходил мимо. И эти скитания полнили его глубоко затаенным гневом; встречая дородного попа в черном, свершающего приятственную инспекцию кроличьих садков, где в изобилии копошились

раболепные чада Церкви, он всякий раз проклинал фарс ирландского католицизма: остров, [где] чьи обитатели вверяют свою волю и ум другим, чтобы обеспечить себе жизнь в духовном параличе, остров, где все богатства и вся власть в руках тех, чье царство не от мира сего, остров, где кесарь [проповедует] исповедует Христа и Христос исповедует кесаря, дабы они могли сообща нагуливать жир за счет голодающей черни, которой в качестве утешения в невзгодах и нищете иронически предлагается «Царство Божие внутри вас есть».

Этот негодующий настрой, который явно можно было упрекнуть в поверхностности, был, несомненно, порожден возбужденным порывом освобождения, и едва он начал его лелеять в себе, как осознал опасность соскользнуть в демагогию. Та позиция, что была для него конститутивной, выражалась в молчаливой, презрительной и самопогруженной манере, и, кроме того, рассудок подсказывал ему, что томагавк уже устарел в качестве эффективного орудия военных действий. Как честный эгоист, он определенно осознал, что невзгоды нации, чья душа антипатична была его собственной, он не способен принимать к сердцу столь же близко, как безобразие неудачной строки стиха: но в то же время он был в мире всего лишь ничтожной малостью, как художник-дилетант. Он желал свободно и полно выразить свою натуру для блага общества, которое он бы обогатил, но также и для собственного блага, поскольку действовать так было частью его жизни. Радикальное преобразование общества не было частью его жизни, но он чувствовал свою нужду в самовыражении настолько реальной и насущной, что твердо решил отменить со своего пути любые общественные условности, как тесно их тирания ни переплеталась бы с чувством жалости, и хотя вкус к изяществу и к детали делал его непригодным к роли демагога, [судя] по его общим взглядам, его могли бы с известным правом считать союзником политиков-коллективистов, к которым [верующие] их противники, верующие в Иегову, десять заповедей и суд, часто обращают очень серьезные упреки в том, что они приносят реальность в жертву абстракции.

Та разновидность христианства, что именуется католичеством, казалась ему стоящей на пути у него – и, соответственно, он ее устранил. Воспитание его включало веру в примат Рима, и перестать быть католиком значило для него перестать быть христианином. Идея, что власть в империи слабей всего на границах, требует модификации: всякий знает, что папа не может властвовать в Италии так, как властвует он в Ирландии, а царь не столь страшное орудие для петербургских купцов, как для простых русских в степях. В действительности, очень часто правление империи сильней всего на границах, и, в частности, оно там сильней во всех случаях, когда начинает слабеть в центре. Волны возвышения и упадка империй распространяются не со скоростью световых волн, и пройдет, возможно, немало времени, прежде чем Ирландия сумеет понять, что папство давно уже не находится в фазе анаболизма[43 - В рукописи это слово подчеркнуто карандашом и написано с опiskой: «анабилизм»]. Толпы паломников, увлекаемые по всему континенту своими ирландскими пастырями, должны пробуждать стыд у прожженных реакционеров вечного города одурелым пылом своего благочестия, подобно тому как дивящийся провинциал, только что заявившийся из Испании или Африки, мог бы расшевелить гражданские чувства какого-нибудь улыбчивого римлянина, для которого [его прошлое уже лишь] будущее его народа становилось все более смутным, по мере того как прошлое становилось отчетливым. Хотя, с одной стороны, понятно, что эта неизбежность власти католицизма в Ирландии должна необычайно усиливать чувство изоляции у ирландского католика, решившего добровольно поставить себя вне закона, однако, с другой стороны, та сила, которую он должен в себе развить, чтобы вырваться из-под гнета столь мощной и изощренной тирании, часто может оказаться уже достаточной для того, чтобы вывести его за пределы сферы, где еще возможен возврат. На поверку, именно пыл предшествующей религиозной жизни Стивена сейчас

обострял для него болезненность его изоляции и помогал в то же время отвердеванию в менее податливую, менее сговорчивую враждебность той расплавленной лавы ярости и тех сожигающих порывов, на которые чувства беспомощности, одиночества и отчаяния вначале действовали охлаждающе.

В летние месяцы столы в Библиотеке были пусты, и когда Стивену случалось туда забрести, он видел не много знакомых лиц. Одним из этих немногих был друг Крэнли [О'Нил] Глинн, клерк [с таможни] из пивоварни Гиннеса: все лето он усердно читал учебники по философии. Стивен имел несчастье в какой-то вечер попасться в плен [О'Нилу] Глинну, который немедля завязал разговор о современной школе ирландских писателей – о коей Стивену было ровно ничего не известно, – и он должен был выслушивать сбивчивый поток литературных суждений. Суждения были не слишком интересны и быстро надоели Стивену: к примеру, [О'Нил] Глинн возвещал, какие прекрасные стихи писали Байрон, Шелли, Вордсворт, Кольридж, Китс и Теннисон, а также находил, что Рескин, Ньюмен, Карлейль и Макколей являются величайшими современными стилистами в английской прозе. В конце концов, когда [О'Нил] Глинн вознамерился пересказывать литературный доклад, прочитанный его сестрой в Дискуссионном клубе девушек из пансиона монастыря Лорето, Стивен решил, что имеет право положить этим излияниям предел, и «несколько в стиле Крэнли» спросил [О'Нила] Глинна с многозначительным видом, не может ли тот достать ему пропуск на осмотр пивоварни. Просьба была сделана тоном такого жадного, с трудом подавляемого интереса, что [О'Нилу] Глинну было весьма затруднительно продолжать свой литературный экскурс, и он обещал сделать все возможное, чтобы достать пропуск. Другим посетителем Библиотеки, который, казалось, очень хотел завязать дружбу со Стивеном, был молодой студент по фамилии Мойнихан, которого избрали на следующий год аудитором

Литературно-исторического общества. В ноябре ему предстояло прочесть свою вступительную речь, и он выбрал для нее тему «Современное неверие и современная демократия». Он был до крайности некрасив [малоросл], с растянутым ртом, который, пока не рассмотришь вблизи, казался помещающимся под подбородком, с посаженными чересчур близко глазами цвета слишком замытых оливок и большими, далеко оттопыренными жесткими ушами. Его чрезвычайно заботил успех его речи, поскольку он собирался стать адвокатом и видел в своем вступительном обращении первый шаг к известности. Проницательность законника еще не успела развиться в нем, судя по тому, что он воображал, будто Стивен тоже ужасно озабочен его вступительной речью. Как-то вечером Стивен подошел к нему, когда он усердно «выстраивал» свою тему. Возле него лежали объемистые тома Лекки, и он занимался конспектированием статьи «Социализм» в Британской энциклопедии. Завидев Стивена, он прервал труды и принялся рассказывать о приготовлениях, которые предпринимал комитет. Он показал письма, полученные от различных общественных деятелей, к которым комитет обратился с предложением выступить. Он показал эскизы пригласительных билетов, которые планировалось отпечатать, а также показал текст объявления, которое решили послать во все газеты. Стивен, знакомство которого с Мойниханом было отнюдь не близким, был несколько удивлен этими конфиденциями. Мойнихан сказал, что, по его убеждению, на будущий год Стивена изберут аудитором, ему на смену, и добавил, что был необычайно восхищен стилем доклада Стивена. Потом он стал обсуждать виды Стивена и свои собственные относительно получения степени. Он сказал, что немецкий язык полезнее итальянского (хотя, безусловно, итальянский гораздо прекраснее как язык) и по этой причине он всегда изучал немецкий. Когда Стивен поднялся уходить, Мойнихан сказал, что он, пожалуй, тоже отправится, и сдал свои книги. Его путь лежал по Нассау-стрит, на остановку трамвая в сторону Пальмерстон Парк; была сырая погода, улицы почернели и поблескивали, залитые дождем, и благодаря этому он еще интимнее сблизился со своим намеченным преемником, бросая взгляды и восклицания вслед больничной

сиделке, на которой были коричневые чулки и розовые нижние юбки. Стивен, которому это зрелище далеко не было неприятным, безмолвно наблюдал за ним еще задолго до того, как Мойнихан обратил на него внимание, и похотливые возгласы Мойнихана [также] напоминали ему стук клавишей пишущей машинки. Мойнихан, ставший к этому времени на приятельской ноге с ним, сказал, что зная итальянский он хотел бы ради Боккаччо и прочих итальянских писателей. Он поведал Стивену, что если того потянет прочесть что-нибудь этакое, «с клубничкой», [что] то в части «клубничности» первый приз – за «Декамероном».

– Завидую, я б тоже хотел как ты, – сказал он, – наверняка в оригинале вдесятеро забористей. Сейчас некогда рассказывать, вон мой трамвай подходит... но там точно уж первый приз, там этакое... смекаешь?.. ну ладно, до скорого!

Мистер Дедал не обладал обостренным чувством прав частной собственности: за квартиру он платил крайне редко. Требовать платы за съестные припасы ему представлялось справедливым, однако ожидать, чтобы за крышу над головой люди выкладывали непомерные суммы, что ни год требуемые дублинскими домовладельцами, ему представлялось несправедливым. Сейчас он уже год как занимал дом в Клонтарфе и заплатил за один квартал. Первое судебное предписание, посланное ему, «содержало юридическую оплошность,» и этот факт позволил ему продлить срок проживания. В данный же момент дело приближалось к развязке, и он прочесывал город в поисках следующего пристанища. Согласно частному сообщению от приятеля в полицейском ведомстве, у него оставалось ровно пять дней последней отсрочки, и каждое утро он с великим вниманием начищал свой цилиндр, протирал монокль и, надменно насвистывая, отправлялся служить наживкою для дублинских квартирохозяев. При этом входная дверь зачастую захлопывалась с шумом, в качестве единственно возможного завершения перебранки. По результатам экзаменов наградой Стивену был всего лишь перевод на очередной курс, и отец сообщил ему под большим секретом, что ему стоит подыскать себе какой-нибудь род ночлежки, поскольку через неделю они все окажутся на улице. Семейные капиталы были более чем скудны, потому что новая мебель, будучи свезена по частям в ломбард, принесла совсем мало. Кредиторы-торговцы, приметившие ее отъезд, начали игру в стучать-звонить, на которую с большим любопытством глазели уличные мальчишки. Айсабел лежала в задней комнате наверху и угасала на глазах, становясь при этом все более плаксивой и раздражительной. Доктор приезжал теперь два раза в неделю и предписывал кормить ее деликатесами. Миссис Дедал приходилось ломать голову, чтобы обеспечить семье основательную трапезу хотя бы раз в день, и, стараясь исполнять сей подвиг, примирять склоки у дверей, умерять дурные настроения мужа и ухаживать за умирающей дочерью, она не имела лишней минуты. Что же до сыновей ее, то из них один был вольнодумец, другой угрюмый молчун. «Морис поедал черствый хлеб, бормоча ругательства в адрес отца и отцовских кредиторов, упражнялся в саду, поднимая поломанную штангу и толкая большой бульжник», и плелся на Булл каждый день, когда позволял прилив. По вечерам он писал свой дневник или отправлялся в одиночестве на прогулку. Стивен бродил по городу с утра до ночи. Братья мало бывали вместе [но впоследствии]. Однажды в летних сумерках, [когда] оба глубоко задумавшись, они столкнулись нос к носу на каком-то углу, – и оба расхохотались; после этого случая они стали иногда прогуливаться вместе по вечерам, обсуждая искусство слова.

Как Стивен и обещал, он дал текст своего доклада Линчу, что привело к некоторому сближению между ними. Линч почти уже окончательно решился вступить в орден недовольных, однако бескомпромиссный эгоизм Стивена и его полнейший отказ от сентиментальности не только к другим, но равно и к самому себе, вызвали у него раздумья. Его вкус к изящным искусствам, который, как он всегда думал, следует

тщательно скрывать, теперь начинал робко заявлять о себе. Ему доставило также большое облегчение, когда он обнаружил, что у Стивена эстетизм уживается со здоровым и чуждым укором совести приятием животных потребностей молодых людей, поскольку, сам будучи животным смышленным, он начинал уже подозревать Стивена, судя по его рвению и возвышенности речей, во внешнем, по меньшей мере, утверждении той неисправимой девственности, каковой ирландский народ равно требует от всякого Иоанна, который брался бы его крестить, и от всякой Жанны, которая бралась бы освободить его, – как первого божественного свидетельства их годности для высокой миссии. Дом Дэниэлов настолько уже наскучил Стивену, что он прекратил воскресные посещения его, заменив их шатаниями по городу с Линчем. Они с трудом пробирались по запруженным улицам, где тесными стайками совершали променады молодые люди бедных достатков и фланирующие девицы. После нескольких подобных шатаний Линч усвоил новый словарь, выражающий новый подход к жизни, и начал считать оправданным то чувство презрения, какое всегда пробуждали в нем картинки дублинских нравов. Зачастую они останавливались посоветоваться на изощренном жаргоне с шальными девами города, чьи души почти отвращались от дурных намерений, в ужасе от трубногo баса старшего из двух юношей, и Линч, согреваясь на солнышке приятельских отношений, которые оказывались столь вольными и живыми, лишенными всякого следа тайного соперничества или превосходства, начинал уже удивляться, как мог он прежде находить Стивена неестественным. У каждого, как он теперь считал, у кого есть свой особенный характер, должна быть и своя особенная манера.

Однажды вечером, спускаясь по лестнице Библиотеки после праздного получаса над [музыкальным словарем] трактатом о медицинских аспектах пения, Стивен услышал позади шуршанье чьего-то платья. Платье принадлежало Эмме Клери, которая, разумеется, была немало удивлена, увидев его. Она как раз приходила покорпеть над древнеирландским и направлялась сейчас домой: отец не любил, чтобы она оставалась в Библиотеке до десяти, потому что у нее не было провожатого. Вечер был такой приятный, что она решила не ехать на трамвае. Стивен спросил, не может ли он проводить ее домой. Несколько минут они стояли в портике, беседуя. Стивен вынул сигарету, зажег ее, но тут же [очень] в задумчивости сбил зажженный кончик и сунул сигарету обратно в свой портсигар; глаза у нее ярко блестели.

Они поднялись по Килдер-Стрит, и, когда дошли до угла Грина, она перешла дорогу и они продолжали путь уже не так быстро по «гравийной дорожке за цепным ограждением. Цепи несли ночное бремя» влюбленности. Он предложил ей руку, и она с признательностью на нее оперлась. Они начали обмениваться сплетнями. Она обсуждала вероятность того, что Макканн женится на старшей из дочерей мистера Дэниэла. То, что Макканн может захотеть жениться, ей, как видно, казалось очень забавным, но она с полной серьезностью добавила, что Энн Дэниэл, во всяком случае, чудесная девушка. Из темноты, населенной парочками, донесся девичий голос: «Не надо!»

– «Не надо», – сказала Эмма. – Тот самый совет, который дает мистер Панч мужчинам, что собрались жениться... Я слышала, что вы стали женоненавистником, Стивен.

– Это была бы крупная перемена, правда?

– И я слышала, вы прочли в колледже какой-то жуткий доклад... со всяческими идеями. Это верно?

– Прошу вас, не будем говорить об этом докладе.

– Но я уверена, что вы женоненавистник. Вы стали таким, знаете ли, неприятным, надменным. Вам, может быть, не нравится общество дам?

Стивен слегка прижал к себе ее руку в качестве опровержения.

– И вы также стоите за эмансипацию женщин? – спросила она.

– Безусловно! – ответил Стивен.

– Что же, по крайней мере это я рада слышать. Я не думала, что ваши мнения в пользу женщин.

– О, я большой либерал, совсем как патер Диллон – он ведь таких либеральных взглядов.

– Да? Разве? – озадаченно проговорила она... – А почему вы совсем теперь не бываете у Дэниэлов?

– Я... сам не знаю.

– И чем же вы занимаетесь вечерами по воскресеньям?

– Я... сижу дома, – отвечал Стивен.

– Должно быть, вам грустно, когда вы сидите дома.

– Только не мне. Я веселюсь как одержимый.

– Я хочу снова услышать, как вы поете.

– О, спасибо... возможно, когда-нибудь...

– Почему вы не учитесь музыке? Не разрабатываете свой голос?

– Странно, как раз сегодня я читал книгу о пении. Она называется...

– Я уверена, ваш голос имел бы большой успех, – быстро перебила она, явно опасаясь доверить ему нить беседы... – А вы когда-нибудь слышали, как поет патер Моран?

– Нет. А у него хороший голос?

– Очень приятный, и он исполняет со вкусом. Он такой милый человек, вам не кажется?

– Необычайно милый. Вы ходите к нему на исповедь?

Она оперлась на его руку чуть-чуть тесней и сказала:

– Не надо дерзить, Стивен.

– Я бы хотел, чтобы вы пришли исповедаться ко мне, Эмма, – произнес он от всего сердца.



– Какая жуткая мысль... Зачем вы бы этого хотели?

– Услышать ваши грехи.

– Стивен!

– Услышать, как вы прошепчете их мне на ухо и скажете, что вы сожалеете о них и никогда больше не будете [делать] их совершать, и попросите меня вас простить. И я бы простил вас и взял бы с вас обещание совершать их опять, всегда, когда вам захочется, и сказал бы вам: «Благослови тебя Господь, дитя мое».

– Стивен, Стивен, стыдитесь! Как можно так говорить о таинствах!

Стивен ожидал, что она покраснеет, однако щека ее продолжала хранить невинность, только глаза блестели ярче и ярче.

– Вам ведь и это тоже наскучит.

– Вы так думаете? – спросил Стивен, стараясь удержаться от удивления столь умной репликой.

– Вы сделаетесь жутким ветреником, я уверена. Вам все так быстро надоедает – как было с вами в Гэльской Лиге, к примеру.

– В начале романа не стоит думать о его окончании, не правда ли?

– Может быть, не стоит.

Когда перед ними оказался угол ее террасы, она остановилась и сказала:

– Очень вам благодарна.

– Это я благодарен вам.

– Итак, вы должны исправиться, непременно, и в следующее воскресенье прийти к Дэниэлам.

– Если вы так категорически...

– Да, я настаиваю.

– Чудесно, Эмма. Если так, я приду.

– Не забудьте. Я хочу, чтобы вы меня слушались.

– Чудесно.

– Еще раз спасибо за то, что вы меня так любезно проводили. Au revoir! [44 - Напротив этой фразы имеется примечание карандашом: «Нужно дать по-ирландски». Почерк, которым написано это примечание, отличается от почерка рукописи. Возможно, что это почерк брата Джойса, Станислава, находившегося с Джойсом в Триесте с октября 1905 г.]

– Спокойной ночи.

Он смотрел вслед ей, пока не увидел, как она вошла в четвертый садик террасы. Она не обернулась взглянуть, смотрит ли он, но это его не опечалило: он знал, что у нее есть способ видеть, не подавая вида.

Разумеется, когда Линч услышал о происшедшем, он начал потирать руки и изрекать пророчества. По его совету в ближайшее воскресенье Стивен отправился к Дэниэлам. Старый диван конского волоса был на месте, изображение Сердца Иисусова было на месте – и она также. Блудному сыну был оказан теплый прием. За вечер она говорила с ним очень мало и, казалось, была целиком занята беседой с Хьюзом, которого с недавних пор удостаивали приглашения. На ней было кремовое платье, и пышная масса ее волос тяжелой волной ложилась на кремовую шею. Она попросила его спеть, и когда он исполнил песню Доуланда, она спросила, не споет ли он ирландскую песню. Стивен перевел взгляд с ее глаз на лицо Хьюза и снова уселся за пианино. Он спел ей одну из немногих ирландских мелодий, которые знал, – «Любовь моя родом с Севера». Когда он закончил, она громко зааплодировала, и Хьюз присоединился к аплодисментам.

– Я люблю ирландскую музыку, – сказала она через несколько минут, склоняясь к нему будто в забытьи, – она так берет за душу.

Стивен не сказал ничего. Он помнил почти каждое слово, сказанное ею с момента их первой встречи, и теперь пытался восстановить хотя бы единое из этих слов, которое говорило бы о присутствии в ней духовного начала, достойного столь значительного имени, как душа. Покоряясь благоуханиям ее тела, он пытался найти в нем местопребывание духовного начала – и не сумел. По всему судя, она следовала католической вере, подчинялась всем заповедям и предписаниям. Все внешние знаки толкали его видеть в ней святую. Но он не мог оглупить себя до того, чтобы принять блеск в ее глазах за блеск святости или же приписать вздымающиеся и опадающие движения ее груди некоему священному порыву. Он думал о собственной [пылкой религиозности] расточительной религиозности и монастырском обличье, припомнил, как изумил какого-то труженика в лесу возле Малахайда экстатической молитвой в восточной позе, и, лишь наполовину храня рассудительность под действием ее чар, он спрашивал, не ввергнет ли его в ад Бог католиков за то, что он не сумел раскусить тот самый ходкий товар, что удобным образом позволяет отдавать должное устоям, отнюдь не изменяя сообразно с ними собственной жизни, а равно и не смог оценить пищеварительной ценности таинств.

Среди гостей был старший брат миссис Дэниэл, патер Хили. Он только что вернулся из Соединенных Штатов Америки, где провел семь лет, собирая средства на строительство церкви под Эннискортти. По случаю возвращения его чествовали. Он сидел в кресле хозяина, которое занял по его настоянию, и, легким касанием сложив вместе кончики пальцев, с улыбкой взирал на общество. Это был полный маленький беленький священник, чье тело напоминало новенький теннисный мячик, и когда он сидел в кресле, непринужденно закинув ногу на ногу, он все время быстро качал маленькой полной ножкой, обутой в маленький полный ботинок скрипучей кожи. Он говорил с рассудительными американскими интонациями, и когда он говорил, комната обращалась в слух. Он очень интересовался новым гэльским возрождением и новым литературным движением в Ирландии. Особое внимание он уделял Макканну и Стивену, каждого из них засыпая массой вопросов. Он согласился с Макканном в том, что Гладстон – величайшая фигура девятнадцатого столетия, и тут мистер Дэниэл, весь светившийся гордостью, что ему выпало принимать столь почетного гостя, рассказал весьма достойную историю про Гладстона и сэра Эшмида-Бартлетта,

делая низкий голос, дабы изобразить речь великого старца. Во время шарад [он] патер Хили постоянно просил мистера Дэниэла повторять ему остроты, отпускаемые играющими, и то и дело сотрясался от смеха, когда мистер Дэниэл сообщал ему сказанное. Он не упустил ни одной возможности пополнить свои знания о внутриуниверситетской жизни, и каждый намек требовалось расплющить до абсолютной плоскости, прежде чем следовал его удовлетворенный кивок. Напав на Стивена с литературного фланга, он начал монолог о произведениях Джона Бойла О'Рейли, но, натолкнувшись на чрезмерную учтивость Стивена, принялся порицать систему исключительно книжного образования молодых людей. По этому случаю Стивен начал описывать ему спортивную площадку в колледже и гандбольный матч, и все это со скромностью и серьезностью.

– Теперь я вижу, – сказал патер Хили, хитро склоняя голову набок и взглядывая на юношу добродушно, – я вижу, что из вас выйдет отличный игрок. У вас самое подходящее сложение.

– Ну что вы, – отвечал Стивен, мечтая о присутствии Крэнли, – я совсем скверно играю.

– Это вы только так, – посмеиваясь, сказал патер Хили, – только так говорите.

– Нет, правда, – произнес Стивен, улыбаясь этому зоркому раскрытию его гандбольных талантов и вспоминая ругательства, которыми осыпал Крэнли его игру.

Наконец патер Хили начал позевывать, что было принято как сигнал к подаче присутствующей молодежи ломтиков хлеба с маслом и чашек молока; все как один не пили ничего крепче. Хьюз был умерен даже и до того, что отверг полностью и питье, и еду, несколько огорчив этим Стивена, поскольку ему бы представилось недурное зрелище идеалиста. Макканн, как представитель практического взгляда на жизнь, питался довольно шумно и потребовал варенья. Это заявление заставило от души рассмеяться патера Хили, который никогда не слышал такого, и вызвало у других улыбку, однако Хьюз и Стивен обменялись весьма многозначительными взглядами через «незаселенную» скатерть. Все девушки сидели на одном конце стола, все молодые люди на другом, так что в итоге на одном конце царило веселое оживление, на другом крайняя серьезность. Стивен, после тщетных попыток завязать разговор с незамужней тетушкой семейства, которая исполнила свою миссию, принеся два бокала пунша, один для патера Хили, другой для мистера Дэниэла, отошел молча к пианино и начал играть под сурдинку старинные мелодии, тихонько их напевая себе под нос, пока кто-то из застолья не попросил: «Спойте нам что-нибудь» – после чего он оставил инструмент, вернувшись на диван конского волоса.

Глаза ее очень ярко блеснули. Пробираясь путем непрерывного самоанализа, Стивен уже так истрепал себя, что был способен желать только одного, отдохнуть подле ее красоты. Он припомнил те первые настроения чудовищной неудовлетворенности, что владели им при вхождении в дублинскую жизнь, и припомнил, что именно ее красота сумела умиротворить его. Теперь она, казалось, предлагала ему покой. Он спрашивал себя, понимает ли она его, сочувствует ли ему, не является ли вульгарность ее манер лишь сознательной игрой, проявлением снисхождения. Он знал, что отнюдь не ради такого образа создавал он теорию искусства и жизни, сплетал гирлянды стихов, и все же, будь он уверен в ней, он бы мог с большой легкостью относиться и к своим стихам, и к искусству. Его охватила жажда безумной ночи любви, отчаянное желание забросить и свою душу, и искусство, и жизнь, чтоб все это вместе с нею было погребено глубоко в пучине «сладострастной» дремоты. Этот неистовый импульс извергла у него уродливая

искусственность тех жизней, над коими уютно царствовал патер Хили, и он без конца твердил себе строку Данте, ради единственного слова, бывшего в ней, гневного двусложного «frode»[45 - Обман, мошенничество (ит.)]. Бесспорно, размышляя он, у меня несколько не меньше оснований применять это слово, чем у Данте. Духи Мойнихана, О'Нила, Глинна казались ему достойны того, чтобы носиться по ветру где-нибудь на краю ада, который был бы карикатурой Дантова. Духи фанатиков нации и религии он считал подходящими, чтобы населять круги обманщиков, где, скрывшись в кельях непорочно чистого льда, они могли бы доводить тела свои до надлежащих пиков неистовства. Духи послушных мирян, не отмеченные ни прегрешеньями, ни заслугами, он бы окаменил в кольце иезуитов, в кругу шальных и нелепых невинностей, а сам бы вознесся над ними и над их огорошенными идолами туда, где его Эмма, не утратив ни одной черточки своего земного образа и убранства, взывала бы к нему из магометанского рая.

У дверей ему пришлось уступить ее другим и расстаться, обменявшись пустыми любезностями; и когда он возвращался домой один, в мыслях его роились сомнения и дурные предчувствия. Некоторое время после этого вечера он не встречал ее, поскольку домашняя ситуация стала весьма засасывающей. Пять дней помилования, данные отцу, проходили в волнениях. Шло, казалось, к тому, что семейству негде будет преклонить голову, как вдруг в последний момент мистер Дедал отыскал кров у одного приятеля с Севера страны, служившего коммивояжером у торговца скобяными изделиями. Мистер Уилкинсон имел в своем распоряжении дом старой постройки, где было добрых комнат пятнадцать; формально он снимал этот дом, но, поскольку хозяин, старый скряга, не имевший ни родичей, ни друзей, весьма вовремя скончался, съемщика не обременяли вопросы сроков или оплаты. За малую понедельную плату мистеру Дедалу отведена была часть апартаментов в этом ветшавшем особняке, и накануне назначенной даты выселения, в ночь, он переместил свой лагерь. Скучную сохранившуюся мебель увлекла ломовая телега, а Стивен с братом, матерью и отцом несли отдельно фамильные портреты, не доверяя их возчикам, принявшим за воротник куда более, нежели тот мог вместить. Стояла светлая августовская ночь с освежающим холодком; их маленькая процессия двигалась вдоль дамбы. Айсабел перевезли еще днем, препоручив заботам миссис Уилкинсон. Мистер Дедал, шедший далеко впереди с Морисом, из-за удавшегося маневра был в самом приподнятом настроении. Стивен с матерью следовали позади, и даже у матери было на душе легко. Прилив, достигнувший высшей точки, плескался мягко у дамбы, и в ясном воздухе до Стивена донесся голос отца, подобный приглушенной флейте, поющей песню любви. Он сделал матери знак остановиться, и они вместе, опершись на тяжелые рамы картин, слушали:

Унесет мое сердце к тебе  
Унесет мое сердце к тебе  
И послушный ночной ветерок  
Унесет мое сердце к тебе

В доме мистера Уилкинсона была фешенебельная гостиная, обшитая дубовыми панелями и лишенная всякой мебели, за исключением пианино. Зимой эту гостиную за плату семь шиллингов в неделю по вторникам и пятницам снимал танцевальный клуб; теперь же дальний конец помещения служил складом для образцов скобяной продукции. Мистер Уилкинсон был высокий кривой мужчина молчаливого нрава, с большим талантом пить, не пьянея. Он питал большое почтение к своему гостю, к которому всегда обращался только с приставкой «Мистер». Женат он был на высокой женщине, такой же молчаливой, как он сам, которая поглощала множество любовных романов и свешивалась на добрую половину тела из окна, когда ее двое малышей запутывались в кусках «проволочной сетки или коленах» газовых труб. У нее было длинное белое

лицо, и она по любому поводу смеялась. Мистер Дедал и мистер Уилкинсон каждое утро вместе отправлялись в город, а часто и вместе приходили; дневное время миссис Уилкинсон проводила, свесившись из окна или толкуя с посыльными и разносчиками, меж тем как миссис Дедал дежурила у постели Айсабел. Теперь уж не могло быть сомнений, что дела девочки плохи. Ее глаза стали жалостно огромными, а голос глухим, и волосы, влажные на вид, свисали слипшимися прядками вдоль лица; поддерживаемая подушками, она весь день полусидела в постели, листая книжку с картинками. Когда ей говорили поесть или когда кто-то уходил от ее постели, она начинала хныкать. Она [мало] очень редко оживлялась, только когда внизу играли на пианино, и в эти минуты она просила открыть дверь ее комнаты и прикрывала глаза. Денег по-прежнему было мало, а врач по-прежнему предписывал кормить ее деликатесами. Ее затяжная, ползучая болезнь поселила у всех апатию безнадежности, и сама она, хотя еще почти ребенок, видимо, сознавала это. Один лишь Стивен, упорствуя в деятельной доброте, держался в прежнем бодро-эгоистическом стиле и «тщился раздуть огонь из тлеющих угольков» ее жизни. Он даже пересаливал немного, и мать корила его, что он так шумно себя ведет. Он не мог войти внутрь сестры и сказать ей: «Живи! Живи!», но старался расшевелить ее душу пронзительным свистом, вибрирующе нотой. Когда он заходил в ее комнату, он всегда задавал ей вопросы с небрежным видом, как если бы ее болезнь не имела важности, и раза два ему с уверенностью казалось, что глаза, смотревшие на него с постели, угадали его намерения.

Лето заканчивалось духотой. Крэнли был все еще в Уиклоу, а Линч начал готовиться к какому-то экзамену в октябре. Стивен слишком был поглощен собой, чтобы помногу разговаривать с братом. Через несколько дней Морис должен был вернуться в школу, с задержкой на две недели по причине, которую он именовал «одежно-обувным заболеванием». В доме мистера Уилкинсона тянулась повседневная жизнь – миссис Уилкинсон свешивалась из окна, а миссис Дедал сидела у постели дочери. Зачастую мистер Уилкинсон доставлял своего гостя домой после основательного загула, и приятели проводили остаток вечера на кухне, шумно дискутируя о политике. Огибая угол, Стивен уже с улицы нередко мог слышать зычные возгласы отца или [голос] звук отцовского кулака, трахающего по столу. Когда он входил, спорщики спрашивали его мнение, но он неизменно поглощал, что было на ужин, без комментариев и [поднимался] удалялся к себе; поднимаясь по лестнице, он мог слышать, как отец говорит мистеру Уилкинсону: «Со странностью малый, знаешь ли, со странностью!» – и мог себе при этом представить тяжело уставившийся взгляд[46 - На полях карандашом стоит: «Глаз».] последнего.

Стивен был очень одинок. Снова, как и в начале лета, он в рассеянности бродил по улицам. Эмма отправилась на Аранские острова с гэльской группой. Едва ли он был несчастен, однако не был и счастлив. Его настроения по-прежнему поджидались и пестовались и отливались во фразы стихов и прозы: и когда его стопы были слишком усталыми [или] настроение слишком «смутным воспоминаньем» или слишком робкой надеждой, он забредал в помпезную просторную пыльную гостиную и усаживался за пианино, «окутанный бессолнечным полусумраком.» Он ощущал этот безнадежный дом вокруг себя, над собой, ощущал увядание листвы и в душе своей единственную яркую звезду радости, трепещущую и готовую угаснуть. Аккорды, что уплывали к паутинным тенетам, к старому хламу, что уплывали бесцельно к пыльным окнам, были бессмысленными голосами его смятения, и все, что могли они, это уплывать бессмысленной чередой чрез все покои чувствительности. Он дышал воздухом могил.

Даже ценность собственной жизни стала сомнительной для него. Он тыкал пальцем в каждую ложь, которая заключалась в этой жизни: эгоизм, что с вызовом красовался перед людьми, но пугался малейших укоров совести, свобода, что заново обрядила

бы мир в наряды и обычаи, рожденные рабством, мастерство искусства, понимаемое немногими и самой своею изысканностью обязанное физическому упадку, который в свою очередь есть клеймо и знак вульгарных страстей. Кладбища раскрывали для него свои бесплодные реестры, «реестры всех жизней, что с охотой или без охоты предстали уже пред открывшимся божеством. Видения всех этих крушений и еще стократ более прискорбные видения жизней, от рожденья тупо влачащихся вперед, то зевая, то завывая, завладевали им как наваждение зла: и зло, в обличье извращенного ритуала, взывало к его душе совершить блуд с ним.

Однажды вечером он сидел [молча] за пианино; сумерки облекали его. Печальный закат тленьем ржавоцветных огней еще задержался в окнах. Над ним и вокруг него веяли тени увядания, увядания листьев и цветов, увядания надежд. Он перестал брать аккорды и, склонясь над клавишами, в молчаньи ждал: и его душа смешалась с наплывающими невыразимыми сумерками. Силуэт, в котором он узнал мать, возник в глубине комнаты, остановившись в дверях. В сумерках взволнованное лицо ее было багровым. Голос, который он помнил как голос матери, голос потрясенного ужасом человеческого существа, позвал его по имени. Силуэт у пианино ответил:

– Да?

– Ты что-нибудь знаешь про тело?

Он слышал, как голос матери взволнованно обращается к нему, словно голос вестника в драме:

– Что надо делать? Там что-то такое течет у Айсабел из отверстия... в животе... Ты не слышал никогда, чтобы такое случилось?

– Не знаю, – ответил он, пытаюсь понять ее слова, пытаюсь их повторить еще раз про себя.

– Надо, наверно, за врачом... Ты слышал когда-нибудь про такое?... Что надо делать?

– Не знаю... Какое отверстие?

– Отверстие... отверстие, которое у нас всех... тут.

## XXII

Стивен присутствовал в комнате, когда сестра умирала. Как только мать забила тревогу, было послано за священником. То был крошечный человек, который носил голову преимущественно на правом плече и говорил, сильно пришепывая, так что его было нелегко понять. Он принял исповедь у девочки и отбыл обратно, приговаривая: «Положимся на Господа – Ему лучше ведомо – положимся на Господа». Доктор приехал в кэбе с мистером Дедалом, осмотрел девочку и спросил, приходил ли к ней священник. Он отбыл, приговаривая, что, пока есть жизнь, есть надежда, но больная очень слаба; он зайдет утром. Айсабел умерла вскоре после полуночи. Отец, слегка нетрезвый, ходил по комнате на цыпочках, всхлипывал короткими всхлипами, как только у дочери менялось лицо, и повторял: «Ну давай, утеночек, ну возьми», когда мать пыталась дать ей глоток шампанского, потом начинал кивать головой, потом опять всхлипывал. Он также все время говорил всем, чтобы ее ободряли. Морис уселся у потухшего камина, уставившись на его решетку. Стивен

сидел у изголовья сестры, держа ее за руку, мать склонялась над ней, подносила к губам стакан, целовала дочь и молилась. Стивену казалось, что Айсабел очень повзрослела и постарела; ее лицо стало лицом женщины. Она постоянно переводила глаза от одной из двух ближайших фигур к другой, будто пытаясь сказать, что с ней поступили плохо, дав ей жизнь, и, по слову Стивена, послушно глотала все, что давали ей. Когда она стала уже не в состоянии глотать, мать сказала ей: «Любовь моя, ты уходишь домой. Ты уходишь на небо, и там мы все снова встретимся. Ты знаешь ведь?.. Да, любовь моя... На небе, с Богом...» и дитя недвижно остановило огромные глаза на лице матери, а ее грудь под одеялом начала с шумом вздыматься.

Стивен ощущал с большой остротой всю тщету жизни своей сестры. Он был готов сделать многое для нее, и, хотя она была для него почти чужой, зрелище ее смерти вызывало его скорбь. Ему представлялось, что жизнь – дар; утверждение «Я жив» звучало для него некоей достоверностью, меж тем как множество вещей, которые считаются несомненными, для него были недостоверны. Сестра ощутила жизнь только лишь как факт, не вкусив ни единого из ее плодов. Представление о многомудром Боге, который призывает душу к себе, когда он это сочтет благим, нисколько не искупало в его глазах этой тщеты ее жизни. Иссякшее тело, покоившееся пред ним, существовало в претерпевании, обитавший в нем дух никогда в буквальном смысле не дерзал жить и ничему ровно не был научен теми лишениями, которых вовсе не выбирал сам себе. Сама по себе она не была ничем и по этой причине не порождала привязанности к себе и сама ни к чему не привязалась. Когда они вместе росли детьми, люди говорили «Стивен с Морисом», а ее имя вспоминали не сразу. Даже имя ее, какое-то безжизненное, оставляло ее в стороне от игр жизни. Ему припомнились детские голоса, вопящие ликующе и нахально:

Стивен, ты Ривен, ты Рикс-Дикс-Дивен

но ее имя выкликалось всегда с деланным ликованием и неуверенным нахальством:

Айсабел, ты Райсабел, ты Рикс-Дикс-Дайсабел.

Смерть Айсабел собрала в дом многих родственников миссис Дедал. Они с некоторой робостью стучались в дверь, и, хотя держались скромно и незаметно, хозяин за глаза обвинял их – женщин, по крайней мере, – в том, что они шныряют пронырливыми глазами. Мужчин он принимал в длинной пустой гостиной, где камин зажигали раньше времени. Две ночи, когда устраивали поминки, в гостиной собиралось большое общество; они не курили, но выпивали и рассказывали истории. [Каждое] Наутро стол выглядел как судовой склад, по обилию пустых черных и зеленых бутылок. Братья Айсабел тоже сидели на поминках. Разговор часто был общим. Один их дядюшка был астматик с лохматой копной волос, который в молодости нечто себе позволил с дочкой своей квартирной хозяйки и еле умиротворил ее семейство, срочно женившись. Один из приятелей мистера Дедала, клерк в уголовном суде, рассказывал, какая работа у одного его друга в муниципалитете, которому полагалось рассматривать запрещенные книги.

– Этакая грязь, – говорил он. – Удивительно, как у кого-то хватает наглости

такое печатать.

– Когда я мальчишкой был, – сказал дядя Джон с очень простонародным выговором, – у меня охоты до книжек было куда поболее, чем сейчас, а монеты куда помене, и вот я захаживал в книжную лавку у Патрик-Клоуз. Однажды пришел я туда за «Коллин Бон»[47 - «Девушка с красивыми волосами» (ирл.), популярная мелодрама (1859) Дайона Бусико.]. Приказчик меня подзывает поближе и показывает книжку...

– А, знаю, знаю, – сказал клерк из уголовного суда.

– Давать такую книгу в руки молодому парню! Подсовывать ему в голову такие мысли! Чистый скандал!

Морис переждал выражения уважительной солидарности и спросил:

– А вы купили эту книгу, дядя Джон?

Все, казалось, собрались рассмеяться, однако дядя Джон, побагровев, с возмущением заключил:

– Тех, кто такие книги продает, под суд надо. А дети надо чтоб знали свое место.

Стоя подле закрытого пианино утром в день похорон, Стивен слышал, как стучается о перила гроб, который несли вниз по лестнице. Провожающие вышли следом за ним на улицу и распределились по четырем каретам. Стивен и Морис вынесли три венка и положили на катафалк. Быстрою рысью процессия двинулась в направлении кладбища Гласневин. У кладбищенских врат стояли в ожидании шесть катафалков. Процессия, что приехала прямо перед ними, была совсем бедной. Провожающие, теснившиеся по шесть человек в открытых каретах, беспорядочно выбирались из них, когда подъехала процессия похорон Айсабел. Участники передней процессии прошли в ворота, возле которых стояла кучка зевак и служителей. Стивен смотрел, как они двигались. Двое запоздавших грубо проталкивались сквозь толпу. «Девочка, держась ручонкой за платье женщины, бежала на шаг впереди нее. Лицо девочки было бесцветное как у рыбы, со скошенными глазами; лицо женщины квадратное и стиснутое, лицо барышницы. Девочка, искривив рот, глядела на женщину снизу вверх: понять, не время ли плакать;» женщина, поправляя плоскую шляпку, спешила к кладбищенской часовне.

В часовне мистеру Дедалу и его друзьям пришлось ждать окончания службы для бедных похорон. Она окончилась через несколько минут; гроб Айсабел внесли и поставили на подставку. Провожающие разошлись по местам и, подстелив носовые платки, скромно преклонили колени. Из ризницы вышел патер с большим жабьим брюхом, свисавшим на один бок, за ним мальчик-алтарник. Квакающим голосом он быстро прочитал службу и сонным жестом помахал над гробом метелкой кропила; мальчик в нужных местах писклявил ответные возгласы. Дочитав службу, он закрыл книгу, перекрестился и покачивающейся походкой скрылся обратно в ризницу. Вошли рабочие, перенесли гроб на тележку и покатали ее по песчаной аллее. Смотритель кладбища в дверях часовни обменялся рукопожатием с мистером Дедалом и не спеша последовал за процессией. Гроб гладко опустили в могилу, и могильщики начали швырять землю. При первых стуках комьев мистер Дедал начал всхлипывать, и один из его друзей, подойдя, взял его под руку.

Когда могилу засыпали, могильщики положили свои лопаты на нее сверху и перекрестились. Венки положили на могилу, и после молитвы траурная процессия



зашагала назад по аккуратным аллеям кладбища. Неестественное напряжение скорби несколько спало, и разговоры снова вернулись к жизненным материям. Все разместились по каретам и двинулись в обратный путь по Гласневин-роуд. На углу Данфи, где стояли уже кареты с других похорон, сделали остановку. У стойки мистер Уилкинсон выставил всем по первой; позвали кучеров карет, и они стали кучкой у дверей, отирая рукавом костистые выдубленные лица. Когда их спросили, что они будут пить, все выбрали по пинте – и поистине телесные оболочки их сродни были малоупотребительной ныне мерной оловянной кружке. Участники похорон, большей частью, взяли по маленькой какого-нибудь напитка. Стивен, когда о выборе выпивки спросили его, ответил без колебаний:

– Пинту.

Отец его прервал свою речь и пристально уставился на него, однако Стивен, чувствуя себя слишком безразличным ко всему, чтобы прийти в смущение, принял свою пинту с полной серьезностью и выпил ее в один долгий прием. Запрокинув заслоненную кружкой голову, он сознавал изумленное внимание отца и остро чувствовал в горле вкус кладбищенской горькой глины.

Жалкое и невыразительное погребенье сестры склоняло Стивена принять всерьез права воды и огня быть последним пристанищем мертвых тел. Вся устроенная государством машина казалась ему здесь от начала и до конца порочной. Ни один молодой человек не может созерцать факт смерти с великим удовлетворением, и ни один молодой человек, коего судьба или случай, ее сводный брат, приспособили быть органом чувствительности и интеллектуальности, не может созерцать ту сеть пошлости и фальши, из которой состоят похороны умершего горожанина, без великого отвращения. Некоторое время после похорон Стивен, одетый в черную подержанную одежду двух разных тонов, должен был принимать изъявления сочувствия. Многие из них исходили от отдаленных знакомых семьи. Почти все мужчины говорили: «И как только держится бедная ваша мать?», а почти все женщины – «Это огромное испытание для вашей бедной мамы», и все это произносилось всегда одинаково апатично и монотонно. Сочувствие выразил и Макканн. Он подошел к Стивену, когда сей юноша разглядывал галстуки в витрине галантерейного магазина, размышляя, отчего китайцы выбрали в качестве траурного цвета желтый[48 - Это слово зачеркнуто, и красным карандашом вписано «белый»]. Он энергично потряс руку Стивена:

– Я с такой печалью узнал о смерти твоей сестры... мы, к сожалению, слишком поздно услышали... не могли быть на похоронах.

Стивен, постепенно высвобождаясь из пожатия, сказал:

– О, она еще была маленькая... девочка.

Макканн, освобождая его руку с той же постепенностью, сказал:

– И все-таки... это причиняет боль.

Как показалось Стивену, в этот момент достигнуто было акмэ неубедительности.

Второй год университетской жизни Стивена начался в первых числах октября. Его крестный не выразил никакого мнения по поводу результатов первого года, но Стивену было сказано, что ему дается последняя возможность. В качестве дополнительного предмета он выбрал итальянский язык, отчасти из желания серьезно

прочитать Данте, а отчасти – чтобы избежать давки на лекциях по французскому и немецкому. Кроме него, никто больше в колледже не изучал итальянский, и раз в каждые два дня он являлся в колледж к десяти утра и поднимался в жилой покой патера Артифони. Отец Артифони был маленьким умным того из Бергамо, городка в Ломбардии. У него были ясные живые глаза и полный мясистый рот. Каждое утро, при стуке Стивена в дверь, [он] за нею слышался шум передвигаемых стульев, прежде чем раздавалось «Avanti!». Маленький священник никогда не читал в сидячей позе, и шум, доносившийся до Стивена, был шумом возвращения импровизированного пюпитра к его составным частям, твердому бювару и паре плетеных стульев. Уроки нередко длились более часа, и философия обсуждалась на них гораздо более, чем грамматика и литература. Учитель был, вероятно, осведомлен о сомнительной репутации ученика, но именно по этой причине он избрал с ним язык простодушной набожности – не то чтобы он был достаточно иезуитом, чтобы не иметь простодушия, но он был достаточно итальянцем, чтобы находить удовольствие в игре веры и неверия. Однажды он сделал выговор своему ученику за восхищенный намек на автора «Изгнания торжествующего зверя».

– Вы знаете, – сказал он, – этот сочинитель, Бруно, был ужасным еретиком.

– Да, – ответил Стивен, – и он был ужасно сожжен.

Но учитель был дурным инквизитором[49 - В рукописи стоит: «инквизиционером». Слово «инквизитор» написано на полях рукой Станислава (?).]. С видом великого лукавства он рассказал Стивену, что, когда он и его собратья из духовенства посещали публичные лекции в университете, остроумный профессор сдобривал всегда свою тему толикой перца. Отцу Артифони этот перец доставлял наслаждение. В отличие от многих граждан третьей Италии, он не питал особой симпатии к англичанам и склонен был снисходительно относиться к дерзостям своего ученика, которые, как он предполагал, были проявлениями чрезмерно пылкой ирландскости. По его представлениям, дерзость мысли не могла связываться ни с каким направлением, кроме ирредентизма.

Однажды в разговоре со Стивеном отцу Артифони пришлось признать, что для взора Божия даже самый предосудительный момент людских наслаждений будет благим, коль скоро было доставлено удовольствие человеческому существу. Разговор шел об одном итальянском романе. Один из здешних иезуитов прочел его и за общей трапезой осудил – назвал плохой книгой. Стивен же настаивал, что роман, во всяком случае, доставил ему эстетическое удовольствие, и в силу этого он мог быть назван хорошей книгой:

– Патер Берн так не думает.

– А Бог?

– Для Бога он, может быть, и... хорош.

– Тогда я принимаю сторону противника отца Берна.

У них возник весьма острый спор о благом и прекрасном. Стивен хотел исправить или прояснить схоластическую терминологию: противоречие между благим и прекрасным не является необходимостью. Фома определил благо как то, к обладанию чем направляется влечение, как желанное. Однако истинное и прекрасное желанны, они суть высшие и наиболее незыблемые порядки желанного, поскольку истина есть предмет интеллектуального влечения, каковое насыщается наиболее

удовлетворительными соотношениями умопостигаемого, красота же – предмет эстетического влечения, каковое насыщается наиболее удовлетворительными соотношениями чувственного. Отца Артифони необычайно восхищало, с каким воодушевлением Стивен придавал жизнь философским обобщениям, и он всячески побуждал юношу написать трактат по эстетике. Для него было, видимо, большим удивлением найти в здешних краях молодого человека, который отказывался представить себе разрыв союза между искусством и природой, причем отказывался не по причинам климата или темперамента, а по основаниям интеллектуальным. Для Стивена искусство не было ни копией природы, ни подражанием ей: художественный процесс он считал природным процессом. Во всех его речах о художественном совершенстве невозможно было обнаружить никакой искусственности. Говорить о совершенстве чьего-либо искусства для него означало не говорить о чем-то, что согласились считать возвышенным, но что в действительности было только возвышенною условностью, а скорей говорить об истинно возвышенном проявлении природы художника – проявлении, которое имело право на рассмотрение и открытое обсуждение.

Именно этот живой интерес толкал его держаться подальше от таких рассадников неизящной праздности, как дискуссионный клуб и братство, уютно обложившееся подушками. В ноябре в актовом зале состоялась вступительная речь мистера Мойнихана. Ректор, в окружении профессоров, занял председательское место. За столом восседали видные лица, а зал предоставлен был разношерстным интеллигентам, в зимний период кочующим с одного заседания на другое и не пропускающим ни единого театрального представления, которое шло бы не на английском языке. В дальнем конце зала толпились студенты колледжа. Девять десятых из них были необычайно серьезны, а девять десятых из оставшихся проявляли серьезность время от времени. Перед зачитанием речи ректор вручил за успехи в искусстве красноречия золотую медаль Хилану и серебряную медаль одному из сыновей мистера Дэниэла. Мистер Мойнихан был в вечернем костюме, и волосы его были завиты спереди. [Ректор похлопал ему] Когда он поднялся, чтобы приступить к речи, ректор похлопал ему, и зал следом за ним тоже похлопал. Речь Мойнихана демонстрировала, что истинное утешение страждущим несет не своекорыстный демагог, с его невежеством и безнравственностью, а Церковь и что истинный путь к улучшению участи трудящихся классов доставляет не проповедь неверия в гармоническое единство духовного и материального царств, но проповедь смиренного следования жизни Того, кто был другом всем людям, великим и малым, богатым и бедным, грешникам и праведникам, ученым и неученым, Того, кто был хотя и превыше всякого человека, но был кротчайшим из всех. Мойнихан также намекнул на странную кончину французского писателя-атеиста, давая понять, что Эммануил решил покарать возмездием неудачливого джентльмена, выведя незаметно из строя его газовую плиту.

В числе выступавших после речи были судья, заседавший в суде одного из графств, и отставной полковник ретроградных взглядов. Все ораторы воздавали хвалу трудам отцов-иезуитов, подготавливающих для Ирландии такую молодежь, что способна подняться высоко в жизни, – и главный оратор вечера приводился в качестве лучшего примера. Заняв вместе с Крэнли позицию в углу зала, Стивен оглядывал ряды студентов. Все лица, сейчас собранные и серьезные, несли одинаковую печать иезуитской выучки. По большей части они были свободны от наиболее вопиющих проявлений юношеской неотесанности; не были лишены некоторого искреннего, неагрессивного «отвращения к порокам юности.» [50 - Здесь на полях написано почерком Станислава (?) «Требуется изменения».] Они восхищались Гладстоном, успехами физики и трагедиями Шекспира и верили в приложимость католического учения ко всем повседневным нуждам, посредством дипломатического языка Церкви.

Не обнаруживая английской тяги к состоятельной аристократии, они считали насильственные меры неподобающими и в своих отношениях между собой и со старшими выказывали некий нервический и – когда речь заходила о власти – чрезвычайно английский либерализм. Они уважали власти духовные и светские: духовную власть католицизма и патриотизма, светскую же – правительства и начальства. Память Теренса Макмануса чтилась ими не в меньшей мере, нежели память кардинала Коллена. Если призыв к более раскованной и благородной жизни, случалось, доносился до них, они прислушивались к нему с тайной радостью, но неизменно решали отложить свои жизни до некоего благоприятного момента, чувствуя себя еще не готовыми. Они со вниманием слушали всех ораторов и аплодировали, едва раздавались упоминания ректора, Ирландии или католической веры. В середине заседания в зал проник, спотыкаясь, Темпл и представил Стивену своего друга:

– Звиняюсь, это вот Фиц, славный малый. Он от вас в восторге. Звиняюсь, что я вас знакоблю, славный малый.

Стивен и Фиц, юноша с пепельными волосами и удивленным выражением на покрасневшем лице, пожали друг другу руки. Фиц и Темпл прислонились ради устойчивости к стене, оба стоя не совсем твердо на ногах. Фиц начал тихо подремывать.

– Он революционер, – объяснил Темпл Стивену и Крэнли. – Ты, Крэнли, знаешь, мне сдается, ты тоже революционер. Революционер, а?.. Ага, убей бог, станешь ты на такое отвечать... А вот я революционер.

В этот момент раздались аплодисменты, потому что оратор упомянул имя Джона Генри Ньюмена.

– Это там кто, – Темпл принялся спрашивать всех вокруг, – ктой-то этот чудак?

– Полковник Рассел.

– А, так это полковник... А чо он сказал? Чо он сказал такое?

Ответа не последовало, и он продолжал спотыкаться через бессвязные вопрошанья – пока наконец, не сумев выяснить образ мыслей полковника, возгласил: «Ура, в сапоге дыра!» – после чего спросил у Крэнли, не согласится ли тот, что полковник – «жулик паршивый».

Учебой Стивен занимался во второй год еще менее регулярно, чем в первый. На лекции он ходил чаще, однако в Библиотеке за чтением сидел реже. «Vita Nuova» Данте навела его на мысль собрать свои разбросанные любовные стихи в совершенный венок, и он пространно разъяснял Крэнли трудности стихотворчества. Эти стихи доставляли ему удовольствие: он писал их с большими перерывами, лишь тогда, когда его побуждала писать некая вызревшая и осмысленная эмоция. Но в выражениях своей любви он оказывался вынужден употреблять то, что он именовал «феодальной терминологией», – и поскольку он не мог употреблять ее с той же истовой верой и той же целью, какие одушевляли феодальных поэтов, он вынуждался выражать свою любовь с долей иронии. Эта интуиция относительности – говорил он, – смешиваясь со столь самовластной страстью, создает современную ноту: мы не способны ни присягать на вечную верность, ни рассчитывать на нее, ибо слишком отчетливо представляем пределы любых человеческих проявлений. В наши дни влюбленный не может уже представлять себе всю вселенную соучастницей своего романа, и современная любовь, утратив отчасти свою неистовую силу, обретает зато больше

ласковой мягкости. Крэнли все это отвергал: для него различие между древним и современным было пустым звуком, поскольку у него в голове и прошлое и настоящее присутствовали низведенными до уровня утрированной низости. В пику ему, Стивен пытался доказывать, что хотя человечество, пожалуй, и не могло измениться до неузнаваемости за те короткие эпохи, что известны как исторические периоды, но все же в разные периоды господствуют разные идеи, и любая самая малая активность, производимая в эти периоды, зачинается и направляется этими идеями. Различие между феодальным духом и духом современного человечества – доказывал он – это не измышление литераторов. Крэнли, подобно многим циничным романтикам, убежден был, что общественная жизнь никак не влияет на жизнь индивидуальности и что люди вполне способны сохранять древние суеверия и предрассудки посреди всей современной машинерии; точно так же человек может жить, приспособившись к армадам техники, и тем не менее в душе оставаться бунтовщиком против всего этого порядка, который он сам поддерживает. Человеческая натура – величина постоянная. Что же до плана составления венка песен во славу любви, он находил, что если и существует в реальности такая страсть, она заведомо не может быть выражена.

– Мы вряд ли узнаем, существует она или нет, если никто не будет пытаться ее выразить, – сказал Стивен. – Нам не на чем ее проверить.

– А как ты можешь ее проверить? – отвечал Крэнли. – [Иисус] Церковь говорит, что проверка дружбы – это посмотреть, отдаст ли человек свою жизнь за друга.

– Но ты-то, конечно, в это не веришь?

– Не верю – это треклятое дурачье готово умереть за что угодно. Взять хоть Макканна – этот бы умер из чистого упрямства.

– Ренан говорит, что человек идет на мученичество только ради того, в чем он не вполне уверен.

– Даже в нашу современную эпоху люди умирают за две палки, соединенные крест-накрест. Что такое крест, как не простые две палки?

– Да, если хочешь, любовь, – сказал Стивен, – это название для чего-то невыразимого... Хотя нет, я не соглашусь... я думаю, вот что могло бы стать проверкой любви: посмотреть, что на нее дадут в обмен. Что люди дают, когда любят?

– Свадебный обед, – сказал Крэнли.

– Свои тела, правда же, – и это самое малое. Любовь – это что-то, за что отдают тело, пусть хотя бы внаем.

– Ты, значит, думаешь, что женщины, которые отдают свои тела, как ты выражаешься, внаем, любят мужчин, которым они их отдают?

– Когда мы любим, мы отдаем. В каком-то смысле они тоже любят. Мы что-нибудь отдаем – шляпу-цилиндр или сборник нот или свое время и труд или свое тело – в обмен на любовь.

– Меня б до черта больше устроило, если б эти самые женщины отдали мне цилиндр, чем ихние тела.

– Дело вкуса. Тебе, может, нравятся цилиндры. Мне нет.

– Дружище, – сказал Крэнли, – ты ж ничего ровным счетом не знаешь о человеческой натуре.

– Я знаю парочку простых вещей, и я их выражаю в словах. Я испытываю эмоции, и я их выражаю в рифмованных строчках. Песня – простое ритмическое высвобождение эмоции. Любовь может частично выразиться в песне.

– Ты все идеализируешь.

– Когда ты это говоришь, мне вспоминается Хьюз.

– Ты воображаешь, будто люди на все это способны... на эти все прекрасные штучки. Ни черта. Погляди на девиц, каких ты встречаешь каждый день. И ты считаешь, они поймут, чего ты толкуешь о любви?

– Не знаю, честно сказать, – молвил Стивен. – Девиц, каких я встречаю каждый день, я не идеализирую. Я их отношу к отряду сумчатых... Но как бы там ни было, я должен выразить мою природу.

– Пиши свои стихи в таком случае, – сказал Крэнли.

– Я чувствую дождь, – сказал Стивен, останавливаясь под раскидистой веткой в ожидании падающих капель.

Остановясь подле него, Крэнли наблюдал его позу с выражением горького удовлетворения на лице.

В своих блужданиях Стивен набрел на старую библиотеку, расположенную в гуще тех запущенных улочек, что называются старым Дублином. Библиотека основана была архиепископом Маршем, и, хотя была открыта для публики, весьма немногие, как видно, подозревали о ее существовании. Служитель, [был] в восторге от появления чаемого читателя, показал Стивену углы и ниши, населенные пыльными бурями томами. Стивен заходил туда несколько раз в неделю читать старые итальянские книги Треченто. Он начал интересоваться францисканской литературой. Не без сочувственной жалости он наслаждался легендой о мягкосердом ересиархе из Ассизи. Он сознавал в душе, что цепи любви святого Франциска удержат его не слишком надолго, но итальянский был так причудливо-изящен. Илия и Иоахим также оживляли наивную историю. На какой-то тележке с книгами у реки он обнаружил неизданный сборник, где были два рассказа У. Б. Йейтса. В одном из них, что назывался «Скрижали закона», упоминалось легендарное предисловие, коим Иоахим, аббат Флоры, якобы предварил свое Вечное Евангелие. Эта находка, столь удачно совпавшая с его собственными поисками, подтолкнула его к еще более упорным францисканским штудиям. Каждое воскресенье он шел вечером в церковь капуцинов, куда он однажды снес постыдное бремя грехов своих, дабы облегчиться от него. Его не коробили процессии ремесленников и рабочих, обходившие вокруг церкви, и проповеди священников были приятны ему в той мере, в какой проповедник не пускался во все тяжкие, показывая свое ораторское искусство, и не тщился выказать себя, хотя бы в теории, человеком светским. В своих ассизских настроениях он думал, что эти люди могут оказаться ближе других к его целям: и однажды вечером во время беседы с капуцином ему много раз пришлось подавлять в себе навязчивое желание взять этого священника под руку и, прохаживаясь с ним по дворику церкви, выложить ему напрямик всю историю из «Скрижалей закона», которая

отпечатлелась в памяти его от слова до слова. С учетом общего отношения Стивена к Церкви, подобное желание было, без сомнения, глубоко заразительно, и, чтобы его исцелить, требовались большие усилия его разумного оппонента. Он удовольствовался тем, что повел Линча прохаживаться по площадке за цепями в Стивенс-Грин и привел юношу в крайнее замешательство, продекламировав ему рассказ мистера Йейтса с большим старанием и воодушевлением. Вначале Линч заявил, что ничего в рассказе не понял, однако позднее, уютно устроившись в «шалманчике», сообщил, что чтение доставило ему грандиозное удовольствие.

– Эти монахи – достойные люди, – говорил Стивен.

– Народ круглый, в теле, – принимал Линч.

– Достойные. Я тут недавно пошел в их библиотеку. Добраться туда, это было целое дело – все монахи высыпали из всех углов и стали пялиться на меня. Отец [настоятель] хранитель спрашивает, что мне надо. Потом завел меня внутрь и потратил кучу труда на всю эту возню с книгами. А ты учти, это был тучный патер, и притом только что пообедал, так что уж тут была на самом деле добрая расположенность.

– Славный, достойный человек.

– Абсолютно не знал, что мне надо, зачем мне надо, но корпел однако всю – водит пальцем по одной странице, потом по другой, пыхтит и бормочет себе под нос «Якопоне, Якопоне, Якопоне, Якопоне». Ты согласен, что у меня есть чувство ритма?

Стивен любил по-прежнему превращения, приносимые сумерками. В Дублине поздняя осень и зима – пора всегда сырой и мрачной погоды. Он бродил по улицам вечерами и скандировал про себя фразы. Часто он повторял «Скрижали закона» или другой рассказ, «Поклонение волхвов». Воздух этих рассказов был насыщен воскурениями и предзнаменованиями, и тени странствующих монахов Ахерна и Майкла Робартиса перемахивали сквозь него гигантскими махами. Их речи были подобны загадкам высокомерного Иисуса; мораль их была недочеловеческой или сверхчеловеческой: ритуал, которому они придавали такую важность, был столь разнородным и бессвязным, был такой странной смесью банальностей и священнодействий, что в нем явно можно было узнать ритуал тех, кто воспринял от верховных жрецов, [которые некогда были] издревле повинных в изрядной надменности духа, некую смутную и обесчеловеченную традицию, таинственное посвящение. Цивилизацию можно, в самом деле, назвать созданием своих изгоев, однако самый незначительный протест против существующего порядка исходит от изгоев, чье кредо и образ жизни не способны к обновлению до такой степени, что могут считаться реакционными. Они образуют свою отдельную церковь; они устало вздымают свои кадильцы перед заброшенными алтарями; они обитают за пределами смертности, избрав исполнение закона своего особого бытия. Молодой человек, подобный Стивену, в такую пору смуты и сырости без труда способен поверить в реальность их существования. Они с жалостью склоняются над землей, подобные испарениям, жаждущие греха, помнящие о своих гордых истоках и призывающие к себе других. Стивену доставляло величайшее наслаждение твердить про себя одно прекрасное место из «Скрижалей закона»: Отчего убегаете вы от наших светильников, чья древесина – от тех деревьев, под которыми стенал Христос в Саду Гефсиманском? Отчего убегаете вы от наших светильников, сделанных из нежного древа, когда оно исчезло из мира и явилось к нам, и мы создали его собственным дыханием из старинных напевов?

Известный выверт начал окрашивать его жизнь. Он сознавал, что, хотя номинально он пребывал в мирных отношениях с общественным порядком, в лоне которого был рожден, далее это не сможет продолжаться. Жизнь скитальца казалась ему несравненно достойней, чем жизнь того, кто примирился с тиранией посредственности, увидав, что быть исключительным обходится слишком дорого. Юное поколение, которое он видел подраставшим вокруг, считало его проявления духовной деятельности более чем неприличными, и он знал, что под личиной боязливой приветливости представители власти лелеют надежду, что его необузданная натура заведет его в самый плачевный конфликт с реальностью и тогда в один прекрасный день они получат удовольствие официально препроводить его в приют безумцев. Такой финал не был бы необычным, ибо чрезмерная дерзновенность юности нередко приводит к преждевременной дряхлости, и с достоверностью доказано, что смелость [де Нерваля] поэта дурно оправдывает ожидания, когда побуждает его водить омара на ярко-голубом поводке по тротуару, отведенному для прогулок граждан. Он остро сознавал, какие зловещие опасности таит в себе поза экстравагантного выверта, однако был убежден, что тупое отправление обязанностей, равно непонятных и неприятных, несет гораздо больше опасностей – и при этом гораздо меньше удовлетворения.

– Церковь уверена, что в каждом своем действии человек стремится к какому-то благу, – сказал Крэнли. – Трактирщик хочет сколотить капитал, Хилан хочет стать судьей в Окружном суде, та девушка, с которой я тебя видел вчера...

– Мисс Клери?

– Она хочет мужа и уютный домик. Миссионер хочет обратить язычников в христианство, библиотекарь Национальной Библиотеки – обратить дублинцев в читателей и студентов. [Какое благо] Мне понятно, какого блага ищут все эти люди, но чего ищешь ты?

– Церковь проводит различие между благом, которого ищет человек такого типа, и благом, которого ищу я. Существует *bonum simpliciter*[51 - Добро просто (лат.)]. Так вот, те, о которых ты говоришь, ищут благо этого рода, потому что ими движут прямые страсти – [очевидные] прямые, даже если и низменные: похоть, честолюбие, чревоугодие. Я же ищу *bonum arduum*[52 - Добро труднодостижимое (лат.)].

– А оно может оказаться *bonum* еще более *simpliciter*. По-моему, ты сам не знаешь, – сказал Крэнли.

### XXIII

В этот период происходили кое-какие волнения в политических кругах, связанные с деятельностью Королевского университета. Было предложено создать комиссию для рассмотрения вопроса. Иезуитов обвиняли в том, что они направляют эту деятельность в своих целях, пренебрегая беспристрастной справедливостью. Чтобы опровергнуть обвинение в обскурантизме, разрешили начать выпуск ежемесячного журнала под руководством Макканна. Свежеиспеченный редактор был полон воодушевления.

– У меня уже собрано почти на весь первый номер, – сообщил он Стивену. – Я уверен, нас ждет успех. Хочу, чтобы ты нам написал что-нибудь для второго номера – только чтобы можно было понять. Прояви каплю снисходительности. Теперь ты уже



не скажешь, что мы такие варвары, – у нас свой журнал. Мы можем выражать свои взгляды. Напишешь нам что-нибудь, хорошо? В этом месяце у нас статья Хьюза.

– Конечно, у вас и цензор есть? – спросил Стивен.

– Понимаешь ли, – сказал Макканн, – первый, кто выдвинул идею журнала, это был отец Камминс.

– Глава вашего братства?

– Ну да. Он выдвинул эту идею, так что поэтому он выступает как бы ответственным за нас.

– Значит, он и есть цензор?

– У него есть полномочия, но он вовсе не узколобый человек. Тебе его незачем опасаться.

– Понятно. А скажи, пожалуйста, мне заплатят?

– Я думал, что ты идеалист, – отвечал Макканн.

– Удачи вашему органу, – молвил Стивен, помахав прощально рукой.

В первом номере журнала Макканна содержалась длинная статья Хьюза «Будущее кельтов». Там содержалась также статья сестры Глинна, написанная по-ирландски, и редакционная статья, в которой Макканн повествовал об истории возникновения журнала. Она начиналась так: «Главе нашего братства пришла счастливая мысль соединить все разнообразные стихии жизни нашего колледжа, открыв им возможность обмена идеями и взаимной критики на страницах университетского журнала. Благодаря усилиям и стараниям отца Камминса, исходные трудности были преодолены, и мы появляемся перед публикой с приветствием и с надеждой, что публика нас выслушает». Были в номере и несколько страниц сообщений из спортивных клубов и интеллектуальных кружков, где прохаживались по адресу разных знаменитостей, прозрачно скрытых под латинизированными фамилиями. «Медицинские заметки» за подписью «НО» [и] состояли из нескольких поздравительных абзацев о студентах-выпускниках медицинского факультета и нескольких восхвалительных – о милых и добрых профессорах. Имелись также стихи под названием «Девушка-товарищ» (песнь ласточки в полете), подписанные «Тога Девичис».

Стивену новый журнал показал в Библиотеке Крэнли, который, судя по всему, прочел его от корки до корки. С большой настойчивостью, невзирая на нетерпеливые восклицания, Крэнли протащил друга по всем разделам. «Медицинские заметки» извергли у Стивена такой взрыв приглушаемых ругательств, что Крэнли начал хохотать, прикрываясь страницами журнала, и краснолицый священник, сидевший напротив, воззрился на них с негодованием поверх своего номера «Тэблет». В портике Библиотеки стояли кучка юношей и кучка девушек; экземпляры новинки были у всех. Все болтали, смеялись, и медлили расходиться под предлогом дождя. Макканн, быстрый и возбужденный, в велосипедном кепи, сдвинутом набекрень, сновал между группами. Завидев Стивена, он подошел к нему с выжидающим видом.

– Ну как? Ты видел...?

– Это великий день для Ирландии, – произнес Стивен, завладевая рукою редактора и

с торжественностью пожимая ее.

– Ну... все-таки это кое-что, – ответил Макканн с покрасневшимся лбом.

Прислонясь к одной из колонн, Стивен стал смотреть на группу поодаль. Там, в кольце подруг, стояла она, смеясь и болтая с ними. Гнев, которым наполнил его новоявленный журнал, ниспадал плавно, как прилив, и он решил увести свой ум к тому зрелищу, что являли она и ее подруги. Точно так же при вступлении в пределы семинарии Клонлифф неожиданное воспоминание пробудило неожиданную симпатию, симпатию-воспоминание об [изолированной] опекаемой жизни семинариста, все добродетели которой казались вызывающе выставлены напоказ мирскому беспутству, настолько вызывающе, что лишь крепкие стены и сторожевые собаки могли удержать их в тесном мирке робких и модничающих манер. Хотя выраженьям их чувств недоставало изящества, а вульгарность их нуждалась лишь в силе легких, чтобы стать еще более кричащей, однако дождь настраивал его на милосердие. Гомон студентов доходил до него словно издали, отдельными волнами, и, поднимая взгляд, он видел, как уплывают прочь высокие дождевые облака над дождеомытой страной. Быстрый и легкий ливень прошел, замешкавшись алмазную гроздью среди кустов на прямоугольнике двора, где подымался пар от почерневшей земли. Стайка в колоннаде портика покидала убежище, поглядывая наружу с сомнением, шелестя тонкими башмачками, мило оберегая юбки и направляя под искусно выбранными углами легкое вооружение зонтиков. Он видел их возвращение в монастырь – строгие коридоры, простые дортуары, тихие четки часов, – меж тем как облака дождя уплывали на запад и правильными волнами до него доходил гомон юношей. Он видел далеко-далеко посреди дождеомытой равнины высокое простое здание с окнами, едва пропускающими сумрачный свет дня. Триста шумливых и голодных мальчишек сидели за длинными столами, поедая говядину с каемкой зеленого жира, похожего на ворвань, и ломти сырого серого хлеба, и один малыш, опершись на локти, то затыкал, то оттыкал свои уши, и шум едоков доходил до него ритмичными волнами как дикий звериный рев.

– Должно существовать искусство жеста, – однажды вечером сказал Стивен Крэнли.

– Ну да?

– Разумеется, я имею в виду искусство жеста вовсе не в том смысле, как его понимает профессор риторики. Для него жест – усиление речи. Я же имею в виду ритм. Ты знаешь песню: «О, эта грусть желтых песков»?

– Нет.

– Вот она, – произнес юноша, делая каждой рукою грациозный анапестический жест. – Это ритм, ты видишь?

– Да.

– Я бы хотел в один прекрасный день выйти на Грэфтон-стрит и проделывать жесты посреди улицы.

– Я бы с удовольствием поглядел.

– Нет никаких причин, отчего жизнь должна утратить всю свою грацию и благородство, пусть даже Колумб и открыл Америку. Я буду жить жизнью свободной и благородной.

– Ну да?

– Искусство мое будет исходить из свободных и благородных истоков. Усваивать нравы этих рабов слишком невыносимо для меня. Я отказываюсь, чтобы меня насильственно оглуляли. Ты веришь в то, что одна строчка стихов может дать бессмертие человеку?

– А почему не одно слово?

– «Sitio» – вот классический возглас [53 - «Жажду» (лат.)]. Ин. 19: 28 – слова Иисуса на кресте.]. Попробуй [и] это улучшить.

– Ты думаешь, что Иисус, вися на кресте, смаковал то, что ты называешь ритмом этого возгласа? Ты думаешь, что Шекспир, когда писал песню, выходил на улицу и проделывал жесты перед народом?

– Ясно, что Иисус не мог сопроводить свой возглас подобающе великолепным жестом, но мне не представляется, чтобы он произнес его бесцветным тоном. У Иисуса был подлинный чисто трагический стиль; его поведение во время суда достойно восхищения. Неужели ты думаешь, Церковь могла бы воздвигнуть вокруг его легенды такие изощренно художественные таинства, если бы в самой исходной фигуре не было некоего трагического величия?

– А Шекспир?..

– Не думаю, чтобы он хотел выйти на улицы, но уверен, что он сознавал и ценил собственную музыку. Я не верю, что красота – дело случая. Человек может думать семь лет, через какие-то промежутки, и потом вдруг написать единым духом строфу, которая обессмертит его – на первый взгляд, без размышления и труда, но только на первый взгляд. Потом зевака в партере будет говорить «Да, этот умел сочинять поэзию», а если я спрошу «И как это происходило?», зевака ответит «Да просто писал, и все тут».

– Я считаю, насчет ритма и жеста это все твоя выдумка. Тебя послушать, поэт это какая-то до жути запутанная личность.

– Ты так говоришь, потому что никогда раньше не видал поэта в работе.

– Откуда ты знаешь?

– Тебе кажется, мои теории – это высокопарные фантазии, правда?

– Чистая правда.

– Отлично, а я тебе скажу, что ты считаешь меня фантазером попросту потому, что я современен.

– Милый мой, это чистый вздор. Ты только и толкуешь о «современном». А ты представляешь, сколько времени земля стоит? Ты говоришь, ты очень эмансипированный, а на мой взгляд, ты пока что не пошел дальше первой книги Бытия. Нет таких вещей, как «современное» или «древнее», – это одно и то же.

– Что одно и то же?

– Древнее и современное.

– Ну да, знаю: любое ничем не отличается от любого другого. Конечно, я знаю, что слово «современный» всего лишь слово. Но когда я его применяю, я в него вкладываю определенный смысл...

– К примеру, какой?

– Дух современности – вивисекторский дух. Вивисекция – самый современный процесс, какой можно себе представить. Дух древности весьма неохотно мирится с реальными явлениями. Древний метод рассматривал закон с фонарем справедливости, мораль – с фонарем откровения, искусство – с фонарем традиции. Но все эти фонари обладают волшебным свойством: их свет изменяет и искажает. Современный метод исследует свою территорию при свете дня. Италия дала цивилизации науку, отставив фонарь справедливости и начав рассматривать [действия] преступника в его становлении и действии. Любой современный критический подход в политике и религии отправляет в отставку все презумпции касательно всех Государств, Искупителей и Церквей. [и] Он рассматривает все сообщество в целом и в действии и воссоздает весь спектакль искупления. Если б ты был философ-эстетик, ты бы взял на заметку все эти мои бредни, потому что в них перед тобой вся картина эстетического чувства в действии. Факультету философии следовало бы приставить ко мне сыщика.

– Тебе известно, я думаю, что Аристотель основал биологическую науку.

– За все блага мира я не скажу ничего против Аристотеля, но только при разборе «неточных» наук его дух, мне кажется, себя проявляет не в самых своих лучших свойствах.

– Мне интересно, как бы Аристотель расценил тебя как поэта?

– Черта с два я бы стал перед ним оправдываться. Пускай он меня изучает, если у него выйдет. Ты можешь себе представить прекрасную женщину, которая рассыпалась бы: «Ах, мистер Аристотель, ах, простите меня, что я так прекрасна»?

– Он был великий мудрец.

– Да, но я не думаю, что он был бы особым покровителем тех, кто пропагандирует полезность ходьбы на месте.

– Что ты хочешь сказать?

– Ты не замечал, как абстрактные термины звучат фальшиво и нереально, когда их произносят эти замшелые в нашем колледже? Ты видел, какие они подняли разговоры вокруг своего нового журнала. Макканн, они веруют, выведет их из пленения египетского. Этот журнальчик их, он тебя не заставляет твердить про себя «О боже, какое счастье, что у меня с этим ничего общего»? Вот та кукольная жизнь, какую отцы иезуиты позволяют этим послушным юношам, ее я и называю ходьбой на месте. Марионеточная жизнь, какую ведет сам иезуит, как раздатчик праведности и света истины, – вот тебе еще вариант ходьбы на месте. И при этом оба вида марионеток думают, будто Аристотель их оправдывает перед всем миром. Будь добр, припомни чудовищную легенду, что управляет всем их существованием, – до чего аристотелианская, а? Будь добр, припомни все мельчайшие правила, где вычислено

точное количество спасения в каждом благом деянии – какое аристотелевское изобретение!

Однажды вечером, когда оставалось с неделю до Рождества, Стивен стоял в колоннаде Библиотеки. Из здания вышла Эмма и остановилась побеседовать с ним. Она была в уютном, теплом твидовом одеянии, и ровные витки длинного белого боа открывали улыбающееся личико морозному воздуху. При виде такой счастливой сияющей фигурки среди безрадостного пейзажа любой нормального устройства юноша ощутил бы неудержимое желание сжать ее в объятиях. Небольшая шляпка темного меха делала ее похожей на куклу с рождественской елки, а неисправимые глаза говорили, казалось: «А вам не хотелось бы меня приласкать?» Она тут же принялась щебетать. Она знала ту, которая написала «Девушку-товарища», это девушка с большими способностями к таким вещам. А у них в монастыре был тоже журнал, и она туда пробовала писать «скетчи».

– Между прочим, я про вас слышу жуткие вещи.

– Как так?

– Все говорят, у вас жуткие идеи, вы читаете жуткие книги. Говорят, вы мистик или в этом духе. Знаете, что одна девушка мне сказала?

– Нет, а что?

– Что вы не верите в Бога.

Они шли по Грину за цепным ограждением, и когда она это сказала, она чуть сильнее послала к нему тепло своего тела, и ее глаза глянули на него с выражением заботливого участия. Ответный взгляд Стивена был тверд.

– Не будем о Боге, Эмма, – произнес он. – Вы меня занимаете гораздо больше, чем этот старый джентльмен.

– Какой джентльмен? – спросила она наивно.

– Пожилой джентльмен, владеющий птичником, – Иегова Второй.

– Не надо при мне говорить такие вещи, я ведь уже просила вас.

– Хорошо-хорошо, Эмма. Я вижу, вы боитесь потерять веру. Но вам нечего бояться моего влияния.

Они прошли от Грина до самой Южной Кольцевой, не пробуя возобновить разговор. С каждым шагом решимость Стивена расстаться с ней и никогда больше ее не видеть становилась прочней и глубже. Даже в качестве развлечения, ее общество действовало слегка разрушающе на его чувство собственного достоинства. Проходя под большими деревьями на Молл, она замедлила шаг и, когда они вышли из полосы света фонарей на мосту, остановилась сама, без его побуждения. Стивена это очень удивило: час и место придавали их положению двусмысленность и, хотя она выбрала для остановки глубокую тень деревьев, дерзость эта совершалась уже вблизи от ее дома. С минуту они прислушивались к тихому журчанью воды, глядя, как к середине моста ползет на подъем трамвай.

– Я правда так сильно занимаю ваши мысли? – произнесла наконец она глубоким и

значительным тоном.

– Да, без сомнения, – сказал Стивен, стараясь попасть в ее тон. – Я знаю, какая вы живая, человеческая.

– Но живых людей множество.

– Вы женщина, Эмма.

– Вы меня бы уже назвали женщиной? Вам не кажется, что я еще девочка?

В течение нескольких мгновений взгляд Стивена обходил рискованные территории, меж тем как ее полуприкрытый взор переносил это вторжение без упрека.

– Нет, Эмма, – проговорил он. – Вы больше уже не девочка.

– Но вы еще не мужчина, правда? – быстро откликнулась она; и было заметно даже в тени, как гордость, юность, желание начинают горячить ее щеки.

– Я желторотый, – отвечал Стивен.

Она чуть сильнее подалась к нему, и в ее глазах вновь появилось выражение заботливого участия. Тепло ее тела, казалось, перетекало в его тело – и без минуты колебаний он сунул руку в карман и принялся нащупывать там монеты.

– Мне надо идти, – сказала она.

– Доброй ночи, – сказал он с улыбкой.

Когда она вошла в дом, он направился берегом канала, по-прежнему в тени оголенных деревьев, тихо напевая себе под нос из службы Великой Пятницы. Он думал о том, что он сказал Крэнли, – когда люди любят, они отдают, – и произнес громко вслух: «Я больше никогда не буду говорить с ней». Когда он проходил у нижнего моста, из темноты появилась женщина и сказала: «Привет, миленький». Остановясь, Стивен посмотрел на нее. «Она была маленького роста, и даже в эту морозную пору от ее одежды несло застарелым потом. Над остекленелым лицом была надвинутая на гулящий манер соломенная черная шляпка. Она предложила ему пройтись с ней недалеко. Не отвечая ей и не прерывая страстной напев, Стивен переместил свои монеты в ее руку и продолжал путь.» Удаляясь и слыша ее благословения за своей спиной, он принялся размышлять о том, что совершенней с литературной точки зрения: рассказ о смерти Иисуса, данный Ренаном или же данный евангелистами. Однажды ему пришлось слышать, как проповедник, исполняясь благочестивого ужаса, намекал, что существует теория, пущенная каким-то литературным агентом сатаны и утверждающая, будто Иисус был маньяком. Женщина в черной шляпке не поверила бы никогда, что Иисус маньяк, и Стивен разделял ее мнение. Бесспорно, он великий образец для холостяков – сказал он себе – но все-таки для божественной личности он слишком уж печется насчет себя. Женщина в черной шляпке никогда не слыхивала о Будде, а характер Будды, пожалуй, превосходил характер Иисуса в том, что касается бесстрастной святости. Интересно, как бы понравилась ей эта история, как Яшодхара целовала Будду уже после его просветления и покаяния. Иисус Ренана малость буддийский, но западные люди, ярые обжоры и выпивохи, нипочем бы не стали поклоняться такому. Кровь требует крови. Есть люди на этом острове, у которых религиозное чувство находит выход в пении гимна «Омыты в крови Агнца». Возможно, это вопрос [порыва] диеты,

но я бы все-таки предпочел омовение в рисовой воде. Уфф! Как подумаешь! Кровавая баня, чтобы очистить тело духовное от всех грешных потовыделений... Чувство декорума заставляет ту женщину носить соломенную шляпку в разгар зимы. Она мне сказала: «Привет, миленький». Самое любящее существо всех времен не сможет сказать ничего большего. Вы только подумайте – «Привет, миленький». Сатана должен разгневаться, когда ее будут называть исчадием сатаны.

– Я не собираюсь больше встречаться с ней, – сообщил Стивен Линчу несколько вечеров спустя.

– Это большая ошибка, – сказал Линч, надувая грудь.

– Пустая трата времени. Я не получу никогда того, чего я хочу от нее.

– А чего ты от нее хочешь?

– Любви.

– Как?

– Любви.

Линч резко остановился и произнес:

– Смотри, у меня есть четыре пенса...

– Это у тебя-то?

– Давай куда-нибудь зайдем. Но только, если я тебе ставлю выпивку, ты мне должен обещать, что никогда больше этого не скажешь.

– Не скажешь чего?

– Того слова.

– «Любовь» то есть?

– Заходим сюда.

Когда они уселись в замызанной полутьме таверны, Стивен начал в задумчивости раскачивать под собой табурет.

– Я вижу, я слишком далеко завел твое воспитание, дружище Линч?

– Но ведь это была жестокость, – сказал Линч, наслаждаясь роскошью угощать и поучать приятеля.

– Ты мне не веришь?

– Конечно нет.

Некоторое время Стивен был целиком сосредоточен на своей мерной кружке.

– Конечно, – молвил он наконец, – кое-что меньшее я бы тоже взял, если бы она

дала.

– Уж знаю, взял бы.

– А ты б хотел, чтобы я ее соблазнил?

– Еще бы. Было б так интересно.

– Эх, только это невозможно!

Линч рассмеялся.

– Каким ты это жалостным тоном говоришь. Если бы только Макканн слышал...

– Знаешь, Линч, – сказал Стивен, – надо это признать нам свободно и открыто. Мы должны иметь женщин.

– Точно. Согласен. Мы должны иметь женщин.

– Иисус сказал: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем»[54 - Нагорная проповедь, Мт. 5: 28.], но он не осуждал «прелюбодеяния». Притом не совершать «прелюбодеяния» невозможно.

– Абсолютно невозможно.

– Следовательно, если я вижу женщину, которая склонна к оракулу, я иду к ней; если у нее нет склонности, держусь подальше.

– Но у той твоей вполне склонность к оракулу.

– Вот тут-то и танталовы муки – я знаю, что она вполне. Это с ее стороны так нечестно, что она меня дразнит. Я должен идти туда, где я точно уверен.

– Но это стоит денег, а кроме того, опасно. Можешь такое заполучить, что потом не расхлебашь всю жизнь. Я удивляюсь, как до сих пор ты не подхватил.

– Ну да, эта еще морока. Но все равно я куда-то должен пойти... Понимаешь, она человеческое существо. А шлюх я не рассматриваю как человеческие существа. И *scoitum*, и *moechus*[55 - Проститутка, распутник (лат.). Первое существительное по-латыни среднего рода, но второе – мужского.] – существительные среднего рода.

– Конечно, с человеческим существом было бы гораздо лучше. Но она может быть твоя, если ты захочешь.

– Как?

– В браке.

– Я рад, что ты мне об этом напомнил, – сказал Стивен. – Я совсем как-то позабыл.

– Можешь быть уверен, она не забыла, – заметил Линч, – и никому не даст позабыть.



Стивен вздохнул.

– Помнишь, как в «Поклонении волхвов»: «Когда бессмертные желают низвергнуть вещи сего дня и вернуть вещи дня вчерашнего, нет никого, кто мог бы помочь им, кроме того, кто отвержен вещами сего дня».

– Да.

– Кто мог бы помочь мне, кроме женщины в черной шляпке? И вопреки всему, я желаю принести в мир то духовное обновление, какое приносит поэт... Нет, я решил. Больше я ее не увижу.

– Женщину в черной шляпке?

– Нет. Деву.

– И я все-таки уверен, это ошибка, – заключил Линч, допивая свою пинту.

Однажды после Рождества, холодным пасмурным утром Стивен читал в комнате патера Артифони «Орестею». Он механически задавал вопросы и выслушивал механически ответы. Им был составлен следующий вопросоответ для псевдоклассического катехизиса:

Вопрос: Какую великую истину мы узнаем из трагедии Эсхила «Жертва у гроба»?

Ответ: Из трагедии Эсхила «Жертва у гроба» мы узнаем, что в Древней Греции братья и сестры носили ботинки одинакового размера.

Он перевел усталый взгляд с истрепанной обложки итальянского томика на пустынный парк Стивенс-Грин. Над ним, под ним и вокруг него в темных и пыльных комнатухах билось интеллектуальное сердце Ирландии – юноши подвизались в достижении учености. Над ним, под ним и вокруг него стояли на страже иезуиты, дабы направлять юношей на опасных путях познания. Властная длань иезуита твердо лежала на этом интеллектуальном сердце, и если порой она на него давила с излишней тяжестью, это был, право, небольшой крест! Юноши сознавали, что для этой строгости есть причины. Они понимали ее как свидетельство чуткой заботы и внимания и были уверены, что в их будущей жизни эта забота продлится и внимание сохранится: по поводу действий власти могли еще иногда (изредка) выражаться сомнения, но по поводу ее намерений – никогда. И кто ж тогда живеет этих юношей готов откликнуться на шуточки добряка-профессора или на неотесанность мужлана-привратника, кто сильнее озабочен тем, чтобы всемерно оберегать и лично превозносить честь Alma Mater?

Мертвящая атмосфера колледжа проникала в сердце Стивена. Со своей стороны, он был в трудном возрасте, обездоленный и нуждающийся, чувствительный ко всему, что было недостойного в подобных нравах, и принадлежащий к тем, кто по меньшей мере в мечтах знал благородство. Как средство от столь злополучного недуга, честнейший иезуит [за несколько дней до этого] порекомендовал службу клерком у Гиннеса: и без сомнения, кандидат в клерки на пивоварне не питал бы к замечательному сообществу всего лишь презрение и жалость, не будь того обстоятельства, что он желал, на языке учености, труднодостижимого блага. Невозможным было, чтобы он нашел достаточное благо себе в обществах для поощрения умственных занятий мирян или какое-либо утешение, помимо телесного, в

теплом благочестивом братстве, среди множества шальных и нелепых невинностей! Невозможным было, чтобы натура, вечно и трепетно устремленная к экстазу, решилась смириться, чтобы душа предписала той своей части, над которой подобно мантии уже ниспадал образ красоты, рабскую покорность.

Смертельный холод атмосферы колледжа сковывал сердце Стивена. В бессильном оцепенении он разглядывал чуму, имя которой – католицизм. Ему казалось, он видит, как заразная нечисть, рожденная в катакомбах в эпоху болезней и жестокости, расползается по равнинам и по горам Европы. Как нашествие саранчи, описанное в «Каллисте», эта нечисть запруживала реки и заполняла долины. Она заслонила солнце. Презрение к [телу] человеческой природе, слабость, нервная дрожь, боязнь яркого дня и радости, недоверие к человеку и жизни, паралич воли завладели телом с непослушными членами, изнемогающим от тиранства черной вши. Ликование разума пред радостью красоты, ликование тела в свободном общем труде, всякий естественный порыв к здоровью, мудрости, счастью поражаются этой заразной нечистью. Зрелище поработанного мира зажигало его смелым пламенем. По крайней мере, уж он – пускай живущий в предельном удалении от центра европейской культуры, на заброшенном океанском острове, пускай наделенный волей, что сломлена сомнением, и душой, вся стойкость ненависти которой испарилась в объятиях сирены, – он будет жить собственной жизнью, согласной с тем, что он признает за голос нового человечества, деятельного, бесстрашного и не стыдящегося себя.

Он механически следовал течению итальянского урока, ощущая, как ни на секунду не отпускающая смертоносность атмосферы колледжа проникает в его горло и легкие, застилает черным глаза, одурманивает мозг. Маленькие железные часы на столике едва отсчитали полчаса – до одиннадцати еще оставалось непомерно далеко. Ему пришлось раскрыть своего Макиавелли и перечитывать место оттуда, пока слух учителя не был удовлетворен. Куски тусклой хроники выпадали из его уст, унылые деревянные слова. Время от времени, отрывая взор от страницы, он видел, как мясистый рот патера поправляет его небрежные «о», то резким внезапным извержением звука гласной, то медленным беззвучным выпячиванием губ. Маленькие железные часы натикали еще пять минут. Учитель принялся проверять упражнения. «Стивен устало глазел в окно на затянутый пеленою тумана парк. В воздухе повисла паутина паров, и все дорожки и клумбы вызывающе контрастировали с серым небом резкой намокшей чернотой. По дорожкам, по ступеням памятника двигались макинтоши и пальто с навершиями зонтов или голов в капюшонах. Дорожка за цепным ограждением, где он столько раз прогуливался по ночам с друзьями, блестела, словно тусклое зеркало. Он глядел, как шагают ноги по этой блестящей поверхности, – он спрашивал себя, не приходят ли такие часы отчаяния как обратное отражение его всплесков избыточной жизненной энергии. Он понял, что смотрит на мир глазами Крэнли, но продолжал по-прежнему глазеть на дорожку.

– Так нельзя сказать, – произнес учитель, подчеркивая карандашом какое-то предложение. – Это не по-итальянски.

Стивен внезапно оторвал глаза от окна и встал:

– Вы не будете столь любезны извинить меня, сэр. К сожалению, я забыл сказать вам, что сегодня мне необходимо уйти пораньше... Я боюсь, я уже опаздываю, – тут он бросил взгляд на часы. – Вы меня не отпустите?

– У вас какая-то встреча?

– Да, я почти совсем забыл. Вы уж сегодня меня простите...

– Конечно, конечно. Можете идти.

– Спасибо. Боюсь, я...

– Конечно, конечно.

Стивен слетел по лестнице, стремительно скользя рукой по перилам и перемахивая через пять ступенек. В вестибюле нацепил кой-как дождевик и, запыхавшийся, с беспорядком в одежде, выскочил на переднее крыльцо. Выбежав на середину дороги, утопавшей в грязи, сквозь сумрачный воздух он стал всматриваться в направлении восточного края парка. Потом быстро зашагал по середине дороги, постоянно вглядываясь в ту же точку, пока не перешел на дорожку, пустившись бежать по ней. На углу Эрлсфорт-террас он повернул направо и вновь перешел с бега на быстрый шаг. За территорией университета он поравнялся с преследуемой целью.

– Доброе утро!

– Стивен!.. Вы что, бежали?

– Да.

– А куда вы направляетесь?

– Я увидел вас из окна.

– Какого окна?

– В колледже. А куда вы сейчас?

– Иду в Лисон-парк.

– Это сюда, – сказал Стивен, беря ее под руку.

Казалось, что сейчас она возмутится подобным поведением среди бела дня, но, ограничившись одним быстрым укоряющим взглядом, она позволила ему себя проводить. Стивен крепко прижимал к себе ее руку и вызывал замешательство у нее, при разговоре приближаясь почти вплотную к ее лицу. Капельки тумана поблескивали на этом лице, и оно начинало розоветь в ответ на его страстную возбужденность.

– А как вы меня увидели?

– Я сидел у окна, у меня был урок итальянского с отцом Артифони. Я увидел, как вы идете по Грину и потом через дорогу.

– Правда?

– Я тут же вскочил, попросил у него извинения, что у меня срочная встреча, и пустился опроретью вас догонять.

Щека ее начала принимать густо-красный оттенок, и было хорошо видно, как она пытается держаться непринужденно. Сперва она была польщена, однако теперь начинала немного нервничать. Рассказ о его погоне за нею вызвал у нее нервный

смешок.

– Боже правый! Почему вы так сделали?

Стивен ничего не ответил, но прижал к себе ее руку крепко-крепко. В конце террасы она инстинктивно свернула в боковую улицу. Здесь она замедлила шаг. Улица была тиха и пустынна, и они оба невольно понизили голос.

– Откуда вы знали, что это я? – спросила она. – У вас, должно быть, отличное зрение.

– Я глазел в окно на Грин и на небо, – отвечал он. – Господи боже! У меня было такое чувство отчаяния! Иногда это бывает со мной. Я живу такой странной жизнью – я не имею ни от кого ни помощи, ни сочувствия. Иногда я боюсь самого себя. Эта публика в колледже, я их называю не людьми, а овощами... И вот, когда я проклинал свою судьбу и характер, я вас увидел.

– И что? – сказала она, окидывая растрепанную фигуру рядом с собою большими овальными глазами.

– Знаете, это была такая радость увидеть вас. Я тут же должен был вскочить и за вами броситься, я не мог высидеть больше ни минуты... Я сказал себе: вот наконец человеческое существо... Я вам не могу передать, какая это была радость.

– Какой странный мальчик! – сказала она. – Вам не следует так носиться – надо быть более рассудительным.

– Эмма! – воскликнул Стивен. – Пожалуйста, не говорите так сегодня со мной. Я знаю, вы хотите вести себя благоразумно. Но вы и я – мы оба молоды, правда?

– Да, Стивен.

– Чудесно. Когда мы молоды, мы чувствуем себя счастливыми. Мы чувствуем себя полными желания.

– Желания?

– Вы знаете, когда я увидел вас...

– Да, как вы меня узнали?

– Я узнал походку.

– Походку!

– Эмма, вы знаете, я мог даже из окна видеть движения ваших бедер под плащом. Я видел, как юная женщина гордо шествует по безжизненному городу. Да, именно так вы шли, вы шествовали – гордая быть молодой и быть женщиной. Знаете, когда я увидел вас из окна – вы знаете, что я почувствовал?[56 - Поперек этого абзаца написано красным: «Гордость плоти».]

Теперь для нее уже было бесполезно разыгрывать безразличие. Все щеки ее заливал румянец, глаза сияли как самоцветы. Она смотрела прямо перед собой, и ее дыхание стало учащаться. Они стояли вдвоем на этой пустынной улице, и он все продолжал

говорить, и словно какая-то прямолинейная отрешенность вела за собой его возбужденную страсть.

– Я почувствовал безумную тягу обнять вас – ваше тело. Безумную тягу самому быть в ваших объятиях. Только это... И тогда я подумал, что я выбегу за вами и скажу это вам... Прожить вместе одну ночь, Эмма, и потом наутро проститься и никогда больше не видеть друг друга! В мире не существует того, что называют любовью: но люди молоды, и в этом все...

Она пыталась забрать свою руку у него и шепотом говорила, будто повторяя заученное:

– Вы сошли с ума, Стивен.

Стивен высвободил ее, перестав держать под руку, но взял ее за руку, говоря:

– Прощайте, Эмма... Я чувствую, что я хотел, что мне надо было сказать вам это, но если я постою еще рядом с вами на этой нелепой улице, то я наговорю больше... Вы говорите, что я сошел с ума, потому что я не вхожу в торг с вами, не говорю, что я вас люблю, не произношу клятв. Но вы ведь слышите мои слова и вы понимаете меня, ведь правда?

– Уверяю вас, что не понимаю, – ответила она с ноткой гнева.

– Тогда я разъясню, – сказал Стивен, сжав крепко ее руку в своих ладонях. – Сегодня, когда вы пойдете ложиться спать, вспомните меня и подойдите к окну. Я буду в саду. Откройте окно и позовите меня, скажите, чтоб я вошел. Потом сойдите вниз и впустите меня. Мы проживем вместе одну ночь – одну ночь, Эмма, наедине вдвоем, и наутро простимся.

– Пожалуйста, отпустите мою руку, – сказала она, выдергивая свою ладонь из его рук. – Если бы я знала [если], что это будут такие ненормальные речи... Я запрещаю вам разговаривать со мной, – произнесла она, отступая от него и оправляя свой плащ, так чтобы оказаться вне его досягаемости. – За кого вы принимаете меня, когда позволяете себе так со мной говорить?

– Это вовсе не оскорбление, – молвил Стивен, резко краснея, когда до него вдруг дошло, какова оборотная сторона образа, – если мужчина просит женщину о том, о чем я попросил вас. Вас рассердило что-то другое, не это.

– Мне кажется, вы сошли с ума, – сказала она и прошла быстро мимо него, не обращая внимания на его прощальный жест. Однако она шла не так быстро, чтобы скрыть слезы на глазах, и он, поразившись при виде их и недоумевая об их причине, забыл произнести прощальное слово, уже бывшее на губах. Когда он смотрел, как она быстро удаляется с немного опущенной головой, он чувствовал, казалось, как две души, ее и его, разделяются резко и быстро и навсегда, побыв один миг на волосок от слияния.

## XXIV

Линч вдоволь поухмылялся над приключением[57 - На полях этой страницы рукописи написана карандашом фраза: «Стивен желал отомстить ирландским женщинам, которые,

по его словам, составляют причину всех моральных самоубийств на острове».]. Он объявил, что это была оригинальнейшая попытка соблазнения из всех, о каких он слышивал, до того оригинальная, что...

– Знаешь, что я тебе скажу, – говорил он, – для обычного человека...

– То есть для тебя?

– Для обычного человека это выглядит так, будто ты на время утратил всякое разумение.

Стивен неподвижно смотрел на носки своих башмаков; они сидели на скамье в Грине.

– Это было лучшее, что я мог сделать, – сказал он.

– Ага. Такое лучшее, что хуже некуда. Ни одна девица с каплей мозгов не стала бы тебя слушать. Это так не делают, старина. Ты за ней гонишься как оголтелый, весь в поту подбегаешь и выпаливаешь, пыхтя: «Давай ляжем». Ты что, пошутить хотел?

– Да нет, я вполне серьезно. Я думал, она могла бы... Сказать честно, не знаю, что я думал. Я ее увидел, как я тебе говорил, пустился бежать за ней и выложил, что у меня было на уме. Мы дружили уже давно... А теперь, похоже, я вел себя как свихнувшийся.

– Ну, это нет, – сказал Линч, надувая грудь, – не свихнувшийся, но ты поступил до того странно.

– Если бы я пустился за ней и сделал бы предложение, хочу сказать, предложил бы брак, ты бы не говорил, что я поступаю странно.

– [Нет-нет] Даже в этом случае...

– Нет-нет, не обманывай себя, не говорил бы. Тогда ты бы мне нашел оправдание.

– Что ж, в браке есть нечто относительно здоровое, разве не так?

– Для твоего обычного человека, возможно, – но только не для меня. Ты читал когда-нибудь описание обряда бракосочетания в Службнике?

– Не заглядывал.

– Так прочитай. Ты живешь как протестант, как католик ты себя проявляешь только в спорах. Так вот, этот обряд я не принимаю: он не настолько здрав, как ты думаешь. Мужчина, что клянется перед всем миром любить женщину, пока смерть его с нею не разлучит, не говорит здраво, ни с позиции философа, знающего, что такое изменчивость, ни с позиции здравого мирянина, знающего, что в таких делах безопасней быть зрителем, чем актером. Того, кто клянется совершить нечто, что вовсе не в его власти, нельзя расценивать как здравого человека. Что до меня, то я не верю, чтоб хоть когда-нибудь бывал случай такой неистовой и сильной страсти, которая бы давала право сказать своему предмету обожания: «Я мог бы любить тебя вечно». Ты должен понять важность Гёте...

– Тем не менее брак – это обычай. А следовать обычаю – признак здравомыслия.

– Это признак обычности, то есть ординарности. Допускаю, что из обычных людей многие обладают здравомыслием, и точно знаю, что многие пребывают в заблуждениях. Только способность быть обманутым, будь то другими или самим собой, никак нельзя считать частью здравомыслия. Скорей уж надо спросить, не толкает ли себя человек в нездоровое состояние, когда добровольно обманывает себя или позволяет, чтобы другие его обманывали.

– Как бы там ни было, ты действовал недипломатично.

– С этим никто не спорит, – сказал Стивен, вставая, – но только любая настоящая дипломатия всегда нацеливается на какой-нибудь особо лакомый плод. И как ты думаешь, какой плод принесла бы дипломатия Крэнли, пускай она и замечательна сама по себе? Какой плод она могла бы принести мне, если бы я дипломатично предложил брак – конечно, не считая супруги, что «увидит мое чистое богобоязненное житие»? [58 - Ср. 1Пет. 3: 2.] Скажи-ка!

– Сок плода, – отвечал Линч, тоже вставая; вид его показывал крайнюю усталость и жажду.

– Самое женщину, ты хочешь сказать?

– Вот именно.

В молчании пройдя по дорожке метров двадцать, Стивен промолвил:

– Я люблю, чтобы женщина отдавала себя. Люблю принимать... У этой публики считается злом продавать святыню за деньги. Но то, что они называют храмом Духа Святого, – это уж точно нельзя выставлять на продажу! Это разве не симония?

– Ты ведь хочешь продавать свои стихи, правда? – спросил Линч резко. – И притом публике, которую ты, по собственным словам, презираешь.

– Я не собираюсь запродавать мой поэтический дар. Я жду от публики вознаграждения за мои стихи, потому что, как я считаю, мои стихи принадлежат к духовным активам государства. В этом обмене ничего симонического. Я не продаю того, что Глинн именует божественный *afflatus* [59 - Вдохновение (лат.)]; я не клянусь любить и почитать публику, а также повиноваться ей по гроб жизни. Не так ли? Тело женщины – телесный актив государства;» если она пускает его в оборот, она может продавать его как шлюха, или как замужняя женщина, или незамужняя работница, или любовница, наконец. Но женщина еще, между прочим, человеческое существо, а любовь и свобода человеческого существа – это уже не актив государства. Может ли государство продавать и покупать электричество? Нет, не может. Симония отвратительна, ибо она возмущает наши понятия о том, что для человека возможно и что невозможно. Человеческое существо может употребить свою свободу на то, чтобы производить или принимать, любовь же – чтобы плодиться или давать удовлетворение. Любовь дает, свобода берет.» Женщина в черной соломенной шляпке отдала нечто, прежде чем продала тело государству; Эмма продается государству, но не даст ничего.

– Знаешь, если б ты даже сделал благопристойное предложение ее купить – для государственных целей, – сказал Линч, задумчиво поддавая носком гравий дорожки, – она бы не согласилась с ценой.

– Думаешь, нет? Если бы даже я...

– Никаких шансов, – решительно заверил другой. – Дуреха чертова, и все тут!

Стивен невольно покраснел.

– У тебя такой милый стиль выразиться, – сказал он.

При следующей встрече на улице Эмма не поздоровалась со Стивеном. Он не сказал об этом случае никому, кроме Линча. От Крэнли он не ожидал особого сочувствия, а от того, чтобы рассказать Морису, его удерживало еще сохранявшееся стремление старшего брата выглядеть преуспевающим. Беседа с Линчем с удручающей выразительностью раскрыла ему банальную сторону приключения. Не раз, и с полной серьезностью, он себе задавал вопрос: ждал ли он, что она может ответить «Да» на его предложение. Он говорил себе, что, видимо, его ум был в неуравновешенном состоянии в то утро. И при всем том, пересматривая свои доводы в защиту своего поведения, он их находил справедливыми. Экономическая сторона дела рисовалась ему не очень отчетливо – лишь до такой степени отчетливо, чтобы породить у него сожаление о том, что решение моральных проблем оказывается так безнадежно переплетено с чисто материальными соображениями. Он не был доктринером настолько, чтобы желать всеобщей революции как средства практической проверки своей теории, но и не мог поверить, что эта теория полностью неприменима на практике. Католические представления, требующие от человека, начиная с отрочества, неуклонного воздержания, а затем позволяющие ему реализовать свою мужскую природу, предварительно удовлетворив Церковь по части своего правоверия, своих финансов, общих намерений и планов, а также поклявшись при свидетелях вечно любить жену, будь там любовь в наличии или нет, и производить потомство для царствия небесного по чину, одобренному Церковью, – эти представления абсолютно не удовлетворяли его.

Меж тем как эти размышления шли своим ходом, Церковь направила к его слуху посольство своих искусных защитников. То были послы всех рангов и всех типов культуры. Они поочередно адресовались ко всем сторонам его натуры. Он был молодым человеком с сомнительными видами на будущее и с необычным характером: таков был первый бросающийся в глаза факт. Послы воспринимали его без неподобающего лицемерия или поспешности. Они объявили, что в их власти сделать для него гладкими многие из путей, которые иначе будут весьма тернисты, и также в их власти обеспечить его необычному характеру простор и легкость для развития и усовершенствования, уменьшив тяготы материального рода. Он сожалел о том, что проблемы морали переплетались с чисто материальными соображениями – и здесь давались гарантии, что если он прислушается к речам послов, то, по крайней мере, в его случае моральная проблема будет направлена в такое русло, где сможет решаться вне зависимости от низких мелочей и забот. Ему свойственно было то, что он называл «современным» отвращением давать обеты, – обетов не требовали. Если по истечении пяти лет он будет по-прежнему коснеть в своей нераскаянной черствости, он сможет вновь обрести индивидуальную свободу, без страха, что будет назван клятвопреступником. Действовало старое мудрое правило должного учета обстоятельств. Он сам ведь был первым скептиком в отношении к неумеренному энтузиазму патриотов. Как художник, он относился с полным презрением к трудам, рожденным любым иным состоянием ума, кроме самого уравновешенного. Так может ли быть, чтобы к своей жизни он подходил с меньшей строгостью, чем та, с какою он хотел подходить к своему искусству? Разве могло у него быть такое недомыслие, такое циничное подчинение действительного абстрактному, коль скоро он честно верил, что ценность учреждения оценивается по его близости к реальным человеческим нуждам и проявлениям и что к духу современности следует прилагать



эпитет «вивисекторский», в отличие от духа древности как «опутанного категориями». Он желал жизни художника для себя. Отлично! И при этом боялся, что Церковь помешает его желанию. Но, создавая свое кредо художника, разве не находил он его, пункт за пунктом, уже заранее созданным для него в наследии величайшего и церковнейшего из учителей Церкви, и разве не одно лишь тщеславие толкало его к терновому венцу еретика, тогда как вся теория, в согласии с которой строилась его жизнь художника, удобнейшим для него образом возникла из массивов католической теологии? Он не мог с чистым сердцем принять того, что предлагала протестантская вера: он знал, что ее хваленая свобода – зачастую только свобода неряшливости в мысли и бесформенности в обряде. Никто, вплоть до яростнейших врагов Церкви, не мог ей вменить неряшливость в мысли: тонкость ее различий стала притчей во языцех у демагогов. Пуританин, кальвинист, лютеранин враждебны искусству и преизобилию красоты, но католик – друг тем, кто предан толкованию и раскрытию прекрасного. Мог ли он утверждать, что его собственный аристократический интеллект, его страсть к соблюдению совершеннейшего порядка во всех неистовствах художественного творчества не являются чисто католическими качествами? В этот вопрос послы особенно не углублялись.

К тому же, говорили они, признак современного духа – стремление избегать любых абсолютных утверждений. Как бы вы ни были уверены сейчас в основательности своих убеждений, вы не можете быть уверены, что всегда будете их считать основательными. Если вы искренне считаете всякий обет нарушением человеческой свободы, то вы не можете дать и такой обет, что никогда не последуете обратному порыву, который наверняка вас охватит когда-нибудь. Нельзя упускать из вида и еще одну возможность: ваши взгляды могут измениться до такой степени, что всякое участие в делах мира станет казаться вам уделом лишь тех, [кого] кто еще способен обмануться надеждой. Во что превратится жизнь ваша в таком случае? Окажется, что вы напрасно расточили ее в трудах по спасенью тех, у кого нет ни стремления, ни способности к свободе. Вы верите в аристократизм – так поверьте и в превосходство класса аристократов и в тот общественный порядок, что охраняет это превосходство. Иль вы воображаете, что нравы станут менее низменны, а мысль и искусство менее зависимы, если эти невежды и фанатики, эти духовные плебеи, которых мы подчинили, сами подчинят нас? Ни один из этих плебеев не понимает ваших устремлений художника и не ищет у вас сочувствия: напротив, мы понимаем ваши стремления и часто сочувствуем им, мы ищем вашей поддержки и сочтем за честь вашу солидарность. Вы любите повторять, что Абсолют мертв. Будь это так, тогда, возможно, мы все заблуждаемся, и если вы принимаете такую возможность, у вас ничего не остается, кроме презрительной надменности разума. С нами ваши таланты к презрению смогут расцвести пышным цветом, когда вас признают входящим в орден патрициев, причем от вас даже не потребуют заключать перемирие с теми учениями, успехи которых в мире вам обеспечили ваше патрицианство. Присоединяйтесь к нам. Ваша жизнь будет застрахована от грубых помех, и ваше искусство будет «надежно ограждено от вторженья революционных теорий, защитником которых еще не бывал ни один художник из вошедших в историю. Присоединяйтесь к нам, на равных условиях. По темпераменту, по разуму вы по-прежнему католик. Католичество у вас в крови.» Живя в век, который притязает на открытие эволюции, можете ли вы быть настолько самонадеянны, чтобы думать, будто силою одного простого упрямства вы сумеете целиком пересоздать свою натуру и ум, очистить кровь свою от того, что вы, пожалуй, назвали бы католическою заразою? Такая революция, какой вы желаете, совершается не насильственно, а постепенно: и в стенах Церкви у вас будет возможность начать вашу революцию вполне рациональным образом. Вы сможете засеять ваши семена в хорошо вспаханные борозды, которые вверят вам, и если семена будут добрыми, они взойдут. А если вы пуститесь в пустыню без всякой нужды, если будете рассеивать свои семена наугад и по любой

почве – какой жатвы вы можете ожидать? Вы видите, все направляет вас к руслу умеренности и терпения, и ручаемся, что очистившаяся воля может проявить себя в приятии с такою же полнотою, как в отвержении. Деревья не восстают против осени, равно как и любое образцовое творенье природы не восстает против ее ограничений. И вы точно так же не должны восставать против ограничений компромисса.

К этим апологиям, которые Стивен выслушивал с предельным вниманием, присоединилось влияние Крэнли. Оба юноши нисколько не думали готовиться к экзаменам и, как повелось, проводили вечера в бесцельных прогулках и разговорах. Эти прогулки и разговоры ни к чему не вели, ибо едва в разговорах угрожало возникнуть нечто определенное, Крэнли сразу же начинал предпочитать общество кого-нибудь из своей избранной компании. Любимым убежищем двух друзей стала теперь бильярдная отеля «Адельфи». Каждый вечер после десяти они появлялись в этой бильярдной. То была просторная зала, обильно уставленная столами, неухоженными и неэлегантными, и крайне скудно уставленная игроками. Крэнли устраивал длинный матч с кем-нибудь из своей компании, меж тем как Стивен посиживал на скамье, тянувшейся вдоль стены. Партия до пятидесяти стоила шесть пенсов, каковые выплачивались поровну каждым из игроков; Крэнли с весьма значительным видом извлекал свой трехпенсовик из кожаного кошелька в форме сердца. Время от времени шары летели за борт, а Крэнли насылал то и дело проклятия на свой хренов кий. Рядом с залой, в бильярдной имелся бар. За стойкой находилась крепкая барменша, которая носила неуклюжий корсет, разливала крепкое пиво, наклонив набок голову, и с сильным английским акцентом обсуждала с клиентами достоинства театральных трупп дублинских театров. Клиенты в основном были молодые люди, носившие шапки сдвинутыми на затылок и набекрень и передвигавшиеся враскачку. Брюки у них обычно были высоко подвернуты над рыжими башмаками. Один из завсегдатаев бара (из тех, что не смешивались с описанными молодыми джентльменами) был приятелем Крэнли; он служил клерком в конторе Департамента Земледелия. То был небольшого роста, кривоногий молодой человек, весьма молчаливый в трезвом виде и весьма болтливый в подпитии. В трезвом виде он вел себя очень сдержанно, но когда напивался, на его лице с оспинами выступал какой-то темный пот, и он становился буянист и хвастлив. В один из вечеров он затеял яростный спор по поводу Тима Хили с плотным студентом-медиком, большим любителем занятий самообороной. Спор выходил, однако, односторонним, поскольку участие медика ограничивалось презрительными смешками и редкими репликами, такими как «А этот на кулаки-то может?», «А на копытах-то он стоит?», «А как он по части кулаков?» В конце концов клерк из Департамента Земледелия непристойно обозвал медика, а тот, в качестве ответной меры, вмиг смел со стойки все кружки до единой, намерившись «размазать» обидчика. Барменша с визгом побежала звать хозяина, представителя медицины успокоили благоразумные приятели, а Крэнли, Стивен и еще несколько человек увлекли обидчика на улицу. Сначала он оплакивал свои новые манжеты, залитые портером, и рвался вернуться и поквитаться, но Крэнли отговорил его, и он начал невнятно бормотать Стивену, что некогда получил по высшей математике самый наивысший балл, какие вообще ставят на выпускных экзаменах. Он дал совет Стивену ехать в Лондон, чтобы писать там для газет, и заявил, что может дать ему ценные указания о том, с какого конца к этому приступать. Когда же Крэнли завел разговор с другими о прерванной партии на бильярде, новоявленный компаньон Стивена вновь возгласил во всеуслышание, что он получил по математике наивысший возможный балл.

Вопреки всем отвлекающим воздействиям, Стивен продолжал готовить свой сборник стихов. Он пришел к выводу, что его природное призвание – быть литератором, и далее заключил отсюда, что его долг – следовать этому призванию, невзирая на все влияния. Влияние Крэнли он начал считать дурным. Метод Крэнли в споре заключался

в сведении любого предмета к его пищевой ценности (хотя сам он был абсолютно непрактичным теоретиком), и теория искусства Стивена едва ли могла питаться таким подходом. Критерий пищевой ценности Стивен полагал крайностью, которая своим грубым материализмом вынуждала к отказу от всех романтических высот. Он знал, что материализм Крэнли – лишь на поверхности, и подозревал, что тот избрал для себя столь безобразный лобовой стиль поведения и разговора лишь оттого, что его боязнь быть смешным и сверхдипломатичное желание не портить отношений ни с кем толкали его отворачиваться от красоты во всех ее видах. Помимо того, ему казалось, что он открыл в отношении Крэнли к нему некоторую враждебность, возникающую из подавляемой тяги к подражанию. Крэнли весьма нравилось осмеивать Стивена перед своими приятелями из бара, и хотя с виду это бывало чистою шуткой, Стивен ощущал здесь примесь серьезного. Стивен отказывался видеть в этом банальном лицемерии друга основание для разрыва и продолжал [раскрывать] верить ему все тайны своей души, словно не замечая никакой перемены. Однако он перестал упорно доискиваться мнений друга и поддаваться его кислым и недовольным настроениям. Он с твердым эгоизмом решил, что ничто материальное, никакие милости или, напротив, удары судьбы, никакие узы, традиции, порывы не должны помешать ему самому и по-своему разобраться с загадкой своего положения. Он старался всячески избегать отца, ибо считал теперь его притязания самой губительной частью той тирании, внутренней и внешней, с которой он решил сражаться что было сил. Он не вступал больше в споры с матерью, убежденный, что у него не может быть подлинного общения с нею, пока она хочет ставить между его душой и своей тенью церковника. Однажды мать сказала ему, что она говорила о нем со своим исповедником, испрашивая у него духовного совета. Живо к ней обернувшись, Стивен стал горячо упрекать ее за то, что она так сделала.

– Отлично, – говорил он, – стало быть, ты ходишь меня обсуждать за моей спиной. Ты, значит, не можешь руководиться собственным характером, собственным чувством того, что хорошо и что плохо, и тебе надо ходить к патеру в будочке, чтоб он тобой руководил?

– У священников большое знание мира, – сказала мать.

– И что же он тебе посоветовал?

– Он сказал: если в доме еще есть младшие дети, то он бы посоветовал мне убраться [60 - Вероятно, описка автора: по смыслу, должно стоять «убрать тебя».] оттуда как можно скорее.

– Лучше некуда! – проговорил Стивен в сердцах. – Ты делаешь очень славное сообщение своему сыну.

– Я просто передаю, что мне посоветовал священник, – тихо сказала мать.

– У этих деятелей, – сказал Стивен, – нет никакого знания мира. С тем же правом можно сказать, что большое знание мира у крысы в канализации. Как бы там ни было, впредь ты не будешь повторять своему исповеднику, что я говорю, потому что я ничего говорить не буду. И когда он в следующий раз тебя спросит: «А что делает этот злополучный юноша, заблудший молодой человек?», можешь ему ответить: «Не знаю, отче. Я у него спросила, а он мне сказал передать священнику, что изготавливает торпеду».

Отношение женщин к религии вообще озадачивало Стивена, а временами бесило. Его натура была целиком неспособна к такому отношению, такой неискренности или, быть

может, глупости. Без конца в уме пережевывая эту тему, он в конце концов предал анафеме Эмму, как самую лживую и трусливую из всех сумчатых. Он открыл, что пойти навстречу его просьбе помешал ей не дух целомудрия, а рабский страх. Просто ее глаза, решил он, начинают странно выглядеть, когда она их возводит к какому-нибудь святому образу, а губы – когда направляются навстречу облатке. Он проклинал ее мещанскую трусость вместе с ее красотой, говоря себе, что глаза ее способны прельстить придурковатого католического Бога, но прельстить его, Стивена, им не удастся. В каждом образе, промелькнувшем на улице, ему виделись явления ее души, и с каждым таким явлением в нем с новой силой вспыхивало чувство укора. Ему не приходило в голову, что на поверку за отношением женщин к святому стояла эмансипация, еще более подлинная, чем у него; он осуждал их, исходя из чистых предположений. Он раздувал их дурные качества, их губительное влияние, отплачивая за их антипатию сторицей. Он забавлялся также теорией дуализма, в которой две неразлучные вечности, дух и природа, символизировались бы в столь же неразлучной паре вечностей мужского и женского; он даже раздумывал о толковании смелостей в своих стихах как символических аллюзий. Ему трудно было выдерживать в своем сознании строгие температуры классицизма. Сильнее, чем когда-либо прежде, он жаждал смены времени года, жаждал, чтобы кончилась и прошла эта весна, туманная весна Ирландии. Однажды в какой-то вечер, в туманный вечер, он проходил по Экклз-стрит, и все эти мысли беспокойно плясали в его мозгу, и банальное происшествие толкнуло их к сочинению пылкого стиха, который был назван им «Вилланелла искусительницы». Молодая дама стояла на ступеньках одного из тех кирпичных бурых домов, что кажутся истым воплощением ирландского паралича. Молодой джентльмен оперся на ржавые перила крыльца. Проходя мимо в своих неутомимых рысканьях, Стивен уловил кусок диалога, который произвел на него живейшее впечатление, болезненно поразив его чувствительность.

Молодая Дама – (застенчиво растягивая)... О да... я ходи... ила... в боожий... храм...

Молодой Джентльмен – (еле слышно)... Я... (совсем неслышно)... я...

Молодая Дама – (мягко)... О... вы такой... несно... ос-ный... греш... ник...

Эта банальность навела его на мысль собрать коллекцию подобных моментов в книгу эпифаний. Под эпифанией он понимал моментальное духовное проявление, возможно, в резкой вульгарности речи или жеста, возможно, в ярко отпечатлевшемся движении самого ума. Он считал, что долг литератора – фиксировать такие эпифании со всем тщанием, поскольку они – самые ускользающие, самые тонкие моменты. Он сказал Крэнли, что часы Портового управления способны к эпифании. Тот вопросительно воззрился на непроницаемый циферблат с обычной своею миной, столь же непроницаемой.

– Именно так, – молвил Стивен. – Я буду проходить мимо них множество раз, намекать на них, ссылаться на них, мельком взглядывать. Это попросту один пунктик в каталоге дублинской уличной фурнитуры. А потом вдруг, внезапно я гляну на них и сразу же осознаю, что это: эпифания.

– Что?

– Представь, что мои предыдущие взгляды на эти часы – нащупыванья духовного ока, которое приспособляется своим зрением, чтоб предмет попал в фокус. В тот момент, когда фокус найден, предмет становится эпифанией. И вот в этой-то эпифании я обретаю третье, высшее качество красоты.

– Да? – произнес Крэнли отсутствующе.

– Ни одна эстетическая теория, – не отступал Стивен, – из тех, что пользуются фонарем традиции, ничего не стоит. То, что для нас символизируется черным, для китайца может символизироваться желтым – у каждого своя традиция. Греческая красавица смеется над коптской, а краснокожий индеец презирает ту и другую. Примирить все традиции почти невозможно, однако вовсе не невозможно найти обоснование для любой из форм, под которыми на земле чтит красоту: надо всего лишь рассмотреть механизм эстетического восприятия, пускай бы оно направлялось к красному, белому, желтому или черному. У нас нет причин думать, что у китайца иная система пищеварения, чем у нас, хотя в наших диетах ничего схожего. Способность к восприятию надо анализировать в действии.

– Да...

– Ты знаешь, что говорит Фома: три необходимых элемента красоты суть собранность, то бишь цельность, симметрия и сияние. Когда-нибудь я сделаю из этой его фразы трактат. Рассмотрим, как действует твое сознание при встрече с любым предметом, который предположительно прекрасен. Чтобы воспринять предмет, сознание разбивает всю вселенную на две части, предмет и пустое, то, что не есть предмет. Чтобы воспринять его, ты должен его отделить от всего остального – и тогда до тебя доходит, что это цельная вещь, одна вещь. Ты опознаешь его цельность. Разве не так?

– А дальше?

– Это первое качество красоты: оно выступает в простом моментальном синтезе, производимом способностью восприятия. Что дальше? Дальше – анализ. Сознание рассматривает предмет в целом и по частям, в отношении к себе и к другим предметам, изучает соотношения частей, созерцает форму предмета, влезает во все щели в его структуре. Так получается впечатление симметрии предмета. Сознание опознает, что предмет есть одна вещь в строгом смысле слова, то бишь единица с определенной конституцией. Понятно?

– Пошли назад, – ответствовал Крэнли.

Они дошли до угла Грэфтон-стрит и, найдя тротуар слишком запруженным толпой, свернули на север. Крэнли собрался было поглазеть, как паясничает гуляка, вышвырнутый из бара на Саффолк-стрит, но Стивен бесцеремонно взял его за руку и повлек дальше.

– Теперь к третьему качеству. Я долго не мог сообразить, что Фома имеет в виду. Он берет образное слово, это очень для него необычно, но я все-таки докопался. *Claritas* это *quidditas*. После анализа, который раскрывает второе качество, разум совершает единственный синтез, который логически возможен, и раскрывает третье качество. И это – как раз тот момент, что я называю эпифанией. Сначала мы опознаем, что предмет – одна цельная вещь, затем опознаем, что это сложная организованная структура, то бишь собственно вещь, – и наконец, когда отношения частей совершенно ясны, когда все части сообразованы с определенной особой целью, мы опознаем, что предмет является именно данной вещью. Из-под покровов его наружности к нам устремляется его душа, его чтойность. Душа обычного предмета, строение которого сообразовано таким порядком, представляется нам сияющей. Предмет достигает своей эпифании.

Изложив теорию до конца, Стивен зашагал дальше молча. Он ощущал враждебность Крэнли и корил себя за то, что снизил, опошил вечные образы красоты. Вдобавок он впервые почувствовал себя неловко в обществе друга, и, пытаясь вернуться в тон панибратской легкости, он глянул на часы Портового управления с ухмылкой.

– Еще не эпифанируют, – сказал он.

Крэнли уставил пасмурный взгляд в сторону устья реки и несколько минут пребывал в молчании, меж тем как глашатай новой эстетики повторял в уме заново, в несчетный раз, тезисы своего учения. Часы на дальней стороне моста начали бить, и одновременно с тем тонкие губы Крэнли разомкнулись.

– Интересно знать, – сказал он, –...

– Что?

Крэнли продолжал глядеть неподвижно, как в трансе, в сторону устья Лиффи. Не дождавшись окончания фразы, Стивен снова повторил свое «Что?» Тут Крэнли резко обернулся и, тяжело напирая на слова, произнес:

– «Интересно знать, эта чертова посуда, «Королева морей», вообще отплывала когда-нибудь?»

К этому времени Стивен закончил цикл гимнов, посвященных экстравагантной красоте, и выпустил его частным рукописным изданием тиражом в один экземпляр. Последнее собеседование с Крэнли было настолько разочаровывающим, что он колебался, показывать ли ему рукопись. Он продолжал держать рукопись у себя, и она не давала ему покоя своим присутствием. Он хотел показать ее родителям, но близилась экзамены, и он понимал, что не найдет у них полного сочувствия. Он хотел показать ее Морису, но понимал, что брат сердит на него за то, что оказался покинутым ради плебейских приятелей. Он хотел показать ее Линчу, но отступил перед физическими усилиями, потребными для того, чтобы привести это апатичное существо в состояние восприимчивости. В какой-то момент ему приходили в голову даже Макканн и Мэдден. Он видел Мэддена изредка, и то, как молодой патриот его приветствовал в эти редкие встречи, весьма напоминало приветствие друга-неудачника другу преуспевающему. Мэдден проводил дни свои большею частью в табачной лавочке Куни, раскладывая и критикуя клюшки для хэрлинга, покуривая крепчайший табак и толкуя по-ирландски со свежими приезжими из провинции. Макканн неустанно продолжал заниматься выпуском журнала, [в] где поместил и собственную статью под названием: «Рационализм на практике». В статье он выражал надежду на то, что в не столь отдаленном будущем человечество, отказавшись от животной и растительной пищи, перейдет на минеральную диету. Тон писаний редактора стал куда умеренней и ортодоксальней, чем бывал тон речей его в прежние времена. В заметке о ежегодном собрании университетского братства, занявшей полторы колонки в журнале, сообщалось, что мистер Макканн произнес яркую речь, где [предложил] выдвинул ценные идеи о перестройке деятельности братства на более практических основаниях. Стивена это удивило, и как-то вскоре, [когда Мак] бредя по Нассау-стрит с Крэнли и повстречав редактора, энергично устремлявшегося в сторону Библиотеки, он спросил Крэнли:

– Над чем он сейчас, душка Данди?

– Как – над чем?

– Я про это... про эти делишки с братством, в которые он ввязался. Не мог же он до того поглупеть, чтобы рассчитывать на что-то путное от этого братства.

Крэнли оглядел Стивена с насмешкой, однако, по рассмотрении дела, решил обойтись без реплик.

В итоге экзаменов Крэнли снова получил «хвост»; Стивен прошел, но с самым низким баллом. Стивен не считал, что его результат заслуживает сильного огорчения, [судя] он знал, например, что отец Артифони, решивший сдать вступительные экзамены, получил более высокий балл по английскому письменному, чем по итальянскому, причем его итальянскую работу проверял экзаменатор-полиглот, проверявший работы по французскому, итальянскому, арабскому, [еврейскому] древнееврейскому, испанскому и немецкому языкам. Стивен сочувствовал своему учителю, который со всем простодушием выражал открытое изумление. Однажды вечером во время экзаменов, когда Стивен беседовал с Крэнли под аркадами университета, мимо них прошла Эмма. Крэнли приподнял свою древнюю соломенную шляпу (вновь возвращенную им к жизни), и Стивен последовал его примеру. В ответ, игнорируя присутствие Стивена, она очень вежливо поклонилась его другу. Крэнли водрузил шляпу на место и несколько минут в ее тени предавался размышлению.

– С чего она это сделала? – спросил он.

– Возможно, как приглашение, – сказал Стивен.

Крэнли продолжал неотрывно смотреть на воздушное пространство, только что покинутое ею, – а Стивен с улыбкой повторил:

– Она имела в виду приглашение, возможно.

– Возможно.

– Без женщины ты неполон, – заметил Стивен.

– Только понимаешь, – сказал Крэнли, – уж больно она хренова толстуха...

Стивен промолчал. Ему было неприятно, что кто-то другой дурно говорит о ней, и он без улыбки встретил реплику Крэнли, с которой тот взял его под руку: «Поелику трогаем». Крэнли упорно считал это «старинным выражением,» означающим приглашение отправляться. Стивен давно уж обсуждал сам с собой, рекомендуется ли сказать Крэнли, что его выражение следовало бы подправить, но Крэнли так всегда напирал на «поелику», что это отбивало охоту к замечаниям.

Объявление результатов экзаменов имело следствием домашнюю сцену. Мистер Дедал мобилизовал все свои ресурсы бранных терминов, после чего спросил сына, каковы его планы на будущее.

– Никаких планов.

– В таком случае чем скорей ты очистишь площадь, тем лучше. Ты нам запудривал мозги, я вижу. Но теперь, да помогут мне Господь Бог и Его Святая Матерь, завтра я с утра первым делом напишу в Маллинггар. Никакого смысла, чтобы твой крестный продолжал выбрасывать на тебя деньги зря.

– Саймон, – сказала миссис Дедал, – ты всегда первым делом хочешь раструбить

всем. Разве нельзя быть порассудительней?

– К чертям рассудительность. Я что, не знаю эту компашку, куда он попал, паршивые патриоты да этот футбольный тип в бриджах. Сказать откровенно, Стивен, я думал, у тебя хватит гордости не связываться с такой *canaille*[61 - Сволочь (фр.)].

– А мне кажется, Стивен не так уж и плохо сдал – он не провалился, и в конце концов...

– Как видишь, она за словом не полезет в карман, – сказал сыну мистер Дедал. – У нее это, можно сказать, наследственное. Ее семейка, они, ей-ей, знают абсолютно все, чего ни спроси, даже как часы устроены. Факт.

– Не надо лучше так раздувать это, Саймон. Многие отцы были бы рады иметь такого сына.

– А тебе не надо вступать между мной и моим сыном. Мы друг друга понимаем. Я ему ничего такого не говорю, а хочу только знать, что он делал двенадцать месяцев.

Стивен продолжал постукивать лезвием ножа по краю тарелки.

– Так что ты делал?

– Думал.

– Думал? И это все?

– И немного писал.

– Гм. Понятно. Словом, зря тратил время.

– Я не считаю, что думать это зря тратить время.

– Гм. Понятно. Знаю я, понимаешь, эту богемную публику, поэтов, которые не считают, что думать это пустая трата времени. Только все они при этом чертовски рады где-нибудь подцепить шиллинг да купить себе на него котлетку. А как тебе понравится думать, если котлетки нету? Разве ты бы не мог найти что-то определенное, какое-нибудь приличное место на государственной службе, – а там, ради бога, думай сколько душе угодно. Подготовься на какую-нибудь видную должность, таких масса, и пиши себе на досуге. Если, конечно, тебе не больше по вкусу подбирать корки по улицам и спать в скверике на скамейке.

Стивен не отвечал ничего. Когда вся эта ахиня была повторена раз пять или шесть, он поднялся и вышел. Он пошел в Библиотеку, чтобы отыскать Крэнли, и, не найдя его ни в портике, ни в читальном зале, направился в отель «Адельфи». Был субботний вечер, и во всех помещениях толпились клерки. [и] Клерк из Департамента Земледелия сидел в углу бара в шапке, сдвинутой далеко на затылок, и Стивен тотчас заметил, что темный пот вот-вот грозит выступить на распаленном его лице. Он был занят тем, что накручивал свой ус на согнутый указательный палец и бросал взгляды то на барменшу, то на ярлык своей бутылки портера. В бильярдной стоял сильный шум: у всех столов были игроки, и шары поминутно летели через борт. Отдельные игроки разоблачились от пиджаков.



Крэнли невозмутимо восседал на скамье, тянувшейся вдоль стены, и наблюдал за игрой. Стивен молча уселся рядом и тоже стал наблюдать. Шла партия на троих. Какой-то клерк в летах, с явно покровительственным видом, играл против двух молодых сослуживцев. Клерк в летах был высок и тучен, и на лице его, напоминавшем красное сморщенное яблоко, были очки в позолоченной оправе. Он был без пиджака и в таком отрывистом стиле разговаривал и играл, что казалось, он муштрует, а не играет. Оба молодых клерка были гладко выбриты. Один из них был коренастый юноша, игравший молча, с упрямой сосредоточенностью, другой – возбужденный, нервный, с белесыми бровями. Крэнли и Стивен наблюдали за ходом партии, которая ползла от очка к очку. У грузного юноши шар выпадал за борт трижды кряду, и счет рос так медленно, что маркер подошел и стал у стола, в виде напоминанья, что двадцать минут уже прошло. Игроки принялись чаще мелить кии, и, видя, что они так захвачены финалом партии, маркер не стал говорить им о времени. Однако присутствие его действовало на них. Клерк в летах мазнул кием по шару, сделав плохой удар, и отступил от стола, моргая и приговаривая: «На этот раз промахнулся». Возбужденный клерк заторопился сделать свой удар, промахнулся тоже и, продолжая глядеть вдоль кия, произнес: «Ох!» Упрямый клерк заложил свой шар точно в крайнюю лузу, и маркер тотчас же отразил сей факт на побитой грифельной доске. Несколько решающих секунд клерк в летах неподвижно всматривался поверх очков – затем сделал еще один промах и, тут же принявшись мелить кий, [энергично] коротко и резко бросил возбужденному юноше: «Ну давайте, Уайт. Поторопитесь».

Безнадежная мнимость этих трех существований пред его взором, неискупимое рабство их вызывали в глубине глаз Стивена резкое жжение. Он положил [локоть] руку на плечо Крэнли и порывисто проговорил:

– Пошли отсюда, сейчас же. Я больше не могу это выносить.

Они пересекли залу; Стивен добавил:

– Если бы я остался еще минуту, я думаю, я бы разревелся.

– Да, чертовски хреново, – сказал Крэнли.

– У, до чего безнадежно! безнадежно! – произнес Стивен, стискивая кулаки.

## XXV

За несколько вечеров до того, как Крэнли отправлялся в деревню в намерении [воспарить] освежиться телесно после провала на экзаменах, Стивен сказал ему:

– Я думаю, для меня сейчас будет очень важное время. Я собираюсь принять какое-нибудь решение насчет линии моих действий.

– Но ты же пойдешь на Отделение искусств в следующем году?

– Мой крестный, возможно, и не станет платить. Они рассчитывали, я окончу год с наградой.

– А что ж ты ее не получил? – сказал Крэнли.

– Мне надо обдумать положение, – сказал Стивен, – и посмотреть, что бы я мог делать.

– Да есть сотни вещей, что ты бы мог делать.

– Ты так уверен? Посмотрим... Я бы, может быть, написал тебе. «Какой твой адрес?»

Крэнли сделал вид, что не слышал. Он ковырял в зубах спичкой, необычайно тщательно и вдумчиво, «по временам прекращая, чтобы засунуть осторожно язык в какое-нибудь ущелье, затем продолжая ковырять.» Перемещенное содержание он сплевывал. Соломенная шляпа его держалась преимущественно на затылке; ноги были широко расставлены. После продолжительной паузы он вернулся к своей последней реплике, как будто все это время взвешивал ее в уме:

– Да что там, сотни вещей.

Стивен спросил:

– Какой твой адрес в деревне?

– Адрес мой?.. Э... Понимаешь... пока никакой возможности, вишь ты, сказать, какой у меня там будет адрес. Да ты еще ничего и не решишь раньше моего возвращения... Я поеду почти наверняка утренним, но хочу еще зайти посмотреть, когда он уходит.

– Мы смотрели уже, – сказал Стивен. – В полдесятого.

– Да нет... Я так думаю, мне надо зайти на Харкорт-стрит, посмотреть, когда поезд.

Они медленно направились в сторону Харкорт-стрит. Стивен, не желая поддаваться неприязненному чувству, сказал:

– Что за таинственная цель скрывается под твоей немислимой прозаичностью? Открой ради Бога. Ты себе что-нибудь забрал в голову?

– Если бы у меня была таинственная цель, – отвечал Крэнли, – я бы, наверно, не стал тебе говорить, в чем она, правда же?

– Но я тебе очень много рассказывал, – сказал Стивен.

– У большинства людей имеется какая-нибудь цель в жизни. Аристотель учит, что назначение каждого существа есть его наибольшее благо. Мы все действуем в видах какого-нибудь блага.

– А ты бы не мог чуть-чуть поконкретней? Ты же не хочешь, чтоб я про тебя писал евангелия, правда?.. Может, ты в самом деле думаешь стать колбасником?

– Да, в самом деле. «Почему бы об этом и тебе не подумать. Ты б мог заворачивать сосиски в свои любовные стихотворения.»

Стивен расхохотался.

– Не думай, что ты меня проведешь, Крэнли, – сказал он. – Я же знаю, ты чертовски неисправимый романтик.

На станции Харкорт-стрит они подошли к расписанию, и, кинув на него взгляд, Стивен насмешливо сказал:

– Полдесятого, как и было сказано. Не хочешь ты дураку поверить на слово.

– Это не тот поезд, – сказал Крэнли с досадой.

Стивен улыбнулся, забавляясь, меж тем как Крэнли погрузился в изучение таблицы, бормоча под нос названия станций и высчитывая время. В конце концов он, как видно, пришел к некоему решению, ибо объявил Стивену: «Поелику трогаем». Возле выхода со станции Стивен дернул друга за рукав и указал ему на плакат с новостями, разложенный для всеобщего обозрения прямо на мостовой и прижатый по уголкам четырьмя камнями.

– Видал такое?

[Крэнли] Они остановились прочесть [заголовки] плакат; еще четверо или пятеро прохожих остановились с тою же целью. Крэнли самым монотоннейшим тоном зачитывал пункты вслух, начиная с шапки:

«ИВНИНГ ТЕЛЕГРАФ»

[МИТИНГ]

МИТИНГ НАЦИОНАЛИСТОВ В БАЛЛИНРОБ

ВАЖНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

ПРОЕКТ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ

ОСТРАЯ ДИСКУССИЯ

СМЕРТЬ КРУПНОГО АДВОКАТА

БЕШЕНАЯ КОРОВА В КАБРЕ

ЛИТЕРАТУРА И ПР.

– Как по-твоему, большие нужны таланты, чтобы добиться успеха в такой жизни? – спросил Стивен, когда они снова пустились в путь.

– Я думаю, что, по-твоему, самое важное из всех пунктов там это литература?

– Ты принимаешь тот взгляд на мир только из чистого упрямства, я убежден. Ты стараешься доказать, что я больной, ненормальный, но куда легче доказать, что крупный адвокат был болен и ненормален. Бесчувственность – признак заболевания.

– А может, он был, «как ты выражаешься,» художник.

– Да, конечно... А насчет искушения, что сатане позволили продемонстрировать

Иисусу, то для любого гения это, на поверку, самое слабое искушение. Ему мог поддаться крупный адвокат, но для Иисуса царство мира сего наверняка было совершенно пустым выражением, – по крайней мере, когда он уже перерос романтическую юность. «На самом деле, сатана – это романтическая юность Иисуса, которая снова возникает на миг. У меня тоже была романтическая юность», когда я думал, что это грандиозно, стать материальным Мессией: такова была воля отца моего, которому никогда не бывать на небесах. Но сейчас подобная мысль у меня мелькает только в минуты большой физической слабости. Так что я рассматриваю этот взгляд на жизнь как взгляд ненормальный – для меня. На днях я пошел искупаться на Хоут, и когда я обходил мыс сбоку, мне пришлось идти по узенькой тропке, что вилась по скалам так высоко...

– С какой стороны Хоута?

– Возле Бейли... Так вот. Когда я смотрел на скалы внизу, у меня возникла мысль броситься туда, на них. На какой-то момент у меня появилась дрожь восторга от такой мысли, но потом я, конечно, сразу узнал нашего старинного друга. Все эти искушения одного пошиба. Для Иисуса, для меня, для легковозбудимой личности, которая, приняв чересчур всерьез наущенья литературы, может пойти на разбой или на самоубийство, жизнь, предлагаемая сатаной, – гнусная жизнь. Она гнусная, потому что обиталище духовного начала в человеке нельзя перенести в материальный предмет. Человек только притворяется, будто его шляпа важнее, чем его голова. Вот такой взгляд на жизнь, по моему мнению, ненормален.

– Нельзя называть ненормальным то, что делают все и каждый.

– А что, каждый бросается с мыса Хоут? Каждый вступает в тайные общества? Каждый жертвует счастьем, наслаждениями, покоем ради почестей? Патер Артифони рассказал мне про одно общество взаимопомощи в Италии, члены которого имеют право, чтобы собратья по обществу бросили бы их в Арно, если они подпишут расписку, что у них неизлечимый случай.

На углу у Ноблетта, где они всегда останавливались, они увидели Темпла, который разглагольствовал перед небольшой кучкой юношей. Юноши покатывались со смеху, поскольку Темпл пребывал в изрядном подпитии. Глаза Стивена приковал к себе бесформенный рот Темпла, на котором по временам, когда он силился выговорить трудное слово, пузырилась едва заметная пена. Уставившись на эту сцену, Крэнли сказал:

– Вот те на святой Библии, Темпл этим медикусам выставлял выпивку... Дуралей хренов!..

Заметив их, Темпл тут же оборвал свое выступление и направился к ним. Один-два медика последовали за ним.

– Добрый вечер, – сказал Темпл, комкая непослушную шляпу.

– Druncus es[62 - Ты пьян (лат.).].

Оба медика засмеялись, а Темпл принялся шарить у себя по карманам. Рот у него при этом занятии раскрылся.

– У кого деньги? – спросил Крэнли.

Медики снова засмеялись и закивали на Темпла, который с убитым видом прекратил свои поиски, повторяя:

– Эх, адская сила... Я ж собирался поставить людям... Эх, адская сила!.. Где ж у меня еще-то бобик?.. [63 - Шиллинг (жарг.).]

Один из медиков сказал:

– Ты его разменял у Коннери.

Другой заметил:

– Он сегодня первый экзамен провалил, вот вечером и пошел по пиву.

– А где ты денег-то взял? – спросил Крэнли у Темпла, который снова стал шарить по карманам.

– Он часы заложил за десять бобиков.

– Неплохие, видно, часы, – сказал Крэнли, – если за них столько в закладе дали. А куда он их все дел, десять бобиков?

– Да нет! – вмешался второй медик. – Заложил-то это я для него. Я субчика одного знаю, Ларкина, на Грэнби-роу.

К ним подошел еще один медик, тот самый здоровяк, у которого был политический диспут в «Адельфи» с клерком из Департамента Земледелия.

– Ну как, Темпл, – осведомился он, – ты нас в бардак-то ведешь?

– Тьфу, пропасть, – бормотал Темпл, – монеты все ухнули... Тьфу, адская сила, мне бабу надо... Адская сила, скажу, чтоб дали бабу в кредит.

Студент-здоровяк раскатисто захохотал и, обернувшись к Крэнли, на которого у него был зуб после стычки в «Адельфи», сказал:

– А ты возьмешь бабу, если я плачу?

Целомудрие Крэнли было притчей во языцех, однако молодые люди не слишком доверяли ему. Их [маленькая] кучка, впрочем, не выдала своей скептической позиции, рассмеявшись над приглашением здоровяка. Крэнли ничего не ответил, а второй медик сообщил:

– Мак-то сдал!

– Какой Мак? – спросил Крэнли.

– Ну этот, знаешь, из Гэльской лиги. Он нас водил вчера вечером по бабам.

– И вы все взяли баб?

– Да нет...

– А чего вы туда ходили?

– Он говорит, давайте там так пройдемся. Девки – ну шикарные. Бегали там за нами, старик, – их там толпища. Ну вот, а одна Маку как залепит, он, говорит, ее оскорбил.

– А он что ей сделал?

– Да не знаю. Ляпнул: «Пошла, [шлюха] курва» или в этом роде.

– И что Мак?

– Сказал, в суд на нее подаст, если она тут же не отстанет.

– Заметано, всем плачу за баб, если только Крэнли пойдет, – сказал здоровяк, имевший привычку растягивать единственную озарившую его идею на получасовой разговор.

– Ух, адская сила, – вмешался вдруг Темпл, – а вы слышали новую притчу... насчет обезьян в Берберии?.. Знатная притча... Мне Фланаган сказывал... Да, – вставил он, адресуясь к Стивену, – он хочет, чтоб я его вам представил... познакомиться хочет... Славный малый... попы, религия, ему на это плевать... Адская сила, я ж сам вольнодумец...

– Так что за притча? – напомнил Стивен.

Темпл стащил шапку и с обнаженной головой начал говорить речитативом на манер сельского священника, растягивая все гласные, [и] резко выбрасывая фразы и на каждой паузе понижая голос:

– Возлюбленные братия: в некие времена в Берберии обитало племя обезьян. И... были сии обезьяны несметны аки песок морской. Они обитали стадно в лесах и пребывали в свальных... сношениях... и плодились... и размножались... Но зрите, братия... вот, пришли в Берберию... святые люди Божии... миссионеры... дабы искупить тамошний народ. И люди сии святые проповедовали к народу... а затем... удалились они в леса... в глубину лесов... дабы молиться Богу. И жили... как отшельники... в лесах... и молились Богу. И зрите, братия... вот, обезьяны берберийские, жившие на деревьях... увидели сиих святых отшельников... что жили в одиночестве... и молились Богу. И те обезьяны, бывшие, надобно знать вам, братия, наклонными к подражанию... начали подражать... святым тем отшельникам... в действиях их... и поступать им подобно. И так... отделились [покинули жен своих] они друг от друга и ушли в места дальние-предальние, дабы молиться Богу... и делали они как видели святые те люди делают... и молились Богу... И... больше... уж они не вернулись... и перестали плодиться и размножаться... И так... с течением времени... бедных сих обезьян... становилось все меньше и меньше... и еще меньше и еще меньше... И вот, ныне... уж нет более ни единой обезьяны во всей Берберии.

Темпл перекрестился и надел шляпу; слушатели захлопали в ладоши. Тут же, без промедления полисмен указал группе двигаться. Стивен спросил у Крэнли:

– А кто этот Фланаган?

Не отвечая, Крэнли последовал за Темплом и его спутниками; он двигался решительной походкой и приговаривал себе под нос: «М-да». Им слышно было, как Темпл жалуется спутникам на свою бедность и повторяет заново куски притчи.

– Кто этот Фланаган? – снова спросил Стивен у Крэнли.

– Еще один хренов остолоп, – сказал Крэнли тоном, оставлявшим первую вакансию открытой.

Через несколько дней Крэнли уехал в Уиклоу. Стивен проводил лето в обществе Мориса. Он рассказал брату, какие неприятности предвиделись с началом нового учебного года, и они строили сообща планы, как заработать на жизнь. Морис высказал идею послать стихи какому-нибудь издателю.

– Послать их издателю я не могу, – отвечал Стивен, – потому что я сжег их.

– Сжег!

– Да, – бросил коротко Стивен, – они были романтическими.

Они решили в конце концов, что следует подождать, пока сам мистер Фулэм не даст как-нибудь знать о своих намерениях. Миссис Дедал между тем решила встретиться с отцом Баттом. Она не передавала всех деталей беседы, но Стивен понял, что первоначально отец Батт в качестве выхода из трудного положения порекомендовал молодому человеку службу клерком у Гиннеса; когда же миссис Дедал с сомнением покачала головой, он выразил желание поговорить со Стивеном лично. Он намекнул на какие-то преобразования в колледже, вследствие которых откроются служебные вакансии. Намеки очень подействовали на родителей, и уже на следующий день Стивен [был] отправился в колледж для встречи с отцом Баттом.

– А, входите, входите, дорогой мой, – молвил отец Батт, когда Стивен появился в дверях его небольшой бесковой спальни.

Он долго рассуждал на общие темы, не говоря ничего определенного, но снова и снова спрашивая Стивена о его взглядах, от выражения коих тот старательно уклонялся. Юноша был основательно сбит с толку таким ходом беседы. Наконец, после долгих потираний подбородка и морганий глазами, отец Батт осведомился, каковы планы Стивена...

– Литература, – отвечал тот.

– Да-да... конечно... но я имею в виду, на ближайшее время... вы будете, конечно, продолжать учебу до получения диплома – это важный рубеж.

– Возможно, я не смогу, – сказал Стивен, – ведь вам, кажется, известно, что отец мой не в состоянии...

– Так-так, – сказал отец Батт весело, – я очень рад, что вы подошли к этому вопросу... Об этом и речь. Стоит вопрос, сможем ли мы что-нибудь найти для вас, чтобы вы смогли закончить учебу. Вопрос в этом.

Стивен ничего не сказал. Он был уверен, что у патера имеется какое-то предложение или идея, однако решил никак не идти ему на помощь в их озвучивании. Патер Батт продолжал моргать глазами и потирать подбородок, бормоча про себя: «Тут-то, видите ли, и трудность». В конечном итоге, поскольку Стивен благоговейно хранил покой, патер Батт произнес:

– Возможно... мне только что пришло в голову... тут, в колледже, появится одна вакансия. Один-два часа в день... нагрузка ничтожная... Я думаю, да... мы сможем... я, пожалуй, подумаю... Вам это было бы нетрудно... никакого преподавания, никакого ярма, просто часок или около этого по утрам в деканате...

Стивен ничего не сказал. Отец Батт потер выжидательно руки и добавил:

– Иначе будет опасность, что вы погибнете... от истощения... Да, это отличная мысль... Я сегодня же вечером поговорю с отцом Диллоном.

Застигнутый несколько врасплох, хотя он и предчувствовал нечто подобное, Стивен пробормотал слова благодарности, и отец Батт пообещал, что через день-два он сообщит ему о ходе дела письмом.

Стивен не слишком полно рассказал о встрече отцу и матери: он сказал им, что отец Батт говорил неопределенно и советовал ему искать уроков. Мистер Дедал нашел, что это весьма практичный совет:

– Если ты только не сваляешь дурака, ты сможешь вполне устроиться. Не теряй связи с этой публикой, это я тебе говорю: эти иезуиты, они в два счета могут тебя устроить. Уж я-то чуток постарше тебя.

– Я уверена, они сделают все, что могут, чтобы тебе помочь, – сказала миссис Дедал.

– А я не хочу их помощи, – произнес Стивен с ожесточением.

Мистер Дедал вставил в глаз монокль и обозрел сына и жену. Жена принялась подбирать оправдания.

– Оставь это, женщина, – сказал он. – Я знаю, на какую дорожку он попал. Только ему не провести ни своего крестного, ни меня. С помощью Божией, я уж не стану дожидаться, я живо до него доведу, в какого премиленького треклятого атеиста этот гусь превратился. Потерпи малость и предоставь это мне.

Стивен ответил, что он не желает помощи и от крестного.

– Я знаю, по какой дорожке ты пошел, – произнес отец. – Я видел тебя в то утро похорон твоей бедной сестры – ты этого еще не забыл? Треклятый опустившийся прощелыга. Клянусь Христом, я за тебя сгорал от стыда в то утро. Ты не мог ни держать себя как джентльмен, ни сказать два слова, ни вообще себя хоть на ноготь проявить – завалился в угол с возчиками и подвывалами. Кто это тебя научил, скажи мне, хлестать портер пинтами? Это что, считается приличное поведение для этого... для художника?

Стивен, стиснув ладони, бросил взгляд на Мориса, который покатывался от хохота.

– Над чем ты смеешься? – спросил отец. – Всем известно, что ты просто-напросто прихвостень у этого субчика.

– У Стивена была жажда, – сказал Морис.

– Мне сдается, у него скоро будет и голод, не только жажда, черт побери!



Стивен передал Морису свою беседу со всеми подробностями.

– Ты не думаешь, что они пытаются меня купить? – спросил он.

– Это же ясно. Но меня одно удивляет...

– Что же?

– Что патер вышел из терпения, когда говорил с матерью. Ты, должно быть, его не на шутку разозлил, этого добряка.

– А с чего ты взял, что он вышел из терпения?

– Да явно вышел, если посоветовал загнать тебя в пивоварню. Тем он себя и выдал. Как бы там ни было, мы видим, какое имеют право эти типы называть себя духовными пастырями стад своих...

– То есть?

– Они ничего не могут поделать в случае вроде твоего, когда начинают испытывать их терпение. С таким же успехом ты б мог обратиться к полисмену.

– Может быть, он считал, что мой рассудок в таком беспорядке, что даже рутинная служба ему на пользу.

– Не думаю, чтобы он так считал. Притом в этом случае они все выходят лжецы, потому что все как один восхищались твоей ясностью рассуждения. Еще не значит, что разум человека в беспорядке, если он отвергает учение о Святой Троице.

– Кстати, ты заметил, – сказал Стивен, – какое глубокое понимание и симпатия между мной и родителями?

– Да, просто чудо!

– И при этом множество людей будут их считать моими лучшими друзьями, узнав, что они дают мне такие наставления. Кажется абсурдным обличать их или назвать врагами. Они хотят, чтобы я себе обеспечил то, что они полагают счастьем. Они бы хотели, чтобы я принимал все, что ведет к деньгам, чего бы это ни стоило мне самому.

– И ты примешь?

– Если б на твоём месте был Крэнли, я знаю, как бы он поставил этот вопрос.

– Как?

– «Ты примешь, конечно?»

– Я высказывал уже тебе свое мнение по поводу этого молодого джентльмена, – сказал Морис язвительно.

– Линч тоже сказал бы: «Ты будешь последний идиот, если не примешь».

– И как ты сделаешь?

- Откажусь, конечно.
- Так я и думал.
- Как я могу к этому отнестись? – спросил Стивен с чувством.
- Не слишком положительно, я думаю.

На следующий день Стивен получил письмо:

Уважаемый мистер Дедал,

Я переговорил с нашим ректором о том, что мы обсуждали с Вами несколько дней назад. Он искренне заинтересован Вашим делом и хотел бы встретиться с Вами в колледже в любой день этой недели между 2 и 3 часами. Как он полагает, вполне возможно найти для Вас какую-либо работу предложенного мной рода – несколько часов в день, – чтобы Вы имели возможность продолжить Ваши занятия. В этом главное.

С уважением,

Д. Батт, О. И. [64 - Член Общества Иисусова (ордена иезуитов).]

Стивен не пошел к ректору и послал отцу Батту ответное письмо:

Уважаемый отец Батт,

позвольте поблагодарить Вас за Вашу любезность. Боюсь, однако, что я не могу принять Ваше предложение. Вы, безусловно, поймете, что, отклоняя его, я действую так, как мне представляется наилучшим, и глубоко ценю проявленное Вами ко мне участие.

С уважением,

Стивен Дедал

Большую часть этого лета Стивен провел на скалах Норс-Булл. Морис проводил время там же, лежа лениво на камнях или плещась в воде. Стивен был теперь в прекрасных отношениях с братом, который, казалось, уже забыл про их отдаление. Иногда, одевшись наполовину, он переходил на мелкую сторону дамбы и слонялся там, глядя на детей с их няньками. Нередко он останавливался и недвижно смотрел на них, пока пепел сигареты не начинал падать на одежду, – но, хотя видел он все, что предназначалось для взора, он так и не повстречал другой Люси: и обычно он возвращался на сторону Лиффи, слегка позабавленный собственной удрученностью; при этом он думал, что если бы обратился к Люси, вместо Эммы, со своим предложением, то нашел бы, возможно, лучший прием. Но зато он встречал частенько промокших Братьев-христиан или полицейских агентов в штатском, и эти видения заверяли его, что, будь то Люси или Эмма, ответ существовал всего лишь один. От Доллимаунта братья вместе возвращались домой пешком. Наряд обоих начинал

смахивать на лохмотья, но они не питали зависти к одетым с иголки клеркам, [что] которые поспешали мимо. Подходя к дому мистера Уилкинсона, оба останавливались прислушаться, не происходит ли свары, но даже если все казалось спокойным, Морис первым делом спрашивал у открывшей дверь матери: «А он тут?» Если следовал отрицательный ответ, они оба направлялись вниз, в кухню, но если ответ был «Да», Стивен спускался один, а Морис, перегнувшись через перила, пытался по голосу определить, в трезвом или пьяном виде отец. Если отец был пьян, Морис удалялся к себе в комнату, однако Стивен, оставаясь невозмутимым, беспечно вступал в беседу. Разговор всегда начинался одинаково:

– Так-так, – (тоном крайнего сарказма), – а нельзя ли узнать, где это ты был весь день?

– На Булле.

– А! – (тон смягчился). – Окунулся?

– Да.

– Ладно, тут есть какой-то смысл. Я не против. До тех пор пока ты не с этой *capaille*, – (подозрительным тоном). – Так я могу быть уверен, что ты не шлялся с Бриджами или с подобной избранной публикой?

– Абсолютно уверен.

– Тогда порядок. Это все, что мне надо. Держись подальше от них... А Морис был с тобой?

– Да.

– Так где ж он?

– Думаю, наверху.

– А почему он не спустился?

– Не знаю.

– Гм... – (тон вновь пережевываемого сарказма). – Клянусь Богом, ты и твой братец, это такая парочка любящих сыновей!

Линч объявил Стивена первейшим из всех ослов в христианском мире, узнав, что тот отверг предложения иезуитов:

– Представь только, какие ночи ты б мог иметь!

– Ты удручающе низменная личность, – отвечал Стивен. – После всего, что я вдалбливал в эти твои торгашеские мозги, ты непременно вылезешь преподнести мне какую-нибудь пакость.

– Но почему ж ты отказался? – недоумевал Линч.

Лето шло уж совсем к концу, и вечер становился прохладным. Линч прохаживался взад и вперед в портике Библиотеки, держа руки в карманах и сильно выпятив

грудь. Стивен шел рядом:

– Я молод, не так ли?

– Да – это – так.

– Отлично. Моя единственная предрасположенность – к сочинению прозы и стихов. Не так ли?

– Допустим, так.

– Чудесно. Я не предназначен быть клерком в пивоварне.

– Я думаю, это было бы опасно, пускать тебя в пивоварню... особенно иногда.

– Я не предназначен к этому – и доволен. Я поступил в эту лавочку под названием «университет», чтобы повстречать людей близкого мне возраста и душевного склада... Ты знаешь, что я там повстречал.

Линч в согласном отчаянии закивал головой.

– Я обнаружил толпу запуганных мальчуганов, сбитых вместе круговой порукой робости. Единственное, чего ищет их взор, – это будущая должность: чтобы обеспечить себе эту будущую должность, они готовы примкнуть к любым взглядам или от них отречься, готовы трудиться в поте лица, чтобы войти в милость к иезуитам. Они обожают Иисуса, Марию и Иосифа; верят в «непогрешимость» папы и во все его похабные вонючие преисподние; они чают тысячелетнего царства прославленных верных и поджаренных безбожников... Боже Сладчайший и Всемогуций! Взгляни на это светлое прекрасное небо! Ты чувствуешь прохладный ветерок на лице? Вслушайся в [моему] наши голоса здесь, в портике, – не потому что [он] это мой и твой голос, а потому что это людские голоса: и неужели вся эта чушь тут же не сойдет с тебя, как с гуся вода?

Линч согласно кивнул; Стивен продолжал:

– Абсурд, чтобы я пустился ползать, и кланчить, и умолять, и выпрашивать у этих шутов, которые сами всего-навсего попрошайки. Почему мы не можем извергнуть эту чуму из наших мыслей, из общества, чтобы люди могли свободно ходить по улицам, не сталкиваясь на каждом углу с каким-нибудь застарелым лицемерием или предрассудком? Я буду, по крайней мере, стараться. Я ничего не возьму от них. Не буду служить под их началом. Не буду им подчиняться, ни внешне, ни внутренне. И Церковь, и любое учреждение, это не какая-то незыблемость словно Гибралтар. Вычтем из нее людей, ее членов, и прочность ее станет куда менее очевидной. Я вычту, по крайней мере, себя – а ты учти, что если мы примем потомство индивида за дюжину, то в результате вычитания одного Церковь может в конце концов потерять двенадцать в энной степени членов.

– А ты не слишком щедр в расчете потомства? – спросил Линч.

– Я не сказал тебе, что я встретил сегодня отца Хили? – отозвался вместо ответа Стивен.

– Нет, а где?

– Иду я по берегу Канала с датской грамматикой (теперь я за это взялся как следует. Скажу позднее почему) – и тут встречаю никого иного, как этого коротышку. Он шествовал напрямик «в золото заката:» все его морщины и складки на физиономии были вызолочены. Глянул на мою книгу и сказал, очень интересно: как ему кажется, это чрезвычайно интересно, знать разные языки и их сравнивать. Потом взгляделся в даль, в закатное солнце, и тут внезапно – представь только! – рот у него раскрывается и производит медленный, беззвучный зевок... Понимаешь, это почти вызывает шок, когда с человеком при тебе неожиданно происходит что-то такое...

– Скоро у него будет кое-какое дело, – сказал Линч, указывая на небольшую компанию, остановившуюся в дверях, весело беседуя и смеясь. – Он станет не такой сонный.

Стивен тоже поглядел на компанию. Эмма, Мойнихан, Макканн и две дочки мистера Дэниэла были явно в повышенном настроении.

– Да, я думаю, вскоре она займется этим уже на законных основаниях, – сказал [Линч] Стивен.

– Я-то о другой парочке, не о ней, – уточнил Линч.

– А, Макканн... Она, знаешь ли, для меня уже ничего не значит.

– Позволь тебе не поверить.

## ДУБЛИНЦЫ

Сборник из 15 рассказов, написанных Джойсом в период с 1904 по 1907 гг.

Джойс писал, что хочет изобразить моральную историю своей страны и преподнести публике четыре ее аспекта: детство, отрочество, зрелость и публичную жизнь. Подчиняясь этой цели, рассказы сборника можно разделить на четыре группы:

- «Детство»: рассказы «Сестры», «Встреча», «Аравия».
- «Отрочество»: рассказы «Эвелин», «После гонок», «Два рыцаря», «Пансион».
- «Зрелость»: рассказы «Облачко», «Личины», «Земля», «Несчастный случай».
- «Публичная жизнь»: рассказы «В День плуща», «Мать», «Милость Божия», «Мертвые».

## Сестры

На этот раз надежды для него не было: уже третий удар. Каждый вечер я проходил мимо дома (было время каникул), изучал освещенный квадрат окна – и находил из вечера в вечер, что он светится как всегда, тихим и ровным светом. Если бы он умер, думал я, то штора была бы темней и я бы заметил отсветы свечек, ведь в изголовье покойника полагается ставить две свечки. Он говорил мне не раз: «Я уж теперь не от сего мира»[65 - Парафраз Ин. 8: 23.], но я считал, это пустые слова. Теперь я знал, что это была правда. Каждый вечер, оглядывая окно, я тихо повторял про себя слово паралич. Для меня оно звучало всегда странно, как слово гномон в геометрии Евклида и слово симония в катехизисе. Но сейчас оно стало звучать для меня как имя какого-то зловредного и греховного существа. Оно вызывало у меня страх, но вопреки страху меня тянуло приблизиться к нему и увидеть его смертоносную работу.

Старый Коттер сидел у камина и курил, когда я спустился к ужину. Пока тетя мне накладывала болтушку, он сказал, как бы возвращаясь к какому-то своему прежнему замечанию:

– Да нет, я б не сказал, что он так уж... но было что-то такое странное... что-то тревожное в нем. Я вот что про это думаю...

Он принялся продувать свою трубку, несомненно решая, что же он думает. Занудный старый осел! В первое время знакомства он казался поинтересней, рассказывал про всякие вредные виды спиртов, про их коварные действия, но скоро и он, и его бесконечные винокурные темы мне надоели.

– У меня тут своя теория, – сказал он. – Я думаю, тут один из таких... особых случаев... Но трудно точно сказать...

Он снова принялся продувать трубку, так и не сообщив теории. Дядя увидел, как я весь напрягся, и сказал мне:

– Что же, печальная весть для тебя, твой старый друг нас покинул.

– Кто? – сказал я.

– Отец Флинн.

– Он умер?

– Мистер Коттер только что нам сказал. Он шел мимо их дома.

Я знал, что за мной наблюдают, и поэтому продолжал есть, как будто бы новость меня не заинтересовала. Дядя пояснил Коттеру:

– Паренек наш очень дружил с ним. Старик его, понимаете, многому научил и очень был, говорят, привязан к нему.

– Помилуй, Господи, его душу, – произнесла тетя набожно.

Старый Коттер посмотрел на меня долгим взглядом. Я чувствовал, как его черные глазки-бусинки меня буравили, но не поддался ему и не поднял своих глаз от тарелки. Он снова занялся трубкой и после паузы грубо сплюнул в камин. Потом

сказал:

– Мне это не было бы по нраву, если бы мои дети водили дружбу с таким, как он.

– Вы это про что, мистер Коттер? – спросила тетя.

– Я это про то, – сказал старый Коттер, – что для детей это вредно. Я так считаю: пускай малец себе бегаёт да водится с другими мальцами, вместо того чтобы... Что, я не прав, Джек?

– И я так думаю, – согласился дядя. – Пусть выучится сам за собой смотреть. Что я всегда и говорю этому розенкрейцеру: займись спортом. Почему я, спрашивается, когда был сопляк, так я каждое божье утро, зимой и летом, делал холодные обливания. Вот что и сейчас меня держит. Образование – это все хорошо и замечательно... Надо бы мистеру Коттеру предложить кусочек той бараньей ноги, – добавил он, обращаясь к тете.

– Нет-нет, ради меня не беспокойтесь, – запротестовал Коттер.

Тетя принесла блюдо из кладовки и поставила на стол.

– И почему ж вы считаете, мистер Коттер, оно нехорошо для детей? – спросила она.

– Это вредно для детей, – сказал старый Коттер, – потому что у них такой впечатлительный разум. Когда дети видят такие вещи, это на них действует...

Я набил рот болтушкой, боясь, что не выдержу и мой гнев вырвется наружу. Занудный старый красноносый идиот!

Было совсем поздно, когда я заснул. Хотя меня и сердило, что старый Коттер как бы причислил меня к детям, я ломал голову, стараясь понять смысл его обрывочных фраз. В темноте моей комнаты мне представилось, что я вижу снова тяжелое серое лицо паралика. Я натянул на голову одеяло и попытался думать про Рождество. Но серое лицо не оставляло меня. Оно шептало – и я понял, что оно хочет исповедоваться в чем-то. Я почувствовал, как моя душа улетает в какие-то манящие и порочные края; и там я снова обнаружил, что оно ждёт меня. Тихим шепотом оно начало свою исповедь, и я удивлялся, почему оно улыбается все время и почему на его губах все время слюна. Но потом я вспомнил, что оно умерло от паралича, и почувствовал, как я сам тоже слабо улыбаюсь, как бы отпуская согрешившему в симонии его грех.

Наутро после завтрака я пошел взглянуть на маленький домик на Грейт-Бритейн-стрит. Это была невзрачная лавочка, несущая неопределенную вывеску «Галантерея». Галантерею составляли в основном детские ботики и зонтики; и в обычные дни в витрине висело объявление «Перекрываем зонтики». Сейчас объявления не было видно, потому что окно витрины было закрыто ставнями. К дверному молотку привязан был креповый букет с траурной лентой. Две бедно одетые женщины и мальчишка – разносчик телеграмм читали табличку, приколотую на крепе. Я тоже подошел и прочел:

1 июля 1895 г.

Его Преподобие Джеймс Флинн, бывший священник

церкви Святой Екатерины на Мит-стрит,

в возрасте 65 лет.

Да покоится в мире.

Чтение убедило меня, что он умер, и я почувствовал беспокойство, будто натолкнувшись на неожиданное препятствие. Если бы он не умер, я прошел бы в полутемную комнатку за помещениями лавки, в глубине дома, и увидел бы его в большом кресле у камина, всего с головой укутанным в его просторный плащ. Может быть, тетя прислала бы ему со мной пачку табака, и этот подарок вывел бы его из оцепенелой дремы. Я всегда сам пересыпал табак в его черную табакерку, потому что руки у него так тряслись, что он непременно рассыпал бы половину на пол. Даже когда он подносил к носу свою большую трясущуюся руку, крохотные облачка дыма сеялись у него между пальцев на лацканы. Может быть, именно из-за этих постоянных посыпаний табаком его старомодное священническое одеяние приняло такой выцветший и позеленевший вид, потому что его красный платок, который от понюшек за неделю всегда успевал почернеть, был совершенно бесполезен, когда он пытался им смахивать крошки табака.

Мне хотелось войти и взглянуть на него, но у меня не хватало решимости постучать. Я медленно пошел прочь по солнечной стороне, читая по пути все театральные афиши в витринах магазинов. Мне странно было, что ни я, ни день не были в траурном настроении, и я даже рассердился, когда обнаружил у себя какое-то ощущение свободы, как будто эта его смерть от чего-то освободила меня. Меня это удивляло, потому что он в самом деле, как сказал дядя в прошлый вечер, многому меня научил. Сам он учился в Ирландском колледже в Риме, и он научил меня правильному произношению по-латыни. Он мне рассказывал истории про катакомбы и про Наполеона Бонапарта, объяснял смысл разных обрядов во время мессы и разных облачений священников. Иногда он немного развлекался, задавая мне каверзные вопросы, что надо делать в таких-то или таких-то случаях или являются такие-то грехи смертными, или искупимыми, или просто знаками несовершенства. Его вопросы открывали мне, до чего сложны и таинственны даже те установления Церкви, которые на мой взгляд были наипростейшими. Обеты священника по отношению к Евхаристии и к тайне исповеди мне казались настолько ответственными, что я поражался, как вообще у кого-то хватало храбрости их принять; и мне не было странно услышать от него, что для разъяснения всех этих запутанных вопросов Отцы Церкви написали книги толщиной с полный адрес-календарь и такой мелкой печати, как судебные объявления в газете. Нередко я, сколько ни думал, не мог сам найти ответ, кроме какого-нибудь глупого или совсем неуверенного, и он в таких случаях улыбался и кивал головой несколько раз. Иногда он проверял меня по текстам мессы, которые заставил выучить наизусть; и когда я барабанил их, он задумчиво улыбался и кивал головой, время от времени закладывая большие понюшки табаку в каждую из ноздрей по очереди. Когда он улыбался, у него открывались крупные бесцветные зубы, а язык ложился на нижнюю губу, и эта манера в начале знакомства меня стесняла, пока я не узнал его хорошо.

Пока я так шел по солнцу, я вспоминал слова старого Коттера и еще пытался вспомнить, что случилось потом во сне. Вспомнилось, что я видел длинные бархатные занавеси и лампу старинной формы, которая висела и качалась. Я чувствовал, что я где-то в дальних краях, в какой-то стране, может быть в



Персии, с незнакомыми странными обычаями... Но конец сна я вспомнить никак не мог.

Вечером тетя отправилась с визитом в дом траура и взяла меня с собой. Солнце уже зашло, но в стеклах окон, что выходили на запад, отражалась багряным золотом огромная гряда облаков. Нэнни встретила нас в прихожей; и, поскольку кричать, чтобы она расслышала, сейчас было неуместно, тетя просто пожала ей руку. Старушка вопросительно показала наверх и после утвердительного тетиного кивка стала взбираться впереди нас по узкой лестнице, и ее склоненная голова при этом была разве что малость выше перил. На первой площадке она остановилась и знаком пригласила нас войти в открытую дверь комнаты, где был покойник. Тетя вошла, и старушка, видя, что я заколебался, вновь сделала мне знак рукой.

Я вошел на цыпочках. Через нижнюю бахрому занавесок всю комнату заливал багряно-золотой свет, в котором свечи казались тонкими языками бледного пламени. Он был положен во гроб. Нэнни подала пример, и мы все трое стали на колени в ногах ложа. Я делал вид, что молюсь, однако не мог собрать мысли, бормотание старушки отвлекало меня. Я заметил, что ее юбка очень неуклюже заколота на спине, а подошвы суконных домашних туфель совсем стоптаны, обе на один бок. Пришла нелепая мысль, что старый священник улыбается, лежа там в гробу.

Но нет. Когда мы поднялись и подошли к изголовью ложа, я увидел, что он не улыбался. Он лежал обширный, торжественный, одетый как для службы у алтаря, и крупные руки придерживали чашу. Лицо было гневным, серым, массивным, с черными пещерами ноздрей, обрамленное скудной седой щетиной. Стоял тяжелый запах в комнате – от цветов.

Мы перекрестились и вышли. В нижней комнатке мы нашли Элизу восседающей в его кресле. Я пробрался к своему обычному сиденью в углу, а Нэнни извлекла из буфета графин с шерри и несколько винных рюмок. Поставив все на стол, она предложила нам выпить по рюмочке шерри. Затем, по знаку сестры, разлила шерри и подвинула нам рюмки. Она уговаривала меня взять также хрустящего печенья, но я отказался, опасаясь, что буду слишком громко хрустеть им. Мой отказ ее как будто немного огорчил; она тихо отошла к дивану и уселась на него за спиной сестры. Никто ничего не говорил; мы все смотрели в пустой очаг.

Тетя выждала, пока Элиза вздохнет, и тогда сказала:

– Что же, он отошел в лучший мир.

Элиза снова вздохнула и наклонила голову в знак согласия. Тетя погладила ножку своей рюмки, прежде чем отпить немного.

– А это свершилось... мирно? – спросила она.

– О, совсем мирно, мэм, – ответила Элиза. – Нельзя было даже заметить, когда был последний вздох. Бог ему послал прекрасную кончину.

– А все должное...?

– Во вторник приходил отец О'Рурк и совершил соборование и все приуготовления.

– Значит, он знал?

– Он был совершенно отрешенным.

– Он выглядит совершенно отрешенным, – сказала тетя.

– Вот именно это сказала женщина, которая приходила его обмыть. Она сказала, что он выглядит так, словно он заснул, он выглядел таким мирным и отрешенным. Никто не подумал бы, что он будет таким красивым покойником.

– Это верно, – сказала тетя.

Она сделала из своей рюмки еще маленький глоток и сказала:

– Что же, мисс Флинн, для вас, по крайней мере, должно быть большое утешение, что вы делали для него все возможное. Я должна сказать, вы обе были настолько добры к нему.

Элиза расправила платье на коленях.

– О, бедный Джеймс! – сказала она. – Видит Бог, как мы ни бедны, мы делали всё – мы просто не могли допустить, чтобы он в чем-нибудь нуждался, пока он был тут.

Нэнни склонила голову на подушку дивана; казалось, что она засыпает.

– Бедняжка Нэнни, – сказала Элиза, взглянув на нее, – она совсем на пределе. Все эти дела, которые на нас свалились, найти женщину, чтобы его обмыть, потом убрать его, потом положить в гроб, договориться насчет заупокойной службы в часовне. Если бы не отец О'Рурк, я просто не знаю, что бы мы делали. Это он нам принес все цветы и два подсвечника из часовни, и дал объявление в «Фрименс дженерал», и взял на себя все хлопоты насчет кладбища и насчет страховки бедного Джеймса.

– Ведь как это любезно, правда? – сказала тетя.

Элиза закрыла глаза и медленно покачала головой.

– Самое надежное – это старые друзья, – сказала она. – В конечном итоге покойнику только на них можно и рассчитывать.

– Это верно сказано, – согласилась тетя. – И я верю, что теперь, когда он в небесной обители, он не забудет вас и всю вашу доброту к нему.

– О, бедный Джеймс, – повторила Элиза. – Он не доставлял нам много хлопот. Его было слышно в доме немногим больше, чем сейчас. Я просто знаю, что он ушел, а если б не это...

– Когда все закончится, тогда вы и почувствуете, как вам недостает его, – сказала тетя.

– Я знаю это, – сказала Элиза. – Больше уж я не буду ему приносить его чашку бульона, а вы, мэм, уже не пришлете табачку. О, бедный Джеймс!

Она остановилась, словно погрузясь в прошлое, и потом сказала как бы с хитринкой:

– Вы знаете, а я в последнее время заметила, с ним что-то странное творится. Как ни принесу ему этот суп, так вижу каждый раз, он в кресле лежит откинувшись, рот открыт и молитвенник валяется на полу.

Она приложила палец к носу и нахмурилась – а потом продолжала:

– Но как бы там ни было, он без конца говорил, что в это лето он непременно в какой-нибудь погожий денек поедет взглянуть на наш старый дом, где все мы родились в Айриштауне, и прихватит меня и Нэнни с собой. Если бы только вышло нанять этакий экипаж, какие сейчас придумали, отец О’Рурк про них говорил, на ревматических шинах, совсем без шума, как-нибудь подешевей, на день, – он говорил, они тут напротив, у Джонни Раша, – то и отправились бы мы все втроем, вечером в воскресенье. У него это крепко засело в голове... Бедный Джеймс!

– Да помилует Господь его душу, – сказала тетя.

Элиза достала платок и вытерла им глаза. Спрятав платок обратно, она некоторое время молча смотрела в пустой очаг.

– Он был всегда слишком щепетильный, – сказала она. – Обеты, весь долг священника, это для него было свыше сил. И в жизни-то ему выпал, можно сказать, тяжкий крест.

– Да, – сказала тетя, – он был человек разуверившийся. По нему это было видно.

В комнатке воцарилось молчание, и под его покровом я подошел к столу, попробовал шерри из своей рюмки и вернулся на свое место в углу. Элиза, казалось, впала в глубокую задумчивость. Мы почтительно ждали, чтобы она сама прервала молчание, и после долгой паузы она медленно произнесла:

– Когда он разбил эту чашу... С этого все и началось. Конечно, все сказали, что это ничего, я хочу сказать, потому что чаша была пустая. Но все равно... Сказали, что это прислужник виноват. Но Джеймс, бедный, у него были такие нервы, пошли ему Господь свою милость!

– Так дело вот в этом было? – спросила тетя. – Я-то слышала...

Элиза кивнула.

– Это повлияло на его разум, – сказала она. – Он начал впадать в тоску, ни с кем не разговаривал и бродил один. И вот, однажды ночью пришли, и надо было ему идти на требу, а его нигде не могли найти. Искали везде, сверху донизу, и нигде его не было ни слуху ни духу. И тогда причетник предложил посмотреть в часовне. Взяли ключи, открыли часовню, и этот причетник, отец О’Рурк и еще один священник, зажегши свечи, принялись его там искать... И что вы думаете, он сидит там в своей исповедалине, в полной тьме, глаза широко раскрыты и будто тихо смеется сам с собой!

Она внезапно остановилась, словно прислушиваясь. Я тоже прислушался, но в доме не раздавалось ни звука – и я знал, что старый священник лежит безмолвно в своем гробу, как мы видели его, торжественный и гневный во смерти, и на его груди – праздная чаша.

Элиза закончила:

– Глаза раскрыты и будто смеется сам с собой... Ну, когда они это увидели, у них, конечно, возникла мысль, что с ним что-то произошло неладное...

## Встреча

С Диким Западом нас познакомил Джо Диллон. У него имелась библиотечка из старых номеров «Британского флага», «Отваги» и «Бесплатного чуда». Каждый вечер после школы мы сходились в садике за его домом и устраивали игры в индейцев. Он и младший брат его Лео, толстый лодырь, укреплялись в конюшне на сеновале, и мы штурмовали их позицию; а иногда сражение проходило на особо выбранном поле. Но как бы мы отлично ни бились, ни одной битвы или осады мы выиграть не могли, и любая наша война завершалась победной пляской Джо Диллона. Его родители каждое утро ходили к ранней мессе на Гардинер-стрит, и в прихожей их дома царили мирные запахи миссис Диллон. Но он слишком ярко отдавался игре; мы были и помладше, и потише его. Он и взаправду выглядел как индеец, когда носился по саду, нацепив на голову покрывку на чайник, колотя в тазик и завывая:

– Ийя! Йяка-йяка-йяка!

Никому не верилось, когда стало известно, что он готовится в священники. Но это была правда.

Дух буйства и непокорности вселился в нас, стирая различия воспитания и характера. Мы сбились в одну ватагу, примкнув к ней – кто из дерзости, кто как бы в шутку, а кто и почти из страха; и среди этих индейцев поневоле, которые просто побоялись прослыть неженками или зубрилами, был и я. Приключения, что описывались в книжках о Диком Западе, были чужды моей натуре, но они все-таки давали возможность куда-то вырваться. Больше мне нравились те американские детективы, в которых появлялись фигуры отчаянных и дерзких красавиц. Ничего дурного в этих детективных историях не было, некоторые даже были довольно литературны, но в школе их читали и передавали тайком. Однажды, когда отец Батлер спрашивал четыре страницы из римской истории, пентюх Лео Диллон попался с номером «Бесплатного чуда».

– С этой или с этой страницы? С этой? Диллон, начинайте! «Едва рассвет...» Продолжайте же! Что рассвет? «Едва рассвет осветил...» Вы вообще учили урок? А что там у вас в кармане?

Сердца у всех замерли, когда Лео Диллон протянул учителю журналчик, и все сделали невинные физиономии. Отец Батлер, нахмурясь, начал листать.

– Что это за мусор? – сказал он. – «Вождь апачей»? Вы это читаете вместо изучения римской истории? Чтобы это жалкое чтиво я больше не видел в нашем колледже! Тот, кто пишет подобное, я уверен, – жалкий тип, зарабатывающий себе на выпивку. Я удивляюсь, что вы, образованные мальчики, читаете эту гадость. Я еще понял бы, если б вы были эти... из государственных школ. Ладно, Диллон. Я вам очень советую взяться за работу – иначе...

В строгие школьные часы этот выговор сильно охлаждал мое увлечение Диким Западом; пухлое растерянное лицо Лео Диллона будило во мне угрызения какой-то совести. Но стоило мне удалиться из радиуса школьной дисциплины, как вновь

возникла жажда ярких ощущений, жажда вырваться, которую удовлетворяли, казалось, одни лишь эти хроники вольной жизни. Вечерние имитации войн надоели мне наконец не меньше утренней рутины уроков, и я хотел настоящих приключений. Но, как мне думалось, настоящие приключения не происходят с теми, кто сидит дома, за ними отправляются за границу.

С приближением летних каникул я настроился хотя бы на один день вырваться из томительной школьной жизни. С Лео Диллоном и еще с одним мальчиком по фамилии Мэхони мы наметили сбежать из школы на день. Каждый из нас скопил по шесть пенсов, и мы сговорились встретиться в десять утра у моста Кэнел-бридж. Старшая сестра Мэхони должна была ему написать записку в школу, а Лео Диллон собирался передать через брата, что заболел. У нас был план дойти по Уорф-роуд до самого порта, там переехать на пароме и прогуляться до Голубятни. Лео Диллон заопасался, что мы встретим отца Батлера или еще кого-то из колледжа, но Мэхони очень резонно спросил, с какой стати отец Батлер отправится к Голубятне. Мы успокоились, и я завершил первую стадию предприятия, собрав с компаньонов по шесть пенсов и показав им мой собственный шестипенсовик. Когда мы окончательно договаривались накануне, мы были все как-то смутно возбуждены. Со смехом мы пожали руки друг другу, и Мэхони сказал:

– До завтра, дружки.

Я плохо спал в ту ночь и наутро пришел первый к мосту, потому что жил ближе всех. Я схоронил ранец в высокой траве, недалеко от ямы с золой в конце сада, куда никто не заходил никогда, и поспешил берегом канала. Было приветливое солнечное утро в начале июня. Я уселся на парапете моста, довольно поглядывая на свои легкие парусиновые туфли, которые с вечера набелил усердно, и глядя, как послушные лошади тянут в гору вагон, полный конторских служащих. Ветки высоких деревьев вдоль аллеи были все уже в веселой ярко-зеленой листве, сквозь которую к воде пробивались лучи солнца. Гранит моста начинал уже нагреваться, и в такт мотивчику у меня в голове я стал прихлопывать по нему ладонями. Мне было очень хорошо.

Когда так прошло минут пять или десять, я увидел, как подходит Мэхони в сером костюмчике. Он поднялся по холму улыбаясь и взобрался рядом со мной на парапет. Пока мы ждали, он вытащил рогатку, которая у него оттопыривалась из внутреннего кармана, и объяснил, какие он сделал в ней улучшения. Я спросил, зачем он ее взял, и он ответил, взял, чтобы поддать газу птицам. Он часто употреблял всякие блатные словечки, а отца Батлера называл Старый Бляхер. Мы ждали так еще с четверть часа, а Лео Диллон все не показывался. Наконец Мэхони прыгнул с парапета и заявил:

– Потряхали. Я так и знал, что Жиртрест сдрейфит.

– А его шесть пенсов... – сказал я.

– Проигранный фант, – заявил Мэхони. – А нам только лучше – не бобик, а полтора бобика.

Мы отправились по Северной Стрэнд-роуд, дошли до купоросной фабрики и повернули направо по Уорф-роуд. Там не было никаких взрослых, и Мэхони тут же стал индейцем. Он разогнал стайку приютских девчонок, прицеливаясь в них из пустой рогатки, а когда, проявляя рыцарство, два приютских мальчика начали в нас швыряться камнями, он сказал, что мы их должны атаковать. Я возразил, что они

еще слишком малышня, и мы пошли дальше, а приютское войско вопило нам вслед: Эй, пеленальщики! решив, что мы протестанты, потому что Мэхони был темнолицый и на кепке носил значок крикетного клуба. Дойдя до Утюга, мы попробовали устроить осаду крепости, но у нас не вышло, потому что надо не меньше троих. Мы отыгрывались на Лео Диллоне, ругая его, что он сдрейфил, и обсуждая, сколько горяченьких ему всыплет мистер Райен в три часа.

Вскоре мы приблизились к реке. Мы долго ходили по шумным портовым улицам с высокими каменными стенами по бокам, смотрели, как работают краны и другие машины, и возчики на гроыхающих ломовых подводах то и дело покрикивали на нас, что мы там торчим. В полдень мы подошли к набережным и, видя, что все работяги вокруг принялись за завтрак, мы купили по большой булочке с изюмом и стали подкрепляться, усевшись на какие-то трубы у реки. Нам нравилось смотреть на окружающую предприимчивую жизнь – на баржи, о которых издали возвещали клубы дыма, похожие на вату, рыбацкие суденышки, темневшие за Рингсендом, большой белый парусник, что разгружался у противоположного берега. Мэхони сказал, вот было бы классно удрать в море на одной из этих здоровенных посудин, и, глядя на высокие мачты, даже я представлял себе, как эта самая география, которую в школе давали в убогих дозах, оживает у меня на глазах. И школа, и дом словно отодвинулись куда-то, и мы освобождались от их влияния.

Заплатив нашу лепту за перевоз, мы переправились через Лиффи на пароме, в компании двух рабочих и маленького еврея с мешком. У нас был вид очень серьезный, почти торжественный, но в какой-то момент нашей недолгой переправы мы встретились глазами и тут же расхохотались. Сойдя с парома, мы посмотрели, как разгружают красивый трехмачтовый парусник, который мы видели с того берега. Кто-то сказал, что это норвежское судно. Я подошел к корме и попробовал прочесть надпись, но не сумел и, вернувшись на место, стал разглядывать иностранных моряков, чтобы увидеть, есть ли среди них хоть один с зелеными глазами, потому что я как-то смутно считал... Глаза у них были синие, серые, даже черные. Единственный матрос, у кого глаза можно было бы назвать зелеными, был высокий парень, смешивший толпу на пристани тем, что, когда доски падали, он каждый раз кричал бодро:

– Порядок! Порядок!

Когда мы устали так глазеть, мы медленно побрели к Рингсенду. День становился душным, и в витринах бакалейщиков пряники и печенье лежали заплесневелые и выцветшие. Мы купили себе шоколаду и пряников и старательно поглощали их, бродя по бедным и грязным улочкам, где обитали семейства рыбаков. Молочной нам не подалось, и поэтому мы зашли в мелочную лавочку и взяли там по бутылке малинового сидра. Освежившись и ободрившись, Мэхони стал гонять по переулку кота, но тот скоро улизнул в поле. Мы оба были уже усталыми и, выйдя на поле, направились сразу к пологому откосу, где сверху был виден Доддер.

Было слишком поздно и мы слишком устали уже, чтобы исполнять наш план прогулки до Голубятни. Домой надо было вернуться не позже четырех, иначе наше приключение было бы раскрыто. Мэхони грустно смотрел на свою рогатку, и мне пришлось предложить вернуться домой на поезде, чтобы он снова приободрился. Солнце зашло за какие-то тучки, оставив нас с нашими вялыми мыслями и малыыми крохами запасов.

Кроме нас, в поле никого не было. Когда мы уже побыли там какое-то время, лежа на откосе без разговоров, я увидел, как с другого конца приближается человек. Я глядел на него лениво и жевал травинку, одну из таких, на которых девочки

загадывают желания. Он медленно двигался вдоль откоса; одну руку он положил на бедро, а в другой была палка, которой он легко постукивал по земле. Он был в поношенном костюме, черновато-зеленоватом, и в шляпе с высоким верхом, мы такие называли ночными горшками. На вид он казался довольно стар, потому что у него были пепельно-седые усы. Когда он проходил мимо наших ног, он мельком глянул на нас и продолжал путь. Мы провожали его глазами и увидели, что, отойдя шагов на пятьдесят, он развернулся и пошел по своим следам обратно. Он двигался к нам очень медленно, все время постукивая по земле палкой, до того медленно, что я подумал, не ищет ли он в траве что-нибудь.

Поравнявшись с нами, он остановился и поздоровался. Мы ответили, и он уселся на склоне рядом с нами, очень медленно и осмотрительно. Он начал говорить о погоде, сказав, что лето будет очень жарким, и потом добавив, что все времена года сильно изменились со времени его детства – такого давнего времени. Он сказал, что лучшее время в жизни каждого – это, совершенно бесспорно, школьные дни, и он все бы отдал за то, чтобы быть снова молодым. Пока он выражал эти чувства, нам было немного скучно и мы молчали. Потом он заговорил о школе и о книгах. Он спросил, читали ли мы стихи Томаса Мура или романы сэра Вальтера Скотта и лорда Литтона. Я делал вид, что читал все книги, которые он упоминал, так что под конец он сказал:

– Ну, я вижу, ты такой же книжный червь, как я сам. А он вот, – продолжал он, показывая на Мэхони, который смотрел на нас широко раскрытыми глазами, – он не такой. Его больше игры интересуют.

Он сказал, что у него дома все книги сэра Вальтера Скотта и все книги лорда Литтона и ему никогда не надоедает их читать. «Конечно, – сказал он, – есть некоторые книги лорда Литтона, которые мальчикам нельзя читать». Мэхони спросил, а почему это мальчикам нельзя, и этот вопрос меня возбудил и расстроил, я испугался, что он решит, я такой же глупый, как Мэхони. Но этот человек только улыбнулся, и я увидел, что у него зубы желтые и редкие, с большими промежутками между ними. Потом он спросил, у кого из нас было больше симпатий. Мэхони тут же отвечал, что у него было три милшки. Человек спросил, а сколько у меня было, и я сказал, ни одной. Он мне не поверил и сказал, что он уверен, уж одна-то была. Я промолчал.

– Скажите-ка, – нахально спросил его Мэхони, – а у вас-то у самого сколько было?

Человек улыбнулся, как и в первый раз, и сказал, что в нашем возрасте у него было множество девочек.

– У каждого мальчика, – сказал он, – есть непременно своя симпатия.

Его отношение к этим вещам мне показалось каким-то слишком вольным для его возраста. Втайне я думал, что это, в общем, были правильные слова, про мальчиков и про симпатии. Но из его уст эти слова мне не нравились, и я удивлялся, почему он ни с того ни с сего два вздрогнул, как если бы испугался чего-то или вдруг продрог. Когда он опять заговорил, я заметил, что у него культурный выговор. Он начал нам говорить про девочек, какие у них чудесные мягкие волосы и мягкие руки и что на поверку все девочки вовсе не такие хорошие, как кажутся. Ничто он так не любил, сказал он, как смотреть на какую-нибудь милую девушку, на ее мягкие прекрасные волосы, на милые, такие белые ручки. У меня было впечатление, что он повторяет что-то заученное или же заводится от слов своей речи и что ум его как-то медленно кружит по той же орбите. Иногда он говорил,

словно намекая на что-то, что все и так знают, а иногда понижал таинственно голос и говорил так, словно не хочет, чтоб нас подслушали. Он повторял те же фразы снова и снова, слегка их изменяя, будто окутывая их своим монотонным голосом. Я слушал его, продолжая смотреть по откосу вниз.

После порядочного времени его монолог наконец остановился. Он медленно встал и сказал, что должен покинуть нас на минуту или на пару минут. Не меняя направления взгляда, я видел, как он медленно удаляется от нас в сторону ближнего края поля. После его ухода мы молчали, но через несколько минут я услышал, как Мэхони восклицает:

– Ну, дела! Гляди, чего он делает!

Я не ответил и не поднял глаз, и Мэхони опять воскликнул:

– Ну, дела... Вот это так чудила старый!

– Если он спросит, как нас зовут, – сказал я, – давай, ты будешь Мэрфи, а я Смит.

Больше ни он, ни я не сказали ничего. Я все раздумывал, уходить мне или нет, когда человек вернулся и снова уселся рядом с нами. Едва он успел сесть, как Мэхони, завидев того самого кота, что удрал от него, вскочил и помчался за ним по полю. Тот человек и я наблюдали за погоней. Кот опять удрал, и Мэхони принялся швырять камни за ограду, через которую он пробрался. Потом, бросив это занятие, он стал бесцельно бродить по дальнему краю поля.

После паузы человек начал говорить со мной. Он сказал, что мой товарищ – очень грубый мальчик, и спросил, часто ли его дерут в школе. Я хотел с возмущением сказать, что мы не из государственной школы, чтобы нас драли, как он это называет, но я промолчал. Он начал говорить про то, как наказывают мальчиков. Как если бы его речь снова заводила его, его ум снова начал медленно кружить вокруг своего нового центра. Он сказал, что, когда мальчики бывают такие, то их надо драть, и драть как следует. Если мальчик дерзок и груб, ему может помочь только славная хорошая порка. Линейкой по рукам или же крутить ухо – это бесполезно: то, что ему надо, это получить отличную горяченькую порку. Меня удивили такие выражения, и я невольно глянул ему в лицо. Я увидел, что из-под лба, как бы дергающегося от тика, на меня уставилась неподвижно пара бутылочно-зеленых глаз. Я быстро опустил глаза.

Человек продолжал свой монолог. Он как будто бы позабыл о своих прежних вольностях. Он сказал, что в любой момент, когда он бы обнаружил, что мальчик ухаживает за девочками или же у него есть среди девочек своя симпатия, он тут же бы начал драть и драть его, и это бы научило мальчишку не гулять с девочками. Но если у мальчика есть симпатия, а он лжет и не сознается, то вот такому он бы задал порку, какой никогда не доставалось ни одному мальчику в мире. Он сказал, что ему бы это понравилось больше всего на свете. Он описывал мне, как он порол бы такого мальчика, словно открывал какие-то сложные таинственные обряды. Для него это было бы такое удовольствие, сказал он, которого ни с чем не сравнить; и голос его, пока он монотонно развертывал передо мной обряд, становился почти что нежным и словно умолял меня о сочувствии и понимании.

Я ждал, чтобы его монолог снова остановился. Дождавшись, я сразу встал. Чтобы не выдать своего волнения, я помедлил несколько мгновений, притворяясь, что



поправляю ботинок на ноге, и затем попрощался с ним, сказав, что мне надо идти. Я поднимался по откосу спокойно, но сердце у меня очень колотилось от страха, что он сзади схватит меня за лодыжки. Достигнув гребня откоса, я повернулся и, не смотря в его сторону, громко закричал через поле:

– Эй, Мэрфи!

Было явно что-то деланное в моем храбром тоне, и мне стало стыдно моей жалкой военной хитрости. Мне пришлось позвать еще раз, прежде чем Мэхони заметил меня и отозвался ответным криком. Как билось мое сердце, когда он со всех ног пустился ко мне через поле! Он мчался, словно спешил на помощь. И я ощутил раскаяние – ибо в глубине души я всегда его презирал немного.

## Аравия

Северная Ричмонд-стрит оканчивалась тупиком и поэтому была тихой улицей, за исключением часа, когда из школы Братьев-Христиан расходились ученики. В тупиковом конце, немного поодаль от соседей, стоял двухэтажный необитаемый дом на отдельном квадратном участке. Прочие дома улицы, важно в себе неся благонравные жизни, взирали друг на друга непроницаемыми бурями лицами.

Предыдущий жилец, священник, который жил до нас в нашем доме, умер в гостиной окнами во двор. Во всех комнатах, оттого что они долго стояли запертыми, царил затхлый дух, а чулан за кухней был завален старым бумажным хламом. Я нашел в этом хламе несколько книг в бумажных обложках, с отсыревшими и свернувшимися страницами: «Аббат» Вальтера Скотта, «Благочестивый причастник» и «Записки Видока». Последняя книжка нравилась мне больше других, потому что у нее были желтые страницы. За домом был запущенный садик с яблоней посередине и несколькими кустами, под одним из которых я нашел ржавый велосипедный насос покойного жильца. Этот священник был известен благотворительностью, и по завещанию он оставил все свои деньги заведением для бедных, а обстановку дома – своей сестре.

Когда зимой настали короткие дни, темнеть начинало прежде, чем мы успевали пообедать. Мы встречались на улице, когда окружающие дома были уже едва видны. Кусок неба над нашими головами был постоянно меняющегося лилового цвета, и уличные фонари посылали к нему свой жиденький свет. Морозный воздух больно пощипывал, и мы играли без усталости, пока все тело не начинало гореть. Наши крики носились и отдавались эхом в тишине улицы. Играя, мы забирались в переулки, где нас прогоняли сквозь строй сорвиголовы из рабочего квартала, проникали на задние темные и мокрые садики, где смрад подымался от ям с золой, к темным смрадным конюшням, где кучер скреб и расчесывал лошадь или извлекал музыку из затянутой сбруи. Когда мы возвращались на свою улицу, в кухонных окнах горел свет, освещая подходы к нижним дворикам. Если мы замечали, как из-за угла появляется мой дядя, мы прятались в тень и следили, пока он не скроется в доме. Или, если на крыльцо выходила сестра Мэнгена звать его к чаю, мы из нашего укрытия следили, как она оглядывала улицу в обе стороны. Мы выжидали, задержится ли она или вернется в дом; если она задерживалась, мы выходили из тени и покорно шли к крыльцу Мэнгенов. Она ждала нас, и свет в проеме полуоткрытой двери очерчивал ее силуэт. Брат всегда поддразнивал ее, прежде чем послушаться, а я стоял у перил и на нее смотрел. Платье на ней колыхалось при движениях ее тела, а мягкая коса покачивалась из стороны в сторону.

Каждое утро я в передней гостиной ложился на пол понаблюдать за ее дверью. Занавеска всего примерно на дюйм не доходила до рамы, так что меня было не видно. Когда она выходила на крыльцо, сердце у меня прыгало. Я бежал в прихожую, хватал ранец и следовал за ней, не сводя глаз с ее фигурки в коричневом. Когда приближался перекресток, где наши дороги расходились, я, ускоряя шаг, обгонял ее. Так повторялось изо дня в день. Я никогда с ней не заговаривал, мы разве что обменивались случайными фразами, однако при звуках ее имени я весь приходил в безумное волнение.

Ее образ сопровождал меня даже в самых неромантических местах. Вечером по субботам моя тетя ходила за покупками, а меня посылали с ней, чтобы помочь нести. Мы шли ярко освещенными улицами, и нас толкали подвыпившие мужики и уличные торговки, кругом раздавалась брань трудяг, визгливые речитативы лавочных мальчиков, стоящих у бочек со свинными головами, гнусавое пенье уличных певцов, распевавших «Сбирайтесь все» про О'Донована Россу или баллады о горестях нашей родины. Весь этот гомон для меня сливался в одно общее впечатление жизни: я воображал, как я проношу свою чашу целой и невредимой сквозь полчища врагов. И неожиданно на моих губах возникало ее имя в каких-то странных мольбах или восхвалениях, которых я сам не понимал. На глаза мои часто навертывались слезы, и я не знал отчего; а иногда словно какой-то поток переливался из сердца, заполняя всю грудь. Я мало думал о будущем. Я не знал, заговорю ли я с ней когда-нибудь или нет, а если заговорю, то как я сумею ей передать мое смутное обожание. Но тело мое было как арфа, а ее слова, ее жесты были как пальцы, пробегающие по струнам.

Однажды вечером я вошел в ту гостиную, где умер священник. Вечер был темный и дождливый; в доме все было тихо. Одно из стекол было разбито, и мне слышно было, как дождь стучит по земле и тонкие иголки воды неумолчно пляшут по раскисшим грядкам. Где-то в отдалении внизу светилось окошко или фонарь. Я был рад, что мне видно так мало. Все мои чувства словно были отуманены, и, ощущая, что они вот-вот покинут меня, я сжимал сомкнутые ладони что было сил, пока они не задрожали, шепча и повторяя множество раз: Любовь моя! Любовь моя!

В конце концов она заговорила со мной. Когда она ко мне обратилась в первый раз, я так смешался, что не знал, как ответить. Она спросила, пойду ли я на «Аравию». Не помню, ответил ли я да или нет. Это будет такой замечательный базар, сказала она, она бы рада была сходить.

– А почему ты не можешь? – спросил я.

Когда она говорила, она крутила вокруг запястья серебряный браслетик. Она не сможет пойти, сказала она, потому что в ее монастыре в ту неделю будет говение. Ее брат и еще два мальчика в это время спорили из-за шапок, и я был один у крыльца. Она держалась за конец одного из прутьев перил, наклонив голову ко мне. Свет фонаря напротив наших дверей обводил плавной линией ее шею, вспыхивал на волосах, лежащих на шее, вспыхивал на руке, держащейся за перила. Он падал вдоль ее платья с одной стороны и захватывал краешек нижней юбки, показавшийся из-за ее свободной позы.

– Тебе-то хорошо, – сказала она.

– Если я пойду, – сказал я, – я тебе принесу что-нибудь.

Какие бесчисленные сумасбродства наводнили мои мысли наяву и во сне после того

вечера! Я хотел уничтожить все дни, которые еще оставалось ждать. Школьные занятия стали невыносимы. Вечером в моей комнате, днем в классе ее образ вдруг заслонял страницу, которую я тщился прочесть. Слоги слова «Аравия» звучали для меня зовом, что раздавался из тиши, в которой роскошествовала моя душа, и околдовывали восточными чарами. Я попросил разрешения пойти на этот базар в субботу вечером. Тетя была удивлена и выразила надежду, что это не какая-нибудь масонская затея. В школе я отвечал плохо. Я замечал, что выражение лица учителя меняется с приветливого на недовольное; он надеялся, что я не начал становиться лентяем. Мне не удавалось собрать разбегающиеся мысли. У меня не хватало никакого терпения на серьезные жизненные дела; теперь, когда они стояли между мной и предметом моих желаний, они мне казались детской забавой, нудной и противной забавой.

В субботу утром я напомнил дяде, что вечером хотел бы пойти на благотворительный базар. Он возился у вешалки, разыскивая щетку для шляп, и отрывисто ответил:

– Я знаю, парень.

Раз он был в прихожей, я не мог пройти в гостиную и прилечь у окна. Я вышел из дома мрачный и медленно побрел к школе. Было ужасно холодно, и у меня уже роились недобрые предчувствия.

Когда я пришел домой обедать, дяди еще не было. Правда, было рано. Я сел напротив часов и некоторое время неотрывно глазел на них, пока тиканье не начало меня раздражать. Тогда я вышел из комнаты, поднялся по лестнице и начал расхаживать по верхним комнатам. Они были пустые и мрачные, с высокими потолками, мое напряжение в них спало, и я, напевая, переходил из комнаты в комнату. Из передних окон я мог видеть своих приятелей, которые играли на улице. Их крики доходили до меня неразличимыми, еле слышными; прислонясь к холодному стеклу лбом, я смотрел на темный дом, в котором она жила. Может быть, я так простоял час, не видя ничего, кроме фигурки в коричневом, которую рисовало мое воображение, в свете фонаря, что обводил линию шеи, вспыхивал на руке, держащейся за перила, и падал до краешка, выглянувшего из-под платья.

Когда я спустился вниз, я увидел, что у камина сидит миссис Мерсер. Она была очень говорливая старуха, вдова закладчика, и она собирала использованные марки для какой-то благотворительности. За чаем мне пришлось выслушивать все сплетни. Мы сидели за столом больше часа, а дядя все так и не приходил. Миссис Мерсер поднялась уходить: она жалела, что она не может подождать, но уже больше восьми, а она старается не быть на улице слишком поздно, ночной воздух для нее вреден. Когда она ушла, я начал расхаживать взад и вперед по комнате со сжатыми кулаками. Тетя сказала:

– Боюсь, что по воле Божией тебе придется сегодня отменить твой базар.

В девять я услышал, как в замке входной двери поворачивается ключ. Я услышал, как дядя говорит сам с собой и как закачалась вешалка в прихожей, когда он успешно повесил на нее пальто. Мне были ясны эти знаки. Когда он подошел к середине своего обеда, я попросил его дать мне денег на посещение базара. Он все забыл.

– Люди в это время уже сны смотрят, – сказал он.

Я не улыбнулся. Тетя энергично вступилась:

– Ты же его и задержал так поздно. Дай ему лучше денег и пусть идет!

Дядя сказал, что он очень сожалеет о своей забывчивости. Он также сказал, что читит старую поговорку «После дела и гулять хорошо». Потом он спросил, куда я иду, и, когда я еще раз ему это сказал, он спросил, знаю ли я «Прощание араба со своим скакуном». Когда я выходил из кухни, он как раз собирался прочесть тете первые строчки стихотворения.

Зажав крепко в руке флорин, я со всех ног поспешил по Бэкингам-стрит на станцию. Вид ярко освещенных улиц, запруженных покупателями, напоминал мне о моей цели. Я сел в полупустой вагон третьего класса. Поезд стоял нестерпимо долго, потом медленно отошел. Он тащился между каких-то развалин, над тускло поблескивавшей рекой. На станции Уэстленд-Роу к дверям вагона нахлынула толпа, но служители оттеснили ее, выкрикивая, что это специальный поезд до базара; и я остался в пустом вагоне один. Через несколько минут поезд затормозил у деревянного временного перрона. Выйдя на улицу, я увидел освещенный циферблат, который показывал без десяти десять. Передо мной было большое строение – и на его фасаде красовалось магическое слово.

Я не мог найти, где вход за шесть пенсов, и, боясь, что все уже закрывается, прошел торопливо через турникет, протянув шиллинг усталому служителю. Войдя, я очутился в огромном зале, который на половине его высоты опоясывала галерея. Почти все киоски были закрыты, и большая часть зала уже была погружена в темноту. Я узнал тишину, какая бывает в церкви после окончания службы. С робостью я прошел в середину зала. У киосков, что оставались еще открыты, бродили редкие посетители. Перед занавесом, на котором из цветных фонариков были составлены слова «Кафе-шантан», два человека подсчитывали деньги на подносе; мне слышен был звон монет.

Припомнив с трудом, зачем я сюда попал, я подошел к одному из киосков и стал разглядывать фарфоровые вазы и чайные сервизы в цветочек. У входа в киоск молодая барышня разговаривала, смеясь, с двумя джентльменами. У них был английский выговор. Я невольно слушал.

– Ах, я ничего такого не говорила!

– О, вы говорили!

– Ах, нет же, право!

– Правда же, она говорила?

– Да, я тоже слышал.

– Ах, но это же... это выдумка!

Заметив меня, барышня подошла и спросила, не желаю ли я купить что-нибудь. Ее тон не отличался приветливостью; казалось, она обратилась ко мне из чувства долга. Я с оторопью взглянул на огромные сосуды, стоявшие, как два восточных стража, по бокам темнеющего входа в киоск, и пробормотал:

– Нет, благодарю вас.

Барышня переставила одну из ваз и вернулась к молодым людям. Они снова начали говорить о том же. Один или два раза она на меня взглянула через плечо.

Я еще постоял перед ее киоском, хотя и знал, что в этом никакого толку, чтобы мой интерес к ее товару выглядел более правдоподобным. Потом медленно повернулся и пошел к центру зала. В кармане я уронил два пенни на монету в шесть пенсов. С конца галереи донесся голос, объявляющий, что гасят свет. Верхний уровень зала был уже весь во тьме.

Вглядываясь в эту тьму, я увидел себя, существо, завлеченное и высмеянное пустой суетой, – и мои глаза обожгло от вспышки тоски и гнева.

Эвелин

Она сидела у окна, глядя, как улицей завладевает вечерний сумрак. Головой она прислонилась к занавеске, так что в ноздрях у нее стоял запах пропыленного кретона. Она устала.

Прохожих было немного. Прошел с работы мужчина из крайнего дома; до нее доносилось, как его подошвы постукивают по бетонке, потом поскрипывают по шлаку дорожки, ведущей к новым красным домам. Раньше на месте их был пустырь, где они играли по вечерам с детьми из других семей. Потом тот пустырь купил человек из Белфаста и построил на нем дома – не такие, как их бурые маленькие домики, а яркие, кирпичные, с блестящими крышами. Дети со всей улицы всегда играли на пустыре – Девины, Уотерсы, Данны, и Кео, малыш-калека, и она с сестрами и братьями. Только Эрнест никогда не играл с ними, он уже слишком вырос. Отец часто гонял их с поля, размахивая своей тростью из терновника, но обычно малыш Кео стоял у них на атаке и вовремя сигнализировал, когда отец появлялся. А все-таки они были, пожалуй, довольно счастливы в ту пору. Мать еще была жива, и отец был помягче. Давно это было; с тех пор и она, и братья с сестрами стали взрослыми, а мать умерла. Тиззи Данн тоже умерла, Уотерсы уехали в Англию. Все меняется. Вот и ей пришло время уезжать, как уехали другие, время покинуть дом.

Дом! Она обвела взглядом комнату, все знакомые вещи, с которых она в течение стольких лет раз в неделю стирала пыль, всякий раз удивляясь, откуда берется столько пыли. Может быть, она никогда уже не увидит эти вещи, а ей ведь даже во сне не снилось, что она вдруг с ними расстанется. Хотя за все годы она так и не узнала, как звали того священника, чья пожелтевшая фотография висела над сломанной фисгармонией, рядом с цветной репродукцией обетований, данных Блаженной Маргарите Марии Алакок. Он был школьным товарищем отца. Показывая фотографию какому-нибудь гостю, отец всегда добавлял как бы вскользь:

– Он сейчас в Мельбурне.

Она согласилась уехать, покинуть дом. Разумно ли это? Она пыталась взвесить со всех сторон. Здесь, дома, были, по крайней мере, кусок хлеба и кров и вокруг были люди, которых она знала всю жизнь. Конечно, приходилось и тяжело трудиться, что дома, что на службе. Что, интересно, про нее скажут в магазине, когда узнают, что она убежала с парнем? Скажут, что дура, верней всего, и заполнят место по объявлению. Мисс Гэйвен порадует. Она всегда придиралась к ней, особенно когда люди могли слышать.

– Мисс Хилл, вы что, не видите, эти дамы ждут?

– Мисс Хилл, поживей, пожалуйста.

Да, по своему магазину она сильно горевать не будет.

Но там, в новом доме, в неведомой далекой стране, все будет уже не так. Там она будет замужем – она, Эвелин. Ее будут уважать, и с ней не будет такого обращения, какое досталось матери. Даже теперь, когда ей уж было за девятнадцать, она себя чувствовала иногда под угрозой отцовских выходок, и она знала, что эти сердцебиения у нее, это из-за них. В детстве он никогда так не набрасывался на нее, как на Гарри и на Эрнеста, потому что она была девочка, но в последнее время он начал ей угрожать и говорить, что он бы ей показал, если бы не память покойной матери. А заступиться за нее было сейчас совсем некому. Эрнест умер, а Гарри, который занимался отделкой церковей, все время был где-нибудь в провинции. Кроме того, вечером по субботам непременно бывала свара из-за денег, которой она просто уже не могла больше переносить. Она всегда отдавала все свое жалованье, семь шиллингов, и Гарри тоже присылал сколько мог, но вся трудность была хоть что-то получить от отца. Он говорил, что она мотовка, что она безголовая, что ему денежки трудно достаются и он не собирается их отдать, чтобы она выкинула на улицу, и много чего еще говорил, вечером по субботам он бывал невозможный. В конце концов он давал деньги и спрашивал, намерена ли она покупать еду на воскресенье. Ей приходилось бежать за провизией со всех ног, толкаться в толпе, сжимая крепко черный кожаный кошелек, и потом возвращаться уже поздно с тяжелым грузом. Это была тяжелая работа, вести весь дом и еще следить, чтобы двое младших, оставшихся на ее попечении, как надо ходили в школу и как надо питались. Тяжелая работа, тяжелая жизнь – но сейчас, когда она вот-вот должна была от всего этого уехать, она не могла сказать, что это была уж совсем нежеланная жизнь.

Теперь ей предстояло узнать другую жизнь, с Фрэнком. Фрэнк был очень добрым, мужественным, прямодушным. Ей предстояло отправиться с ним ночным пароходом, и стать его женой, и жить с ним в Буэнос-Айресе, где ее ждал уже его дом. Она так ясно помнила их первую встречу; он жил в доме на большой улице, куда она заходила иногда. Казалось, это было каких-нибудь несколько недель назад. Он стоял у ворот, фуражка была сдвинута на затылок, и над загорелым лицом свисали взлохматившиеся волосы. Потом они познакомились. Каждый вечер он встречал ее после работы и провожал домой. Он ее сводил на «Цыганку», и она была в восторге, что она сидит с ним, и совсем в другой, непривычной части театра. Он страшно любил музыку и немножко пел. Люди знали о том, что они встречаются, и когда он пел про подружку моряка, она всегда чувствовала приятное смущение. Он ее в шутку звал Лапулька. Сначала ей просто было интересно, что у нее есть парень, а потом он ей стал нравиться. У него были всякие рассказы о дальних странах. Он начал юнгой, служил за фунт в месяц на пароходе линии Аллена, ходившем в Канаду. Он называл ей названия пароходов, на которых плавал, названия разных линий. Плавал он и через Магелланов пролив и рассказывал ей ужасные истории про патагонцев. Но в Буэнос-Айресе он окончательно бросил якорь, так он сказал, и сейчас приехал на родину только в отпуск. Конечно, отец обо всем прознал и запретил ей иметь с ним дело.

– Знаю я этих морячков, – сказал он.

Потом он устроил ссору с Фрэнком, и с тех пор она со своим возлюбленным встречалась тайком.

Вечер за окном сгущался. Два письма, что лежали у нее на коленях, белели уже совсем смутно. Одно письмо было для Гарри, другое для отца. Больше всех она любила Эрнеста, но Гарри любила тоже. В последнее время, она заметила, отец начал стареть; ему будет ее не хватать. Иногда он бывал и очень милый. Не так давно, когда она слегла на один день, он ей прочел историю о привидениях и сделал для нее гренки на огне. А однажды, когда еще мать была жива, они все вместе ездили на пикник на мыс Хоут. Ей вспомнилось, как отец, чтобы посмешить детей, надел мамину шляпку.

Времени уже почти не было, а она все сидела у окна, прислонясь к занавеске и вдыхая запах пропыленного кретона. На улице где-то далеко играла уличная шарманка. Она знала этот мотив. Как странно, что он возник именно в эту ночь, напомнить ей об обещании, данном матери, – обещании беречь дом и вести его, пока она только сможет. Ей вспомнилась последняя ночь маминой болезни; она была снова в темной, тесной комнатке рядом с прихожей и слышала на улице унылый итальянский мотив. Шарманщику дали шестипенсовик и велели уходить. Отец с важным видом вернулся в комнату к больной и сказал:

– Проклятые итальяшки! и чего они лезут к нам!

В ее раздумьях жалкое зрелище жизни матери наложило печать и на ее собственное существование в самом его зародыше, – зрелище этой жизни из повседневных жертв, завершившейся безумием. Она вздрогнула, когда в ней снова прозвучал голос матери, без конца повторявший с полоумным упорством:

– Derevaun Seraun! Derevaun Seraun![66 - Предположительно, искаженное ирл. выражение на голуэйском диалекте: Deireadh amhain sarain – «В конце одни черви».]

Охваченная порывом ужаса, она вскочила. Бежать! Надо бежать! Фрэнк спасет ее. Он даст ей жизнь, а может быть, и любовь. Она хочет жить. Почему она должна быть несчастной? У нее есть право на счастье. Фрэнк обнимет ее, укроет ее в своих объятиях. Он спасет ее.

\* \* \*

Она стояла среди колышущейся толпы на пристани Норс-Уолл. Он держал ее за руку, и она знала, что он что-то ей говорит, еще и еще раз что-то о переезде. Пристань была полна солдат с бурыми вещмешками. За широкими воротами угадывалась черная туша парохода, лежащая вдоль стены набережной, светились иллюминаторы. Она ничего не отвечала. Она чувствовала, что щеки у нее похолодели и побледнели, мысли запутались, и в смятении молила Бога наставить ее, указать ей, в чем ее долг. Пароход в тумане издал протяжный, скорбный гудок. Если она уедет, завтра она будет в море вместе с Фрэнком, на пути к Буэнос-Айресу. Билеты им были куплены. Разве она могла сейчас отказаться, после всего, что он для нее сделал? Смятение вызвало у нее приступ тошноты; губы ее шевелились в истовой беззвучной молитве.

Удар колокола отдался у нее в сердце. Она почувствовала, как он схватил ее за руку:

– Пойдем!

Волны всех морей мира обрушились на ее сердце. Он ее тащит в эту пучину – он ее утопит! Обеими руками она вцепилась в железные перила.

– Иди!

Нет! Нет! Нет! Это невозможно. Руки ее судорожно стискивали железо. Поглощаемая пучиной, она издала вопль отчаяния.

– Эвелин! Эви!

Он пересек второпях барьер и звал ее за собой. Ему кричали идти на борт, но он все звал ее. Она обратила к нему побелевшее лицо, безвольно застывшая, как затравленное животное. Глаза были направлены на него, но в них не было никакого знака любви, или прощания, или узнавания.

После гонок

Машины появлялись, мчась к Дублину ровно и стремительно, как пули, по глубокой колее Наас-роуд. В Инчикоре на вершине холма стояли по обе стороны кучки зрителей, желающих поглазеть на авто, следующие в обратный путь, и через этот канал нищеты и застоя европейский континент мчал свою технику и богатство. Тут и там раздавались громкие приветствия признательных угнетенных. Симпатии их были, однако, на стороне голубых машин – машин их друзей французов.

Французы вдобавок были и без малого победителями. Команда их финишировала сплоченно, они были вторыми и третьими, а водитель победившей немецкой машины был, как говорили, бельгиец. Поэтому каждое голубое авто, взбиравшееся на гребень холма, встречали двойным взрывом приветствий, на которые отвечали улыбки и жесты гонщиков. В одном из этих авто элегантных форм собралась четверка молодых людей, настроение которых, казалось, было еще более приподнятым, чем у всего удачливого галльского племени: оно, можно сказать, приближалось к бурному ликованию. То были Шарль Сегуэн, владелец машины, Андре Ривьер, молодой электрик из Канады, могучий венгр по фамилии Виллона и аккуратный, щеголеватый юноша Дойл. Сегуэн был в хорошем настроении, оттого что он неожиданно получил предварительные заказы (он собирался открыть автомобильное предприятие в Париже), а Ривьер был в хорошем настроении, оттого что ему предстояло стать управляющим этого предприятия; и оба молодых человека (они были двоюродными братьями) были в хорошем настроении еще и благодаря успеху французских машин. Виллона был в хорошем настроении, оттого что он очень недурно позавтракал и притом был вообще оптимистом по натуре. Однако последний член группы был слишком возбужден, чтобы по-настоящему быть счастливым.

Он имел около двадцати шести лет от роду, мягкие светло-каштановые усики и довольно наивные серые глаза. Его отец, начинавший путь ярым националистом, потом быстро переменял взгляды. Он сколотил капитал, будучи мясником в Кингстауне, а затем, открыв несколько магазинов в Дублине и пригородах, весьма этот капитал приумножил. Он сумел также получить ряд выгодных контрактов от полиции и стал в конце концов так богат, что иногда именовался в дублинских газетах «король купцов». Своего сына он послал в Англию, в один большой католический колледж, а после этого определил его изучать право в Дублинский университет. Джимми не слишком усердствовал в науках и одно время едва не сбился



с пути. У него были деньги, был успех среди сверстников, и свое время он разделял довольно курьезным образом, между мирами автомобильным и музыкальным. Потом его послали на год в Кембридж, чтобы он немного посмотрел жизнь. Отец отчитывал его, но втайне гордился его эксцессами; он оплатил его долги и вернул на родину. В Кембридже Джимми и повстречал Сегуэна. Пока их знакомство отнюдь не было близким, но Джимми находил большое удовольствие в обществе человека, который столько повидал и был к тому же (так говорили) владельцем некоторых из самых крупных отелей во Франции. С таким человеком – тут и отец был согласен – стоило водить знакомство, не будь он даже таким приятным в общении. Виллона тоже был интересный человек, блестящий пианист – только жаль, он был совсем беден.

Автомобиль весело катил по дороге со своим грузом ликующей молодежи. Впереди сидели кузены, сзади – Джимми и его венгерский друг. Виллона определенно был в наилучшем настроении; целые мили пути он низким басом, не разжимая губ, гудел разные мелодии. Французы бросали через плечо смешки и остроты, и Джимми то и дело наклонялся вперед, чтобы уловить их быстрый выговор. В общем, это было ему не слишком приятно, приходилось все время быстро соображать смысл фразы и тут же против ветра выкрикивать подходящий ответ. Вдобавок всех еще сбивало гудение Виллоны и шум машины.

Стремительное движение в пространстве слегка пьянит; так же действует знаменитость; и так же – богатство. То были три основательные причины для возбужденности Джимми. Сегодня многие из его друзей видели его в обществе этих иностранцев с континента. На контрольном пункте Сегуэн представил его одному из французских гонщиков, и в ответ на его смущенные комплименты смуглое лицо водителя блеснуло рядом сверкающих белых зубов. Приятно было после такой чести оказаться среди непосвященных зрителей, подталкивающих друг друга локтем и уважительно посматривающих на него. Что же до богатства, то в его распоряжении была крупная сумма. Сегуэн, возможно, ее не назвал бы крупной, но Джимми, несмотря на временные уклонения, унаследовал здравые инстинкты и хорошо знал, каким трудом добывается богатство. В пору уклонений это знание удерживало его счета в пределах приемлемого безрассудства, и если он помнил о труде, вложенном в деньги, даже тогда, когда речь шла просто о прихотях эксцентрического разума, то насколько больше он помнил о нем сейчас, когда собирался поставить на карту большую часть своего состояния! Для него это было серьезное дело.

Конечно, это было хорошее вложение капитала, и Сегуэн успешно создал впечатление, что только из чистой дружбы он решает принять ирландские деньги в капитал концерна. Джимми очень высоко ставил деловое чутье своего отца, а в данном случае именно отец первым предложил такое вложение; автомобильный бизнес сулит кучу денег. Притом же от Сегуэна за версту веяло богатством. Джимми попытался перевести в число рабочих дней великолепную машину, в которой сидел. Какой мягкий ход! В каком темпе они промчались по всем сельским дорогам! Слово по мановению волшебного жезла, их путешествие давало ощутить подлинный пульс жизни, и в порядке взаимности машина человеческих нервов стремилась соответствовать порыву неудержимого голубого зверя.

Они катили по Дэйм-стрит. Улица была в необычайном движении, стоял громкий шум автомобильных рожков, нетерпеливых звонков трамвайных водителей. Достигнув Банка, Сегуэн притормозил, и Джимми со своим другом вышли из машины. На тротуаре подле фыркающего авто тут же скопилось кучка восхищенных зевак. Вечером вся компания собиралась ужинать в гостинице Сегуэна, и Джимми с другом, который остановился у него, направлялись домой, чтобы переодеться. Машина медленно тронулась в направлении Грэфтон-стрит, а двое молодых людей начали прокладывать

путь сквозь толпу. Они двигались на север, и ходьба пешком вызывала у них забавное чувство дискомфорта, меж тем как город, окутанный летней вечерней дымкой, развешивал над ними бледные световые шары.

В доме Джимми предстоящий ужин воспринимали как событие. Волнение родителей смешивалось с известной гордостью, с готовностью поддаться соблазнам, ибо звучные имена иностранных городов имеют, по крайней мере, способность располагать к этому. Притом Джимми в вечернем платье выглядел превосходно. Когда он стоял в прихожей, в последний раз умело выравнивая концы галстука, отец его по праву мог испытать даже и некое коммерческое удовлетворение – тем, что он обеспечил сыну такие качества, которых сплошь и рядом нельзя купить. По этой причине отец был исключительно любезен с Виллоной, и в его обращении сквозила непритворная уважительность к иностранным достижениям; но эти тонкости, вернее всего, не замечались венгром, у которого все больше разгоралось желание поскорей сесть за стол.

Ужин был отличным, изысканным. Как решил Джимми, Сегуэн имел по-настоящему утонченный вкус. К компании присоединился молодой англичанин по имени Роуз, которого Джимми встречал в Кембридже вместе с Сегуэном. Ужинали в уютном отдельном кабинете с электрическими светильниками в форме свечей. Все говорили много, оживленно, свободно. Воображение Джимми разыгралось; оно рисовало ему, как гибкая живость французов обвивается вокруг основательного ствола английских манер. Он нашел, что этот образ его изящен и точен. Его восхищало, с каким умением хозяин застолья направлял разговор. Вкусы у пятерых молодых людей были различны, языки же развязаны. К некоторому удивлению англичанина, Виллона с великим восхищением принялся открывать ему красоты английского мадригала, оплакивая утрату старинных инструментов. Ривьер не без задней мысли подробно живописал Джимми победы французских механиков. Гулкий венгерский голос начал высмеивать совершенно нереальные лютни на картинах романтиков, но тут Сегуэн пастырскою рукой направил свое стадо на поле политики. Здесь почва нашлась для всех. Джимми, разгоряченный возлияниями, ощутил, как в нем пробудился похороненный национальный пыл отца, и в конце концов он таки разгорячил и флегматичного англичанина. Атмосфера в комнате стала жаркой вдвойне, и с каждой минутой миссия Сегуэна делалась все трудней; возникла даже опасность личной ссоры. Однако в первом же промежутке находчивый хозяин провозгласил тост за Человечество, и когда все выпили, он со значением широко распахнул окно.

В ту ночь город надел маску столицы. Пятеро молодых людей шли беспечной походкой вдоль Стивенс-Грин, окутанные тонким облаком душистого дыма. Плащи их были небрежно переброшены через плечо; они шли и громко и весело разговаривали. Встречные уступали дорогу им. На углу Грэфтон-стрит небольшого роста толстяк усаживал двух красивых дам в экипаж, вверяя их попечению другого толстяка. Экипаж тронул с места, и оставшийся толстяк заметил компанию.

– Андре!

– Да никак это Фарли!

Завязалась самая бурная беседа. Фарли был американцем. О чем шел разговор, никто не мог бы сказать. Самыми шумными были Виллона и Ривьер, однако и все были порядком возбуждены. С хохотом они все, притиснувшись друг к другу, влезли в какой-то кеб. Под веселый перезвон колокольчиков они покатали мимо толп, тонувших в пастельном сумраке. На станции Уэстленд-Роу они сели в поезд и, как показалось Джимми, всего через несколько секунд вышли в Кингстауне.

Старик-контролер приветствовал Джимми:

– Славная ночка, сэр!

Стояла безмятежная летняя ночь; у их ног мерцала темным зеркалом гавань. Они направились к ней, взявшись под руки, распевая «Cadet Rousse1» и притопывая ногами при каждом:

– Но! Но! Hoh&#233;, vraiment![67 - «Кадет Руссель»; «Хо-хо! И вправду!» (фр.)]

На пристани они сели в лодку и двинулись на веслах к яхте американца. Их ждали там ужин, музыка, карты. Виллона сказал с воодушевлением:

– Ну просто великолепно!

В каюте яхты было небольшое пианино. Виллона заиграл вальс для Фарли и Ривьера; Фарли был за кавалера, Ривьер за даму. Потом они все импровизировали кадрили, выдумывая оригинальные фигуры. Сколько веселья! Джимми участвовал с энтузиазмом; вот это уж была жизнь! Когда Фарли уже совершенно запыхался, он крикнул: Баста! Служитель принес легкий ужин, и молодые люди уселись за него, скорей ради формы. Пить они пили, однако: это было в стиле богемы. Они пили за Ирландию, за Англию, Францию, Венгрию и за Соединенные Штаты Америки. Джимми произнес длинную речь, и при каждой его паузе Виллона произносил: Слушайте! Слушайте! Когда он наконец закончил, ему очень хлопали; видимо, это была удачная речь. Фарли шлепнул его по спине и громко захохотал. Ну что за милые спутники! какая у них была чудная компания!

Карты! карты! Быстро расчистили стол, Виллона вернулся к пианино и стал играть для них по своему выбору. Остальные играли одну партию за другой, храбро пускаясь на авантюры. Они выпили за здоровье червонной дамы, потом за здоровье бубновой дамы. Джимми смутно сожалел об отсутствии публики: остроты так и сыпались. Играли по крупной, и вскоре потребовалась бумага для записей. Джимми не представлял в точности, кто выигрывает, но знал, что он в проигрыше. Но он сам был виноват, он часто путал, какие у него карты, и партнерам приходилось рассчитывать за него, сколько он должен. Они были дьявольские парни, но только ему хотелось уже, чтобы это кончилось, уже было поздно. Кто-то предложил тост за яхту «Краса Ньюпорта», а потом еще кто-то предложил сыграть последнюю большую партию.

Пианино умолкло – вероятно, Виллона вышел на палубу. Игра была отчаянная! В конце они сделали краткий перерыв, решив выпить за удачу. Джимми понял, что главная игра была между Роузом и Сегуэном. Решающие минуты! Джимми тоже весь напрягся; он-то проигрывал, конечно. Сколько там на него уже написали? Игроки поднялись, чтобы сделать последние взятки, обмениваясь репликами, жестикулируя. Выиграл Роуз. Каюту сотрясли буйные приветствия победителю. Карты собрали и начали подбивать итоги; Фарли и Джимми были главными проигравшими.

Он знал, что наутро будет раскаиваться, но сейчас радовался передышке, радовался покрову оцепенения, который окутает его приступ безумства. Поставив локти на стол, он обнял голову руками и принялся считать удары пульса в висках. Дверь каюты открылась, и он увидел фигуру венгра на фоне серого неба.

– Рассвет, джентльмены!

## Два кавалера

Теплый дымчатый августовский вечер опустился на город, и по улицам веял теплый ласковый ветерок, прощальная память лета. Улицы с зарешеченными на воскресный отдых витринами были заполнены шумливой пестрой толпой. Фонари, как светящиеся жемчужины, с верхушек своих высоких столбов излучали свет на живую материю внизу, которая, непрестанно меняя форму и цвет, излучала вверх, в дымчатый теплый воздух вечера, ровный и непрестанный гул.

С холма Ратленд-сквер спускались вниз два молодых человека. Один из них как раз заканчивал длинный монолог. Другой, шедший по краю тротуара и вытесняемый иногда на мостовую бесцеремонностью спутника, слушал с внимательным и позабавленным видом. Он был приземист и краснощек. На нем была морская фуражка, сдвинутая далеко на затылок, и выслушиваемый рассказ постоянно вызывал на его лице новые выражения, зарождавшиеся в уголках глаз, рта и носа. Взрывы хриплого смеха чередой вырывались из его сотрясавшегося тела; глаза плутовато помаргивали от удовольствия, не отрываясь от лица собеседника. Время от времени он поправлял легкий плащ, переброшенный через плечо на манер тореадора. Фасон его брюк, белые каучуковые туфли, небрежно переброшенный плащ говорили о молодости. Однако фигура в талии уже начала полнеть, волосы были редкие и седоватые, а лицо, когда оно не оживлялось волнами мимики, выглядело потасканным.

Когда он понял, что рассказ окончен, он беззвучно хохотал еще добрых полминуты, после чего сказал:

– Да... за такой историей – первый приз!

Голос его казался лишенным энергии, и, чтобы усилить звучание своих слов, он добавил шутовским тоном:

– За ней – уникальный, высший приз, я бы сказал, самый recherche; [68 - Редкостный, изысканный (фр.).] приз!

После сей реплики он сделался серьезен и тих. Язык у него устал, он сегодня все время после обеда разглагольствовал в баре на Дорсет-стрит. По мнению большинства, Ленехан был паразит, прилипала, но, вопреки этой репутации, его находчивость и речистость как-то не давали его приятелям вести против него общую стратегию. У него была храбрая манера подойти в баре к любой компании и, держась поначалу с краю, потом умело втереться в общество. Он крутился около спорта, имея на вооружении обширный запас анекдотов, комических стихов, прибауток. Ко всем видам грубого обращения у него был иммунитет. Никто не знал, как он справляется с суровой задачей существования, но слухи смутно связывали его с махинациями на скачках.

– А где ты ее подцепил-то, Корли? – спросил он.

Корли быстро облизнул языком верхнюю губу.

– Как-то ночью, старик, – начал он, – иду я по Дэйм-стрит и замечаю классную деваху под часами у Уотерхауза. Ну, говорю ей добрый вечер, знакомлюсь, сам понимаешь. Идем прогуляться вдоль канала, и она мне рассказывает, что служит горняшкой в одном там доме на Бэггот-стрит. Я ее держу за талию, ну и так

малость для первого раза пообжимал. Ну а в следующее воскресенье у нас уже свиданка, старик. Поехали в Доннибрук, я ее веду на лужок... Она сказала, раньше у ней был парень молочник... И так классно пошло, старик! Каждый раз она тащит мне сигареты, в трамвае платит и туда и обратно. Однажды так две сигары приперла, классные, из таких, что мой старик, бывало, курил... Я трухнул, старик, как бы она не залетела. Но она с понятием девка.

– Она, может, думает, ты на ней женишься, – сказал Ленехан.

– Я ей говорю, я сейчас без места, – сказал Корли, – а раньше был в модном магазине у Пима. Она не знает мою фамилию, на это меня хватило, чтоб не трепаться. Но она думает, я что-то, знаешь, такое, не простого разбора.

Ленехан снова рассмеялся беззвучно.

– Из всех славных историй, что я слышал, эта с гарантией получает приз, – сказал он.

В ответ на комплимент Корли уширил шаг. Раскачка его крепко сбитого тела заставила спутника исполнить несколько антраша с тротуара на мостовую и обратно. Корли был сыном полицейского инспектора и унаследовал от отца телосложение и походку. Он ходил, держась прямо, прижав руки к бокам и поводя головой из стороны в сторону. У него была большая, круглая, масляно блестящая голова, которая в любую погоду потела, и большая круглая шляпа, посаженная на нее набекрень, выглядела как луковица, растущая из другой луковицы. Он всегда смотрел прямо перед собой, как на параде, и когда хотел оглянуться на какого-нибудь прохожего, ему приходилось разворачивать весь корпус от бедер. В настоящее время он слонялся без дела, и где бы ни открывалась какая-нибудь вакансия, находился друг, который сообщал ему эту дурную весть. В городе часто видели, как он прогуливается и о чем-то очень серьезно толкует с полицейскими в штатском. Ему была введена тайная подоплека всех дел, и он любил выносить безапелляционные суждения. Говорил он, не слушая собеседников и преимущественно о себе самом: что он сказал такому-то, а такой-то сказал ему и что он потом сказал, чтобы в этом деле поставить точку. Пересказывая такие диалоги, он произносил первую букву своей фамилии на манер флорентийцев.

Ленехан предложил другу сигарету. Когда они проходили сквозь толпу, Корли время от времени оборачивался и улыбался прохожим девушкам, но Ленехан не отрываясь смотрел на большой бледный круг луны, окруженный двойным кольцом. Сосредоточенно проследив, как по этому кругу проплывает серая паутина сумерек, он наконец произнес:

– Слушай, Корли... я думаю, ты это дельце провернешь в лучшем виде, а?

Вместо ответа Корли выразительно прикрыл один глаз.

– Она-то для такого подходит? – с сомнением спросил Ленехан. – С бабами никогда не знаешь.

– С ней порядок, – заверил Корли. – Я знаю, как к ней подъехать. Она по уши в меня.

– Ты – это в точности беспутный Лотарио! – заявил Ленехан. – Лотарио высшей кондиции!

Оттенок насмешки несколько искупал угодливость его поведения. Чтобы спасти лицо, он выражал обычно лесть так, что она могла бы сойти также и за издевку. Но Корли не понимал таких тонкостей.

– Хорошая горняшечка – самое оно, – сказал он. – Это я тебе говорю.

– Тот, кто перепробовал всех, – закончил Ленехан.

– Сперва-то я, понимаешь, гулял с барышнями, – поведал доверительно Корли, – с такими, как на Южном Кольце. Я с ними, старик, цацкался, на музыку их водил или там в театр, вывозил на прогулки, причем платил за трамвай, конфетки-шоколадки им покупал. Я на них выкладывал хорошие денюжки, – добавил он убеждающим тоном, словно ожидая, что ему не поверят.

Но Ленехан был вполне готов верить, он серьезно кивнул.

– Знаю я эти игрушки, – сказал он, – это на дурачка.

– И ни хрена толку со всего этого не было, – заключил Корли.

– Мой случай аналогичен, – сказал Ленехан.

– Одна, правда, вот из них, – сделал оговорку Корли.

Он облилиз языком верхнюю губу. При воспоминании глаза его заблестели. Теперь уже он глядел неотрывно на диск луны, затянутый тучами наполовину, и, казалось, размышлял.

– Она... в ней действительно что-то было, – сказал он грустно.

Он снова замолчал, а потом добавил:

– Теперь-то она гуляющая. Как-то ночью вижу, она катит в экипаже с двумя мужиками по Эрл-стрит.

– Твоя ведь работа, – заметил Ленехан.

– До меня у нее другие были, – отвечал Корли философски.

На сей раз Ленехан склонен был усомниться; он улыбнулся и помотал головой.

– Уж меня-то не проведешь, Корли, – сказал он.

– Как на духу! – настаивал тот. – Она ж мне сама сказала.

Ленехан изобразил трагический жест.

– Коварный соблазнитель! – произнес он.

Проходя мимо ограды Тринити-колледжа, Ленехан соскочил на мостовую и посмотрел на часы.

– Двадцать минут уже, – сказал он.

– Нормально, – сказал Корли. – Никуда она не денется. Я их всегда заставляю подождать.

Ленехан тихо засмеялся.

– Убей Бог, Корли, вот уж ты умеешь их брать, – сказал он.

– Все их штучки-дрючки я изучил, – заверил тот.

– Но скажи все-таки, – снова забеспокоился Ленехан, – ты уверен, что все это провернешь? Дело-то, понимаешь, тонкое. Они в этом пунктике знаешь как держатся... А? Как оно?

Его маленькие блестящие глазки настойчиво буравили лицо собеседника в поисках подтверждения. Корли помотал досадливо головой, как бы сгоняя надоевшую муху, и нахмурил брови.

– Да проверну, отцепись, – бросил он.

Ленехан смолк. Он вовсе не хотел раздражать приятеля, рискуя, что тот пошлет его к дьяволу и скажет, что не нуждается в советах. Тут требовался такт. Но вскоре чело Корли снова разгладилось. Его мысли потекли по другому руслу.

– Она деваха классная и надежная, – сказал он тоном знатока, – вот уж это можно сказать.

Пройдя по Нассау-стрит, они свернули на Килдер-стрит. Недалеко от подъезда клуба на проезжей части стоял арфист в окружении немногих слушателей. Он безучастно перебирал струны, бросая быстрый взгляд на каждого нового пришельца и время от времени уставало взглядывая на небо. Его арфа, с равной безучастностью оставив свое одеяние упавшим вниз, казалось, устала и от пальцев хозяина, и от чужих взглядов. Одна рука его выводила в басу мелодию «Безмолвна О'Мойл», другая же быстро мелькала в высоких нотах после каждых нескольких тактов. Мелодия раздавалась величаво и полнозвучно.

Прекратив разговор, приятели поднимались по улице, сопровождаемые скорбной музыкой. Достигнув Стивенс-Грин, они перешли на другую сторону. Здесь шум трамваев, толпа и свет вывели их из безмолвия.

– Ага, вон она! – сказал Корли.

На углу Хьюм-стрит стояла молодая женщина в синем платье и белой соломенной шляпке. Она стояла на краю тротуара, вертя в руке зонтик. Ленехан очень оживился.

– Глянем-ка на нее, Корли, – сказал он.

Тот искоса посмотрел на друга, и на лицо его напозла неприятная ухмылка.

– Хошь на мое место попробовать? – проговорил он.

– Да ты обалдел, – возмутился Ленехан, – я ж тебя не прошу знакомить! Я на нее хочу просто поглядеть. Я что, съем ее?

– А, поглядеть! – сказал Корли уже любезней. – Ладно... мы вот что сделаем. Я подойду к ней, заговорю, а ты можешь мимо пройти.

– Идет! – сказал Ленехан.

Корли занес уже одну ногу над цепями, когда Ленехан окликнул его.

– А потом? Встретимся-то где?

– В пол-одиннадцатого, – отвечал тот, перебрасывая другую ногу.

– А где?

– На углу Меррион-стрит. Мы там будем возвращаться.

– Ну давай, трудись, – молвил Ленехан на прощанье.

Не отвечая, Корли двинулся через дорогу праздной походкой, небрежно посматривая по сторонам. Его крупная фигура, машистый шаг, веский стук каблуков создавали победительный образ. Он приблизился к женщине и без всякого приветствия тут же начал что-то ей говорить. Она начала вращать свой зонтик быстрее, при этом делая пол-оборота на каблучках. Когда он говорил, совсем приближаясь к ней лицом, она несколько раз засмеялась и потупилась.

Некоторое время Ленехан наблюдал за ними. Потом не мешкая прошел дальше вдоль цепей и, перемахнув через них, перешел дорогу наискосок. Подойдя к углу Хьюм-стрит, он почувствовал сильный запах духов, и его быстрые беспокойные глаза произвели тщательный осмотр. Она была явно в своем выходном наряде. Синюю саржевую юбку стягивал на талии черный кожаный пояс. Большая серебряная пряжка на нем, казалось, смещала вниз центр ее тела, зажимая легкую ткань белой блузки. На ней была также короткая черная жакетка с перламутровыми пуговицами и черное потрепанное боа. Оборки тюлевого воротничка были в умелом беспорядке, а на корсаже стеблями вверх был приколот большой букетик красных цветов. Как одобрительно отметил взгляд Ленехана, тело ее было небольшим, но крепким и мускулистым. Крепкое грубое здоровье светилось на ее лице, на круглых румяных щеках, в прямодушных синих глазах. Черты лица были довольно топорны. У нее были широкие ноздри, растянутый рот, приоткрывшийся в довольной ухмылке, и передние зубы, которые выдавались вперед. Проходя мимо, Ленехан снял свою капитанку, и секунд через десять Корли послал ему ответный привет, подняв руку как бы в задумчивости и подвинув шляпу на голове.

Дойдя до отеля Шелборн, Ленехан остановился и стал ждать. Через малое время он увидел, как они движутся в его сторону, потом сворачивают направо. Ступая легко в своих белых туфлях, он последовал за ними по Меррион-сквер. Идя медленно, соразмеряя с ними скорость шагов, он наблюдал, как голова Корли то и дело поворачивается к лицу молодой женщины, будто большой шар, вращающийся на стержне. Он следил за парой, пока не увидел, как они садятся в трамвай на Доннибрук; после чего повернулся и направился той же дорогой назад.

Теперь, когда он был в одиночестве, лицо его выглядело старше. Веселье, казалось, покинуло его. Когда он проходил мимо ограды Дьюкс-лоун, он начал вести рукой по ограде; его движения стали приобретать ритм мелодии, которую играл арфист. Мягко обутые ноги вторили мелодии, а пальцы после каждых нескольких



тактов пробегали по ограде гамму вариаций.

Безразличный к окружающему, он обогнул Стивенс-Грин и вышел на Грэфтон-стрит. Хотя глаза его многое подмечали в толпе, сквозь которую он шел, они оставались равнодушно-угрюмы. Он находил примитивным все, чем его стремились завлечь, и не отвечал на обращаемые к нему призывные взгляды. Он знал, что ему тогда придется говорить много, выдумывать, забавлять, однако и мозг, и глотка его для этого слишком пересохли. Его слегка смущала проблема, как провести те часы, что оставались до встречи с Корли; кроме того, чтобы продолжать бродить, в голову ничего не приходило. Дойдя до угла Ратленд-сквер, он повернул налево и почувствовал себя лучше на темной и тихой улице, мрачность которой соответствовала его настроению. Наконец он замедлил шаг перед витриной какого-то убогого заведения, над которой белыми буквами было выведено «Прохладительные напитки». На стекле витрины красовалось коряво: «Имбирное пиво» и «Имбирный эль». На большом синем блюде был выставлен нарезанный окорок, а рядом с ним на тарелке лежал кусок дешевого сливового пудинга. Некоторое время он с серьезным видом рассматривал эту снедь, потом, осторожно глянув направо и налево по улице, быстро вошел.

Он был голоден, потому что с самого завтрака ничего не ел, кроме какого-то печенья, которое ему нехотя принесли двое половых. Он уселся за деревянный столик без скатерти; напротив сидели две работницы с механиком. Подошла подавальщица неопрятного вида.

– Сколько у вас порция гороху? – спросил он.

– Три полпенни, сэр, – ответила она.

– Порцию гороху мне, – сказал он, – и имбирного пива бутылку.

Он говорил грубо, чтобы снять впечатление своей принадлежности к благородной касте, поскольку с его приходом разговор оборвался. К лицу его прилила кровь. Чтобы выглядеть развязней, он сдвинул фуражку еще дальше на затылок и поставил локти на стол. Механик и обе работницы подробнее осмотрели его, прежде чем возобновили разговор, уже вполголоса. Подавальщица принесла тарелку горячего горошка с перцем и уксусом, вилку и имбирное пиво. Он с жадностью поглощал еду, и она казалась ему такой вкусной, что он решил запомнить место на будущее. Когда весь горошек был съеден, он стал потягивать имбирный напиток и некоторое время сидел, раздумывая об интрижке Корли. Воображение рисовало ему любовную пару, бредущую по темной тропинке; он слышал голос Корли, глубокий и энергичный, говорящий галантные любезности, и снова видел довольную ухмылку на губах молодой женщины. И при этом видении он остро почувствовал собственную скудость, скудость и финансов, и духа. Ему обрыдло рыскать повсюду, дергать черта за рога, провертывать делишки, искать уловки... В ноябре уже стукнет тридцать один. Что, у него так никогда и не будет приличной работы? своего дома? Он представил, как было бы приятно иметь очаг и греться возле него, сидеть за домашним ужином. Он более чем достаточно шатался по улицам с приятелями, с девицами. Он знал, чего стоят эти приятели и чего стоят девицы. Опыт ожесточил его душу. Но при всем том надежда не покидала его. Подкрепившись, он чувствовал себя лучше, не таким уставшим от жизни, не настолько упавшим духом. Глядишь, и он еще мог бы осесть в каком-нибудь теплом уголке и жить счастливо, если бы только повезло найти какую-нибудь добрую простую девушку, хоть немного отзывчивую.

Он заплатил неопрятной подавальщице два пенса и полпенни и вышел на улицу, чтобы

снова начать блуждания. Выйдя на Кейпл-стрит, он пошел в направлении к ратуше, потом повернул на Дэйм-стрит. На углу Джорджис-стрит встретились два друга, и он остановился поговорить с ними, он рад был немного передохнуть от ходьбы. Дружки спросили, не видал ли он Корли и что новенького у того. Он ответил, что был весь день с Корли. Дружки не были разговорчивы. Они глядели пустыми глазами то на одну, то на другую фигуру в толпе, изредка отпуская насмешки. Один сказал, что он видел Мака, вот буквально за час до этого, на Уэстморленд-стрит. Ленехан отвечал, что он был с Маком вчера вечером у Игена. Дружок, что видел Мака на Уэстморленд-стрит, спросил, правда ли, что Мак выиграл кучу на бильярде. Этого Ленехан не знал, но он сказал, что Холохан выставил им всем выпивку у Игена.

Без четверти десять он расстался с дружками и направился вверх по Джорджис-стрит. Дойдя до рынка, он повернул налево и пошел по Грэфтон-стрит. Стайки девушек и молодых людей уже понемногу рассеивались, и, идя по улице, он слышал, как тут и там компании и пары прощались, обмениваясь приветствиями. Как раз когда било десять, он подходил к часам Хирургического колледжа. Ускорив шаг, он направился по северной стороне Стивенс-Грин; он стал торопиться, опасаясь, что Корли придет пораньше. Достигнув угла Меррион-стрит, он занял позицию в тени, вынул одну из прибереженных сигарет и закурил. Прислонившись к фонарному столбу, он смотрел в ту сторону, откуда, как он ожидал, должны были появиться Корли с девушкой.

Сейчас ум его снова ожил. Он думал о том, вышло ли все у Корли, размышляя, сказал ли он ей заранее или оставляет до последнего; он живо переживал, как за себя, все волнительные и рискованные моменты в положении друга. Но, вспомнив зрелище медленно вращающейся крупной головы Корли, он несколько успокоился; он был уверен, что у Корли все выйдет. Тут ему вдруг подумалось, что Корли, может быть, уже проводил ее домой другой дорогой и улизнул от него. Взгляд его обшарил всю улицу; их нигде не было видно. А ведь прошло уже больше чем полчаса, с тех пор как он был у Хирургического колледжа. Способен или нет Корли сделать такую штуку? Закурив последнюю сигарету, он стал нервно затягиваться. Он напряженно вглядывался в каждый трамвай, что останавливался на дальней стороне площади. Да, наверняка они вернулись другим путем. Гильза его сигареты лопнула, и он, чертыхнувшись, бросил сигарету в канаву.

Здесь неожиданно он заметил их; они направлялись в его сторону. Радостное чувство сразу возникло у него; теснее прижавшись к фонарю, он старался угадать результат по их походке. Они шли быстро, молодая женщина семенила короткими шажками, применяясь к размашистому шагу Корли.

Похоже, они не разговаривали. Предчувствие результата кольнуло его, как кончик острого инструмента. Конечно, он знал, что у Корли будет провал, что это пустое дело.

Они повернули на Бэггот-стрит, и он сразу же двинулся за ними по противоположному тротуару. Когда они остановились, он тоже остановился. Они недолго поговорили, и потом женщина спустилась по ступенькам, ведущим в полуподвальный этаж одного из домов. Корли остался на тротуаре, поблизости от ступенек. Прошло несколько минут, и входная дверь дома медленно, осторожно приоткрылась. Женская фигура сбегала по ступенькам крыльца и кашлянула. Корли обернулся и подошел к ней. На несколько секунд его массивная фигура скрыла ее, потом женщина снова появилась и взбежала вверх по ступенькам. Дверь за нею закрылась, и Корли быстрой походкой двинулся в сторону Стивенс-Грин.

Ленехан поспешил в том же направлении. Упало несколько капель дождя. Это подстегнуло его, и, оглянувшись на дом, куда вошла женщина, чтобы убедиться, что никто не смотрит на них, он живо перебежал дорогу. Запыхавшись от волнения и бега, он окликнул:

– Эй, Корли!

Корли повернул голову посмотреть, кто его зовет, и по-прежнему продолжал идти. Ленехан побежал за ним, одной рукой придерживая на плече плащ.

– Эй, Корли! – крикнул он еще раз.

Поравнявшись с другом, он посмотрел ему в лицо пытливо и вопросительно. Он ничего не прочел на этом лице.

– Ну? – спросил он. – Ну как, вышло?

Они дошли меж тем до угла Или-плейс. По-прежнему не отвечая, Корли свернул налево и зашагал по боковой улочке. Черты его были жестки, собранны и спокойны. Ленехан, тяжело дыша, держался рядом с приятелем. Он был сбит с толку, и в голосе его прорвалась нотка угрозы.

– Ты что, не можешь сказать? – произнес он. – Ты пробовал или ты даже не пробовал?

Под первым фонарем Корли остановился и посмотрел мрачно перед собой. Затем торжественным жестом вытянул в луче света свою руку и, улыбаясь, медленно разжал ладонь под взглядом ученика. На ладони блестела маленькая золотая монета.

## Пансион

Отец миссис Муни был мясник, и она была такой женщиной, которая умеет за себя постоять, – решительной женщиной. Она вышла замуж за старшего приказчика в отцовском деле и открыла мясную лавку в районе Спринг-гарденс. Но едва его тесть скончался, как мистер Муни стал сбиваться с пути. Он пил, таскал из кассы, залез по уши в долги. Брать зарок с него было бесполезно: через несколько дней он все равно срывался. Он поднимал руку на жену в присутствии покупателей, закупал порченное мясо и всем этим окончательно губил дело. Однажды он ночью стал гоняться за женой с резакон, и ей тогда пришлось спать у соседей.

После этого они жили врозь. Она пошла к священнику, и тот разрешил ей разъехаться с мужем, сохранив при себе детей. Она не давала мужу ни денег, ни пропитания, ни крова, так что ему осталось только записаться в подручные к судебному исполнителю. Он был маленький и хлипкий пьянчужка с беловатым лицом, беловатыми же усиками и беловатыми бровями, которые выглядели как нарисованные над маленькими воспаленными глазками в розовых жилках. Цельными днями он сидел в конторе пристава в ожидании поручений. Миссис Муни, женщина крупная и внушительная, забрала остаток средств из мясной торговли и открыла пансион на Хардвик-стрит. В сменявшейся части население пансиона составляли туристы из Ливерпуля, с острова Мэн, иногда и артисты мюзик-холлов; постоянным же составом служили клерки из дублинских контор. Она правила своим домом дошло и твердо, знала, когда поверить в кредит, когда проявить жесткость, а когда и закрыть

глаза. Молодые люди из постоянного населения называли ее Мадам.

Молодые жильцы миссис Муни платили пятнадцать шиллингов в неделю за комнату и стол (обед без пива). У них были сходные вкусы, сходные занятия, и потому все они были друг с другом совершенно накоротке. Они обсуждали между собой шансы фаворитов и аутсайдеров. Сын Мадам, Джек Муни, служивший у комиссионера на Флит-стрит, пользовался дурной славой. Он обожал крепкую солдатскую брань и приходил домой обычно под утро. При встречах с приятелями у него всегда был в запасе забористый анекдот, а также с гарантией имелась какая-нибудь верная наводка – на добрую лошадку или на подходящую артисточку. Он распевал шутовские песни и умел драться. По воскресным вечерам в передней гостиной миссис Муни часто собиралось общество. Мюзик-холльные артисты вносили свою лепту, Шеридан играл вальсы, польки и импровизировал аккомпанемент. Кроме того, пела Полли Муни, дочка Мадам. Пела она следующее:

Я – непутевая,  
Идет молва.  
А я и вправду такова!

Полли была тоненькой девятнадцатилетней блондинкой с мягкими волосами и маленьким пухлым ротиком. У нее была привычка, говоря с кем-нибудь, вскидывать на него исподлобья взгляд своих серых с зеленой искоркой глаз, и тогда она выглядела как маленькая мадонна дурного поведения. Сначала миссис Муни послала дочь работать машинисткой в конторе зерноторговца, однако туда повадился ходить пропащий подручный пристава, являясь через день и требуя, чтобы его пустили поговорить с дочерью; поэтому она забрала ее оттуда и стала ей поручать работу по дому в пансионе. Поскольку Полли была чрезвычайно живой девушкой, имелось в виду препоручить ей заботу о молодых жильцах; кроме того, и этим последним приятно было присутствие юной женщины поблизости. Она, разумеется, флиртowała с молодыми людьми, но миссис Муни, у которой был острый глаз, знала, что те всего лишь проводят время, ни у кого из них не было серьезных намерений. Так тянулось довольно долго, и миссис Муни уже подумывала вернуть Полли за машинку, как вдруг стала замечать, что между дочерью и одним из молодых людей что-то все-таки происходит. Не входя ни с кем в разговоры, она стала наблюдать за парой.

Полли знала, что за нею следят, однако красноречивое молчание матери давало ясные указания. Мать и дочь ничего въявь не согласовывали, даже не обсуждали между собой, но хотя в доме уже пошли толки насчет романа, миссис Муни не вмешивалась. Поведение Полли начало становиться немного странным, а молодой человек явно чувствовал себя не в своей тарелке. И наконец, когда она решила, что верный момент настал, миссис Муни вмешалась. Она обходилась с моральными проблемами, как мясницкий топор с тушей, – а в данном случае ее решение было принято.

Стояло яркое воскресное утро в начале лета. Утро обещало жару, но задувал и свежий прохладный ветерок. В пансионе все окна были настежь, и поднятые рамы предоставляли кружевным занавескам свободно пузыриться наружу. С колокольни церкви Святого Георгия неслись беспрестанные звоны. Верующие группами и поодиночке пересекали круглый дворик перед церковью, и на цель их движения указывал их сосредоточенный вид, не менее чем те книжечки, что они сжимали в руках, затянутых в белые перчатки. В пансионе закончили завтрак, и стол в столовой был заставлен тарелками, на которых были потеки яичного желтка и кусочки беконного сала и беконной шкурки. Миссис Муни сидела в плетеном кресле и следила, как Мэри, служанка, убирает со стола. Она заставила Мэри собрать

отдельно хлебные кусочки и корки, чтобы они пошли для хлебного пудинга во вторник. Когда стол был чист, хлебные остатки собраны, а масло и сахар заперты под замок, она стала восстанавливать в уме разговор, который произошел у нее с Полли прошлым вечером. Все было так, как она и подозревала; она ставила откровенные вопросы, и дочь давала откровенные ответы. Конечно, обе испытывали некую неловкость: мать – оттого, что ей бы хотелось, чтобы в ее реакции на известие не проглядывало ни грубости, ни потворства, дочь же – не только оттого, что такие темы у нее всегда вызывали неловкость, но еще и оттого, что она не хотела дать никакого повода думать, будто она, со своей мудрой невинностью, понимает подоплеку материнской терпимости.

Миссис Муни машинально бросила взгляд на небольшие позолоченные часы на камине, когда до нее сквозь ее мысли дошло, что колокола церкви Святого Георгия перестали звонить. Семнадцать минут двенадцатого: времени абсолютно хватало, чтобы провести разговор с мистером Дореном и успеть к короткой полуденной мессе на Мальборо-стрит. Она была уверена в своей победе. Начать с того, что общественное мнение было целиком в ее пользу: она выступала как оскорбленная мать. Она впустила его под свой кров, полагая, что он порядочный человек, а он попросту обманул ее гостеприимство. Ему было тридцать четыре или тридцать пять, так что молодость не могла служить ему оправданием, не мог он и оправдаться неискренности, поскольку повидал уже мир и жизнь. Было полностью ясно: он просто воспользовался юностью и неопытностью Полли. Вопрос к нему был один – как он искупит свою вину?

В данном случае искупление было необходимо. Для мужчины тут все было замечательно – он получил свое удовольствие и мог идти дальше как ни в чем не бывало, но девушке-то приходилось расплачиваться! Некоторые матери здесь удовлетворились бы просто какой-то суммой, она знала такие случаи. Но она так поступить не могла. Для нее только одно могло бы искупить потерянную честь дочери: законный брак.

Она еще раз пересмотрела свои козыри и послала Мэри сказать мистеру Дорену, что она желает поговорить с ним. Она чувствовала уверенность в победе. Он был серьезный молодой человек, не такой гуляка или горлан, как другие. Будь на его месте Шеридан, или Мид, или Бэнтам Лайонс, ее задача была бы куда трудней. Она не думала, чтобы он устоял перед риском огласки. Все постояльцы что-нибудь знали про завязавшуюся историю, некоторые уже присочиняли подробности. Кроме того, он уже тринадцать лет служил у крупного виноторговца-католика, и скандал мог бы, пожалуй, ему стоить места. Если же он согласился бы, все могло быть неплохо. Как она знала, он имел приличное жалованье и, по ее догадкам, имел вдобавок и сбережения.

Уже почти половина! Она поднялась и оглядела себя в трюмо. Решительное выражение на ее багровом крупном лице удовлетворило ее, и она подумала про тех известных ей матерей, которые оказались неспособны пристроить своих дочек.

Мистер Дорен был в это утро по-настоящему встревожен. Он дважды начинал бриться, однако рука так дрожала, что он не мог. Челюсти его окаймляла трехдневная рыжеватая щетина, а очки каждые две-три минуты запотевали и приходилось снимать их и протирать платком. Вспоминая свою исповедь вчера вечером, он испытывал острые страдания; священник вытянул из него все идиотские подробности его романа и представил его грех столь огромным, что в конце концов он был почти благодарен ему за оставленную лазейку в виде исправления ущерба. Ущерб был нанесен. Что теперь ему оставалось, кроме как жениться или бежать? Наплевать тут не выйдет.

Об истории обязательно будут говорить, и его патрон обо всем обязательно узнает. Дублин – маленький городишко, тут все знают обо всех. Он почувствовал, как сердце его мягко куда-то ухнуло, когда в разгоряченном воображении ему представилось, как старый мистер Леонард требует своим дребезжащим голосом: «Пришлите-ка мне, пожалуйста, мистера Дорена».

Все долгие годы его службы будут угроблены! Все труды, все старания пойдут прахом! Прежде у него бывали, конечно, грехи молодости; он бахвалился своим вольнодумством, отрицал существование Бога перед трактирными собутельниками. Но сейчас это все уже миновало и ушло... почти. Он еще покупал каждую неделю «Рейнолдс ньюспейпер», но исполнял все положенные обряды и девять десятых года вел размеренную жизнь. Средств на устройство дома ему бы хватило, дело было не в этом. А в том, что его семья смотрела бы на нее сверху вниз. Во-первых, был этот ее жалкий отец, а к тому же и пансион матери начинал пользоваться не слишком хорошей славой. У него мелькало, что его поймали в ловушку; представилось, как его приятели обсуждают историю и смеются над ним. Она действительно немного вульгарна, иногда она говорит «хочут», «потому как». Но что такое грамматика, если он в самом деле любит ее? Его сознание не могло определиться, любить ли ее или презирать за то, что она сделала. Конечно, в этом и его доля... Инстинкт толкал его оставаться свободным, не жениться. Женатый – конченный человек, шептал инстинкт.

Когда он так сидел у себя на кровати, беспомощный, в рубашке и брюках, она тихонько постучала в дверь и вошла. Она рассказала ему все, и что она призналась матери, призналась начистоту, без утайки, и что мать будет наутро говорить с ним. Она плакала, обнимала его и говорила:

– О, Боб! Боб! Что мне делать, что же мне делать?

Она покончит с собой, сказала она.

Он слабо утешал ее, говорил, чтобы она не боялась, чтобы она перестала плакать, что все устроится. Он чувствовал сквозь рубашку, как волнуется ее грудь.

Он не был один целиком повинен в случившемся. Его цепкая, терпеливая память холостяка хорошо сохранила первые случайные ласки ее платья, ее дыхания, ее пальцев. Потом как-то вечером, когда он уже ложился, она робко постучалась к нему. Она попросила, нельзя ли ей зажечь свечку от его свечи, у нее ветром задуло свечку. Это было в ее банный день, и на ней был просторный открытый халатик из набивной фланели. Подъем ножки белел, матово поблескивая из домашней меховой туфельки, и пульсирующая кровь придавала теплую окраску ее надушенной коже. От ее рук, от запястий, когда она зажигала и поправляла свою свечку, тоже шел слабый запах духов.

В те дни, когда он возвращался в пансион поздней ночью, именно она всегда разогревала ему ужин. Он почти не замечал, что он ест, поглощенный чувством ее близости, чувством того, что они здесь ночью одни, в спящем доме. А ее заботливость! Если только на улице было холодно, или сыро, или ветрено, он мог быть уверен, что его поджидает стаканчик пунша. Кто знает, возможно, они могли бы быть счастливы вместе...

Потом они обычно на цыпочках поднимались наверх, каждый со своей свечкой, и на третьей площадке с неохотой прощались. Они целовались обычно. Ему хорошо помнились ее глаза, прикосновения руки, и завладевавший им бред...

Однако бред проходит. Как эхо, он повторил ее фразу, отнеся ее к себе самому: Что мне делать? Инстинкт холостяка предостерегал его. Но ведь грех был совершен – и даже чувство чести говорило ему, что за такой грех подобает возмещение.

Пока они так сидели с ней на краю постели, к двери подошла Мэри и сказала, хозяйка хочет, чтобы он пришел в гостиную. Он поднялся и стал надевать жилет и сюртук, растерянный и беспомощный как никогда. Одевшись, он подошел к ней, чтобы немного успокоить. Все устроится, не бойся. Он оставил ее на постели тихо плачущей и всхлипывающей: О, Господи!

Пока он спускался, очки у него так запотели, что пришлось снять их и протереть. В этот момент он больше всего мечтал вознестись сквозь крышу и улететь, улететь в другую страну, где он никогда не услышал бы обо всем происшедшем, но какая-то сила неумолимо влекла его по ступенькам вниз. Неумолимые лица его патрона и Мадам взирали на его смятение. На последних ступеньках он разминулся с Джеком Муни, который шел из буфетной, нежно баюкая две бутылки пива. Они холодно поздоровались; и взор любовника на мгновение задержался на бульдожьей мускулистой физиономии и коротких мускулистых руках. Спустившись, он оглянулся и увидел, как Джек пристально смотрит на него из дверей кладовки.

Ему вдруг вспомнился вечер, когда один из мюзик-холльных артистов, маленький блондин из Лондона, отпустил какой-то вольный намек в адрес Полли. Тогда вся салонная вечеринка чуть не сорвалась из-за Джека. Его еле утихомирили всеми силами. Артист, побледневший сильнее обычного, старался улыбаться и говорил, что он ничего плохого не имел в виду, но Джек все продолжал орать на него, что он любому, кто вздумает шутить такие шуточки про его сестру, в два счета вколотит все зубы в глотку, за ним не станет.

Полли посидела еще немного на постели, всхлипывая; потом вытерла глаза и подошла к зеркалу. Обмакнув кончик полотенца в кувшин, она освежила глаза холодной водой. Поглядела на себя в профиль, поправила шпильку за ушком. Потом снова вернулась на постель и села в ногах. Она долго смотрела на подушки, вид которых будил потайные приятные воспоминания. Прислонив затылок к прохладной железной спинке, она погрузилась в мечты. На лице ее уже не отражалось никакого волнения.

Она ждала терпеливо и бестревожно, почти весело, и воспоминания постепенно уступали место надеждам и картинам будущей жизни. Эти надежды и картины были очень сложны, и она уже не видела белых подушек, на которых по-прежнему оставался ее взгляд, и не помнила, что она ждет чего-то.

Наконец она услышала, как ее зовет мать. Она поднялась и подбежала к перилам.

– Полли! Полли!

– Что, мама?

– Спустись к нам, милочка. Мистер Дорен хочет поговорить с тобой.

Тогда она вспомнила, чего она ждет.

Облачко

Восемь лет назад на пристани Норс-Уолл он проводил своего друга и пожелал ему попутного ветра. Галлахер сумел пробиться. Это сразу можно было сказать – и по его виду бывалого путешественника, и по отличному твидовому костюму, и по воинственному тону. Немногим даны такие таланты, как у него, и еще меньше найдется тех, кого бы не испортил такой успех. Галлахер был добрым, душевным малым, и он вполне заслуживал стать победителем. Такого друга иметь – это не пустяк.

После завтрака все мысли Малыша Чендлера были обращены к встрече с Галлахером, к приглашению Галлахера и к огромному городу Лондону, где Галлахер проживал. Его прозвали Малыш Чендлер оттого, что, хотя ростом он был лишь слегка ниже среднего, он явно производил впечатление маленького человека. У него были белые маленькие руки, хрупкое сложение, тихий голос и деликатные манеры. Он чрезвычайно заботился о своих светлых шелковистых волосах и усах, а носовой платок его был всегда немного надушен. Лунки ногтей были совершенной формы, и при улыбке выглядел ровный ряд по-детски белых зубов.

Сидя за своим рабочим столом в Кингс-Иннс, он размышлял о том, как все изменилось за эти восемь лет. Друг, которого он знал в самых бедственных и убогих обстоятельствах, стал блестящей фигурой лондонской прессы. Он то и дело поднимал голову от надоевшего писанья и смотрел в окно. За окном конторы были газоны и аллеи, освещенные заходящим солнцем поздней осени. Солнце щедро сеяло золотую пыльцу на неопрятных нянек и дряхлых стариков, дремлющих на скамейках, поблескивало на движущихся предметах – на фигурках детей, что носились с криками по дорожкам, фигурах прохожих, пересекавших парк. Глядя на этот пейзаж, он думал о жизни, и ему становилось грустно (как всегда, когда он думал о жизни). Им мягко завладевала меланхолия. Он ощущал, что с судьбой бороться напрасно, таков урок мудрости, бремя которой завещано было ему веками.

Он вспомнил книги стихов, стоявшие у него дома на полках. Он их купил еще в холостые годы, и вечерами, когда он сидел в комнатке по соседству с прихожей, его часто посещало желание снять с полки одну из них и что-нибудь прочесть оттуда жене. Но застенчивость всегда удерживала его, и книги оставались на полках. Иногда он повторял про себя строчки стихов, и это давало утешение.

Когда его час пробил, он встал и педантически распрощался с рабочим столом и с коллегами-клерками. Скромною, аккуратной фигуркой он появился под старинной аркой Кингс-Иннс и быстро зашагал по Генриетта-стрит. Золотой закат угасал, и в воздухе становилось свежо. Улицу наводняла орда чумазных детей: они стояли или носились по мостовой, ползали по ступенькам возле разинутых дверей, обсиживали пороги, как мыши. Мысли Малыша Чендлера были далеко от них. Он проворно прокладывал свой путь сквозь эту кишашую, пресмыкающуюся жизнь, под сенью мрачных призрачных особняков, где когда-то кутила знать старого Дублина. Прошлые дни тоже не занимали его, он весь был в радостном настоящем.

Он никогда не был у Корлесса, но хорошо знал цену этого места. Он знал, что сюда приезжают после театра пить ликеры и кушать устрицы, и слышал, что официанты там говорят по-французски и по-немецки. Когда ему случалось вечером торопиться мимо, он видел, как у подъезда останавливаются кебы и как леди в богатых нарядах, в сопровождении кавалеров, спускаются и исчезают, не задерживаясь, за дверь. На них были шумящие платья и множество шалей. Лица были напудрены, и, ступив на землю, они подхватывали одежды, словно испуганные Аталанты. Он всегда проходил мимо, не оглядываясь. У него была стойкая привычка ходить по улицам быстро даже



днем, и когда он оказывался в городе поздно вечером, он шел торопливо, испытывая и возбуждение, и страх. Но иногда он заигрывал с этим страхом. Он выбирал самые узкие и темные улочки и дерзко углублялся в них. Молчанье, в которое падали его шаги, будило его тревогу; безмолвные фигуры, скользящие мимо, будили его тревогу; и внезапный смех, откуда-то раздавшийся звонко или тихо, порой заставлял его задрожать как лист.

Он повернул направо, в сторону Кейпл-стрит. Игнатий Галлахер – лондонский журналист! Восемь лет назад кто бы счел такое возможным? Однако сейчас, оглядываясь на прошлое, он мог увидеть у своего друга многие знаки будущего величия. Люди говорили тогда, что Игнатий Галлахер ведет буйную жизнь. Конечно, он в ту пору якшался с отпетыми повесами, пил без меры и занимал деньги направо и налево. В конце концов он оказался замешан в каком-то темном дельце, какие-то аферы с финансами – по крайней мере, была такая версия его отъезда. Но таланта никто за ним не отрицал. Всегда что-то такое было... было что-то такое в нем, что вас покоряло, как бы вы ни противились. Даже когда он был в полной яме и не мог ума приложить, как выкарабкаться, даже тогда он ухитрялся держать фасон. Малыш Чендлер вспомнил (и воспоминание вызвало у него легкую краску гордости) одно из присловий Игнатия Галлахера в крайних ситуациях.

– Парни, берем тайм-аут! – объявлял он беззаботно. – Я начинаю раскидывать мозги.

В этом был весь Игнатий Галлахер; и, черт побери, таким человеком нельзя было не восхищаться.

Малыш Чендлер ускорил шаг. Впервые в жизни он себя чувствовал выше тех, кто проходил мимо по улице. Впервые его душа возмутилась тем, как тускла и уныла эта улица. Да, никаких сомнений: если ты хочешь достичь чего-то, тебе надо уезжать. Дублин – безнадежное место. Проходя по мосту Граттана, он бросил взгляд вниз по течению реки, на набережные, и презрительно пожалел бедные низенькие домишки. Они представились ему сборищем бродяг в лохмотьях, покрытых грязью и сажей, бродяг, которых закат заставил остолбенело застыть на месте, а первый холодок ночи заставит встряхнуться и двинуться куда-то. Он подумал, не смог ли бы он выразить этот образ в стихах. А Галлахер мог бы тогда их устроить в какую-нибудь лондонскую газету. Смог бы он написать что-то оригинальное? Ему не совсем было ясно, какой образ он хотел выразить, но мысль о том, что его посетило поэтическое вдохновение, затеплилась в нем, словно детская надежда. Он уверенно двинулся вперед.

Каждый шаг делал его ближе к Лондону, отдалял от постной и прозаичной жизни. На горизонте его сознания забрезжил свет. Он же еще не стар – тридцать два. Его характер, можно сказать, как раз достиг зрелости. И есть такое множество настроений, впечатлений, которые он бы хотел передать в стихах. Он все их чувствовал внутри себя. Он попытался взвесить свою душу: была ли это душа поэта? Он решил, что главная черта его характера – меланхолия, однако меланхолия, умеряемая порывами веры, отрешенности, чистой радости. Если бы он выразил свою душу в книге стихов, возможно, к ней бы прислушались. Популярен он бы не стал: это ему было ясно. Он бы не мог покорять толпы, но мог бы, пожалуй, привлечь небольшой кружок родственных душ. Вероятно, за меланхолический тон английские критики причислили бы его к кельтской школе; потом, он бы и сам намекал на это. Он стал придумывать фразы, которые могли бы быть в рецензии на его книгу: «Мистер Чендлер владеет тайной изящного, легкого стиха»... «В этих стихах живет задумчивая печаль»... «Кельтская нота». Жаль, что его фамилия звучала не слишком

по-кельтски. Наверно, стоило бы добавить девичью фамилию матери: Томас Мэлоун Чендлер, или еще лучше так: Т. Мэлоун Чендлер. Надо будет это обсудить с Галлахером.

Он так увлеченно погрузился в мечту, что прошел свою улицу, надо было вернуться. На подходе к Корлессу прежнее возбуждение опять овладело им; перед дверью он в нерешительности остановился – и наконец, отворив дверь, вошел.

Яркий свет, шум бара заставили его на минуту задержаться в дверях. Он озирался по сторонам, но в глазах мелькали отблески множества красных и зеленых бокалов, мешая видеть. Ему показалось, что бар полон людей и что эти люди с любопытством на него смотрят. Он бросил быстрый взгляд направо, потом налево (слегка нахмурясь, чтобы придать своему обзору деловой вид), но когда взгляд его прояснился, он понял, что на него никто не смотрит, а, прислонясь спиной к стойке и расставив широко ноги, у стойки стоит собственной персоной Игнатий Галлахер.

– Салют, Томми, старина, вот и ты! Как будем жить? Ты что берешь? Я себе виски, тут это зелье лучше, чем через пролив. С содой? С сельтерской? Без минеральной? Я тоже. Только вкус портит... Гарсон, две половинки ирландского виски сделайте нам по дружбе... Да, так как ты тут скрипел, пока мы не виделись? Бог мой, ведь стареем, стареем! Скажи, ты у меня видишь признаки возраста, а? Чуть-чуть поседел и чуть-чуть полысел на макушке – правда?

Игнатий Галлахер снял шляпу, открыв взорам крупную, коротко остриженную голову. Лицо у него было тяжелое, бледное, гладко выбритое. Глаза иссиня-черного цвета смягчали впечатление нездоровой бледности, ярко поблескивая над ярко-оранжевым галстуком. Губы, располагаясь между этими соперничающими цветами, казались бесцветными, бесформенными и очень длинными. Он нагнул голову и двумя пальцами жалостливо ощупал жидкие волосы на макушке. Малыш Чендлер, категорически отрицая, помотал головой, и Игнатий Галлахер снова водрузил шляпу.

– Она до того выматывает, – сказал он, – эта журналистика. Вечно ты на бегу, вечно мчишься, ищешь материал, бывает, что не найдешь, – и потом, вечно от тебя требуется что-то новенькое. И я сказал себе: к дьяволу эти гранки, типографию – на несколько дней баста. Честно скажу тебе, я так рад выбраться снова в свои места. Слегка отдохнуть, это всем полезно. Высадился в добром дряхлом Дублине – и сразу самочувствие тоном выше... Вот она твоя, Томми. Воды? Скажи, когда.

Малыш Чендлер дал очень сильно разбавить свое виски.

– Не понимаешь ты своей пользы, парень, – молвил Игнатий Галлахер. – Я вот пью только чистое.

– Я, как правило, очень мало пью, – скромно сказал Малыш Чендлер. – Изредка половинку или в этом духе, когда встретишься с кем-нибудь из старой братии.

– Отлично, – бодро произнес Игнатий Галлахер. – Итак, за нас, за старые времена, за старых друзей!

Они чокнулись и выпили.

– Я кой-кого из старой банды встретил сегодня, – сказал Галлахер. – У О'Хары как будто бы дела плохи. Он что поделявает?

– Ничего он не поделявает, – отвечал Малыш Чендлер. – Сидит в дыре.

– Зато у Хогана хорошее место, кажется?

– Да, он в Земельной комиссии.

– Я его встретил однажды в Лондоне, и вид у него был цветущий... Но О'Хара, бедняга! Все пьянка, я думаю?

– Да не только, – лаконично ответил Малыш Чендлер. Игнатий Галлахер расхохотался.

– Томми, – проговорил он, – я вижу, ты ни на один атом не изменился. Точно та же серьезнейшая личность, которая мне читала лекции в воскресенье утром, когда у меня голова трещала и язык не ворочался. Надо бы тебе повидать мир слегка. Ты что, правда никогда никуда не ездил, даже поблизости?

– Я ездил на остров Мэн, – сказал Малыш Чендлер. Галлахер снова расхохотался.

– Остров Мэн! – воскликнул он. – Ты съезди в Лондон, в Париж, – лучше всего в Париж. Это вот тебе даст что-то.

– А ты был в Париже?

– Да уж могу сказать, что я был! Малость там поколобродил.

– Он правда так прекрасен, как говорят? – спросил Малыш Чендлер.

Он отхлебнул из своего стакана чуть-чуть, а Игнатий Галлахер разом прикончил свой.

– Прекрасен? – повторил Галлахер, делая паузу на слове и смакуя виски. – Не так уж прекрасен, знаешь ли. Конечно, он прекрасен... Но все дело в парижской жизни, вот где фокус. Нет такого города, как Париж, по веселью, по движению, оживлению...

Малыш Чендлер тоже закончил свое виски и после некоторых усилий сумел-таки привлечь внимание бармена. Он велел повторить.

– Был я в Мулен-Руж, – продолжил Игнатий Галлахер, когда бармен убрал стаканы, – был и во всех этих богемных кафе. Там кухня с перцем! Уж это не для пай-мальчиков вроде тебя.

Малыш Чендлер не говорил ничего, пока не вернулся бармен с новой парой стаканов; тогда он легонько чокнулся с другом и повторил его тост. Он начинал себя чувствовать немного разочарованным. Тон Галлахера, стиль его речи ему не нравились. В его друге было что-то вульгарное, чего он раньше не замечал. Но, может быть, это было только наносное, результат жизни в Лондоне, в толчее, среди конкуренции прессы. Старое личное обаяние все-таки еще ощущалось за новой самодовольной манерой. И он же на самом деле пожил, повидал мир. Малыш Чендлер с завистью поглядел на друга.

– В Париже повсюду весело, – сказал Галлахер. – Они считают, что надо наслаждаться жизнью, – и что, ты скажешь, они не правы? Если ты хочешь по-настоящему наслаждаться, надо ехать в Париж. И учти, у них там большие

симпатии к ирландцам. Едва они узнали, я из Ирландии, меня начали рвать на части.

Малыш Чендлер сделал из своего стакана четыре или пять глоточков.

– А скажи, – спросил он, – верно говорят, что Париж – это безнравственное место?

Игнатий Галлахер сделал правой рукой подобающий католический жест.

– Безнравственны все места, – изрек он. – Конечно, ты в Париже найдешь много соленьего. Стоит пойти, скажем, на студенческий бал. А уж когда кокоточки разойдутся, то это такая жизнь... Ты их себе представляешь, я думаю?

– Приходилось слышать, – ответил Малыш Чендлер.

Галлахер допил виски и покачал головой.

– Эх, – молвил он, – ты можешь говорить что угодно, но только ни одна женщина не сравнится с парижанкой – по стилю, по живости.

– Значит, это безнравственный город, – опять спросил Малыш Чендлер с робкой настойчивостью, – я хочу сказать, по сравнению с Лондоном или Дублином?

– С Лондоном – это что в лоб что по лбу, – сказал Галлахер. – Спроси хоть у Хогана, Малыш. Когда он там был, я ему показал слегка Лондон. Он тебе откроет глаза... Послушай, Томми, не изображай из своего виски пунш, давай опрокидывай.

– Нет, право...

– Давай-давай, еще одна тебе совершенно не повредит. Чего бы нам? То же самое, я думаю?

– Н-ну... ладно, согласен.

– Франсуа, то же самое повторить... Курить будешь, Томми?

Игнатий Галлахер вытащил портсигар. Друзья закурили сигары и попыхивали ими в молчании, покуда не принесли виски.

– Могу сказать тебе мое мнение, – произнес Галлахер после паузы, возникая из клубов дыма, которые скрывали его, – мир просто сбесился! Взять ту же безнравственность. Я слышал такие случаи – да что слышал! – я был сам свидетель – таких случаев безнравственности...

Задумчиво попыхивая сигарой, беспристрастным тоном историка Игнатий Галлахер принялся рисовать другу картины развращенности нравов, царившей за рубежом. Он бегло обозрел пороки многих столиц и был как будто бы склонен присудить пальму первенства Берлину. За некоторые факты он не мог поручиться (друзья рассказывали), однако другие знал из личного опыта. Он не щадил ни чина, ни звания. Он разоблачил многие тайны монастырей на континенте, описал некоторые занятия, модные среди высшего общества, и закончил тем, что поведал со всеми подробностями историю о некой английской герцогине – как он точно знал, истинную историю. Малыш Чендлер был изумлен.

– Что же, – говорил Галлахер, – а тут мы в нашем старом замшелом Дублине, где ни о чем таком знать не знают.

– Как тебе тут, должно быть, скучно кажется, – сказал Малыш Чендлер, – после всех мест, что ты повидал!

– Как сказать, – отвечал Игнатий Галлахер, – здесь все-таки отдыхаешь. И в конце концов, это, как говорится, страна предков, правда? Хочешь не хочешь, а у тебя к ней какое-то чувство, такова человеческая природа... Но ты мне расскажи про себя. Как мне Хоган сказал, ты это... вкусил радостей Гименея? Года два назад, кажется?

Малыш Чендлер покраснел и улыбнулся.

– Это верно, – сказал он. – В мае был год, как я женился.

– Надеюсь, еще не поздно тебя поздравить и всего-всего пожелать, – сказал Галлахер. – У меня не было твоего адреса, я бы непременно поздравил.

Он протянул руку, и Малыш Чендлер пожал ее.

– Правда, Томми, – продолжал он. – Желаю тебе и семейству всяческой радости в жизни, и мешок денег, и чтоб ты не умер, пока я тебя сам не пристрелю. Этого, старина, тебе желает твой друг, твой старинный друг. Ты знаешь это?

– Я знаю это, – сказал Малыш Чендлер.

– А как насчет потомства? – спросил Галлахер.

Малыш Чендлер покраснел снова.

– Один ребенок у нас, – отвечал он.

– Сын или дочка?

– Мальчуган.

Игнатий Галлахер звучно шлепнул своего друга по спине.

– Bravo, – произнес он. – Я в тебе, Томми, не сомневался.

Малыш Чендлер улыбнулся, посмотрел смущенно на свой стакан и слегка прикусил нижнюю губу тремя передними детски белыми зубами.

– Я надеюсь, ты до своего отъезда к нам заглянешь на вечерок, – сказал он. – Для жены это будет такое удовольствие. Можно будет помузицировать немного и...

– Страшно благодарен, дружище, – сказал Игнатий Галлахер. – Жаль, что мы пораньше не встретились. Я ведь уже завтра вечером уезжаю.

– Тогда, может быть, сегодня...?

– Страшно извиняюсь, старик. Я тут, понимаешь, с одним малым, кстати, очень неглупый молодой парень, и мы уж договорились пойти перекинуться в картишки. Если б не это...

– А, ну в таком случае...

– Но кто знает? – добавил тактично Галлахер. – Теперь уже лед сломан, на следующий год я, возможно, опять заскочу сюда. Будем считать, это только отсрочка удовольствия.

– Отлично, – сказал Малыш Чендлер, – значит, в следующий твой приезд ты непременно проведешь у нас вечер. Договорились?

– Договорились, – подтвердил Игнатий Галлахер. – Если в следующем году приезжаю, parole d'honneur[69 - Слово чести (фр.).].

– И чтоб скрепить договор, – заключил Малыш Чендлер, – мы сейчас еще примем по одной.

Игнатий Галлахер извлек массивные золотые часы и посмотрел на них.

– Только по последней, ладно? – сказал он. – А то у меня хрендеву.

– Да-да, конечно, – отвечал Малыш Чендлер.

– Раз так, отлично, – сказал Галлахер, – берем по одной как deos an doruis[70 - Рюмка на посошок (ирл.).] – так, по-моему, говорят в народе.

Малыш Чендлер сделал заказ. Румянец, что успел подняться к его щекам, прочно укреплялся на них. Ему и в обычное время достаточно было пустяка, чтобы покраснеть; сейчас же он был разгорячен и возбужден. Три виски, хоть и малых, ударили ему в голову, а крепкая сигара Галлахера затуманила ум, потому что он был хрупок и обычно очень воздержан. Такое событие, как встретить Галлахера после восьми лет, оказаться с Галлахером у Корлесса, среди яркого света и шума, выслушивать все истории Галлахера и приобщиться на миг к его бродячей и блистательной жизни, – нарушило равновесие его восприимчивой природы. Он остро ощущал контраст между жизнью своей и своего друга, и этот контраст ему казался несправедливостью. Галлахер был ниже его по рождению и воспитанию. Он был уверен, что он способен сделать нечто лучшее, нежели все, что его друг сделал или может сделать когда-нибудь, нечто более достойное, чем бойкая журналистика, будь только у него шанс. Но что же ему мешало? Конечно, его несчастная робость! Ему хотелось каким-то образом утвердить себя, показать свою мужественность. Он видел настоящую причину, почему Галлахер отказался от его приглашения. Своим дружеским отношением он просто снисходил к нему, как снизошел и к Ирландии своим приездом.

Бармен принес напитки. Малыш Чендлер двинул один стакан в сторону друга и твердым движением взял другой.

– Кто знает? – сказал он, когда они подняли стаканы. – Когда ты приедешь на следующий год, я, может быть, буду иметь удовольствие поздравлять мистера и миссис Галлахер.

Галлахер, собравшийся выпить, выразительно прищурил один глаз над ободком своего стакана. Выпив, он поставил стакан, причмокнул решительно губами и сказал:

– Вот уж этого можешь не опасаться, Малыш. Я сначала погуляю как следует, людей

погляжу и себя покажу, а уж потом буду совать голову в ярмо – если вообще соберусь.

– В один прекрасный день соберешься, – спокойно отвечал Малыш Чендлер.

Игнатий Галлахер полностью развернулся к другу своим оранжевым галстуком и иссиня-черными глазами.

– Ты так думаешь? – спросил он.

– И ты тоже сунешь голову в ярмо, как всякий другой, – заявил Малыш Чендлер, – когда найдешь свою женщину.

Тон его был слегка с нажимом, и он понимал, что выдает себя; но хотя румянец на его щеках все усиливался, он выдержал пристальный взгляд друга. Через несколько мгновений, отведя взгляд, Галлахер сказал:

– Если уж это будет, можешь биться об заклад, что я не разведу страданий и воздыханий. Я женюсь на деньгах. Без кругленького счета в банке она мне не подойдет.

Малыш Чендлер покачал головой.

– Слушай, душа моя, – проговорил Галлахер с напором, – знаешь, что я тебе доложу? Стоит мне сказать слово, и у меня завтра же будет и баба, и монета. Ты можешь не верить, а я знаю. Есть сотни – да чего там – тысячи богатых немков, евреек, у кого денег навалом и которые будут только рады... Дай срок – сам увидишь. Я не я буду, если не разыграю партию. Когда я нацелился на что-то, меня не сбить. Ты еще увидишь.

Четким движением он опрокинул стакан до дна и громко расхохотался. Потом раздумчиво глянул перед собой и произнес более спокойно:

– Только спешить с этим я не буду. Пускай их обождут. Себя привязать к одной – это мне не шибко по вкусу.

Он изобразил, будто пробует что-то, и сделал кислую мину.

– По-моему, тухловато, – заявил он.

\* \* \*

Малыш Чендлер сидел в комнатке по соседству с прихожей, держа на руках ребенка. Из экономии они не нанимали прислуги, но утром и вечером примерно на час приходила Моника, младшая сестра Энни, чтобы помочь по дому. Но сейчас Моника давно ушла. Было без четверти девять. Малыш Чендлер опоздал к чаю и вдобавок еще забыл принести кофе от Бьюли. Конечно же, Энни надулась и почти не разговаривала с ним. Она сказала, что обойдется без чая, но когда время подошло к закрытию лавочки на углу, она решила сама сходить и принести четвертушку чаю и два фунта сахара. Ловко положив ему на руки спящего ребенка, она сказала:

– Только не разбуди его.

На столе горела маленькая лампа с белым фарфоровым абажуром; свет ее падал на фотографию в роговой покособившейся рамке. Это была фотография Энни. Малыш Чендлер посмотрел на нее, задержав взгляд на тонких сжатых губах. Энни была в летней бледно-голубой блузке, которую он ей однажды в субботу купил в подарок. Он заплатил десять шиллингов одиннадцать пенсов, но при этом через какие переживания он прошел! Какие это были мученья, когда он выжидал у дверей, пока не будет никого в магазине, потом стоял у прилавка, изображая непринужденность перед продавщицей, показывавшей ему дамские блузки, потом платил в кассу (причем забыл взять сдачу и был призван обратно кассиром), и, наконец, выходя из магазина, старался скрыть, как он весь покраснел, делая вид, будто проверяет, хорошо ли завязана покупка. Дома Энни поцеловала его и сказала, что блузка очень хорошенькая, стильная, но, услышав цену, бросила ее на стол и заявила, что десять и одиннадцать за такое – это чистый грабег. Сначала она даже хотела ее отнести назад, но когда примерила, ей ужасно понравилось, особенно фасон рукавчиков, и она снова поцеловала его и сказала, какой он милый, что подумал о ней.

Гм!..

Он холодно посмотрел в глаза на фотографии, и они ему холодно ответили. И глаза и лицо были, несомненно, симпатичные. Но он находил в лице что-то пошлое. Почему оно было такое отсутствующее, такое деланно-светское? Глаза же были невозмутимо спокойны, и это его раздражало. Эти глаза отталкивали его, были вызовом ему: они были чужды всякому увлечению, страсти. Он вспомнил, что говорил Галлахер о богатых еврейках. Восточные темные глаза, подумал он, сколько в них неги, томного сладострастия!.. Почему он женился на этих глазах с фотографии?

На этом вопросе он оборвал себя и беспокойно огляделся вокруг. Он находил что-то пошлое в симпатичной обстановке, которую он купил в кредит для их дома; Энни сама ее выбирала, и обстановка ему напоминала ее: была тоже чистенькая и симпатичная. В нем начало разгораться глухое отвращение к своей жизни. Неужели он не может вырваться из этой квартирке? Поздно ли уже для него попробовать жить бесшабашно, как Галлахер? Может ли он уехать в Лондон? Надо было еще оплатить мебель. Вот если б он только мог выпустить книгу, тогда бы для него открылись пути.

На столе перед ним лежал томик стихов Байрона.левой рукой, осторожно, чтобы не разбудить ребенка, он открыл томик и начал читать первое стихотворение в нем:

Закатный луч угас. Ни ветерка.  
Не шелохнутся чуткие листы.  
О, Маргарита, сколь судьба горька!  
К твоей могиле я принес цветы.

Он остановился. Он чувствовал, как ритм стиха вибрирует вокруг, в комнате. Сколько меланхолии в этом ритме! Может ли он написать вот так, передать стихом меланхолию своей души? Есть столько вещей, которые он бы хотел описать: хотя бы то ощущение, что он испытал недавно на мосту Граттана. Если бы он смог вызвать у себя опять то самое настроение...

Ребенок проснулся и заплакал. Оторвав взгляд от страницы, он попытался унять его – но ребенок не унимался. Он начал укачивать его на руках, но жалобный плач мальчика становился только еще пронзительней. Он стал укачивать сильнее, меж тем как глаза начали читать вторую строфу:



Здесь в тесной клетки пребывает прах  
Той, что была...

Бесполезно. Читать нельзя. Вообще ничего нельзя делать. Жалобный плач сверлил его барабанную перепонку. Все бесполезно, бесполезно! Он – пожизненный узник. Его начало колотить от гнева, и вдруг, нагнувшись к лицу ребенка, он заорал:

– Хватит!

Ребенок на мгновение перестал, плач его оборвал спазм страха, но тут же он начал вопить. Отец вскочил со стула и с ребенком на руках принялся быстро шагать по комнате. Дитя начало жалобно рыдать, всхлипывая, захлебываясь, теряя дыхание на четыре-пять секунд, потом опять раздражаясь воплем. Тонкие стены комнаты отражали звук. Он старался успокоить его, но рыдания только делались еще судорожней. Он смотрел на перекошенное, дрожащее личико ребенка, и к нему подступил страх. Он насчитал семь всхлипываний подряд, без перерыва, и в панике прижал ребенка к груди. А вдруг он умрет!..

Дверь резко распахнулась, и в комнату, задыхаясь, вбежала женщина.

– Что здесь такое? Что здесь такое? – восклицала она. Ребенок, услышав голос матери, зарыдал сильнее.

– Нет-нет, ничего, Энни, ничего... Он просто заплакал...

Она швырнула на пол покупки и выхватила у него ребенка.

– Ты что ему сделал? – крикнула она, яростно уставившись на него. Одно мгновение Малыш Чендлер смотрел ей в глаза, и сердце его замкнулось, когда он встретил в них ненависть. Он забормотал:

– Ничего-ничего... Он... он... начал плакать... Я не смог... Я ничего не сделал... Что?

Не обращая внимания на него, она стала ходить по комнате, крепко прижимая к себе ребенка и нашептывая:

– Мальчишка мой! Мальчоночка! Напугался, да?.. Ну, прошло, милый! Ну, прошло!.. Ангелочек! Мамочкин ангелочек!.. Прошло, прошло!

Малыш Чендлер почувствовал, как стыд залил его щеки. Он отступил из полосы света в тень. Он слушал, как детские рыдания постепенно стихают, и слезы раскаяния подступали к его глазам.

Взаимные дополнения

Звонок задребезжал с яростью, и когда мисс Паркер взяла трубку, яростный голос крикнул со сверлящим северноирландским акцентом:

– Фаррингтона ко мне!

Мисс Паркер вернулась к своему ремингтону и сказала мужчине, писавшему за

столом:

– Мистер Оллейн вызывает вас наверх.

Мужчина пробормотал: «Черти бы его!» и, отодвинув свой стул, поднялся. Стоя, он оказался высоким и массивным. У него было обвислое винно-багровое лицо, светлые брови и усы; глаза были немного навывкате, с мутными белками. Он поднял крышку барьера, прошел мимо посетителей и вышел из комнаты тяжелой походкой.

Он поднялся, тяжело ступая, наверх, до второй площадки, на которую выходила дверь с бронзовой табличкой «Мистер Оллейн». Здесь он остановился, отдуваясь от усилия и от раздражения, и постучал. Визгливый голос крикнул:

– Войдите!

Мужчина вошел в комнату. Мистер Оллейн, маленький человечек в золотых очках, с гладко выбритым лицом, тут же вздернул вверх голову от груды документации. Розовая, без малейшей растительности голова походила на большое яйцо, положенное на кипу бумаг. Мистер Оллейн начал с места в карьер:

– Фаррингтон? Как это надо понимать? Почему у меня к вам вечные замечания? Позвольте вас спросить, вы почему до сих пор не сделали копию контракта между Бодли и Кирваном? Я вам сказал, что копия должна быть у меня к четырем!

– Но мистер Шелли сказал, сэр...

– Мистер Шелли сказал, сэр... Потрудитесь слушать, что я говорю, а не что мистер Шелли сказал, сэр. У вас вечно в запасе отговорки. Так вот я вам говорю, что если до вечера не будет копии этого контракта, я об этом сообщаю мистеру Кросби... Теперь понятно?

– Да, сэр.

– Понятно – так вот вам еще одно! Говорить с вами – это как со стеной. Усвойте раз навсегда, что вам на завтрак положено полчаса, а не полтора часа. Сколько это вы блюд заказываете, хотел бы я знать... До вас дошло?

– Да, сэр.

Мистер Оллейн вновь склонил голову над кипой бумаг. Мужчина мутным медленным взглядом глянул на отполированный череп, ведущий дела фирмы «Кросби и Оллейн», оценивая его хрупкость. Спазм бешенства сдавил ему горло на мгновение и, отхлынув, оставил за собой острое чувство жажды. Распознав это чувство, мужчина понял, что нынче вечером ему требуется хорошо выпить. Пошла уже вторая половина месяца, и, если он представит копию вовремя, мистер Оллейн мог бы, пожалуй, выписать аванс. Он стоял, неподвижно глядя на череп, нависший над кипой бумаг. Внезапно и резко мистер Оллейн принялся ворошить бумаги, что-то разыскивая. Затем, как если бы он до этого не знал о присутствии мужчины, он вновь вздернул голову и сказал:

– Ну? Вы что, весь день будете так стоять? Знаете, Фаррингтон, вы плохо себе представляете положение!

– Я ждал, не будет ли...

– Вам нечего ждать, не будет ли. Ступайте вниз и выполняйте вашу работу.

Мужчина тяжело прошагал к дверям и услышал, выходя, как мистер Оллейн прокричал вдогонку ему, что если контракт к вечеру не будет готов, об этом услышит мистер Кросби.

Вернувшись к своему столу в нижней конторе, он пересчитал, сколько листов еще оставалось переписать. Потом взял перо, обмакнул в чернила, но продолжал при этом тупо смотреть на последние написанные слова: В данном случае означенный Бернард Бодли будет... Уже темнеет, через несколько минут зажгут газ – тогда и можно будет писать. Он ощутил отчаянную потребность промочить горло. Встав из-за стола, он снова поднял крышку барьера и направился к выходу. Увидев это, старший клерк вопросительно посмотрел на него.

– Не беспокойтесь, мистер Шелли, – сказал мужчина, жестом показывая цель своей отлучки.

Старший клерк кинул взгляд на вешалку, но, увидев батарею шляп в целости, промолчал. Оказавшись на площадке, мужчина тут же извлек из кармана клетчатую кепку, натянул на голову и сбежал вниз по расшатанным ступенькам. На улице он крадучись, держась у стенки домов, продвинулся до ближайшего угла, где сразу нырнул в темный проем двери. Тут он был вне опасности, у О’Нила в сумрачной задней комнатке, и, наполнив все окошечко в бар распаленным лицом, принявшим цвет темного вина или темного сырого мяса, хрипло крикнул:

– Эй, Пэт, выдай-ка простого, будь другом!

Служка принес ему стакан портера. Он залпом осушил его и попросил тминного семени. Выложив на стойку пенни и предоставив службе нащупывать в темноте монету, он покинул убежище так же крадучись, как пришел.

Темнота в союзе с густым туманом уже победила февральский день, и на Юстейс-стрит зажглись фонари. Пробравшись мимо домов, мужчина достиг подъезда своей конторы. Он думал о том, успеет ли он переписать контракт. На лестнице ноздри его приветствовал пряный и влажный запах: очевидно, пока он выходил к О’Нилу, явилась мисс Делакур. Он сунул кепку обратно в карман и, сделав непринужденный вид, вошел в комнату.

– Вас спрашивал мистер Оллейн, – сказал недовольно старший клерк. – Вы где были?

Мужчина бросил взгляд на двух посетителей, стоявших у барьера, как бы намекая, что он затрудняется ответить в их присутствии. Оба посетителя были мужского пола, и старший клерк позволил себе смешок.

– Знаю я эти штучки, – сказал он. – Пять раз на день, это слегка чересчур... Ладно, вы лучше не мешкайте и приготовьте для мистера Оллейна копии нашей переписки по делу Делакур.

Выговор в присутствии публики, взбеганье по лестнице, проглоченный наспех портер сбили и перепутали все мысли мужчины, и, когда он уселся за стол, начав собирать нужные бумаги, он понял, что закончить копию контракта к половине шестого – безнадежное дело. Спускалась ночь, темная и сырая, и ему не терпелось размыкать ее по барам в компании друзей, в звоне стаканов, под ярким светом газовых ламп.

Он собрал корреспонденцию по делу Делакур и вышел. Он надеялся, что мистер Оллейн не обнаружит отсутствия двух последних писем.

Пряный и влажный запах духов отмечал весь путь до кабинета мистера Оллейна. Мисс Делакур была дамою средних лет и еврейской наружности. Говорили, что мистер Оллейн равнодушен к ней или же к ее деньгам. Она часто приходила в фирму, и когда приходила, оставалась подолгу. Сейчас она, в облаке духов, сидела подле его стола, поглаживая ручку зонтика и покачивая большим черным пером на шляпе. Мистер Оллейн развернул свое кресло, чтобы быть к ней лицом, и резво покачивал правой ногой, переброшенную через левое колено. Мужчина положил корреспонденцию на стол с почтительным поклоном, которого ни мистер Оллейн, ни мисс Делакур не удостоили внимания. Мистер Оллейн постучал пальцем по принесенным бумагам, а потом махнул пальцем в его сторону, как бы говоря: Порядок, можете идти.

Мужчина вернулся в нижнюю контору и снова уселся за свой стол. Он напряженно уставился в незаконченную фразу: В данном случае означенный Бернард Бодли будет... и подумал, как странно, что все три последних слова начинаются с одной буквы. Старший клерк начал торопить мисс Паркер, говоря, что она не успеет напечатать все письма к отправке почты. Некоторое время мужчина прислушивался к стрекоту машинки, а потом принялся за окончание контракта. Но в голове у него было мутно, и мысли уносились в яркий свет и гомон трактира. Вечер – пора для пуншей. Он продирался сквозь контракт, но когда пробило пять, ему еще оставалось четырнадцать страниц. К дьяволу! Никак не выйдет вовремя кончить. Его раздирало желание громко выругаться, грохнуть со всей силой по чему-нибудь кулаком. Он был так распален, что написал Бернард Бернард вместо Бернард Бодли, и пришлось страницу начать сначала.

Он чувствовал в себе достаточно сил, чтобы начисто разнести всю контору. Его тело изнывало что-нибудь сделать, вырваться и разрядиться в насилии. Все издевательства его жизни распалили его... Может, подойти самому к кассиру насчет аванса? Да нет, кассир – дрянь, паршивая дрянь, не даст он аванса... Он знал, где найдет своих парней, Леонарда, и О'Халлорана, и Флинна. Барометр его эмоций показывал бурю.

Воображение так унесло его из реальности, что его дважды окликнули по имени, прежде чем он отозвался. Мистер Оллейн и мисс Делакур стояли по ту сторону барьера, а все служащие повернулись и смотрели, ожидая, что сейчас нечто произойдет. Мужчина встал из-за стола. Мистер Оллейн разразился бранной тирадой, заявляя, что двух писем не хватает. Мужчина отвечал, что ему ничего не известно об этих письмах, он сделал точную копию всей корреспонденции. Но мистер Оллейн продолжал свою тираду, и она была такой злобно-агрессивной, что мужчина еле удерживался, чтобы не опустить свой кулак на череп коротышки перед собой.

– Я ничего не знаю об этих двух письмах, – тупо повторил он.

– Вы – ничего – не знаете. Да-да, вы ничего, конечно, не знаете, – произнес мистер Оллейн. – Только скажите мне, – тут он на миг обернулся к даме, ища ее одобрения, – вы что, меня принимаете за идиота? Вы считаете, что я полный идиот, да?

Мужчина перевел взгляд с лица дамы на маленькую яйцевидную головку, потом обратно; и прежде чем он сам это осознал, его язык нашел гениальный ход.

– Мне кажется, сэр, – сказал он, – лучше не задавать мне такой вопрос.

Настала такая пауза, что служащие буквально перестали дышать. Все были в изумлении (и автор остроты не менее окружавших его), а мисс Делакур, дама плотной комплекции и склонная к шутке, широко ухмыльнулась. Мистер Оллейн принял окраску шиповника, и рот его перекосила гримаса карличьей взбешенности. Он начал тыкать своим кулачком в направлении лица мужчины, пока кулачок не стал походить на рычаг какой-то электрической машины:

– Вы наглый грубиян! Вы наглый грубиян! С вами будет разговор короткий! Увидите! Вы передо мной извинитесь за свою наглость, или вы мигом вылетите из конторы! Вы вылетите, это я вам говорю, или же вы извинитесь!

\* \* \*

Он стоял в подъезде напротив выхода из конторы и ждал, появится ли кассир один или нет. Все служащие уже прошли, и наконец показался кассир вместе со старшим клерком. Бесплезно было подходить, заговаривать, раз он со старшим клерком. Мужчина понимал, что дела его весьма плохи. Ему придется униженно извиняться перед мистером Оллейном за свою дерзость, но вдобавок он знал, каким змеиным гнездом контора станет теперь для него. Ему еще помнилось, как мистер Оллейн затравил и выжил из конторы малыша Пика, чтобы освободить местечко для собственного племянника. Он ощущал себя во власти диких инстинктов, жажды, мстительности, он был зол на себя и на целый свет. Уж теперь мистер Оллейн ему не даст ни минуты покоя, он ему устроит адскую жизнь. На сей раз идиот – это он сам. Не мог поддержать язык за зубами? Но они никогда не ладили, он и мистер Оллейн, с первых же дней, когда тот застал, как он передразнивает его северный акцент на потеху Хиггинсу и мисс Паркер. С того все и началось. Насчет занять, кстати, можно бы к Хиггинсу, да тот сам вечно на мели. Мужик живет на два дома, где ему...

Он снова почувствовал, как все его большое грузное тело изнывает по вольготному удобству трактира. В промозглом тумане он начал мерзнуть и подумал, нельзя ли признаться у Пэта, того, что из заведения О'Нила. Но у него больше бобика не занять, а с бобика что толку. Но надо, ведь где-то надо взять денег, последний пенс пошел на стакан портера, и вот-вот станет так поздно, что уж нигде не добудешь. И вдруг, теребя цепочку от часов, он подумал про закладную лавку Терри Келли на Флит-стрит. Вот это в яблочко! Как раньше не догадался!

Он быстро зашагал по узенькому проходу Темпл-Бар, бормоча под нос, что все они могут идти к черту, потому что он все равно себе устроит отличный вечерок. Оценщик у Терри Келли бросил: Крона! однако залоговладелец стоял на шести шиллингах, и чтобы уж покончить, ему буквально уступили шесть шиллингов. Он вышел весело из закладной, держа монеты цилиндриком между большим пальцем и остальными. На Уэстморленд-стрит по тротуарам текла толпа молодых женщин и мужчин, возвращающихся со службы, и оборванные мальчишки сновали, выкрикивая названия вечерних газет. Он рассекал толпу, взирая на всю картину удовлетворенно и гордо, бросая на барышень из контор победоносные взгляды. В голове у него стоял шум от трамваев, их звонков и искрящих дуг, а нос уже обонял дымки, завивающиеся колечками над пуншем. На ходу он заранее подготавливал, как будет рассказывать происшествие парням:

– Ну, тут я глянул на него – этак, знаете, холодно, потом на нее. Потом опять на него – я, знаете ли, не спешил. И говорю ему: Мне кажется, сэр, лучше не

задавать мне такой вопрос.

Флинн Длинный Нос сидел у Дэви Берна в своем обычном углу и, когда услышал историю, выставил Фаррингтону половинку, сказав, что такой классной истории он в жизни не слыживал. Фаррингтон выставил ему в свой черед. Тут вскорости подошли Падди Леонард и О'Халлоран, и история была поведена им. О'Халлоран выставил всем по полторному виски и рассказал, как он однажды тоже отбрил старшего клерка, когда работал у Каллана на Фаунс-стрит, но у него это было скорей в стиле вольноречивых пастухов в эклогах, так что он и сам согласился, что ответ Фаррингтона был похитрей. И на этом месте Фаррингтон сказал компании покончить с этой и принять по следующей.

Каждый стал называть, какую ему отраву, и тут возникает вдруг не кто иной, как Хиггинс! Ясно, он присоединяется к остальным. Мужики его просят, мол, и ты расскажи, как было дело, со своей точки, и он им все излагает с большой живостью, потому как вид пяти теплых стопочек виски очень взбадривает. Все животики надорвали, когда он стал показывать, как мистер Оллейн тычет кулачком Фаррингтону в физиономию. Потом он изобразил и Фаррингтона, произнеся: «А тут мой кореш в адском спокойствии», меж тем как сам Фаррингтон поглядывал на приятелей тяжелыми мутными глазами, ухмыляясь и по временам обсасывая нижней губой с усов затесавшиеся капельки алкоголя.

Когда и этот круг завершился, настала пауза. Денежки были только у О'Халлорана, у двух же других шаром покати, и не без сожаления вся труппа оставила заведение. На углу Дьюк-стрит Флинн и Хиггинс отвернули налево, а трое оставшихся направили стопы назад, к центру. Дождик сеялся на холодные улицы, и когда дошли до Портового управления, Фаррингтон выдвинул Скотч-хаус. Бар был полон народа и стоял сплошной гул от языков и стаканов. Трое пробились сквозь подвывающих продавцов спичек при входе и тесным кружком устроились в конце стойки. Начали рассказывать всякие истории. Леонард познакомил их с молодым парнем по фамилии Уэзерс, который выступал в Тиволи как актер в фарсах и акробат. Фаррингтон выставил всем. Уэзерс сказал, что он бы выпил маленькую ирландского виски с аполлинарисом. Фаррингтон знал, что такое держать марку, и предложил всем, не желают ли они тоже аполлинариса, но они сказали, пускай Тим сделает им горяченького. Перешли на театральные дела. О'Халлоран выставил всем, а потом снова Фаррингтон выставил всем, и Уэзерс начал протестовать, что это получается угощение слишком уж по-ирландски. Он пообещал как-нибудь провести их за кулисы и познакомить с милыми девушками. О'Халлоран сказал, они с Леонардом пойдут, а Фаррингтон откажется, он женатый, и Фаррингтон глядел на компанию своими тяжелыми мутными глазами, скоромно ухмыляясь в знак того, что он понимает, его разыгрывают. Уэзерс поставил всем по маленькой рюмочке настойки и сказал, что попоздней еще встретится с ними у Маллигана на Пулбег-стрит.

Когда Скотч-хаус закрылся, они перешли к Маллигану. Там они поместились в дальней зале, и О'Халлоран заказал всем горячего пунша по малой. Все уже понемногу приходили в подпитие. Фаррингтон выставлял как раз всем по очередному кругу, когда снова появился Уэзерс. К немалому облегчению Фаррингтона, он взял горького пива на этот раз. Финансы истощались, но пока еще можно было продолжать. В залу вошли две молодые женщины в больших шляпах и молодой человек в клетчатом костюме; группа уселась за соседним столиком. Уэзерс обменялся с ними приветствиями и сообщил, что они тоже из Тиволи. Взгляд Фаррингтона то и дело направлялся к одной из женщин. В ее внешности было что-то яркое, поражающее. Вокруг шляпы обвивался пышный шарф переливчато-синего муслина, завязанный большим бантом под подбородком; на руках были ярко-желтые перчатки по

локоть. Фаррингтон смотрел с восхищением на ее полную руку, постоянно делавшую изящные движения, а когда она вскоре бросила на него ответный взгляд, его еще больше восхитили ее большие темно-карие глаза. Они смотрели искоса, но пристально, это завораживало его. Она поглядела на него один или два раза, и, когда вся группа покидала залу, она задела за его стул, сказав с лондонским акцентом: Ах, пардон! Он смотрел, как она выходит, в надежде, что она обернется на него, однако обманулся в ожиданиях. Он клял свое безденежье, клял все круговые выпивки, что он выставил, а особенно все эти виски и аполлинарисы, что пошли Уэзерсу. Если что-нибудь ему было ненавистно сильнее всего, так это подлипалы. Он до того кипел, что отключился и перестал следить за разговором.

Когда Падди Леонард окликнул его, он понял, что говорят про силовые рекорды. Уэзерс демонстрировал компании свои бицепсы и так бахвалился, что два его собеседника обратились к Фаррингтону для защиты национальной чести. Фаррингтон без возражений закатал рукав и продемонстрировал собранию собственный бицепс. Два предплечья были подвергнуты обозрению, сравнению, и в конце концов было решено устроить состязание в силе. Расчистили стол, два силача поставили на него локти и сцепили ладони. По сигналу Падди Леонарда: Пошли! каждый должен был стараться пригнуть ладонь другого к столу. Фаррингтон имел очень серьезный и решительный вид.

Состязание началось. Секунд через тридцать Уэзерс медленно припечатал ладонь своего соперника к столу. От злости, от унижения, что его победил какой-то юнец, темное винно-багровое лицо Фаррингтона еще сильнее потемнело.

– Нельзя весом тела надавливать, – сказал он. – Играйте честно.

– Кто это не играет честно? – отвечал тот.

– Давайте еще разок. Лучшие и сильнейшие.

Состязание началось снова. На лбу Фаррингтона вздулись вены, лицо Уэзерса из бледного стало ярко-розовым. И кисти, и руки обоих дрожали от напряжения. После долгой борьбы Уэзерс снова медленно пригнул ладонь соперника к столу. Зрители одобрительно загудели. Официант, стоявший возле стола, кивнул рыжей головой в сторону победителя и с туповатой развязностью сказал:

– Вот это так дока!

– Да какого хрена ты в этом понимаешь? – Фаррингтон разъяренно обернулся к сказавшему. – Ты чего разеваешь свою пасть?

– Ш-ш, не будем! – произнес О'Халлоран, заметив угрожающую мину на лице Фаррингтона. – Лучше еще по стопочке, малыши. Последний глоточек, и мы пошли.

Мужчина отменно мрачного вида стоял на углу моста О'Коннелла, ожидая маленького трамвайчика на Сэнди-маунт, чтобы добраться домой. Мстительный гнев и раздражение, накаляясь, переполняли его. Он чувствовал себя униженным, недовольным; он ощущал, что даже и не напился; и в кармане оставалось два пенса. Он клял все на свете. Он все себе обрубил в конторе, заложил часы, все растратил и не сумел даже напиться. У него появилась снова жажда, и его снова потянуло туда, в смрадную духоту трактира. Он потерял всю свою славу силача, дважды его победил мальчишка. В сердце у него клокотала ярость, и, когда он вспомнил, как

та женщина в большой шляпе задела его и сказала Пардон! ярость едва не задушила его.

Трамвай довез его до Шелборн-роуд, и он двинулся дальше, направляя грузное тело вперед в тени казарменных стен. Он ненавидел возвращаться домой. Войдя через боковую дверь, он увидел, что в кухне никого нет и огонь в очаге почти погас. Он заорал наверх:

– Эйди! Эйди!

Жена его была маленькая женщина с острым личиком, которая его держала под каблук, когда он бывал трезв; но когда он бывал пьян, он на ней отыгрывался. У них было пять детей. По ступенькам сбежал вниз мальчик.

– Кто это? – крикнул мужчина в темноту.

– Это я, пап.

– Ты кто, Чарли?

– Не, пап, Том.

– А мать где?

– Она в церковь пошла.

– Так-так... А она мне не догадалась оставить ужин?

– Она оставила, пап. Я...

– Зажги лампу. Какого дьявола тут у вас темнота? А остальные в постели?

Мужчина тяжело опустился на стул, между тем как мальчик зажигал лампу. Он начал передразнивать простонародный говор сына, повторяя себе под нос: В церковь, в церковь, скажите-ка! Едва свет зажегся, он ударил кулаком по столу и крикнул:

– Где ужин мой?

– Я... я его сейчас разогрею, пап, – ответил мальчик.

Мужчина вскочил и ткнул с яростью в сторону огня.

– Вот на этом огне? У вас тут огонь потух! Адский бог, я вас сейчас научу огонь держать!

Он шагнул к двери и схватил стоявшую за ней трость.

– Я тебя научу огонь держать! – повторил он, засучивая рукав, чтоб тот не мешал ему.

Мальчик тоненько закричал Па-ап! и с плачем бросился бежать вокруг стола, однако мужчина преследовал его и поймал за курточку. Малыш в отчаянии глянул вокруг, но, не видя спасения, упал на колени.



– Ага, в следующий раз будешь держать огонь! – крикнул мужчина, с силой ударив его тростью. – Щенок, вот тебе!

Мальчик издал пронзительный вопль, когда трость обожгла его бедро. Он поднял вверх сжатые вместе руки, его голос дрожал от ужаса.

– Пап! – кричал он. – Не бей меня, папочка! Я... я для тебя прочитаю Аве Мария... Папочка, не бей, я тебе прочитаю Аве Мария... Я тебе прочитаю...

Земля

Заведующая разрешила, чтобы она ушла, как только женщины кончат пить чай, и Мария наперед радовалась своему выходному вечеру. В кухне все было прибрано до блеска: кухарка сказала, что в медные котлы можно смотреться вместо зеркала. Огонь горел приветливо, ярко, и на одном из столиков сбоку были заготовлены четыре очень больших круглых пирога с изюмом. Казалось, что они не разрезаны, но если подойти ближе, то увидишь, что на самом деле они нарезаны на толстые одинаковые ломти, которые можно раздавать к чаю. Мария их сама нарезала.

Мария была совсем-совсем маленькой, ничего не скажешь, но у нее были очень длинный нос и очень вытянутый подбородок. Она говорила немного в нос и всегда ласково: «Да, миленькая» или «Нет, миленькая». За ней всегда посылали, когда женщины ссорились из-за тазов, и всегда ей удавалось водворить мир. Как-то раз заведующая сказала ей:

– Ты у нас прямо миротворец, Мария!

И эту похвалу слышали кастелянша и еще две дамы-попечительницы. А Муни-Огонек всегда повторяла что она ох чего бы сделала этой глухонемой у которой утюги кабы не Мария. Марию все просто очень любили.

Чай начинался в шесть и она значит освободилась бы еще раньше семи. От Боллсбриджа до Колонны двадцать минут – от Колонны в Драмкондру еще двадцать – и двадцать минут на покупки. На месте значит будет к восьми. Она взяла свой кошелечек с серебряными защелками и перечитала надпись «Подарок из Белфаста». Она этот кошелечек очень любила, потому что Джо ей привез его еще пять лет назад, когда они с Олфи ездили в Белфаст на Духов день. В кошелечке были две полукроны и еще кое-какая медь. Значит после трамвая у нее чистых останется пять шиллингов. И какой у них будет славный вечерок, детишки все будут петь! Только вот она надеялась, что Джо не придет подвыпивши. Как выпьет, он становился просто совсем другой.

Он часто ей говорил, чтобы она жила с ними, но она как-то чувствовала что будет лишней (хотя жена Джо всегда с ней очень хорошо обращалась) и потом она уж привыкла к этой жизни в прачечной. Джо был славный мальчик. Она его нянчила, и его и Олфи, и Джо часто говорил:

– Мама это мама, конечно, но настоящая мне мать Мария.

После того как дом развалился, мальчики ей нашли это место в прачечной «Стирка Вечернего Дублина», и ей тут нравилось. Прежде она очень плохо думала о протестантах, но теперь считала, они хорошие люди, немного чересчур тихие и

серьезные, но все-таки хорошие люди, и жить с ними хорошо. Потом, там у нее в теплице были растения, и она за ними любила ухаживать. У нее там были чудные папоротники, бегонии, и кто бы ни приходил в гости к ней, она всем давала парочку ростков из своей теплицы. Одно вот она все-таки не любила, это назидания, что всюду там висели по стенкам, но зато заведующая была такая приятная, такая любезная.

Когда кухарка ей сказала, что все готово, она пошла в рабочую комнату и стала звонить в большой колокольчик. Вскоре женщины начали подходить, по две и по три, опуская рукава блуз на красные распаренные руки и вытирая о фартуки распаренные кисти рук. Они рассаживались перед большими кружками, и в эти кружки кухарка вместе с глухонемой наливали из больших оловянных чайников горячий чай, уже сладкий и с молоком. Мария командовала распределением пирога, следя, чтобы каждой из женщин досталось бы по четыре ломтя. Все очень много шутили и смеялись. Лиззи Флеминг сказала, что Марии достанется обязательно кольцо, и хотя эта Флеминг так говорила уже незнамо сколько раз на Всех Святых, Марии пришлось тоже засмеяться и сказать, что она вовсе не хочет ни кольца, ни мужа; и когда она засмеялась, в ее серо-зеленых глазах мелькнули смущение и горечь и кончик носа почти уткнулся в кончик подбородка. А потом Муни-Огонек подняла свою кружку с чаем и предложила выпить за здоровье Марии, и другие все женщины постучали кружками по столу, а она добавила, жаль только, нету ни капли портеру, чтобы был тост настоящий. И Мария опять засмеялась, так что кончик носа почти достал кончик подбородка, а маленькое тело почти все затряслось, потому что она знала, эта Муни ей и вправду хочет добра, хотя, конечно, у ней все понятия простой женщины.

Но уж это ли не была радость, когда все закончили чай и кухарка с глухонемой начали убирать со стола! Мария пошла в свою каморку и, вспомнив, что на следующее утро надо к мессе, переставила будильник с семи на шесть. Она сняла с себя рабочую юбку, сняла туфли для дома, разложила на кровати лучшую выходную юбку и рядом с кроватью поставила крохотные выходные башмачки. Кофточку она тоже сменила и, став перед зеркалом, вспомнила, как, бывало, молодой девушкой одевалась к мессе поутру в воскресенье; и со странным теплом она посмотрела на миниатюрное тело, которое она обряжала и украшала столько раз. Несмотря на годы, она считала, что это симпатичное чистенькое маленькое тело.

Когда она вышла на улицу, мостовые блестели от дождя, и она была благодарна своему старенькому коричневому плащу. В трамвае было полно, и ей досталось сиденье в конце вагона, лицом ко всем остальным; ноги у ней едва доставали до пола. Она перебрала в голове все, что надо было ей сделать, и подумала, насколько лучше, когда ни от кого не зависишь и у тебя твои собственные деньги в кармане. Она надеялась, у них будет чудный вечер. Она в этом была уверена, но все-таки не могла не подумать, какая это жалость, что Джо и Олфи не разговаривают друг с другом. Они теперь постоянно вздорили, а ведь мальчишками были лучшие друзья. Но так устроена жизнь.

У Колонны она сошла с трамвая и торопливо начала пробираться сквозь толпу. В кондитерской Даунса, куда она направлялась, было столько народа, что ей пришлось порядочно ждать своей очереди. Купив дюжину разных пирожных по пенни, она выбралась наконец оттуда, нагруженная большим пакетом. Она стала думать, что бы еще купить, ей хотелось что-нибудь действительно симпатичное. Яблоки, орехи – всего этого у них и так хватит. Трудно было придумать, кроме кекса, ей ничего не пришло в голову. Она решила взять кекс с коринкой, но у Даунса такой кекс был слишком жиденько посыпан миндалем сверху, и она пошла в магазин на Генри-стрит.

Тут она очень долго выбирала, и модная молодая барышня за прилавком, которая прямо уже начинала раздражаться, спросила ее, наверно, она покупает свадебный пирог. Мария от этого покраснела и улыбнулась барышне, но та оставалась совершенно серьезной и наконец отрезала ей большую порцию кекса с коринкой, завернула и сказала:

– Два шиллинга четыре пенса, пожалуйста.

В трамвае на Драмкондру она было уже решила, что ей придется стоять, потому что все молодые парни словно не замечали ее, но тут ей, подвинувшись, уступил местечко один джентльмен в летах. Он был плотный джентльмен в коричневой жесткой шляпе, лицо широкое, красное и усы с проседью. Мария подумала, он похож на полковника, и начала размышлять, насколько он вежливей, чем те молодые, что преспокойно сидят и смотрят перед собой. Джентльмен завел с ней разговор про День Всех Святых и про дождливую погоду. Он сказал, что в пакете у нее наверняка много вкусного для малышей и что он считает, молодым не грех, конечно, взять от жизни, пока они молодые. Мария не перечила и с ним во всем соглашалась, вежливо поддакивая и кивая. Он был с ней очень любезным, и когда она выходила на Кэнел-бридж, она его поблагодарила и раскланялась, и он тоже раскланялся, приподнял шляпу и очень приветливо улыбнулся, и пока она поднималась по улице, пряча от дождя в плечи маленькую головку, она думала, как сразу узнается джентльмен, если он даже выпил немножко.

Все закричали хором: «А вот и Мария!», когда она вошла в дом к Джо. Сам Джо тоже был, он вернулся уже домой из конторы, и все дети были одеты по-праздничному. Пришли еще две соседские девочки постарше, и как раз были детские игры. Мария дала пакет с пирожными Олфи, старшему мальчику, чтобы он раздал всем, а миссис Доннелли сказала, что это она уже прямо слишком, такой огромный пакет пирожных, и велела, чтобы все дети сказали хором:

– Спасибо, Мария.

Но Мария сказала, что она принесла еще кое-что для папы и мамы, что-то, что им понравится, и стала смотреть, где ее кекс с коринкой. Она посмотрела в сумке от Даунса, в карманах своего плаща, потом на вешалке, и нигде не могла его найти. Потом она спросила у всех детей, не съел ли его кто-нибудь из них, конечно нечаянно, – но все дети сказали нет, и с таким видом, будто они вообще не хотят есть свои пирожные, если на них думают, что они утащили кекс. Все предлагали всякие разгадки тайны, а миссис Доннелли сказала, ясное дело, Мария его забыла в трамвае. Мария вспомнила, как ее этот краснолицый джентльмен совсем сбил с толку, и вся сама покраснела от стыда, от досады и огорчения. При мысли о том, как провалился ее маленький сюрприз и как пропали куда два шиллинга и четыре пенса, она еле удерживалась, чтобы не заплакать навзрыд.

Но тут Джо сказал, что все это пустяки, и усадил ее у камина. Он был к ней очень внимателен. Он рассказал ей все, что у него делается на службе, и повторил ей свой ответ, как он ловко ответил управляющему. Мария не поняла, почему это Джо так хохочет над этим своим ответом, но сказала, что этот управляющий, видно, уж очень командует и с ним трудно. Джо отвечал, что он не так грозен, если знать подход к нему, и что он малый порядочный, пока ты ему не наступил на мозоль. Миссис Доннелли играла для детишек на пианино, они пели и танцевали. Потом две соседские девочки всем раздали орехи, но только щипцы для орехов нигде не могли найти. Джо был готов уже вспылить, он спросил, как это они думают Мария будет колоть орехи без щипцов. Но Мария сказала, она не любит орехи и пусть они не

беспокоятся насчет нее. Тогда Джо предложил, не выпьет ли она бутылочку портера, а миссис Доннелли сказала, в доме есть и портвейн, если она предпочитает. Мария ответила, что самое лучшее, если они ничего ей не будут предлагать выпить, но Джо все равно настаивал.

Мария тогда согласилась, как он хотел, и они сидели так у огня, разговаривая про старые времена. Мария подумала, что это хороший случай замолвить за Олфи словечко. Но Джо стал кричать убей его Бог на месте если он хоть слово еще когда-нибудь скажет со своим братом, и ей пришлось извиняться, что она завела на такую тему. Миссис Доннелли сказала супругу, что это великий стыд, когда он так говорит про собственную свою кровную родню, а Джо на это ответил, что Олфи ему не брат, и вокруг этого уж почти начиналась ссора, но только Джо вовремя сказал, что в такой вечер он не хочет сердиться, и попросил жену принести еще портера. Две соседские девочки устроили игры, какие бывают на Всех Святых, и скоро всем опять стало весело. Мария просто была в восторге, что дети так веселятся, а Джо и жена его в таком добром настроении. Соседские девочки поставили на стол несколько блюдец и стали детей подводить к столу, с завязанными глазами. Одному достался молитвенник, трем другим – вода, а когда одной из соседских девочек досталось кольцо, миссис Доннелли погрозила ей пальцем, как будто хотела сказать: «Я знаю-знаю!» – и та вся покраснела. Потом они захотели, чтобы Марии тоже завязали глаза и подвели бы к столу, они хотели посмотреть, что ей достанется, и пока ей повязывали повязку, Мария все время смеялась, так что кончик носа у нее почти что уткнулся в кончик подбородка.

Смеясь, перешучиваясь, они подвели ее к столу, и она подняла руку, как ей сказали. Она стала двигать рукой в воздухе и опустила ее на одно из блюдец. Пальцами она почувствовала что-то мягкое и мокрое, какое-то вещество, и удивилась, что никто ничего не говорит и не снимает повязку с нее. Настала пауза на несколько секунд, а потом все очень зашевелились и зашептались. Кто-то что-то сказал про сад, и в конце концов миссис Доннелли что-то совсем резко сказала одной из соседских девочек и велела ей немедленно это выбросить, это ей не игрушки. Мария поняла, что на этот раз что-то вышло не так, и ей пришлось снова все повторить, и на следующий раз ей достался молитвенник.

После этого миссис Доннелли сыграла для детей рил[71 - Шотландский хороводный танец.] мисс Макклауд, а Джо заставил Марию выпить рюмку вина. Вскоре все они снова развеселились и миссис Доннелли сказала, что не иначе как Мария собирается уйти в монастырь в этом году, раз ей выпал молитвенник. Мария никогда еще не видала, чтобы Джо был такой милый с ней, чтобы он говорил и вспоминал столько всего приятного. Она им сказала, что они очень добры к ней.

Под конец дети стали усталые и сонные, и Джо попросил Марию, не споет ли она песенку, прежде чем уходить, какую-нибудь из старых песен. Миссис Доннелли сказала: «Ну пожалуйста, Мария!», так что Марии пришлось подняться и подойти к пианино. Миссис Доннелли велела детишкам, чтобы они утихли и слушали. Потом она сыграла вступление и сказала: «Мария, пора!», и Мария, вся покраснев, запела слабым, дрожащим голоском. Она пела «Мне снилось», и когда дошла до второго куплета, то начала опять то же самое:

Мне снилось, что я в чертогах живу  
И сокровищ моих не счесть,  
И повсюду я самой прекрасной сльву,  
И поют мне хвалу и лесть.

Род мой был из древнейших и славных в стране,  
Много счастья рок мне сулил,  
Но милее всего было мне в этом сне,  
Что любовь ты ко мне сохранил.

Но никто не стал ей говорить про ее ошибку, и когда она кончила петь, Джо был очень растроган. Он сказал, что больше уж не бывало таких времен как те давние времена и на его вкус, не было такой музыки как у старины Болфа, что бы там кто ни говорил; и у него слезы выступили на глазах так сильно, что он не мог найти, что искал, и в конце концов должен был попросить жену, чтобы она сказала ему, где штопор.

### Печальное происшествие

Мистер Джеймс Даффи жил в Чейплизоде, ибо предпочитал жить как можно дальше от города, коего гражданином он был, а все прочие пригороды Дублина он находил пошлыми, претенциозными, слишком новыми. Он жил в доме старом и мрачном, где из окон взгляд его мог созерцать заброшенный спиртовой заводик либо направляться вверх по мелководной реке, на которой стоит Дублин. В комнате его были высокие голые стены и пол, лишенный ковра. Каждый предмет обстановки в этой комнате он купил сам: железная черная кровать, железный же умывальник, четыре плетеных стула, вешалка, ведро для угля, решетка и подставка для камина и квадратный стол, на котором стояла двойная конторка. Роль книжного шкафа выполняли белые деревянные полки, устроенные в нише. Постель застилалась белым покрывалом, которое дополнял черно-оранжевый плед в ногах. Над умывальником было повешено маленькое ручное зеркальце, а днем на каминной полке, составляя ее единственное украшение, стояла лампа под белым абажуром. Книги на белых полках располагались в порядке толщины снизу вверх. В конце самой нижней полки стоял полный Вордсворт, а в конце верхней – «Манутский катехизис» в матерчатом переплете от записной книжки. На конторке всегда были письменные принадлежности; в ящиках же ее хранился рукописный перевод «Михаэля Крамера» Гауптмана, где ремарки были написаны фиолетовыми чернилами, а также тонкая пачечка листков, скрепленных медною скрепкою. На эти листки время от времени заносились мысли и изречения, а на первом листке в ироническую минуту наклеен был заголовок рекламы «Желчных пилюль». Когда поднимали крышку конторки, оттуда исходил слабый запах – запах новых карандашей из кедрового дерева, или гуммиарабика, или же перезрелого яблока, которое, возможно, там когда-то оставили и забыли.

У мистера Даффи вызывало ужас все, что несло печать физического или умственного беспорядка. Средневековый мудрец признал бы его рожденным под знаком Сатурна. Лицо его, на котором читалась повесть всех прожитых лет, имело буроватый цвет дублинских улиц. На вытянутой и довольно крупной голове произрастали сухие черные волосы и усы с рыжинкой, не закрывавшие не слишком любезных уст. Скулы тоже придавали лицу жесткое выражение, однако в глазах не было жесткости; глядя на мир из-под рыжеватых бровей, они создавали впечатление, будто их обладатель в любой момент готов приветствовать в ближних какие-либо искупающие черты, но часто обманывается в своих надеждах. Он жил, несколько отстраняясь от своего тела и рассматривая собственные действия искоса и с сомнением. У него была странная автобиографическая склонность, которая побуждала его время от времени составлять в уме краткую сентенцию о себе самом, с подлежащим в третьем лице и сказуемым в прошедшем залоге. Он никогда не подавал нищим и ходил с крепкою ореховой тростью, твердой походкой.

В течение многих лет он служил кассиром в частном банке на Бэггот-стрит. Каждое утро он приезжал из Чейплизода на трамвае. В полдень шел завтракать к Дэну Берку – бутылка легкого пива и тарелочка аррорутевого печенья. В четыре покидал службу. Обедал он в ресторанчике на Джордж-стрит, где меню отличалось некою честною простотой и где он знал, что ему не угрожает общество дублинской золотой молодежи. Вечера его проходили либо за пианино его квартирной хозяйки, либо в блужданиях по окраинам. Любовь к музыке Моцарта иногда увлекала его в оперу или в концерт, и это были единственные расточительные развлечения в его жизни.

У него не было ни компании, ни друзей, ни церкви, ни веры. Его духовная жизнь проходила без малейшего общения с другими. На Рождество он посещал родственников; когда родственники умирали, он провожал их на кладбище. Две эти социальные повинности он нес из уважения к старым обычаям, но более не платил уже никаких оброков условностям, управляющим жизнью общества. Он допускал у себя мысль, что при известных обстоятельствах он мог бы ограбить свой банк, но, коль скоро эти обстоятельства ни разу не возникали, жизнь его шла ровно: повесть без приключений.

Однажды вечером в Ротонде он оказался рядом с двумя дамами. Вид полупустого молчаливого зала предвещал прискорбный провал. Его соседка один-два раза обвела взглядом пустынные ряды и сказала:

– Как жаль, что сегодня совсем нет публики! Артистам так трудно, когда надо петь перед пустыми креслами.

Он воспринял реплику как приглашение к разговору. Свобода ее обращения удивила его. Беседуя с ней, он старался попрочнее запечатлеть ее в своей памяти. Когда он узнал, что девушка рядом с ней – ее дочь, он рассудил, что она, верно, моложе его на какой-нибудь год. Лицо ее, явно бывшее прежде очень красивым, оставалось живым и умным; оно было овальной формы, с четкими линиями. Взгляд темно-голубых глаз был пристальным; сначала он бывал с ноткой вызова, но затем смягчался, благодаря тому что зрачок как бы нарочным усилием растворялся в радужной оболочке и на какой-то миг за ним проглядывала необычайно чувствительная натура. Зрачок быстро восстанавливал прежний контур, выглянувшая на миг натура возвращалась в лоно благоразумия, и каракулевый жакет, облежавший довольно пышную грудь, со всею определенностью подтверждал вызывающую ноту.

Он снова встретил ее через две-три недели в концерте на Эрлсфорт-Террас и, улучая моменты, когда внимание дочери отвлекалось, старался продвинуться к более близкому знакомству. Раз или два она упомянула о своем муже, но ее тон при этом не был таким, чтобы упоминание звучало предупреждением. Ее звали миссис Синико. Прапрадед ее мужа когда-то переселился из Ливорно. Муж был капитаном торгового судна, делавшего рейсы из Дублина в Голландию, и ребенок у них был один.

Случайно встретив ее в третий раз, он набрался смелости и назначил свидание. Она пришла, и это свидание стало первой из многих встреч. Они встречались всегда по вечерам и выбирали для совместной прогулки самые тихие места города. Однако мистер Даффи питал отвращение к потайным действиям, и, видя, что обстоятельства толкают их встречаться украдкой, он настоял, чтобы она пригласила его в свой дом. Капитан Синико относился к его визитам одобрительно, полагая, что речь идет о руке его дочери. Он искренне и всецело исключал свою жену из своей галереи наслаждений, и ему никогда бы не пришло в голову, что она может вызвать интерес у кого-нибудь. Муж был то и дело в отъезде, дочь часто отсутствовала, давая

уроки музыки, и у мистера Даффи было много возможностей бывать в обществе своей дамы. Никаких подобных приключений никогда прежде не было как у него, так и у нее, и оба не видели ничего неподобающего в своих действиях. Мало-помалу он начал соприкасаться свои мысли с ее мыслями. Он давал ей читать книги, излагал ей идеи, разделял с ней свою интеллектуальную жизнь. Она внимала всему.

Иногда в ответ на его теории она приводила какой-нибудь факт из собственной жизни. Почти с материнским вниманием она побуждала его раскрыть до конца ей свою натуру: она сделалась его исповедником. Он рассказал ей, что некоторое время посещал собрания Ирландской социалистической партии и чувствовал там себя в полной изоляции среди двух дюжин рабочих-трезвенников, на чердаке, еле освещаемом керосиновой лампой. Когда партия раскололась на три фракции, каждая со своим вождем и своим чердаком, он прекратил посещения. Как он сказал ей, дискуссии рабочих были слишком робкими, а их интерес к проблеме зарплаты – неумеренным и непродуманным. У него было ощущение, что все они лишь дубоватые реалисты, которых отталкивает строгая точность – плод досугов, что для них были недоступны. Социальная революция, сообщил он ей, в течение ближайших столетий не разразится в Дублине.

Она спросила, отчего он не записывает своих мыслей. Чего ради? в свою очередь спросил он с хорошо взвешенным презрением. Чтобы состязаться с построчными писаками, неспособными мыслить последовательно в течение шестидесяти секунд? Чтобы стать мишенью для критики тупых буржуа, что уверяют свою мораль полисменам, а изящные искусства антрепренерам?

Он приходил часто в ее небольшой коттедж за городом; часто они проводили вечер наедине. Мало-помалу, по мере того как их мысли соприкасались тесней, их беседы переходили к менее отдаленным предметам. Ее общество было словно нагретая земля для тропического растения. Много раз она позволяла сумеркам окутывать их, предпочитая не зажигать лампу. Полумрак комнаты, уединение, музыка, еще звучавшая в их ушах, – все это их сближало. И эта близость воодушевляла его, сглаживала резкие грани его характера, напивала его умственную жизнь эмоциями. Порой он ловил себя на том, что прислушивается к звукам собственного голоса. Ему думалось, что в глазах подруги он возвысился почти до ангельского чина, и по мере того как ее пылкая натура все теснее привязывалась к нему, ему слышался странный безличный голос, который он опознал как свой собственный и который твердил о том, что душе присуще неизлечимое одиночество. Мы не можем отдать себя, говорил голос, – мы принадлежим лишь себе. Подобные речи завершились тем, что в один из вечеров, когда миссис Синико проявляла все знаки чрезвычайного возбуждения, она с порывистой страстью схватила его руку и прижала к своей щеке.

Мистер Даффи был изумлен необычайно. Ее истолкование его слов разбило его иллюзии. Он не приходил к ней неделю, потом написал письмо с просьбой о встрече. Поскольку он не хотел, чтобы на их последнее свидание налагалась атмосфера их рухнувшей исповедальни, они встретились в небольшой кондитерской подле входа в Феникс-парк. Стояла холодная осень, но, невзирая на холод, они бродили по дорожкам парка почти три часа. Они согласились, что разорвут свои отношения: каждая связь, сказал он, связывает со скорбью. Выйдя из парка, они в молчании направились к остановке трамвая; но здесь ее начала колотить такая сильная дрожь, что, опасаясь нового срыва с ее стороны, он быстро распрощался с ней и ушел. Через несколько дней он получил посылку, в которой были его книги и ноты.

Прошло четыре года. Жизнь мистера Даффи обрела вновь ровное течение. Его комната по-прежнему свидетельствовала об упорядоченности его ума. Полку с нотами в

комнате нижнего этажа обременили несколько новых сборников, а на книжных полках поселились два томика Ницше, «Так говорил Заратустра» и «Веселая наука». Пачечка листов в конторке пополнялась записями редко. Одна из записей, сделанная через два месяца после финального свидания с миссис Синико, гласила: любовь между мужчиной и женщиной невозможна, ибо сексуальная связь недопустима; дружба между мужчиной и женщиной невозможна, ибо сексуальная связь неизбежна. Он стал избегать концертов из опасения повстречать ее. Умер его отец; младший партнер его банка удалился от дел. Но каждое утро, изо дня в день, он отправлялся на трамвае в город и каждый вечер возвращался пешком домой, с умеренностью пообедав на Джордж-стрит и в качестве десерта прочитав вечернюю газету.

В один из вечеров рука его, направлявшаяся ко рту с толикою солонины с капустой, вдруг замерла. Глаза его приковала заметка в вечерней газете, которую он читал, прислонив к графину с водой. Он вернул пищу на тарелку и внимательно прочитал заметку. Потом выпил стакан воды, отодвинул тарелку в сторону и, положив сложенную вдвое газету перед собой между поставленными на стол локтями, перечел заметку еще и еще раз. Капуста на тарелке подернулась белой пленкой холодного застывшего жира. Служанка подошла и спросила, не подали ли ему сегодня плохую порцию. Он ответил, что все приготовлено отлично. С трудом проглотив несколько кусков, он расплатился и вышел.

Он быстро шагал в ноябрьских сумерках, крепкая ореховая трость мерно ударяла по тротуару, и край кремового номера «Мейл» торчал из кармана двубортного узкого пальто. На пустынной дороге от ворот Феникс-парка к Чейплизоду он замедлил шаги. Трость ударяла уже не с такой уверенностью, дышал он неровно, со звуками, напоминавшими вздох, и дыхание застывало в морозном воздухе. Придя домой, он сразу поднялся в свою комнату и, вынув из кармана газету, вновь перечел заметку при свете, падавшем из окна. Он читал не вслух, однако шевеля губами, как делает священник при чтении молитв *Secreto*[72 - Втайне (лат.); имеются в виду молитвы Евхаристического канона, произносимые священником не вслух, а в уме.]. Заметка была следующая.

Смерть дамы на станции Сидни-Пэрейд

Печальное происшествие

Сегодня в Дублинской Городской Больнице помощником следователя (ввиду отсутствия мистера Леверетта) было произведено следствие по поводу смерти миссис Эмили Синико, сорока трех лет, погибшей на станции Сидни-Пэрейд вчера вечером. Согласно показаниям свидетелей, покойная, пытаясь перейти пути, была сбита паровозом десятичасового пассажирского поезда, шедшего из Кингстауна, что причинило повреждения головы и правой части тела, вызвавшие ее смерть.

Джеймс Леннон, паровозный машинист, сообщил, что он работает на железной дороге уже пятнадцать лет. Услышав свисток к отправлению, он тронул состав, но через секунду или две снова остановил его, потому что раздались громкие крики. Скорость поезда была малой.

П. Данн, носильщик на станции, сообщил, что, когда поезд уже трогался, он заметил, как женщина собирается переходить пути. Он побежал к ней, окликая ее, но прежде чем он успел добежать, она была уже сбита буфером паровоза и упала.



ВОПРОС ПРИСЯЖНОГО: Вы сами видели, как дама упала?

СВИДЕТЕЛЬ: Да, видел.

Сержант Кроули показал, что, прибыв на место происшествия, он обнаружил тело покойной лежащим на перроне без признаков жизни. По его указанию тело было перенесено в зал ожидания до прибытия медицинской кареты.

Констебль бляха 57 подтвердил это показание.

Доктор Холпин, помощник хирурга Дублинской городской больницы, сообщил, что у покойной были переломы двух нижних ребер, а также тяжелые ушибы правого плеча. Правая сторона головы получила ранения при падении. Все повреждения не были достаточными для наступления смерти у человека в нормальном состоянии. По его мнению, смерть наступила вследствие шока и внезапной остановки сердца.

Мистер Х. Б. Паттерсон Финли от имени управления железной дороги выразил глубокое сожаление по поводу инцидента. Управление всегда принимало максимальные меры предосторожности, чтобы предотвратить хождение по путям, как с помощью развески соответствующих указателей и объявлений, так и с помощью установки автоматических шлагбаумов. Потерпевшая имела привычку в поздний час переходить с платформы на платформу, и с учетом некоторых других обстоятельств дела, по его мнению, служащие компании не несли вины за случившееся.

Капитан Синико, проживающий по адресу: Леовилль, Сидни-Пэрейд, супруг погибшей, также дал показания. Он подтвердил, что покойная была его женой. Во время случившегося его не было в Дублине, поскольку он лишь на следующее утро вернулся из Роттердама. Они были женаты двадцать два года и все это время жили счастливо, за вычетом последних двух лет, когда у жены образовались невоздержанные привычки.

Мисс Мэри Синико сказала, что в последнее время у ее матери появилась привычка выходить поздно из дома и покупать спиртные напитки. Она, свидетельница, неоднократно пыталась говорить с матерью об этом и убеждала ее вступить в Лигу. Она вернулась домой лишь час спустя после происшествия.

Присяжные вынесли вердикт, руководясь медицинскими данными, и полностью сняли ответственность с машиниста Леннона.

Помощник следователя заявил, что случившееся было самым печальным происшествием, и выразил глубокое соболезнование капитану Синико и его дочери. Он также призвал управление железной дороги усилить меры по предупреждению подобных инцидентов в будущем. Ответственность не была возложена ни на кого.

Мистер Даффи поднял взгляд от газеты и посмотрел из окна на безрадостный вечерний пейзаж. Река тихо струилась рядом с безлюдным заводиком, в окнах домов на Льюкен-роуд то тут, то там загорался свет. Какой конец! Весь этот рассказ о ее смерти его отталкивал, и его отталкивала мысль, что некогда он разговаривал с ней о том, что для него было свято. Избитые фразы, пустые слова сочувствия, окольные выражения репортера, которого уговорили спрятать подробности банальной, вульгарной смерти, – все это у него вызывало корчи в желудке. Она не только сама опустилась и унизилась, она унизила и его. Ему представилась убогая тошнотворная

дорожка ее порока. Подруга его души! Он вспомнил жалкие фигурки, которые ему случалось видеть, плетущиеся к трактирщику с бутылками, банками, чтоб он налил. Боже правый, какой конец! Она была явно не приспособлена к жизни, не имея никакой силы характера, легко став жертвой своих привычек – одной из тех жертв, на чьих костях строится цивилизация. Но чтобы уж так низко пасть! Возможно ли, чтобы он настолько обманулся в ней? Он вспомнил ее вспышку в тот вечер и сейчас оценил ее гораздо суровее, чем когда-либо раньше. Сейчас он без всяких колебаний одобрял свое поведение.

Вечерний свет угасал, его мысли, воспоминания начинали мешаться, ему почудилось, будто ее рука коснулась его руки. Тот шок, который он сперва ощутил в желудке, сейчас охватывал его нервы. Он быстро надел пальто, шляпу и вышел. Холодный ветер сразу обдал его на пороге, забираясь в рукава. Подойдя к трактиру у Чейплизодского моста, он вошел и заказал грог.

Хозяин обслужил его с угодливостью, но не решился заговорить. В трактире было пять-шесть рабочих, они спорили, сколько стоит какое-то имение в графстве Килдер. Они прихлебывали из больших пивных кружек, курили, почасту сплевывая на пол, и время от времени тяжелыми сапогами затирали плевки в опилки. Мистер Даффи уселся на табурет. Он смотрел на них, не видя их и не слыша. Через некоторое время они ушли. Он заказал еще грог и долго сидел над ним. В трактире было совсем тихо. Хозяин, облокотившись на стойку и позевывая, читал «Геральд». Порой доносилось, как по пустынной улице громыкает трамвай.

Он сидел, заново переживая свою жизнь с ней, поочередно вызывая два образа, в которых она рисовалась ему теперь, – и внезапно осознал, что она мертва, что она перестала существовать, что она превратилась в воспоминание. Ему начало становиться не по себе. Он спросил себя, что же он еще мог сделать. Он не мог продолжать с ней какую-то обманную комедию, и он не мог жить с ней открыто. Он поступил так, как ему казалось лучше. В чем же его упрекать? Теперь, после того как ее не стало, он понял, насколько одинока была ее жизнь, когда она из вечера в вечер сидела одна в той комнате. И его жизнь тоже останется одинокой, покуда он тоже не умрет, не перестанет существовать, не превратится в воспоминание – если только кто-нибудь о нем вспомнит.

Был уже десятый час, когда он покинул трактир. Стояла мрачная, холодная ночь. Он вошел в Феникс-парк через ближние ворота и зашагал меж высоких голых стволов. Он шагал по голым аллеям, где они с ней ходили четыре года назад. Казалось, она где-то рядом здесь, в этой тьме. Порой ему казалось, что он слышит голос ее, что его руки касается ее рука. Он замер, прислушиваясь. Зачем он отнял у нее жизнь? Зачем он приговорил ее к смерти? Он чувствовал, как моральная природа его рушится на куски.

Выйдя на гребень Мэгэзин-Хилл, он остановился и глянул вниз по реке, в сторону Дублина, огни которого приветливым красноватым светом посверкивали в холодной ночи. Потом он поглядел по склону холма и у подножия, под укрытием стены парка, увидел несколько лежащих фигур. Вид этой скрывающейся, продажной любви наполнил его отчаянием. Он усомнился в правильности своей жизни; он ощутил себя изгоем на жизненном празднике. Одно-единственное человеческое существо, казалось, полюбило его – и он отказал ей в жизни и счастье, приговорил ее к позору, к постыдной смерти. Он знал, что эти создания, лежащие под стеной, смотрят на него и хотят, чтобы он ушел. Никто не желал его – он был изгой на празднике жизни. Он обратил взгляд к тускло поблескивавшей реке, что змеилась в направлении к Дублину. За рекой он увидел товарняк, выползавший со станции Кингс-бридж, змеясь в ночи

словно огненноглавый червь, упрямо, усердно. Он медленно исчез из вида, но в ушах еще отдавался усердный и мерный шум машины, в ритме которого без конца повторялись слоги ее имени.

Он возвращался тем же путем, и ритм машины продолжал отдаваться в его ушах. Он начал сомневаться в реальности того, о чем говорила ему память. Остановившись под деревом, он выждал, пока ритм перестанет отдаваться. Он не чувствовал, что она здесь рядом во тьме и что ее голос касается его слуха. Несколько минут он выжидал, прислушиваясь. Ничего не было слышно: в ночи царило полное молчание. Он выждал еще, он прислушался: полное молчание. Он понял, что он один.

## День плуца в Зале Заседаний

Старый Джек согреб вместе головешки куском картона и с большим умом начал раскладывать их поверх круглой горки побелевших углей. Когда вся горка была заложена, его лицо погрузилось в темноту, но тут он принялся раздувать пламя, и его сгорбившаяся тень явилась на противоположной стене, а лицо медленно выплыло вновь на свет. Это было старческое лицо, костистое и заросшее щетиной. Влажные голубые глаза помаргивали от огня, а влажный рот время от времени приоткрывался и, закрываясь, механически делал пару жевков. Когда головешки занялись, он прислонил кусок картона к стене и, вздохнув, сказал:

– Так-то оно лучше, мистер О’Коннор.

Мистер О’Коннор, молодой человек с пепельными волосами, с лицом, которое портили многочисленные пятна и прыщики, только что скатал порцию табака для сигареты в аккуратный цилиндр, но при обращенных к нему словах в задумчивости ликвидировал свое изделие. Потом с той же задумчивостью он принялся вновь скатывать табак и, поколебавшись, пришел к решению лизнуть бумажку.

– А не сказал мистер Тирни, когда вернется? – спросил он хрипловатым фальцетом.

– Не говорил.

Мистер О’Коннор сунул в рот сигарету и стал шарить по карманам. Извлек он пачку плотных листков.

– Сейчас дам вам спичку, – сказал старик.

– Не трудись, и это годится, – отвечал О’Коннор. Он взял один листок и прочел напечатанное на нем:

## Муниципальные выборы

### Биржевой Округ

Мистер Ричард Дж. Тирни, Б.З.Б.[73 - Блуститель Закона о Бедных (Poor Law Guardian) – чиновник, обыкновенно ведавший домами призрения и работными домами.], свидетельствуя свое почтение, просит отдать ему Ваш голос и Вашу

поддержку на предстоящих выборах в Биржевом Округе.

Мистер О'Коннор был подряжен доверенным лицом мистера Тирни вести кампанию последнего в части округа. Погода, однако, не благоприятствовала, а башмаки его прохудились, и оттого он проводил большую часть дня в Зале Заседаний на Уиклоу-стрит, сидя у камина в обществе старого швейцара Джека. Сегодня они так посиживали с самого начала сумерек. Было шестое октября. Дни стали уже короткие, снаружи было холодно и уныло.

О'Коннор оторвал от листка полоску, зажег ее от огня и от нее зажег сигарету. Когда он закуривал, пламя полоски осветило темный поблескивающий листок плюща у него в петлице. Старик внимательно смотрел на него; потом снова вооружился куском картона и неторопливо стал раздувать огонь.

– Да, – продолжал он, – нынче-то уж не знаешь, как их в руках держать. Кто б подумал, что мой до этакого дойдет! Я его выучил у Братьев-Христиан, что мог, для него все делал – а он, вишь, за рюмку. Ну, я его маленько пробовал поучить...

Он отставил устало свой картон.

– Кабы не мои годы, уж он бы у меня поплясал под другую дудку. Взял бы это я добрую дубину да отходил его вдосталь как сколько разов бывало. Мать-то с ним понимаешь нянькается и так и сяк...

– Вот что губит детей, – сказал О'Коннор.

– Уж это без спору, – согласился старик. – А от них-те никакого спасибо, одно бесстыжество. Как приметит, ежели я хлебнул, так давай охальничать надо мной. Это куды же свет идет, когда сын этак смеет своему отцу говорить?

– Сколько ему лет? – спросил О'Коннор.

– Да уж девятнадцать, – сказал старик.

– А почему ты его не пристроишь куда-нибудь?

– Так я с этого пропойного питуха дня не слезал с той самой поры, как он со школы ушел! «Я тя на шее держать не стану, – я ему. – Давай каку работу себе ищи». Да при работе-то как бы не пушая беда: ведь все спустит-пропьет.

О'Коннор сочувственно покачал головой, а старик смолк, неподвижно глядя в огонь. Кто-то отворил дверь и крикнул в комнату:

– Привет! Тут что, масонская сходка?

– Кто там? – спросил старик.

– Вы что в темноте сидите? – продолжал голос.

– Это ты, Хайнс? – спросил О'Коннор.

– Я самый. Так вы что в темноте сидите? – повторил мистер Хайнс, появляясь в свете камина.

Он был высокий, худощавый молодой человек со светло-каштановыми усиками. На полях шляпы у него висели готовые сорваться капли дождя, воротник куртки был поднят.

– Ну что, Мэт, – обратился он к О’Коннору, – как оно идет?

Мистер О’Коннор покачал головой. Старик покинул свое место у огня и, поспотыкавшись по комнате, вернулся с двумя подсвечниками, которые он поднес один за другим к огню и потом поставил на стол. Взорам представилась оголенная комната, и огонь камина потерял весь свой веселый блеск. Стены были пусты, лишь на одной висело предвыборное обращение. Посредине стоял небольшой столик с наваленною на него грудой бумаг.

Облокотившись на каминную полку, Хайнс спросил:

– А он тебе уже заплатил?

– Нет пока, – отвечал О’Коннор. – Возношу мольбы, чтобы он с нами не сыграл шутку сегодня.

Хайнс рассмеялся.

– Да нет, он заплатит, не опасайся, – сказал он.

– Надеюсь, он с этим не затянет, если хочет, чтоб дело делалось, – сказал О’Коннор.

– А ты как думаешь, Джек? – с усмешкой обратился Хайнс к старику.

Старик, снова усевшись у огня, отвечал:

– У этого-то хоть водится за душой. Не как другой проходимец.

– Что еще за проходимец? – спросил Хайнс.

– Колган, – молвил старик с презрением.

– Это ты потому, что Колган рабочий? А чем, скажи мне, трактирщик лучше честного каменщика? Что, разве рабочий человек не имеет такое же право быть советником, как любой другой, – да у него больше прав, чем у всех этих джонбульчиков [74 - Shoneen, от Джон [Буль], как и West Briton, «британчик» (см. «Мертвые»), – одна из презрительных кличек, изобретенных националистами для сторонников англичан.], что на брюхе ползает перед каждым, у кого имя с приставкой! Верно, Мэт? – обратился Хайнс к О’Коннору.

– По-моему, ты прав, – отвечал тот.

– Один – бесхитростный, честный работяга, у которого ничего общего со всей грязной кухней. Он будет представлять трудовые классы. А этот, что нанял вас, ему только и надо местечко.

– Без спору, рабочие должны быть представлены, – сказал старик.

– Рабочий человек, – продолжал Хайнс, – зарабатывает одни пинки вместо достойной платы. Хотя он собственным трудом производит все. Рабочий человек не выискивает теплые местечки для своих сынков и зятьев. Рабочий человек не будет втапывать в грязь честь Дублина, чтобы угодить немчику-монарху.

– Это как такое? – спросил старик.

– А ты не слыхал, они собираются подносить адрес королю Эдуарду, если он сюда явится на будущий год? Кому это надо, чтобы мы ползали перед иностранным монархом?

– Ну, наш-то не будет за адрес голосовать, – заметил О’Коннор. – Он же по списку националистов.

– Уж так не будет? – возразил Хайнс. – Ты за него заранее не ручайся. Я-то знаю его. Не зря он прозван Трюкач Ловкач Тирни.

– Ей-ей, может, ты и прав, Джо, – сказал О’Коннор. – Но как бы ни было, мне б хотелось, чтоб он тут появился с капустой.

Трое замолчали. Старик снова принялся сгребать головни. Хайнс снял шляпу, отряхнул ее от дождя и отвернул воротник куртки. На лацкане куртки блеснул листок плюща.

– Если бы этот человек был жив, – произнес он, показывая на листок, – об адресе никто б и не заикнулся.

– Твоя правда, – сказал О’Коннор.

– Пра слово, вот когда было времечко, – сказал старик. – Уж в те поры была жизнь.

Вновь настало молчание. Потом дверь комнаты отворил толчком подвижный маленький человечек, шмыгающий носом, с сильно замерзшими ушами. Быстрым шагом он подошел к камину, потирая руки так яро, словно собирался добыть из них огонь.

– Денег нет, парни, – молвил он.

– Присаживайтесь сюда, мистер Хенчи, – сказал старик, предлагая ему свой стул.

– Да не вскакивай, Джек, сиди, – отвечал мистер Хенчи. Он коротко кивнул Хайнсу и уселся на стул, который освободил старик.

– Вы выяснили обстановку на Онгайр-стрит? – спросил он у О’Коннора.

– Да, – отвечал тот, принимаясь искать по карманам свои записи.

– А вы встречались с Граймзом?

– Встречался.

– И что? Как его намерения?

– Он не хотел давать обещаний. Говорит: «Я никому не сообщаю, как я буду

голосовать». Но я-то думаю, с ним порядок.

– Почему так?

– Он у меня спросил, кто были выдвигавшие. Я назвал имена и назвал отца Берка. Думаю, тут все будет в порядке.

Мистер Хенчи вновь начал шмыгать носом и с ужасающей скоростью тереть руки над огнем. Потом он сказал:

– Ради Бога, Джек, принеси малость уголька! Там должно еще оставаться.

Старик вышел из комнаты.

– Дохлый номер, – сказал мистер Хенчи и помотал головой. – Я спросил этого шпаненка, а он мне в ответ: «Вы знаете, мистер Хенчи, когда я увижу, что дело делается как следует, я вас не забуду, будьте уверены». Проходимец, сквалыга! Да что еще-то от него можно ждать?

– А что я тебе говорил, Мэт? – сказал Хайнс. – Трюкач Ловкач Тирни.

– Трюкач, негде пробу ставить, – поддержал мистер Хенчи. – Недаром у него эти свинушьи глазки. Разрази его душу, он что, не мог заплатить как человек? Так он мне развел: «Вы знаете, мистер Хенчи, мне надо поговорить с мистером Феннингом... У меня были очень большие расходы». Сквалыжный шкодник, пропади он пропадом! Он, видать, позабыл то время, когда папашка его был старьевщиком на Мэрис-лейн.

– Это что, правда? – спросил О'Коннор.

– Истинный Бог, – сказал мистер Хенчи. – А вы никогда не слышали? Утром по воскресеньям, когда кабаки закрыты, парни приходили к нему в лавчонку, чтоб срочно купить жилетку или штаны – ха! А у папашки Трюкача Ловкача был тоже свой трюк, пара бутылочек в уголку. Ясно теперь? Вот так-то. И там он впервые узрел свет дня.

Старик вернулся с кусками угля и принялся их раскладывать в камине.

– Милый подарочек, – сказал О'Коннор. – А как это он ждет работы от нас, если не намерен платить?

– Я тут бессилён, – произнес мистер Хенчи. – Ко мне самому вот-вот явятся, чтобы описать имущество.

Хайнс рассмеялся и, сделав движение плечами, чтобы отделиться от стенки, приготовился уходить.

– Приедет король Эдди, и все устроится, – сказал он. – Ладно, парни, мне надо двигать. Увидимся попоздней, пока.

Он неторопливо вышел из комнаты. Ни мистер Хенчи, ни старик не раскрыли рта, однако О'Коннор, который стоял, уныло уставившись в камин, при звуке закрывающейся двери вдруг окликнул вдогонку:

– Пока-пока, Джо.

Мистер Хенчи выждал немного и потом кивнул в направлении двери.

– Скажите-ка, – спросил он с другой стороны камина, – а с чем это наш друг приходил? Что ему надо?

– Да что надо! – сказал О’Коннор, отправляя в огонь окурочек. – Бедняга Джо, ему тоже туго, как и нам всем.

Мистер Хенчи мощно потянул носом и сплюнул столь изобильно, что почти загасил огонь, который протестующе зашипел.

– Если хотите знать мое личное и чистосердечное мнение, – сказал он, – то он, сдается мне, из другого лагеря. Он шпион Колгана, я так думаю. Сходи, мол, к ним, погляди да разнюхай, чем они там дышат. На тебя они не подумают. Улавливаете?

– Да ну, Джо – это честный малый, – отвел О’Коннор.

– Отец его был честный, почтенный человек, – признал мистер Хенчи. – Старина Ларри Хайнс! Немало он сделал доброго на своем веку. Но опасаясь, этот наш друг не чистой воды алмаз. Черт дери, я всегда пойму, если парню туго, но кого я не понимаю, это прилипал. Мог он в себе найти хоть на грош мужского?

– Я-то его не больно привечаю, когда он заявляется, – сказал старик. – Пускай его работает для своих, а не ходит сюда лазутничать.

– Ей-ей, не знаю, – с сомнением произнес О’Коннор, вынимая курительную бумагу и табак. – На мой взгляд, Джо Хайнс – прямая душа. Притом он способный, пером владеет. Вы помните эту его штучку...?

– А на мой взгляд, – сказал мистер Хенчи, – среди этих фениев и боевиков в горах есть некоторые слишком способные. Сказать вам мое личное и чистосердечное мнение насчет кой-каких этих шутников? Я думаю, из них половина на жалованье в Замке.

– Про то неведомо никому, – сказал старик.

– Но я-то знаю как факт, – сказал мистер Хенчи. – Они наемники Замка... Я не говорю, что Хайнс... Нет, черт дери, он-то, думаю, выше этого... Но вот есть один такой коротенький косоглазый сэр – вам понятно, на какого патриота я намекаю?

О’Коннор кивнул.

– Так он вот, если хотите, по прямой линии потомок майора Сэрра! У-у, патриот по крови! И он вам продаст свою родину за четыре пенса – ага – и будет на коленях благодарить Всемогущего Христа за то, что у него нашлась родина, чтобы ее продать.

Послышался стук в дверь.

– Войдите! – произнес мистер Хенчи.

У входа показалась фигура, напоминавшая бедного пастора или актера. Черная одежда была наглухо застегнута на его низеньком теле, и нельзя было сказать,



носит ли он воротник церковного или мирского фасона, потому что воротник его заношенного редингота, в облезлых пуговицах которого отражалось пламя от свечек, тесно окутывал его шею. На голове его была круглая черная шляпа жесткого фетра. Лицо, поблескивавшее капельками дождя, выглядело как желтый сыр со слезой, за вычетом двух красных пятен, указывавших на скулы. Его очень длинный рот резко разинулся, выражая обескураженность, но в тот же момент он широко раскрыл свои синие живые глаза, чтобы выразить удивление и удовольствие.

– Как, отец Кеон! – воскликнул мистер Хенчи, вскакивая со стула. – Вы ли это? Входите, входите!

– Нет-нет-нет-нет! – произнес скороговоркой отец Кеон, сложив губы трубочкой, как говорят с маленькими детьми.

– Вы не хотите войти, присесть?

– Нет-нет-нет! – повторил отец Кеон, который говорил мягким и кротким, медоточивым голосом. – Я не должен вас беспокоить! Я просто ишу мистера Феннинга...

– Он тут рядом, в «Черном орле», – сказал мистер Хенчи. – Но, может быть, вы войдете все-таки на минутку?

– Нет-нет, благодарю вас, тут просто небольшое дело, – отклонил отец Кеон. – Благодарю вас.

Он начал ретироваться, а мистер Хенчи, взяв один из подсвечников, пошел, чтобы осветить ему на лестнице.

– Ну что вы, не затрудняйте себя!

– Но тут так темно на лестнице.

– Нет-нет, мне видно... Благодарю вас.

– Вы спустились уже?

– Все в порядке, спасибо... Спасибо.

Мистер Хенчи вернулся и, поставив на стол подсвечник, снова уселся у огня. Некоторое время прошло в молчании.

– Скажите мне, Джон, – произнес О'Коннор, раскуривая сигарету от очередного выборного листка.

– Да?

– А что он такое на самом деле?

– Спросите чего полегче, – отвечал мистер Хенчи.

– Я смотрю, их с Феннингом водой не разлить. Сидят почасту вместе у Каваны... Священник он вообще или нет?

– Ммм... думаю, что да... Я думаю, он, что называется, паршивая овца в стаде. У нас не так много их, слава Богу! но несколько таких имеются... По сути, несчастный человек...

– А чем он пробавляется?

– Еще одна тайна.

– Он приписан к какой-нибудь церкви, к часовне или там к заведению...

– Нет, – сказал мистер Хенчи, – полагаю, он путешествует за собственный счет... Эх, Господи прости, – прибавил он, – а я-то думал, что он – это дюжина портера.

– Мы можем хоть рассчитывать на глоток? – спросил О'Коннор.

– У меня тоже уж пересохло, – сказал старик.

– Я трижды спрашивал этого шпаненка, – сказал мистер Хенчи, – соизволит ли он прислать дюжину портера. И сейчас вот снова спросил, только он у стойки, без пиджака, очень глубокомысленно балабонил с олдерменом Каули.

– Что же вы ему не напомнили? – сказал О'Коннор.

– Ну, я ж не буду встречать, пока он говорит с олдерменом Каули. Я подождал, пока не вышло перехватить его взгляд, и говорю: «Так насчет того дельца, про которое я вам...», а он мне на это: «Все будет в порядке, мистер Х». Да видать, этот мальчик-с-пальчик все давно позабыл.

– Какая-то тут у них комбинация, – проговорил О'Коннор задумчиво. – Я вчера видел их всех троих на углу Саффолк-стрит, и что-то они так горячо обсуждали...

– Сдается мне, я знаю эту игру их, – сказал мистер Хенчи. – На сегодня, если ты хочешь стать лорд-мэром, надо, чтоб ты был должен денежки отцам города. Тогда они тебя сделают лорд-мэром. Истинный Бог! Я вот подумываю, не сделаться ли мне самому отцом города. Что вы на это скажете? Подойду?

О'Коннор рассмеялся.

– Ну, если главное – это быть в долгах...

– Буду выезжать из Дворца в мантии из говностая, – продолжал мистер Хенчи, – а Джек будет сзади на запятках в пудреном парике – а? как?

– Меня тогда возьмите личным секретарем, Джон.

– Непременно. А отца Кеона назначу личным духовником. Устроим семейный праздник.

– Ей-ей, мистер Хенчи, – сказал старик, – вы б лучше подошли, чем из них некоторые. Я вот намерен говорить со старым Киганом, с привратником. «А как тебе новый хозяин, Пэт?», это я ему. «У вас никак помене стало приемов», я ему. «Приемов!», это он мне. «Да ему на обед хватит запаха от кухонной тряпки». И дале что он сказал, это как Бог свят, я не мог поверить.

– А что? – спросили О'Коннор и мистер Хенчи.

– Он грит: «Вот как тебе это будет, ежели лорд-мэр Дублина для своего стола посылает в лавку за фунтом баранины? Как тебе этакая широкая жизнь?», это он мне. «Диво! Ну, диво!», я ему. «Фунт баранины», он мне, «привозят в резиденцию мэру». «Диво!», я ему, «что ж это теперича за люди стали?»

При этих словах раздался стук в дверь, и в комнату просунулась голова подростка.

– Чего еще? – спросил у него старик.

– Из «Черного орла», – отвечал подросток, протискиваясь в дверь боком и ставя на пол корзину, в которой позвякивали бутылки.

Старик с помощью подростка переместил бутылки из корзины на стол и пересчитал всю партию. По окончании операции подросток надел корзину на руку и спросил:

– А бутылки есть?

– Какие бутылки? – спросил старик.

– Ты нам не позволишь их сперва выпить? – спросил мистер Хенчи.

– Мне велели, чтоб я спросил про бутылки.

– Приходи завтра, – сказал старик.

– Слушай, парень, – сказал мистер Хенчи, – сбегай-ка к О'Фарреллу и скажи, чтобы он дал нам штопор, для мистера Хенчи, скажи. Нам на пару минут всего. А корзинку оставь пока.

Подросток удалился, а мистер Хенчи начал бодро потирать руки, приговаривая:

– Ха, не так уж он, выходит, и плох. Сдержал свое слово, как-никак.

– Нет стаканов, – молвил старик.

– Не бери в голову, Джек, – сказал мистер Хенчи. – Многим неплохим людям уже случалось пить из бутылки.

– Как бы ни было, это лучше, чем ничего, – сказал О'Коннор.

– Он, правда, неплохой малый, – сказал мистер Хенчи, – только этот Феннинг его в кулаке держит. Сам-то он, понимаешь, хочет как лучше, на свой проходимский лад.

Подросток принес штопор. Старик взял его, откупорил три бутылки и отдал обратно, а мистер Хенчи предложил посылному:

– А ты выпить не хочешь, парень?

– Если угостите, сэр, – отвечал он.

Старик с недовольной миной открыл еще одну бутылку и передал подростку.

– Тебе лет сколько? – спросил он.

– Семнадцать, – ответил тот.

Старик не сказал больше ничего, и подросток, взявши бутылку со словами, обращенными к мистеру Хенчи: «Мое вам почтение, сэр», – выпил ее до дна, поставил на стол обратно и утер рот рукавом. Потом он забрал штопор и вышел в дверь боком, бормоча некие прощальные приветствия.

– Вот так вот оно и начинается, – произнес старик.

– Коготок увяз, – дополнил мистер Хенчи.

Старик раздал три откупоренные бутылки, и трое одновременно выпили, хлебнув, каждый поставил свой сосуд на полку камина в пределах досягания и сделал долгий удовлетворенный выдох.

– Что ж, я сегодня изрядно потрудился, – сказал мистер Хенчи после пары.

– В самом деле, Джон?

– Точно. Я ему обеспечил два или три верняка на Доусон-стрит, то есть мы с Крофтоном. Между нами говоря, Крофтон, он так-то приличный малый, конечно, но только голоса собирать – в этом ему грош цена. Молчит как рыба, стоит и глазеет на людей, а я отдуваюсь.

Тут в комнату вошли двое. Один из них был очень толст, и его костюм синей саржи грозил свалиться с его покатою фигуры. У него было широкое лицо, по выражению сильно напоминавшее теленка, синие неподвижные глаза и седеющие усы. Другой был куда моложе и тоньше, и лицо его было худым и гладко выбритым. На нем был очень высокий двойной воротничок и шляпа-котелок с широкими полями.

– Привет, Крофтон! – сказал мистер Хенчи, обращаясь к толстяку. – Про волка речь...

– Так, а откуда тут выпивка? – спросил молодой. – Никак коровка отелилась?

– У Лайонса глаз, конечно, тут же на выпивку! – сказал О'Коннор со смехом.

– Это вы так собираете голоса, – сказал Лайонс, – пока мы с Крофтоном таскаемся по дождю, по холоду да обрабатываем народ?

– Да разрази ваши души, – парировал мистер Хенчи, – я в пять минут больше обработаю народа, чем вы с Крофтоном за неделю.

– Открой-ка пару бутылок, Джек, – сказал О'Коннор.

– Как же открыть-то? – отвечал тот. – Штопора у нас нет.

– Ха, погодите-ка! – сказал мистер Хенчи, живо поднявшись с места. – Показать вам небольшой фокус?

Он взял со стола две бутылки и, подойдя к огню, поставил их на каминную решетку.

Потом снова уселся у огня и отхлебнул из своей бутылки. Мистер Лайонс устроился

на углу стола, сдвинув шляпу далеко на затылок, и принялся болтать ногами.

– Которая бутылка моя? – спросил он.

– Эта вот, – указал мистер Хенчи.

Мистер Крофтон уселся на какой-то ящик и устремил неподвижный взор на свою бутылку. Он не открывал рта по двум причинам. Первая, уже достаточно веская, заключалась в том, что ему было нечего сказать; другой же причиной было то, что он считал своих компаньонов ниже себя. Он был сборщиком голосов для консерватора Уилкинза, но, когда консерваторы сняли своего кандидата и, выбрав меньшее из двух зол, отдали поддержку националистам, он подрядился работать для мистера Тирни.

Вскоре раздалось извиняющееся «Пок!» – и из бутылки мистера Лайонса вылетела пробка. Лайонс соскочил со стола, подошел к камину, забрал бутылку и вернулся на место.

– А я как раз тут рассказываю, Крофтон, – сказал мистер Хенчи, – как мы сегодня заполучили недурную порцию голосов.

– И кого ж вы заполучили? – спросил Лайонс.

– Значит, во-первых, Паркса, во-вторых, Аткинсона, и еще я вдобавок обработал Уорда, с Доусон-стрит. Он, кстати, мировой мужик, этакий старый барин чистой воды, старый консерватор! «Но ведь, однако, кандидат ваш – националист?», это он мне. «Он уважаемый джентльмен», я ему. «Он стоит в поддержку всего, что идет на пользу страны. И он вносит изрядные суммы за недвижимость», это я дальше. «У него обширные домовладения в Дублине, у него три конторы, так что уж он-то прямо заинтересован в низких местных налогах! Он гражданин видный, почитаемый всеми», я значит нажимаю, «он Блуститель Закона о Бедных, и он не состоит ни в одной партии, ни в плохой, ни в хорошей и ни в средней». Вот как их надо обрабатывать.

– А как насчет адреса королю? – поинтересовался Лайонс, выпив и облизнув губы.

– Послушайте меня, – молвил мистер Хенчи. – Как я сказал старому Уорду, то, что нам надо для страны, это капитал. Приезд короля значит прежде всего приток монеты в страну. И граждане Дублина выиграют от этого. Поглядите, сколько фабрик стоят пустыми вдоль набережных! И прикиньте, какие деньги будут в стране, если мы снова запустим старые промыслы, старые заводы, верфи, эти самые фабрики. Капитал, требуется капитал.

– Но как же, Джон, – возразил О'Коннор, – неужели мы будем приветствовать английского короля? Ведь еще Парнелл...

– Парнелл умер, – молвил мистер Хенчи. – Сейчас я скажу вам, как я смотрю на это. Вот малый, который сел на престол, после того как мамаша его не подпускала туда до самых седых волос. Он знает жизнь, знает мир, и он нам хочет добра. Он отменный парень по всем статьям, достойный парень, я так считаю, и не надо меня кормить баснями насчет него. Он просто сказал себе: «Старушка ни разу не ездила к этим диким ирландцам. Черт дери, а я вот съезжу и погляжу, какие они такие». И что, мы станем оскорблять человека, когда он приедет к нам с дружеским визитом? А? Правду я говорю, Крофтон?

Мистер Крофтон тяжело кивнул.

– И все ж таки, если начистоту, – возражающе сказал Лайонс, – та жизнь, какую вел король Эдуард, она, знаешь, не больно-то...

– Не стоит поминать старое, – сказал мистер Хенчи. – Я лично так восхищаюсь им. Он самый натуральный разбитной парень, как мы с тобой. Он выпить не дурак, он где-то и повеса, пожалуй, он хороший спортсмен. Черт побери, мы как ирландцы могли бы уж показать красивую игру?

– Звучит все неплохо, – заметил Лайонс, – но теперь давайте посмотрим на дело Парнелла.

– Бога ради, – удивился мистер Хенчи, – какая же тут, спрашивается, связь?

– Я хочу сказать, – продолжал Лайонс, – у нас есть наши идеалы. Почему это мы должны приветствовать такую личность? Как ты считаешь, после того что он сделал, Парнелл мог быть нашим вождем? А почему тогда мы должны одобрять такое поведение у Эдуарда Седьмого?

– Сегодня день Парнелла, – сказал О'Коннор. – Не надо нам поднимать старую муть со дна. Сейчас мы все его чтим, когда он ушел, – все, даже консерваторы, – добавил он, повернувшись к Крофтону.

Пок! Запоздалая пробка вылетела из бутылки Крофтона – и последний, поднявшись с ящика, направился к огню за добычей. Вернувшись на место, он низким голосом произнес:

– Наша сторона его чтит, потому что он был джентльмен.

– Вы в самую точку, Крофтон! – с жаром воскликнул мистер Хенчи. – Он был единственный, кто мог усмирить эту шелудивую свору. «Лежать, щенки! Шавки, цыц!» Он с ними только так обращался. Заходите, Джо, заходите! – пригласил он, увидев появившегося в дверях Хайнса.

Хайнс медленно вошел в комнату.

– Открой еще бутылочку, Джек! – продолжал мистер Хенчи. – Да, я же забыл про штопор! Тогда передай мне одну, и я пристрою ее.

Старик передал ему бутылку, и он поставил ее нагреваться.

– Присаживайся, Джо, – сказал О'Коннор, – мы как раз говорили о Вожде.

– Да-да! – подтвердил мистер Хенчи.

Хайнс уселся на край стола рядом с Лайонсом, но ничего не сказал.

– Но есть по крайней мере один, – произнес мистер Хенчи, – кто от него не отрекся. Клянусь Богом, это я о вас, Джо! Нет, я Богом готов поклясться, вы стояли за него как мужчина!

– Джо, слушай, – сказал вдруг О'Коннор, – а прочитай-ка нам эту штучку, что ты сочинил, – помнишь ведь? Она у тебя с собой?

– Да-да, – поддержал мистер Хенчи, – прочитайте. Вы не слышали, Крофтон? Стоит послушать, это просто отлично.

– Давай-давай, Джо, – понукал О’Коннор, – раскочегаривайся.

Хайнс, казалось, не сразу понял, про какой плод его пера они говорят; но, минуту подумав, отвечал:

– А, вы об этом... Да это уж сейчас устарело.

– Всё, Джо, начали! – отвел О’Коннор.

– Всем тихо, – сказал мистер Хенчи. – Читайте, Джо!

Еще с минуту Хайнс колебался. Потом, среди общего молчания, он снял шляпу, положил ее на стол, встал. Казалось, он мысленно повторял стихи про себя. После довольно долгой паузы он объявил:

#### СМЕРТЬ ПАРНЕЛЛА

Шестое октября 1891 года

Откашлявшись, он начал читать:

Он мертв. Невенчаный король  
Наш мертв. Зеленый остров, плачь!  
Скончался он в расцвете сил,  
Трусливый сброд его палач.

Затравлен злобной клеветой,  
Хвалы и почестей лишен,  
Ирландцев светлые мечты  
С собой унес в могилу он.

Скорбят ирландские сердца,  
Звучат рыдания: тот в гробу,  
Кто богатырскою рукой  
Ковал Ирландии судьбу.

Он возвеличил бы страну,  
Ее вождей, ее певцов,  
И гордо реял бы над ней  
Зеленый флаг ее отцов.

К Свободе он летел мечтой!  
И цель была уже близка,  
Как вдруг удар из-за угла  
Наносит подлая рука.

Горит Иудин поцелуй,

Позор предателям навек!  
От гнусной черни, от попов  
Великий гибнет человек.

Проклятье памяти рабов,  
Кто имя в грязь его втоптал.  
Он не желал им отвечать,  
Он их надменно презирал.

Он пал как рыцарь-исполин,  
Он был бесстрашен до конца,  
И тени древних храбрецов  
Встречают душу храбреца.

Что ж! Пусть он с миром спит теперь!  
Уж он не выступит на бой  
За честь, за право бедняка –  
Он вечный заслужил покой.

Они достигли своего,  
Его сразили – но постой!  
Как заалееется заря,  
Воскреснет дух его живой.

То будет радости заря,  
Свободы пир и волшебство,  
Лишь память Парнелла для нас  
Добавит горечь в торжество.

Хайнс снова уселся на край стола. Когда он закончил чтение, все с минуту молчали, потом раздались аплодисменты – даже Лайонс захлопал. Хлопали не слишком долго; и вслед за тем, среди вновь воцарившегося молчания, каждый из слушателей отхлебнул из своей бутылки.

Пок! вылетела пробка из бутылки Хайнса, однако тот остался сидеть, покрасневший и с непокрытой головой. Он словно не слышал приглашения.

– Ты мировой парень, Джо! – сказал О’Коннор, извлекая кисет и курительную бумагу, чтобы лучше скрыть чувства.

– Ну как, что скажете, Крофтон? – вскричал мистер Хенчи. – Отлично, а?

Мистер Крофтон сказал, что это было отличное стихотворение.

Мать

Мистер Холохан, помощник секретаря общества «Eire Abu»[75 - «Победа Ирландии» (ирл.)], курсировал по всему Дублину почти целый месяц с массой мятых клочков бумаги в руках и по всем карманам, он занимался устройством цикла концертов. Он был хромой, отчего имел у своих друзей прозвище Прыгунчик. Курсировал он неумоимо и мог по часу стоять на углу, обсуждая вопрос и делая пометки для памяти; однако в конечном счете организовала все миссис Карни.



Мисс Девлин превратилась в миссис Карни назло. Она воспитывалась в монастыре высокого разбора, где выучилась музыке и французскому языку. От природы она была бледной и имела жесткую манеру держаться, так что подруг у нее в пансионе было мало. Когда подошло время замужества, ее начали вывозить во многие дома, где ее игра и ее безупречные манеры вызывали общее восхищение. Она замкнулась в ледяном кругу своих совершенств и ожидала, когда появится отважный рыцарь, который не убоится преград и откроет перед нею врата блистательной жизни. Но молодые люди, которых она встречала, были ординарны, и она никак не поощряла их, а романтические свои чувства пыталась утешить путем усиленного поедания рахат-лукума. Однако, когда она приблизилась к опасному пределу и подруги уже начинали прохаживаться на ее счет, она их заставила умолкнуть, выйдя замуж за мистера Карни, у которого было сапожное дело на Ормонд-куэй.

Он был гораздо старше ее. Его речь была серьезной, с промежутками, и обращалась к его широкой каштановой бороде. После года жизни в замужестве миссис Карни пришла к выводу, что иметь такого мужчину практичней, нежели романтического героя, однако она никогда не оставляла своих романтических идей. Он был умеренным, экономным, богобоязненным, и он приступал к алтарю в первую пятницу каждого месяца, иногда вместе с ней, но чаще один. Тем не менее она несколько не отступала от религии, и она была ему хорошей женой. В гостях в незнакомом доме, стоило ей повести бровью едва заметно, как он поднимался уходить, а когда его донимал кашель, она укутывала ему ноги пуховым одеялом и делала крепкий ромовый пунш. Он, в свою очередь, был образцовым отцом. За малые еженедельные взносы в страховое общество он обеспечил, что обе его дочери должны были получить по сто фунтов, когда им исполнится двадцать четыре года. Старшую дочь, Кэтлин, он устроил в хороший монастырский пансион, где она выучилась музыке и французскому языку, а потом оплатил ей учение в Академии. Каждый год в июле миссис Карни находила случай упомянуть какой-нибудь из подруг:

– Мой благоверный нас отправляет в Скерри на пару-тройку недель.

Иногда же вместо Скерри фигурировали Хоут или Грейстоунз.

Когда Ирландское Возрождение приобрело осязаемый вес, миссис Карни решила, что имя ее дочери открывает некие возможности, и в дом пригласили учителя ирландского языка. Кэтлин и ее сестра слали своим подругам ирландские почтовые открытки, а те слали им ирландские почтовые открытки в ответ. В праздничные воскресенья, когда мистер Карни со всем семейством посещал церковь, служившую кафедральным собором, после мессы на углу Кафедрал-стрит сходилась небольшая община. Тут все были друзья семейства Карни, кто по музыкальной линии, кто по национальной, и когда все косточки, до самой крохотной, оказывались перебиты со всех боков, собравшиеся все разом начинали пожимать руки друг другу, смеясь, что сразу пересекается столько рукопожатий, и прощались друг с другом по-ирландски. В скором времени имя мисс Кэтлин Карни было уже на устах у многих. Люди говорили, что она очень способная в музыке, и чудесная девушка, и твердо верит в возрождение национального языка. Миссис Карни была всем этим очень довольна. Поэтому ее вовсе не удивило, когда в один прекрасный день к ней пришел мистер Холохан и предложил, чтобы ее дочь выступила аккомпаниатором в цикле из четырех больших концертов, которые его Общество собиралось дать в концертном зале Эншент. Она провела его в гостиную, усадила в кресла и выставила графин и серебряную корзиночку с печеньем. С великой дотошностью она входила во все подробности предприятия, советовала и разубеждала – и в итоге всего был заключен контракт, по которому Кэтлин должна была получить восемь гиней за участие в

качестве аккомпаниатора в четырех больших концертах.

Поскольку мистер Холохан был новичком в таких тонких материях, как составление афиш и расположение номеров в программе, миссис Карни помогала ему. У нее был такт. Она знала, какие маэстро должны быть указаны крупным шрифтом и какие маэстро должны значиться мелкими буквами. Она знала, что первый тенор не пожелает выходить после комических куплетов мистера Мида. Чтобы интерес публики не ослабевал, она разместила номера сомнительные между всеобщими любимцами. Мистер Холохан заглядывал каждый день посоветоваться о чем-нибудь. Она его принимала дружески, даже запросто, и никогда не отказывала в советах. Пододвигая к нему графинчик, она приговаривала:

– Угощайтесь-ка, мистер Холохан!

И пока он наливал себе, она подбадривала:

– Смелей, смелей, не смущайтесь!

Все шло как по маслу. Миссис Карни купила у Брауна Томаса бесподобный коралловый креп-сатин для отделки платья Кэтлин. Он был по заоблачной цене, но есть случаи, когда кой-какие траты оправданы. Другьям, прихода которых иначе было не обеспечить, она разослала с десятков билетов по два шиллинга на последний концерт. Она ничего не упустила из вида, и благодаря ей все, что только надо было сделать, было сделано.

Концерты были назначены на среду, четверг, пятницу и субботу. Когда в среду вечером миссис Карни в сопровождении дочери появилась в концертном зале Эншент, ей не понравилось то, как все это выглядело. Несколько молодых людей с ярко-голубыми значками в петлицах празднично стояли в вестибюле; ни один из них не был в вечернем платье. Она прошла мимо с дочерью и, метнув быстрый взгляд в открытую дверь зрительного зала, разгадала причину праздности служителей. Сначала она подумала, не ошиблась ли она насчет времени. Нет, было без двадцати восемь.

В комнате за кулисами сцены она была представлена секретарю Общества мистеру Фицпатрику. Она улыбнулась ему и обменялась с ним рукопожатием. Мистер Фицпатрик был небольшой человечек с белым невыразительным лицом. Она отметила, что его каштановая шляпа мягкого фетра небрежно сдвинута набекрень, а выговор самый простонародный. В руках он вертел программу и, пока говорил с ней, сжевал один ее угол в мокрый мякиш. Промашки и неприятности он переносил, казалось, легко. Каждые несколько минут в комнату являлся мистер Холохан с последними сведениями из кассы. Маэстро нервно переговаривались между собой, поглядывали в зеркало, свертывали и развертывали свои ноты. Когда время подошло к половине девятого, немногие сидящие в зале начали выражать желание, чтобы их занимали. Мистер Фицпатрик вошел в комнату и с невыразительной улыбкой сказал:

– Что же, леди и джентльмены, я полагаю, надо открывать бал.

Миссис Карни удостоила беглого презрительного взгляда вульгарное произношение последнего слова и ободряюще обратилась к дочери:

– Ну как, милочка, ты готова?

При ближайшей возможности она отозвала мистера Холохана в сторонку и попросила,

чтобы он объяснил ей, что это значит. Мистеру Холохану не было известно, что это значит. Он сказал, что комитет сделал ошибку, наметив четыре концерта: четыре – это перебор.

– И эти маэстро! – сказала миссис Карни. – Конечно, они стараются как могут, но ведь они невысокого уровня.

Мистер Холохан допускал, что маэстро никчемные, но комитет, по его словам, решил, что пускай первые три концерта пройдут как-нибудь, а все таланты приберегал на субботу. Миссис Карни ничего не сказала на это, но по мере того как на сцене одни жалкие номера сменялись другими, а в зале скудная публика делалась еще и еще скудней, она начала сожалеть, что пошла на расходы ради такого концерта. Что-то не нравилось ей в том, как это все выглядело, и ничего не выражающая улыбка мистера Фицпатрика ее до крайности раздражала. Но она ничего не сказала, она хотела посмотреть, как это закончится. Концерт иссяк незадолго до десяти, и все быстро разошлись.

Концерт в четверг собрал больше публики, но миссис Карни сразу же раскусила, что это сплошь были контрамарочники. Они так бесцеремонно вели себя, как будто явились не в концерт, а на какую-нибудь рядовую репетицию. Мистер Фицпатрик выглядел довольным и отнюдь не подозревал, что миссис Карни с растущим гневом наблюдает за его поведением. Он держался с краю сцены у занавеса и, время от времени высовывая голову, перешучивался с двумя приятелями на галерке. В ходе вечера миссис Карни узнала, что концерт в пятницу пришлось отменить, однако комитет намеревался перевернуть небо и землю, чтобы обеспечить в субботу полностью набитый зал. Услышав об этом, она разыскала мистера Холохана. Она вцепилась в него, когда он бодро ковылял, спеша доставить барышне стакан лимонада, и спросила, правда ли это. Да, это была правда.

– Но это, разумеется, не меняет наш контракт, – сказала она. – Контракт был на четыре концерта.

Мистер Холохан тут же заторопился куда-то; он посоветовал ей переговорить с мистером Фицпатриком. У миссис Карни шевельнулась тревога. Она отозвала мистера Фицпатрика от его завесы и уведомила его, что контракт с ее дочерью подписан на четыре концерта и, безусловно, дочь должна получить указанную в контракте сумму независимо от того, дает ли Общество четыре концерта или не четыре. Мистер Фицпатрик не сразу уловил суть проблемы. Он не мог сам разрешить возникающую трудность и сказал, что поднимет вопрос перед комитетом. От гнева у миссис Карни начинали трястись щеки, и она всеми силами удерживалась, чтобы не спросить:

– Бога ради, а кто этот Кымите?

Но она понимала, что это не в манере истинной леди, и поэтому промолчала.

В пятницу с раннего утра на главные улицы Дублина были высланы мальчишки с пачками афишек. Во всех вечерних газетах появились большие анонсы, напоминавшие ценителям музыкального искусства о том, какое наслаждение уготовано для них на следующий день. Миссис Карни несколько успокоилась, но все же решила поделиться частью опасений с супругом. Он выслушал с глубоким вниманием и сказал, что, пожалуй, лучше, если он пойдет вместе с ней в субботу. Она согласилась с ним. Она уважала мужа аналогично тому, как уважала Центральный почтамт, – как нечто массивное, надежное, постоянное; и хотя она понимала малочисленность его талантов, она связывала с его мужским статусом безусловную ценность. Ее

порадовало, что он предложил пойти с ней. Она продумала свои планы.

Настал вечер гала-концерта. Миссис Карни с дочерью и супругом прибыли в концертный зал Эншент за три четверти часа до назначенного начала. Погода была, к несчастью, дождливая. Препоручив попечению супруга ноты и наряд дочери, миссис Карни пустилась разыскивать в здании мистера Холохана или мистера Фицпатрика. Найти ни того ни другого не удалось. Она спросила служителей, есть ли здесь вообще кто-нибудь из членов комитета, и после немалых затруднений один из служителей предъявил ей маленькую невзрачную женщину по имени мисс Бейрн, которой она и объяснила, что ей требуется видеть кого-либо из секретарей. Мисс Бейрн ждала, что они вот-вот появятся, и спросила, не может ли она быть полезной. Миссис Карни испытующе оглядела ее старообразное личико, скошенное выражением доверия и восторга, и ответила:

– Нет, благодарю вас!

Невзрачная женщина надеялась, что сегодня у них будут стоять в проходах. Она вглядывалась наружу, в сеющий дождик, пока меланхолия мокрой улицы не стерла с ее искривленных черт всего доверия и всего восторга. С покорным вздохом она сказала:

– Что делать! Мы старались, свидетель Бог.

Миссис Карни пришлось вернуться за сцену.

Маэстро собирались; уже приехали бас и второй тенор. Бас, мистер Дагган, был длинный молодой человек с жидкими черными усиками. Он был сыном швейцара в одном из городских учреждений и в мальчишестве упражнял свой голос, беря долгие басовые ноты в гулком холле. Из сего смиренного состояния он сумел подняться до маэстро первой величины. Он выступал в настоящей опере. Однажды, по причине болезни одного оперного маэстро, ему доверили роль короля в опере «Маритана» в театре Куинз. Он спел свою партию с большим чувством, в полную силу и был принят очень тепло галеркой; но, на жалость, загубил хорошее впечатление тем, что, не подумав, один или два раза высморкался в перчатку. Он скромно держался и говорил мало. Он произносил просьбу так тихо, что его часто не слышали, и, опасаясь за свой голос, не пил ничего крепче молока. Мистер Белл, второй тенор, небольшой белокурый господин, каждый год участвовал в конкурсе на фестивале Фейс-Шеол [76 - Feis Ceoil – праздник (ирл.); название ежегодного (с 1897 г.) музыкального фестиваля в Дублине.]. При четвертой попытке он удостоен был бронзовой награды. Он был до крайности нервичен и ревниво завистлив к другим тенорам, прикрывая свою нервическую завистливость пылкими излияниями дружелюбия. У него была также мания жаловаться всем, какое мучение для него концерт. Поэтому, завидев мистера Даггана, он подошел к нему и спросил:

– Вы тоже попались?

– Да, – отвечал мистер Дагган.

Мистер Белл со смехом пожал руку товарищу по несчастью, говоря:

– Сочувствую!

Обойдя эту артистическую чету, миссис Карни подошла к занавесу и обвела взглядом зал. Ряды быстро заполнялись, и среди публики стоял веселый гул. Она вернулась

обратно и тихонько посоветовалась с супругом. Разговор был, по-видимому, о Кэтлин, потому что они оба часто поглядывали на нее, меж тем как она судачила с одной из своих подруг по национальной линии, мисс Хили, контраalto. По комнате одиноко прохаживалась какая-то неизвестная женщина с бледным лицом. Подружки скептически оглядели поблекшее голубое платье, висевшее на тощем теле. Кто-то сказал, что это мадам Глинн, сопрано.

– Интересно, где они ее откопали, – заметила Кэтлин, обращаясь к мисс Хили. – Я о ней не слыхивала, точно тебе скажу.

Мисс Хили ничего не оставалось, как улыбнуться. В эту минуту в комнату приковылял мистер Холохан, и девушки осведомились у него, кто эта неизвестная. Мистер Холохан сообщил, что это мадам Глинн из Лондона. Мадам Глинн выбрала наконец позицию в углу, скованно держа перед собой трубку с нотами и время от времени переводя растерянный взгляд. Тень укрыла ее поблекшее платье, однако в отместку подчеркнула впадину у ключицы. Гул в зале усилился. Прибыли вместе первый тенор и баритон. Оба были дородны, самодовольны и отлично одеты, внося в компанию дух достатка и благодушия.

Миссис Карни подошла к ним вместе с дочерью и завела дружескую беседу. Она хотела быть с ними в добрых отношениях, но, произнося любезные фразы, она напряженно следила за ковыляющими извилистыми передвижениями мистера Холохана. При первой возможности она извинилась перед ними и последовала за ним.

– Мистер Холохан, нельзя ли вас на минутку, – попросила она.

Они отошли в укромный конец коридора, и миссис Карни задала ему вопрос, когда будет заплачено ее дочери. Мистер Холохан ответил, что это в компетенции мистера Фицпатрика. Миссис Карни возразила, что ей ничего не известно по поводу мистера Фицпатрика. Ее дочь подписала контракт на восемь гиней, и ей должны заплатить. Мистер Холохан сказал, что его это не касается.

– Почему же это вас не касается? – спросила миссис Карни. – Разве это не вы принесли ей контракт? В любом случае, если это не касается вас, это касается меня, и я добьюсь, чтобы условия были выполнены.

– Вам лучше обратиться к мистеру Фицпатрику, – отдельно произнес мистер Холохан.

– Мне ничего не известно по поводу мистера Фицпатрика, – вновь повторила миссис Карни. – У меня есть контракт, и я намерена добиваться его выполнения.

Когда она вернулась обратно в комнату, у нее были немного красные щеки. В комнате было оживленно. Два джентльмена в верхнем платье оккупировали угол у камина и приятельски беседовали с мисс Хили и с баритоном. То были журналист из «Фримена» и мистер О'Мэдден Берк. Журналист пришел сообщить, что он не может быть на концерте, потому что должен дать репортаж о лекции одного американца-священника в зале мэрии. Заметку о концерте, говорил он, надо доставить ему в редакцию, а он ее пустит в номер. Он был седовласый господин с убедительным голосом и обдуманной манерами. В руке у него была потухшая сигара, и ее ароматный дым витал облаком вокруг него. Он вовсе не собирался задерживаться, поскольку концерты и маэстро давно уже ему надоели, но все оставался там, прислонясь к камину. Мисс Хили стояла перед ним, говоря с ним и улыбаясь. Он был достаточно стар, чтобы не заблуждаться в причинах ее внимания,

но и достаточно молод духом, чтобы не пренебречь им. Живые краски ее, тепло и благоухание ее тела услаждали его чувства. Он с приятностью сознавал, что эта грудь, которая медленно вздымалась и опадала подле него, в эту минуту вздымалась и опадала ради него, что ее смех, благоухание и кокетство – дань, приносимая ему. Когда он больше уже не мог оставаться, он не без сожаления простился с нею.

– О'Мэдден Берк напишет заметку, – пояснил он мистеру Холохану, – а я ее устрою в номер.

– Весьма благодарен вам, мистер Хендрик, – говорил мистер Холохан, – знаю, что вы устроите. Не откажетесь принять малость на дорожку?

– Не откажусь, – отвечал тот.

Проследовав извилистыми проходами, потом по темной лестнице вверх, они достигли отдаленной комнаты, в которой один из служителей откупоривал бутылки для малочисленной компании. Тут был и О'Мэдден Берк, отыскавший комнату верным чутьем. Он был пожилой господин приятного обхождения, имевший привычку отдыхать, опершись спиной на большой шелковый зонтик и покачиваясь на нем своей импозантной фигурой. Пышнозвучное его имя, говорившее о Западе, служило ему моральным зонтиком, на который он опирал тонкие проблемы своих финансов. Он пользовался большим уважением.

Меж тем как мистер Холохан потчевал журналиста, миссис Карни говорила что-то супругу, и столь возбужденно, что тому пришлось ее попросить понизить голос. Разговор же остальных, бывших в комнате, сделался натянутым. Мистер Белл, первый номер программы, с нотами стоял наготове, однако не получал знака от аккомпаниатора. Что-то явно было неладно. Мистер Карни смотрел прямо перед собой, поглаживая бороду, а миссис Карни со сдерживаемым напором шептала на ухо Кэтлин. Из зала слышались призывные звуки, топанье ног, хлопки. Первый тенор, баритон и мисс Хили, стоя кучкой, выжидали спокойно, но у мистера Белла нервы были до предела напряжены, он боялся, что публика решит, будто он опаздывает.

Вошли мистер Холохан и О'Мэдден Берк. Мистер Холохан тут же уловил тишину в комнате. Он подошел к миссис Карни и очень серьезно заговорил с ней; в это время шум в зале становился все громче. Мистер Холохан стал красным как рак, он волновался и говорил быстрым потоком. Миссис Карни через равные промежутки кратко произносила:

– Она не выйдет. Она должна получить восемь гиней.

Мистер Холохан с отчаянием тыкал в сторону зала, где громко хлопали и топали. Он взывал к мистеру Карни и к Кэтлин. Но мистер Карни продолжал поглаживать свою бороду, а мисс Карни смотрела в пол, поводя носком новой туфельки: она была ни при чем. Миссис Карни повторила:

– Она не выйдет, пока не получит деньги.

После недолгой словесной битвы мистер Холохан запрыгал торопливо из комнаты. Воцарилось молчание. Когда из напряженного оно начало делаться болезненным, мисс Хили произнесла, обращаясь к баритону:

– А вы не видели миссис Пэт Кэмпбелл на этой неделе?

Баритон не видел ее, но ему говорили, что ее игра была замечательной. Разговор на этом угас. Первый тенор, наклонив голову, принялся пересчитывать звенья золотой цепочки, шедшей у него по жилету, улыбаясь и негромко издавая отдельные ноты, чтобы проверить их действие на синусы. Время от времени все по очереди поглядывали на миссис Карни.

Шум в зале уже переходил в рев, когда в комнату ворвался мистер Фицпатрик, за которым не поспевал мистер Холохан, весь запыхавшийся. Топанье и хлопанье зала, как знаками пунктуации, дополнялось свистом. В руках у мистера Фицпатрика было несколько банкнот. Он отсчитал четыре в руки миссис Карни и сказал, что другую половину она получит в антракте. Миссис Карни сказала:

– Не хватает еще четырех шиллингов.

Однако тут Кэтлин собрала юбки и сказала первому номеру программы, мистеру Беллу, дрожавшему как осиновый лист: «Пойдемте, мистер Белл». Певец и аккомпаниатор вместе появились перед публикой, и шум постепенно смолк. Вслед за паузой в несколько секунд послышались звуки фортепьяно.

Первое отделение прошло с полнейшим успехом, за вычетом только номера мадам Глинн. Бедная дама спела «Килларни» бесплотным и прерывающимся голосом, со всеми дряхлыми штучками в произношении и интонациях, которые, как ей мнилось, делают исполнение изысканным. Она выглядела, будто ее извлекли из старого сундука в костюмерной, и публика на дешевых местах начала потешаться над ее высокими плаксивыми нотами. Но первый тенор, а также и контральто нацело покорили зал. Кэтлин исполнила попури из ирландских мелодий и получила щедрый аплодисмент. Отделение закончилось зажигательной патриотической декламацией в исполнении молодой леди, которая ставила любительские спектакли. После заслуженной овации господы вышли в антракте прогуляться, вполне довольные.

Все это время комната за сценой была полна возбуждения, как растревоженный улей. В одном из углов сбились в кучку мистер Холохан, мистер Фицпатрик, мисс Бейрн, двое служителей, баритон, бас и мистер О'Мэдден Берк. Как заявил последний, он никогда не видывал подобной скандальной выходки. После этого музыкальная карьера мисс Кэтлин Карни в Дублине закончена. У баритона спросили, что он думает о поведении миссис Карни. Тот предпочел бы не говорить ничего. Он уже получил свой гонорар и хотел быть со всеми в мире. Но он сказал все же, что миссис Карни могла бы вспомнить о других исполнителях. Служители и секретари с жаром обсуждали, как следует быть в антракте.

– Я присоединяюсь к мисс Бейрн, – сказал мистер О'Мэдден Берк. – Ничего не платите ей.

В противоположном углу были миссис Карни с супругом, мистер Белл, мисс Хили и молодая леди, ожидавшая своего выхода с декламацией. Миссис Карни сказала, что комитет обошелся с ней совершенно скандально. Она не жалела ни своего труда, ни расходов, и вот как они отплатили ей.

Они думали, перед ними одна девочка и над ней можно измываться как угодно. Ничего, она им покажет их ошибку. Будь она мужчиной, они бы не смели так с ней обращаться. Но ее им не провести, она сумеет защитить права дочери. Если дочери не будет заплачено до последнего пенса, весь Дублин будет об этом знать. Конечно, она сочувствовала всем маэстро. Но что же она могла поделать? Она обратилась ко второму тенору, и тот ответил, что, по его мнению, с ней нехорошо

обошлись. Потом она обратилась к мисс Хили. Мисс Хили хотела бы быть в другой кучке, но ее останавливало то, что они с Кэтлин были большие подруги и ее часто приглашали в дом Карни.

По окончании первого отделения мистер Фицпатрик и мистер Холохан сразу же подошли к миссис Карни и сообщили ей, что оставшиеся четыре гинеи будут выплачены после заседания комитета, в ближайший вторник. Если же ее дочь не будет играть во втором отделении, комитет будет считать контракт нарушенным и не выплатит ничего.

– Не знаю ни про какой комитет, – гневно сказала миссис Карни. – У моей дочери контракт. Она получит четыре фунта и восемь шиллингов из рук в руки, или ноги ее не будет на этой сцене.

– Я очень удивлен вами, миссис Карни, – сказал мистер Холохан. – Никогда не думал, что вы с нами так поступите.

– А как вы со мной поступаете? – парировала она.

К лицу ее прихлынули пятна ярости, и вид ее был такой, словно она вот-вот вцепится в кого-то когтями.

– Я требую своих прав, – сказала она.

– Вы бы могли соблюдать некоторое приличие, – сказал мистер Холохан.

– Ах, вот как?.. А когда я прошу, чтобы моей дочери заплатили, я не могу услышать вежливого ответа!

Она вздернула голову и изобразила высокомерный тон:

– Вы должны обратиться к секретарю. Меня это не касается. Я большая шишка фу-фу-тратата.

– Я считал, что имею дело с леди, – сказал мистер Холохан, резко отходя от нее.

После этого поведение миссис Карни осудили в один голос, и все одобрили действия комитета. Она выжидала в дверях, одержимая яростью, споря с мужем и дочерью, с жаром жестикулируя. Она выжидала в надежде, что секретари снова подойдут к ней, выжидала до самого конца антракта. Но мисс Хили любезно согласилась проаккомпанировать одному-двум номерам. Миссис Карни пришлось посторониться, чтобы баритон и его аккомпаниатор могли бы пройти на сцену. На миг она недвижно застыла как каменное изваяние гнева, а когда со сцены донеслись первые звуки, она резко подхватила плащ дочери и бросила мужу:

– Найди кеб!

Он тут же вышел. Она, передав плащ дочери, пошла следом. У выхода она обернулась и вперила грозный взор в лицо мистера Холохана.

– Я с вами еще разберусь, – пообещала она.

– А я с вами уже разобрался, – ответил он.



Кэтлин безропотно следовала за матерью. Мистер Холохан начал расхаживать по комнате взад-вперед, пытаясь остыть; он чувствовал, как все лицо у него горит.

– Ну и дама! – повторял он. – Да, уж это дама так дама!

– Вы поступили совершенно правильно, Холохан, – молвил мистер О’Мэдден Берк, в знак одобрения опершись на свой большой зонтик.

Милость Божия

Два джентльмена, что были в уборной в тот момент, пытались поднять его на ноги – но бесполезно. Он лежал скрючившись внизу лестницы, по которой скатился. Перевернуть его им удалось. Его шляпа откатилась на несколько шагов, одежда была перепачкана грязью и жижей с пола, на котором он лежал ничком. Глаза были закрыты, и при дыхании он издавал хрюкающий звук. Из рта сочилась тонкая струйка крови.

Те два джентльмена вместе с одним из служителей перенесли его по лестнице наверх и положили на пол в баре. Тут же его обступили кольцом. Управляющий бара спросил у всех, кто это и с кем он пришел. Никто не знал его, но один из служителей сказал, что этот джентльмен заказывал у него малую рюмку рому.

– Он был один? – спросил управляющий.

– Нет, сэр. С ним были еще двое.

– А где они?

Никто не знал этого. Чей-то голос сказал:

– Воздуха-то дайте ему. Он же в обмороке.

Кольцо зрителей раздалось шире и снова упруго сжалось. На плитках пола возле головы лежащего образовалась темная медаль крови. Встревоженный серою бледностью его лица, управляющий послал за полицией.

Ему расстегнули ворот и развязали галстук. На мгновение он открыл глаза, вздохнул и снова закрыл. Один из тех, кто перетащил его снизу, держал в руках перепачканный цилиндр. Управляющий спрашивал уже несколько раз, не знает ли кто-нибудь, кто этот человек или же где его дружки. Дверь бара отворилась, и вошел гигантский констебль. Толпа, шедшая следом за ним по переулку, сгрудилась у дверей, передние старались заглянуть в стекла.

Управляющий тут же начал рассказывать. Констебль, еще молодой, с грубыми неподвижными чертами лица, выслушивал. При этом он медленно водил головой из стороны в сторону, взглядывая то на управляющего, то на лежащую фигуру и словно опасаясь стать жертвой какого-то подвоха. Потом он стянул перчатку, извлек из-за пояса небольшой блокнот и, пошлювив свинцовый кончик карандаша, приготовился писать протокол. С недоверчивыми провинциальными интонациями он спросил:

– Кто этот человек? Его имя, адрес?

Из кольца зрителей, раздвинув их, вышел молодой человек в костюме велосипедиста. Проворным движением он стал на колени рядом с пострадавшим и сказал, чтобы принесли воды. Констебль тоже опустился на колени помочь ему. Молодой человек отер рот пострадавшего от крови и сказал, что нужен бренди. Констебль несколько раз повелительно повторил приказ, и служитель наконец рысцой доставил стакан. Бренди с трудом влили неизвестному в горло.

Через несколько секунд он открыл глаза и посмотрел вокруг. Увидев обступившие лица, он словно понял что-то и попытался встать на ноги.

– Вам уже лучше? – спросил молодой человек в костюме велосипедиста.

– ‘Вунда, пвойдет, – произнес пострадавший, силясь подняться. Ему помогли встать. Управляющий заговорил про больницу, и некоторые стали давать советы. На голову неизвестному водрузили помятый цилиндр. Констебль спросил:

– Где вы проживаете?

Вместо ответа неизвестный начал подкручивать кончики усов. Он не придавал важности происшедшему. Просто ерунда, сказал он, мелкое происшествие. Он говорил очень неразборчиво.

– Где вы проживаете? – повторил констебль.

Неизвестный сказал, пусть ему найдут кеб. Данный пункт начал обсуждаться, и в это время из дальнего угла бара появился высокий светлолицый мужчина с подвижными манерами, в длинном желтом пальто. Увидев сцену перед собой, он воскликнул:

– Эй, Том, дружище! Что это тут стряслось?

– ‘Вунда, пвойдет, – отвечал неизвестный.

Пришедший обозрел его плачевное состояние и обернулся к полицейскому со словами:

– Не беспокойтесь, констебль. Я его доставлю домой.

Полицейский, коснувшись рукой фуражки, отвечал:

– Порядок, мистер Пауэр!

– Давай, Том, двигаем, – сказал мистер Пауэр, беря друга под руку. – Кости все целы. Как ты? Можешь идти?

Молодой человек в костюме велосипедиста взял пострадавшего под другую руку, и толпа расступилась.

– Как это тебя угораздило? – спросил мистер Пауэр.

– Джентльмен упал с лестницы, – сказал молодой человек.

– Я ‘аф дов’ник, сэв, – сказал пострадавший.

– Нет-нет, нисколько.

– ‘ыпьем по мавой... а?’

– В другой раз, в другой раз.

Втроем они покинули бар, и толпа расточилась по переулку. Управляющий подвел полицейского к лестнице для осмотра места происшествия. Они согласно нашли, что джентльмен, по всей видимости, оступился. Посетители вернулись к стойке, а служитель принялся смывать с пола пятна крови.

Когда они оказались на Грэфтон-стрит, мистер Пауэр свистнул, подзывая кеб. Пострадавший снова сказал, стараясь произносить яснее:

– Я ‘аф дов’ник, сэв. Н’деюсь, ефо увидимся, ‘оя фамивия Кевнан.

Шок и наступающая боль уже отчасти отрезвили его.

– Ну что вы, не о чем говорить, – сказал молодой человек. Они обменялись рукопожатием. Мистера Кернана усадили в пролетку, и, пока мистер Пауэр объяснял адрес кучеру, он усердно благодарил молодого человека, сожалея, что не выходит выпить по рюмочке.

– В другой раз, – повторил молодой человек.

Пролетка двинулась в направлении Уэстморленд-стрит. Когда проезжали Портовое Управление, часы показывали полдесятого. Резкий восточный ветер хлестнул в лицо седокам, задувая с устья реки. Мистер Кернан зябко съехался от холода. Его друг попросил рассказать ему по порядку, как все произошло.

– Не ‘огу, двуг, – отвечал тот, – у ‘еня ивык повален.

– Покажи-ка.

Опершись на поручень пролетки, спутник воззрился в раскрытый рот мистера Кернана, но ничего не мог рассмотреть. Тогда он зажег спичку и, укрывая пламя от ветра щитком ладони, предпринял новую попытку, а мистер Кернан снова покорно разинул рот. Ритмическое покачиванье пролетки то приближало, то отдаляло огонек ото рта. Нижние зубы и десны были в сгустках крови, и кончик языка был как будто откушен. Огонек спички задуло.

– Хреново, – сказал мистер Пауэр.

– ‘Вунда, пвойдет, – отвечал мистер Кернан, закрывая рот и кутая шею в воротник запачканного пальто.

Мистер Кернан был коммивояжер старой школы, что утверждала высокое достоинство этого занятия. Он никогда не появлялся в городе, не будучи облачен в цилиндр на уровне приличий и пару гетр. Как он заявлял, эти два элемента костюма гарантируют человеку представительность. Он поддерживал традиции Наполеона своей профессией, великого Блэкуайта, память о котором он по временам воскрешал, рассказывая о нем и даже изображая его. Однако при современных методах коммерции ему удавалось содержать всего лишь небольшую контору на Кроу-стрит, в окне которой было выставлено название его фирмы с адресом: Лондон, Восток-Центр. На каминной полке в этой конторе был выстроен небольшой отряд свинцовых коробочек,

а на столике у окна стояли четыре или пять фарфоровых чашек, налитых обычно до половины темною жидкостью. Из них мистер Кернан дегустировал чай. Он делал глоток, задерживал его во рту, прокатывая по нёбу, затем отправлял в камин – и после паузы выносил суждение.

Мистер Пауэр, намного моложе его, служил в Королевском Ирландском полицейском управлении в Дублинском замке. Кривая его подъема по общественной лестнице встретила с кривою упадка его друга; однако упадок мистера Кернана смягчался тем, что кое-какие друзья из тех, что знавали его во дни наибольшего успеха, сохраняли высокое мнение о нем как личности. Мистер Пауэр принадлежал к их числу. В его кругу постоянной темой были его необъяснимые долги; он был человек еще молодой и весьма компанейский.

Пролетка остановилась перед небольшим домиком на Гласневин-роуд, и мистеру Кернану помогли войти. Жена тут же стала укладывать его в постель, а мистер Пауэр расположился на кухне, расспрашивая детей, куда они ходят в школу и что они читают сейчас. Дети, две девочки и мальчик, смекнув, что их мать занята, а отец беспомощен, затеяли с ним буйную возню. Поведение их и речь несколько его удивили, и на лице его выразилась задумчивость. Через некоторое время миссис Кернан появилась на кухне, восклицая:

– Хорош, нечего сказать! Однажды он так вот себя угробит, и дело будет с концом. Он же не просыхал с пятницы.

Мистер Пауэр постарался ей объяснить, что сам он полностью непричастен, что он по чистому совпадению оказался в том месте. Памятуя о благой роли мистера Пауэра в домашних конфликтах, а также и о нередких ссудах, пусть небольших, но выручавших в нужный момент, миссис Кернан сказала:

– Ну что вы, можете мне не говорить, мистер Пауэр. Я-то уж знаю, вы ему настоящий друг, не то что иные прочие. Те-то хороши, пока у него в кармане звенит да можно его сбить на сторону, от дома да от семьи. Дружки милые! С кем это нынче он, хотела б я знать?

Мистер Пауэр покачал головой, но ничего не сказал.

– Вы уж простите, – продолжала она, – мне вас и угостить нечем. Может, погодите минутку, я бы послала на угол к Фогарти.

Мистер Пауэр поднялся.

– Мы ведь ждали, что он с жалованьем придет. Но он вообще, похоже, не думает, что у него дом есть.

– Знаете, миссис Кернан, – сказал мистер Пауэр, – я думаю, мы заставим его начать новую страницу. Я поговорю с Мартином. Вот кто тут нужен. Мы к вам зайдем как-нибудь вечером и обсудим всё.

Она проводила его к дверям. Кучер прохаживался по дорожке взад и вперед, похлопывая руками, чтобы согреться.

– Уж так вам спасибо, что привезли его, – сказала она.

– Не за что, – отвечал мистер Пауэр.

Он сел в экипаж и, когда кучер тронул, послал ей бодрое приветствие, коснувшись пальцами шляпы.

– Мы из него сделаем нового человека, – пообещал он. – Спокойной ночи, миссис Кернан.

\* \* \*

Озадаченный взгляд миссис Кернан провожал пролетку, пока она не скрылась из вида. Потом она отвела взгляд, вернулась обратно в дом и вывернула карманы своего мужа.

Миссис Кернан была женщиной средних лет, практической и деятельной. Не так давно она отпраздновала серебряную свадьбу и оживила свою близость с супругом, пройдясь с ним в вальсе под аккомпанемент мистера Пауэра. В былую пору девичества мистер Кернан казался ей кавалером, совсем не чуждым галантности; и по сей день, заслышав о чьей-то свадьбе, она всегда спешила взглянуть на выход молодоженов из церкви, с живостью вспоминая при этом, как некогда сама появилась из дверей храма Марии Звезды Морей в Сэндимаунте, опираясь на руку веселого полного господина, одетого не без щегольства во фрак и бирюзовые панталоны и не без изящества плавно покачивающего цилиндром, зажатый в другой руке. Через три недели жизнь в замужестве ей приелась, а позднее, когда эта жизнь начала казаться ей нестерпимой, она стала матерью. Роль матери семейства не доставляла ей крайних трудностей, и четверть века она была для своего супруга умелой хозяйкой дома. Два старших сына уже вылетели из гнезда. Один служил в Глазго у мануфактурщика, другой был клерком у чаеоторговца в Белфасте. Они были примерные сыновья, исправно писали письма и иногда слали деньги. Трое младших детишек ходили в школу.

На другой день мистер Кернан еще оставался в постели; в свою контору он отправил послание. Она давала ему говяжий бульон и неотступно пилила. Она принимала его частые выходы как особенности климата, при болезни выхаживала должным образом и следила, чтобы он непременно позавтракал. Случаются мужья и похуже. Он ни разу не буйствовал, с тех пор как сыновья выросли, и она знала, что ради любого, даже маленького заказа он пешком дойдет до Томас-стрит и обратно.

Дня через два друзья пришли вечером навестить его. Она провела их в спальню, где в воздухе висел особый персональный запах, и рассадил на стульях у камина. Язык мистера Кернана, который днем еще иногда отзывался язвущей болью, делая хозяина раздражительным, поутих и стал глаже. Больной сидел в постели, подперев спину подушками, и краска на его отекавших щеках придавала им некоторое сходство с тлеющим пеплом. Он попросил у своих гостей извинения за беспорядок в комнате, но вместе с тем поглядывал на них слегка горделиво, с достоинством ветерана битв.

Ему и в голову не могло прийти, что он становится жертвой заговора, в который его друзья, мистер Каннингем, мистер Маккой и мистер Пауэр, явившись, сразу же посвятили миссис Кернан. Идея принадлежала мистеру Пауэру, однако дальнейшие шаги вверялись мистеру Каннингеми. Мистер Кернан происходил от протестантских корней и хотя перешел в католическую веру в период своей женитьбы, но последние лет двадцать не переступал порог церкви. Больше того, он весьма любил всяческие окольные выпады против католичества.

Мистер Каннингем как нельзя лучше подходил для такого дела. Он был старшим сослуживцем мистера Пауэра. Его собственная семейная жизнь сложилась незавидным образом. Ему очень сочувствовали, ибо ни для кого не было тайной, что у него самая непрезентабельная супруга, безнадежная алкоголичка. С полдюжины раз он заново обставлял ей дом, а она всякий раз брала и закладывала мебель.

Все относились с почтением к бедному мистеру Каннингему. Он был полностью здравомыслящий человек, образованный, влиятельный. Его знание людей, природная пронизательность, усиленная долгими контактами с миром уголовных судов, приобрели особую отшлифованность за счет кратких экскурсий в философские материи. Он был всегда хорошо информирован. Друзья высоко ценили его мнения и находили у него портретное сходство с Шекспиром.

Когда ей рассказали про заговор, миссис Кернан только сказала:

– Тут все карты вам в руки, мистер Каннингем.

После четверти века замужней жизни у нее оставалось мало иллюзий. Религия для нее принадлежала к разряду привычек, и она подозревала, что в таком возрасте, как у ее мужа, человек уже особенно не меняется до самой смерти. Ее тянуло к тому, чтобы находить в событии какую-то интригующую уместность, и не будь у нее опасения показаться кровожадной, она бы сказала пришедшим, что языку мистера Кернана не вредно стать покороче. Но все-таки мистер Каннингем был опытный человек, а религия как-никак религия. Замысел не грозил опасностью, а пользу принести мог. Ее вера не включала ничего эксцентрического. Она признавала таинства и прочно веровала в Святое Сердце как самый спасительный и вернейший из всех предметов поклонения католиков. Ее духовный мир не переходил границ ее кухни, однако при крайней нужде она могла бы также поверить в банши или в Святого Духа.

Джентльмены завели разговор о происшедшем. Мистер Каннингем сказал, что он знает очень похожий случай. Один человек лет семидесяти во время эпилептического припадка откусил кусочек своего языка, и язык снова отрос, так что никто не мог заметить никакого следа.

– Ну, знаете, мне не семьдесят, – сказал больной.

– Упаси Бог, – сказал мистер Каннингем.

– А сейчас не болит уже? – спросил мистер Маккой.

Мистер Маккой был некогда тенором с неплохой репутацией. Его жена, некогда сопрано, продолжала давать фортепьянные уроки для детей по скромной цене. Его жизненная кривая не была кратчайшей линией меж двумя точками, и в иные периоды ему приходилось туго. Он побывал клерком в железнодорожной компании, рекламным агентом для «Айриш таймс» и для «Фрименс джорнел», разъездным агентом на комиссионных началах в торговле углем, частным детективом, клерком в ведомстве заместителя шерифа, а в недавнее время стал секретарем у следователя. Новая служба пробудила у него профессиональный интерес к делу мистера Кернана.

– Болеть почти не болит, – отвечал мистер Кернан, – но это такое мерзкое ощущение. Все время будто плевать тянет.

– Это от алкоголя, – твердо заявил мистер Каннингем.

– Да нет, – отвел мистер Кернан, – это я, думаю, на пролетке простудился. Что-то в горле скапливается, сгустки какие-то или...

– Слизь, – произнес Маккой.

– Скапливается в горле как будто снизу откуда-то. Мерзкое ощущение.

– Слизь, это точно, – сказал Маккой. – Из бронхов.

При этом он несколько вызывающе глянул на мистера Пауэра и мистера Каннингема. Мистер Каннингем кивнул головой поспешно, а мистер Пауэр сказал:

– Ладно, все хорошо, что хорошо кончается.

– Я очень тебе обязан, старина, – сказал пострадавший.

Мистер Пауэр замахал руками.

– Эти-то двое, с кем я был...

– А с кем вы были? – спросил мистер Каннингем.

– Один малый, не знаю, как зовут. Да провались он, какая разница? Рыжеватенький такой коротышка...

– А другой кто?

– Харфорд.

– Гм, – произнес мистер Каннингем.

При данном междометии все смолкли. Известно было, что издавший его имеет тайные источники информации. В данном случае односложная ремарка несла нравственное содержание. Мистер Харфорд входил иногда в состав малочисленного отряда, члены коего покидали город по воскресеньям вскоре после полудня, имея целью как можно скорее появиться в одном из пригородных трактиров и там воспользоваться правом на известную привилегию путешественников. Но спутники его никогда не соглашались предать забвению его корни. Он начал свой путь как темный финансовый делец, ссужавший малые суммы работягам под ростовщические проценты. Потом он стал партнером мистера Голдберга, коротенького и очень толстого джентльмена из ссудного банка Лиффи Лоун Бэнк. Хотя вся его причастность иудаизму заключалась сугубо в системе нравственных норм, его собратья-католики, когда им доводилось лично либо через посредников страдать от его лихоимства, всегда его с горечью честили ирландским жидом и невеждой и усматривали знак Божественного осуждения ростовщичества явленным в персоне его слабонного сына. В других же ситуациях они вспоминали о его добрых сторонах.

– Не знаю, куда он подевался, – сказал мистер Кернан.

Он бы хотел не углубляться в детали происшествия. Он бы хотел, чтобы друзья сочли, что случилась какая-то ошибка, что они с мистером Харфордом как-то разминулись. Друзья, отлично знакомые с питейными повадками мистера Харфорда, хранили молчание. Мистер Пауэр опять повторил:

– Все хорошо, что хорошо кончается.

Мистер Кернан тут же переменял тему.

– Такой славный был парень этот медик, – сказал он. – Не будь его...

– Не будь его, – продолжил мистер Пауэр, – можно было бы заработать верных семь дней, притом без замены штрафом.

– Да-да, – произнес мистер Кернан, усиливаясь вспомнить. – Сейчас припоминаю, что там был полисмен. Молодой, на вид симпатичный. Как это вообще все вышло?

– А так вышло, что вы в стельку назююкались, Том, – произнес мистер Каннингем глубоко серьезным тоном.

– Принимаю и подписываюсь, – отвечал мистер Кернан с равной серьезностью.

– Я думаю, вы разобрались с констеблем, Джек, – сказал мистер Маккой.

Обращение по имени не доставило удовольствия мистеру Пауэру. Он не был чопорным, однако не мог забыть, как еще недавно мистер Маккой совершил кампанию по сбору чемоданов и портпледов под предлогом мнимых гастролей миссис Маккой по стране. Его гнев вызывало не столько то, что он оказался жертвой, сколько сама готовность людей на такие низкие игры. Поэтому он ответил на вопрос так, как если бы он исходил от мистера Кернана.

Последнего рассказ возмутил. Мистер Кернан обладал развитым гражданским чувством. Он желал иметь с властью отношения взаимного уважения и приходил в гнев при любой непочтительности со стороны тех, кого он именовал деревенскими чурбанами.

– Это мы что, вот за это платим налоги? – спросил он. – Чтобы одевать и кормить эти тупые рожи... они же все сплошь такие.

Мистер Каннингем рассмеялся. Он был служащим полицейского управления только в служебные часы.

– А как они будут другими, Том? – сказал он.

Тонем команды, изображая грубый провинциальный выговор, он рявкнул:

– Шисят-пятый, лови капусту!

Тут засмеялись все. Мистер Маккой, желая любым способом пролезть в разговор, сделал вид, будто он не знает, о чем речь. Мистер Каннингем объяснил:

– Дело тут как бы происходит – так рассказывают – в казармах, где вымуштровывают этих деревенских увальней, омадхаунов[77 - Omadhaun, дурачок (ирл.)]. Сержант их строит в шеренгу у стены, и каждый держит в руках свою миску.

Он сопровождал рассказ комичными жестами.

– Время обеда, понимаете. На столе перед сержантом здоровый чан с капустой и



здоровая ложка этак с лопату. Он на эту ложку берет кочан и пуляет через всю казарму, а эти сердяги должны стараться в миску поймать: Шисят-пятый, лови капусту!

Все опять засмеялись – но возмущение мистера Кернана не вполне улеглось. Он сказал, что надо бы написать письмо в газеты.

– А то эти йеху являются сюда, – развивал он, – и думают, что они могут нами командовать. Вам можно не объяснять, Мартин, что это за народ.

Мистер Каннингем согласился не целиком.

– Здесь как везде на свете, – отвечал он, – есть люди дурные, а есть хорошие.

– Да, есть и хорошие, я не спорю, – признал мистер Кернан.

– Лучше всего, это не иметь с ними дела, – сказал мистер Маккой. – Лично я так считаю!

В комнату вошла миссис Кернан. Она поставила на стол поднос со словами:

– Господа, прошу вас!

Мистер Пауэр поднялся, чтобы исполнить роль кравчего, и предложил ей свой стул. Она отказалась, говоря, что ей надо гладить там внизу, и, обменявшись знаками с мистером Каннингемом под прикрытием спины мистера Пауэра, пошла к двери. Супруг окликнул ее:

– Кисонька, а мне ничего?

– Ах, тебе! Тебе хорошую трепку! – был суровый ответ.

Супруг воскликнул ей вслед:

– Ничего муженьку-бедняжке!

Он соорудил такую жалкую мину, что доставленный портер распределялся среди всеобщего веселья.

Господа пригубили по глотку, поставили стаканы на стол и сделали некоторую паузу.

Потом мистер Каннингем, обращаясь к мистеру Пауэру, как бы вскользь обронил:

– Так вы сказали, Джек, в четверг вечером?

– Да, в четверг, – сказал тот.

– Отлично, – быстро отвечал мистер Каннингем.

– Можно встретиться у Макаули, – сказал Маккой. – Самое удобное место.

– Только надо не поздно, – заметил озабоченно мистер Пауэр. – Там наверняка будет набито битком.

– Можно встретиться в полвосьмого, – сказал Маккой.

– Отлично! – произнес мистер Каннингем.

– У Макаули в полвосьмого, заметано!

Последовало непродолжительное молчание. Мистер Кернан выжидал, посвятят ли его в свои переговоры друзья. Потом спросил:

– А что это вентилируется?

– Да так, ничего, – сказал мистер Каннингем. – Договариваемся насчет небольшого дельца в четверг.

– В оперу собрались?

– Да нет, – произнес мистер Каннингем уклончиво, – тут такое дело... духовное.

– А-а, – сказал мистер Кернан.

Вновь последовало молчание, а потом мистер Пауэр напрямик рубанул:

– Да понимаешь, Том, сказать тебе честно, мы тут решили поговорить.

– Вот именно, – сказал мистер Каннингем. – Джек, и я, и Маккой, мы все решили как следует помыть горшки.

Он произнес эту метафору энергично и вместе с тем как-то по-домашнему и, ободрившись звуками собственного голоса, продолжал:

– Видите ли, ведь если начистоту, то все мы изрядная компания шельмецов, все и каждый. Вот именно, все и каждый, – добавил он ворчливо, но мягко, и повернулся к мистеру Пауэру. – Сознаться-ка!

– Сознаюсь, – отозвался тот.

– И я сознаюсь, – сказал Маккой.

– Вот мы и решили помыть сообща горшки, – заключил мистер Каннингем.

И тут его словно осенила мысль. Он резко повернулся к больному и сказал:

– Послушайте, Том, а знаете, что мне сейчас пришло? Ведь вы-то тоже могли бы с нами, и тогда будет полный квартет.

– Отличная идея, – присоединился мистер Пауэр. – Дружная четверка, все вместе.

Мистер Кернан хранил молчание. Предложение почти ничего не говорило ему, но, понимая, что он стал предметом интереса некоторых духовных инстанций, он полагал долгом своего достоинства проявить несговорчивость. Некое время он не принимал участия в разговоре и только слушал, с видом холодного отчуждения, как друзья его обсуждают иезуитов.

– У меня не такое уж скверное мнение об иезуитах, – сказал он, вмешиваясь наконец. – Они в своем орденообразованные, и мне верится, что у них благие намерения.

– Их орден самый важный в Церкви, Том, – с подъемом произнес мистер Каннингем. – Генерал иезуитов стоит сразу после папы.

– Можете не сомневаться, – сказал Маккой, – если надо, чтоб дело было сделано, и без дураков, идите к иезуитам. У этих гавриков настоящее влияние. Вот я знаю один случай...

– Иезуиты – это избранное общество, – сказал мистер Пауэр.

– И вот интересная вещь, – вставил мистер Каннингем, – насчет иезуитского ордена. Каждый орден в Церкви проходил реформу в тот или другой период. Но орден иезуитов один-единственный никогда не проходил реформу и никогда не был в упадке.

– В самом деле? – спросил Маккой.

– Исторический факт, – сказал мистер Каннингем.

– А посмотрите на их церкви, – прибавил мистер Пауэр, – посмотрите, какая паства у них.

– Иезуиты действуют среди высших классов, – сказал Маккой.

– Бесспорно, – подтвердил мистер Пауэр.

– Вот поэтому я за них, – сказал мистер Кернан. – А то простые эти попы, неграмотные, неотесанные...

– Они все хорошие люди, – возразил мистер Каннингем, – только все по-своему. Ирландских священников уважают во всем мире.

– О да, – сказал мистер Пауэр.

– Это не то что на континенте некоторые священники, – сказал Маккой, – такие, что недостойны так называться.

– Ну, может, вы правы, – смягчил свою позицию мистер Кернан.

– Конечно, я прав, – сказал мистер Каннингем. – Я столько прожил на свете и повидал столько, что уж могу судить о людях.

Джентльмены вновь выпили, следуя по кругу. Мистер Кернан, казалось, что-то взвешивает в уме. Услышанное подействовало на него. Он очень высоко ценил способность мистера Каннингема судить о людях и читать лица, и он попросил подробностей.

– Просто обычное говение, понимаете, – сказал мистер Каннингем. – Его проводит отец Борделл для деловых людей, вот как мы.

– Он с нами не будет слишком строго, – сказал мистер Пауэр убеждающим тоном.

– Борделл, Борделл... – произнес больной.

– Вы его должны знать, Том, – сказал уверенно мистер Каннингем. – Отличный человек, славный! И как мы с вами, вполне от мира сего.

– А... знаю, кажется. Такой высокий, и лицо красное.

– Он самый.

– И что, Мартин, он... хороший проповедник?

– Н-ну-у... Понимаете, это не то чтобы проповедь. Это дружеская беседа скорей, в рамках здравого смысла, понимаете.

Мистер Кернан обдумывал. Мистер же Маккой произнес:

– Отец Том Берк, это вот был мужик!

– О, отец Том Берк, – сказал мистер Каннингем, – это был прирожденный оратор. Вы, Том, его слышали когда-нибудь?

– Слышал ли когда-нибудь! – живо отреагировал больной. – Ничего себе! Уж я-то...

– А между тем, говорят, он был не силен в богословии, – сказал мистер Каннингем.

– В самом деле? – сказал Маккой.

– Ну, уж такого-то ничего, конечно. Просто говорят, иногда он в проповедях высказывался не совсем по учению.

– А!.. но блестящий мужик был! – сказал Маккой.

– Однажды я его слушал, – продолжал мистер Кернан, – только не помню, на какую он тему. Мы с Крофтоном были у самой стены этого... ну, партера, что ли...

– Притвора, – сказал мистер Каннингем.

– Ну да, у стены ближе к двери. Забыл, на какую тему... ах да, это было про папу, про покойного папу. Сейчас всё вспомнилось. Клянусь вам, это было великолепно, в таком стиле! А голос! Боже, это вот голос был! Узник Ватикана, так он его назвал. И помню, Крофтон мне говорит, когда мы вышли потом...

– Он же ведь оранжист, этот Крофтон, разве нет? – спросил мистер Пауэр.

– Еще бы, – отвечал мистер Кернан, – самый что ни на есть треклятый оранжист. Зашли мы к Батлеру на Мур-стрит – и я, ей-богу, был тронут по-настоящему, скажу вам чистую правду. Я помню его слова буквально: Кернан, – это он мне, – мы возносим молитвы у разных алтарей, – это он мне, – но вера наша одна. Меня поразило даже, как здорово он сказал.

– Да, тут впрямь что-то есть, – признал мистер Пауэр. – На проповеди отца Тома всегда набивалась куча протестантов.

– Между нами, уж не такая большая разница, – высказал Маккой. – Мы все веруем в...

Он поколебался слегка.

– ...во Христа Искупителя. Но только они не веруют в папу и в Матерь Божию.

– Но, разумеется, – сказал мистер Каннингем внушительно и спокойно, – только наша религия истинная религия, древняя и настоящая вера.

– Кто ж сомневается, – сказал мистер Кернан с теплом в голосе. К дверям спальни подошла миссис Кернан и возвестила:

– К тебе гость!

– Это кто еще?

– Мистер Фогарти!

– А, пусть входит, пусть входит!

Из темноты появилось овальное бледное лицо. Дугу его светлых свисающих усов повторяли светлые брови, огибающие глаза, в которых выразилось приятное удивление. Мистер Фогарти был скромным зеленщиком. Он содержал в городе заведение с лицензией и потерпел крах, поскольку его финансовые возможности привязывали его к второразрядным винокурам и пивоварам. После этого он открыл небольшую лавочку на Гласневин-роуд, льстя себя надеждой, что своими манерами завоюет симпатии окрестных хозяек. Он старался соблюдать тон в поведении, был ласков с детишками и говорил с четкой дикцией. Культура не была ему чужда.

Мистер Фогарти пришел не с пустыми руками, он принес полпинты старого виски. Он учтиво расспросил мистера Кернана, поставил на стол свое приношение и присоединился к компании. Мистер Кернан весьма оценил приношение, памятуя, что у мистера Фогарти оставался за ним небольшой незакрытый счетец за овощи. Он сказал:

– Никогда в вас не сомневался, старина. Открой-ка, Джек, можно тебя попросить?

Мистер Пауэр вновь исполнил роль кравчего. Стаканы ополоснули и разлили в них пять малых порций виски. Новое вливание чувствительно оживило разговор. Мистер Фогарти, сидя на краешке стула, проявлял особый интерес к теме.

– Папа Лев XIII, – сказал мистер Каннингем, – был одним из светил своего времени. Его великой идеей, понимаете, было объединение латинской и греческой церквей. Это была цель его жизни.

– Как я часто слышал, – сказал мистер Пауэр, – он был одним из наиумнейших людей в Европе. Это еще кроме того, что папа.

– Бесспорно, был, – сказал мистер Каннингем, – да, пожалуй, и самым наиумнейшим. У него был девиз, понимаете, как у папы, – Люкс на Люкс, то есть Свет на Свет.

– Нет-нет, – с живостью возразил мистер Фогарти, – тут вы, по-моему, ошибаетесь. По-моему, это было *Lux in Tenebris*, то есть Свет во Тьме.

– Ну да, – сказал Маккой, – служба Tenebrae[78 - Тьма; Преисподняя (лат.), а также название старинного типа католической службы Великой Пятницы.]

– Позвольте мне заявить, – твердо промолвил мистер Каннингем, – что это было именно Люкс на Люкс. А у его предшественника, Пия IX, девиз был Крукс на Крукс, то есть Крест на Крест, чтобы показать различие между двумя понтификатами.

Заявление было принято, и мистер Каннингем продолжал:

– Папа Лев был, понимаете ли, великий ученый и поэт.

– Лицо у него волевое было, – вставил мистер Кернан.

– Да, – сказал мистер Каннингем, – и он писал стихи на латыни.

– В самом деле? – спросил мистер Фогарти.

Маккой с довольным видом прихлебнул виски и покивал головой в двойном смысле, говоря:

– Да-да, тут, скажу вам, без дураков.

– Мы, Том, этого не учили, – сказал мистер Пауэр, следуя поданному примеру, – когда ходили в школу на медные деньги.

– Немало добрых людей ходили в школу на медные деньги, таща с собой торф для печки, – назидательно произнес мистер Кернан. – Старая система лучше всего. Учили честно и по-простому, без этих нынешних фокусов...

– Что верно, то верно, – поддержал мистер Пауэр.

– Без казуистики, – сказал мистер Фогарти.

Он четко артикулировал слово и с достоинством отхлебнул.

– Помнится, я читал, – сказал мистер Каннингем, – что одно из стихотворений папы Льва было про изобретение фотографии – само собой, по-латыни.

– О фотографии! – изумился мистер Кернан.

– Вот именно, – подтвердил мистер Каннингем.

Он также прихлебнул виски.

– А что, – сказал Маккой, – разве фотография не чудо, если так вот задуматься?

– Конечно, – сказал мистер Пауэр, – великие умы, они способны видеть этакое.

– Как говорит поэт, – молвил мистер Фогарти, – «Великие умы недалеко от безумия».

Ум мистера Кернана, казалось, был в замешательстве. Его хозяин с усилием пытался припомнить позиции протестантской теологии по некоторым колючим вопросам. В конце концов он адресовался к мистеру Каннингему.

– А вот скажите-ка, Мартин, – попросил он. – Ведь некоторые папы – конечно, не теперешний наш и не предыдущий, а какие-то из пап в старину, – ведь они были... ну, знаете... не шибко на уровне, правда?

Настало молчание. Мистер Каннингем отвечал так:

– Ну да, верно, были кое-какие темные персонажи... Но вот удивительная вещь. Никто из них, будь то последний пьяница, будь то самый... самый отпетый разбойник, никто из них никогда не проповедовал *ex cathedra* ни единого слова ложного учения. Разве это не удивительно?

– Удивительно, – согласился мистер Кернан.

– Ибо папа, – пояснил мистер Фогарти, – когда он говорит *ex cathedra*, он непогрешим.

– Да, – сказал мистер Каннингем.

– Ага, я знаю про папскую непогрешимость. Помню, когда я был молодой... Или же это было про...?

Реплику прервал мистер Фогарти. Вооружившись бутылкой, он разлил компании еще по малой. Мистер Маккой, видя, что в бутылке недостает для полного круга, сказал, что у него еще остается; прочие, повинувшись настояниям, приняли. Тихая музыка виски, струящегося в стаканы, составила приятную интерлюдю.

– Так вы про что говорили, Том? – спросил Маккой.

– Папская непогрешимость, – сказал мистер Каннингем, – это величайший эпизод во всей истории Церкви.

– И как это произошло, Мартин? – спросил мистер Пауэр.

Мистер Каннингем поднял вверх два толстых пальца.

– В священной коллегии кардиналов, архиепископов и епископов были, понимаете, два человека, которые выступали против нее, а все остальные были за. Весь конклав был единодушен, за исключением только этих двух. Нет и нет! Они ни за что не соглашались!

– Ха! – произнес Маккой.

– Это были один немецкий кардинал по имени Доллинг... или Даулинг... как же его...

– Даулинг уж никак не немецкий, я вам ручаюсь, – сказал мистер Пауэр со смехом.

– Ну, словом, этот знаменитый немецкий кардинал, как бы его ни звали, был один из них, а второй – это был Джон Макхейл.

– Как? – вскричал мистер Кернан. – Джон Туамский?

– Вы уверены в этом? – спросил с сомнением мистер Фогарти. – Мне казалось, это был какой-то итальянец или американец.

– Этот человек был Джон Туамский, – повторил мистер Каннингем.

Он выпил, и все джентльмены последовали за ним. Он перешел к окончанию истории:

– Итак, все они были там, все кардиналы, архиепископы и епископы со всех уголков земли, и эти двое отбивались как черти до последнего, пока наконец сам папа не поднялся и не провозгласил непогрешимость догматов Церкви ex cathedra. И в эту минуту Джон Макхейл, который все так и спорил, и спорил против нее, тоже поднялся и вскричал зычным голосом, что есть мочи: Credo!

– Верую! – перевел мистер Фогарти.

– Credo! – повторил мистер Каннингем. – Это показывает его веру. В тот момент, когда заговорил папа, он подчинился.

– А как насчет Даулинга? – спросил Маккой.

– Немецкий кардинал не подчинился. Он покинул Церковь.

Под действием слов мистера Каннингема в сознании его слушателей возник величественный образ Церкви. Дрожь пробрала их, когда его глубокий голос с хрипотцой произнес слово веры и послушания. И когда в комнату, вытирая руки, вошла миссис Кернан, она оказалась в торжественно притихшем собрании. Не нарушая молчания, она облокотилась на спинку кровати.

– Я видел однажды Джона Макхейла, – сказал мистер Кернан, – и я этого не забуду по гроб жизни.

Он повернулся к жене за подтверждением.

– Я ведь тебе сколько раз рассказывал!

Миссис Кернан кивнула.

– Это было на открытии памятника сэру Джону Грею. Выступал Эдмонд Двайер Грей, без конца нес какой-то треп, и тут же был этот старикан, насупленный, брови седыми кустиками, и он из-под них все сверлил глазками того.

Мистер Кернан насупил брови и, нагнув голову словно разъяренный бык, уставился на жену.

– Господи! – воскликнул он, вернув лицу обычное выражение. – Я в жизни у человека не встречал таких глаз. Как будто это он говорит: Я тебя, субчика, насквозь вижу. Глаза как у ястреба.

– В роду у Греев одни никчемные людишки, – сказал мистер Пауэр.

Пауза возобновилась. Потом мистер Пауэр повернулся к миссис Кернан и сказал весело и решительно:

– Что ж, миссис Кернан, мы из вашего мужа сделаем доброго католика, живущего во благочестии и страхе Божьем.



Он обвел рукой всех собравшихся.

– Мы все тут вместе будем говеть и исповедаем грехи наши – и, видит Бог, в этом нам крайняя нужда.

– Я не возражаю, – сказал мистер Кернан с несколько деланой улыбкою.

Миссис Кернан подумала, что ей будет разумней не выказывать большой радости, и ответила так:

– Сочувствую бедному священнику, кто будет выслушивать твою историю.

У мистера Кернана изменилось выражение.

– Если ему не понравится, – сказал он с напором, – он может... идти гулять. Я ему просто расскажу мою грустную историю. Я не из самых худших...

Мистер Каннингем проворно вмешался.

– Мы все проклянем дьявола, – сказал он, – все сообщу, и не будем забывать про его козни и про его могущество.

– Изыди от меня, Сатана! – возгласил мистер Фогарти со смехом, глядя на всю компанию.

Мистер Пауэр ничего не сказал. Он ощущал, что его отстранили от руководства, но на лице его мелькало удовлетворенное выражение.

– Все, что мы должны будем сделать, – сказал мистер Каннингем, – это стать с зажженными свечами в руках и возобновить обеты, данные при крещении.

– Да, не забывай свечу, Том, – сказал Маккой, – что б ты ни делал.

– Что-что? – переспросил мистер Кернан. – И мне тоже свечу?

– Конечно, – подтвердил мистер Каннингем.

– Нет уж, черт побери, – произнес мистер Кернан с убеждением, – на это я не пойду. Я все сделаю как надо. Прделаю всю эту штуку с говением и с исповедью и... в общем, всю эту штуку. Но только... только никаких свечек! Нет, черт побери, свечки я исключаю!

Он замотал головой с потешной серьезностью.

– Смотрите-ка на него! – сказала его жена.

– Свечки исключаются, – повторил мистер Кернан, видя, что слова его подействовали на слушателей, и продолжая усиленно мотать головой. – Все эти волшебные фонарики я исключаю.

Все рассмеялись от души.

– Ничего не скажешь, добрый католик! – сказала жена.

– Никаких свечек! – упрямо повторял мистер Кернан. – Не допускается!

\* \* \*

Церковь иезуитов на Гардинер-стрит была уже почти заполнена народом, но люди всё продолжали прибывать через боковые двери и, следуя указаниям послушника, на цыпочках направлялись по боковым проходам, покуда не находили свободных мест. Все прибывающие были хорошо одетые и чинно держащиеся господа. Свет церковных светильников упал на собрание черных сюртуков с белыми воротничками, перемежаемых кое-где твидовыми костюмами, на темные колонны зеленого пятнистого мрамора и на полотна мрачного содержания. Джентльмены сидели на скамьях, слегка подпернув вверх брюки на коленях и положив рядом шляпы. Они сидели, удобно откинувшись, и безразлично взирали на красный огонек, что мерцал в отдалении, подвешенный перед главным алтарем.

На одной из скамей вблизи от кафедры сидели мистер Каннингем и мистер Кернан. Позади них сидел в одиночестве Маккой, а на скамье за его спиной размещались мистер Пауэр и мистер Фогарти. Маккой безуспешно пытался найти местечко рядом с другими, а когда компания расположилась в форме буквы Х, он столь же безуспешно пытался состричь по этому поводу. После этих неудач он затих. Чинная атмосфера действовала даже на него, и даже он начал поддаваться религиозному настроению. Мистер Каннингем привлек шепотом внимание мистера Кернана к фигурам мистера Харфорда, ростовщика, сидевшего неподалеку от них, и мистера Феннинга, судейского секретаря и заправила выборов мэра города, который сидел прямо под кафедрой, рядом с одним из новоизбранных окружных советников. По правую руку сидели старый Майкл Граймз, хозяин трех закладных лавок, и племянник Дэна Хогана, кандидат на должность муниципального секретаря. Ближе к кафедре виднелись мистер Хендрик, глава репортеров «Фрименс Джорнел», и бедняга О'Кэрролл, старый приятель мистера Кернана, который некогда был весьма видным коммерсантом. Постепенно, по мере того как он узнавал знакомые лица, мистер Кернан чувствовал себя все свободней. Шляпа, возвращенная к жизни его женой, покоилась у него на коленях. Один-два раза он подтянул книзу свои манжеты одной рукой, меж тем как другой, не отпуская, придерживал за поля шляпу.

Богатырская фигура, верхнюю часть которой облекал белый стихарь, появившись, не без труда взгромоздилась на кафедру. Собрание сразу же задвигалось, джентльмены извлекли платки и с аккуратностью преклонили на них колена. Мистер Кернан последовал общему примеру. Фигура священника на кафедре сейчас высилась прямо, выдаваясь над перильцами на добрых две трети и увенчиваясь массивным красным лицом.

Отец Борделл стал на колени, повернувшись к красному огоньку, и, закрыв лицо руками, молился. Через некоторое время он открыл лицо и поднялся. Паства также поднялась и снова уселась на скамьи. Мистер Кернан вернул шляпу в исходную позицию на коленях и со вниманием обратил лицо к проповеднику. Округлым отработанным жестом проповедующий отвернул оба широких рукава стихаря и медленно обвел взглядом ряды лиц. Потом он произнес:

«Ибо сыны века сего догадливей сынов света в своем роде. Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители»[79 - Лк. 16: 8-9.]

Отец Борделл развивал этот текст звучно и уверенно. Для правильного

истолкования, сказал он, это один из самых трудных текстов во всем Писании. Как могло бы показаться на поверхностный взгляд, этот текст расходится с той возвышенной моралью, какую возвещает Иисус Христос в остальных местах. Однако на его взгляд – как поведал он внешнему – сей текст особенно отвечал нуждам наставления тех, кому выпало в удел вести мирскую жизнь, но кто, вопреки тому, не желал жить подобно чадам мира сего. То был текст, обращенный к бизнесменам, к лицам свободных профессий. Христос Иисус, имеющий Божественное всеведение всех немощей нашей человеческой природы, ведал и то, что отнюдь не всем человекам суждено религиозное призвание, что огромное большинство их вынуждено жить в миру и, в известной мере, для мира: и в этом речении Он желал подать им совет, поставив в пример им, в части религиозной жизни, тех самых слуг Мамоны, что меньше всех пеклись о духовном.

Он поведал внешнему, что в этот день его миссия не несла в себе ничего устрашающего, ничего запредельного: сегодня он говорил как человек мира, обращающийся к своим собратьям. Он пришел, чтобы говорить с людьми бизнеса, и он будет говорить на их языке. Если ему позволят такую метафору, он будет их духовным бухгалтером; и он желает, чтобы каждый из внешнему ему раскрыл бы свои счетные книги, книги своей духовной жизни, и взглянул бы, насколько они сходятся с совестью.

Иисус Христос не жестокий надсмотрщик. Он понимает наши повседневные банкротства, понимает искушения сей жизни, неудачи и слабости нашей бедной падшей природы. У нас могут быть и у нас всех бывают порой наши искушения, у нас могут быть и у нас всех бывают банкротства. Но есть одно, чего он потребовал бы от всех, внешнему ему, одно-единственное. И это вот что: быть с Богом прямым и мужественным. Если счета сходятся во всем, до последней запятой, то сказать:

– Что же, я проверил мои счета. Вижу, все правильно.

Но если, как может статься, будут какие-то расхождения – тогда признать истину, быть честным и заявить начистоту, по-мужски:

– Что же, я просмотрел мои счета. Я вижу, тут неверно и тут неверно. Но, если будет милость Божия, я выправлю и это, и то. Я непременно выправлю мои счета.

## Мертвые

Лили, дочка швейцара, просто сбивалась с ног. Она еле-еле успела проводить одного джентльмена в каморку рядом с конторой на нижнем этаже и помогла ему там снять пальто, как тут же осипший колокольчик у входа опять зазвонил, и надо было нестись со всех ног по коридору встречать следующего гостя. Хорошо еще, что дамы не находились на ее попечении. Об этом подумали мисс Кейт и мисс Джулия, они устроили дамскую гардеробную в ванной комнате наверху. Мисс Кейт и мисс Джулия были там, шушукаясь, суетясь, смеясь, и по очереди выходили к лестнице глянуть вниз и спросить у Лили, кто уже появился.

Это каждый год бывало большим событием, вечер с танцами у трех мисс Моркан. Собирались все, кто только их знал, и члены семейства, и друзья семейства, и участники хора Джулии, и все ученицы Кейт, кто достаточно подрос, и даже кое-кто из учеников Мэри-Джейн. И ни разу это не было неудачно. Насколько у всех хватало памяти в прошлое, всегда, все годы получалось блестяще – с тех самых пор, как

Кейт и Джулия после смерти Пэта, их брата, выехали из дома на Стони-Баттер и, взяв к себе единственную свою племянницу Мэри-Джейн, поселились в этом мрачном, угрюмом доме на Ашер-Айленд, наняв тут верхний этаж у зерноторговца мистера Фулэма, контора которого была внизу. Тому уж минуло добрых тридцать годков, никак не меньше. Мэри-Джейн была тогда девчушкой в коротких платицах, а сейчас на ней держался весь дом, благодаря ее должности органистки в церкви на Хэддингтон-роуд. Она окончила академию и ежегодно устраивала концерт своих учеников в концерт-холле Эншент, в верхней из зал. Многие ее ученики были из хороших, видных семей, проживавших в сторону Долки и Кингстауна. Ее тетушки, хотя уже и состарились, тоже вносили свою лепту. Джулия, совсем поседевшая, по-прежнему оставалась первым сопрано в хоре у Адама и Евы, а Кейт стала слишком слаба, чтобы много выходить, и дома, в задней комнате, давала уроки музыки для начинающих на старом и неуклюжем инструменте. Лили, дочка швейцара, была им за приходящую служанку. Они жили скромно, однако считали, что важно хорошо питаться и всё должно быть самое лучшее: филей высшего качества, чай, что по три шиллинга, лучший портер. Но Лили редко делала оплошку в заказах и потому у нее обычно был лад со всеми ее тремя хозяйками. Они переживали из-за всего, ну и что. Единственное, чего они не терпели, это если начнешь перечить.

Конечно, в такой вечер у них хватало причин, чтобы переживать. Потом, ведь десять уже давно прошло, а от Габриэла с женой все еще ни слуху ни духу. И вдобавок они ужасно боялись, что Фредди Малинз придет набравшись. Они ни за что на свете не хотели, чтоб кто-нибудь из учеников Мэри-Джейн увидел бы его под парами; в таком состоянии, случалось, с ним совершенно не было сладу. Фредди Малинз всегда приходил поздно, но они гадали, что же могло задержать Габриэла: вот оттого-то они и выходили каждые две минуты к лестнице спросить Лили, не появились ли Габриэл или Фредди.

– Ох, мистер Конрой, – сказала Лили, открывая дверь Габриэлу, – мисс Кейт и мисс Джулия уж думали, вы вообще не придете. Добрый вечер, миссис Конрой.

– Ручаюсь, они так и думали, – сказал Габриэл, – только они забывают, что моя супруга, которая перед вами, тратит на свое одевание три смертных часа.

Он стоял на коврикe, обивая снег со своих галош, а Лили подвела его жену к лестнице наверх и позвала:

– Мисс Кейт, миссис Конрой пришла.

Кейт и Джулия появились сразу и, спотыкаясь на темной лестнице, сошли вниз. Они обе расцеловались с женой Габриэла и сказали ей, что она пропащая душа, и спросили, а где же Габриэл.

– Я вот он, точный как дилижанс, тетя Кейт! Поднимайтесь, я иду следом, – откликнулся Габриэл из темноты.

Он продолжал рьяно отирать и обивать обувь, а три женщины поднялись, смеясь, наверх в дамскую гардеробную. Легкая кромка снега как пелерина окаймляла плечи его пальто и словно чехлом одевала носки галош, и когда пуговицы пальто, поскрипывая, просунулись сквозь задубевшие от мороза петли, изо всех складок пахло студеным, пряным воздухом улицы.

– Там что, снег опять, мистер Коунрой? – спросила Лили.

Идя впереди, она провела его в каморку и помогла снять пальто. Улыбнувшись трехсложному произношению своей фамилии, Габриэл посмотрел на нее. Худенькая девушка, еще подросток, с бледным личиком и соломенными волосами. Свет газового рожка делал ее еще бледней. Габриэл помнил ее совсем малышкой, она сидела обычно на нижней ступеньке лестницы, баюкая тряпичную куклу.

– Да, Лили, – отвечал он, – и я думаю, он зарядил на всю ночь.

Он глянул на потолок, который вздрагивал от топота и шарканья ног наверху, на миг прислушался к звукам фортепьяно и вновь посмотрел на девушку, что старательно сворачивала и укладывала его пальто на полку.

– Скажи-ка, Лили, – спросил он дружеским тоном, – ты еще ходишь в школу?

– Ну что вы, сэр, – отвечала она, – со школы-то я уж боле чем год.

– А раз так, – сказал весело Габриэл, – то мы, глядишь, вскорости пожалуйем на твою свадьбу, правда?

Девушка бросила на него взгляд через плечо и ответила с тяжелой горечью:

– Нынешние мужчины, так они только наплетут, да от тебя бы попользоваться.

Габриэл покраснел, словно поняв свою ошибку, и, больше не глядя на нее, сбросил галоши и с помощью шарфа принялся энергично наводить лоск на башмаки.

Он был плотным и довольно высоким молодым человеком. Румянец щек, продолжаясь вверх, создавал там и сям на лбу бесформенные пятна розового; на лице, лишенном растительности, беспокойно поблескивали линзы и золоченая оправа очков, скрывавших мягкий и беспокойный взгляд. Черные блестящие волосы, разделенные посредине пробором, по плавной кривой спускались ото лба за уши, и там их кончики слегка загибались подле следа, оставленного на коже шляпой.

Наведя блеск на башмаки, он выпрямился и одернул поплотнее жилет на своем полном туловище. Потом быстро вынул из кармана монету.

– Послушай, Лили, – сказал он, сунув монету ей в руки, – сейчас ведь Рождество, верно? Ну вот... это тебе небольшой...

Он быстро направился к дверям.

– Нет-нет, сэр! – воскликнула она, пускаясь следом за ним, – Я не могу взять, правда, сэр.

– Рождество! Рождество! – повторил Габриэл, переходя почти на бег и делая протестующий взмах рукой.

Видя, что он уже достиг лестницы, девушка крикнула ему вслед:

– Ладно, тогда спасибо, сэр.

Он ждал, пока не кончится вальс, стоя за дверями гостиной и слушая, как шаркают ноги и шелестят юбки, задевая за дверь. Немного он еще был под воздействием ее неожиданной реакции, такой горькой. Это испортило настроение, и он попытался

отвлечься, поправляя запонки и узел галстука. Потом вынул листок из жилетного кармана и просмотрел список пунктов, заготовленных к предстоящей речи. Он не решил еще насчет строчек из Роберта Браунинга, были опасения, что для слушателей это чересчур. Лучше бы такую цитату, которую все узнают, из Шекспира или же из «Мелодий». Грубоватый стук мужских каблуков, шарканье подошв напоминали ему, что культурный уровень там, у них, не тот же, что у него. Он только выставит себя на смех, если начнет цитировать им стихи, которых им не понять. Они подумают, он кичится своим образованием. И его постигнет с ними фиаско, так же как с девушкой в камерке. Он взял неверный тон. Вся речь, с начала и до конца, была ошибкой, чистым фиаско.

В этот самый момент из дамской гардеробной вышли две его тетушки и его жена. Обе тетушки были уже очень в годах, небольшого роста, в строгих нарядах. Тетя Джулия была на дюйм или два повыше. У нее были седые волосы, начесанные низко на уши, и какого-то похожего белесоватого цвета, с более темными теньями по нему, было ее крупное вялое лицо. Хотя она была плотно сложена и держалась прямо, ее замедленный взгляд и слегка приоткрытый рот придавали ей вид женщины, которая плохо представляет, где она и куда направляется. Тетя Кейт выглядела живее. Лицо у нее имело более здоровый цвет и было все в складочках и морщинках, словно печеное яблоко, а волосы, заплетенные на тот же старомодный манер, не потеряли своего теплого орехового тона.

Они обе от души расцеловались с Габриэлом. Он был любимый племянник, сын Элин, их покойной старшей сестры, что вышла замуж за Т. Дж. Конроя из Портового управления.

– Грета мне говорит, вы не хотите сегодня ехать назад в Монкстаун, – сказала тетя Кейт.

– Нет-нет, – произнес Габриэл, оборачиваясь к жене, – с нас хватит прошлого года, ты согласна? Вы помните, тетя Кейт, как она простудилась тогда? Окошки у кеба дребезжали всю дорогу, и как проехали Меррион, к нам тут же начало задувать с востока. Чудное приключеньце. Грета схватила ужасающую простуду.

Тетя Кейт сурово нахмурилась и согласно кивала при каждом слове.

– Ты абсолютно прав, Габриэл, – сказала она. – Лучше быть осторожней.

– Но если спросите Грету, – добавил Габриэл, – она бы пошла домой по снегу пешком, если б ее пустили.

Миссис Конрой засмеялась.

– Не слушайте его, тетя Кейт, – сказала она. – Он вечно выдумывает проблемы, то надо зеленый абажур Тому для глаз по вечерам, то мальчик должен поднимать гири, а Еве следует непременно есть болтушку. Бедный ребенок! Она уже видеть ее не может!.. А что он сейчас мне велит носить, это вы никогда не угадаете!

Она засмеялась еще сильнее и посмотрела на мужа, чей взгляд с нескрываемым восхищением и удовольствием переходил от ее наряда к волосам и лицу. Две тетушки тоже от души рассмеялись; неумная заботливость Габриэла давно была у них притчей во языцех.

– Галоши! – объявила миссис Конрой. – Вот последняя новость. Едва на улице сыро,

я должна надевать галоши. Он даже сегодня хотел, чтобы я их надела, но я отказалась. Теперь он мне наверно купит водолазный костюм.

Габриэл засмеялся слегка нервически и погладил успокоительно свой галстук, между тем как тетушка Кейт почти согнулась от смеха, шутка ей понравилась от души. У тетушки Джулии улыбка быстро сошла с лица, и глаза ее, в которых не было веселья, смотрели прямо в лицо племянника. После небольшого молчания она спросила:

– А что такое галоши, Габриэл?

– Галоши! – воскликнула ее сестра. – Господи, ты не знаешь, что такое галоши? Их надевают поверх... поверх обуви, верно, Грета?

– Конечно, – ответила миссис Конрой. – Такие резиновые штуки. Мы оба сейчас имеем по паре. Габриэл говорит, на континенте все носят их.

– А, на континенте, – прошептала тетушка Джулия, замедленно кивнув головой.

Габриэл сдвинул брови и сказал, напуская на себя недовольный вид:

– Ничего такого-этакого в них нет, но Грете кажется, что это страшно забавно, она говорит, ей это слово напоминает про Менестрелей Кристи.

– Скажи мне, однако, Габриэл, – вмешалась быстро и тактично тетушка Кейт, – ты же, конечно, распорядился насчет комнаты? Грета говорила...

– О, насчет комнаты все в порядке, – ответил Габриэл. – Я заказал в Грешеме.

– Тут и речи не может быть, – сказала тетушка Кейт, – именно так и надо было. А за детей ты не волнуешься, Грета?

– Ну, на одну ночь ничего. И потом, Бесси за ними будет присматривать.

– Речи не может быть, – повторила тетушка Кейт. – Какое удобство, когда есть вот такая девушка, на которую можно положиться. У нас эта Лили, я в толк никак не возьму, что с ней последнее время происходит. Она вся стала какая-то совершенно другая.

Габриэл хотел выспросить у тетушки еще что-нибудь об этом, но та, неожиданно оборвав себя, устремила взгляд на сестру, которая переступала по лестнице то выше, то ниже, вытягивая шею и перегибаясь через перила.

– Позвольте спросить, – сказала она почти с раздражением, – что это выделяет Джулия? Джулия! Джулия! Ты там что делаешь?

Джулия, стоявшая на середине пролета лестницы, вернулась к ним и любезно сообщила:

– Пришел Фредди.

В эту минуту финальные раскаты аккордов и шумный аплодисмент возвестили об окончании вальса. С той стороны распахнули двери, и несколько пар вышли из залы. Тетушка Кейт, с поспешностью увлекая Габриэла прочь, зашептала ему на ухо:

– Сделай доброе дело, Габриэл, пойдь вниз и взгляни, в приличном он виде или нет. Если он набравшись, ты его не пускай наверх. Я уверена, он уже набравшись. Просто абсолютно уверена.

Габриэл вышел к лестнице и прислушался, что происходит внизу. Из каморки доносились звуки двух голосов, и вскоре он мог узнать хохот Фредди Малинза. Он начал с шумом спускаться по лестнице.

– Это такое облегчение, – сказала тетушка Кейт миссис Конрой, – когда Габриэл тут с нами. У меня всегда легче на душе, когда он тут... Джулия, здесь мисс Дэли и мисс Пауэр, которым чего-нибудь прохладительного. Спасибо за ваш прекрасный вальс, мисс Дэли. Вы чудесно держали ритм.

Высокий мужчина со смуглым лицом в морщинах и жесткими седеющими усами, выйдя из залы вместе со своей дамой, спросил:

– Нельзя ли и нам чего-нибудь прохладительного, мисс Моркан?

– Джулия, – немедля отозвалась тетушка Кейт, – и еще мистер Браун и мисс Ферлонг. Проводи их вместе с мисс Дэли и мисс Пауэр.

– Я дамский рыцарь, – сказал мистер Браун, покусывая губы, так что усы его встопорщились, и улыбаясь всеми своими морщинами. – Знаете, мисс Моркан, они все души не чают во мне, потому что –

Он не закончил фразы, заметив, что тетушка Кейт уже не на расстоянии его голоса, и повлек трех молодых дам в заднюю комнату. В центре ее были составлены вместе два квадратных стола, на которых тетушка Джулия с помощью швейцара расстилала и расправляла большую скатерть. У стены на буфете располагались стопки тарелок и блюд, бокалы, горки ножей, вилок и ложек. Инструмент был закрыт, и его поверхность тоже служила буфетной полкой, на которой были расставлены сладости и закуски. У малого буфета в углу стояли два молодых человека, они пили легкое пиво.

Мистер Браун направился со своими подопечными в эту сторону и шутя предложил им всем хлебнуть дамского пунша, горячего, крепкого и сладкого. Когда же все заявили, что никогда не пьют крепких напитков, он откупорил для каждой дамы бутылку лимонада. Затем он попросил одного из молодых людей немного посторониться и, завладев графином, налил себе щедрую порцию виски. Молодые люди взирали почтительно, как он делает первый пробный глоток.

– С помощью Божией, – произнес он, улыбаясь, – и как доктор прописал.

Улыбка на морщинистом лице его расплылась еще шире, а три молодые дамы добавили своим смехом музыкальное эхо к его шутке, покачиваясь стройными телами взад и вперед и слегка подрагивая плечами. Самая отчаянная решила сказать:

– Ну вы уж скажете, мистер Браун, я уверена, доктора ничего такого не прописывают.

Мистер Браун еще глотнул виски и проговорил с заговорщической ужимкой:

– Понимаете, я как знаменитая миссис Кэссиди, которая, говорят, выразилась так:



«Слышь, Мэри Граймз, ежели я щас не приму, ты меня заставь, потому как я чувствую, мне охота».

Разгоряченное лицо его наклонилось и приблизилось, пожалуй, слишком конфиденциально, и притом он выбрал очень грубый дублинский акцент, так что молодые леди, повинувшись чутью, встретили его речь дружным молчанием. Мисс Ферлонг, одна из учениц Мэри-Джейн, спросила мисс Дэли, как назывался чудесный вальс, который она исполнила; но мистер Браун, оставленный без внимания, недолго думая обернулся к молодым людям, готовым более оценить его.

Молодая женщина в лиловом платье, вся покрасневшая, вошла в комнату и, хлопая возбужденно в ладоши, прокричала:

– Кадриль! Кадриль!

За ней тут же появилась тетушка Кейт, выкликая:

– Два джентльмена и три дамы, Мэри-Джейн!

– А вот у нас мистер Бергин и мистер Керриган, – отозвалась Мэри-Джейн. – Мистер Керриган, вы не составите пару мисс Пауэр? Мисс Ферлонг, можно вам предложить в партнеры мистера Бергина. И все получается.

– Надо три дамы, – сказала тетушка Кейт.

Два молодых джентльмена спросили у своих дам, не окажут ли они им честь, а Мэри-Джейн обернулась к мисс Дэли.

– О, мисс Дэли, вы и так были сама доброта, что согласились исполнить эти два танца, но у нас, правда, так мало дам сегодня...

– Нет-нет, мне ничего не стоит, мисс Моркан.

– Зато у меня для вас прекрасный партнер, мистер Бартелл Д'Арси, тенор. Я его попозднее попрошу спеть. Весь Дублин от него без ума сейчас.

– Дивный голос, дивный голос! – подтвердила тетушка Кейт.

Меж тем вступление к первой фигуре уже прозвучало дважды, и Мэри-Джейн поскорее повлекла своих новобранцев прочь. Едва они удалились, в комнату медленно вошла Джулия, глядя куда-то позади себя.

– В чем дело, Джулия? – с беспокойством спросила тетушка Кейт. – Кто это там?

Джулия, которая несла стопку салфеток, обернулась к сестре и ответила обычным голосом, как бы удивившись вопросу:

– Да просто Фредди, Кейт, и с ним Габриэл.

И правда, сразу за нею виднелся Габриэл, направляющий движение Фредди Малинза через площадку лестницы. Названный джентльмен, молодой человек вблизи сорока, был того же сложения и роста, как Габриэл, но с очень покатыми плечами. У него было одутловатое бледное лицо, которое цвет оживлял только на толстых, свисающих мочках ушей и на широких раскрыльях носа. Черты лица были грубы, тупой нос,

выпуклый и пологий лоб, выпяченные губы. Глаза, прикрытые тяжелыми веками, и растрепанные жидкие волосы придавали ему сонный вид. Он от души заливался высоким смехом, продолжая рассказывать Габриэлу какую-то историю, и одновременно тер себе левый глаз, водя по нему взад-вперед левым кулаком.

– Добрый вечер, Фредди, – сказала тетушка Джулия.

Фредди Малинз пожелал дамам добрыйвечер тоном, который мог казаться небрежным из-за того, что его голос был, как всегда, сиповат, а затем, завидев подле буфета приветственно ухмыляющегося мистера Брауна, несколько шаткою походкою пересек комнату и вполголоса принялся пересказывать ему историю, поведенную только что Габриэлу.

– Он ведь не так уж перебрал, правда? – сказала Габриэлу тетушка Кейт.

Лоб Габриэла был нахмурен, но он расправил тут же черты и отвечал:

– Да-да, почти совсем незаметно.

– Но все равно он неисправим! – вздохнула она. – Ведь накануне Нового года бедная его мать взяла с него самый твердый зарок. Нам надо идти в залу, Габриэл.

Покидая комнату вместе с Габриэлом, она подала предостерегающий знак мистеру Брауну, сурово поведив пальцем из стороны в сторону. Мистер Браун кивнул в ответ и вслед за уходом их сказал Фредди Малинзу:

– Знаешь, Тедди, давай-ка я тебе поднесу стаканчик лимонаду для крепости.

Фредди Малинз, который как раз подходил к самой высшей точке своей истории, только нетерпеливо отмахнулся, однако мистер Браун, за миг до этого обративший внимание Фредди на некие неполадки в его костюме, налил полный бокал лимонада и вручил ему. Левая рука Фредди приняла бокал машинально, меж тем как правая рука машинально поправляла костюм. Мистер Браун, лицо которого снова совершенно собралось в морщины от веселья, налил себе стакан виски, а Фредди Малинз, так и не успев достичь самой высшей точки своей истории, разразился взрывом перхающего визгливого смеха и, поставив свой непригубленный переполненный бокал, принялся тереть себе левый глаз, водя по нему взад-вперед левым кулаком и вновь и вновь повторяя последние сказанные слова, насколько позволял ему смех.

\* \* \*

Габриэл не смог сохранить внимание, когда Мэри-Джейн в притихшей зале играла свою академическую пьесу, полную стремительных и трудных пассажей. Он любил музыку, но пьеса, которую она играла, была для него лишена мелодии, и он сомневался, находят ли в ней мелодию другие слушатели, хотя они наперебой упрасивали Мэри-Джейн сыграть. Четверо молодых людей, которые при звуках фортепьяно появились из комнаты с напитками и стали в дверях, через несколько минут тихо удалились попарно. Единственными, кто следил за музыкой, казались сама Мэри-Джейн, чьи руки носились по клавиатуре или порой взлетали над ней как бы в стремительном жесте проклинаящей жрицы, а также тетушка Кейт, стоявшая подле нее и переворачивавшая страницы.

Взор Габриэла раздражал блеск навощенных половиц, где падал свет большой люстры,

и он начал смотреть на стену подле инструмента. Над роялем висела картина, изображающая сцену на балконе из «Ромео и Джульетты», а рядом с ней вышивка, на которой тетушка Джулия, когда была девочкой, вышила красной, синей и коричневой шерстью двух принцев, задушенных в Тауэре. Видимо, в школе, в которой они учились, преподавали вышивание в каком-то классе. Его мать однажды ему сшила ко дню рождения лиловый поплиновый жилет, на нем были маленькие лисьи головки с каймой темного атласа и круглые пуговицы тутового дерева. Как странно, что у матери не было способностей к музыке, хотя тетушка Кейт и называла ее министерской головой семейства Моркан. И она, и Джулия как будто всегда немножко гордились своей сестрой, такой серьезной и добродетельной. Под большим зеркалом стояла ее фотография. На коленях у нее была раскрытая книга, и она показывала там что-то Константину, который полулежал у ее ног в матросском костюмчике. Это она выбирала имена для сыновей, она очень заботилась о достоинстве семейства. Благодаря ей Константин сейчас настоятель церкви в Болбриггене, а сам он, Габриэл, получил степень в Королевском университете. Всё благодаря ей. Тень прошла по его лицу, когда он вспомнил, как она упорно была против его женитьбы. Некоторые презрительные ее фразы до сих пор отдавались болью в его душе; однажды она назвала Грету деревенской пройдохой, и это было про Грету абсолютно неверно. Не кто иной, как Грета ухаживала за ней постоянно во время ее долгой последней болезни, когда она лежала у них в доме в Монкстауне.

Он знал, что Мэри-Джейн приближается к концу пьесы, потому что сейчас она снова проигрывала начальную мелодию, со вставками после каждого такта, и пока он ждал окончания, чувство горечи в его сердце стихало. Пьеса завершилась россыпью октав в высоком регистре и финальной скорбной октавой в нижнем. Слушатели разразились усердными аплодисментами, а Мэри-Джейн, краснея, нервно перебирая и прижимая к себе ноты, поспешила скрыться из зала. Громче всех хлопали четыре молодых человека в дверях, которые в начале пьесы удалились к напиткам, но сразу вернулись, когда музыка смолкла.

Началась кадриль, и партнершей Габриэла оказалась мисс Айворз, говорливая веснушчатая девица с карими выпуклыми глазами и решительными манерами. На ней было закрытое платье, у воротника которого красовалась большая брошь с ирландской эмблемой и девизом.

Когда они заняли места, она резко проговорила:

– А вы знаете, у меня с вами счеты.

– Со мной? – удивился Габриэл.

Она с важностью кивнула.

– И в чем же дело? – спросил он, улыбнувшись ее торжественности.

– Кто такой Г. К.? – ответила она вопросом, в упор уставившись на него. Габриэл слегка покраснел и начал морщить свой лоб, делая вид непонимания, но она тут же бесцеремонно продолжила:

– Он сама невинность! Я раскопала, что это вы пишете для «Дейли экспресс». И что, вам за это не стыдно?

– Почему мне должно быть стыдно? – спросил он, моргая глазами и пробуя улыбнуться.

– Мне, по крайней мере, стыдно за вас, – сказала она без обиняков. – Кто б подумал, что вы пишете для такой газетенки. Я вас раньше не считала британчиком.

Лицо Габриэла выразило недоумение. Да, он в самом деле писал каждую среду литературную колонку для «Дейли экспресс», и ему за это платили пятнадцать шиллингов. Но он от этого нисколько не становился британчиком. Пожалуй, книги, что ему присылали на рецензию, значили для него даже больше, чем пустяковый гонорар. Ему нравилось держать в руках переплет, листать страницы свежевывшедшей книги. Почти каждый день, покончив с делами в колледже, он навещал лавки букинистов на набережных, заходил к Хикки на Бейчлорз-Уок, к Вэббу или Месси на Астон-куэй или же к О'Клохисси, что в переулке. Он не знал, как ему защититься от нападения. Он бы хотел сказать, что литература выше политики. Но они были многолетние друзья, и путь их шел параллельно, сначала вместе в университете, потом стали преподавателями, и с ней он не мог позволить себе риск показаться напыщенным. И он продолжал моргать глазами, пробуя улыбнуться, и лишь неловко пробормотал, что он не видит никакой политики в том, чтобы писать книжные рецензии.

Когда настала их очередь переходить, он был все еще в замешательстве и рассеян. Мисс Айворз проворно взяла его за руку и дружески, тепло пожимая ее, сказала мягко:

– Ну что вы, я же просто шучу. Пойдем, наш черед.

Когда они опять оказались вместе, она заговорила о проблеме Университета, и Габриэл почувствовал себя свободней. Один ее друг показал ей его рецензию на стихи Браунинга, вот так она и узнала его секрет. Но сама рецензия ей страшно понравилась. Потом она вдруг сказала:

– Да, мистер Конрой, а вы бы не поехали летом на экскурсию на Аранские острова? Мы там собираемся пробыть целый месяц. Будет так чудесно на океане. Вам надо поехать. Мистер Кланси отправляется с нами, и мистер Килкелли, и Кэтлин Карни. И для Греты было бы замечательно, если б она тоже поехала. Она же из Коннахта, не так ли?

– Ее родичи оттуда, – кратко ответил Габриэл.

– Но вы ведь едете с нами, правда? – сказала с жаром мисс Айворз, кладя ему на руку свою теплую ладонь.

– Дело в том, – начал Габриэл, – что я уже договорился ехать...

– А куда? – спросила она.

– Видите ли, мы обычно ездим во Францию или в Бельгию, бывает, в Германию, – неловко отвечал Габриэл.

– И почему же вы ездите во Францию или в Бельгию, – спросила мисс Айворз, – вместо того, чтобы повидать родную страну?

– Ну знаете, – отвечал он, – с одной стороны, это для практики в языках, а с другой, просто ради чего-то нового.

– А что, разве у вас нет собственного языка, в котором нужна была бы практика? Ирландского языка! – настаивала она.

– Ну знаете, – отвечал он, – уж если на то пошло, то ирландский – это не мой собственный язык.

Соседние пары уже оборачивались на них, прислушиваясь к форменному допросу. Габриэл начал нервно озираться по сторонам, пытаясь сохранять присутствие духа в этом неожиданном испытании; на лбу его выступил румянец.

– И разве нет у вас собственной страны, – продолжала она, – о которой вы ничего не знаете, нет собственного народа, нации?

– Сказать вам начистоту, – взорвался вдруг Габриэл, – мне давно уж тошно от моей нации, тошно!

– Почему? – спросила она.

Габриэл не ответил, его вспышка вызвала у него прилив жара.

– Почему? – снова повторила мисс Айворз.

Была их очередь делать следующую фигуру, и, видя, что он не отвечает, она молвила дружески:

– Ясно, что ответить вам нечего.

Габриэл постарался рассеять возбуждение, вкладывая энергию в танец. Он избегал ее взгляда, ибо видел на лице у нее досаду. Но, когда они опять были рядом во время большой цепи, он с удивлением ощутил, что она крепко жмет ему руку. В некий миг она испытующе и лукаво уставилась на него исподлобья, пока он ей не улыбнулся. Когда же цепь снова двинулась, она, привстав на цыпочки, шепнула ему на ухо:

– Британчик!

Кадриль кончилась, и Габриэл направился в дальний угол, где сидела мать Фредди Малинза. То была грузная и рыхлая женщина, давно постаревшая и совсем седая. Как и у сына, у нее был сиповатый голос, и она слегка заикалась. Ей уже сообщили, что Фредди пришел и что он почти в норме. Габриэл спросил, хорошо ли она добралась. Она жила со своей замужней дочерью в Глазго и раз в году приезжала на время в Дублин. Мирным, довольным тоном она сказала, что плавание было отличным и капитан все время проявлял к ней заботу. Потом она начала рассказывать, какой прекрасный дом в Глазго у ее дочери и как много у них друзей там. Слушая ее бессвязную речь, Габриэл пытался прогнать из головы впечатления от неприятной стычки с мисс Айворз. Конечно, эта девица, или женщина, или уж кто она, была из энтузиастов, только всему есть мера. Возможно, он и не должен был ей отвечать в таком духе. Но она не имела права его называть прилюдно британчиком, пусть даже в шутку. Она хотела выставить его на посмешище этими своими наскоками да еще глазела в упор своими кроличьими глазами.

Он увидел, как к нему направляется жена, пробираясь между вальсирующих пар. Оказавшись рядом, она сказала ему на ухо:

– Послушай, тетя Кейт спрашивает, ты будешь разрезать гуся, как обычно. Мисс Дэли будет разрезать окорок, а на мне пудинг.

– Согласен, – отвечал Габриэл.

– Она сначала усадит молодежь, как только этот вальс кончится, так что наш стол будет отдельно.

– А ты танцевала? – спросил он.

– Конечно, ты разве меня не видел? А что у тебя там произошло с Молли Айворз?

– Да ничего не произошло, с чего ты? Это она сказала?

– Ну, что-то вроде. Я тут уговариваю этого мистера Д’Арси спеть. Похоже, он очень много о себе думает.

– Да, ничего не произошло, – произнес мрачно Габриэл, – только она хотела, чтобы я поехал на экскурсию на запад Ирландии, а я сказал, не поеду.

Его жена всплеснула возбужденно руками и даже чуть-чуть подпрыгнула.

– Ой, Габриэл, давай съездим! – воскликнула она. – Я б так хотела еще разок в Голуэй.

– Если тебе угодно, ты можешь ехать, – холодно отвечал он.

Она поглядела на него секунду и затем обернулась к миссис Малинз.

– Какой у меня прекрасный муженек, – сказала она ей.

Пока она пробиралась обратно через наполненную залу, миссис Малинз как ни в чем не бывало продолжила свой рассказ Габриэлу о том, какие прекрасные места в Шотландии и какие там замечательные виды. Ее зять каждое лето вывозил все семейство на озера, и они там ловили рыбу. Зять был просто великолепный рыболов. Однажды он поймал отличную огромную рыбину, и повар в гостинице приготовил им ее на обед.

Габриэл почти не слышал, что она говорит. Приближался ужин, и он снова принялся думать про свою речь и про ту цитату. Завидев Фредди Малинза, направлявшегося засвидетельствовать почтение своей матушке, Габриэл поднялся, освободив место для него, и укрылся в нише окна. Гостиная почти опустела, и из задней комнаты доносилось звяканье посуды. Немногие, кто еще оставались, выглядели уставшими от танцев и тихо переговаривались небольшими кучками. Его теплые подрагивающие пальцы постукивали по замерзшему стеклу. Как свежо, должно быть, на улице! Как было бы приятно сейчас брести одному, сначала берегом Лиффи, потом по парку. На всех деревьях, наверно, снег, на памятнике Веллингтона белоснежная шапка. Насколько было бы там приятней, чем сидеть за столом!

Он просмотрел свои пункты: ирландское гостеприимство, грустные воспоминания, Три Грации, Париж, цитата из Браунинга. Вспомнилась фраза, которую он написал в рецензии: «Возникает чувство, будто слушаешь музыку, где мучительно пробивается какая-то мысль». Мисс Айворз похвалила рецензию. Интересно, искренне или нет? Есть у нее вообще хоть какая-нибудь своя жизнь, кроме агитации и пропаганды? До

этого вечера у них никогда не было ни малейшей вражды. Его дух сникал, когда он думал, что она тоже будет там, за столом, и во время его речи будет глядеть на него этим насмешливым и критическим взглядом. Пожалуй, ей вовсе не будет его жаль, если он провалится со своей речью. Но тут ему пришла мысль, вернувшая ему бодрость. Он скажет так, намекая на тетушку Джулию и тетушку Кейт: «Леди и джентльмены, то поколение, закат которого сейчас проходит пред нами, имело, быть может, свои недостатки, однако я убежден, что оно обладало в то же время драгоценными качествами гостеприимства, приветливости, человечности, – и этих качеств нет уже у того нового, сверхсерьезного и сверхобразованного поколения, которое идет на смену». Отлично: это в точности в ее огород. Какое имеет значение, что его тетушки всего-навсего две простые старухи?

Его внимание отвлек говор в зале. От дверей шествовал мистер Браун, галантно сопровождая тетушку Джулию, которая склонилась на его руку, улыбаясь и низко опустив голову. Разрозненные залпы аплодисментов также служили сопровождением. Шествие подошло к фортепьяно, Мэри-Джейн уселась на табурет, и тетушка Джулия, уже без улыбки, приняла позу, чтобы правильно приспособить направление голоса. Аплодисменты стихли. Габриэл узнал вступление. Это была старинная песня из репертуара Джулии, «Свадебный наряд». Ее голос, сильный и чистый, с большой энергией брал все трели, украшавшие главную мелодию, и хотя она пела в быстром темпе, она не пропускала ни единой проходной ноты. Если слушать, не видя лица поющей, возникало возбужденное чувство стремительного и уверенного полета. Когда песня кончилась, Габриэл от души аплодировал со всеми, и громкий аплодисмент донесся также от невидимого стола трапезы. Реакция была такой искренней, что на лице тети Джулии пробился даже легкий румянец, когда она наклонилась, чтобы поставить на полку с нотами старую тетрадь для песен, на кожаном переплете которой были вытиснены ее инициалы. Фредди Малинз, который слушал, вытянув голову далеко вбок, аплодировал дольше всех и в то же время что-то горячо излагал своей матери, на что та медлительно и солидно кивала головой, как бы нехотя соглашаясь. В конце концов, когда уже нельзя было больше хлопать, он внезапно поднялся и, быстрым шагом подойдя к Джулии, взял ее руку в обе свои ладони; когда ему не хватало слов или он не справлялся с сипотой в голосе, он начинал трясти эту руку.

– Я тут как раз говорил матери, – сказал он, – что никогда, просто никогда я не слышал, чтобы вы так пели. Нет, я в жизни не слышал, чтобы ваш голос так звучал, как сегодня. Вот сегодня! Можете мне поверить! Я чистую истину. Чистейшую, даю слово и клянусь честью. Я никогда не слышал, чтобы ваш голос звучал с такой свежестью, с такой... такой чистотой и такой свежестью, никогда!

Тетушка Джулия, мягко улыбаясь и что-то произнося насчет комплиментов, не без труда высвободила свою руку. Мистер Браун простер к ней руку ладонью вверх и с жестами антрепренера, представляющего публике нового вундеркинда, объявил находившимся вблизи:

– Мисс Джулия Моркан, мое новейшее открытие!

Он первый от души рассмеялся собственному экспромту, а Фредди Малинз, обернувшись к нему, сказал:

– Знаете, Браун, если вы только всерьез, у вас бы могло быть куда худшее открытие. Все, что я вам скажу, это что я никогда не слышал, чтобы она пела так здорово, сколько вот я хожу сюда. Это вам честнейшая правда.

– И я никогда не слышал тоже, – сказал мистер Браун. – Мне кажется, ее голос сильно улучшился.

Тетушка Джулия пожала плечами и с кротким достоинством произнесла:

– Лет тридцать назад мой голос был недурен по любому счету.

– Я часто ей говорю, – с чувством вмешалась тетушка Кейт, – что она себя просто загубила в этом хоре. Но разве она когда-нибудь меня слышит?

Она повернулась к окружающим, словно призывая их здравый смысл в свидетели против непослушного ребенка, а Джулия между тем глядела прямо перед собой, и по ее лицу бродила смутная улыбка воспоминаний.

– Нет, – продолжала тетушка Кейт, – она не слышит и не слушает никого и только трудится как каторжная в этом хоре день и ночь, день и ночь. К шести утра в Рождество! И чего ради?

– Но разве это не ради славы Божией, тетя Кейт? – с улыбкой спросила Мэри-Джейн, поворачиваясь к ним на табурете.

С пылом подавшись в ее сторону, тетушка Кейт произнесла:

– Мне все известно по поводу славы Божией, Мэри-Джейн, только я думаю, это не к славе папы, когда он выгоняет из хоров женщин, которые там трудились как каторжные всю жизнь, и ставит вместо них сопливых мальчишек. Раз папа так делает, наверно, это для блага Церкви. Но в этом нет правды и справедливости, Мэри-Джейн.

Возбудившись от своей речи, она и дальше продолжала бы защиту сестры, это была для нее большая тема, однако Мэри-Джейн, увидев, что все танцующие снова вернулись в залу, миролюбиво заметила:

– Но, тетя Кейт, то, что вы говорите, это скандально для мистера Брауна, он же другого исповедания.

Тетушка Кейт обернулась к мистеру Брауну, который ухмыльнулся при упоминании его религии, и поспешно сказала:

– Нет-нет, я совершенно не оспариваю, что папа прав. Я просто старая недалекая женщина, я б никогда не пошла на это. Но все-таки есть такие вещи, как общая вежливость, признательность. И будь я на месте Джулии, я бы это высказала отцу Хили прямо в лицо...

– И, кроме того, тетя Кейт, – добавила Мэри-Джейн, – мы уже все проголодались, а когда люди хотят есть, они всегда ссорятся.

– И когда хотят пить, тоже ссорятся, – дополнил со своей стороны мистер Браун.

– Так что давайте мы отправимся ужинать, – закончила Мэри-Джейн, – а к дискуссии вернемся потом.

На площадке у лестницы Габриэл обнаружил свою жену, которая вместе с Мэри-Джейн пыталась уговорить мисс Айворз остаться на ужин. Но мисс Айворз, которая успела



уже надеть шляпу и застегивала пуговицы пальто, оставаться не собиралась. Она абсолютно не была голодна, и она уже и так слишком задержалась.

– Ну на четверть часика, Молли, – говорила миссис Конрой, – это вас совсем не задержит.

– Надо хоть чуточку подкрепиться, – говорила Мэри-Джейн, – после всех этих танцев.

– Нет, я никак не могу, – отвечала мисс Айворз.

– Я вижу, вам совершенно не понравилось, – сказала расстроено Мэри-Джейн.

– Нет-нет, уверяю вас, – сказала мисс Айворз, – но только я должна убежать, поверьте.

– А как же вы доберетесь домой? – спросила миссис Конрой.

– О, тут всего два шага по набережной.

Немного поколебавшись, Габриэл предложил:

– Если вы мне позволите, мисс Айворз, я бы проводил вас до дома, раз уж вам приходится уходить.

Но мисс Айворз прервала все объяснения.

– Не хочу даже слушать, – воскликнула она. – Сделайте милость, ступайте на свой ужин и не думайте обо мне. Я как-нибудь сама сумею о себе позаботиться.

– Знаете, вы смешное существо, Молли, – откровенно сказала миссис Конрой.

– *Beannacht libh*[80 - С вами благословение Божье (ирл.), формула прощания.], – с хохотом воскликнула мисс Айворз, сбегая по лестнице.

Мэри-Джейн смотрела неподвижно ей вслед с печально-недоуменным выражением на лице, а миссис Конрой перегнулась через перила услышать, как стукнет входная дверь. Габриэл спрашивал себя, был ли он причиной ее резкого ухода. Но ведь как будто она не была в дурном настроении, она удалилась со смехом. В смутном замешательстве он застыло глядел в пролет.

Быстрой семенящей походкой из столовой вышла тетушка Кейт, почти ломая руки в отчаянии.

– Где же Габриэл? – восклицала она. – Куда подевался Габриэл? Там все ждут, все накрыто, и некому резать гуся.

– Я здесь, здесь, тетя Кейт! – оживившись внезапно, крикнул Габриэл. – Готов разрезать стадо гусей, если требуется.

На одном из концов стола покоился крупный жареный гусь, а на другом конце, на ложе из гофрированной бумаги, располагался большой окорок со снятою верхней шкуркой, украшенный стеблями петрушки и обсыпанный крошками, кость его была увита бумажной розеткой, а подле находилось блюдо жаркого из говядины с

пряностями. Оба соперничающих конца соединялись двумя параллельными линиями десертной снеди: тут были две башенки желе, красная и желтая, плоское блюдо, наполненное порциями бланманже и красного джема, большое зеленое блюдо в форме листа, с ручкою в форме стебля, на котором лежали горки темного изюма и очищенного миндаля, и второе такое же блюдо, где помещался плотный прямоугольник турецких фигов, затем блюдо с заварным кремом, усыпанным сверху тертым мускатным орехом, вазочка с шоколадом и конфетами в золотых и серебряных обертках и стеклянный сосуд, в котором стояли высокие стебли сельдерея. В центре стола, словно двое часовых, охраняющих вазу для фруктов с пирамидой яблок и апельсинов, высились два массивных старомодных графина, в одном из которых был портвейн, а в другом красный шерри. На закрытом инструменте ждал своего часа пудинг на большом желтом блюде, и рядом с ним выстроились три взвода бутылок, с портером, элем и сельтерской водой, расположенные по цвету мундиров, два первых черные, с красно-коричневыми ярлыками, третий же, малочисленный, белый с зеленой наклейкой наискосок.

Габриэл бодро уселся на свое место во главе стола и, проверив лезвие разрезального ножа, решительно вонзил вилку в гуся. Сейчас он себя чувствовал вполне свободно, ибо искусством разрезания владел в совершенстве и больше всего на свете любил восседать во главе щедро накрытого стола.

– Мисс Ферлонг, что прикажете передать вам? – спросил он. – Крылышко или грудку?

– Совсем небольшой ломтик грудки.

– Мисс Хиггинс, а что для вас?

– Благодарю вас, мне ничего, мистер Конрой.

Покуда Габриэл и мисс Дэли раздавали тарелки с гусятиной, с окороком и с жарким, Лили обходила гостей с блюдом горячих мучнистых картофелин, обернутым в белую салфетку. Это была идея Мэри-Джейн. Другая ее идея была подать яблочный соус к гусю, но тут тетушка Кейт сказала, что жареный гусь – отличная вещь сам по себе, без всякого яблочного соуса, и дай ей Бог, чтоб ей никогда не довелось есть ничего худшего. Мэри-Джейн присматривала, чтобы ее ученики получили бы лучшие кусочки, а тетушка Джулия и тетушка Кейт откупоривали и приносили бутылки эля и портера для мужчин и бутылки сельтерской для дам. Было много суматохи, смеха и шума, громких просьб и отмен просьб, стука ножей и вилок, звуков бутылочных и графинных пробок. Покончив с раздачей первых порций, Габриэл тут же принялся нарезать добавки, не положив себе ничего. Отовсюду раздались шумные протесты, и, пойдя на компромисс, он сделал солидный глоток портера, потому что от застольной работы ему уже не на шутку стало жарко. Наконец Мэри-Джейн сама уселась за ужин, но тетушка Джулия и тетушка Кейт все еще хлопотали вокруг стола, наступая на пятки одна другой и давая друг другу указания, пропускаемые мимо ушей. Мистер Браун умолял их сесть и подкрепиться, Габриэл вторил ему, но они отвечали, что еще хватит времени, и так длилось, пока Фредди Малинз не поднялся со своего места и, полонив тетушку Кейт, не погрузил ее в кресло под дружный всеобщий смех.

Когда у всех было всего достаточно, Габриэл с улыбкой сказал:

– А теперь, если кто-нибудь желает еще малость того, что некультурно зовется харч, пусть он или она скажут.

Ответный хор голосов призвал его приступить к ужину самому, а Лили подошла к нему с блюдом, хранившим три специально сбереженные для него картофелины.

– Если так, леди и джентльмены, – добродушно произнес он, предварительно сделав еще глоток, – то я прошу вас на несколько минут позабыть о моем существовании.

Он взялся за еду, не принимая участия в общем разговоре, заглушавшем убирание тарелок, которым занялась Лили. Разговор шел об оперных гастролях, что проходили в Королевском театре. Мистер Бартелл Д'Арси, тенор, смуглолицый молодой человек с усиками щеголя, был самого высокого мнения о первом контральто труппы, однако мисс Ферлонг находила ее стиль исполнения вульгарным. Фредди Малинз сказал, что во второй части пантомимы в «Гэйети» поет негритянский вождь, так вот у него такой тенор, подобного нигде не сыскать.

– А вы его слышали? – осведомился он через стол у мистера Бартелла Д'Арси.

– Да нет, – небрежно обронил мистер Бартелл Д'Арси.

– Потому как мне интересно, – пояснил Фредди Малинз, – что бы вы про него сказали. Я-то думаю, у него грандиозный голос.

– Тедди у нас силен отыскивать грандиозные вещи, – заметил фамильярно застолью мистер Браун.

– А почему это у него не может быть такой голос? – пылко возразил Фредди Малинз. – Может, потому, что он негр?

Вопрошанье осталось без ответа, и Мэри-Джейн снова вернула беседу к ортодоксальной опере. Одна из ее учениц дала ей контрамарку на «Миньону». Нет спору, это было замечательно, сказала она, но только ей вспоминалась все время бедная Джорджина Берне. Воспоминания мистера Брауна заходили и еще дальше, к старым итальянским труппам, что приезжали в Дублин, – Титъенс, Ильма де Мурзка, Кампанини, великие Требелли, Джульини, Равелли, Арамбуро. Вот это были деньки, сказал он, вот тогда в Дублине и вправду можно было послушать пение. Он рассказал и про то, как бывала набита галерка в старом «Ройяле», причем каждый вечер, как один тенор-итальянец однажды на бис пять раз повторил «Пусть паду я как солдат», и всякий раз брал верхнее до, и еще как порой горячие парни с галерки выпрягали лошадей из кареты какой-нибудь примадонны и с восторгом тянули сами карету по улицам до ее гостиницы. «Почему сейчас никогда не ставят старые великие оперы, – спросил он, – «Лукрецию Борджиа», «Динору»? Да потому, что нет таких голосов сейчас, вот почему».

– Ну, знаете ли, – сказал мистер Бартелл Д'Арси, – я полагаю, сейчас есть такие же хорошие певцы, как тогда.

– Где же это они? – спросил скептически мистер Браун.

– В Лондоне, Париже, Милане, – с жаром отвечал мистер Бартелл Д'Арси. – Я считаю, что, к примеру, Карузо не уступит ни одному из тех, кого вы назвали.

– Может, и так, – сказал мистер Браун. – Скажу только вам, что я сильно сомневаюсь.

– О, я бы отдала все, чтобы послушать Карузо, – воскликнула Мэри-Джейн.

– Для меня, – сказала тетушка Кейт, забирая косточку с блюда, – существовал один-единственный тенор. Такой, что мне нравился, хочу сказать. Но я уверена, из вас никто даже не слышал о нем.

– И кто же это, мисс Моркан? – вежливо спросил мистер Бартелл Д’Арси.

– Его звали Паркинсон, – отвечала она. – Я слушала его, когда он был в лучшей своей поре, и мне казалось, это самый чистейший тенор, какой только может быть в горле у человека.

– Странно, – произнес мистер Бартелл Д’Арси. – Я никогда не слышал этого имени.

– Нет-нет, мисс Моркан права, – подтвердил мистер Браун. – Я помню еще разговоры про старого Паркинсона, хотя его самого уже не застал.

– Чистейший, прекраснейший, мягкий, нежный английский тенор, – с чувством проговорила тетушка Кейт.

Габриэл закончил, и на стол был транспортирован большой пудинг. Вновь начался перестук ложек и вилок. Жена Габриэла накладывала и передавала порции. На полпути они попадали к Мэри-Джейн, которая увенчивала их малиновым или апельсиновым желе либо бланманже и джемом. Пудинг был творением тети Джулии, и со всех концов стола к ней неслись похвалы. Сама же она скромно сказала, что ей кажется, пудинг недостаточно румяный.

– Ну что вы, мисс Моркан, – возразил мистер Браун, – вы этак скажете, пожалуй, что и я недостаточно румяный.

Из уважения к тете Джулии все мужчины, кроме Габриэла, взяли по порции. Габриэл никогда не ел сладкого, и для него был припасен сельдерей. Фредди Малинз тоже взял палочку сельдерея и ел его вместе с пудингом. Ему сказали, сельдерей – это самое наилучшее для крови, а он был как раз сейчас на лечении. Миссис Малинз, которая за весь ужин не проронила ни слова, сказала, что через неделю ее сын отправляется в Маунт-Меллерей. Все стали говорить про Маунт-Меллерей, какой там здоровый воздух, как гостеприимны монахи и как там с гостей никогда не спросят ни пенни.

– Вы хотите сказать, – переспросил недоверчиво мистер Браун, – что туда можно заявиться, устроиться как в гостинице, кормиться туком земли, а потом убраться, не заплатив ничего?

– Ну, большинство оставляют, уезжая, какие-нибудь пожертвования монастырю, – сказала Мэри-Джейн.

– Я б хотел, чтобы в нашей Церкви тоже были подобные места, – прямодушно высказал мистер Браун.

Для него было удивительно слышать, что монахи никогда не разговаривают, поднимаются в два часа утра и спят в гробах. Он спросил, чего ради они так делают.

– Таков устав ордена, – с твердостью произнесла тетушка Кейт.

– Я понимаю, но почему? – спрашивал мистер Браун.

Тетушка Кейт повторила, что таков устав, и на этом все. Но мистер Браун все еще не мог понять. Тогда Фредди Малинз объяснил ему, напрягая все силы, что монахи стараются в возмещение за грехи, творившиеся всеми грешниками во всем мире. Объяснение получилось не очень отчетливым, поскольку мистер Браун, ухмыльнувшись, сказал:

– Мне такая мысль очень нравится, но, может, пружинная кровать подошла бы им еще лучше, чем гроб?

– Гроб напоминает им о ждущей их участи, – заметила Мэри-Джейн.

Тема клонила в печальные материи, и потому ее погребли во всеобщем молчании, на фоне которого можно было слышать, как мать Фредди Малинза негромко и невнятно говорит своему соседу:

– Они такие хорошие люди, эти монахи, такие набожные.

Сейчас за столом передавали по кругу изюм и миндаль, фиги, яблоки, апельсины, шоколад и конфеты, и тетушка Джулия приглашала всех взять по стаканчику шерри или портвейна. Мистер Бартелл Д'Арси вначале отказывался, но одна из соседок коснулась его локтем и шепнула что-то, после чего он сразу позволил налить свой бокал. По мере того как наполнялись последние бокалы, беседа постепенно смолкала. Настала пауза, нарушаемая лишь скрипом стульев и бульканьем льющегося вина. Все три мисс Моркан обратили взоры вниз, к скатерти. Там и сям кто-то кашлянул, и тогда кое-кто из джентльменов мягко постучал по столу, призывая к тишине. Тишина воцарилась, и Габриэл, отодвинув свой стул, поднялся.

Постукивание сразу усилилось, уже в знак подбадриванья, и потом враз стихло. Габриэл, опершись на скатерть обеими подрагивающими ладонями, нервно улыбнулся собравшимся. Встретив глазами ряд обращенных к нему лиц, он перевел взгляд на люстру. Из гостиной доносилась мелодия вальса, и порою был различим шелест юбок, которые задевали за дверь. Быть может, снаружи на набережной стояли люди в снегу, смотрели на освещенные окна и слушали доносящуюся мелодию. Воздух там был чист. Дальше лежал парк, в котором ветви деревьев гнулись книзу под снегом. На памятнике Веллингтона лежала поблескивающая шапка снега, посылающая свой блеск на запад, к белым полям Пятнадцати Акрв.

Он начал:

– Леди и джентльмены, в этот вечер, как и в прошлые годы, на мою долю выпал приятный долг, но я боюсь, что мои ораторские способности слишком скромны, чтобы достойно справиться с ним.

– Ну уж нет! – вставил мистер Браун.

– Но как бы там ни было, я прошу вас учесть мои благие намерения и уделить мне немного минут, в которые я попробую передать вам владеющие мной чувства.

Леди и джентльмены, мы далеко уж не в первый раз собираемся под этим гостеприимным кровом, вокруг этого гостеприимного стола. Не в первый раз мы пользуемся плодами – или не лучше ли сказать, становимся жертвами – радушия неких добрых дам.

Он кругообразно повел рукой в воздухе и сделал паузу. Все рассмеялись или улыгнулись, глянув на тетушку Кейт, тетушку Джулию и Мэри-Джейн, у которых выступил довольный румянец. Уже уверенней Габриэл продолжал:

– Сменяются годы, и я убеждаюсь все сильнее, что в стране нашей нет другого обычая, который делал бы ей такую честь и который стоило бы охранять так ревниво, как обычай гостеприимства. Это уникальный обычай среди современных народов, насколько мне говорит мой опыт (а мне довелось повидать немало стран). Иные скажут, пожалуй, что здесь скорее наша слабость, нежели нечто, чем можно было бы хвастать. Но пусть даже так – на мой взгляд, это благородная слабость, и такая, которая останется с нами еще надолго. И я уверен по меньшей мере в одном. Пока под этой крышей обитают помянутые добрые дамы – а я всем сердцем желаю, чтобы так было еще множество и множество лет, – обычай подлинного ирландского гостеприимства, учтвого и добросердечного, который передали нам наши предки и который мы, в свой черед, должны передать потомкам, – этот обычай еще жив среди нас.

Шепот прочувствованного одобрения пробежал среди слушателей. В уме у Габриэла мелькнуло, что мисс Айворз ушла отсюда, и ушла неучтиво, и с полной убежденностью он продолжал так:

– Леди и джентльмены, среди нас вырастает новое поколение, поколение, которым движут новые идеи, новые принципы. Эти новые идеи вызывают его энтузиазм, и я полагаю, что это искренний энтузиазм, даже когда он принимает неверное направление. Но мы живем в скептический век, в век, мучимый мыслью, если использовать одно выражение, и я опасаясь порой, что это новое поколение, будучи образованным и даже сверхобразованным, не будет иметь, однако, тех драгоценных качеств гостеприимства, приветливости, человечности, какие мы знавали в старые дни. Когда я слушал сегодня имена всех этих великих певцов прошлого, я должен сознаться, мне казалось, что мы жили в менее обширное время. То время, без всякого преувеличения, было поистине обширно; и если оно ушло без возврата, то будем надеяться, по крайней мере, что, собираясь, как мы собрались сегодня, мы будем по-прежнему говорить о нем с гордостью и любовью, будем лелеять в наших сердцах память о тех великих ушедших, чьей славе мир не позволит с легкостью умереть.

– Слушайте, слушайте! – громко произнес мистер Браун.

– Однако же, – продолжал Габриэл, придавая голосу более мягкие интонации, – в собраниях, подобных нашему, ум всегда посещают грустные мысли: думы о прошлом, о молодости, о переменах, о тех, чьи лица уж больше не появятся среди нас. Наш путь по жизни усеян печальными воспоминаниями – и если бы мы погружались в них, у нас бы недостало духа и храбрости для наших трудов и дел в мире живых. У всех нас есть жизненные обязанности, жизненные связи, которые требуют, и притом по праву, нашего внимания и усилий.

Не станем поэтому задерживаться на прошлом. Дух мрачных назиданий да не будет с нами сегодня. Мы собрались здесь, вырвавшись ненадолго из торопливой суеты наших повседневных забот. Мы встретились как друзья, в духе веселого и непринужденного товарищества, истинной camaraderie, встретились в некоей мере и как коллеги, но прежде всего мы встретились как гости тех, кого я бы назвал – как же лучше назвать их? – назвал бы Тремя Грациями музыкального мира Дублина.

При этих словах раздался дружный взрыв аплодисментов и смеха. Тетушка Джулия, оборачиваясь ко всем соседям, начала спрашивать их, что сказал Габриэл.

– Он говорит, что мы – это Три Грации, тетя Джулия, – объяснила Мэри-Джейн.

Тетушка Джулия не поняла, однако с улыбкой подняла взор на Габриэла, который продолжал развивать мотив:

– Леди и джентльмены, сейчас я не собираюсь играть роль Париса. Я не буду пытаться сделать выбор меж ними. Подобный выбор отвращает меня и превосходит скромные мои силы. Ибо, когда я поочередно гляжу на них, гляжу на старшую хозяйку, чье доброе, слишком доброе сердце давно стало притчей во языцех для всех знакомых, или на ее сестру, которая как будто одарена вечной молодостью и сегодня повергла нас своим пением в изумление и восторг, или на младшую хозяйку, на эту лучшую из племянниц, с ее талантом, бодростью и великим трудолюбием, – я признаюсь вам, леди и джентльмены, что мне неизвестно, какой из них следовало бы вручить награду.

Габриэл бросил взгляд на своих тетушек и, увидев широкую улыбку на лице тетушки Джулии, заметив слезы, выступившие на глазах тетушки Кейт, заторопился к окончанию речи. Галантным жестом он поднял бокал портвейна, меж тем как все остальные взяли выжидательно за свои бокалы, и громко провозгласил:

– Итак, поднимем в их честь единый тост. Выпьем за их здоровье и благополучие, их долголетие и счастье, и пожелаем им еще долго-долго сохранять завоеванное их заслугами почетное положение в их профессии и собирать дань высшего уважения и любви в наших сердцах.

Все гости поднялись, держа бокалы, и, обернувшись к трем сидящим дамам, пропели в унисон под водительством мистера Брауна:

Они же славные парни,  
Они же славные парни,  
Они же славные парни,  
И это вам скажет всяк.

Тетушка Кейт, не таясь, утирала глаза платком, и даже тетушка Джулия выглядела растроганной. Фредди Малинз отбивал такт десертной вилкой, и, повернувшись друг к другу, как бы мелодически совещаясь, певцы с подъемом допели:

Кому соврать не пустяк,  
Кому соврать не пустяк.

Потом, снова повернувшись к хозяйкам, они снова спели:

Они же славные парни,  
Они же славные парни,  
Они же славные парни,  
И это вам скажет всяк.

Дальнейшая заключительная строка была подхвачена многими гостями, что находились за дверями столовой, и была повторена еще не раз под управлением Фредди Малинза, высоко вздымавшего свою вилку.

\* \* \*

В прихожую, где они стояли, проникал резкий утренний воздух, и тетушка Кейт сказала:

– Закройте кто-нибудь дверь, миссис Малинз насмерть простудится.

– Там на улице Браун, тетя Кейт, – сказала Мэри-Джейн.

– Браун повсюду, – произнесла тетушка Кейт, понизив голос.

Тон ее реплики заставил Мэри-Джейн рассмеяться.

– Да, он такой внимательный, – с иронией сказала она.

– Он как газ тут везде просачивался, – добавила тетушка Кейт тем же тоном, – всю эту ночь.

Она сама рассмеялась на этот раз и добродушно промолвила:

– Только скажи ему, Мэри-Джейн, пусть заходит, и закрывайте двери. Надеюсь, упаси Бог, он меня не слышал.

В эту минуту дверь прихожей открылась, и из тамбура вошел мистер Браун, захлебываясь от неудержимого смеха. На нем было зеленое длинное пальто с манжетами и воротником искусственного каракуля, на голове круглая меховая шапка. Он ткнул пальцем в сторону заснеженной набережной, откуда доносился резкий продолжительный свист.

– Тедди заставит прискакать все кебы в Дублине, – сказал он.

Из каморки рядом с конторой вышел Габриэл, натягивая пальто. Оглядев прихожую, он спросил:

– А Грета не спускалась еще?

– Она собирается, Габриэл, – сказала тетушка Кейт.

– А кто там играет наверху? – опять спросил он.

– Никто, все уже разошлись.

– Нет-нет, тетя Кейт, – поправила Мэри-Джейн. – Бартелл Д'Арси и мисс О'Каллахан еще не ушли.

– Как бы ни было, кто-то там бренчит на рояле, – заметил Габриэл.

Мэри-Джейн оглядела мистера Брауна и Габриэла и, зябко поводя плечами, сказала:

– Вы так закутаны оба, что мне на вас холодно смотреть. Не завидую, как вы будете добираться домой в такой час.

– А по мне, так самое милое бы сейчас, – браво заявил мистер Браун, – это бодрая



прогулочка за городом или же запрячь резвую лошадку да с ветерком прокатиться.

– У нас раньше дома была отличная лошадь и коляска, – сказала тетушка Джулия уныло.

– Незабвенный Джонни, – подхватила со смехом Мэри-Джейн.

Тетушка Кейт и Габриэл тоже засмеялись.

– А что такого чудесного в этом Джонни? – спросил мистер Браун.

– Покойный и оплакиваемый Патрик Моркан, то бишь наш дедушка, – начал Габриэл, – в последние свои годы именовался в просторечии старый джентльмен и был по роду занятий клеевар.

– О, Габриэл, – сказала тетушка Кейт, смеясь, – у него была крахмальная фабрика.

– Ну, будь там крахмал или клей, – продолжал Габриэл, – но, во всяком случае, старый джентльмен имел лошадь по кличке Джонни. И Джонни провел всю жизнь на фабрике старого джентльмена, изо дня в день шагая по кругу и вращая большой жернов. Все шло чудесно, но затем с Джонни приключилась трагическая история. В один прекрасный день старый джентльмен пожелал совершить выезд в собственной карете на военный парад в парке, вместе с высшим дублинским светом.

– Помилуй Бог его душу, – сказала тетушка Кейт с чувством.

– Аминь, – заключил Габриэл. – Итак, старый джентльмен запряг Джонни, облачился в свой лучший цилиндр и лучший галстук и со всею торжественностью выехал из своего родового особняка, что находился, я полагаю, где-то вблизи Бэк-лейн, то бишь Заднего проулка.

На этом месте все рассмеялись, даже и миссис Малинз, а тетушка Кейт сказала:

– Ну право, Габриэл, он же не жил на Бэк-лейн, это только фабрика была там.

– Они с Джонни проследовали из особняка предков, – продолжал Габриэл, – и все шло отлично, покуда в поле зрения Джонни не оказалась статуя короля Билли. И тут, то ли он влюбился в кобылку, на которой восседал Билли, то ли решил, что они приехали к себе на фабрику, но только он принялся шагать вокруг статуи.

Под общий смех Габриэл описал круг по прихожей, ступая в своих галошах.

– Он все шагал и шагал по кругу, – говорил Габриэл, – а старый джентльмен, который был чрезвычайно чопорным джентльменом, пришел в крайнее возмущение. «Вперед, сэр! Что это вы задумали, сэр? Джонни! Джонни! Совершенно неслыханное поведение! Я не могу понять эту лошадь!»

Взрывы хохота, сопровождавшие повествование о трагической истории, были прерваны громким стуком в дверь. Мэри-Джейн пошла отворить, и на пороге прихожей появился Фредди Малинз. Скрючившийся от холода, в шапке, съехавшей далеко на затылок, Фредди Малинз тяжело отдувался, и от него валил пар.

– Я смог найти всего один кеб, – объявил он.

– Ничего, мы себе найдем где-нибудь на набережной, – сказал Габриэл.

– Да-да, – согласилась тетушка Кейт. – Лучше тут не держать миссис Малинз на сквозняке.

С помощью своего сына и мистера Брауна миссис Малинз спустилась с крыльца и путем сложных маневров была помещена в кеб. Фредди Малинз взобрался следом за ней и долго устраивал ее на сиденье, меж тем как мистер Браун помогал снаружи советом. Наконец должное удобство было достигнуто, и Фредди Малинз пригласил садиться в кеб мистера Брауна. Последовала долгая и путаная дискуссия, после чего мистер Браун поднялся в кеб. Кучер укрыл полстью его колени и, перегнувшись к седокам, спросил адрес. Здесь путаница возникла снова, поскольку Фредди Малинз и мистер Браун, оба высунув свои головы из окошек кеба, давали кучеру различные указания. Трудность была в определении пункта, где высадить мистера Брауна по пути, и тетушка Кейт, тетушка Джулия и Мэри-Джейн с крыльца усиленно помогали обсуждению, предлагая различные маршруты, споря между собой и неудержимо смеясь. Что же до Фредди Малинза, то он от смеха был уже лишен дара речи. Он постоянно, с риском потерять шляпу, высовывал голову из окна и сообщал матери, как продвигается обсуждение, пока наконец, перекрывая всеобщий смех, мистер Браун не вскричал оторопелому кучеру:

– Вы знаете, где Тринити колледж?

– Да, сэр, – отвечал кучер.

– Так вот, катите, пока не стукнетесь об ворота Тринити, – приказал мистер Браун, – а там мы вам скажем, куда дальше. Теперь понятно?

– Да, сэр, – отвечал кучер.

– Птицей летим до Тринити.

– Точно, сэр, – отвечал кучер.

Лошадь подхлестнули кнутом, и кеб застучал по бульжной набережной, провожаемый смехом и прощальными возгласами.

Габриэл не вышел вместе с другими на крыльцо. Он стоял в неосвещенной части прихожей, глядя вверх, в пролет лестницы. Женская фигура виднелась на первой площадке, тоже в тени. Он не мог видеть ее лица, но видел терракотовые и палево-розовые полосы на платье, которые в полутьме казались черными и белыми. Это была его жена. Опершись на перила, она прислушивалась к чему-то. Ее поза была столь тихо-сосредоточенной, что удивленный Габриэл сам начал вслушиваться. Но до него доносились лишь споры и смех с крыльца, разрозненные звуки рояля и несколько тактов мужского пения.

Он стоял в сумраке прихожей, пытаясь разобрать, что же пел мужской голос, и всматриваясь в фигуру жены. В ее позе были грациозность и тайна, как если бы она была символом чего-то. И он спрашивал себя, чего же символом служит женщина, которая стоит на ступеньках в полутьме и вслушивается в отдаленную музыку. Будь он художником, он написал бы ее в этой позе. Мягкая голубая шляпа оттеняла бы бронзу ее волос на фоне окружающей тьмы, а темные полосы на платье оттеняли бы светлые. Он бы назвал картину «Отдаленная музыка», будь он художником.

Входные двери закрылись, и тетушка Кейт, тетушка Джулия и Мэри-Джейн вернулись в прихожую, еще продолжая смеяться.

– Фредди, это какая-то напасть, – сказала Мэри-Джейн, – настоящая напасть, правда?

Не отвечая ничего, Габриэл указал вверх на лестницу, где стояла его жена. При закрытых дверях звуки голоса и рояля стали слышны отчетливей. Габриэл сделал жест, призывающий вошедших к молчанию. Музыка была в духе старых ирландских напевов, и казалось, что исполнитель не совсем тверд и в мелодии, и в словах. Голос, которому расстояние и хрипотца придавали жалобное звучание, ярче усиливал характер мелодии благодаря скорби слов:

Ах, дождик льет на тяжки косыньки мои,  
Да мне росой моет лицо,  
И дитяtko застыло мое...

– Да это же Бартелл Д'Арси, – воскликнула Мэри-Джейн, – который весь вечер не соглашался петь. Сейчас я его заставлю, пускай перед уходом споет.

– Заставь его, заставь, – сказала тетушка Кейт.

Обогнув стоявших, Мэри-Джейн быстро направилась к лестнице, но едва она сделала несколько шагов, пение смолкло и инструмент резко захлопнули.

– Какая жалость! – огорчилась она. – Он что, спускается, Грета?

Габриэл услышал утвердительный ответ жены и увидел, что она спускается к ним. Наверху лестницы показались Бартелл Д'Арси и мисс О'Каллахан.

– О, мистер Д'Арси, – воскликнула Мэри-Джейн, – как вам не совестно так внезапно оборвать, когда мы все тут в восторге слушаем.

– Я его упрашивала весь вечер, – сказала мисс О'Каллахан, – и миссис Конрой упрашивала, но он сказал нам, что он страшно простужен и петь не может.

– Знаете, мистер Д'Арси, – сказала тетушка Кейт, – это вы нам рассказываете сказки.

– Не слышите что ли, я каркаю как ворона? – довольно грубо парировал мистер Д'Арси.

Он прошел быстро в каморку и стал одеваться. Задетые неожиданной резкостью, присутствующие не нашлись, что сказать. Тетушка Кейт наморщила лоб и сделала всем знак не продолжать тему. Мистер Д'Арси стоял, хмурясь и тщательно укутывая шею.

– Сейчас такая погода, – сказала тетушка Джулия после паузы.

– Да-да, – подхватила тетушка Кейт, – совершенно у всех простуда.

– Говорят, – присоединилась и Мэри-Джейн, – такого снега не было тридцать лет. Я прочла в утренней газете, что по всей Ирландии снегопад.

– Я люблю, как выглядит снег, – сказала тетушка Джулия грустным голосом.

– Да, и я тоже, – сказала мисс О'Каллахан. – По-моему, если нет снега, то Рождество какое-то ненастоящее.

– А вот бедный мистер Д'Арси не любит снега, – с улыбкой сказала тетушка Кейт.

Мистер Д'Арси вышел из каморки, застегнутый и укутанный до предела, и в извиняющемся тоне поведал им историю своей болезни. Все тут же принялись давать советы и говорить, как им жаль, и увещевать его как следует беречь горло на улице. Габриэл между тем наблюдал за своей женой, не принимавшей участия в разговоре. Она стояла прямо под запыленным светильником, и газовое пламя бросало отблески на пышную бронзу ее волос; несколько дней назад он видел, как она сушила их у огня. Она не меняла своей позы и, казалось, не слышала всех разговоров вокруг. В конце концов она повернулась к ним, и он увидел, что у нее блестят глаза и на ее щеках румянец. Радостная волна внезапно залила его сердце.

– Мистер Д'Арси, – спросила она, – а как называется эта песня, что вы пели?

– Она называется «Девушка из Огрима», – отвечал он, – только я ее так и не вспомнил целиком. А что, вы знаете ее?

– «Девушка из Огрима», – повторила она. – Я не могла вспомнить ее название.

– У нее очень красивый мотив, – сказала Мэри-Джейн, – мне так жаль, что вы были не в голосе.

– Нет-нет, Мэри-Джейн, – вмешалась тетушка Кейт, – не приставай больше к мистеру Д'Арси. Я запрещаю, чтобы к нему приставали.

Заметив, что вот-вот вся сцена начнется снова, она повлекла стадо свое к дверям, где состоялся обмен прощаниями:

– Доброй ночи, тетушка Кейт, спасибо за дивный вечер.

– Спокойной ночи, Габриэл, спокойной ночи, Грета!

– Доброй ночи, тетя Кейт, я так благодарна вам. Доброй ночи, тетя Джулия.

– А, Грета, спокойной ночи, мне не было тебя видно.

– Спокойной ночи, мистер Д'Арси. Спокойной ночи, мисс О'Каллахан.

– Доброй ночи, мисс Моркан.

– Еще раз, спокойной ночи.

– Всем, всем еще раз спокойной ночи. Счастливого пути.

– Доброй ночи. Доброй ночи.

Еще не начинало светать. Тусклый желтый свет был разлит над рекой и домами, и небо словно припало к земле. Под ногами хлюпало месиво, и снег на крышах, на парапете набережной и на перилах дворика лежал только пятнами и полосами. Фонари

красновато горели в дымном воздухе, и за рекой на фоне тяжелого неба угрожающе выступал силуэт Дворца Правосудия.

Она шла впереди него рядом с мистером Д'Арси, держа в одной руке темный бумажный пакет с туфлями, другой рукою приподымая юбки от грязи. Сейчас в ее фигуре не было особенной грации, но в глазах Габриэла по-прежнему светилось счастье. Кровь в жилах его бурлила, в мозгу поднимали бунт мысли, радостные и гордые, нежные и отважные.

Она шла впереди такой прямой и легкой походкой, что ему безумно хотелось подбежать к ней без шума, обхватить сзади за плечи и прошептать на ухо какие-нибудь любовные сумасбродства. Она казалась ему такой хрупкой, что он безумно желал защитить ее от чего-нибудь и потом остаться с нею наедине. Образы их интимной жизни как звезды вспыхивали в его памяти. За завтраком он находит подле своего прибора конверт, надушенный гелиотропом, ласкает его пальцами. Птицы щебечут в лозах плюща, на полу комнаты мерцающей паутиной тень занавеси – а он от счастья не может есть. Они стоят в толпе на платформе, он всовывает билет в теплую ладошку ее перчатки. Он с ней стоит снаружи, на холоде, через зарешеченное окошко они смотрят, как человек выдувает бутылки возле ревущей печи. Был очень сильный холод. Ее лицо, благоухающее морозом, почти вплотную к его лицу, и вдруг она кричит человеку у печи:

– Сэр, а огонь очень горячий?

Из-за шума печи человек не мог ее слышать. Весьма кстати. Наверняка бы ответил грубостью.

Волна еще более нежной радости, переполнив сердце, разлилась теплым потоком по его жилам. Как нежный свет звезд, образы моментов их жизни, о которых никто не знает и не узнает никогда, наполнили его память и озарили ее. Ему безумно хотелось напомнить ей эти моменты, заставить ее забыть годы их повседневного скучного существования, чтобы помнились одни моменты экстаза. Ведь годы, он ощущал, не угасили ни его, ни ее души. Их дети, его писанье, ее домашние заботы не загасили нежного огня их душ. В одном из писем к ней он когда-то написал: «Отчего все эти слова кажутся мне такими тусклыми и холодными? Может быть, это оттого, что на свете нет такого нежного слова, как твое имя?»

Как отдаленная музыка, к нему донеслись из прошлого эти слова, написанные им годы назад. Ему безумно хотелось, чтобы они с ней были одни. Когда все уйдут, когда он и она окажутся в своей комнате в гостинице, они будут одни. И он бы мягко ее окликнул:

– Грета!

Может быть, она не сразу услышит, она будет снимать пальто. Потом что-то в его голосе ее поразит. Она обернется, посмотрит на него...

На углу Вайнтаверн-стрит они нашли кеб. Он был рад его громыханию, это избавляло от разговора. Она смотрела в окно и казалась утомленной. Другие только роняли несколько слов, когда проезжали какое-нибудь здание или улицу. Лошадь двигалась усталым галопом под задымленным утренним небом, влача за собою громыхающий короб, а Габриэл снова был с нею в кебе, мчась галопом, чтобы успеть на пароход, мчась галопом на их медовый месяц.

Когда они ехали по мосту О'Коннелла, мисс О'Каллахан сказала:

– Говорят, когда проезжаешь по мосту О'Коннелла, всегда видишь белую лошадь.

– На этот раз я вижу белого человека, – откликнулся Габриэл.

– Где? – спросил Бартелл Д'Арси.

Габриэл указал на статую, покрытую пятнами снега. Потом он фамильярно кивнул ей и помахал рукой.

– Доброй ночи, Дэн, – весело пожелал он.

Когда кеб остановился у входа в отель, Габриэл соскочил на землю и, вопреки протестам мистера Д'Арси, заплатил кучеру. Он дал еще и шиллинг на чай, и тот, сделав приветственный жест, сказал:

– Удачного Нового года, сэр.

– Вам того же, – радушно отвечал Габриэл.

Она опиралась на его руку, когда высаживалась из кеба и потом, когда, стоя на обочине, прощалась с другими. Она опиралась совсем легко, так же как и во время танца с ним, немного часов назад. Тогда он чувствовал себя гордым и счастливым, счастливым оттого что она его, гордым ее женственностью и грацией. Но сейчас, после стольких пылких воспоминаний, первое же касание ее тела, странного, музыкального, благоухающего, отозвалось во всем его существе острым спазмом желанья. Под покровом ее молчания он крепко прижал к себе ее руку и, пока они стояли перед входом отеля, он чувствовал, словно они бежали из своих жизней, своего дома, бежали от обязанностей и друзей и с бьющимися сердцами безоглядно, неистово устремились к новому приключению.

Старый служитель дремал в холле гостиницы, устроившись в большом кресле с загибающейся спинкой. Вооружившись свечой, он повел их наверх по лестнице. В молчании они следовали за ним, мягко утопая ногами в толстом ковре, покрывающем ступеньки. Она шла позади портье, наклонив голову вперед, хрупкие плечи пригнулись как под какой-то ношей, и платье туго облегалo ее стан. Он был способен сейчас схватить ее, прижать, стиснуть ее бедра руками, ибо руки дрожали от желанья, и только с силою вдавив ногти в ладони рук, он сдерживал неистовый порыв тела. Портье приостановился, чтобы поправить оплывающую свечу. Они тоже остановились, несколькими ступеньками ниже. В тишине Габриэл мог слышать, как падают на подносик кусочки воска и как колотится в грудной клетке его сердце.

Проведя их по коридору, портье отворил дверь номера. Он поставил на туалетный столик свою шаткую свечу и спросил, когда они прикажут их разбудить.

– В восемь, – сказал Габриэл.

Портье указал на электрический выключатель и начал бормотать извинения, однако Габриэл прервал его.

– Нам никакого света не требуется. Света с улицы вполне достаточно. И я бы вам предложил, – добавил он, показывая на свечу, – забрать этот замечательный прибор, если вы будете так любезны.

Портье взял свечу несколько замедленными движениями, не сразу усвоив новую для него идею. Потом он невнятно пожелал им спокойной ночи и удалился. Габриэл запер дверь.

Неживой свет уличного фонаря протянулся длинным лучом от окна к двери. Сбросив на диван шляпу и пальто, Габриэл подошел к окну. Он глянул на улицу, пытаясь хоть слегка успокоить свои расхолодившиеся чувства. Отвернулся от окна, стал спиной к свету, облокотился на комод. Она тоже сняла шляпу и пальто и сейчас стояла перед большим трюмо, развязывая пояс платья. Несколько мгновений он наблюдал за ней, потом негромко позвал:

– Грета!

Медленно она отвернулась от зеркала и в луче света пошла к нему. Лицо ее было таким серьезным, таким усталым, что слова замерли у Габриэла на устах. Нет, сейчас не время еще.

– У тебя усталый вид, – сказал он.

– Я правда слегка устала, – ответила она.

– А ты не захворала случайно?

– Нет, устала просто.

Она достигла окна и остановилась, глядя на улицу. Габриэл помедлил еще немного и, борясь с подступающей скованностью, решительно произнес:

– Да, кстати, Грета!

– Что?

– Ты знаешь этого беднягу Малинза? – сказал он скороговоркой.

– Да, а что с ним?

– Понимаешь, он, бедняга, в сущности, неплохой парень, – продолжал Габриэл неестественным тоном. – Он мне отдал тот содерен, что я давал ему взаймы, и я, право, не ожидал этого. Так жаль, что он не держится подальше от этого Брауна, он, право, неплохой парень.

Сейчас его начинало уже трясти от гнева. С чего это она выглядит такой отключенной? Он не знал, как начать. Возможно, она тоже на что-нибудь рассердилась? Если б только она сама повернулась к нему, подошла к нему! Взять ее вот сейчас, такой, было бы очень грубо. Нет, сначала должно что-то загореться в ее глазах. Он страстно хотел возобладать над этим ее непонятным настроением.

– А когда ты ему одолжил фунт? – спросила она после паузы.

Габриэл с трудом удержался от того, чтобы не взорваться грубыми выражениями насчет идиота Малинза и его идиотского фунта. Он жаждал воззвать к ней из недр своей души, неистово стиснуть в объятиях ее тело, возобладать над нею. Но он сказал только:

– Да в прошлое Рождество, когда он вздумал открыть магазинчик рождественских открыток на Генри-стрит.

Он был настолько уже в лихорадке желания и гнева, что не услышал, как она приблизилась. С минуту она стояла перед ним, глядя со странным выражением. Потом, вдруг вытянувшись на цыпочках и легким движеньем положив руки ему на плечи, поцеловала его.

– Ты очень великодушный человек, – сказала она.

Габриэл, охваченный наслаждением от неожиданного поцелуя, неожиданной фразы, поднял руки к ее волосам и начал их гладить, едва-едва прикасаясь пальцами. Они были вымытые, тонкие и блестящие. Его сердце было снова до краев полно счастьем. Она сама подошла к нему, в точности когда он жаждал этого. Может быть, у нее были те же мысли, что у него. Может быть, до нее дошел тот порыв желания, что был в нем, и у нее родилось встречное настроение. Теперь, когда она так легко подалась к нему, он удивлялся собственной скованности.

Он стоял, продолжая гладить ее по голове. Потом, гибко скользнув одной рукою вдоль ее тела и привлекая ее теснее к себе, спросил мягко:

– Грета, милая, о чем ты сейчас думаешь?

Она не ответила и не подалась теснее к нему. Он опять спросил, так же мягко:

– Пожалуйста, скажи мне, о чем. Мне кажется, я сам знаю. Правда, я знаю?

Сначала она не отвечала. Потом вдруг у нее брызнули слезы, и она выговорила с трудом:

– Я думаю про эту песню «Девушка из Огрима».

Вырвавшись из его объятий, она бросилась на постель и спрятала свое лицо, схватившись за спинку кровати вытянутыми руками. Габриэл застыл на миг, пораженный, но тут же пошел за ней. Минуту трюмо, он бегло увидел в нем себя в полный рост, широкий пластрон рубахи, в обтяжку на плотном туловище, лицо, выражение которого всегда его удивляло при встречах с зеркалом, мерцающие очки в золотой оправе. Он остановился поодаль, не приближаясь вплотную, и спросил:

– Но что же такого в этой песне? Почему ты заплакала?

Она приподняла голову и, как ребенок, вытерла глаза кулачком. Голос его прозвучал участливее, чем он хотел:

– Ну почему, Грета?

– Я думаю про человека, который пел эту песню давным-давно.

– И кто же был этот человек давным-давно? – спросил Габриэл с улыбкой.

– Один человек, которого я знала в Голуэе, когда я там жила с бабушкой, – сказала она.



Улыбка сползла с лица Габриэла. Гнев и досада начали снова сгущаться в его мозгу, а в жилах тускло затлелся огонь окрашенного гневом желания.

– Это кто-то, с кем у тебя был роман? – спросил он с насмешкой.

– Это был один мальчик, которого я знала, – ответила она, – по имени Майкл Фьюри. Он часто пел эту песню, «Девушка из Огрима». Он был очень тонкий.

Габриэл промолчал. Он не хотел, чтобы она подумала, будто его интересует этот тонкий мальчик.

– Я так и вижу его, – сказала она после небольшой паузы. – У него были огромные темные глаза, и в них такое выражение – ну такое!

– А, так ты в него влюблена? – спросил Габриэл.

– Я с ним ходила гулять, когда жила в Голуэе, – отвечала она.

В мозгу Габриэла мелькнула мысль.

– Так, может быть, поэтому ты хотела поехать в Голуэй с этой Айворз? – произнес он холодно.

Она посмотрела на него и удивленно спросила:

– Зачем это?

Под ее взглядом Габриэл почувствовал себя неловко и, пожав плечами, сказал:

– Откуда я знаю? Может быть, повидаться с ним.

Она медленно отвела взгляд, следуя взором к окну вдоль луча света.

– Он умер, – вымолвила она наконец. – Умер, когда ему было всего семнадцать. Правда, это ужасно, умереть таким молодым?

– А чем он занимался? – спросил Габриэл еще с оттенком насмешки.

– Работал на газовом заводе, – сказала она.

Габриэл почувствовал унижение – и от неуместности своей насмешки, и от призыванья из царства мертвых этой фигуры, мальчика с газового завода. Когда он был весь полон воспоминаний об их интимной жизни, полон нежности, радости, желания, она мысленно сравнивала его с другим. Со стыдом он вдруг отчетливо представил себя. Смехотворная фигура, мальчик на побегушках у теток, нервический сентиментальный идеалист, ораторствующий перед профанами, романтизирующий свою похотливость, – то жалкое фатоватое существо, которое промелькнуло в зеркале. Инстинктивно он отвернулся сильнее от света, чтобы она не заметила залившую его краску стыда.

Он хотел удержаться в тоне холодного расспроса, но, когда он заговорил, его голос звучал покорно и равнодушно.

– Мне думается, ты была влюблена в этого Майкла Фьюри, Грета, – сказал он.

– Я очень с ним дружила в то время, – ответила она.

Голос ее был приглушен и печален. Габриэл наконец ощутил, как напрасно было бы пытаться увлечь ее туда, куда он намеревался. Взяв ее руку и лаская ее, он так же печально проговорил:

– А почему он умер таким молодым, Грета? Вероятно, чахотка?

– Я думаю, он умер из-за меня, – был ответ.

Темный ужас охватил Габриэла при этих словах, словно в тот час, когда он готовился к своему торжеству, некое неосознанное мстительное существо ополчалось против него, собирало против него силы в своем темном мире. Призвав весь свой разум, он отбросил видение. Он продолжал ласкать ее руку, но перестал спрашивать ее, он чувствовал, что теперь она расскажет сама. Рука ее была теплой и влажной; она не отзывалась его касаниям, но он продолжал ее ласкать, как в то весеннее утро он ласкал ее первое письмо к нему.

– Это было зимой, – сказала она, – в самом начале той зимы, когда я переезжала от бабушки в монастырь. А он в это время лежал больной у себя на квартире в Голуэе, ему нельзя было выходить, и уже написали его родным в Утерард. Говорили, у него упадок сил или что-то такое. Я точно никогда не знала.

Она сделала небольшую паузу и вздохнула.

– Бедный мальчик, – промолвила она. – Он очень меня любил, и он был такой деликатный. Мы с ним вместе гуляли, ну, ты знаешь, как это бывает в провинции. Если бы не его здоровье, он бы учился пению, бедняжка Майкл Фьюри, у него был такой чудесный голос.

– И что было потом? – спросил Габриэл.

– А потом, когда наступило время мне уезжать из Голуэя в монастырь, ему уже было гораздо хуже, и меня к нему не пустили повидаться. И я ему написала письмо, написала, что еду в Дублин и что вернусь летом и надеюсь, ему уже тогда будет лучше.

Она снова сделала паузу, чтобы справиться со своим голосом, потом продолжала:

– В последнюю ночь перед отъездом я была в доме бабушки в Нанз-Айленд. Сажу собираю вещи и слышу вдруг, будто кидают мелкие камушки в окошко. Из-за дождя я в окошко не могла ничего рассмотреть, и я тут побежала вниз в чем была, вышла в сад с заднего крыльца и вижу, он там, бедняжка, в конце сада и весь дрожит.

– И ты ему не сказала уходить? – спросил Габриэл.

– Я его умоляла, чтобы он тут же шел домой, что это ему смерть, под таким дождем. А он отвечал, он не хочет жить. Глаза его как сейчас передо мной, такие глаза! Он стоял у стены, где дерево большое росло.

– И он пошел домой?

– Да, пошел. И когда я пробыла всего неделю в монастыре, он умер. Его похоронили

в Утерарде, он был родом оттуда. Ох, этот день, когда я про это узнала, что он умер!

Речь ее прервали рыдания, и, не в силах сдерживаться, она бросилась на постель ничком и зарыла лицо в подушку, захлебываясь от слез. Габриэл в нерешительности еще с минуту продолжал держать ее руку, потом, боясь нарушить вторжением ее скорбь, мягко опустил руку и тихо отошел к окну.

Вскоре она заснула.

Опершись на локоть, Габриэл без чувства враждебности несколько мгновений смотрел на ее спутавшиеся волосы и приоткрытый рот, прислушивался к ее глубокому дыханию. И так, в ее жизни было это романтическое событие: человек умер ради нее. Сейчас его не сильно ранила мысль о той скудной роли, которую играл в ее жизни он, муж. Он вглядывался в ее сон так, будто они с нею никогда не были мужем и женой. Долго и с напряженным интересом глаза его оставались на ее лице, на ее волосах; и когда он подумал о том, как она, вероятно, выглядела тогда, в пору своей первой девичьей красоты, в душе его зародилась странная, дружеская жалость к ней. Ему не хотелось сказать даже самому себе, что ее лицо уже не было прекрасным, однако он знал, что оно уже не было тем лицом, ради которого Майкл Фьюри не побоялся смерти.

Может быть, она рассказала ему не все. Взгляд его перешел на кресло, куда она бросила часть одежды. Шнурок нижней юбки свисал до полу. Один сапожок стоял прямо, с ниспадающим мягким верхом, компаньон его лежал на боку. Он с удивлением вспомнил свой взрыв эмоций час назад. С чего все это налетело на него? Благодаря ужину или благодаря его дурацкой речи, вину, танцам, тому, что так потешались при прощании, благодаря удовольствию от прогулки по снежной набережной. Бедная тетя Джулия! Скоро уж и она станет тенью рядом с тенями Патрика Моркана и его лошади. Когда она пела «Свадебный наряд», в какой-то миг он поймал на ее лице это нездешнее выражение. Может быть, уже скоро он будет сидеть в той же зале, одетый в черное, держа цилиндр на коленях. Занавеси будут задернуты, и тетушка Кейт будет сидеть рядом с ним, плача и сморкаясь и рассказывая ему, как Джулия умерла. Он будет выискивать в сознании у себя слова, которые утешили бы ее, и будет находить только неуклюжие, бесполезные. Да, да: уже недолго остается до этого.

Плечи его застыли от холода. Осторожно он лег под одеяло и вытянулся рядом с женой. Все становятся тенями, один за другим. И лучше перешагнуть в мир иной смело, на гребне какой-нибудь страсти, чем уныло сохнуть и иссыхать годами. Он подумал о том, как она, лежащая рядом с ним, столько лет хранила в тайниках сердца этот образ: глаза своего любимого, когда он сказал ей, что больше не хочет жить.

Обильные слезы выступили в глазах у Габриэла. У него никогда не было такого чувства ни к одной женщине, но он точно знал, что это чувство – любовь. Слезы еще обильней наполнили его глаза, и ему представилось в полутьме, что он видит фигурку юноши, стоящего под деревом, с которого текут струи дождя. Невдалеке были другие фигуры. Душа его приблизилась к тем краям, где обитают обширные сонмы мертвых. Он сознавал их причудливое мерцающее существование, однако был бессилен его постичь. Его собственная личность растворялась в сумеречном неосвязаемом мире, и весь тот весомый мир, который эти усопшие некогда воздвигали, в котором жили, беззвучно сжимался и растворялся.

Легкий шелест снаружи заставил его обернуться к окну. Снова пошел снег. Он сонно глядел на темные и серебристые хлопья, наискосок пересекающие полосу света. Подходит время и для него собираться в путешествие на закат. Да, газеты не ошибались: по всей Ирландии шел снег. Он падал во всех частях сумрачной центральной равнины, на безлесных холмах, мягко упал на болота Аллена и дальше к западу упал мягко в темные и буйные воды Шеннона. Он падал и во всех частях одинокого кладбища на холме, где лежал Майкл Фьюри. Он скапливался на покривившихся крестах и надгробиях, на ограде нешироких входных ворот, на голых колючках терна. Душа Габриэла медленно истаяла. Он слушал, как тихо падает снег по всей вселенной и упадет тихо, как нисхождение их последнего конца, на всех живущих и мертвых.

#### ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА В ЮНОСТИ

Et ignotas animum dimittit in artes.

Ovid. Metamorphoses, VIII, 188[81 - И к ремеслу незнакомому дух устремил. Овидий. Метаморфозы, VIII, 188.]

#### Глава I

Давным-давно, в добрые старые времена, жила да была коровушка-буренушка и шла она по дороге все шла да шла и повстречался ей славный малыш по прозвищу мальчик-зайчик...

Эту историю ему рассказывал папа: папа на него глядел через стеклышко: и у папы лицо было в волосах.

Мальчик-зайчик это был он. А буренушка шла по той дороге где жила Бетти Берн: это у кого были лимонные леденцы.

Расцветали розы  
На лугу зеленом.

Он пел эту песню. Это его была песня.

Атитали ози.

Когда в постельку намочишь то тепло сперва а потом будет холодно. Мама подстилает клеенку. От нее запах такой какой-то.

От мамы он больше любил запах чем от папы. Мама на пианино играла матросский танец чтобы он плясал. Он плясал:

Тралала лала  
Тралала траладушки  
Тралала лала

Тралала лала.

Дядя Чарльз и Дэнти прихлопывали. Они старше были чем папа и чем мама только дядя Чарльз еще старше чем Дэнти.

У Дэнти были две щетки в шкафу. Щетка что с бархатной коричневой спинкой была в честь Майкла Дэвитта, а щетка с бархатной зеленой спинкой в честь Парнелла. Дэнти ему давала всегда мятный леденец когда он ей приносил салфетку.

Вэнсы жили в номере семь. У них и папа и мама были другие. Это были папа Эйлин и мама Эйлин. Когда они вырастут большие то он женится на Эйлин. Он спрятался раз под стол, а мама говорит:

– Ну, Стивен больше не будет так, его же тогда в рай не возьмут.

А Дэнти сказала:

– И прилетят коршуны, ему глаза расклюют.

Глаза расклюют,  
В рай не возьмут.  
В рай не возьмут,  
Глаза расклюют.

В рай не возьмут,  
Глаза расклюют.  
Глаза расклюют,  
В рай не возьмут.

\* \* \*

Площадки для спорта были просторные, и на них роем толпились мальчики. Все кричали, а старосты их подбадривали еще более громкими криками. Вечереющий воздух был бледным и прохладным. После каждого прорыва и удара по воротам в сумеречном свете словно грузная птица пролетал грязный кожаный шар. Он топтался в хвосте своей команды, подальше от глаз старосты, подальше от буйных бутс, и время от времени делал вид, что бежит. Он чувствовал свое тело слабым и маленьким в гуще игроков, а глаза его плохо видели и слезились. Вот Роди Кикем, он не такой, все мальчики говорили, он будет капитаном команды третьего класса.

Роди Кикем отличный парень, а Крыса Роуч, тот вредина. Роди Кикем в своем шкафчике держит наколенники, а в столовой у него корзинка с запасами. У Крысы Роуча здоровенные руки. Он назвал пятничный пудинг собака-в-тряпке. А еще он как-то раз спросил:

– Как тебя зовут?

Стивен ответил:

– Стивен Дедал.

Тогда Крыса Роуч опять спросил:

– Это еще что такое за имя?

А Стивен не нашелся ему ответить, и тогда он снова спросил:

– Твой отец кто?

Стивен ответил:

– Он джентльмен.

И Крыса Роуч тогда опять спросил:

– Он что, мировой судья?

Он переступал с места на место в хвосте своей команды, иногда понемножку перебегал. Но руки у него уже от холода посинели. Он держал их в боковых карманах своей серой курточки на ремне. Ремень это что вокруг курточки. А еще ремень это угостить ремнем. Один мальчик сказал как-то Кэнтуэллу:

– Я вот тебя угощу ремнем.

А Кэнтуэлл ответил:

– Ступай подальше. Ты вон Сесила Сандера угости. А он тебе хороший пинок под задницу.

Так говорить это некрасиво. Мама наказывала ему, чтобы он в колледже не разговаривал с грубыми мальчишками. Какая мама хорошая! В самый первый день, когда они в вестибюле замка прощались, она сложила наполовину свою вуаль и подняла до носа, чтобы его поцеловать: и у нее и нос и глаза были красные. Но он притворился, будто не замечает, что она вот-вот расплачется. Мама очень красивая, но когда плачет, не такая красивая. А папа дал ему две монеты по пять шиллингов на карманные расходы. И еще сказал, если только он что-нибудь захочет, пусть напишет ему домой, и чтобы он никогда и ни за что не ябедничал на товарищей. И потом у ворот замка ректор пожал руки папе и маме, и у него сутана трепыхалась по ветру, и кеб тронул и покатил, и папа с мамой сидели там в кебе. И они из кеба замахали ему руками и закричали:

– Прощай, Стивен, прощай!

– Прощай, Стивен, прощай!

Он оказался в центре свалки вокруг мяча и, боясь горящих глаз, грязных бутс, согнулся и стал смотреть сквозь ноги. Мальчики боролись, пыхтели, а их ноги топали, брыкались, толкались. Потом желтая бутса Джека Лоутона наподдала мяч, и все остальные бутсы и ноги рванули следом. Он пробежал за ними немного и стал. Бежать это же было без толку. Скоро уже все поедут на праздники по домам. После ужина он в классной заменит число семьдесят семь, наклеенное у него внутри парты, на семьдесят шесть.

В классной-то лучше чем сейчас тут на холоде. Небо тоже было холодное и еще бледно-светлое, но в замке зажигали уже огни. Он начал думать, из какого окна Гамильтон Роуэн бросил свою шляпу на изгородь и были ли в то время уже цветочные клумбы под окнами. Однажды, когда его вызвали в замок, ему служитель там показал

выбоины в двери от солдатских пуль и дал сладкого сухарика, такого как монахи едят. От вида огней в замке делалось тепло и уютно, выглядело как картинка в книге. Наверно, Лестерское аббатство так выглядело. В этом учебнике Доктора Корнуэлла вообще предложения красивые. Они как стихи, хотя на самом деле они только примеры на правописание.

Уолси умер в Лестерском аббатстве,  
Он был погребен аббатами.  
Пол покрывают лаком.  
Звери болеют раком.

Как бы сейчас хорошо лежать на коврике перед камином, голову положить на руки и думать про эти предложения. Он вдруг поехал, как будто холодная липкая вода попала на тело. Это же подло было, что Уэллс его столкнул в желоб в уборной, раз он не стал меняться своей табакерочкой на его битку, на сорокаразовый каштан-чемпион. Какая холодная, липкая вода была! Один мальчик видел, как в эту жижу здоровая крыса плюхнулась. Мама с Дэнти сидели у камина и поджидали, когда Бриджет принесет чай. Мама ноги поставила на решетку и ее туфельки домашние расшитые так нагрелись, от них шел такой теплый приятный дух. Дэнти много знала всяких вещей. Она его учила, где Мозамбикский пролив, какая самая длинная река в Америке и как называется самая высокая гора на Луне. Отец Арнолл знал еще больше, чем Дэнти, потому что он же священник, но все равно и отец и дядя Чарльз говорили, что Дэнти умная и начитанная женщина. А Дэнти когда после обеда делает такой звук и потом руку ко рту, то это называется изжога.

С дальнего конца спортплощадки голос крикнул:

– Все домой!

И другие голоса, из младших и средних классов, тоже подхватили:

– Домой! Все домой!

Мальчики собрались вместе, раскрасневшиеся и грязные, и он зашагал с ними, радуясь возвращению. Роди Кикем нес мяч, держа за скользкую шнуровку. Один из мальчиков предложил еще наподдать разок, но он шел себе, даже не ответил. Саймон Мунен сказал, что лучше не надо, потому что староста смотрит. А тот мальчик повернулся к Саймону Мунену и сказал:

– Да все знают, почему ты так говоришь. Ты же у Макглэйда подлиза.

Какое-то чудное слово подлиза. Тот мальчик обозвал так Саймона Мунена, потому что Саймон Мунен у старосты иногда связывал за спиной фальшивые рукава, а староста делал вид, что сердится. Только звук противный у слова. Один раз он мыл руки в гостинице на Уиклоу-стрит, а когда вымыл, папа за цепочку вынул пробку из умывальника, и вода грязная полилась через дырку, и когда постепенно вся стекла, то из дырки был в конце такой звук: дллизс. Только громче.

Когда он это вспомнил, и вспомнил, как всё было белое в уборной, ему стало от этого холодно, а потом жарко. Там было два крана, их повернешь, и вода идет, холодная и горячая. И ему стало сперва холодно, а после немножко горячо, и он как будто увидел надписи на тех кранах. Очень чудно это как-то было.

От воздуха в коридоре ему было тоже зябко. Воздух был сыроватый и сам чудной. Но

скоро газ зажгут, а когда он горит, слышится тихий звук, как песенка. Одна и та же всегда, и как только замолчат в рекреационной, ее всегда слышно.

Сейчас была арифметика. Отец Арнолл написал на доске трудный пример и сказал:

– Ну-ка, кто победит? Давай-ка, Йорк, давай, Ланкастер!

Стивен старался очень, но пример был слишком трудный, и он скоро сбился. Шелковый бантик с белой розой, приколотый к его куртке на груди, начал дрожать. Арифметика шла у него неважно, но он очень старался, так чтобы Йорки не проиграли. Отец Арнолл сделал ужасно нахмуренное лицо, но это он не сердился, он смеялся. Тут Джек Лотен щелкнул пальцами, а отец Арнолл посмотрел его тетрадь и сказал:

– Все правильно. Bravo, Ланкастер! Алая роза победила. Давай-ка, Йорк, догоняй!

Джек Лотен поглядел из своего лагеря в его сторону. Он был в синей матроске, и шелковый бантик с алой розой смотрелся на ней очень красиво. Стивен почувствовал, как его лицо стало тоже алым, когда он подумал про все эти пари, кто будет первым учеником, Джек Лотен или же он. В какие-то недели Джек Лотен получал билет первого, а в какие-то он. Он услышал голос отца Арнолла и стал решать следующий пример, а белый шелковый бантик у него все дрожал и дрожал. Но тут как-то вдруг все старание его прошло, и он почувствовал, что лицо у него уже холодное. Он подумал, что, наверно, его лицо теперь белое, раз оно такое холодное. Пример никак не решался, но теперь ему было все равно. Белые розы и алые розы: хорошо так думать про эти цвета. И билетки за первое место, за второе и за третье тоже красивых цветов, розовый, желтый и лиловый. Про лиловые, желтые, розовые розы хорошо думать. Он вспомнил песенку о розах на зеленом лугу и подумал, что это может быть как раз про такие розы. А вот зеленых роз не бывает. А может где-то на свете они и есть.

Прозвенел звонок. Все классы начали выходить шеренгой из своих комнат и по коридорам потянулись в столовую. Он сидел, уставившись на два кубика масла у себя на тарелке, но не мог есть влажный хлеб. И скатерть была мягкая, влажная. Но он все-таки проглотил жидкий горячий чай, который плеснул в его чашку неуклюжий раздатчик в белом фартуке. Он подумал, что, может быть, фартук у раздатчика тоже влажный и вообще белые вещи все холодные и влажные. Крыса Роуч и Сорин пили какао, которое им присылали из дома в жестяных коробках. Они говорили, что не могут пить этот чай, он такой как помои. А про них говорили, что их отцы – мировые судьи.

Все мальчики казались ему очень странными. Все были по-разному одеты, с разными голосами, у всех были свои папы и мамы. Ему больше всего хотелось бы оказаться дома, положить голову маме на колени. Но так было невозможно, и он хотел, чтобы хотя бы поскорей кончились уроки, игры, молитвы, и он бы лежал в постели.

Он проглотил еще чашку чаю, а Флеминг спросил:

– Что с тобой такое? У тебя что-нибудь болит?

– Не знаю, – отвечал Стивен.

– Ты бледный весь, – сказал Флеминг. – Наверно, пузо болит. Ничего, пройдет.



– Конечно, пройдет, – согласился Стивен.

Но там ничего не болело у него. Он подумал, что у него болит в сердце, если только там может болеть. Какой Флеминг добрый, что так спросил. Ему захотелось плакать. Он поставил локти на стол и начал зажимать и снова открывать уши. Всякий раз, как он открывал их, ему снова слышался шум столовой. Это было похоже на гулкий шум от поезда ночью. А когда он зажимал уши, гулкий шум стихал, как будто поезд входил в туннель. В ту ночь в Долки вот так шумело от поезда, а потом, как поезд вошел в туннель, шум затих. Он закрыл глаза и поезд пошел, зашумел, а потом затих, и опять зашумел – затих. Было хорошо слушать, как он зашумит – затихнет, потом снова выйдет из туннеля зашумит потом стихнет.

Потом старшие мальчики начали выходить из столовой по дорожке, лежавшей посреди залы, Падди Рэт, и Джимми Маги, и испанец, которому разрешалось курить сигары, и маленький португалец в шерстяном берете. Потом столы средних классов и потом третьего класса. И у каждого-каждого мальчика была своя, другая походка.

Он сидел в уголку рекреационной и делал вид, что следит за партией в домино, и один-два раза у него получилось услышать песенку газа. Староста и несколько мальчиков стояли у двери, и Саймон Мунен связывал фальшивые рукава у старосты. Тот рассказывал им что-то про Туллабег.

Потом староста отошел от двери, а Уэллс подошел к Стивену и сказал:

– Скажи-ка, Дедал, ты целуешь свою маму перед тем как лечь спать?

И Стивен ответил:

– Да.

Уэллс обернулся к другим и сказал:

– Надо же, этот малый говорит, он целует каждый день свою мамочку перед тем как лечь спать.

Мальчики перестали играть, все повернулись к нему и засмеялись. Стивен сразу покраснел под их взглядами и сказал:

– Нет, я не целую.

А Уэллс сказал:

– Надо же, этот малый говорит, он не целует мамочку перед тем как лечь спать.

И они снова все засмеялись. Стивен пытался тоже засмеяться со всеми. Он почувствовал, как ему сразу стало жарко и неудобно во всем теле. Как же тут правильно ответить? Он ответил и так, и так, а Уэллс все равно смеялся. Уэллс-то знает, как правильно, он уже в последнем из младших классов. Он попробовал представить себе мать Уэллса, но не решился посмотреть на его лицо. Лицо Уэллса ему не нравилось. Это ведь Уэллс его толкнул накануне в жолоб в уборной за то, что он не стал меняться своей табакерочкой на его битку, на сорокакаразовый каштан-чемпион. Это подло было так делать, все мальчики так сказали. А какая холодная, липкая вода была! И один мальчик видел, как в эту жижу здоровая крыса раз! – и плюхнулась.

Липкий холод покрыл все его тело, и когда прозвенел звонок на занятия и все классы стали выходить в шеренгу из рекреационных, он почувствовал, как холодный воздух из коридора и с лестницы забирается ему под одежду. Он все еще старался думать про то, как же ответить правильно. Целовать маму – хорошо это или нехорошо? А что вообще значит – целовать? Поднимаешь вот так лицо, сказать маме спокойной ночи, а мама тогда свое наклоняет. Вот что такое целовать. Мама прижимала губы к его щеке, у нее губы мягкие и они на щеке оставляли влажный след и еще они чуть-чуть делали такой звук, пц. Почему это люди так делают своими лицами?

Усевшись на свое место в классной, он поднял крышку парты и заменил число семьдесят семь, наклеенное там внутри, на семьдесят шесть. Но до рождественских каникул еще долго-долго – но когда-то они все равно наступят, потому что Земля все время вращается.

Картинка с земным шаром была на первой странице учебника географии: весь в облаках большой шар. У Флеминга была коробка карандашей, и когда был однажды пустой урок, он раскрасил Землю в зеленый цвет, а облака в коричневый. И вышло как те две щетки в шкафу у Дэнти, щетка с зеленой бархатной спинкой в честь Парнелла и с каштановой спинкой в честь Майкла Дэвитта. Но он Флеминга не просил, чтобы в такие цвета покрасить, Флеминг это сам так.

Он открыл географию, стал учить, но названия мест в Америке не выучивались. Хотя это всё были разные места, у которых были все эти разные названия. Они все были в разных странах, а страны на материках, а материки на Земле, а Земля во Вселенной.

Он пролистал до первой страницы и перечел, что он раньше там написал: себя, свою фамилию и где он находится.

Стивен Дедал

Приготовительный класс

Колледж Клонгоуз-Вуд

Сэллинз

Графство Килдер

Ирландия

Европа

Вселенная

Это было написано его рукой, а на противоположной странице Флеминг однажды вечером ради шутки написал:

Стивен Дедал я зовусь,

Мой народ – ирландский.  
Я в Клонгоузе учусь,  
А когда-нибудь буду в кущах райских.

Он прочел эти стихи задом наперед, но тогда получались не стихи. Потом он перечел всю первую страницу снизу вверх, пока не дошел опять до своей фамилии. Это вот он – и он еще раз перечел всю страницу. А что дальше за Вселенной? Ничего. Но может что-нибудь было вокруг Вселенной, чтоб показать, где она кончается перед тем как начнется место где ничего? Не стена, конечно, но ведь может же быть какая-то тонкая-тонкая линия вокруг всего. Это что-то очень огромное, если попробуешь помыслить все и всюду. Только Бог может такое. Он хотел подумать, какая это огромная должна быть мысль, но мог только подумать о Боге. Бог это было имя Бога, вот как его имя Стивен. По-французски Бог будет Dieu, и это тоже имя Бога, так что если кто-то молится Богу и скажет Dieu, Бог знает сразу, что это француз молится. Только хотя у Бога разные имена во всех этих разных языках в мире и хотя Бог понимает все, что бы ни говорили те кто молится на этих своих разных языках, все равно Бог всегда остается тот же самый Бог, и настоящее его имя – Бог.

От всех таких мыслей он очень устал. Ему казалось, что у него голова стала огромная. Он перевернул страницу и вяло уставился на круглую зеленую Землю, окутанную коричневыми облаками. Он начал думать, что правильно, стоять за зеленый цвет или за коричневый, потому что Дэнти однажды взяла и ножницами спорола зеленую спинку с той щетки, которая в честь Парнелла, и сказала ему, что Парнелл плохой человек. Потом он подумал, идут ли дома споры об этом. Это называлось политика. И в ней было две стороны: Дэнти была на одной стороне, а папа и мистер Кейси на другой, а вот мама и дядя Чарльз, они не были ни на какой стороне. И каждый день в газете что-то было про это.

Его расстраивало, что он не знает как следует, что такое политика, и не знает, где оканчивается Вселенная. Он почувствовал себя слабым, маленьким. Когда еще он станет таким как мальчики из Поэзии и Риторике? У них голоса взрослые, башмаки большие, они проходят тригонометрию. Это так еще всё нескоро. Сначала будут каникулы, потом следующее полугодие, а потом еще каникулы и еще полугодие и еще одни каникулы. Это как поезд, который то в туннель, то наружу, или еще как шум в столовой, когда закрываешь и открываешь уши. Учеба – каникулы; в туннель – наружу; шум – тихо. Как нескоро еще! Хорошо бы скорей в постель и спать. Осталась только молитва в часовне, а потом спать. Ему стало зябко, и он зевнул. Как приятно в постели, когда уже простыни согрелись. А сперва, когда забираешься, они до того холодные. Ему опять стало зябко, когда он представил, какие они холодные. Но они потом нагреваются, и ты спишь. Чувствовать усталость было приятно. Он снова зевнул. Молитвы вечерние, и в постель; ему стало зябко и захотелось зевать. Скоро станет приятно. Он почувствовал, как от зябких холодных простынь идет стружкой тепло, все теплей, теплей, пока ему не стало всему тепло, совсем-совсем тепло; совсем тепло и все-таки немного зябко и все хотелось зевать.

Прозвенел звонок на вечернюю молитву, и он в шеренге следом за другими вышел из класса и пошел вниз по лестнице, а потом по коридорам в часовню. Свет в коридорах был темноватый, и в часовне был темноватый свет. Скоро везде будет темно и все заснут. Воздух в часовне был холодный, ночной, и мрамор был такого цвета как море ночью. Море и днем и ночью холодное, только ночью оно еще холодней. У мола, что возле дома у них, холодно и темно. Но на огне зато котелок, варить пунш.

Чтец читал молитвы над головой у него, а его память знала уже их все:

Господи, отверзи уста наши  
И возвестят уста наши хвалу Тебе.  
Снизойди, Господи, к нам на помощь  
И подай нам скорое Твое утешение!

В часовне стоял холодный ночной запах. Но это святой был запах, не такой как от старых крестьян, что приходили к воскресной службе и проводили ее всю на коленях, в задних рядах. От них пахло улицей и дождем и торфом и толстой материей. Но они очень были святые, эти крестьяне. Они дышали ему в затылок и всё вздыхали, когда молились. Один мальчик сказал, они живут в Клейне, там маленькие домики, и когда по пути из Сэллинса кебы проезжали мимо, то Стивен однажды видел, как женщина с малышом на руках стояла в дверях такого домика. Как бы хорошо было переночевать в таком домике одну ночь, когда горит и дымится торф в очаге, и от очага темноватый свет, и в теплых потемках крестьянский запах, улицы и дождя и торфа и толстой материи. Но только как там на дороге темно, среди деревьев! Сразу заблудишься в темноте. Он представил это, и ему стало страшно.

Он услышал голос чтеца, читающий заключительную молитву. Он стал тоже ее читать, чтобы одолеть темноту там под деревьями снаружи.

Молим Тя, Господи, посети обитель сию и избави ее от всех козней лукавого. Да пребудут в ней ангелы святые Твои, дабы охранить мир наш, и да не оставит нас благодать Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.

Когда он раздевался в дортуаре, у него дрожали пальцы. Он велел пальцам торопиться. Ему надо было успеть раздеться, стать на колени, прочитать личные молитвы и лечь в постель до того, как притушат газ, а то иначе он может попасть в ад, когда умрет. Он скатал с ног чулки, надел поскорей ночную рубашку, дрожа, опустился на колени возле постели и начал быстро-быстро читать молитвы, всё опасаясь, что газ вот-вот потухнет. Он чувствовал, как плечи у него трясутся, когда он шептал про себя:

Господи, помилуй папу и маму и сохрани их мне!  
Господи, помилуй братишек и сестреноч моих и сохрани их мне!  
Господи, помилуй Дэнти и дядю Чарльза и сохрани их мне!

Перекрестившись, он быстро юркнул в постель и там, обернув ступни подолом рубашки, дрожа всем телом, съехался в комок между холодными белыми простынями. Но зато он не попадет в ад, когда умрет, а дрожь ведь пройдет скоро. Голос пожелал мальчикам в дортуаре спокойной ночи. Он бросил быстрый взгляд поверх коврика и увидел желтые занавески, что окружали его кровать со всех сторон. Свет тихо притушили.

Шаги надзирателя удалились. Куда? Вниз и по коридорам или же в его комнату в том конце? Он увидел темноту. Правда ли это про черную собаку, которая ходит тут по ночам, с огромными глазами, как фонари у кареты? Говорят, это призрак какого-то убийцы. По всему телу его проползла струйка ужаса. Он увидел темный вестибюль

замка. Старые слуги в одежде как в старину собрались в гладильной, что над лестницей. Это очень давно было. Слуги сидели тихо. Огонь у них горел, но в вестибюле было темно. И вот из вестибюля по лестнице кто-то поднимается. На нем был белый маршальский плащ – лицо все бледное и со странным выражением – а рукой зажимает бок. И он смотрит на слуг так странно. И они тоже на него посмотрели, узнали своего хозяина лицо, плащ и поняли, что он получил смертельную рану. Но куда они смотрели, там была одна темнота, один только темный воздух и молчание. Хозяина их смертельно ранили под Прагой, далеко-далеко за морем. Он стоял на поле битвы – бок зажимал рукой – лицо было бледное и со странным выражением – и надет был на нем белый маршальский плащ.

До чего было холодно, странно думать про это! Темнота всегда странная и холодная. Отовсюду бледные лица со странным выражением, глаза огромные, как фонари у кареты. Это призраки убийц, тени маршалов, которых смертельно ранили в битве далеко-далеко за морем. Что они хотят сказать, почему у них такое выражение странное на лице?

Молим Тя, Господи, посети обитель сию и избави ее от всех...

Домой на каникулы! Это так здорово, мальчики ему рассказывали. Зимой, рано утром, у подъезда замка усаживаются в кебы. Колеса скрипят по гравию. Ректору приятно оставаться!

Ура! Ура! Ура!

Кебы едут мимо часовни, все снимают шапки. Потом катят весело по проселку. Кучера показывают своими кнутами на Боденстаун. Мальчики кричат ура. Проезжают усадьбу Фермера-Весельчака. Ура, еще ура и снова ура. Проезжают через Клейн, с криками, с приветствиями, их тоже приветствуют. В полуоткрытых дверях стоят крестьянки, кое-где и мужчины. Приятный запах в зимнем воздухе, запах Клейна – дождем пахнет, зимней улицей и тлеющим торфом и толстой материей крестьянской.

В поезде полно мальчиков, это длинный-длинный шоколадный поезд с кремовой обшивкой. Кондукторы ходят взад-вперед, открывают, закрывают, запирают, отпирают двери. Они в темно-синей форме с серебром, и свистки серебряные у них, и от ключей веселая музыка: клик-клик, клик-клик.

А поезд все мчится, по равнине, потом мимо холма Аллена. Телеграфные столбы мелькают, мелькают. Поезд вперед, вперед. Знает куда. До#769;ма в прихожей уже цветные фонарики, гирлянды зеленых веток. Вокруг трюмо плющ и остролист, зеленым плющом, алым остролистом обвиты все канделябры. И старые портреты по стенам тоже в плюще и остролисте, в зеленом и алом. Плющ и остролист в честь него и в честь Рождества.

Так чудесно...

Все домашние. Стивен вернулся, Стивен! Шум, все его приветствуют. Мама его целует. А это правильно? А папа теперь стал маршал, это же выше, чем мировой судья. Стивен вернулся!

Шум, шум...

Был слышен шум занавесок, как их кольца отдергивались по стержням, плеск воды в тазиках. Шум, как кругом в дортуаре вставляли, одевались, мылись; шум, как

надзиратель хлопал в ладоши, прохаживаясь и подгоняя мальчиков. В бледном солнечном свете виднелись желтые отодвинутые занавески, раскиданные постели. Его постель была совсем горячая, его лицо и тело совсем горячие.

Он поднялся и сел на край постели. Он чувствовал слабость. Попытался натянуть чулок, он на теле казался противно грубым, шершавым. Свет солнца был чужой, холодный.

Флеминг сказал:

– Тебе что, нездоровится?

Он сам не знал, и Флеминг тогда сказал:

– Давай обратно в постель. Я Макглэйдю скажу, тебе нездоровится.

– Он заболел.

– Кто?

– Скажите Макглэйдю.

– Давай обратно в постель.

– Он что, заболел?

Один мальчик поддерживал его за руку, пока он стаскивал приставший к ноге чулок, и потом он залез обратно в постель.

Он съехался между простынями, радуясь, что они еще теплые. Ему было слышно, как мальчики, одеваясь и собираясь к мессе, разговаривают между собой. Это подло было так делать, спихнуть его в жолоб в уборной, говорили они.

Потом голоса их затихли, они ушли. Голос около его кровати сказал:

– Дедал, ты на нас не наябедничаешь, правда же?

Там было лицо Уэллса. Он взглянул на него и увидел, что Уэллс боится.

– Я это не нарочно. Ты ж не наябедничаешь, правда?

Папа сказал ему, что бы он ни делал, никогда не доносить на товарищей. Он покачал головой и ответил нет, и ему стало радостно. Уэллс сказал:

– Я не нарочно, вот клянусь. Я только так, для смеха. Ты извини.

Голос и лицо удалились. Извинился потому что боится. Боится, это какая-то болезнь. Звери болеют раком или может чем-то другим. Это было давно-давно в сумерках тогда на площадке, он переступал с места на место в хвосте команды, и тяжелая птица низко летала в сером свете. В Лестерском аббатстве зажгли свет. Уолси там умер. Он был погребен аббатами.

Это было не Уэллса лицо, а надзирателя. Он не притворяется. Нет-нет, он правда заболел. Он не притворяется. И он почувствовал у себя на лбу руку надзирателя, и

под этой рукой, холодной и влажной, почувствовал, какой у него горячий и влажный лоб. Это было как почувствовать крысу, она скользкая, влажная, холодная. У каждой крысы два глаза, чтобы смотреть. Шкурки гладкие, скользкие, лапки крохотные поджаты, чтоб прыгать, глазки черные, блестящие, чтоб смотреть. Они понимают как это надо прыгать. А вот тригонометрии крысиный ум не может понять. Когда они дохлые, то лежат на боку, и шкурки тогда у них высохшие. Это тогда просто падаль.

Опять появился надзиратель, и голос его теперь говорил, что он должен встать, что это отец помощник ректора сказал, ему надо встать, одеться и пойти в лазарет. И пока он одевался, стараясь как можно быстрее, надзиратель приговаривал:

– Ничего не поделаешь, надо перебираться к брату Майклу, раз пузик у нас болит! Ух как несладко, когда пузик болит! Уж такой бледный вид, когда пузик болит!

Он так говорил, потому что добрый. Это всё, чтобы он смеялся. Только он смеяться не мог, у него все щеки и все губы дрожали, и раз так, надзирателю пришлось самому смеяться.

И надзиратель крикнул:

– Живенько марш! Сено-солома!

Они спустились вместе по лестнице, прошли по коридору и мимо ванной. Минувя дверь в ванную, он с чувством смутного страха вспомнил теплую и болотистую, торфяного цвета воду, теплый и сырой воздух, шум от плюханий в воду и запах от полотенец как от лекарств.

Брат Майкл стоял в дверях лазарета, и из двери темного чулана по правую руку от него шел запах как от лекарств. Он шел от пузырьков на полках. Надзиратель заговорил с братом Майклом, а тот отвечал и обращался к надзирателю сэр. У него были волосы рыжеватые с сединой и какой-то чудной вид. И чудно тоже, что он так и будет всегда братом. И потом еще чудно, что его нельзя было называть сэр, раз он был брат и у него был вид не такой, как у остальных. Он что, не такой святой, почему он не мог сравняться со всеми?

В комнате были две кровати, и на одной лежал мальчик; и когда они вошли, он крикнул:

– Привет! Да это малыш Дедал! С чего это ты сюда?

– Со второго этажа, – сказал брат Майкл.

Это был из третьего класса мальчик. Пока Стивен раздевался, он все просил брата Майкла дать ему поджаренного хлеба с маслом.

– Ну, ломтик, пожалуйста, – говорил он.

– Не умасливай! – отвечал брат Майкл. – Завтра утром, когда доктор придет, мы тебя выпишем из лазарета.

– Выпишете? – переспросил мальчик. – А я еще не поправился.

Брат Майкл повторил:

– Завтра утром мы тебя выпишем из лазарета.

Он наклонился и стал шуровать уголь в камине. Спина у него была длинная как у лошади, что возит конку. Он двигал усердно кочергой, а головой кивал мальчику из третьего.

Потом брат Майкл ушел, а еще погодя немного мальчик из третьего отвернулся к стенке и заснул.

Это лазарет. Значит, он заболел. А они написали домой, маме с папой? Хотя еще быстрее было бы, если бы кто-то из священников поехал и им сказал. Или он бы сам написал письмо, а священник бы передал.

Дорогая мама

Я заболел. Я хочу домой. Ты приезжай, пожалуйста, и меня заведи домой. Я в лазарете.

Твой любящий сын,

Стивен

Как они далеко! За окошком холодным светом светило солнце. Он подумал, а вдруг он умрет. В солнечный день все равно же умирают. Может, он умрет раньше, чем мама приедет. Тогда по нему отслужат заупокойную мессу в часовне, так было, когда Литтл умер, ему мальчики рассказывали. Мальчики все придут на мессу, все будут в черном, лица у всех печальные. Уэллс тоже придет, но на него никто даже смотреть не захочет. Ректор будет в черной с золотом мантии, и свечи будут гореть высокие, желтые, на алтаре и вокруг катафалка. И потом медленно гроб вынесут из часовни, и его похоронят на том маленьком кладбище общины, за главной аллеей липовой. И Уэллс будет жалеть, что он сделал. И колокол будет медленно звонить.

Он даже слышал звон. Он стал повторять про себя песню, которой его научила Бриджет.

Динь-дон! Слышен звон!  
Прощай навеки, мама!  
Тихим сном мне спать суждено  
Со старшим братцем рядом.  
Гроб с черною каймою,  
Шесть ангелов за мною,  
Молятся двое, а двое поют,  
Двое мою душу на небо несут.

До чего это красиво и грустно! Какие слова красивые, вот эти, где говорится Тихим сном мне спать суждено! По телу его прошла дрожь. Так грустно, так красиво! Ему захотелось поплакать тихонько, но не о себе, а над этими словами, что были грустные и красивые как музыка. Слышен звон! Слышен звон! Тихий сон! Тихий сон!



Свет солнца был уже не такой холодный, и у его кровати стоял брат Майкл с чашкой бульона. Он обрадовался, потому что во рту было горячо и все пересохло. Слышно было, как там на площадках играют мальчики. В колледже шел обычный день, как если бы он по-прежнему там был.

Потом брат Майкл стал уходить, а мальчик из третьего ему сказал, чтобы он непременно пришел опять и рассказал бы ему все новости, что в газете. Он сказал Стивену, что его фамилия Этай и что отец его держит скаковых лошадей, целую кучу, классные скакуны, и отец всегда был бы рад подсказать хорошую ставочку брату Майклу, потому что брат Майкл такой добрый и всегда ему рассказывает новости из ежедневной газеты, которую получают в замке. Там новости какие хочешь, происшествия, кораблекрушения, спорт, политика.

– А теперь в газетах сплошь про одну политику, – сказал он. – У тебя дома как, тоже про это все?

– Да, – ответил Стивен.

Мальчик подумал потом минуту и сказал:

– У тебя чудная фамилия, Дедал, а у меня тоже чудная, Этай. Это название города, моя фамилия. А твоя как латинская.

Потом он спросил:

– А ты загадки отгадывать умеешь?

– Не очень хорошо, – ответил Стивен.

Тогда мальчик спросил:

– А вот такую ты отгадаешь: чем графство Килдер отличается от Азии?

Стивен поискал в уме отгадку, потом сказал:

– Не знаю, сдаюсь.

– А тем, что в Азии – Китай, а в графстве Килдер – Этай, вот чем!

– А, понятно, – сказал Стивен.

– Это старинная загадка, – сказал мальчик.

Через минуту он снова заговорил:

– А знаешь?

– Что? – спросил Стивен.

– Эту загадку можно еще по-другому загадать.

– Можно по-другому? – переспросил Стивен.

– Ту же самую, – подтвердил мальчик. – А ты знаешь, как по-другому?

– Нет, – отвечал Стивен.

– И не можешь сообразить, как по-другому?

Говоря, он приподнялся на своей постели и смотрел на Стивена. Потом снова откинулся на подушку и сказал:

– Есть другой способ ее загадать, только я тебе не скажу какой.

Почему он не хочет сказать? Наверно, папа его, у которого скаковые лошади, тоже мировой судья, как папы у Сорина и у Крысы Роуча. Он стал думать про своего папу, как тот пел, когда мама играла на рояле, и как давал ему всегда шиллинг, если попросишь шестипенсовик, и ему стало жалко папу, что он не мировой судья, как папы у других мальчиков. А тогда почему его сюда отдали учиться, вместе с ними? Но ведь папа говорил ему, что он тут не будет чужаком, потому что его двоюродный дед пятьдесят лет назад подносил адрес освободителю. Людей того времени узнаешь всегда по старинной одежде. Ему казалось, тогда все было торжественно – и он подумал, что это, может быть, как раз в те времена ученики в Клонгоузе носили голубые шинели с медными пуговицами, желтые жилетки и шапки из кролика, и тогда они пили пиво как взрослые и держали своих гончих для охоты на зайцев.

Он посмотрел в окно и увидел, что дневной свет потускнел заметно. Над площадками сейчас, наверно, серое пасмурное небо. Шума с площадок не доносилось. Наверно, его класс сейчас пишет упражнения или же отец Арнолл читает им вслух.

Как странно, что ему тут не дали никакого лекарства. Может быть, брат Майкл его принесет, когда вернется. Мальчики говорили, когда ты в лазарете, то какую-то микстуру вонючую заставляют пить. Но он уже себя чувствовал лучше. Хорошо бы лежать и медленно выздоравливать. Тогда можно здесь книжки получать. В библиотеке есть книжка про Голландию. В ней такие чудесные иностранные имена, картинки с какими-то необыкновенными городами, с кораблями. Рассматриваешь их, и так здорово.

До чего тусклый свет за окном! Но так тоже хорошо. На стенке огонь подымается и опадает. Как будто волны. Кто-то подбросил угля, и ему послышались голоса. Они разговаривали. Это был шум волн. Или это волны разговаривали одна с другой, меж тем как они подымались и опадали.

Он увидел море в волнах, длинные темные валы подымались и опадали, темные в безлунной ночи. Слабый огонек мерцал на пирсе, там, куда приближался корабль – и он увидел целую толпу людей, собравшихся у кромки воды, смотрящих, как корабль входит в гавань. На мостике корабля стоял высокий человек, глядя в сторону темной и плоской земли: и при свете огонька с пирса он увидел его лицо, скорбное лицо брата Майкла.

Он увидел, как высокий человек протянул руку к народу и услышал, как он произносит громким и скорбным голосом, разносящимся над водой:

– Он умер. Мы видели его на смертном одре.

Скорбный плач раздался в толпе.

– Парнелл! Парнелл! Он умер!

Они пали на колени, рыдая в глубокой скорби.

И он увидел Дэнти в коричневом бархатном платье и зеленой бархатной накидке, ниспадающей с плеч. Безмолвно и гордо она шествовала мимо людей, стоявших на коленях у кромки воды.

\* \* \*

Высокая гряда угля в камине вовсю пылала ярко-алым огнем, и под люстрой, рожки которой увиты были плющом, был накрыт рождественский стол. Они вернулись домой, слегка задержавшись, но ужин все равно был еще не готов: вот-вот готов будет, сказала мама. Они поджидали, когда распахнется дверь и войдут служанки, держа большие блюда, закрытые тяжелыми металлическими крышками.

Все ждали: дядя Чарльз сидел поодаль у окошка в тени, Дэнти и мистер Кейси сидели в креслах по разные стороны от камина, а Стивен – между ними на стуле, положив ноги на мягкую подставочку. Мистер Дедал поглядывал на себя в зеркало, висящее над камином, и подкручивал кончики усов, а потом раздвинул руками фалды фрака и стал к камину спиной, но время от времени он отнимал руку от фалды и снова подкручивал то один, то другой кончик. Мистер Кейси голову склонил набок и с улыбкой себя постукивал пальцами по шее. И Стивен улыбался тоже, он же ведь знал теперь, что это неправда, будто бы у мистера Кейси в горле кошелек с серебром. Он улыбался, вспоминая, как это его так обманывал этот серебряный звук, что умел делать мистер Кейси. А когда он раз попытался разжать у мистера Кейси руку и поглядеть, не спрятан ли там этот кошелек, то оказалось, что пальцы не разгибаются, и мистер Кейси ему сказал, что у него три пальца на руке остались скрюченными с тех пор, как он делал подарок королеве Виктории на день рождения.

Мистер Кейси постукивал себя пальцами по шее и сонно улыбался Стивену; а мистер Дедал сказал:

– М-да. Ну что ж, все прекрасно. Неплохо мы прогулялись, верно, Джон? М-да... Интересно, есть ли шансы получить ужин сегодня. М-да... Но мы-таки отлично наглотались озона в округе мыса. Готов божиться.

Он обернулся к Дэнти и спросил:

– А вы вообще куда сегодня не двигались, миссис Риордан?

Дэнти нахмурилась и кратко ответила:

– Нет.

Мистер Дедал отпустил фалды фрака и направился к буфету. Подойдя, он достал из закрытого отделения большой глиняный кувшин с виски и стал медленно наполнять графин, то и дело наклоняясь увидеть, сколько налилось уже. Потом поставил кувшин обратно и плеснул понемногу виски в два стаканчика, прибавил в них немного воды и вернулся с ними к камину.

– Всего наперсточек, Джон, – сказал он, – для возбуждения аппетита.

Мистер Кейси принял стаканчик и, отхлебнув из него, поставил на каминную полку. Потом он сказал:

– А мне все вспоминается друг наш Кристофер, как он там варганит...

Тут его одолел смех вместе с кашлем, и он закончил с трудом:

– ...варганит этакое шампанское для тех парней.

Мистер Дедал громко расхохотался.

– Это Кристи-то? – переспросил он. – Да у него в каждой бородавке на лысине больше хитрости, чем у целой стаи лисиц!

Он наклонил голову набок, прикрыл глаза и, усиленно облизывая губы, заговорил голосом хозяина гостиницы:

– И когда с вами говорит, уж такая у него сладость во рту, вы просто не поверите. Обслуживает все свои индюшачьи сережки, дай ему Бог здоровья.

Мистер Кейси все еще не мог справиться со своим кашлем и смехом. А Стивен, увидев и услышав хозяина гостиницы в отцовском лице и голосе, тоже засмеялся.

Мистер Дедал вставил в глаз монокль и, пристально посмотрев на сына, проговорил ласково и спокойно:

– Ну, а ты-то чему смеешься, несмышленный малыш?

Тут вошли служанки и поставили на стол блюда. Следом за ними появилась миссис Дедал и, приведя в порядок места для всех, сказала:

– Прошу садиться.

Мистер Дедал уселся во главе стола со словами:

– Миссис Риордан, прошу вас. Джон, присаживайтесь, голубчик.

Посмотрев вглубь, где сидел дядя Чарльз, он добавил:

– Пожалуйста, сэр, тут вас птичка ждет.

Когда все расселись, он положил было руку на крышку блюда, но тут же отдернул ее и проговорил:

– Давай-ка, Стивен.

Стивен поднялся и прочитал молитву перед едой:

Благослови, Господи, нас и благослови даяния сии, кои по милости Твоей ниспосылаеши нам чрез Христа Господа нашего. Аминь.

Все перекрестились, и мистер Дедал с удовлетворенным вздохом поднял с блюда

тяжелую крышку, по краям ожемчуженную блестящими каплями.

Стивен глядел на жирную индейку, которая на столе в кухне лежала перевязанная для жарки и проткнутая спицей. Он знал, что папа заплатил за нее гинею у Данна на Д'Ольер-стрит, и продавец много раз тыкал ее в грудь, показать, какая она хорошая, и ему припомнился голос продавца, как он говорил:

– Возьмите эту вот, сэр. Товар высший класс.

Почему это в Клонгоузе мистер Барретт называет индюшкой свою линейку для наказания по рукам? Но Клонгоуз был сейчас далеко – а от блюд и тарелок шел густой теплый запах индейки и окорока и сельдерея, и в камине ярко-алю пылала высокая груда угля, и от зеленого плюща и алого остролиста повсюду было так радостно – а когда ужин кончится, то еще принесут большой плам-пудинг, обсыпанный чищеным миндалем, украшенный остролистом и маленьким зеленым флажком на верхушке, и по нему будет бегать голубой огонек.

Это был первый его рождественский ужин, и он подумал про своих младших братьев и сестер, которые оставались в детской и там ждали до пудинга, как и он раньше ждал. В итонском костюмчике с низким отложным воротником он себя чувствовал как-то непривычно, чуть ли не стариком; а когда утром он оделся, чтобы идти к мессе, и вместе с мамой вышел в гостиную, папа прослезился. Он это потому что он вспомнил про своего папу. Дядя Чарльз так и сказал.

Мистер Дедал снова закрыл блюдо крышкой и принялся есть с большим аппетитом. Потом он сказал:

– Бедняга Кристи, его сейчас уж вовсе перекосило от его плутней.

– Саймон, – заметила миссис Дедал, – ты не подал соуса миссис Риордан.

Мистер Дедал тут же взялся за соусник.

– Да как же это я! – воскликнул он. – Миссис Риордан, уж вы простите слепого.

Дэнти прикрыла свою тарелку руками и сказала:

– Нет, благодарю вас.

Мистер Дедал повернулся к дяде Чарльзу.

– А как у вас дела, сэр?

– Как в аптеке, Саймон.

– А вы, Джон, как?

– Полный порядок. Сами наверстывайте.

– А ты, Мэри? Стивен, тут вот кой-что, чтобы у тебя волосы вились.

Он щедро налил соуса Стивену в тарелку, поставил на место соусник и спросил дядю Чарльза, мягкая ли индейка. У дяди Чарльза был полный рот и он не мог говорить, но он кивнул, что мягкая.

– А здорово наш друг ответил канонику, разве нет? – спросил мистер Дедал.

– Я, честно говоря, не думал, что его на такое хватит, – сказал мистер Кейси.

– Отец мой, я заплачу церковный сбор тогда, когда вы прекратите делать из дома Божьего будку для голосования.

– Премилый ответ священнику, – сказала Дэнти, – от человека, который называет себя католиком.

– Им некого тут винить, кроме самих себя, – произнес мистер Дедал сладким тоном. – Им каждый дурачок скажет, что лучше бы они занимались только религией.

– Это и есть религия, – сказала Дэнти. – Они исполняют свой долг, когда предостерегают народ.

– Мы ходим в дом Божий, – сказал мистер Кейси, – чтобы смиренно молиться Творцу нашему, а не слушать предвыборные речи.

– Это и есть религия, – опять повторила Дэнти. – Они правильно делают. Пастыри должны наставлять свою паству.

– И вести политическую агитацию с амвона, так выходит? – спросил мистер Дедал.

– Конечно, – сказала Дэнти. – Здесь речь о нравственности. Если священник не говорит своей пастве, что хорошо и что дурно, то это не священник.

Миссис Дедал положила свои ножик и вилку и сказала:

– Ради милости Божией и благодати Божией, давайте мы оставим политические споры хотя бы на один этот день в году.

– Вот это правильно, мэм, – сказал дядя Чарльз. – Саймон, хватит уже. Давай-ка ни слова больше.

– Хорошо, хорошо, – сказал скороговоркой мистер Дедал.

Быстрым жестом он открыл блюдо и произнес:

– Ну, кому там еще индейки?

Никто не откликнулся, а Дэнти повторила опять:

– Премилые выражения для того, кто считает себя католиком.

– Миссис Риордан, я вас прошу, – сказала миссис Дедал, – я прошу вас оставить эту тему.

Дэнти повернулась к ней и сказала:

– Так значит я должна сидеть здесь и слушать, как издеваются над пастырями моей церкви?

– Да никто против них и слова не говорит, – вмешался мистер Дедал, – пока они не лезут в политику.

– Епископы и священники страны высказали свое суждение, – произнесла Дэнти, – и ему надо повиноваться.

– Если они не бросят политику, – сказал мистер Кейси, – то, знаете, народ может бросить церковь.

– Вот, вы слышите? – воскликнула Дэнти, повернувшись к миссис Дедал.

– Мистер Кейси! Саймон! Ну прекратите же, – молила миссис Дедал.

– Нехорошо, ох как нехорошо! – произнес дядя Чарльз.

– Что?! – вскричал мистер Дедал. – И мы должны были отступить от него по английскому приказанию?

– Он больше уже не был достойным вождем, – сказала Дэнти. – Он был разоблаченным грешником.

– Мы все грешники, и притом злостные грешники, – холодно возразил мистер Кейси.

– Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят, – произнесла миссис Риордан. – Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих[82 - Лк. 17: 1–2.]. Таковы слова Духа Святого.

– И весьма скверные слова, если вам интересно мое мнение, – невозмутимо отвечал мистер Дедал.

– Саймон! Саймон! – забеспокоился дядя Чарльз. – Ведь тут мальчик.

– Да-да, конечно, – нашелся мистер Дедал. – Я ведь это о чем... носильщик на станции говорил весьма скверные слова... Все в порядке, господа, все в порядке. Стивен, давай-ка свою тарелку, паренек. Вот, заправляйся как следует.

Он наложил Стивену полную тарелку, а потом дяде Чарльзу и мистеру Кейси тоже положил по большому куску индейки с обильной порцией соуса. Миссис Дедал ела совсем мало, а Дэнти сидела, сложив руки на коленях, и лицо у нее было красное. Мистер Дедал принялся разрезать то, что было еще на блюде, а потом объявил:

– А вот самый лакомый кусочек, который зовется папский нос! Кто из дам и господ желает...

Он поднял перед собой кусок дичи на вилке. Никто не отозвался. Тогда он положил кусок на свою тарелку со словами:

– Ну что ж, мое дело предложить. Съем-ка я сам его, как-то я последнее время не в форме.

Подмигнув Стивену и закрыв блюдо крышкой, он снова принялся за еду.

Пока он ел, царило молчание. Потом он заговорил:

– Что же, день-то был славный, в конце концов. И в городе приезжих целые толпы.

Никто не отозвался. Он продолжал:

– Приезжих было больше, пожалуй, чем на прошлое Рождество.

Он поглядел вокруг, но у всех сидящих лица были уткнуты в тарелки. Ответа ему не последовало. Выждав минуту, он проговорил в сердцах:

– Испортили-таки мне рождественский ужин!

– Не может быть ни счастья, ни благодати, – сказала Дэнти, – в том доме, где нет почтения к пастырям.

Мистер Дедал с шумом швырнул на свою тарелку вилку и нож.

– Почтение! Это что, к Билли-губошлепу или к бочке с потрохами из Армаха? Почтение!

– Князя церкви! – процедил презрительно мистер Кейси.

– Ага, как конюх лорда Лейтрима, – добавил мистер Дедал.

– Они Божии помазанники, – сказала Дэнти. – Они честь нации.

– Бочка с потрохами, – произнес резко мистер Дедал. – Когда почивает, вы скажете – красавчик. Надо вам видеть, как этот гусь лопают свинину с капустой в зимний денек. Картинка!

Он скорчил на лице грубую тупую гримасу и зачавкал громко губами.

– Правда, Саймон, – сказала миссис Дедал, – при Стивене ты не должен так говорить. Это нехорошо.

– О, когда он вырастет, он припомнит все это, – с жаром вмешалась Дэнти, – припомнит все речи против Бога, и против религии, и против священников, что он наслушался в своем доме.

– И пусть еще он припомнит, – крикнул ей мистер Кейси через стол, – те речи, которыми священники и их шавки клеймили и загоняли в гроб Парнелла. Пусть он это тоже припомнит, когда вырастет.

– Сукины дети! – вскричал и мистер Дедал. – Едва он попал в беду, они его тут же предали, как крысы из помойки набросились. Подлые псы! Да они и смахивают на псов, я божусь!

– Они правильно поступили, – кричала Дэнти. – Они были послушны своим епископам и священникам. Честь и хвала им!

– Но это просто ужасно, – проговорила миссис Дедал, – даже такой единственный день в году не может у нас быть без этих ужасных споров.

Дядя Чарльз мягким жестом поднял вверх руки и сказал:



– Ну послушайте же, послушайте! Неужели мы все не можем высказывать свои взгляды, какие бы они ни были, не выходя из себя, не ругаясь. Это же так плохо.

Миссис Дедал заговорила тихим голосом с Дэнти, но Дэнти громко отрезала:

– Нет уж, я не стану молчать. Когда вероотступники оплевывают и поносят религию и церковь, я буду защищать их.

Тут мистер Кейси резко оттолкнул свою тарелку на середину стола и, поставив на стол локти, хрипловатым голосом обратился к хозяину:

– Скажите-ка, а я вам не рассказывал историю про самый знаменитый плевок?

– Да нет, Джон, – ответил мистер Дедал.

– Ну как же, – продолжал мистер Кейси, – весьма поучительная история. Случилось это не слишком давно в том самом графстве Уиклоу, где мы ныне находимся.

Тут он остановился и, обернувшись к Дэнти, со сдержанным возмущением произнес:

– И могу доложить вам, мэм, что если вы имели в виду меня, то я не вероотступник. Я католик, каким был до меня мой отец, а до него был его отец, а до него был его и так далее, в те времена, когда мы отдавали жизни, но не отступались от своей веры.

– Тем более постыдно для вас сейчас так говорить, как вы говорите, – сказала Дэнти.

– Ладно, Джон, вы все-таки расскажите историю, – с улыбкой проговорил мистер Дедал.

– Уж это католик! – сказала Дэнти с насмешкой. – Да самый отпетый протестант не наговорит такого, что я сегодня здесь слышала.

Мистер Дедал замурлыкал себе под нос мелодию уличных певцов, покачивая головой из стороны в сторону.

– Я не протестант, еще раз вам повторяю, – сказал мистер Кейси, багровея.

Мистер Дедал, все так же покачивая головой, пропел нарочито гнусавым голосом:

Сбирайтесь все, о католики,  
Которые к мессе не ходят.

Вновь придя в хорошее настроение, он взял нож и вилку и вернулся к еде, приговаривая мистеру Кейси:

– Выкладывайте-ка свою историю, Джон, нам будет полезно для пищеварения.

Стивен с теплом и сочувствием смотрел на мистера Кейси, который глядел неподвижно перед собой, оперев голову на соединенные руки. Ему нравилось сидеть подле него у огня, снизу посматривая на его суровое темное лицо. Но темные глаза его не бывали суровыми, а голос всегда был нетороплив и приятен для слуха.

Только почему же он против священников? Ведь тогда Дэнти значит права. Но Стивен слышал, как отец однажды сказал, что она неудавшаяся монахиня, была в монастыре в Аллегени и ушла из него, когда ее брат сильно нажился на продаже дикарям всяких побрякушек. Может, из-за этого она и стала против Парнелла. И она не любила, чтобы он играл с Эйлин, потому что Эйлин была из протестантов, а Дэнти когда была молодая, то знала детей, которые водились с протестантскими детьми, а протестанты насмеялись над литанией Пресвятой Девы, всё повторяя Башня кости слоновой, Чертог золотой! Как это женщина может быть башней из слоновой кости и чертогом из золота? Кто тут все-таки прав? И ему вспомнился вечер в лазарете в Клонгоузе, темные воды, огонек на пирсе и скорбные вопли тех, кто услышал весть.

У Эйлин были белые тонкие руки. Как-то, когда играли в жмурки вечером, она прижала ему к глазам свои руки: длинные, белые и тонкие, холодные, мягкие. Такая вот и слоновая кость: она холодная, белая. Значит, это и есть смысл слов Башня кости слоновой.

– История милая и короткая, – сказал мистер Кейси. – Дело было в Арклоу, в холодный ненастный день, незадолго до смерти вождя, да будет с ним милость Божия!

Он сделал паузу, устало прикрыв глаза. Мистер Дедал взял косточку со своей тарелки и принялся обглаживать с нее мясо, со словами:

– До его убийства, вы хотите сказать.

Мистер Кейси снова открыл глаза и, вздохнув, продолжал:

– Стало быть, все происходило в Арклоу. Мы устраивали митинг, и когда он закончился, нам надо было идти на станцию, пробираясь сквозь густую толпу. Ну, такого воя и рева вам никогда не слышать, дружище. Они нас крыли всеми мыслимыми словами. А одна старая леди, а точнее, старая ведьма, пьяная в стельку, весь свой пыл обратила на меня. Она приплясывала рядом со мной в грязи, визжала и вопила мне прямо в физиономию: Враг пастырей наших! Парижская биржа! Мистер Фокс! Китти О’Шей!

– И что ж вы делали, Джон? – спросил мистер Дедал.

– Я ей дал наораться вволю, – ответил мистер Кейси. – День был холодный, и чтоб взбодриться, я заложил себе за щеку (не при вас будь сказано, мэм) добрую порцию талламорского табаку. Так что я все равно ни слова не мог сказать, у меня был полон рот табачного соку.

– Ну-ну, и что дальше?

– Дальше. Я ей дал наораться в полное ее удовольствие, и Китти О’Шей, и все остальное, пока она наконец не назвала эту леди уж таким словом, каким я не стану поганить ни этот праздничный ужин, ни ваши уши, мэм, ни мои собственные уста.

Он опять смолк. Мистер Дедал, оторвавшись от своей косточки, спросил:

– Так что же вы сделали все-таки?

– Что сделал? – переспросил мистер Кейси. – Когда она это говорила, она чуть ли

не прижала к моему лицу свою мерзкую старую рожу, а у меня рот-то был полон табачного соку. Я к ней наклонился и ей говорю Тьфу! – вот таким манером.

Он отвернулся в сторону и изобразил, будто плюет.

– Тьфу! говорю ей вот так, и попал прямо в глаз.

Он приложил руку к своему глазу и издал хриплый стон, как от боли.

– Ох, Иисусе, Дева Мария, Иосиф! – это она. – Ох, я ослепла, совсем ослепла, я утопла!

Он поперхнулся сразу от кашля и от смеха и повторял:

– Ох, вовсе ослепла!

Мистер Дедал, громко расхохотавшись, откинулся на спинку стула, а дядя Чарльз качал головой.

У Дэнти был вид ужасно сердитый, и она все повторяла, пока они хохотали:

– Очень красиво! Ха! Очень красиво!

Это некрасиво было, про плевков в глаз женщине. Но только каким же словом она обозвала Китти О'Шей, что мистер Кейси не мог даже повторить? Он представил, как мистер Кейси пробирается сквозь толпу, как он произносит речь с платформы. За это он и сидел в тюрьме. И он вспомнил, как однажды в позднее время домой к ним пришел сержант О'Нил, он стоял в прихожей, тихо разговаривал с отцом и покусывал нервно ремешок от своей фуражки. И после этого мистер Кейси не поехал обратно в Дублин на поезде, а к их дому подкатила телега, и Стивен слышал, как отец что-то объяснял про дорогу на Кабинтили.

Он был за Ирландию и за Парнелла, и папа был за них, но ведь и Дэнти тоже была за них, потому что однажды вечером на эспланаде она стукнула джентльмена по голове зонтиком за то, что он снял шляпу, когда оркестр в конце стал играть Боже храни королеву.

Мистер Дедал фыркнул презрительно.

– Эх, Джон, – произнес он, – такие они и есть. Мы несчастное заеденное попами племя, и такие были и будем, пока вся лавочка не закроется.

Дядя Чарльз качал головой и приговаривал:

– Плохо дело! Ох, плохо дело!

Мистер Дедал повторил еще раз:

– Племя Богом забытое и попами заеденное!

Он показал на портрет своего деда, висевший от него справа.

– Вы видите этого старика, Джон? – спросил он. – Он был добрым ирландцем в те времена, когда денег за это не платили. Он был приговорен к смерти вместе с

другими белыми ребятами. Так вот он любил приговаривать о наших друзьях-церковниках, что ни одного из них он бы за свой стол не пустил.

Дэнти вмешалась гневно:

– Если священники верховодят в нашем племени, то этим надо гордиться! Они зеница ока Божия. Не касайтесь их, говорит Христос, ибо они – зеница ока Моего[83 - Парафраз ветхозаветного стиха Зах. 2: 8, ошибочно приписываемый здесь Христу.].

– А нам, значит, нельзя уже любить нашу родину? – спросил мистер Кейси. – Нельзя следовать за человеком, которому на роду написано было вести нас?

– Он предатель родины! – воскликнула Дэнти. – Предатель, прелюбодей! Священники совершенно правильно от него отвернулись. Они всегда истинные друзья Ирландии.

– Да ну, неужто? – сказал мистер Кейси.

Он резко поставил на стол кулак и, гневно нахмурясь, начал разжимать один палец за другим.

– Разве ирландские епископы не предали нас во время унии, когда епископ Лэниган поднес верноподданнический адрес маркизу Корнуоллису? Разве епископы и священники не продали чаяния всей страны в тысяча восемьсот двадцать девятом году в обмен на свободу католической религии? И разве они не шельмовали фенианского движения как с амвона, так и в исповедальнях? И не надругались над прахом Теренса Белью Макмануса?

Лицо его пылало от гнева, и Стивен почувствовал, как его лицо тоже начинает пылать, так действовали на него эти слова. Мистер Дедал презрительно и грубо загоготал.

– Ах ты, господи, а я ж еще забыл старикашку Пола Коллена! Тоже еще зеница ока Божия!

Дэнти, перегнувшись через стол, закричала мистеру Кейси:

– Они правы! Правы! Всегда правы! Бог, мораль и религия на первом месте.

Видя, как она возбудилась, миссис Дедал сказала:

– Миссис Риордан, не волнуйтесь, лучше не отвечайте им.

– Бог и религия превыше всего! – кричала Дэнти. – Они превыше мирского!

Мистер Кейси поднял сжатый кулак и с силой стукнул им по столу.

– Раз так, отлично! – хрипло вскричал он. – Если на то пошло, не надо Бога Ирландии!

– Джон! Джон! – воскликнул мистер Дедал, дергая гостя за рукав.

Дэнти смотрела перед собой, и щеки ее тряслись. Мистер Кейси тяжело встал со стула и перегнулся в ее сторону через стол, одной рукой он неловко шарил в воздухе перед своими глазами, словно убирая какую-то паутину.

– Не надо Бога Ирландии! – крикнул он. – Слишком много в Ирландии Его. Долой Бога!

– Богохульник! Дьявол! – взвизгнула Дэнти и тоже вскочила с места, почти готовая плюнуть ему в лицо.

Дядя Чарльз и мистер Дедал вдвоем усадили мистера Кейси обратно, с двух сторон урезонивая его. С горящими темными глазами, он смотрел неподвижно перед собой и все повторял:

– Долой Бога, долой!

Дэнти с силой оттолкнула свой стул и вышла из-за стола, уронив кольцо от салфетки, которое медленно покатилося по ковру и остановилось у ножки кресла. Миссис Дедал поспешно поднялась и пошла за ней следом к двери. Но у дверей Дэнти вдруг обернулась резко и на всю комнату закричала, и щеки у нее все горели и дергались от ярости:

– Исчадие ада! Мы победили! Мы его сокрушили насмерть! Сатана!

Дверь с треском захлопнулась.

Мистер Кейси, высвободив руки от своих стражей, уронил вдруг в ладони голову и зарыдал.

– Бедный Парнелл! – громко простонал он. – Мой погибший король!

Он громко и горько рыдал.

Стивен, подняв лицо, искажившееся от ужаса, увидел, что глаза отца полны слез.

\* \* \*

Мальчики разговаривали, сбившись в несколько кучек.

Один сказал:

– Их поймали недалеко от Лайонс-Хилл.

– А поймал кто?

– Мистер Глисон с помощником ректора. Они ехали в экипаже.

Тот же мальчик добавил:

– Это один старшекласник мне сказал.

Флеминг спросил:

– А почему они убежали?

– Я знаю почему, – сказал Сесил Сандер. – Они деньги стащили у ректора из

комнаты.

– Кто стащил-то?

– Кикема брат. А потом они поделили всё.

Но это же воровство, как они могли это сделать?

– До чего ж ты все знаешь про это, Сандер! – сказал Уэллс. – А я вот знаю, почему они смылись.

– Так скажи нам.

– А мне не велели говорить, – отвечал Уэллс.

– Да брось, Уэллс, – закричали все. – Нам-то ты можешь, мы никому не продадим.

Стивен вытянул вперед голову, чтобы все слышать. Уэллс огляделся вокруг, не идет ли кто, и заговорщически зашептал:

– Знаете про церковное вино, что хранится в шкафу в ризнице?

– Ну, знаем.

– Так вот, они его выпили, а потом открылось по запаху, кто сделал это. Поэтому вот они и сбежали, если хотите знать.

А мальчик, который говорил первым, сказал:

– Ага, и я это же самое слышал от того старшеклассника.

Все замолчали. Стивен стоял среди них и слушал, но сам боялся заговорить. Смутное чувство преклонения охватывало его дрожью, лишая сил. Как они могли это сделать? Он представил себе ризницу, где стояли молчание и мрак. Там были темные деревянные шкафы, в которых покоились аккуратно сложенные плоеные стихари. Это не церковь, но все равно святое место, и там надо говорить тихим голосом. Он вспомнил, как он был там летом, тогда вечером устраивался крестный ход к маленькой часовне в лесу, и ему надо было надеть облачение ковчеженосца. Такое необычное, святое место. Мальчик, который носил кадило, слегка им покачивал туда-сюда, стоя у дверей, а чтобы угольки не гасли, серебряная крышечка придерживалась за среднюю цепочку. Те угольки назывались древесный уголь: и когда мальчик слегка раскачивал, они ровно светились и от них шел кисловатый запах. И потом, когда все уже были в облачениях, он стоял и протягивал ковчежец ректору, и ректор насыпал туда ложку ладана, который сразу зашипел на раскаленных углях.

Мальчики разговаривали, сбившись в несколько кучек там и сям на площадке. Ему сейчас казалось, что они все стали меньше ростом: это из-за того, что вчера его сшиб велосипедист, мальчик из второго класса. Велосипед его столкнул на шлаковую дорожку, и очки разбились на три части, а в рот попала зола от шлака.

Вот почему мальчики теперь казались ему меньше ростом и дальше, и штанги от футбольных ворот казались совсем тоненькими и далекими, и серое пасмурное небо было так высоко. Но на футбольном поле сейчас не было игры, потому что должен

был начаться крикетный матч: и одни говорили, Барнс будет капитаном, а другие – Флауэрс. И по всей площадке играли вкруговую, пробовали подачу и разные удары. Отовсюду в сером пасмурном воздухе доносились удары крикетных бит. Удары звучали: пик-пок-пак-пек – словно в фонтане капли воды, падающие медленно в раковину, полную до краев.

Этай, до сих пор молчавший, сказал вдруг тихо:

– А вы все неправильно говорите.

Все живо повернулись к нему.

– Почему это?

– Откуда ты знаешь?

– А тебе кто сказал?

– Давай, расскажи, Этай.

Этай указал пальцем через площадку, туда, где Саймон Мунен прохаживался один, поддавая носком камушек.

– Вот его спросите, – сказал он.

Мальчики поглядели туда и стали спрашивать:

– А почему его?

– Он тоже из тех?

– Давай, расскажи, Этай. Выкладывай, если знаешь.

Этай, понизив голос, сказал:

– Знаете, почему те мальчики смылись? Я б вам сказал, только вы ни за что не должны проговориться, что знаете.

Он помолчал немного и таинственным тоном сообщил:

– Их вечером застали в уборной вместе с Саймоном Муненом и Биваком Бойлом.

Мальчики на него уставились и спросили:

– Как это застали?

– А они что делали?

Этай сказал:

– Трухались.

Все мальчики смолкли – а Этай сказал:

– Вот они почему.

Стивен смотрел на лица товарищей, но они все смотрели через площадку. Он хотел спросить об этом кого-нибудь. Что это значило такое, насчет трухаться в уборной? Почему из-за этого пятеро старшеклассников сбежали? Это наверно шутка, подумал он. Саймон Мунен носил красивую одежду, а как-то раз вечером он показал Стивену шар со сливочными тянучками, который мальчики из футбольной команды катнули к нему по ковровой дорожке в столовой, когда он дежурил у дверей. Это было в тот вечер, когда играли против Бэктайва, и шар с виду был в точности как яблоко, красное и зеленое, только он открывался и внутри были сливочные тянучки. А Бойл однажды сказал, что у слона пара биваков, вместо того чтобы пара бивней, и его прозвали поэтому Бивак Бойл, но некоторые мальчики его еще называли Леди Бойл за то что он так следил за своими ногтями, вечно их чистил и подпиливал.

У Эйлин руки были тоже тонкие длинные белые и прохладные, потому что она девочка. Руки как слоновая кость – только мягкие. Это и значило Башня кости слоновой, а протестанты этого не понимали и насмехались. Однажды они с ней стояли рядом и смотрели, что во дворе гостиницы. Там служитель поднимал на флагштоке гирлянду флажков, а по лужайке носился взад-вперед фокстерьер. Она сунула руку ему в карман, туда, где была его рука, и он почувствовал, какая рука у нее прохладная, тонкая и мягкая. Она сказала, это очень забавно, когда карманы, а потом вдруг выдернула руку и, смеясь, побежала вниз по виляющей дорожке. Ее светлые красивые волосы словно струились за ней, блестя на солнце как золото. Башня кости слоновой. Чертог золотой. Вот так думаешь про вещи и начинаешь их понимать.

Но почему в уборной? Туда идешь, когда надо по нужде. Там сплошь толстые плиты из шифера, струйки воды текут постоянно из малых дырочек и стоит дурной запах затхлой воды. А в одной из кабинок на задней стороне двери рисунок красным карандашом: бородатый человек в римской тоге держит в каждой руке по кирпичу, и снизу подписано:

Балбес воздвигал стену.

Это кто-то для смеха нарисовал. Лицо не очень вышло, зато фигура бородача здорово получилась. А в другой кабинке на стене очень красивым почерком с обратным наклоном написано:

Юлий Цезарь написал Белую Галку.

Может вот поэтому они там были, потому что там некоторые пишут для смеха всякие шутки. Но все равно это что-то странное, и то что сказал Этай, и как он это сказал. А потом, какой же тут смех, раз они сбежали. И он вместе со всеми тоже уставился через площадку молча, и начал чувствовать страх.

Наконец Флеминг сказал:

– И что, нас теперь всех из-за них накажут?

– Вот увидите, я сюда не вернусь, – сказал Сесил Сандер. – В столовой молчать по три дня, а чуть что так получай шесть и восемь.

– Верно, – поддержал Уэллс. – А еще Барретт стал по-новому складывать журнал, так что уже не подглядишь, сколько тебе штрафных назначено. Я тоже не вернусь.



– А классный инспектор с утра был сегодня во втором классе, – сказал Сесил Сандер.

– Может, мы бунт устроим, – сказал Флеминг. – Давайте, а?

Все до одного промолчали. Полное молчание было в воздухе, и только доносились удары крикетных бит, более медленные, чем раньше: пик-пок.

Уэллс спросил:

– А что им будет теперь?

– Саймона Мунена с Биваком будут сечь, – ответил Этай, – а старшеклассникам дали выбор, или тоже их высекут, или исключат.

– И что они выбрали? – спросил тот мальчик, который говорил первым.

– Все, кроме Корригана, сказали, пусть исключают, – отвечал Этай. – А Корригана мистер Глисон будет сечь.

– Корриган, это тот верзила? – спросил Флеминг. – Почему так, его же на двух Глисонов хватит!

– Я знаю почему, – сказал Сесил Сандер. – Корриган выбрал правильно, а другие все нет, порка-то забудется скоро, а если кого из колледжа исключили, так это за ним потянется на всю жизнь. И потом, Глисон сильно его не будет сечь.

– На его месте ему лучше не стараться, – сказал Флеминг.

– А я б не хотел быть на месте Саймона с Биваком, – сказал Сесил Сандер. – Только вряд ли их пороть будут. Небось просто назначат по рукам, девять и девять.

– Нет-нет, – возразил Этай, – им по мягкому месту зададут, и тому, и другому.

Уэллс начал чесаться и прогнусавил плаксивым тоном:

– Сэр, смилуйтесь, отпустите!

А Этай ухмыльнулся и стал засучивать рукава курточки, приговаривая:

Теперь уж всё, попался –  
Награду получай.  
Штаны спускай, бедняга,  
Да зад свой подставляй.

Мальчики засмеялись – но он чувствовал, что им всем немножко не по себе. Среди молчания в сером пасмурном воздухе к нему доносились с разных сторон удары крикетной биты: пок! Это звук от удара, а когда самого ударят, чувствуешь боль. Штрафная линейка тоже делает звук, только не такой. Мальчики говорят, она из китового уса, обшита кожей, а внутри свинец; и он начал думать, какая от нее боль. Какие звуки разные, такая разная бывает и боль. Трость тонкая, длинная, и звук от нее тонкий, свистящий – а вот какая от нее боль? Его пробирала дрожь и

делалось холодно от таких мыслей, а еще от того, что говорил Этай. Что в этом было смешного? Его пробирала дрожь, но это потому было что всегда чувствуешь как будто дрожь когда спускаешь штанишки. Так же вот и в ванной, когда раздеваешься. Он думал: кто же им будет снимать штаны, они сами или учитель? Нет, как они могли так над этим смеяться?

Он смотрел на засученные рукава Этая и на его чернильные пальцы с выступающими костяшками. Это он засучил их показать, как мистер Глисон будет засучивать. Но у мистера Глисона круглые, поблескивающие манжеты на белых чистых запястьях и руки белые, пухлые, а на них острые, длинные ногти. Может, он тоже их подпиливает, как леди Бойл. Но они у него просто ужасно острые и длинные, эти ногти. Такие длинные, жестокие, хотя сами руки не жестокие, а ласковые, белые и пухлые. И хотя он дрожал от холода и от страха, когда думал про эти длинные, жестокие ногти, про тонкий свистящий звук тросточки, про зябкость, какую чувствуешь, раздеваясь, внизу, там, где кончается рубашка, но он чувствовал где-то внутри и странное тихое удовольствие, когда представлял эти белые и пухлые руки, чистые, сильные и ласковые. И он вспомнил, что сказал Сесил Сандер – что мистер Глисон не сильно будет сечь Корригана. А Флеминг сказал, он будет не сильно, потому что на его месте ему лучше бы не стараться. Только это не потому.

Голос на дальнем конце площадки крикнул:

– Все домой!

И другие голоса подхватили:

– Домой! Все домой!

Во время урока чистописания он сидел, сложив руки, и слушал, как кругом медленно поскрипывают перья. Мистер Харфорд прохаживался по классу и делал маленькие поправки красным карандашом, а иногда подсаживался к кому-нибудь и показывал, как надо держать перо. Стивен пробовал прочесть по буквам предложение на доске, хотя он и так знал это предложение, оно было последнее в учебнике. Усердие без разума подобно кораблю без руля. Но черточки в буквах стали как тоненькие невидимые нити, и всю заглавную букву целиком он только мог увидеть, если зажмурить крепко правый глаз и вглядываться сильно левым.

Но мистер Харфорд был очень добрый, он никогда не сердился. Другие учителя все ужасно сердились. Только почему они должны отвечать за тех старшеклассников? Уэллс сказал, они выпили церковное вино из шкафа в ризнице и потом их нашли по запаху. А может, они украли дароносицу, чтобы сбежать с ней и где-нибудь ее продать. Наверно, это же страшный грех, туда потихоньку забраться ночью, открыть шкаф и украсть эту золотую блестящую вещь, в которой во время благословения возлагают на алтарь Бога среди цветов и свечей, и кругом клубы ладана, потому что прислужник кадит кадилом, и Доминик Келли один за весь хор выводит начало гимна. Но уж конечно, Бог не был в ней, когда они ее утащили. Но все равно это небывалый, огромный грех даже к ней притронуться. Он думал про это с благоговейным ужасом – небывалый и страшный грех – и сердце его замирало от этих мыслей, пока он в молчании слушал легкое поскрипывание перьев. Выпить церковное вино из шкафа и чтобы потом нашли по запаху, это грех тоже, но это уж не такая страшная и небывалая вещь. Только чуть-чуть поташнивает от винного запаха. Потому что в тот день, когда он в часовне первый раз принимал святое причастие, он закрыл глаза, открыл рот и слегка высунул язык: и когда ректор наклонился, чтобы ему дать причастие, то в дыхании ректора он почуял винный запах слегка, от

вина мессы. Красивое слово – вино. Представляешь себе темный пурпур, потому что виноградные гроздья темно-пурпурные, они растут в Греции на лозах, подле домов, похожих на белые храмы. Но только из-за того винного запаха в дыхании ректора у него было чувство тошноты в день первого причастия. День первого причастия это самый счастливый день в жизни. Однажды собралось много генералов, и они спросили Наполеона, какой был самый счастливый день в его жизни. Они думали, он назовет день, когда он выиграл какое-то великое сражение или когда он стал императором, но он им сказал:

– Господа, самый счастливый день в моей жизни – день, в который я принял первое святое причастие.

Вошел отец Арнолл и начался урок латыни. Стивен по-прежнему сидел, склонясь над партой и сложив руки. Отец Арнолл раздал тетради и сказал, что работы безобразные и все задания надо переписать еще раз, сделав все исправления. Но хуже всех была тетрадка Флеминга, в ней от кляксы даже страницы склеились – и отец Арнолл поднял ее перед всеми за уголок и сказал, что подавать такую тетрадку это оскорбление учителю. Потом он велел Джеку Лотену просклонять существительное mare[84 - Море (лат.)], а Джек Лотен застрял на творительном падеже единственного числа и не смог даже дойти до множественного.

– Стыдно, Лотен! – сказал отец Арнолл сурово. – Ведь ты – первый ученик!

Тогда он вызвал другого мальчика, а потом следующего и еще следующего, и никто не знал. Отец Арнолл стал какой-то очень спокойный, и когда очередной ученик пытался ответить и не мог, он становился все спокойнее. Но, хотя голос был спокойный, лицо его потемнело, а взгляд застыл. Потом он вызвал Флеминга, и Флеминг сказал, что у этого слова нет множественного числа. И тут отец Арнолл захлопнул вдруг книгу и закричал на него:

– Стань на колени здесь, посреди класса. Такого лентяя я никогда еще не встречал. А вы все делайте задания заново.

Флеминг неуклюже вылез из-за парты и стал на колени между двумя задними скамьями. Остальные уткнулись в свои тетрадки и принялись писать. Настало молчание и, робко поглядывая на мрачное лицо отца Арнолла, Стивен увидел, что оно немного покраснело от гнева.

Грех ли это, что отец Арнолл в гневе, или это ему позволено, когда ученики ленятся, ведь они лучше тогда работают? или, может, он только делает вид, что в гневе? Наверно, ему позволено, священник же знает, что грешно, и не станет этого делать. Но если он однажды все-таки ошибется и согрешит, как он будет исповедоваться? Может быть, он пойдет на исповедь к помощнику ректора. А если помощник ректора согрешит, то пойдет к ректору – а если ректор, то к провинциалу – а если провинциал, то к генералу ордена иезуитов. Так устроен орден – и он слышал, как однажды папа сказал, что все иезуиты умные. Они бы все могли стать важными людьми в обществе, если бы не пошли в иезуиты. И он начал думать, кем бы стали отец Арнолл и Падди Барретт, и кем бы стали мистер Макглэйд и мистер Глисон, если бы не пошли в иезуиты. Про это трудно было думать, потому что надо было их представлять в каком-то другом виде, в разных сюртуках и брюках, с усами и бородами, в разнообразных шляпах.

Дверь открылась бесшумно и закрылась. По классу пробежал быстрый шепот: классный инспектор. Прошла минута гробовой тишины, а потом громко хлопнула штрафная

линейка по задней парте. Сердце Стивена в страхе подпрыгнуло и упало.

– Есть тут, кто хочет порки, отец Арнолл? – крикнул классный инспектор. – Есть в этом классе прогульщики и лентяи, кто хочет порки?

Он вышел на середину класса и увидел Флеминга, стоящего на коленях.

– Ага! – крикнул он. – А это кто? Он почему на коленях? Тебя как зовут?

– Флеминг, сэр.

– Ага, Флеминг! Лентяй, конечно. По глазам вижу. Почему он на коленях, отец Арнолл?

– Он плохо выполнил задание по латыни, – сказал отец Арнолл, – и не мог ответить ни на один вопрос по грамматике.

– Конечно не мог! – крикнул инспектор. – Ясно, что не мог! Он же лентяй от роду! Я же по одному уголку глаза вижу.

Он стукнул своей линейкой по парте и закричал:

– Вставай, Флеминг! Живо!

Флеминг медленно поднялся с колен.

– Руку сюда!

Флеминг протянул руку. Линейка хлестнула громко и звучно: один раз, два, три, четыре, пять, шесть.

– Другую руку!

Линейка отсчитала снова шесть громких хлестких ударов.

– Вставай на колени! – крикнул инспектор.

Флеминг стал на колени, пряча кисти под мышками. Лицо его искривилось от боли, но Стивен знал, какие у него твердые кисти, Флеминг вечно их натирал смолой, хотя наверно ему правда было ужасно больно, удары были ведь жутко громкие. Сердце у Стивена трепыхалось и замирало.

– Все за работу, все! – прокричал инспектор. – Нам тут не надо прогульщиков и лентяев, маленьких ленивых обманщиков. Я сказал, за работу! Отец Долан каждый день будет к вам приходить. Отец Долан завтра придет!

Он ткнул линейкой в одного мальчика в боковом ряду.

– Вот ты! Когда отец Долан следующий раз придет?

– Завтра, сэр, – ответил голос Тома Ферлонга.

– Завтра, и завтра, и еще завтра, – сказал инспектор. – Зарубите это себе. Отец Долан – каждый день. А сейчас чтобы все писали. А ты, мальчик, что, как фамилия?

Сердце Стивена резко подпрыгнуло.

– Дедал, сэр.

– Ты почему не пишешь со всеми?

– Я... я свои...

Он не мог говорить от страха.

– Почему он не пишет, отец Арнолл?

– Он разбил очки, – сказал отец Арнолл, – и я его освободил от письма.

– Разбил? Это что такое я слышу? Как там твоя фамилия? – спросил инспектор.

– Дедал, сэр.

– Выйди сюда, Дедал. Ленивый обманщик. Я по лицу твоему обманщика вижу. Где это ты разбил очки?

Стивен, от страха почти вслепую, торопясь, спотыкаясь, вышел на середину класса.

– Так где это ты разбил очки? – повторил инспектор.

– На гаревой дорожке, сэр.

– Ага! Гаревая дорожка! – крикнул инспектор. – Знаю я этот трюк.

Стивен поднял от удивления глаза и на минуту увидел немолодое серо-белесое лицо отца Долана, лысый серо-белесый череп с пухом по бокам, стальную оправу очков и никакого цвета глаза, глядящие сквозь стекла. Почему он сказал, что он знает этот трюк?

– Ленивый прогульщик! – кричал инспектор. – Я очки разбил! Известный ваш трюк! Сию минуту руку сюда!

Стивен закрыл глаза и протянул в воздухе свою дрожащую руку, ладонью кверху. Он почувствовал, как инспектор взял ладонь и распрямил на ней пальцы, потом услышал шелест рукава сутаны, когда линейка взметнулась для удара. Режущий жалящий обжигающий раздирающий удар, с громким звуком, как будто переломили палку, заставил его дрожащую руку скрючиться как листок на огне, и с этим звуком, с этой болью на глаза его навернулись жгучие слезы. Все его тело сотрясалось от ужаса, рука тряслась, а скрючившаяся горящая багровая кисть трепыхалась в воздухе как оторванный листок. Его губы готовы были испустить вопль, мольбу, чтобы его отпустили. Но хотя слезы обжигали ему глаза, а все члены мелко дрожали от боли и от страха, он сдержал и жгучие слезы, и вопль, который обжигал горло.

– Другую руку! – крикнул инспектор.

Стивен опустил правую руку, покалеченную, дрожащую, и протянул левую. Снова прошелестел рукав сутаны, когда взметнулась линейка, и громкий трескучий звук, а за ним резкая жалящая раздирающая безумная боль заставила его ладонь вместе с

пальцами сжаться в один трясущийся багровый комок. Жгучая влага брызнула из его глаз и, сгорая от стыда, страдания, страха, он в ужасе отдернул свою дрожащую руку и застонал. Все тело пронизала судорога страха, и со стыдом, с отчаянием он почувствовал, как из горла у него вырвался обжигающий вопль, а из глаз по пылающим щекам текут обжигающие слезы.

– На колени! – крикнул классный инспектор.

Стивен поспешно стал на колени, прижимая к бокам своим избитые руки. Он представил эти руки, избитые, распухшие сразу же от боли, и его охватила жалость к ним, такая, словно это и не были его собственные руки, а были чьи-то еще. И, стоя на коленях, подавляя в горле последние рыдания и чувствуя прижавшуюся к бокам жалящую и режущую боль, он думал про те руки, что он протянул в воздухе ладонями вверх, про твердое прикосновение инспектора, распрямившее дрожащие пальцы, и про избитый, распухший и багровый комок из пальцев и ладони, жалко трепыхавшийся в воздухе.

– Все принимайтесь за работу! – уже из дверей крикнул инспектор. – Отец Долан каждый день будет проверять, не требуется ли тут порка какому-нибудь лентяю. Запомните – каждый день!

Дверь за ним затворилась.

Притихшие ученики продолжали переписывать упражнения. Отец Арнолл поднялся и начал ходить по классу, мягким голосом подбадривая учеников и помогая им исправлять ошибки. Голос у него был очень мягкий и ласковый. Потом он вернулся за свой стол и сказал Флемингу и Стивену:

– Вы оба можете сесть на свои места.

Флеминг и Стивен встали и, пройдя к своим местам, сели за парты. Стивен, весь красный от стыда, одной слабой рукой быстро открыл учебник и склонился над ним, уткнувшись низко в страницу.

Это было несправедливо и жестоко, потому что доктор не велел ему читать без очков и утром он уже написал домой папе, чтобы тот прислал бы другую пару. И отец Арнолл сказал ведь, что он может не заниматься, пока не пришлют новые очки. И потом, если тебя перед всем классом называли обманщиком и наказали, а ты до этого получал всегда место первого или второго и еще считался вождем Йорков! И как инспектор мог знать, что это трюк? Он ощутил пальцы инспектора, когда тот ему распрямлял ладонь, и сперва решил, что тот ему пожимает руку, потому что пальцы были мягкие и крепкие – но потом почти тут же услышал шелест рукава сутаны и – рраз! Потом несправедливо и жестоко было ставить его на колени посреди класса – а еще отец Арнолл им обоим сказал, что они могут сесть на свои места, как будто не было никакой разницы между ними. Он слышал тихий ласковый голос отца Арнолла, помогающего ученикам. Может быть, сейчас он жалеет и старается быть добрым. Только все равно это несправедливо и жестоко. Хотя инспектор – священник, а все равно это жестоко и несправедливо. И жестокими были его серо-белесое лицо и никакого цвета глаза за очками в стальной оправе, потому что для того он своими мягкими крепкими пальцами сперва расправил ему ладонь, чтобы удар вышел сильнее и громче.

– Это самая гадостная подлянка, вот это что, – сказал Флеминг, когда все классы тянулись шеренгой по коридору в столовую, – бить парня за то, в чем он не

виноват.

– Ты ж не нарочно разбил очки, правда? – спросил Крыса Роуч.

Стивен переживал слова Флеминга, которые вошли ему прямо в сердце, и не ответил.

– Ясное дело, не нарочно! – сказал Флеминг. – Я б этого не потерпел. Пошел бы и пожаловался на него ректору.

– Да, – с жаром подхватил Сесил Сандер, – а я еще видел, он линейку заносит выше плеча, так запрещается бить.

– Очень рукам-то больно? – спросил Крыса Роуч.

– Ужасно больно, – ответил Стивен.

– Я бы не потерпел, – повторил Флеминг, – ни от Плешивки и ни от какого другого Плешивки. Подлый гадостный трюк, вот это что. Я прямо бы после ужина пошел к ректору и все ему рассказал.

– Так и надо. Да, так и надо, – сказал Сесил Сандер.

– Так и надо. Иди и пожалуйся ректору, Дедал, – сказал Крыса Роуч, – а то ведь он сказал, что завтра опять придет тебя бить.

– Да, да, походи к ректору, – заговорили все.

Это всё слышали бывшие рядом второклассники, и один из них объявил:

– Сенат и римский народ решили, что Дедал был наказан незаслуженно.

Это было незаслуженно, и это было несправедливо, жестоко – и сидя в столовой, он то и дело в памяти снова переживал свое унижение, пока не начал наконец думать, что может быть в лице у него есть правда что-то такое, почему он выглядит как обманщик, и тут он пожалел, что нет маленького зеркальца, чтобы поглядеть и проверить. Но нет, такого не могло быть. Это было нечестно, жестоко, несправедливо.

Он не мог есть черноватые ломти рыбы, которые им давали по средам в Великий пост, а на одной из картофелин была отметина от лопаты. Да, он сделает, как сказали мальчики. Пойдет и скажет ректору, что его незаслуженно наказали. Так раньше уже поступил кто-то в истории, какой-то великий человек, его портрет есть в учебнике. И ректор объявит, что он был наказан незаслуженно, потому что сенат и римский народ всегда объявляли, что тот, кто так поступил, был наказан незаслуженно. Это были те великие люди, имена которых стояли в вопроснике Ричмэл Мэгнолл. История вся про таких людей и про их деяния, и про это же рассказы о Греции и Риме Питера Парли. Там на первой странице нарисован и сам Питер Парли. На картинке была дорога через пустынную равнину, по бокам дороги трава и кустики, и Питер Парли в широкополой шляпе, как у протестантского пастора, с большим посохом, спешил по ней в Грецию и в Рим.

Это же легко, то, что он должен сделать. Все, что надо, это когда ужин кончится и он со всеми будет в шеренге выходить – пойти не по коридору, а направо и вверх по лестнице, что ведет в замок. Ничего больше не надо: свернуть направо,

подняться быстро по лестнице – и уже через полминуты будешь в узком, низеньком темном коридорчике, что ведет через замок к комнате ректора. Все мальчики говорили, это несправедливо, даже тот второклассник, который сказал про сенат и римский народ.

Что сейчас будет? Он услышал, как старшеклассники в глубине столовой поднялись из-за стола, потом услышал, как они зашагали по ковровой дорожке: Падди Рэт, Джимми Маги, испанец, португалец, а пятым шел верзила Корриган, которого будет сечь мистер Глисон. Вот почему инспектор назвал его обманщиком и побил ни за что: и, напрягая близорукие заплаканные глаза, он смотрел на широкую спину и большую черную понурую голову верзилы Корригана, который шагал в шеренге. Но он же натворил что-то, и потом мистер Глисон его не будет сечь сильно. Он вспомнил, каким большущим Корриган ему показался в ванной. У него кожа была такого же торфяного цвета как болотистая вода на мелком конце бассейна, а когда он шел вдоль бассейна, то при каждом шаге его ступни громко шлепали по мокрой плитке, а бедра колыхались слегка, потому что он был толстый.

Столовая уже наполовину опустела, и мальчики продолжали шеренгой выходить. По лестнице-то пойти можно, там дальше за дверями никогда ни священников, ни надзирателей. Только он не сможет пойти. Ректор станет на сторону инспектора, решит, что это был его трюк, и тогда инспектор все равно будет приходить каждый день, только станет еще хуже, потому что он жутко обозлится на того, кто на него ходил жаловаться ректору. Мальчики ему сказали, чтобы он шел, а сами-то бы они не пошли. Они уже забыли про все. Нет, самое лучшее это про все забыть, а инспектор, может быть, только так сказал, что придет. Нет, самое лучшее это просто не попадаться на глаза, потому что когда ты маленький и младше других, то часто так и можно отделаться.

Его стол поднялся. Он тоже поднялся и зашагал со всеми в шеренге. Надо решать. Уже совсем близко дверь. Если он пойдет с мальчиками, то уже никак не попадет к ректору, потому что с площадки не удастся уйти. А если он пойдет, а потом все равно его накажут, все мальчики его засмеют и будут рассказывать, как малыш Дедал ходил к ректору жаловаться на классного инспектора.

Он ступал по ковровой дорожке, глядя на дверь перед собой. Это же невозможно, он не сможет. Он вспомнил плешивую голову инспектора, его жестокие никакогоцвета глаза, глядящие на него, и услышал инспекторский голос, который дважды спросил, как его фамилия. Почему он с первого раза не запомнил фамилию? Не расслышал или же хотел понасмехаться над ней? У великих людей в истории бывали похожие фамилии и никто над ними не насмехался. Если он хотел насмехаться, так лучше бы насмехался над своей собственной фамилией. Долан: фамилия для какой-нибудь прачки.

Он подошел к двери и, повернув быстро направо, поднялся по лестнице; прежде чем ум его мог приказать ему вернуться обратно, он уже был в узком низеньком темном коридорчике, ведущем в замок. И когда перешагивал порог в коридор, то, не поворачивая головы, видел, как все мальчики, проходящие в шеренге, глядят ему вслед.

Он шел по узкому темному коридору, минуя маленькие двери, за которыми были кельи общины. Он вглядывался в полумраке вперед и по сторонам, помня, что тут должны быть портреты. Кругом было темно и безмолвно, и своими близорукими заплаканными глазами он ничего не мог видеть. Но он помнил, что тут были портреты святых и великих деятелей ордена, и думал, что сейчас они смотрят безмолвно на него:



святой Игнатий Лойола держит раскрытую книгу и указывает перстом на слова Ad Majorem Dei Gloriam[85 - К вящей славе Божией (лат.) – девиз иезуитского ордена.], святой Франциск Ксаверий указывает на свою грудь, Лоренцо Риччи в берете на голове, как у одного из старост классов, и три святых покровителя отроков, святой Станислав Костка, святой Алоизий Гонзага и блаженный Иоанн Берхманс, все с молодыми лицами, потому что они умерли молодыми, и отец Питер Кенни в креслах, закутанный в широкий плащ.

Он вышел на площадку над вестибюлем и огляделся кругом. Это здесь проходил Гамильтон Роуэн, и здесь остались следы от солдатских пуль. И здесь старые слуги видели призрак маршала в белом одеянии.

Один старый слуга в конце площадки подметал пол. Он спросил у него, где комната ректора, и тот показал ему дверь в противоположном конце и смотрел вслед ему, пока он подходил к двери и стучал.

Никто не ответил на стук. Он постучал погромче, и сердце его подпрыгнуло, когда послышался приглушенный голос:

– Войдите!

Повернув ручку, он открыл дверь и закопошился в поисках ручки внутренней двери, обитой зеленой бязью. Найдя ее, он толкнул дверь и вошел.

Перед ним был ректор, он сидел за письменным столом и писал. На столе лежал череп, и в комнате был какой-то странный и торжественный запах, как от старых кожаных кресел.

Сердце у него сильно билось от того, что он был в таком торжественном месте, и от царившей в комнате тишины. Он глянул на череп; потом на приветливое лицо ректора.

– Ну что же, малыш, – сказал ректор, – что случилось?

Стивен сглотнул комок в горле и сказал:

– Я разбил очки, сэр.

Ректор открыл рот и произнес:

– О!

Потом он улыбнулся и сказал:

– Что же, раз мы разбили очки, нам придется попросить новые из дома.

– Я написал домой, сэр, – сказал Стивен, – и отец Арнолл мне сказал, я не должен заниматься, пока новые не пришлют.

– Совершенно правильно! – сказал ректор.

Стивен снова сглотнул комок, стараясь удержать дрожь в голосе и в ногах.

– Но, сэр...

– Но что же?

– Отец Долан пришел сегодня и побил меня линейкой за то, что я не писал упражнения.

Ректор молча посмотрел на него, и он почувствовал, как к лицу его прилила кровь, а к глазам подступили слезы.

Ректор сказал:

– Твоя фамилия Дедал, верно?

– Да, сэр.

– И как это ты разбил очки?

– На гаревой дорожке, сэр. Один мальчик выезжал из велосипедного гаража, я упал, и они разбились. Я не знаю, как этого мальчика зовут.

Ректор опять молча посмотрел на него, а потом улыбнулся и сказал:

– Ну, значит вышло недоразумение, я уверен, что отец Долан просто не знал.

– Но я ему сказал, что они разбились, а он наказал меня.

– А ты сказал ему, что ты написал домой про новую пару? – спросил ректор.

– Нет, сэр.

– Ну, тогда ясно, – сказал ректор. – Отец Долан просто не понял. Ты можешь сказать, что я сам освободил тебя от занятий на ближайшие дни.

Стивен добавил быстро, боясь, что дрожь вот-вот не даст ему говорить:

– Да, сэр, но отец Долан сказал, он придет завтра и меня снова побьет.

– Понятно, – сказал ректор, – это недоразумение, и я сам поговорю с отцом Доланом. Как, хватит этого?

Стивен, ощущая, как слезы выступили на глазах, прошептал:

– О да, спасибо, сэр.

Ректор протянул ему руку через стол, с той стороны, где был череп, и Стивен, вложив на секунду свою руку в его, почувствовал влажную и прохладную ладонь.

– На этом до свидания, – произнес ректор, отнимая руку и кивая ему.

– До свидания, сэр, – ответил Стивен.

Он поклонился и тихо вышел из комнаты, медленно и старательно закрывая за собой двери.

Но, когда он миновал старого слугу на площадке и был снова в узком низеньком темном коридоре, шаг его делался все быстрее. Быстрее и быстрее, спешил он сквозь полумрак в возбуждении. В торце он стукнулся о дверь локтем, сбежал вниз по лестнице, промахнул живо через два коридора и – вдохнул вольный воздух.

С площадок доносились крики играющих. Он пустился бежать, все ускоряя и ускоряя свой бег, пересек гаревую дорожку и, уже задыхаясь, достиг площадки своего класса.

Мальчики видели, как он бежал. Они обступили его кольцом, отталкивая друг друга, чтобы лучше слышать.

– Рассказывай! Рассказывай!

– Что он сказал?

– Ты так и вошел к нему?

– Что он сказал?

– Рассказывай! Рассказывай!

Он рассказал им, что он говорил и что сказал ректор, и когда он рассказал все, то они все как один запустили свои фуражки в небо и завопили:

– Урра!

Поймав фуражки, они снова их запустили высоко-высоко, так чтоб они крутились, и снова завопили:

– Урра! Урра!

Потом они сделали сиденье, сплели руки, усадили его туда и таскали до тех пор, пока он не стал вырываться на свободу. А когда он от них вырвался и убежал, они сами разбежались во все стороны, опять швыряя в воздух фуражки, так чтоб крутились, и свистя, и вопя:

– Урра!

А потом они издали тройной хрюк в честь Плешивки Долана и тройное ура в честь Конми и провозгласили его самым лучшим ректором в Клонгоузе за все времена.

Крики мальчиков замерли в сером пасмурном небе. Он был один. Он был свободен и счастлив – но он бы все равно не стал задаваться перед отцом Доланом. Он был бы самым спокойным и послушным; и ему захотелось, чтобы он мог сделать ему что-то хорошее и показать этим, что он вовсе не задается.

Воздух был мягким, пасмурным, серым, близился вечер. Вечерний запах носился в воздухе – запах деревенских полей, на которых они с мальчиками выкапывали репу, очищали тут же и ели, когда шли на прогулку к усадьбе майора Бартонна, и запах, шедший из рощицы за беседкой, где росли чернильные орешки.

Мальчики упражнялись в разных видах бросков. В мягком сером безмолвии до него доносился глухой стук: и то с одной, то с другой стороны в тихом воздухе

слышались удары крикетных бит: пик-пок-пак-пек – словно в фонтане капли воды, мягко падающие в раковину, полную до краев.

## Глава II

Дядя Чарльз смолил этакое злое зелье, что племянник в конце концов предложил ему наслаждаться утренней трубочкой на задах сада, в небольшом сарайчике.

– Отлично, Саймон. Все чудесно, Саймон, – отвечал безмятежно старый джентльмен. – Где скажешь. Сарайчик прекрасно мне подойдет – это полезнее для здоровья.

– Черт побери, я просто не понимаю, – откровенно выразился мистер Дедал, – как вы курите этот премерзостный табачище. Клянусь, он у вас крепче пороха!

– Прекрасная вещь, Саймон, – не согласился старый джентльмен. – Очень смягчит и освежает.

Итак, каждое утро дядя Чарльз направлялся в свой сарайчик, перед этим никогда не забыв тщательно смазать и расчесать волосы на затылке и водрузить на голову вычищенный цилиндр. Все время его курения можно было наблюдать поля его цилиндра и головку его трубки, выдающиеся из-за косяка двери сарайчика. Его беседка – так он именовал затхлый сарайчик, который делили с ним кошка и садовый инструмент, – служила ему также в качестве звуковой студии: ежеутренне он там негромко напевал в свое удовольствие какую-нибудь из своих любимых песен: «Устрой мне мирную обитель», или «Голубые очи, кудри золотые», или же «Рожи Бларни» – а серые и голубые кольца дыма из его трубки меж тем медленно поднимались и таяли в ясном воздухе.

Всю первую половину лета в Блэкроке дядя Чарльз был неизменным спутником Стивена. То был крепкий старый джентльмен с темным загаром, резкими чертами лица и белыми баками. По будням его миссией было передавать заказы из дома на Кэрисфорт-авеню в те лавки на главной улице городка, из которых снабжалось семейство. Стивен любил с ним быть в этих странствиях, потому что дядя Чарльз в любой лавке широко угощал его всем тем, что только бывало выставлено в открытых ящиках или бочках. Ухватив кисть винограда вместе с опилками или штуки три яблок, он щедро вручал их внучатому племяннику, меж тем как хозяин кисло улыбался; а когда Стивен делал вид, что не хочет брать, он хмурился грозно и командовал:

– Немедленно взять, сэ, вы меня слышите? Это полезно для вашего желудка.

Когда все заказы по списку бывали сделаны, двое направлялись в парк, где на скамейке обретался уже поджидающий их Майк Флинн, старый приятель отца Стивена. Начиналась пробежка Стивена вокруг парка. Майк Флинн с часами в руке становился у того выхода, что к станции, и Стивен должен был пробегать круг по всем правилам, как он требовал: с поднятой головой, высоко поднимая колени и руки держа плотно прижатыми к бокам. Когда утренняя тренировка заканчивалась, тренер делал ему замечания и иногда показывал, комично шаркая пару ярдов в старых синих парусиновых туфлях. Вокруг собиралась кучка изумленно глазеющих детей и нянек, которые не расходились даже тогда, когда он уже снова усаживался на скамейку, и они с дядей Чарльзом начинали рассуждать о спорте и о политике. Хотя папа и

говорил, что из рук Майка Флинна вышли лучшие современные бегуны, Стивен не раз бросал недоверчивый взгляд на дряблое и в щетине лицо своего тренера, склонившееся над длинными пальцами в желтых пятнах, которые свертывали самокрутку, и с жалостью смотрел на кроткие выцветшие голубые глаза, которые вдруг, отвлекшись беспричинно от дела, рассеянно устремлялись в голубую даль, меж тем как пальцы, длинные и распухшие, бросали работу и табачные волокна и крошки сыпались обратно в кисет.

На обратном пути домой дядя Чарльз нередко заходил в церковь, и так как Стивен не доставал до чаши, то он, окунув руку, резкими движениями кропил одежду Стивена и пол паперти. Молясь, он становился на колени, подстелив красный носовой платок, и громким шепотом читал по замусоленному до черноты молитвеннику, в котором под каждой страницей напечатаны были ключевые слова. Стивен не разделял его набожности, но из уважения к ней тоже вставал на колени рядом. Он часто раздумывал, о чем же с таким усердием молится дядя Чарльз. Может быть, за души в чистилище или за дарование блаженной кончины, а может, за то, чтобы Бог ему возвратил хотя бы частичку из тех богатств, которые он растратил в Корке.

По воскресеньям, как закон, Стивен с отцом и двоюродным дедом предпринимали прогулку. Старик был резвый ходок, несмотря на свои мозоли, и нередко они выхаживали десять-двенадцать миль. У маленькой деревушки Стиллорган происходил выбор маршрута. Они либо сворачивали налево в сторону Дублинских гор, либо шли на Готстаун, а потом в Дандрам, и через Сэндифорд возвращались домой. Шагая по дороге или делая передышку в грязном трактирчике, старшие без конца вели разговоры на свои любимые темы, об ирландской политике, о Манстере и о семейных преданиях. Стивен жадно прислушивался ко всему. Непонятные слова он множество раз повторял про себя и так заучивал наизусть – и они приоткрывали ему настоящий мир, который его окружал. Ему казалось, близится уже час, когда он тоже вступит участником в жизнь этого мира, и втайне он начинал готовиться к великому жребию, который был назначен ему: он чувствовал так, но еще смутно представлял суть этого жребия.

Вечерами, когда он был предоставлен себе, он погружался в потрепанный перевод «Графа Монте-Кристо». В образе этого мрачного мстителя для него воплощалось все непонятное и страшное, о чем он слышал или догадывался в детстве. На столе в гостиной он строил дивную пещеру на острове, пуская в дело переводные картинки, бумажные цветы, бумажные разноцветные салфетки, кусочки золотой и серебряной фольги от шоколада. Когда эта мишура ему надоела и он разрушил сооружение, его ум стали посещать яркие видения Марселя, садовой ограды, залитой солнцем, и Мерседес. За Блэкроком, на дороге, ведущей в горы, стоял небольшой белый домик, окруженный садом, где росло множество роз. В этом домике – так он говорил себе – жила другая Мерседес. Шел ли он из дома или возвращался домой, он всегда отсчитывал расстояние от этой точки. В мечтах он переживал цепь многих приключений, таких же чудесных как в романе, и к концу в его воображении всегда являлся он сам, ставший старше, ставший печальней; он стоял с Мерседес в саду, озаренном луной, с Мерседес, которая много лет назад презрела его любовь – и с гордым, печальным жестом отказа он говорил:

– Мадам, я не ем мускатного винограда.

Он нашел себе приятеля, мальчугана по имени Обри Миллс, и они вместе сколотили на своей улице компанию искателей приключений. Обри ходил со свистком, который у него болтался в петлице, и с велосипедным фонарем, прилаженным к поясу; у

остальных за пояс были заткнуты короткие палки наподобие кинжалов. Стивен, прочитав где-то, как просто одевался Наполеон, решил ничем не украшать своего наряда, и от этого ему еще больше нравилось держать военный совет со своим подручным, прежде чем дать приказ. Компания делала набеги на сады старых дев или, спустившись к замку, устраивала сражение на скалах, покрытых космами водорослей; а вечером они плелись по домам как усталые бродяги, пропитавшись гнилыми запахами береговой полосы, неся в волосах и на руках следы маслянистой слизи от водорослей.

У Обри и Стивена был один и тот же молочник, и они часто ездили с ним на его фургоне в Каррикмайнс, где выпасали коров. Покуда шла дойка, мальчуганы по очереди катались вокруг пастбища на смирной кобыле. Однако с началом осени коров забрали с пастбища, и первое же зрелище вонючего скотного двора в Стрэдбруке, с мерзкими зелеными лужами, кучами жидкого навоза, испарениями от кормушек с отрубями, вызвало у Стивена тошноту. Животные, которые на воле в солнечный день казались такими красивыми, стали для него отвратительны, и он не мог даже смотреть на их молоко.

С началом сентября его в этом году не тревожили, потому что он не возвращался в Клонгоуз. Тренировки в парке прекратились, когда Майк Флинн лег в больницу. Обри ходил в школу и теперь мог гулять только час или два по вечерам. Компания распалась, больше не было ни вечерних набегов, ни сражений на скалах. Иногда Стивен ездил с молочником на его фургоне развозить вечерний удой; в этих поездках по зябкому холодку воспоминания о вонючем скотном дворе развеялись, и ему уже не было противно, когда на одежде молочника он замечал клочки сена или коровьей шерсти. Когда фургон останавливался у дома, он не упускал бросить взгляд в чистенькую кухню или мягко освещенную переднюю и посмотреть, как служанка держит кувшин, а потом затворяет дверь. Он думал о том, что если иметь теплые рукавицы и большой запас мятных пряников, то ездить по дорогам и развозить каждый вечер молоко – вполне приятное занятие в жизни. Но то же предведение, от которого во время пробежек в парке у него сжималось сердце, а ноги подкашивались внезапно, то же смутное чувство, что заставляло его недоверчиво смотреть на дряблое и в щетине лицо его тренера, тяжело свесившееся над длинными в пятнах пальцами, прогоняло все образы будущего. Он смутно понимал, что у отца какие-то неприятности, и именно из-за этого его самого не отправили обратно в Клонгоуз. С некоторых пор он замечал в доме небольшие перемены, и каждая из таких перемен, изменяя то, что, казалось ему, не может меняться, была небольшим ударом по его детскому представлению о мире. Честолюбивые стремления, что иногда, он чувствовал, загорались во мраке его души, не искали для себя выхода. Когда он слушал цоканье лошадиных копыт по трамвайной линии на Рок-роуд и громыханье огромной фляги у себя за спиной, сумерки, такие же как и в мире вокруг, обволакивали его ум.

Он снова вернулся к Мерседес, и ее образ, пребывая подолгу в его мыслях, будил у него странное беспокойство в крови. Порой его охватывала какая-то лихорадка, которая гнала его вечерами бродить в одиночестве по тихим улицам. Мирные сады, приветливый свет в окнах смягчали смятение и беспокойство. Шумно играющие дети раздражали его, и глупые крики их заставляли чувствовать, еще острее, чем в Клонгоузе, что он не такой, как они. Играть ему не хотелось. Ему хотелось встретить в реальном мире тот невещественный образ, который так постоянно представлялся ему в душе. Он не ведал ни как, ни где надо искать его – однако его вело предчувствие, которое говорило, что этот образ однажды предстанет перед ним без всяких его усилий. Они встретятся спокойно и просто, как будто уже знали друг друга и условились о встрече, быть может, вот у этих ворот или в

каком-нибудь более потайном месте. Они будут одни, окруженные молчанием и темнотой, – и в этот миг несказанной нежности с ним свершится преобразование. На ее глазах он растает в нечто неосязаемое – а затем вдруг, в один миг, он преобразится. И в этот волшебный миг вся его робость, слабость, неопытность спадет с него.

\* \* \*

Однажды утром у их дверей остановились два больших желтых фургона, и в дом протопали люди, чтобы опустошить его. Мебель таскали через палисадник, усеяв его соломой и обрывками веревок, и грузили в фургоны. Когда все было надежно увязано, фургоны с грохотом покатали по улице; и из окна железнодорожного вагона, где он сидел подле матери с красными глазами, Стивен видел, как они тяжело громят по Меррион-роуд.

В тот вечер камин в гостиной никак не разгорался, и мистер Дедал пристроил кочергу к прутьям решетки, чтобы пламя стало сильнее. Дядя Чарльз дремал в углу комнаты с остатками мебели и без ковра, и возле него были семейные портреты, прислоненные к стенке. Настольная лампа слабо освещала дощатый пол, затоптанный сапогами грузчиков. Стивен сидел рядом с отцом на скамеечке, слушая его бессвязную и бесконечную речь. Сперва он почти совсем ничего не понимал, но медленно до него стало доходить, что у отца есть враги и что предстоит какая-то борьба. Также до него дошло, что и его призывают на эту борьбу, на его плечи ложится какой-то долг. Внезапный обрыв мечтательной и удобной жизни в Блэкроке, переезд через унылый город в тумане, мысли о голом и мрачном помещении, в котором им теперь жить, давили грузом на его сердце: и вновь его посетило некое предведение или предчувствие будущего. Он понял и то, почему теперь служанки часто между собой перешептывались в передней и почему теперь часто отец, стоя на коврике у камина спиной к огню, громким голосом что-то толковал дяде Чарльзу, а тот его уговаривал успокоиться и поужинать.

– Еще осталась во мне щепоть пороху, Стивен-старина, – говорил мистер Дедал, шуруя яростно кочергой в полупотухшем камине. – Мы еще не отдали концы, сынишка. Нет уж, черт побери (да простит мне Бог), мы их и не думаем отдавать.

Дублин был новым и сложным впечатлением. Дядя Чарльз стал плохо соображать, его нельзя уже было посылать с поручениями, и в путанице хлопот по устройству на новом месте у Стивена оказалось больше свободы, чем в Блэкроке. Вначале он удовлетворялся тем, что робко бродил по соседней площади или, набравшись храбрости, доходил до середины какого-нибудь переулка; но потом, составив постепенно в уме схему города, он отважно пускался по одной из центральных улиц, достигая таможи. Без всяких помех он разгуливал в доках и по набережным, дивясь на целые стада поплавок, качающихся среди густой грязно-желтой пены, на толпы портовых грузчиков, громяющие подводы и неряшливо одетого бородатого полисмена. Тюки товаров, сложенные вдоль стен или вышвыриваемые из пароходных трюмов, говорили ему о необозримости и странности жизни, и это снова будило в нем то самое беспокойство, что раньше заставляло его вечерами бродить от одного сада к другому в поисках Мерседес. Среди царившего оживления он мог бы вообразить себя в каком-то другом Марселе, но все же для этого недоставало яркого неба и винных погребков с нагретым от солнца решетками окон. Когда он смотрел на набережные, на реку и на низко нависшее небо, в нем поднималась смутная неудовлетворенность, но он продолжал и продолжал свои блуждания по городу, как будто и впрямь искал кого-то, кто ускользал от него.

Раза два он ходил с матерью в гости к родственникам – и хотя они проходили веселыми яркими рядами лавок, расцвеченных и разукрашенных к Рождеству, его не покидало состояние замкнутости и горечи. Причин горечи было много, они находились и далеко и совсем рядом. Он досадовал на себя, что еще так мал, что поддается глупым неумным порывам, досадовал на изменчивость судьбы, из-за которой мир, где он жил, превращался в зрелище нищеты и фальши. Однако его досада не искажала этого зрелища. Он прилежно отмечал все, что видел, отделяя себя от этого и тайком опробуя его мертвящий вкус.

Он сидел на табуретке в кухне у своей тетушки. Разложив на коленях вечернюю газету, тетушка читала ее при свете лампы с рефлектором, висящей на покрытой лаком стене над камином. Остановив долгий взгляд на улыбающемся изображении, она сказала задумчиво:

– Красавица Мейбл Хантер!

Девочка с кудряшками привстала на цыпочки и, поглядев на изображение, спросила кротко:

– Мамочка, а это она в какой пьесе?

– Это в пантомиме, миленькая.

Головка с кудряшками прильнула к материнской руке, и, не отрывая глаз от картинки, девочка словно замороженная прошептала:

– Красавица Мейбл Хантер!

Словно замороженные, ее глаза не могли оторваться от лукаво улыбающихся глаз той, и она в восхищении шептала:

– Какая же она прелесть.

Мальчик, который вошел с улицы, неуклюже ступая с ношей угля, услышал эти слова. Проворно опустив свой груз на пол, он подбежал тоже посмотреть. Она, однако, не подвинула свою безмятежную головку, чтобы он мог увидеть. Пытаясь отодвинуть ее, жалуясь, что ему не видно, мальчик тянет и мнет газету покрасневшими и вычерченными руками.

Он сидит в узкой столовой на верхнем этаже старого темнооконного дома. На стене пляшут отблески огня, за окном над рекой опускаются призрачные сумерки. Старушка у камина готовит чай и, занятая своим делом, тихо рассказывает, что сказал доктор и что священник. Еще она говорит, какие в последнее время она заметила изменения у нее, какие странности в разговоре и в поведении. Он выслушивает слова, а мыслями он на тех тропах приключений, что открываются в углях очага, там арки и своды, извилистые галереи, изрезанные пещеры.

Внезапно он чувствует какое-то движение в тамбуре. Возникает череп, зависший в сумраке тамбура. Там хрупкое существо, похожее на обезьяну, которое привлекли звуки голосов. Жалобный голос от двери спрашивает:

– Это Жозефина?



Старушка, хлопчущая у камина, весело откликается:

– Да нет, Элин, это Стивен.

– А... Добрый вечер, Стивен.

Он отвечает на приветствие и видит, как по лицу в тамбуре разливается бессмысленная улыбка.

– Тебе что-нибудь нужно, Элин? – спрашивает старушка.

Но та, вместо ответа на вопрос, говорит:

– А я думала, это Жозефина. Я думала, что ты это Жозефина, Стивен.

И, повторив это несколько раз, она раздражается хрупким смехом.

Он сидит на детском празднике в Хэролдс-Кросс. Как с ним бывает, он насторожен и молчалив, почти не участвует в общих играх. Детишки достали бумажные шляпы из своих хлопушек, надели их, шумно пляшут и прыгают, и хотя он старается разделять их веселье, но все равно чувствует себя унылой фигурой среди ярких треуголок и капоров.

Однако потом он спел свою песенку, уселся в уютном уголку и начал находить радость в своем одиночестве. Окружающее веселье, которое сначала казалось ему ненастоящим и глупым, действует словно мягкий ветерок, который, весело пробегая по его чувствам, скрывает от глаз других лихорадочное волнение в крови, когда сквозь хороводы танцующих, звуки смеха и музыки, в его уголок направляется ее взгляд, ласковый и пылливый, дразнящий и волнующий сердце.

Праздник окончен: в передней одеваются последние расходящиеся дети. Она накинула шаль, и, когда они вместе направляются к конке, пар от ее свежего теплого дыхания клубится весело над ее закутанной головой, а башмачки задорно пристукивают по замерзшей дороге.

Рейс был последний. Гнедые облезлые лошадки знали это и потряхивали бубенчиками, в ясную ночь посылая вразумленье о том. Кондуктор разговаривал с вожатым, и оба то и дело кивали головами в зеленом свете фонаря. На пустых сиденьях там и сям валялись цветные билетки. Никакие звуки шагов не доносились ни с той, ни с другой стороны дороги. Никакие звуки не нарушали тишины ночи, только облезлые гнедые лошадки терлись мордами друг о друга да потряхивали бубенчиками.

Они как будто прислушивались, он на верхней ступеньке, она на нижней. Пока они разговаривали, она много раз поднималась на его ступеньку и снова спускалась на свою, а раз или два стояла с минуту совсем рядом с ним, забыв сойти вниз, и сходила лишь погодя. Сердце его плясало в такт ее движениям как поплавок на волне прилива. Он слышал, о чем ему говорили из-под шали ее глаза, и знал, что то ли в жизни, то ли в мечтах, в каком-то туманном прошлом, он слышал уже их повесть. Он видел, как она задается перед ним, красуясь своим платьем, нарядным пояском, длинными черными чулками, и знал, что уже тысячу раз он поддавался их власти. И все-таки, заглушая стук прыгающего сердца, какой-то голос в нем спрашивал, примет ли он ее дар, за которым стоило только протянуть руку. И ему вспомнилось, как однажды они с Эйлин стояли, глядя, что делается во дворе гостиницы. Они смотрели, как служители поднимают на флагштоке гирлянду флажков,

а по лужайке носится взад-вперед фокстерьер, и она вдруг расхохоталась и стремглав побежала вниз по виляющей дорожке. Как и тогда, он стоял сейчас неподвижно и безучастно: с виду спокойный зритель происходящей перед ним сцены.

– Ей тоже хочется, чтобы я ловил ее, – думал он. – Поэтому она и пошла на конку со мной. И мне ничего не стоит ее поймать, она же сама становится на мою ступеньку, и никто не смотрит. Могу поймать ее и поцеловать.

Но ничего этого он не сделал – а потом, когда сидел одиноко в пустом вагоне, разорвал свой билетик на клочки и принялся мрачно разглядывать желобки в полу.

На следующий день он просидел несколько часов за своим столом в пустой комнате наверху. На столе разложены были новая ручка, новый пузырек чернил и чистая изумрудного цвета тетрадь. На первой странице он по привычке написал сверху начальные буквы девиза иезуитов: A.M.D.G. На первой линейке возникло заглавие стихотворения, которое он хотел сочинить: «КЭК». Он знал, что так должно начинаться, потому что такие заглавия он видел в собрании стихотворений лорда Байрона. Написав заглавие и обведя его красивой чертой, он отвлекся и размечтался, чертя какие-то линии на обложке тетради. Он увидел себя сидящим за своим столом в Брэе наутро после того спора за рождественским столом: он сочинял стихотворение в честь Парнелла на обороте отцовских налоговых извещений. Но тема не поддавалась его усилиям, и, бросив свои попытки, он заполнил листок фамилиями и адресами одноклассников:

Родрик Кикем

Джон Лотен

Энтони Максуйни

Саймон Мунен

Казалось, сейчас его вновь ждала неудача, но, когда он принялся размышлять о событии, к нему пришла уверенность. В этих размышлениях уходило со сцены и исчезало все, что ему представлялось обыденным, незначительным. Не осталось ни следа, ни конки, ни кондуктора с кучером, ни лошадей – даже он и она не появлялись во плоти. Стихи говорили только о ночи, о мягком дыхании ветерка и девственном сиянии луны. Какая-то невыразимая грусть таилась в сердцах героев, стоящих безмолвно под облетевшими деревьями, и когда наступил прощальный миг, поцелуй, к которому тогда лишь стремился один из них, соединил уста обоих. После чего внизу страницы были поставлены буквы L.D.S.[86 - Laus Deo Semper – Вечно Богу Хвалит (лат.), формула, ставившаяся в конце сочинений в иезуитских школах.] – и, спрятав тетрадь, он направился в спальню матери, где долго рассматривал свое лицо в зеркале на туалетном столике.

Но долгий период его свободы и праздности близился к концу. В один прекрасный вечер, когда отец вернулся домой, его просто распирало от новостей, и он изливал их словообильно все время ужина. На ужин было в тот день баранье рагу, и Стивен поджидал отца, зная, что тот даст ему помакать хлеб в подливку. Но рагу не доставило ему удовольствия, потому что при упоминании Клонгоуза у него сразу возник во рту мерзкий привкус.

– Я на него налетел буквально, – в четвертый раз повествовал мистер Дедал, – на площади, на самом углу.

– Раз так, я думаю, он сможет это устроить, – сказала миссис Дедал. – Я говорю насчет Бельведера.

– Еще бы он не смог, – заверил мистер Дедал, – я же сказал тебе, он теперь провинциал ордена.

– Отдавать к братьям-христианам, мне это всегда было не по душе, – сказала миссис Дедал.

– К дьяволу братьев-христиан! – заявил мистер Дедал. – Учиться с Микки Вшиви да Падди Гадди? Нет уж, раз начал у иезуитов, так пусть и держится у них, с Божьей помощью. Потом это еще так ему пригодится! Эти господа могут вам обеспечить положение.

– И это ведь очень богатый орден, правда, Саймон?

– Уж как-нибудь! Живут широко, можешь мне поверить. Вспомни их стол в Клонгоузе. Дай Бог, откормлены как бойцовые петухи.

Мистер Дедал передвинул свою тарелку к Стивену, кивнув, чтобы тот закончил бы ее содержимое.

– А тебе, Стивен, – произнес он, – пора засучивать рукава, старина. Нагулялся, хватит.

– О, я уверена, он сейчас возьмется как следует, – сказала миссис Дедал, – тем более и Морис с ним будет.

– Фу ты, я про Мориса-то и забыл! – воскликнул мистер Дедал. – Эй, Морис! Поди-ка сюда, тупая башка! Знай, что я тебя скоро пошлю в школу, и тебя там научат складывать К-О-Т, кот. И еще куплю тебе хорошенький носовой платочек за пенни, будешь нос вытирать. Как здорово, правда?

Морис, ухмыляясь, поглядел на отца, потом на брата. Мистер Дедал ввинтил в глаз монокль и строго, пристально посмотрел на обоих сыновей. Стивен продолжал жевать хлеб, не поднимая своего взгляда.

– Да, кстати, – после паузы проговорил мистер Дедал, – ректор или точнее провинциал рассказал мне, что там у тебя вышло с отцом Доланом. Ты, он сказал, плут бесстыжий.

– Ну что ты, Саймон, он не сказал так!

– Нет, конечно! – отозвался мистер Дедал. – Но он мне дал полнейший отчет. Сидим мы с ним, понимаете, болтаем, слово за слово... Да, он мне и еще одно сказал, кому, ты думаешь, отдадут это место в администрации? Хотя про это я лучше потом тебе... Так, стало быть, болтаем накоротке, и тут он спрашивает меня, как наш приятель, носит еще очки? и выкладывает мне всю историю.

– А он не рассердился, Саймон?

– Рассердился! Да нет, конечно! Мужественный малыш! вот он что сказал.

Мистер Дедал изобразил умильно гнусающий голос отца провинциала.

– Мы с отцом Доланом – когда я всем это рассказал за ужином – мы с отцом Доланом вдоволь посмеялись. Берегитесь, отец Долан, я говорю, а то малыш Дедал вам живо пропишет девять и девять. Ну мы с ним и хохотали над этим! Ха-ха-ха!

Повернувшись к жене, уже обычным своим голосом мистер Дедал заметил:

– Можешь видеть, в каком духе они воспитывают парней. Врожденные дипломаты!

Он повторил, снова изображая голос провинциала:

– Я всем это рассказал за ужином, и отец Долан, я, все мы вместе над этим от души посмеялись. Ха-ха-ха!

\* \* \*

Подходил час вечернего спектакля на Троичной неделе, и Стивен поглядывал из окна гардеробной на маленькую лужайку, над которой протягивались гирлянды фонариков. Он смотрел, как пришедшие зрители спускаются из главного корпуса по ступенькам и переходят в театр. Распорядители во фраках, из бельведерских выпускников, стояли кучками наготове у входа в театр, встречая церемонно гостей. Один фонарик вдруг ярко вспыхнул, и при его свете Стивен узнал улыбающееся лицо священника.

Святые Дары были убраны из дарохранительницы, а передние скамьи отодвинуты назад, так чтобы алтарное возвышение и пространство перед ним остались свободны. У стен выстроились ряды булав и гантелей, в один угол свалили штанги, а посреди массы холмиков из фуфак, маек, гимнастических туфель, торчащих небрежно из бумажных пакетов, стоял коренастый, кожей обшитый конь, дожидавшийся, когда его вынесут на сцену. Большой бронзовый щит с украшениями из серебра, прислоненный к алтарю, тоже ждал своего часа, когда в конце гимнастических состязаний его вынесут на сцену и вокруг него расположится выигравшая команда.

Стивен, хоть он и был выбран старостой на занятиях по гимнастике за свою славу лучшего писателя сочинений, не участвовал в первом отделении программы, зато в спектакле, что служил вторым отделением, он играл главную роль – карикатурную роль учителя. Эту роль ему дали за его фигуру и за серьезный вид; он учился в Бельведере уже почти два года и заканчивал предпоследний класс.

Стайка младших учеников в белой спортивной форме, топоча, сбежала со сцены, через ризницу направляясь в часовню. И в часовне и в ризнице оживленно толпились наставники и ученики. Полный и лысый унтер пробовал ногой трамплин у коня. Худощавый юноша в длинном пальто, подготовивший особый номер с головоломным жонглированием, с интересом следил; из его глубоких карманов торчали посеребренные булавы. Еще одна команда готовилась к выходу, слышался звонкий щелк деревянных палиц, и через минуту волнующийся наставник погнал мальчиков через ризницу, как стадо гусей; нервно взмахивая крыльями своей сутаны, он окриками подгонял отстающих. В глубине часовни маленькая компания неаполитанских крестьян репетировала танец, одни кольцом сводили руки над головой, другие покачивали корзиночками бумажных фиалок и приседали, раскланиваясь. В темном

углу с евангельской стороны алтаря на коленях стояла тучная пожилая дама, утопающая в целом ворохе пышных черных юбок. Когда она поднялась с колен, за ней обнаружилась фигурка в розовом платье, в парике с золотыми локонами и соломенной шляпке старинного фасона; брови у фигурки были подведены черным, а щечки искусно подрумянены и напудрены. Явление девочки вызвало волну шепота по всей часовне. Один из наставников, улыбаясь, кивая головой, направился в темный угол и, отвесив тучной даме поклон, шутливо спросил:

– И что же это тут у вас, миссис Таллон, юная прекрасная леди или кукла?

Затем, нагнувшись и разглядывая раскрашенное улыбающееся личико под шляпкой, он воскликнул:

– Не может быть! Клянусь вам, это же, оказывается, малыш Берти Таллон!

Со своей позиции у окна Стивен слышал, как старая дама и священник вместе рассмеялись, и слышал за своей спиной восхищенный шепот учеников, пробиравшихся взглянуть поближе на мальчика, которому предстояло исполнить сольный танец со шляпкой. Жест нетерпения вырвался у него; он отпустил край оконной шторы, сошел на пол со скамьи, на которой стоял, и покинул быстро часовню.

Пройдя через здание колледжа, он остановился снаружи под навесом. Сбоку простирался сад, а из театра, стоявшего напротив, доходил приглушенный шум публики и резкие всплески меди военного оркестра. Сквозь стеклянную крышу свет поднимался ввысь, и театр казался праздничным ковчегом, ставшим на якорь среди домов – барж, причаленным за хрупкие цепи фонариков. Боковая дверь в нем вдруг распахнулась, и поперек лужайки упал сноп света. И так же вдруг в ковчеге грянул взрыв музыки, первые такты вальса. Когда дверь закрылась опять, ритм танца продолжал, хотя и слабее, достигать слушателя. Эмоция этих начальных тактов, их истома, их плавное движение усилили то неизъяснимое чувство, которое весь день волновало его, а минуту назад вызвало нетерпеливый жест. Волнение изливалось из него словно волна звука – и на гребне льющейся музыки плыл ковчег, увлекая за собой цепи фонариков. Но вдруг будто залп крохотной артиллерии оборвал движение. То были аплодисменты: приветствовали появление на сцене спортивной команды.

С другого конца навеса, ближе к улице, во тьме возникла точка розоватого света и, продвигаясь к ней, он почуял слабый душистый запах. Двое мальчиков стояли и курили в укрытии тамбура, и по голосу он еще издали узнал Цапленда.

– Благородный Дедал грядет! – воскликнул высокий гортанный голос. – Приветствуем достойного друга!

Приветствие заключил негромкий смешок, лишенный веселья, и после этой церемонии Цапленд принялся ковырять землю росточкой.

– Да, вот и я, – произнес Стивен, останавливаясь и переводя взгляд с Цапленда на его товарища.

Тот был ему незнаком, но тлеющие кончики сигарет дали в потемках разглядеть бледное фатоватое лицо, по которому бродила ленивая улыбка, и рослую фигуру в котелке и пальто. Цапленд не дал себе труда их представить, сказав вместо этого:

– А я как раз говорю своему другу Уоллису, какая всех ждет потеха, если ты вдруг решишь в этой роли учителя поизображать нашего ректора. Это бы вышла классная

шутка.

Тут Цаплинд явно неудачно попробовал изобразить для Уоллиса занудный бас ректора и, сам засмеявшись над провалом попытки, попросил Стивена:

– Давай, Дедал, ты же классно его изображаешь. И тот-кто тва-рит не-па-слуша-ние це-е-еркви ды-ы будет он тебе а-акии зычник и мытырь! [87 - Ср. Мф. 18: 17.]

Копирование прервалось возгласом легкого раздражения Уоллиса, чья сигарета оказалась зажата в мундштуке.

– Провались он, этот треклятый мундштук, – ворчал юноша, вынув его изо рта и обозревая со снисходительным гневом. – Вечно в нем вот так заедает. А вы с мундштуком курите?

– Я не курю, – отвечал Стивен.

– Он не курит, – повторил Цаплинд. – Дедал – примерный молодой человек. Не курит, не ходит по благотворительным базарам, не ухаживает за девушками, не делает ни этого, ни того и вообще ничего.

Стивен с улыбкой покачал головой, глядя в подвижное, легко вспыхивающее лицо соперника, украшенное птичьим клювом. Он часто удивлялся тому, что Винсент Цаплинд при птичьей фамилии имел и птичью физиономию. Надо лбом у него, словно взьерошенный хохолок, торчал вихор бесцветных волос, сам лоб был узким, костистым, и между выпуклыми, близко посаженными глазами, светлыми и невыразительными, выдавался тонкий горбатый нос. Соперники водили дружбу еще со школы. Они вместе сидели в классе, занимали соседние места в часовне и после молитвенного правила за обедом болтали между собой. Поскольку в выпускном классе ученики были все как один безлики и тупоголовы, то Стивен и Цаплинд стали в школе фактическими лидерами. Не кто иной, как они вдвоем, всегда отправлялись к ректору, когда надо было выпросить свободный день или избавить товарища от наказания.

– Да, кстати, – сказал вдруг Цаплинд, – я видел, как твой предок прошел.

Улыбка на лице Стивена потухла. Любой намек на его отца, будь то со стороны товарища или учителя, лишал его спокойствия вмиг. С опаской он молча ждал, что Цаплинд добавит дальше. Но тот неожиданно, толкнув его локтем в бок, заметил:

– А ты у нас хитрец, Дедал!

– Это почему же? – спросил Стивен.

– На вид поглядеть, он весь у нас не от мира сего, – сказал Цаплинд. – Только сдается мне, ты хитрец.

– Позвольте узнать, что вы имеете в виду? – спросил Стивен с высшей вежливостью.

– Охотно позволим, – отвечал Цаплинд. – Мы видели ведь ее, правда, Уоллис? Чертовски мила, ничего не скажешь. А уж как допрашивала! А какая роль у Стивена, мистер Дедал? А Стивен не будет петь, мистер Дедал? А предок твой чуть ли не просверлил ее взглядом через свой монокль, так что, я думаю, он тебя тоже раскусил. Только, клянусь Юпитером, мне бы на это было плевать. Классная же

девочка, скажи, Уоллис?

– Совсем недурна, – ответил спокойно Уоллис и сунул снова мундштук в угол рта.

Мгновенный приступ гнева охватил сознание Стивена при этих бесцеремонных намеках в присутствии постороннего. Внимание и интерес девушки для него совсем не были забавны. Весь день он мог думать только об одном, об их прощании в Хэролдс-Кросс на ступеньках конки, о поглотившем его потоке чувств и о стихах, написанных обо всем этом. Весь день он рисовал себе новую встречу с ней, зная, что она собирается прийти на спектакль. Знакомая грусть снова наполняла и томила его, та же, что на том празднике, но на сей раз она не нашла себе выхода в стихах. Два года отрочества отделили тогда от ныне. То повзросление, которое они принесли ему, отрезало такой выход – и весь этот день темный вал нежности и горечи то приливал и вздымался в нем, то отливал, убегая темными струями, завихряясь, пока наконец он не пришел в изнеможение. Здесь у него и вырвался жест нетерпения, которому дали повод шутки наставника с загримированным малышом.

– Так что покайся, дорогой, – продолжал Цаплэнд, – раз вывели тебя на чистую воду. Теперь уж не выйдет святого изображать, ручаюсь тебе!

Как прежде, с губ его слетел негромкий смешок, лишенный веселья, и, наклонясь, он легонько стукнул Стивена тросточкой по икре, как бы разыгрывая наказание.

Гневный порыв Стивена уже схлынул. Он не был ни польщен, ни смущен и хотел попросту конца этой шутке. Его почти не задевало уже то, что сначала казалось дурацкой бесцеремонностью: он знал, что все речи их не грозят никакой опасностью приключениям его духа – и лицо его точно повторило фальшивую улыбку соперника.

– Покайся! – повторил Цаплэнд и снова стукнул его тросточкой по икре.

Удар, хотя и шуточный, был посильней первого. Стивен ощутил кожей небольшой ожог, почти безболезненное жжение; и, покорно склонившись, как бы разделяя фиглярство приятеля, принялся читать «Confiteor» [88 - «Каюсь» (лат.) – католическая покаянная молитва.]. Все кончилось мирно, поскольку Цаплэнд и Уоллис оба благодушно расхохотались над таким кошунством.

Слова молитвы Стивен произносил машинально, и меж тем как они падали с его уст, в памяти его, как по волшебству, вдруг возникла другая сцена – в тот миг, когда он заметил в уголках улыбающегося рта Цаплэнда жестокие складочки, почувствовал знакомый удар трости по икре и услышал знакомую формулу увещания:

– Покайся.

Это произошло в конце самого первого триместра его пребывания в колледже, он тогда был в шестом. Его чувствительную натуру еще больно язвили хлещущие удары мерзостной и неосмысленной жизни. Душа пребывала еще в смятении, унылый феномен Дублина ее угнетал. После двух лет, прожитых в мире мечтаний, он очутился в совсем новой обстановке, где каждое событие, каждое лицо живо задевали его, обескураживая или маня, и всегда, будь то маня или обескураживая, они наполняли его тревогой и горечью. Все время, свободное от школьных дел, он проводил в обществе авторов, подрывающих основы; их речи, резкие и язвительные, бросали свои семена в его мозгу, и семена эти прорастали в его незрелых писаниях.

Сочинение составляло для него главный труд всей недели, и каждый вторник он всю

дорогу из дома в колледж занимался гаданием: намечая фигуру прохожего впереди, загадывал, обгонит ли он его прежде определенной точки, или ставил себе условие не наступать на границы плит тротуара – а гадал он о том, получит ли он на этой неделе первое место по сочинениям.

Однако в один из вторников серия его побед резко была оборвана. Мистер Тэйт, учитель английского, показал пальцем на него и сказал, будто отрубил:

– У этого ученика в сочинении ересь.

Класс затих сразу. Мистер Тэйт не нарушал тишины и только рукой копался между колен, а его туго накрахмаленные манжеты и воротничок слегка поскрипывали. Стивен не поднимал глаз. Стояло зябкое весеннее утро, глаза у него были слабые и болели. Он сознавал, что он провалился и уличен, что разум его убог, а дом нищий, и шею ему колот острый край поношенного и перевернутого воротничка.

Короткий звучный смешок мистера Тэйта снял в классе напряжение.

– Возможно, вы сами этого не знали, – сказал он.

– А где ересь? – спросил Стивен.

Мистер Тэйт оторвал руку от раскопок и развернул его сочинение.

– Вот. Речь идет о Создателе и душе. Так... мм... мм... Ага! «Без возможности когда-либо приблизиться». Это ересь.

Стивен пробормотал:

– Я хотел сказать, «без возможности когда-либо достигнуть».

Этим он проявлял покорность, и мистер Тэйт, умиротворенный, закрыл сочинение и передал ему со словами:

– А... Вот как! «...когда-либо достигнуть»... Это другое дело.

Но класс было не так легко умиротворить. Хотя после занятия никто с ним не говорил о происшедшем, он чувствовал вокруг смутное, но всеобщее злорадство.

Через несколько дней после этого публичного выговора, идя вечером по Драмкондра-роуд с письмом в руке, он услышал за собой окрик:

– Стой!

Обернувшись, он увидел, как в сумерках к нему приближаются трое из его одноклассников. Окрик исходил от Цапланда, который шагал между двумя спутниками, размахивая в такт шагам тонкой тростью. Боланд, его приятель, шагал рядом с ним, широко ухмыляясь, а Нэш, немного отставший и запыхавшийся от скорости, отдувался и мотал большой рыжей головой.

Мальчики свернули вместе на Клонлифф-роуд и начали говорить о книгах и о писателях, рассказывая, что они читают и сколько книг в шкафах их родителей. Стивен слушал их не без удивления: Боланд был в классе признанным тупицей, так же как Нэш – лентяем. И в самом деле, когда разговор пошел о любимых писателях,



Нэш назвал капитана Мэрриэта, объявив, что он – самый великий писатель.

– Шутишь! – сказал Цаплэнд. – Спросим Дедала. Кто самый великий писатель, Дедал?

Стивен уловил тон насмешки в его вопросе и в свою очередь спросил:

– Из прозаиков, ты хочешь сказать?

– Да.

– Я думаю, Ньюмен.

– Это который кардинал? – спросил Боланд.

– Да, – отвечал Стивен.

С широкой ухмылкой, разлившейся по его веснушчатой физиономии, Нэш обернулся к Стивену и спросил:

– Ты что, любишь кардинала Ньюмена, Дедал?

– Ну, многие говорят, что у Ньюмена лучший прозаический стиль, – пояснил Цаплэнд своим спутникам. – Но он, разумеется, не поэт.

– Цаплэнд, а самый лучший поэт кто? – спросил Боланд.

– Лорд Теннисон, конечно, – ответил Цаплэнд.

– Да-да, Теннисон, – сказал Нэш. – У нас дома все его стихи в одном томе.

Здесь Стивен, не выдержав данного себе обета молчания, взорвался:

– И Теннисон – поэт? Да он же простой рифмач!

– Уж это ты брось! – сказал Цаплэнд. – Все знают, что Теннисон – величайший поэт.

– А кто ж по-твоему самый великий поэт? – спросил Боланд, толкнув соседа локтем.

– Конечно, Байрон, – заявил Стивен.

Сначала Цаплэнд, а затем и вся тройка презрительно расхохотались.

– Что вы смеетесь? – спросил их Стивен.

– Над тобой смеемся, – отвечал Цаплэнд. – Байрон – самый великий поэт! Да он для одних необразованных!

– Славный небось поэт! – сказал Боланд.

– А ты помалкивай лучше, – с задором повернулся к нему Стивен. – Ты о поэзии только знаешь, что сам накорябал на стене в сортире, тебя на порку за это послать хотели.

Про Боланда действительно говорили, что он написал на стене в сортире стишок про своего одноклассника, который уезжал из колледжа на каникулы верхом на пони:

Наш Тайсон при въезде в Иерусалим  
Свалился с осла и зашиб носолим.

При этом выпадѣ оба приспешника замолкли, но Цаплѣнд не прекратил атаки:

– Как бы там ни было, а Байрон – еретик и безнравственная личность.

– А мне дела нет, каким он был! – с жаром воскликнул Стивен.

– Значит, тебе нет дела, был ли он еретик? – спросил Нэш.

– Да ты-то что знаешь тут? – крикнул Стивен. – Что ты, что Боланд, вы в жизни строчки не прочитали, кроме тех, что списывали!

– Я знаю, что Байрон был плохой человек, – сказал Боланд.

– Держите-ка этого еретика! – скомандовал Цаплѣнд.

В ту же минуту Стивен был схвачен.

– Тэйт уже однажды тебе задал трепку, – продолжал Цаплѣнд, – у тебя в сочинении была ересь.

– Я ему завтра все скажу, – посулил Боланд.

– Да ну? – сказал Стивен. – Ты у нас рот боишься раскрыть!

– Я боюсь?

– Ага. Боишься за свою шкуру.

– Веди прилично себя! – крикнул Цаплѣнд и ударил Стивена по ногам тростью.

Это было сигналом для атаки. Нэш держал его сзади за руки, а Боланд вооружился большой кочерыжкой, валявшейся в канаве. Хотя Стивен отбрыкивался и отбивался, но под ударами трости и узловатой кочерыжки он вскоре оказался прижат к изгороди из колючей проволоки.

– Покайся и скажи, что Байрон гроша не стоит.

– Нет.

– Покайся.

– Нет.

– Покайся.

– Нет. Нет.

В конце концов, после отчаянных усилий он как-то высвободился от них. Хохоча и

осыпая его издевками, мучители удалились в сторону Джонсис-роуд, а он, весь багровый и задыхающийся, в порванной одежде, ковылял следом, ничего не видя от слез, сжимая в бешенстве кулаки и всхлипывая.

Сейчас же, пока он повторял «Confiteor» под благодушные смешки слушателей, а в уме его с острой отчетливостью мелькали сцены этого жестокого эпизода, его удивляло, отчего в нем совсем не осталось зла против его мучителей. Он ни на гран не позабыл ни их жестокости, ни их трусости, однако воспоминания об этом не возбуждали в нем гнева. Поэтому же все описания исступленной любви или ненависти, читанные им в книгах, казались ему неистинными. Даже в тот самый вечер, когда он ковылял домой по Джонсис-роуд, он уже чувствовал, словно какая-то сила совлекает с него скоропалительный его гнев, с такою же легкостью, как со спелого плода срывают мягкую кожуру.

Он продолжал стоять под навесом с двумя своими знакомцами, рассеянно слушая их беседу и взрывы оваций в театре. Она сидела там среди публики и, может быть, ждала его появления. Он попытался представить ее себе, но не мог. Ему вспоминалось лишь, что ее голову окутывала шаль наподобие капора, а ее темные глаза притягивали его и отнимали решимость. Он думал о том, продолжал ли он жить в ее мыслях, как она в его. Потом, невидимо для тех двоих, он положил в темноте пальцы одной руки кончиками на ладонь другой, касаясь очень легко и все-таки чуть-чуть прижимая. Но касание ее пальцев было и еще легче, и еще настойчивей – и вдруг хранившаяся память этого касания, как теплая невидимая волна, прошла через все его сознание и тело.

Вдоль навеса к ним бегом приближался какой-то ученик. Подбежав, он зачастил возбужденно, еле переводя дыхание:

– Дедал, слушай, там Дойл уже рвет и мечет насчет тебя. Ступай скорей одеваться к выходу. Только скорей, скорее!

– Да придет он, – свысока процедил Цаплэнд посланцу, – придет, когда сам захочет.

Ученик повернулся к Цапленду, повторяя:

– Но Дойл просто жутко рвет и мечет!

– А ты не передашь ли Дойлу мой теплый привет и пожелание провалиться к чертям? – отвечал Цаплэнд.

– Ладно, я должен идти, – сказал Стивен, которому безразличны были подобные вопросы чести.

– А я вот не пошел бы, – заявил Цаплэнд. – Так за старшими учениками не посылают. Скажите, он рвет и мечет! Должен доволен быть, что ты выступаешь в его жалкой пьеске.

Этот дух агрессивной солидарности, с недавнего времени замечавшийся Стивеном в сопернике, не вызывал в нем желания изменить собственной манере спокойного повиновения. Он с недоверием относился и к искренности и к пылкости этой солидарности, видя в ней худшее проявление близости возмужания. Вопрос чести, поднятый здесь, как все такие вопросы, для него был мелким. Меж тем как ум его гонялся за своими неосязаемыми призраками и, не поймав, в замешательстве

оставлял погоню, он постоянно слышал вокруг неумолчные голоса отца и своих наставников, которые призывали его быть прежде всего джентльменом и быть прежде всего добрым католиком. Теперь эти голоса сделались для него пустым звуком. Когда открылся спортивный класс, послышался еще голос, который призывал быть сильным, здоровым, мужественным; а когда началось движение за национальное возрождение, новый голос начал повелевать ему быть верным своей стране, помочь воскресить ее забытый язык, ее традиции. Он предвидел уже, что в житейской стихии мирской голос будет ему внушать, чтобы он своими трудами поправил бедственное положение отца, – как сейчас голоса однокашников призывали быть хорошим товарищем, прикрывать их от выговоров, выпрашивать для них прощение и стараться всячески устроить для всех лишней свободный день. Именно из-за этого гомона бессмысленных голосов он в замешательстве прекращал свою погоню за призраками. Иногда он прислушивался к ним ненадолго, но счастлив он бывал только вдали от них, в недостижимости для них, один или в обществе призрачных сотоварищей.

В ризнице полный иезуит цветущего вида и пожилой человек в синем поношенном костюме рылись в ящике с гримировальными красками. Мальчики, которых уже загримировали, бродили вокруг или растерянно стояли, неуверенно потрагивая свои лица робкими кончиками пальцев. Посреди ризницы молодой иезуит, прибывший в колледж на время, глубоко засунув руки в карманы, раскачивался на своих подошвах – переносил вес тела с носка на каблук и обратно, в одном ритме. Его небольшая голова с поблескивающими завитками рыжих волос и свежесвыбритое лицо очень гармонировали с идеального покроя сутаной и идеально начищенными ботинками.

Глядя на эту качающуюся фигуру и пытаясь прочесть послание, что несла насмешливая улыбка патера, Стивен вспомнил, как, отправляя его в Клонгоуз, отец говорил, что иезуита можно всегда узнать по стилю одежды. Едва он вспомнил это, он осознал некое сходство в складе ума между своим отцом и этим улыбающимся нарядным патером, и одновременно осознал, что происходит некое осквернение сана священника или же самой ризницы, тишину которой грубо нарушали шутовские возгласы и громкие речи, а воздух насыщен был острыми запахами грима и горящего газа.

Пока пожилой человек морщил ему лоб и подводил черным и синим челюсти, он слушал рассеянно полного молодого иезуита, наставлявшего, чтобы он говорил четко и выделял главные места. Он услышал, как оркестр заиграл «Лилию Килларни», и понял, что через несколько секунд поднимется занавес. Он не испытывал страха сцены, но мысль о роли, которую предстояло играть, вызвала у него чувство унижения. Он припомнил некоторые реплики, и к накрашенным щекам резко прилила кровь. Но тут он представил, как из зала на него смотрят ее глаза, манящие и серьезные, и этот образ вмиг вытеснил все сомнения, придав ему спокойствие и уверенность. Его словно наделили иной природой: юное заразительное веселье, царившее вокруг, проникло в него и преобразило его угрюмую недоверчивость. На один редкостный миг он словно облекся в истинный наряд отрочества – и, стоя за кулисами среди всех занятых в спектакле, он от души разделял общее веселье, когда два дюжих патера рывками тщились поднять напрочь перекосившийся занавес.

Спустя несколько секунд он был на сцене среди слепящих огней и невзрачных декораций, перед бесчисленными лицами из пустоты. Он с удивлением обнаружил, что пьеса, бывшая на репетициях чем-то безжизненным и бессвязным, зажила вдруг собственной жизнью. Она как будто сама играла себя, а он и остальные актеры лишь помогали ей своими репликами. Когда упал занавес после заключительной сцены, он услышал, как пустота взорвалась аплодисментами, и через щель сбоку увидел, что

сплошная масса, перед которой он выступал, будто по волшебству изменилась и тысячеликая пустота, распадаясь сразу во всех точках, тут и там образует оживленные группы.

Быстро покинув сцену, он сбросил с себя облаченья комедианта и, пройдя через церковь, вышел в сад. Сейчас, когда представление окончилось, возбужденные нервы требовали и жаждали новых, дальнейших приключений. Он устремился вперед, как будто в погоню за ними. Зал уже опустел, все двери в театре были распахнуты. На проволоках, которые воображались ему якорными цепями ковчега, ночной ветерок раскачивал несколько фонариков, мигавших уныло. Он взбежал торопливо по ступенькам, боясь упустить какую-то ускользящую добычу, и начал прокладывать путь сквозь толпу в вестибюле, миновав двух иезуитов, которые наблюдали за исходом, раскланиваясь и пожимая руки гостям. В возбуждении он проталкивался вперед, нарочно изображая еще большую торопливость и смутно отдавая себе отчет, что его напудренную голову сопровождают вокруг улыбки, удивленные взгляды и многозначительные подталкивания локтем.

Когда он вышел на другое крыльцо, то заметил своих домашних, они поджидали его у первого фонаря. Он тут же увидел, что в их кучке никого больше нет, и сбежал вниз с разочарованием и досадой.

– У меня одно поручение на Джорджис-стрит, – скороговоркой пробормотал он отцу. – Я позже домой приду.

Не дожидаясь вопросов отца, он перебежал улицу и начал спускаться бегом с холма, рискуя сломать шею. Он не мог бы сказать, куда он бежит. Гордость, надежда и желание как терпкие растертые травы из глубины сердца застлала дурманом его умственный взор. Он мчался по склону вниз, одурманиваемый внезапно вскипевшими клубами уязвленной гордости, напрасной надежды и обманутого желания. Ядовитые, густые клубы дурмана поднимались ввысь перед его тоскующим взором и там исчезали – и наконец воздух сделался снова холодным и ясным.

Пелена еще застлала ему глаза, но они уже больше не горели. Какая-то сила, сходная с той, что часто приказывала ему отбросить раздражение и гнев, замедлила и остановила его бег. Он стоял неподвижно, упиравшись взглядом в сумрачное крыльцо морга и темный мощный бульжником проулок. На стене переулка он прочел его название, Лоттс, и медленно вдохнул тяжелый смердящий запах.

– Конская моча и гнилая солома, – подумал он. – Стоит подышать этим. Сердце скорей уймется. Так. Полностью унялось. Иду обратно.

\* \* \*

Стивен снова сидел с отцом в вагоне поезда на вокзале Кингсбридж. Ночным почтовым они отправлялись в Корк. Когда, разведя пары, поезд отошел от станции, Стивен припомнил, как он дивился всему несколько лет назад, припомнил подробности своего первого дня в Клонгоузе. Но сегодня он уже не дивился. Он просто смотрел на поля, проплывавшие в густеющих сумерках, на столбы, пронсящие молча мимо окна каждые четыре секунды, на тускло освещенные полустанки с безмолвными фигурами стражей, которые почтовый отбрасывал, пронсясь, и которые вспыхивали на миг во тьме, как искры, отброшенные копытами скакуна.

Он без особого участия выслушивал повести отца о Корке, о местах его молодости; всякий раз, когда упоминался какой-нибудь покойный друг или рассказчик вдруг вспоминал о цели своей поездки, повести прерывались тяжким вздохом или глотком из походной фляжки. Стивен слушал, однако не мог пробудить в себе сочувствие. Все образы покойных были незнакомы ему, кроме одного дяди Чарльза, но в последнее время и этот образ стал стираться из памяти. Он знал, однако, что имущество отца будут продавать с аукциона, и коль скоро это делало обездоленным его самого, он чувствовал, как мир грубо превращает его мечты в ложь.

В Мэриборо он заснул. Когда он проснулся, уже проехали Моллоу, и отец спал, растянувшись на соседней скамье. Рассвет освещал холодными лучами всю местность, безлюдные поля и затворенные хижины. Сон деспотически завораживал его ум, когда он вглядывался в безмолвные места или время от времени слышал, как отец глубоко вздыхает и ворочается во сне. Незримое соседство спящих вселяло в него смутный страх, словно от них ему могло быть что-то плохое, и он стал молиться, чтобы поскорей настал день. В начале его молитвы, не обращенной ни к Богу, ни к святым, он чувствовал дрожь, потому что по ногам полз колючий утренний ветерок, пробравшийся через нижнюю щель вагонной двери, а в конце перешел на сплошной поток каких-то нелепых слов, подгоняя их под навязчивый ритм поезда; и безмолвно, с интервалом в четыре секунды, телеграфные столбы заключали скачущие ноты этой музыки в свои тактовые черты. Под действием этой бешеной музыки его страх улегся, и, прислонившись к оконной раме, он снова прикрыл глаза.

Было еще совсем рано, когда они проехали через Корк на бричке, и Стивен потом досыпал в номере гостиницы «Виктория». Из окна струился яркий теплый солнечный свет и доносился уличный шум. Отец стоял перед туалетным столиком, со вниманием изучая в зеркале свои волосы, лицо и усы, вытягивая шею над умывальным кувшином и вывертывая ее наискось и вбок, чтобы получше все разглядеть. Производя эти действия, он тихо напевал с интересным выговором и интонациями:

Юнцам не спится,  
Спешат жениться,  
А я из сети этой  
Задам стречка.

Тут не найти леченья,  
Тут надо отсечение.  
Я в путь, мой курс, красотка, –  
Аме-ри-ка!

Моя красотка  
Мила, пригожа,  
Она что виски,  
Пока впервой.

Но чувства-то стареют  
И нас уже не греют,  
Как росы пропадают  
Вместе с зарей.

Ощущение теплого солнечного города за окном и нежные трели, которыми голос отца разукрашивал странную печально-беспечальную песенку, разогнали тени ночной тоски Стивена. Он бодро принялся одеваться, а когда песенка кончилась, сказал отцу:

– Это гораздо красивей, чем ваши всякие «Сбирайтесь все».

– Ты находишь? – сказал мистер Дедал.

– Мне понравилось, – сказал Стивен.

– Прекрасная старинная песенка, – сказал мистер Дедал, подкручивая кончики усов. – Эх, но надо было послушать, как ее пел Мик Лейси! Бедняга Мик! Он тут имел свои штучки, вставлял этикие фиоритуры, каких мне нипочем не осилить. Вот он-то, если хочешь, уж мог спеть и «Сбирайтесь все» как следует.

Мистер Дедал заказал на завтрак знаменитой местной кровяной колбасы и за едой устроил официанту форменный допрос насчет городских новостей. Но у них постоянно выходила форменная путаница с именами, потому что официант имел в виду теперешнего хозяина, а мистер Дедал его отца, а может, и деда.

– Надеюсь, хоть Королевский колледж стоит на месте, – заметил мистер Дедал. – Хочу показать его своему отпрыску.

На Мардайк-авеню деревья были в цвету. Они вошли в ворота колледжа, и говорливый привратник повел их через двор в здание. Но их продвижение по гравии через каждую дюжину шагов прерывалось после очередного сообщения привратника:

– Нет, что вы говорите? Неужто бедняга Толстопуз умер?

– Да, сэр, умер.

Во время этих остановок Стивен неуклюже топтался позади собеседников, с нетерпением ожидая, когда те снова двинутся вперед. К моменту, когда они пересекли двор, его нетерпение стало почти лихорадочным. Он изумлялся, как это отец, зоркий и недоверчивый, каким он всегда его считал, мог так легко купиться угодливостью привратника; и бойкий южный говор, все утро развлекавший его, теперь начал раздражать.

Они прошли в анатомический театр, и мистер Дедал с помощью привратника принялся разыскивать парту со своими инициалами. Стивен остался позади, подавленный донельзя мраком, безмолвием и висевшим в воздухе духом засушенной формальной науки. На одной из парт он прочел слово *Foetus* [89 - Плод, зародыш (лат.)], вырезанное в нескольких местах по темному в кляксах дереву. Неожиданное послание вдруг бросило его в жар: ему казалось, он чувствует вокруг себя этих несуществующих студентов и должен посторониться от их компании. Картина их жизни, которую речи отца были бессильны вызвать в его воображении, разом встала перед его глазами от одного вырезанного слова. Плечистый, усатый студент сосредоточенно вырезал буквы перочинным ножом. Другие студенты стояли или сидели рядом, гогоча над его трудами. Один из них толкнул его под локоть. Плечистый обернулся, нахмурившись, на нем была широкая серая блуза и коричневые ботинки.

Стивена окликнули. Он сбежал торопливо вниз по ступенькам театра, чтобы как можно дальше оказаться от этой картины, и стал разглядывать инициалы отца, нагнувшись, чтобы спрятать пылающее лицо.

Однако и слово и картина продолжали плясать у него перед глазами, пока он шел через двор обратно, направляясь к воротам колледжа. Его потрясло, когда он вдруг обнаружил во внешнем мире следы того, что до сих пор считал каким-то давящим

наваждением своего сознания. Недавние отталкивающие видения вернулись и толпою заполнили воображение. Они тоже являлись перед ним внезапно, неистово, под действием простых слов. Он быстро поддавался им, позволял им завладеть своим рассудком и растлить его, и при этом всегда дивился, откуда, из какого логова гнусных призраков они берутся, и когда они одолевали его, он всегда бывал по отношению к другим слабым и покорным, а по отношению к себе смятенным и полным отвращения.

– Ах ты, господи! Так это ж она, та самая бакалея! – вскричал мистер Дедал. – Ты же от меня слышал частенько про бакалею, правда, Стивен? Уж мы сколько сюда захаживали всей компанией, когда попадали в список, Гарри Пирд, и крошка Джек Великан, и Боб Дайес, Морис Мориарти, француз, потом Том О’Грейди, и Мик Лейси, про которого я тебе утром говорил, и Джо Корбет, и добрая душа бедняга Джонни Киверс из Тэнтайлсов.

Листья деревьев на Мардаик-авеню шелестели и перешептывались на солнце. Прошла крикетная команда, ладные юноши в спортивных брюках и куртках, один нес зеленый длинный мешок с воротцами. В тихом переулке уличный немецкий оркестрик, пять музыкантов в выцветших униформах, исполнял на помятых духовых инструментах для аудитории из уличных сорванцов и бездельных рассыльных. Горничная в белом чепце и фартуке поливала цветы в ящике на подоконнике, который блестел как плита известняка в теплых лучах. Из другого окна, открытого настежь, доносились звуки рояля, поднимавшиеся все выше и выше, гамма за гаммой до дискантов.

Стивен шагал рядом с отцом, слушая рассказы, которые уже слышал раньше, слыша все те же имена где-то раскиданных или умерших повес, спутников отцовской юности. Тяжесть на сердце отзывалась слабой поташнивающей болью. Он думал про свое двойственное положение в Бельведере – ученик с наградной стипендией, лидер, напуганный собственным авторитетом, гордый, обидчивый, подозрительный, сражающийся с убожеством жизни и с бунтами собственного разума. Буквы, вырезанные на темном дереве в кляксах, уставились на него в упор, издеваясь над слабостью его плоти, над его бесплодными порывами, заставляя его презирать себя за свои грязные безумные оргии. Слюна во рту у него сделалась горькой и противной, он не мог ее проглотить, слабая тошнота поднялась в голову, так что на минуту он даже закрыл глаза и шел вслепую.

А голос отца рядом с ним продолжал:

– Когда ты пробьешь себе путь, Стивен, – а я на это очень надеюсь – помни одно: что бы ты ни делал, держись порядочных людей. Когда я был молодым парнем, я, могу сказать, жил отличной жизнью, и друзья у меня были прекрасные, порядочные люди. Из нас каждый чем-нибудь да выделялся. У одного голос был хороший, у другого – актерский талант, кто мастер был спеть что-нибудь эдакое, комическое, кто был классным гребцом или отличался на корте, а кто отменно умел рассказывать. Мы мяч держали в игре, жили в свое удовольствие, всем интересовались, и никому от этого плохо не было. Но все мы были порядочными людьми, Стивен, я так по крайней мере думаю, и притом добрыми ирландцами на все сто. И я б хотел, чтоб ты тоже водил компанию вот с такими людьми, с людьми правильного замеса. Я с тобой говорю как друг, Стивен, я не собираюсь изображать грозного отца. Не собираюсь поучать, что сын должен бояться отца. Нет, я с тобой держусь так, как, бывало, твой дед со мной, когда я был пацаном. Мы с ним были скорей как братья, а не как отец с сыном. Никогда не забуду, как он в первый раз поймал меня с куревом. Как-то стою я, помню, в конце Саут-террас в компании таких же недорослей, как сам, и все мы сильно воображаем о себе, потому как у



каждого трубка торчит в зубах. И тут вдруг родитель мимо. Ни слова не сказал, даже не остановился. Но на другой день, в воскресенье, мы вместе пошли гулять, и вот, когда домой возвращались, он портсигар вынимает и говорит: А, кстати, Саймон, я и не знал, что ты куришь, – или в этом духе. Я, конечно, стараюсь там на что-то перевести. А он мне: Если хочешь доброго табачку, попробуй-ка эти сигары. Мне их один американский капитан подарил вчера вечером в Квинстауне.

Стивен услышал, как голос отца прервался смехом, близким к рыданию.

– В то время он был самый красивый мужчина в Корке, клянусь богом! На улицах женщины останавливались и оглядывались на него.

Он услышал, как рыдание заклокотало громко у отца в горле, и нервным усилием раскрыл глаза. Хлынув внезапно ему в зрачки, поток света преобразил небо и облака в фантастический мир темных и мрачных масс, перемежаемых озерами темно-розового света. Сам мозг его был обессиленным и больным. Он едва мог разобрать буквы на вывесках магазинов. Его чудовищный образ жизни увлек его, казалось, за пределы реальности. Ничто в реальном мире не трогало его и ни о чем не говорило ему, если только ему не слышался там отзвук тех воплей, что яростно раздавались в нем самом. Утомленный и угнетаемый отцовским голосом, он был неспособен откликнуться ни на какой земной или человеческий призыв, был нем и бесчувствен к зовам лета, радости, общения. Он с трудом мог признать свои собственные мысли за свои и медленно про себя твердил:

– Я Стивен Дедал. Я иду рядом с моим отцом, которого зовут Саймон Дедал. Мы в Корке, в Ирландии. Корк это город. Мы остановились в гостинице «Виктория». Виктория. Стивен. Саймон. Саймон. Стивен. Виктория. Имена.

Воспоминания детства вдруг сразу потускнели. Он старался оживить какие-нибудь самые яркие из них и не мог. Всплывали одни только имена: Дэнти, Парнелл, Клейн, Клонгоуз. Маленького мальчика учила географии старая женщина, у которой в шкафу были две щетки. Потом его отправили в колледж. В колледже он в первый раз причащался, ел длинные цукатики, которые прятал в крикетной шапочке, смотрел, как пляшет и прыгает огонь на стене маленькой комнатки в лазарете, и представлял себе, как он умрет, как ректор в черном с золотом одеянии будет служить над ним мессу и как его потом похоронят на маленьком монастырском кладбище поодаль от главной липовой аллеи. Но он не умер тогда. Парнелл умер. Не было ни заупокойной мессы в часовне, ни похоронной процессии. Он не умер, а обесцветился, как фотопленка на солнце. Он затерялся или же забрел за пределы существования, потому что его больше не существует. Как странно представлять себе, что он вот так покинул существование, не через смерть, а обесцветившись на солнце или затерявшись забытым где-то во вселенной! И странно было видеть, как на миг его маленькое тело явилось снова: малыш в серой куртке с поясом. Руки в карманах, штанишки прихвачены ниже колен круглыми подвязками.

Вечером того дня, когда имущество было продано, Стивен покорно сопровождал отца по городу из одного бара в другой. Рыночным продавцам, барменам и служанкам в барах, нищим, что обращались за подаванием, мистер Дедал повествовал одну повесть: что он исконнейший коркианец, что тридцать лет он пытался в Дублине избавиться от своего коркского акцента и что этот вот Питер Скорохват рядом с ним это его старший сын, который пока дорос только до дублинского сорванца.

Попутру рано они отправились из кафе Ньюкома, где чашка в руке мистера Дедала очень слышно звякала об его блюдце, а Стивен, двигая стулом и покашливая,

старался всячески заглушить это звяканье, постыдный след вчерашней попойки. Одно унижение следовало за другим: фальшивые улыбки торговцев на рынке, глазки и пируэты буфетчиц, с которыми любезничал мистер Дедал, комплименты и похвалы отцовских друзей. Они говорили ему, что он очень похож на своего деда, и мистер Дедал соглашался, что да, тут есть некое уродливое сходство. Они открывали следы коркского выговора в его речи и заставили его признать, что река Ли куда красивей, чем Лиффи. Один из них, чтобы проверить его латынь, заставил перевести несколько фраз из «Дилектуса»[90 - Dilectus – выбор (лат.); название сборников латинских изречений.] и спросил, как надо правильно говорить: *Tempora mutantur nos et mutamur in illis*, или же *Tempora mutantur et nos mutamur in illis*[91 - Времена меняются, и мы меняемся с ними (лат.). Первый вариант – неправильный.]. Другой, юркий старикашка, которого мистер Дедал называл Джонни Казначей, привел его в полное замешательство, спросив, где девушки красивее, в Дублине или в Корке.

– Он не из того теста, – сказал мистер Дедал. – Оставь в покое его. Он парень серьезный и рассудительный, у него голова не для такой ерунды.

– Тогда, значит, он не сын своего отца, – сказал старикашка.

– Вот это я уж, право, не знаю, – сказал мистер Дедал, самодовольно улыбаясь.

– Твой отец, – сказал старикашка Стивену, – был в свое время первейший ухажер в Корке. Ты этого не знал?

Стивен, опустив глаза, разглядывал кафельный пол очередного бара, куда их занесло.

– Послушай, не дури ему голову, – сказал мистер Дедал. – Предоставь уж его Творцу.

– Зачем же мне дуришь ему голову? Я ему в дедушки гожусь. Я ведь и в самом деле дедушка, – сказал Стивену старикашка. – А ты не знал?

– Нет, – сказал Стивен.

– Ну как же, – продолжал старикашка. – У меня двое внучат-карапузов в Сандиз-Уэлле. А что? По-твоему, сколько мне лет? Ведь я твоего дедушку помню, еще когда он в красном камзоле ездил на псовую охоту. Тебя тогда и на свете не было.

– Да и никто не думал, что будет, – сказал мистер Дедал.

– Как же! – повторил старикашка. – Да больше того, я даже твоего прадеда помню, старого Джона Стивена Дедала. Отчаянный был задира. Ну как? Вот это вам память!

– Выходит, три поколения, – сказал один из компании, – да нет, четыре. Так тебе, Джонни Казначей, глядишь, скоро сто стукнет.

– Скажу вам чистую правду, – отвечал старикашка. – Мне ровно двадцать семь.

– Верно, Джонни, – сказал мистер Дедал. – Нам столько лет, на сколько мы себя чувствуем. И давайте прикончим что тут еще осталось, да начнем другую. Эй! Тим, Том, или как там тебя зовут, подай-ка нам такого же еще одну. Да я и сам, ей-ей,

себя чувствую на восемнадцать. Вот он тут, сын мой, больше чем вдвое меня моложе, а я вам в любой момент его перещегооляю.

– Полегче, Дедал, пора уж тебе ему уступить, пожалуй, – сказал тот, который говорил до этого.

– Ну нет, черт возьми! – вскричал мистер Дедал. – Я партию тенора спою получше его, и барьер возьму получше, или погонял-ка бы он со мной на лисьей травле, как я, бывало, лет тридцать тому назад с парнем из Керри, первейшим молодцом в этом деле.

– Но он тебя побьет вот в чем, – сказал старикашка, постучав себя по лбу, и осушил стакан.

– Надеюсь, он будет таким же порядочным человеком, как его отец, вот все, что я могу сказать, – ответил мистер Дедал.

– Раз уж будет, так будет, – сказал старикашка.

– И поблагодарим Бога, Джонни, – сказал мистер Дедал, – за то, что мы жили долго, а зла сделали мало.

– А добра много делали, Саймон, – заключил торжественно старикашка. – Возблагодарим Бога, что жили долго и делали много добра.

Стивен смотрел, как поднялись три стакана, и отец и два его старых друга почтили память своего прошлого. Целая бездна отделяла его от них, бездна судьбы или характера. Казалось, ум его был старше: он холодно светил над их спорами, радостями и огорчениями, словно луна над более юной землей. Ни жизнь, ни молодость не бурлили в нем так, как они бурлили в них. Он не изведал ни удовольствий дружеского общения, ни чувства грубого мужского здоровья, ни сыновнего обожания. Ничто не бурлило в его душе, кроме холодной, жесткой, безлюбой похоти. Его детство умерло или затерялось, а с ним и его душа, способная на простые радости, и он скитался по жизни, как блеклая скорлупа луны.

Ты не устала ли? Твой бледен лик, луна.  
Взбираясь ввысь, на землю ты глядишь  
И странствуешь одна...

Он повторял про себя строки фрагмента Шелли. Соположение в нем печальной человеческой немощности и необъятных нечеловеческих циклов активности обдало его холодом, и он забыл свои собственные человеческие и немощные скорби.

\* \* \*

Мать Стивена, его брат и один из двоюродных братьев остались дожидаться на углу тихой Фостер-плейс, а сам Стивен с отцом поднялись по ступеням и пошли вдоль колоннады, где расхаживал часовой-шотландец. Когда они вошли в просторный холл и стали у окошка кассы, Стивен вынул свои чеки на имя директора Ирландского банка, один на тридцать, другой на три фунта; и обе суммы, его наградную стипендию и премию за письменную работу, кассир быстро отсчитал банкнотами и звонкой монетой. С притворным спокойствием он рассовал их по карманам и покорно вынес, как приветливый кассир, с которым отец разговорился, пожал ему руку, протянув

свою через широкий барьер, и произнес пожелания блестящего будущего. Он с нетерпением слушал их голоса, ему не стоялось уже на месте. Но кассир, задерживая других клиентов, все толковал, что сейчас уже не такое время и самое теперь важное это дать сыну наилучшее образование, чего бы оно ни стоило. Мистер Дедал медлил покидать холл, оглядывая и стены его, и потолок и объясняя Стивену, который дергал его идти, что они тут стоят в палате общин старого Ирландского парламента.

– Господи! – благоговейно говорил он, – ты только подумай, Стивен, какие люди были в те времена – Хили-Хатчинсон, Флуд, Генри Граттан, Чарльз Кендал Буш! А те дворянчики, что заправляют теперь, вожди ирландского народа в стране и за рубежом. Боже милостивый, да их рядом с теми даже на кладбище представить нельзя. Нет уж, брат, насчет них это как в песенке поется, был майский день в июльский полдень.

Пронзительный октябрьский ветер свистал вокруг банка. У троих, дожидавшихся на краю грязного тротуара, посинели щеки и слезились глаза. Стивен заметил, как легко одета мать, и вспомнил, что несколько дней назад видел в витрине у Барнардо накидку за двадцать гиней.

– Ну вот, получили, – сказал мистер Дедал.

– Неплохо бы пойти пообедать, – сказал Стивен. – Только куда?

– Пообедать? – сказал мистер Дедал. – Ну что ж, пожалуй, что и неплохо.

– Только куда-нибудь, где не очень дорого, – сказала миссис Дедал.

– К Недожаренному?

– Да, куда-нибудь, где потише.

– Идемте, – сказал Стивен нетерпеливо. – Пускай дорого, неважно.

Он шел впереди них мелкой нервной походкой и улыбался. Они старались не отставать и улыбались тоже, его одержимости.

– Спокойствие, парень, – сказал отец. – Мы же не выступаем в забеге, правда?

Пришла бысролетная пора веселого житья, когда наградные деньги живо утекали у Стивена между пальцев. Из города доставляли на дом большие пакеты с провизией, деликатесами, сушеными фруктами. Каждый день он составлял меню для всего семейства, а каждый вечер возглавлял поход в театр втроем или вчетвером, смотреть «Ингомара» или «Даму из Лиона». В карманах куртки у него бывали припасены плитки венского шоколада для приглашенных, а брючные карманы отдувались от множества серебра и меди. Он всем покупал подарки, взялся отделять заново свою комнату, сочинял какие-то проекты, бесконечно переставлял книги на полках, изучал всевозможные преискурранты, измыслил некий род домашнего государства, в котором каждому члену семьи вменялись определенные обязанности. Открыл ссудную кассу для домашних и убеждал всех желающих брать ссуды лишь ради удовольствия выписывать им квитанции и подсчитывать проценты на выданные суммы. Когда он исчерпал все идеи, он стал кататься по городу на трамваях. Потом поре развлечений пришел конец. Розовая эмалевая краска в жестянке высохла, деревянная обшивка в его комнате осталась недокрашенной, и плохо приставшая штукатурка

осыпалась.

Семья вернулась к обычному образу жизни. У матери не было уже больше поводов его упрекать за мотовство. Он тоже вернулся к прежней школьной жизни, а все его нововведения потерпели крах. Государство пало, ссудная касса закрылась с большим дефицитом, и правила жизни, которые он установил для себя, были преданы забвению.

Какая это была нелепая затея! Плотиной порядка и изящества он силился преградить грязный накат внешней жизни, а правильным поведением, бурной деятельностью, обновленными узами родства – обуздать мощные настойчивые накаты жизни внутренней. Тщетно. Как извне, так и изнутри поток перехлестнул через возводимые преграды: оба наката снова неистово столкнулись над обрушившимся молом.

Он ясно понимал и свою собственную бесплодную отчужденность. Он не приблизился ни на шаг к тем существованьям, к которым искал подход, и не преодолел неутраченных чувств стыда и враждебности, которые отделяли его от матери, братьев и сестер. Он чувствовал так, будто он был с ними не столько в кровном родстве, сколько в родстве некоей мистической усыновленности, как приемный сын и приемный брат.

Он жаждал утишить жгучие томленья своего сердца, на фоне которых все остальное было пустым и чуждым. Его не тревожило, что он впал в смертный грех, что жизнь стала сплетением лжи и уверток. Рядом с пожиравшим его диким желанием воплотить мерзости, владевшие его воображением, ничего святого не оставалось. Он цинично мирился с постыдностью тайных оргий, в которых он с неким торжеством, смакуя детали, осквернял всякий образ, остановивший его внимание. Денно и ночью он питался этими обезображенными образами внешнего мира. Встречная незнакомка, которая днем казалась ему скромной и сдержанной, являлась ночью из темных лабиринтов сна, лицо ее дышало лукавым сладострастием, глаза блестели похотливой радостью. А после этого утро приносило боль смутными воспоминаниями темных оргий и острым, унижительным чувством переиженных запретов.

Его снова потянуло бродить. Туманные осенние вечера влекли его из переулков в переулки, как когда-то, годы назад, они увлекали его по тихим аллеям Блэкрока. Однако теперь вид аккуратных садиков, приветливых огоньков в окнах уже не смягчал его состояния. И только по временам, в промежутки затишья, когда желания и похоть, изнурявшие его, сменялись слабым томлением, образ Мерседес вставал из глубин его памяти. Он снова видел маленький белый домик по дороге в горы и сад с цветущими розами и вспоминал гордый печальный жест отказа, который ему надлежало сделать там, стоя рядом с нею в залитом лунным светом саду после долгих лет разлуки и странствий. В эти минуты тихие речи Клода Мельнота звучали в памяти и укрощали его тревогу. Его касалось нежное предчувствие верного свидания, которого он тогда ждал, – вопреки всему ужасающему, что легло между прежней его надеждой и нынешней, предчувствие той самой благословенной встречи, которая тогда ему представлялась и на которой бессилие, робость и неопытность мгновенно спадают с него.

Эти минуты проходили, и изнуряющее пламя похоти вспыхивало снова. Стихи больше не были у него на устах, и из сознания, требуя себе выхода, рвались наружу нечленораздельные крики, непроизносимые грязные слова. Кровь бунтовала. Он бродил взад и вперед по замызганным темным улицам, вглядываясь в черноту подворотен и переулков, жадно прислушиваясь ко всем звукам. Он был в одиночестве как зверь, потерявший след добычи. Он жаждал согрешить с существом себе

подобным, заставить это существо согрешить и вместе с ним самому возликовать во грехе. Он чувствовал, как что-то темное неудержимо движется на него из тьмы, что-то мягкое и шепчущее, словно поток, целиком переполняющий его собой. Этот шепот, будто шепот какого-то сонного сонмища, осаждал его слух, мягкие струи пронизывали все его существо. Его пальцы судорожно сжимались, зубы стискивались от муки этого всепронизывающего проникновения. На улице он протягивал руки, чтобы ухватить хрупкое и зыбкое очертанье, которое манило и ускользало, и крик, давно уже сдерживаемый в горле, слетал с его губ. Крик вырывался у него как стон отчаяния у страждущих в преисподней, и замирал как стон яростной мольбы, вопль несправедливой покинутости, вопль, который был всего лишь навсегда эхом непристойной надписи, увиденной им на мокрой стене писсуара.

Как-то он забрел в паутину узких и грязных улиц. Из вонючих проулков до него доносились шум, хрипкая брань, рев пьяных голосов. Это не трогало его, и он шагал дальше, гадая, не занесло ли его в еврейский квартал. Женщины и молодые девушки в длинных и ярких платьях, надушенные, с праздным видом прохаживались от дома к дому. Его охватила дрожь, в глазах потемнело. Перед затуманенным взором желтые газовые огни на фоне сырого неба пылали как свечи перед алтарем. У дверей и в освещенных передних стояли нарядные группы, как бы расположившиеся для какого-то обряда. Он попал в другой мир: он проснулся от тысячелетнего сна.

Он стоял посреди улицы, и сердце его неистово колотилось в груди. Молодая женщина в розовом длинном платье положила руку ему на плечо и заглянула в глаза.

– Добрый вечер, милашка Вилли! – весело сказала она.

В комнате у нее было тепло и светло. Большая кукла сидела, раздвинув ноги, в глубоком кресле подле кровати. Он старался заставить себя заговорить, чтобы казаться непринужденным, глядя, как она расстегивает платье, и следя за гордыми, уверенными движениями ее надушенной головы.

И когда он стоял так молча посреди комнаты, она подошла к нему и обняла его, весело и спокойно. Своими округлыми руками она крепко прижала его к себе, и, увидев ее серьезное и спокойное лицо, запрокинутое к нему, ощутив теплый спокойный ритм дыхания ее груди, он едва не разразился истерическим плачем. Слезы радости и облегчения сияли в его восхищенных глазах, и губы его разомкнулись, хотя не сказали ни слова.

Она провела позвякивающей рукой по его волосам и назвала его плутишкой.

– Поцелуй меня, – сказала она.

Его губы не склонились для поцелуя. Ему хотелось, чтобы она крепко держала его в объятиях и ласкала бы медленно-медленно, как можно медленнее. Он почувствовал, что в ее объятиях он внезапно стал сильным, бесстрашным и уверенным. Но его губы не склонились для поцелуя.

Внезапным движением она пригнула его голову и прижала свои губы к его губам, и он прочел смысл ее движений в откровенном, устремленном на него взгляде. Это было выше его сил. Он закрыл глаза, отдаваясь ей телом и душой, ничего больше в мире не сознавая, кроме темного притяжения ее мягко раздвинутых губ. Целуя, они касались не только губ, но и его сознания, словно выражали некую смутную речь, и он ощутил меж ними какое-то неведомое и робкое притяжение, темней, чем греховное забвенье, мягче, чем запах или звук.

### Глава III

После унылого дня явились, шутовски кувыряясь, стремительные декабрьские сумерки, и, уставившись в унылый квадрат окна классной комнаты, он чувствовал, как его брюхо требует пищи. Он надеялся, что на обед будет тушеное мясо, куски жирной баранины с морковью, репой и картофельным пюре, и он их будет вылавливать в сильно наперченном густомучнистом соусе. Давай-ка, набивай все в себя, рекомендовало брюхо.

Ночь придет мрачная и таящаяся. Стемнеет рано, зажгутся тут и там желтые фонари в убогом квартале веселых домов. Он отправится по своей неверной дорожке, описывая по улицам все сужающиеся круги, дрожа от радости и от страха, покуда вдруг ноги сами не завернут за темный угол. Шлюхи как раз будут выходить на улицу из своих домов, готовясь к ночи, лениво зевая после дневного сна и поправляя шпильки в прическах. Он спокойно пройдет мимо, дожидаясь внезапного импульса своей воли или внезапного зова со стороны надушенной мягкой плоти к его грехолюбивой душе. Но в этом рысканьи, ждущем зова, его чувства, лишь притупленные желанием, точно отметят все, что их унижает, ранит: глаза – кольцо пивной пены на непокрытом столе, фотографию двух стоящих навтыжку солдат, кричащую афишку; уши – грубый выговор окликов:

– Хэлло, Берти, чем порадуешь?

– Это ты, цыпочка?

– Десятый номер, тебя там Нелли-Свеженькая поджидает.

– Привет, муженек! заглянешь на короткий заход?

Уравнение на странице его черновика начало разворачиваться в широкий павлиний хвост, весь в глазках и звездах, а когда глазки и звезды показателей взаимно уничтожились, хвост начал медленно складываться обратно. Возникающие и исчезающие показатели – это были открывающиеся и закрывающиеся глазки; а открывающиеся и закрывающиеся глазки – это были рождающиеся и угасающие звезды. Необъятный цикл звездной жизни уносил усталый разум его вовне, за крайние пределы, и внутрь, к самому центру, и это движение вовне и внутрь сопровождала отдаленная музыка. Что за музыка? Музыка стала ближе, и ему припомнились слова из фрагмента Шелли о луне, что странствует одиноко, бледная от усталости. Звезды начали распадаться, и облака тонкой звездной пыли опадали в пространстве.

Унылый свет стал тускнеть на странице, где уже другое уравнение начало разворачиваться и медленно распускать широкий павлиний хвост. Это его собственная душа вступала в мир испытаний, развертываясь от греха ко греху, рассылая сигналы бедствия огнями своих пылающих звезд и снова свертываясь внутрь, в себя, мало-помалу тускнея, гася свои светильники и огни. Вот все погасли: и хладная мгла заполнила хаос.

Холодное, отчетливое безразличие царило в его душе. В страстном порыве его первого согрешенья он чувствовал, как волна жизненной силы хлынула из него, и боялся, что тело или душа его останутся искалечены потрясением. Вместо этого жизненная волна вынесла его на гребне вон из него самого и, схлынув, вернула

обратно: ничто ни в душе, ни в теле при этом не искалечилось, и между тем и другим установился некий сумрачный мир. Тот хаос, который поглотил его пыл, был холодным и безразличным знанием себя. Он совершил смертный грех не однажды, а множество раз, и знал, что уже и за первое согрешение ему грозит вечное проклятие, и каждый дальнейший грех умножает его вину и кару. Его дни, его труды, размышления не могли нести ему искупление, поскольку источники благодати освящающей перестали орошать его душу. Самое большее, ему еще оставалась усталая надежда снискать толику благодати действующей через подавание нищим; подавая, он убежал от их благословенья. На благочестие он махнул рукой. Какой смысл был молиться, когда он знал, что душа его алчет погибели? Некая гордость, некий благоговейный страх не позволяли ему обратиться к Богу хотя бы единственную молитву на ночь, хотя он знал, что в Божией власти было лишить его жизни во время сна и ввергнуть его душу в ад, прежде чем он успеет взмолиться о милосердии. Гордость собственным грехом и лишенный любви страх Божий внушали ему, что его преступление слишком тяжело, чтобы оно могло быть полностью или частично искуплено лицемерным поклонением Всевидящему и Всезнающему.

– Ну знаете, Эннис, я подозреваю, что у вас на месте головы набалдашник! Вы что, хотите сказать, вам неизвестно, что такое иррациональное число?

Бестолковый ответ расшевелил тлеющие угольки его презрения к соученикам. По отношению к другим он не испытывал ни стыда, ни страха. Проходя мимо дверей храма воскресным утром, он холодно взирал на молящихся, что с непокрытыми головами стояли в четыре ряда на паперти, присутствуя морально на службе, которой они не могли ни видеть, ни слышать. Унылая набожность и тошнотворный запах дешевого бриллиантина от их волос отталкивали его от святости, которой они поклонялись. Вместе с другими он впадал в грех лицемерия, относясь скептически к их простодушию, которое он мог с такой легкостью обмануть.

На стене в его спальне висела грамота, наподобие старинной лицевой рукописи, об избрании его старостой братства Пресвятой Девы Марии в колледже. По утрам в субботу, когда братство собиралось в часовне для малой богородичной службы, он занимал место справа от алтаря, с подушкой для коленапреклонений, и вел свое крыло хора в антифонах. Фальшивость его положения его не мучила. Хотя иногда у него возникал порыв встать со своего почетного места и, исповедав пред всеми все свое недостойнство, покинуть часовню, один взгляд на их лица убивал тут же этот порыв. Образы пророчествующих псалмов умиротворяли его бесплодную гордыню. Славословия Марии пленяли душу его: нард, мирра и ладан – символы драгоценных Даров Божиих ее душе, пышные одеяния – символы ее царственного рода, ее эмблемы, поздно цветущее дерево и поздний цветок – символы многовекового роста ее почитания среди людей. И когда к концу службы приходила его очередь читать Писание, он читал его приглушенным голосом, убавкивая свою совесть музыкой слов:

*Quasi cedrus exaltata sum in Libanon et quasi cupressus in monte Sion. Quasi palma exaltata sum in Gades et quasi plantatio rosae in Jericho. Quasi uliva speciosa in campis et quasi platanus exaltata sum juxta aquam in plateis. Sicut cinnamomum et balsamum aromatizans odorem dedi et quasi myrrha electa dedi suavitatem adoris*[92 - «Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне. Я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась. Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, распространила благоухание» (лат.). Сир. 24: 14–17; в латинском тексте у Джойса ряд мелких орфографических ошибок.].



Грех, что закрыл от него лик Господа, приблизил его к заступнице всех грешников. Ее очи, казалось, взирали на него с кроткой жалостью, ее святость, загадочный свет, мерцавший тихо от ее хрупкой плоти, не унижали прибегающего к ней грешника. Если что-либо порой влекло его отбросить грех и покаяться, то двигавший им порыв был не чем иным, как стремлением сделаться ее рыцарем. Если когда-либо душа его, стыдливо возвращаясь в свою обитель после того, как иссяк яростный приступ плотской похоти, устремлялась к той, чей символ – утренняя звезда, ясная и мелодичная, несущая весть о небе и вселяющая мир, это бывало в те мгновения, когда имена ее шептались тихо устами, которые ощущали еще вкус развратного поцелуя, с которых только что срывались постыдные, грязные слова.

Это было странно. Он пытался обдумать, как же это возможно, но сумрак, сгущавшийся в классе, окутал и его мысли. Прозвенел звонок. Учитель задал примеры к следующему разу и вышел. Цаплэнд рядом со Стивеном замурлыкал фальшиво:

Мой друг, прекрасный Бомбадос.

Эннис, который выходил в туалет, вернулся и объявил:

– За ректором из дома пришли.

Высокий ученик позади Стивена сказал, потирая руки:

– Тайм в нашу пользу! Целый час можем прохладиться, он назад теперь раньше полтретьего не придет. А там ты его сможешь изводить вопросами по катехизису, Дедал.

Стивен, откинувшись и рассеянно черкая по тетрадке с черновиками, прислушивался к болтовне вокруг, которую время от времени Цаплэнд умерял окриками:

– Эй вы, потише! Устроили тут бедлам!

Странно было и то, что он испытывал некое бесцельное удовольствие, прослеживая до самых корней строгую логику церковных учений или же проникая в их темные умолчания лишь для того, чтобы услышать и еще глубже прочувствовать собственную осужденность. Суждение святого Иакова, гласящее, что согрешивший против одной заповеди грешит против всех, казалось ему пустой фразой, пока он не начал разбираться в потемках собственного сознания. Из дурного семени похоти произросли все прочие смертные грехи: гордость собой и презрение к другим, алчность к деньгам, потребным на преступные наслаждения, зависть к тем, кто превосходил его в пороках, и клеветнические нашептыванья в адрес благочестивых, жадное наслаждение пищей, тупое затаенное бешенство, с которым он отдавался своим мечтаньям, трясина беспутства духовного и телесного, в котором погрязло все его существо.

Когда он, сидя за партой, смотрел спокойно в суровое пронизательное лицо ректора, ум его изощрялся в придумывании и разрешении каверзных вопросов. Если человек украл в юности фунт стерлингов и с помощью этого фунта сделал большое состояние, то сколько он должен вернуть – только ли украденный фунт, или же фунт со сложными процентами, что на него narosли, или же все огромное состояние? Если мирянин, совершая крещение, проделает окропление водой прежде соответствующих слов, будет ли дитя крещено? Является ли действительным крещение минеральной водой? Как это получается, что первая заповедь блаженства обещает царствие

небесное нищим духом, а в то же время вторая обещает кротким, что они наследуют землю?[93 - Мф. 5: 3-5.] Почему таинство евхаристии установлено под двумя видами, и хлебом и вином, если Иисус Христос телом и кровью, душой и божеством, присутствует уже в одном хлебе и в одной вине? Содержит ли малейшая частица освященного хлеба тело и кровь Христовы всецело или же только часть тела и часть крови? Если после их освящения вино обратится в уксус, а хлеб причастия зачерствеет и раскрошится, будет ли Иисус Христос по-прежнему присутствовать под их видами, как Бог и как человек?

– Идет, идет!

Один из учеников, стороживший у окна, увидел, как ректор вышел из орденского дома. Все катехизисы открылись, и все головы в молчании склонились над ними. Ректор вошел и занял свое место на возвышении. Высокий ученик сзади тихонько подтолкнул Стивена, чтобы тот задал трудный вопрос.

Но ректор не попросил дать ему катехизис, чтобы спрашивать по нему урок. Он сложил руки на столе и сказал:

– В среду мы начнем говение в честь святого Франциска Ксаверия, память которого празднуется в субботу. Говение будет продолжаться со среды до пятницы. В пятницу после дневных молитв исповедь будет приниматься до вечера. Для тех учеников, у кого есть свой духовник, будет, видимо, лучше не менять его. В субботу в девять часов утра будет литургия и общее причастие для всего колледжа. Занятий в субботу не будет. Конечно, и в воскресенье. Но некоторым захочется думать, что раз суббота и воскресенье праздники, то понедельник это тоже праздник. Постарайтесь не впасть в такую ошибку. Мне кажется, Лоулесс[94 - Фамилия, означающая «Беззаконный» (англ.)], что вы можете впасть в такую ошибку.

– Я, сэр? Почему, сэр?

Слабый всплеск сдержанного смеха прошел среди мальчиков от суровой улыбки ректора. Сердце Стивена стало медленно съеживаться и никнуть от страха, будто увядающий цветок.

Ректор продолжал вновь серьезно:

– Вам всем знакома, как я уверен, история жизни святого Франциска Ксаверия, покровителя нашего колледжа. Святой Франциск происходил из старинного, славного испанского рода, и, как вы помните, он был одним из первых последователей святого Игнатия. Они встретились в Париже, где Франциск Ксаверий преподавал философию в университете. Этот молодой блестящий аристократ и ученый всей душой и сердцем воспринял учение великого нашего основателя, и, как вы знаете, по его собственному желанию святой Игнатий его направил проповедовать слово Божие индусам. Вам известно, что он заслужил прозвание апостола Индии. Он странствовал из страны в страну по всему Востоку, из Африки в Индию, из Индии в Японию, крестя народы и племена. За один только месяц, как повествуют, он окрестил десять тысяч идолопоклонников. Повествуют также, что правая рука его отнялась, оттого что такое множество раз он поднимал ее, возлагая на головы крещаемых. Затем он имел намерение направиться в Китай, дабы обратить ко Господу еще новые души, но умер от лихорадки на острове Саньцзян. Он был великим святым, святой Франциск Ксаверий! Великим воином Божиим!

Ректор сделал паузу и затем продолжал, покачивая перед собой сомкнутыми

ладонями:

– В нем была та самая вера, которая движет горами. За один всего месяц – десять тысяч душ, обретенных для Господа! Вот истинный покоритель, верный девизу нашего ордена: *ad maiorem Dei gloriam!* Помните, что велика власть у сего святого на небесах: власть предстательствовать за нас в наших несчастьях, власть испросить для нас все, о чем молимся мы, если только будет это во благо душ наших, и, превыше всего, власть обрести для нас благодать раскаяния, если мы пребываем во грехе. То великий святой, святой Франциск Ксаверий! Великий ловец душ!

Он перестал покачивать сомкнутыми ладонями и, прижав их ко лбу, испытующе взглянул направо и налево на своих слушателей темными строгими глазами.

Среди тишины их темное пламя красновато поблескивало в опустившихся сумерках. Сердце Стивена сжалось, словно цветок пустыни, ощущающий приближение отдаленного самума.

\* \* \*

– Во всех делах твоих помни о конце твоём и вовек не согрешишь: эти слова, дорогие мои младшие братья во Христе, взяты из книги Экклезиаста, глава седьмая, стих сороковой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Стивен сидел в часовне на передней скамье. Отец Арнолл сидел за столиком слева от алтаря. Плечи его покрывал тяжелый плащ, лицо было осунувшимся и бледным, а в голосе слышалось, что он простужен. Лицо старого учителя, столь странно явившееся вновь, вызвало у Стивена воспоминания о жизни в Клонгоузе: большие спортивные площадки с толпами мальчиков, желоб в уборной, маленькое кладбище поодаль от главной липовой аллеи, на котором он себе представлял свои похороны, пламя камина, пляшущее на стене в лазарете, где он лежал больной, скорбное лицо брата Майкла. По мере того как эти воспоминания завладевали им, душа его снова становилась душой ребенка.

– Мы сегодня собрались здесь, дорогие мои младшие братья во Христе, на недолгий миг, вдалеке от всей суеты и дел мира, чтобы отпраздновать и почтить память одного из величайших святых, апостола Индии, а также и покровителя нашего колледжа, святого Франциска Ксаверия. Из года в год, с таких давних времен, каких не можем помнить ни вы, дорогие мои, ни я, – воспитанники колледжа собираются здесь, вот в этой часовне, для ежегодного говения перед праздником в честь своего святого покровителя. Шло и шло время, и с ним приходили перемены. Даже за несколько последних лет каких только перемен не назовут многие из вас! Иные из тех, кто совсем недавно сидел на этих передних скамьях, теперь, может быть, в дальних странах, в знойных тропиках – несут свой служебный долг в семинариях, в странствиях над необъятными морскими глубинами; а кого-то, может быть, Всевышний уже призвал в лучший мир, призвал держать перед Ним ответ в своем служении. Идут годы, неся с собой и добрые, и дурные перемены, но память великого святого по-прежнему чтится воспитанниками колледжа, и каждый год они устраивают говения в те дни, что предшествуют празднику, который наша святая мать церковь установила для увековечения имени и славы одного из величайших сынов католической Испании.

– Но что же значит это слово, говение, и отчего оно во всех отношениях считается самым спасительным обрядом для всех, кто стремится пред Богом и людьми вести

истинно христианскую жизнь? Говение, мои дорогие, означает отрешение на время от дел и забот жизни, мирских забот и трудов, – ради того, чтобы озаботиться состоянием нашей совести, подумать о тайнах святой религии и глубже понять, зачем же мы находимся в этом мире. В эти несколько дней я постараюсь вам изложить некоторые мысли, касающиеся четырех последних вещей. Вы знаете из катехизиса, что вещи эти суть смерть, Страшный суд, ад и рай. Мы приложим усилия, чтобы уразуметь их как можно лучше в течение этих дней и чтобы через уразумение извлеклась прочная польза для душ наших. И запомните, дети мои, что только ради одной-единственной цели все мы посланы в мир сей: исполнять волю святую Божию и спасти наши бессмертные души. Все же прочее – тлен. Одно и только одно насущно, спасение души. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир и потеряет свою бессмертную душу?[95 - Мк. 8: 36.] Поверьте, дорогие дети мои, нет ничего в этом бренном мире, что бы могло возместить такую потерю.

– Поэтому я прошу вас, дети мои, на эти несколько дней убрать все мирское из ваших мыслей, будь то уроки, развлечения или честолюбивые надежды, и все ваше внимание обратить лишь на состояние душ ваших. Я вряд ли вам должен напоминать, что в дни говения всем воспитанникам подобает себя вести тихо, с особенным благочестием, и не предаваться шумным неуместным забавам. Конечно, следить за этим надлежит старшим. И я особенно обращаюсь к старостам и к членам братства Пресвятой Девы и братства святых ангелов, чтобы они подавали бы добрый пример своим сотоварищам.

– Постараемся же совершать это говение в честь святого Франциска, предаваясь ему всем сердцем и всем помышлением нашим. Тогда благословение Божие пребудет с вами во всех ваших занятиях в этом году. Но главное и важнейшее – чтобы это говение стало бы тем событием, на которое вы бы смогли оглянуться чрез много лет, когда, может быть, будете уж вдали от своего колледжа, совсем в другой обстановке, – оглянуться с радостью и признательностью и воздать хвалу Богу за то, что Он вам дал этот случай заложить первый камень благочестивой, достойной, ревностной христианской жизни. И если – как ведь может случиться – есть сейчас на этих скамьях страждущая душа, кому выпало несказанное несчастье утратить Божию благодать и впасть в тяжкий грех, я горячо уповаю и молюсь, чтобы это говение стало бы точкой поворота в жизни бедной души. Молю Бога, чтобы силою заслуг ревностного Его служителя Франциска Ксаверия душа сия была бы приведена к чистосердечному раскаянию и, прияв святое причастие в день святого Франциска, положила бы нерушимый завет между собою и Богом. Равно для праведного и неправедного, для святого и грешника, да будет это говение памятно.

– Помогите же мне, дорогие мои младшие братья во Христе! Помогите своим благоговейным настроением, благочестивым вниманием, подобающим поведением. Изгоните из разума все мирские предметы, размышляйте лишь об одних последних вещах: о смерти, Страшном суде, аде и рае. Тот, кто помнит об этих вещах, – так говорит Экклезиаст – тот никогда не согрешит. Тот, кто помнит о них, у того они всегда будут перед глазами во всех его делах и помышлениях. Он будет вести праведную жизнь и умрет праведной кончиной, непреложно зная и веруя, что, если он многим жертвовал в своей земной жизни, ему воздастся за то сторицей, воздастся тысячекратно в жизни будущей, в царствии без конца – и этой блаженной участи я вам желаю от всего сердца, дети мои, желаю всем вам и каждому, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

Когда он возвращался домой в толпе притихших товарищей, его сознание словно обволакивал густой туман. Оцепеневший ум ждал, когда туман рассеется и откроет то, что скрыто под ним. С угрюмой жадностью он поглощал ужин, и, когда все

разошлись, оставив на столе сальные тарелки, он встал и подошел к окну, прочищая языком внутри рта и облизывая жирные губы. Значит, он пал до состояния зверя, который облизывает морду, нажравшись. Это был финиш; и сквозь туман в сознании начали пробиваться слабые искры страха. Прижав лицо к холодному стеклу окна, он стал смотреть на улицу, где быстро смеркалось. В сером свете сновали в разные стороны тени прохожих. То была жизнь. Буквы слова Дублин тяжело давили на его мозг, грубо, настойчиво, угрюмо пихая одна другую то туда, то сюда. Душа тяжелела, жирела, застывала жировой массой, в тупом страхе падала в зловещую бездну сумрака, меж тем как тело, бывшее его телом, бессильное и оскверненное, стояло, ища тускнеющим взглядом, беспомощным, беспокойным, человеческим, какого-то бычьего бога, чтобы уставиться на него.

На следующий день явились смерть со Страшным судом, медленно извлекая его душу из вялого отчаяния. Слабые искры страха обратились в ужас духовный, когда с хриплым голосом проповедника смерть повеяла в его душу. Он переживал агонию. Он чувствовал, как смертный холод касается его конечностей и ползет к сердцу, как смертная поволока задевает глаза, ярко лучащиеся мозговые центры гаснут один за другим, как фонари; капли предсмертного пота выступают на коже; теряют силу отмирающие мышцы, речь заплетается, сбивается, молкнет, сердце бьется слабей, слабей, вот-вот остановится, и дыхание, бедное дыхание, бедный немощный человеческий дух, всхлипывает, прерывается, хрипит и клоочет в горле. Помощи нет! Нет помощи! Он, он сам, его тело, которому он во всем покорялся, умирает. В могилу его! Заколотите его в деревянный ящик, этот труп, унесите его из дома прочь на плечах наемников. Долой его с глаз людских, в глубокую яму, в землю, в могилу, и он будет там гнить, кормить копошащиеся тучи червей, пожираться верткими и отъевшимися крысами.

И пока еще друзья стоят в слезах у смертного ложа, душа грешника уже предстает перед судом. В последнюю сознательную минуту вся жизнь земная пройдет перед взором души, но, прежде чем душа успеет хоть о чем-то подумать, тело умрет, и, объятая ужасом, предстанет она перед престолом Судии. Бог, который столь долго был милосерден, воздаст теперь по заслугам. Он был долготерпелив, увещевал грешную душу, давал ей время раскаяться, снова и снова ее щадил. Но это время прошло. Было время грешить и наслаждаться, время пренебрегать Богом и наставлениями Его святой церкви, бросать вызов Его могуществу, противиться Его велениям, обманывать себе подобных, время совершать грех за грехом, и снова грех за грехом, и скрывать от людей свою порочность. Но это время закончилось. Настал час Божий: и Бога уже не обмануть и не провести. Каждый грех явится тогда на свет из своего тайного убежища, и самый мятежный в противлении воле Божией и самый постыдный для скудной и падшей нашей природы, и самая крохотная ущербность и самая гнусная жестокость. Что пользы тогда, что ты был некогда великим правителем или великим воителем, хитроумным изобретателем, ученейшим среди ученых? Все равны пред престолом суда Божия. Бог наградит праведных и покарает грешных. В единый миг вершится суд над душой человека. В единый миг, миг смерти тела, душу взвешивают на весах. Суд над нею свершен – и душа переходит в обитель блаженства, или в темницу чистилища, или, стеная, низвергается в ад.

Но это еще не все. Правосудие Божие еще должно быть свершено пред всеми: после этого, личного суда еще предстоит всеобщий. Настал последний день – пришел Страшный суд. Звезды небесные падают на землю, словно плоды смоковницы, сотрясаемой ветром. Солнце, сей великий светильник вселенной, стало подобно власнице, и луна сделалась красна как кровь. Небо скрылось, свившись как свиток. Архангел Михаил, предводитель небесного воинства, является в небесах, грозен и величествен. Став одной ногою на море, другой – на сушу, в

архангельскую трубу свою медным гласом он вострубил смерть времен. Три гласа трубы ангельской наполнили всю вселенную. Время есть, время было, но времени не будет больше. С гласом последним души всего рода человеческого ринутся в Иосафатову долину, богатые и бедные, знатные и простые, мудрые и глупые, добрые и злые. Душа каждого создания человеческого, когда-либо жившего, души всех, кому еще предстоит родиться, все сыны и дочери Адамовы, все соберутся в этот высший из дней. И се грядет высший судия! То уже не смиренный Агнец Божий, не кроткий Иисус из Назарета, не Муж Скорбящий, не Добрый Пастырь. Ныне видят его грядущим на облаках в великой силе и славе, и все девять чинов ангельских предстанут в свите его: ангелы и архангелы, начала, власти и силы, престолы и господства, херувимы и серафимы – Бог Вседержитель, Бог предвечный! Возговорит Он, и глас Его достигнет во все дальние пределы, вплоть до бездонных бездн. Высший судия, чей приговор окончателен и ни в чем не может быть изменен. Он призвет праведных одесную Себя и скажет им войти в царство вечного блаженства, уготованное для них. Неправедных же изгонит от Себя, вскричав в оскорбленном Своем величии: Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его [96 - Мф. 25: 41.]. О, что за мука тогда ожидает злосчастных грешников! Друг отторгается от друга, дети отторгаются от родителей, мужа от жен. Несчастный грешник простирает руки к тем, кто был дорог ему в этой земной жизни, к тем, чью простодушную набожность он, быть может, высмеивал, к тем, кто увещевал его и пытался наставить на путь праведный, к доброму брату, к милой сестре, к матери и отцу, которые так любили его. Но поздно! Праведные отворачивают лицо от жалких погибших душ, кои теперь явились перед глазами всех в истинном своем мерзостном обличье. О вы, лицемеры, вы, гробы повапленные, вы, являвшие миру лица с умильными улыбками, когда души ваши суть зловонное болото грехов, – что станет с вами в этот грозный день?

А день этот придет, неминуемо придет, должен прийти – день смерти, день Страшного суда. В удел человеку даны смерть и суд после смерти. Смерть ждет нас, мы это знаем точно. Но мы не знаем ее часа и ее вида, от долгого ли недуга или от внезапного случая, – Сын Божий грядет в тот час, когда ты не ожидаешь Его. Так будьте же готовы во всякий час, памятуя, что смерть может прийти в любую минуту. Смерть – общий удел наш. Смерть и суд, принесенные в мир грехом наших прародителей, суть темные врата, что закрываются за нашим земным существованием и открываются в неведомое и невиданное, врата, чрез которые должна пройти каждая душа, пройти одна, не имея в помощь ни друга, ни брата, ни родителя, ни наставника, без всякой опоры, кроме своих добрых дел, – одна трепещущая душа. Да пребудет мысль эта всегда с нами, и тогда мы не сможем грешить. Смерть, этот источник ужаса для грешника, – благословенный миг для того, кто шел праведным путем, исполняя долг, отвечающий его месту в жизни, вознося утренние и вечерние молитвы, приступая к Святому Причастию почасту и творя добрые милосердные дела. Для верующего и благочестивого католика, для праведного человека смерть не будет источником ужаса. Разве не послал Аддисон, великий английский писатель, будучи на смертном одре, за порочным молодым графом Уорвиком, дабы тот мог взглянуть, как встречает христианин свою кончину. Да, только верующий и благочестивый католик, он один лишь может воскликнуть в своем сердце:

Смерть! Где твое жало?

Ад! Где твоя победа? [97 - 1 Кор. 15: 55; то же – Ос. 13: 14.]

Каждое слово здесь было прямо к нему. Весь гнев Божий направлен был против его греха, мерзостного, потаенного. Нож проповедника проник в глубину его больной совести, и он ощутил в душе своей заразу греха. Да, проповедник прав. Настал Божий час. Как зверь в своем логове, душа его улеглась в собственной грязи, но

глас трубы ангельской вызвал ее на свет из греховной тьмы. Весть о конце, возглашенная архангелом, в одно мгновение разрушила его самонадеянное спокойствие. Вихрь последнего дня ворвался в сознание, и грехи, златоглазые блудницы его мечтаний, бросились врассыпную от этого урагана, в ужасе издавая мышинный писк, прикрываясь гривой волос.

Когда он переходил площадь по дороге домой, звонкий девичий смех коснулся его пылающих ушей. Этот легкий радостный звук поразил сердце его сильнее, чем архангельская труба; не смея поднять глаза, он отвернулся и, проходя мимо, усиленно смотрел в гущу разросшегося кустарника. Из сокрушенного сердца поднялась волна стыда, охватившая все его существо. Образ Эммы встал перед ним, и под ее взглядом волна стыда, хлынувшего из сердца, накатила еще сильнее. Если бы она только знала, чему она подвергалась в его воображении, как его скотоподобная похоть терзала и попирала ее невинность! И это вот была отроческая любовь? Рыцарство? Поэзия? Мерзостные детали его оргий разили удушающим зловонием. Пачка открыток, перепачканных сажей, которые он прятал в дымоходе и перед бесстыжим или стыдливым распутством которых лежал часами, мыслью и делом предаваясь греху; чудовищные сны, где являлись обезьяноподобные существа и блудницы с горящими золотыми глазами; длинные омерзительные письма, которые он писал, упиваясь изливаниями своих скверн, и таскал подолгу с собой тайком, чтобы незаметно в темноте подбросить их в траву на углу сквера или под какую-нибудь дверь, или засунуть в щель забора, где девушки, проходя, могли бы увидеть их и после тайком прочесть. Безумец! Безумец! Неужели он делал это все? Мерзостные воспоминания, теснясь в мозгу, вызвали на лбу у него холодный пот.

Когда приступ стыда утих, он попытался заставить свою душу восстать из ее убогой немощи. Бог и Пресвятая Дева были слишком далеки от него. Бог слишком велик и суров, а Пресвятая Дева слишком чиста и непорочна. Но он представил, что стоит рядом с Эммой где-то на широкой равнине и со слезами смиренно наклоняется и целует ее рукав у локтя.

На бескрайней равнине, под нежно-прозрачным вечерним небом, бледно-зеленым морем, где проплывает на запад одинокое облако, – они стоят рядом, двое провинившихся заблудших детей. Своей провинностью они нанесли поругание величю Божию, хотя это и была провинность двоих детей, но они не нанесли поруганья ей, чья красота не подобие земной красоты, опасной для взора, но подобие утренней звезды, служащей ее символом, ясна и мелодична. Она обращает на них свой взор, и в этом взоре нет ни гнева, ни укоризны. Она соединяет их руки и говорит, обращаясь к их сердцам:

– Возьмитесь за руки, Стивен и Эмма. В небесах сейчас дивный вечер. Вы повинны, но вы по-прежнему мои дети. Здесь сердце, что любит другое сердце. Возьмитесь за руки, дорогие дети мои, и вы будете счастливы вместе, и сердца ваши будут любить друг друга.

Церковь была залита тусклым, багровым светом, сочившимся сквозь опущенные занавеси, а в щель между крайней занавесью и оконной рамой проникал луч бледного света, вонзаясь, словно копьё, в медные выпуклости канделябров у алтаря, которые поблескивали, как помятые в битвах ангельские доспехи.

Дождь лил на часовню, на сад, на колледж. Он мог бы лить так бесконечно, беззвучно. Вода будет подниматься дюйм за дюймом, затопит траву и кусты, затопит деревья и дома, затопит памятники и вершины гор. Все живое беззвучно захлебнется – птицы, люди, слоны, свиньи, дети – трупы, беззвучно плавающие посреди груд

обломков мировой катастрофы. Сорок дней и сорок ночей будет лить дождь, покуда вода не затопит лица земли.

Так может быть. А почему нет?

– Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою. Слова эти, дорогие мои младшие братья во Христе, из книги пророка Исайи, глава пятая, стих четырнадцатый. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Проповедник достал часы без цепочки из внутреннего кармана сутаны и одно мгновение глядел молча на циферблат. В молчании он положил их перед собой на стол.

Ровным голосом он начал:

– Вы знаете, дорогие мои друзья, что Адам и Ева – наши прародители, и вы помните, что Бог сотворил их, дабы вновь заполнилось место, опустевшее на небесах после падения Люцифера и восставших с ним ангелов. Люцифер, как сказано нам, был сын зари, денница, ангел сияющий и могущественный; однако же он отпал – отпал, и отпала с ним треть небесного воинства – отпал и низвергнут был вместе со своими восставшими ангелами во ад. Каков был грех его, мы не знаем. Богословы полагают, что это был грех гордыни, греховный помысл, родившийся в некое мгновение: *pop serviam* – не буду служить. Это мгновение погубило его. Он оскорбил величие Господа греховным помыслом одного мгновения, и Господь низверг его с неба в преисподнюю на веки вечные.

– Тогда Господь сотворил Адама и Еву и поселил их в Эдеме, в долине Дамасской, в чудесном саду с изобилием роскошных растений, в саду, сияющем светом и всеми красками. Плодородная земля оделяла их своими дарами – звери и птицы служили и повиновались им – и они не ведали тех зол, кои наследует наша плоть, болезней, нужды и смерти, – Господь великий и щедрый для них сделал все, что мог сделать. Но одно условие им поставлено было Богом – повиновение Его слову. Они не должны были вкушать плоды от запретного дерева.

– Увы, дорогие друзья мои, они тоже пали. Сатана, некогда ангел сияющий, сын зари, а ныне коварный враг, явился им во образе змея, хитрейшего из всех зверей полевых [98 - Быт. 3: 1.]. Он завидовал им. Падший с высот величия, не мог он вынести мысли, что человек, персть земная, будет обладать тем наследием, которое сам он во грехе своем утратил навеки. Он пришел к жене, ибо была она сосудом слабейшим, и, влив яд речей своих ей в уши, посулил ей – о, святотатственный посул! – что если она и Адам вкусят запретного плода, то станут как боги, станут как Сам Создатель. И подалась Ева на обман первоискусителя. Она вкусила от яблока и дала также его Адаму – а у того не достало духа устоять против нее. Ядовитый язык сатаны сделал свое дело. Они пали.

– И тогда в саду раздался глас Бога, призывающего тварь Свою, человека, к ответу. И Михаил, предводитель небесного воинства, с огненным мечом в руке, явился перед преступной четой и изгнал их из рая в мир, в мир нужды и болезней, жестокости и неправды, труда и лишений, дабы в поте лица добывали они хлеб свой. Но даже и тогда насколько милосерден был Бог! Сжалился Он над нашими несчастными падшими прародителями и обещал, что, когда исполнится час, Он пошлет с небес на землю Того, Кто искупит их, вновь сделает их чадами Божьими, наследниками царства небесного: и тем Искупителем падшего человека предстояло быть единокордному Сыну Божию, Второму Лицу Пресвятой Троицы, Вечному Слову.



– Он пришел. Он родился от Пречистой Девы Марии, девы-матери. Он родился в Иудее во убогом хлеву и жил смиренным плотником тридцать лет, пока не наступил час Его служения. Тогда, преисполненный любви к людям, Он выступил и воззвал, дабы они выслушали новую весть от Бога.

– Слушали ли они Его? Да, слушали, но не слышали. Его схватили и связали как какого-нибудь преступника, насмеялись над Ним как над безумцем, предпочли Ему разбойника с большой дороги, бичевали Его пятью тысячами ударов, возложили на Его главу терновый венец; чернь иудейская и римская солдатня волокли Его по улицам, сорвали с Него одежды и пригвоздили к кресту, пронзили Ему ребро копьем, и из раненого тела нашего Господа истекли кровь и вода.

– Но даже и тогда, в этот час величайшей муки, наш Милосердный Искупитель явил жалость к роду людскому. Там, на Голгофе, основал Он святую католическую церковь, которую по Его обетованию не одолеют врата адовы. Он воздвиг ее на вековечной скале и наделил ее Своею благодатью, таинствами и бескровною жертвою, и обещал, что если люди будут послушны слову церкви Его, то внидут в жизнь вечную, но если и после всего, содеянного для них, будут они коснеть во грехах – уделом их станут вечные муки: ад.

Здесь голос проповедника упал. Он сделал паузу, сложил на мгновение ладони, потом разнял их. И продолжал речь:

– Теперь попробуем на минуту представить, насколько сможем, что же такое эта обитель проклятых, созданная правосудием Божиим для вечной кары грешникам. Ад – это тесная, мрачная, смрадная темница, обитель бесов и погибших душ, полная пламени и дыма. Теснота темницы по плану Божию должна служить наказанием для тех, кто не желал подчиняться Его законам. В земных тюрьмах несчастный узник имеет хотя бы некоторую свободу движений, пускай лишь в четырех стенах камеры или в мрачном тюремном дворе. В аду и этого нет. Там, из-за великого множества осужденных, пленники нагромождены все вместе в своей ужасной тюрьме, у которой толщина стен, как говорят, достигает четырех тысяч миль, и они там стиснуты и беспомощны до такой крайности, что, как свидетельствует блаженный святой, святой Ансельм, в книге о подобиях, они даже не могут отогнать червей, гложащих их глаза.

– Они лежат во тьме внешней[99 - Мф. 8: 12.]. Ибо, запомните, огонь адский не дает света. Как по велению Божию огонь печи Вавилонской утратил свой жар, однако не свет, так же по Божию велению огонь преисподней, сохраняя всю силу жара, пылает в вечной тьме. То вечно бушующий ураган тьмы, темных языков пламени и темного дыма горячей серы, и в этом урагане до тел, нагроможденных горами друг на друга, не достигает ни единого глотка воздуха. Из всех казней, коими поразил Господь землю Фараонову, одна лишь только казнь тьмой была названа ужасною. Каким же именем может тогда быть названа тьма адская, которой суждено длиться не три дня, но веки вечные?

– Ужас этой тесной и темной тюрьмы усиливается еще от ее чудовищного смрада. Сказано, что вся грязь земная, все нечистоты и отбросы мира будут стекаться туда, словно в бездонную сточную яму, когда очистительное пламя судного дня охватит мир. К тому же сгорающие там огромные массы серы тоже наполняют всю преисподнюю нестерпимым смрадом, и самые тела осужденных издадут настолько тлетворное зловоние, что даже единого из них, как говорит святой Бонавентура, достаточно, чтобы отравить весь мир. Сам воздух нашего мира, эта чистейшая

стихия, становится смрадным и удушливым, когда долго застаивается. Подумайте же, какова должна быть смрадность адского воздуха. Вообразите зловонный разложившийся труп, который лежал и гнил в могиле, превращаясь в студенистую массу, в липкую и гнойную жижу. Вообразите, что этот труп передается огню, пожирается пламенем горячей серы и испускает кругом густой, удушливый дым омерзительного и тошнотворного разложения. И теперь вообразите этот невыносимый смрад усиленным в миллионы и миллионы раз за счет бесчисленных миллионов и миллионов зловонных останков, сваленных грудями в вонючей тьме, – невероятный разлагающийся, гниющий нарост человеческого дикого мяса. Вообразите все это, и у вас будет некоторый образ жуткого смрада преисподней.

– Но как ни ужасен этот смрад, это еще не самая тяжкая из телесных мук, которым подвергаются осужденные. Тягчайшая из всех пыток, которым тираны когда-либо подвергали своих смертных собратьев, это пытка огнем. Поднесите на мгновение палец к пламени свечи, и вы ощутите боль от огня. Но земной огонь создан Богом на благо человеку – для поддержания в нем искры жизни, для помощи в полезных трудах его, меж тем как адский огонь – иного рода и создан Господом для мучения и кары нераскаянных грешников. Огонь земной пожирает предмет свой более или менее быстро, в зависимости от того, насколько этот предмет горючий, так что людская изобретательность даже придумала химические средства, что могут умерить или задержать сгорание. Но сера, горящая в преисподней, это вещество, специально предназначенное к тому, чтобы гореть веки вечные с бушующей яростью. Более того, наш земной огонь, когда он горит, уничтожает, так что чем сильнее он пылает, тем меньше длится – но огонь адский имеет то свойство, что он жжет, не истребляя сжигаемое, и потому, хотя он бушует с неистовой силой, он длится вечно.

– Земной огонь наш, к тому же, сколь ни было бы огромно и яростно его пламя, всегда имеет пределы – но огненное озеро преисподней безгранично, безбрежно и бездонно. Свидетельствуют, что сам сатана, будучи спрошен неким воином, был должен признаться, что, если бы целая гора низверглась разом в пылающий океан преисподней, она сгорела бы в одно мгновение, как капля воска. И это страшное пламя будет терзать тела осужденных не только извне – каждая из погибших душ вся целиком превратится в ад, и необъятное пламя будет бушевать в ее недрах. О, как ужасна участь этих пропащих! Кровь делается бурлящим кипятком, мозг прикипает к черепу, сердце в груди разбухает и разрывается, кишки – пылающая докрасна раскаленная каша, глаза, такие чувствительные, пылают расплавленными шарами.

– Но все, что я говорил про свойства этого пламени, его безграничность, ярость, все это ничто по сравнению с его невыносимым напором – напором, который дан ему Божиим промыслом как орудие, избранному для кары и душ, и тел. Пламя это прямо порождено гневом Божиим, и действует оно не своею силой, а как орудие божественного возмездия. Как воды крещальные очищают душу совместно с телом, так и огонь карающий истязает дух вместе с плотью. Казнится каждое из телесных чувств, и купно каждая из способностей души: зрение терзает кромешная непроглядная тьма, обоняние – отравляющие миазмы, слух – вопли, завывания и проклятья, вкус – гадостная гниль, гнойники проказы, неведомая тухлая грязь, осязание – раскаленные щупы и острия, языки безжалостного огня. И чрез муки всех чувств вечно мучится и бессмертная душа в самом своем существе, среди неисчислимых миль и миль пылающего огня, который возжен был в бездне разгневанным величием Всемогущего, и дыханием Его гнева раздуваем все яростнее и яростнее, века и века, вечно и непрестанно.

– Вспомните, наконец, что мучения в этой темнице адской еще усиливаются и самим обществом пропащих. В земной жизни дурное общество так губительно, что даже

растения как бы инстинктом избегают соседства всего, что для них губительно и вредно. В аду все законы перевернуты – здесь не думают о семье, о родине, о родственных или иных узах. Осужденные воют и вопят друг на друга, их муки и ярость лишь усиливаются от присутствия других существ, разъяренных и мучимых, как они сами. Всякое чувство человечности позабыто. Все пространства, все закоулки громадной бездны заполнены страдающими воплями грешников. Уста осужденных изрыгают хулу на Бога, ненависть к товарищам по несчастью, проклятия всем сообщникам по греху. В старину был один обычай наказания за отцеубийство: человека, поднявшего преступную руку на отца своего, бросали в море в мешке, куда вместе с ним зашиты были петух, обезьяна и змея. Те, что ввели такой закон, сегодня нам кажущийся столь жестоким, хотели, чтобы наказанием преступнику служило бы также и соседство злобных и вредоносных тварей. Но что ярость бессловесных тварей в сравнении с яростью проклятий, изрыгаемых спекшимися губами и горящими глотками адских узников, когда в терзаемых по соседству они узнают своих помощников и сообщников во грехе, тех, чьи слова посеяли в их умах первые семена злых помыслов, злых поступков, чьи наглые подстрекания толкали их ко греху, чьи взоры их соблазнили и совращали с пути праведного. Со всей силой тогда узники ополчаются на своих сообщников, поносят и проклинают их. Но нет уже для них ни помощи, ни надежды – им поздно уже раскаиваться.

– А в заключение еще прибавьте сюда страшные муки этих погибших душ, как соблазнитель, так и соблазненных, идущие от бесовского сообщества. Бесы несут страдания осужденным двояко, самим присутствием своим и своими попреками. Мы даже не можем представить, как мерзостны эти бесы. Святая Екатерина Сиенская однажды видела беса, и она писала, что выбрала бы скорей ходить по раскаленным угольям до конца дней своих, чем еще раз увидеть хотя б на миг столь ужасающее чудовище. Бесы эти, что были некогда прекрасными ангелами, стали настолько же мерзки и уродливы, сколь прежде были прекрасны. Они издеваются и глумятся над погибшими душами, которых сами же довели до гибели. В аду эти гнусные бесы превратились в глас совести. Зачем ты грешил? Зачем слушал вражеские наущения? Зачем отошел от жизни благочестивой, от добрых дел? Почему не избегал опасности согрешить? Не избегал дурных компаний, знакомств? Почему не бросил вот ту, вот эту нечистую и распутную привычку? Почему не слушал советов духовника твоего? И почему, согрешив в первый или во второй или в третий или хоть в сотый раз, ты не покаялся и не обратился со скольких путей твоих к Господу, который неустанно ждал твоего раскаяния, дабы простить и отпустить тебе твои грехи? Но теперь ушло уже время для раскаяния. Время есть, время было, но времени больше не будет! Было время грешить тайком, предаваться лени, гордыне, вожделеть незаконного, уступать прихотям своей низменной природы, жить, подобно зверям полевым – нет, хуже зверей, ибо они лишь животные, не имеющие разума, который бы ими управлял, – было время, но времени больше не будет. Многими голосами Господь говорил к тебе, но ты не хотел слушать. Не хотел победить гордыню и гнев в сердце, возратить то, что нажил неправедно, следовать правилам святой церкви, исполняя духовный долг свой, бросить сообщников, погрязших в грехе, бежать от опасных искушений. Таковы речи этих дьявольских мучителей, речи, клеймящие, упрекающие, полные ненависти и отвращения. Да, отвращения! Ибо даже они, сами бесы, грешили всего лишь единственным грехом, что совместим с ангельской их природой, бунтом разума, – и даже они, мерзкие бесы, должны с возмущением и отвращением отвернуться от зрелища тех неслыханных грехов, какими павший человек оскверняет и оскорбляет храм Духа Святого, оскверняет и растлеивает себя.

– О, дорогие мои младшие братья во Христе, да не выпадет нам судьба слышать такие речи! Да не выпадет нам судьба сия! Горячо молю Бога, чтобы в последний день страшного подведения счетов ни единая душа из стоящих ныне в этой часовне

не оказалась бы среди тех несчастных, кому Великий Судия повелит скрыться навеки от очей Его, чтобы ни один из нас не испытал, как раздастся в ушах его страшный приговор отвержения: Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его!

Он вышел из бокового придела, ноги его подкашивались, кожа на голове вздрагивала, будто ее касались пальцы призрака. Поднявшись по лестнице, он вошел в коридор, по стенам которого висели пальто и плащи, словно злодеи на виселицах, обезглавленные, истекающие кровью, бесформенные. С каждым шагом его охватывал страх, что он уже умер, душа его вырвана из телесной оболочки и он, вышвырнутый головой вперед, несется в пространстве.

Не в силах твердо стоять, он тяжело опустился за свою парту, не глядя взял какой-то учебник и уставился в него. Все сказанное было о нем! И было верно. Бог всемогущ. Бог может призвать его сейчас, сию минуту, сидящего вот за этой партой, прежде чем он даже осознает, что его призывают. Бог призвал его. А? Что? А? Его плоть сжалась, будто уже чувствуя приближение жадных языков пламени, стала сухой, будто ощутив касание удушающего вихря. Он умер. Да. Его судят. Огненная волна прокатилась сквозь его тело – первая. Затем другая. Мозг начал раскаляться. Еще волна. Мозг вскипает, пузырится в лопающейся коробке черепа. Языки пламени вырываются из черепа огненным венцом, вопят человеческими голосами:

– Ад! Ад! Ад! Ад!

Голоса раздались подле него:

– Про ад.

– Ну как, задолбал он вас?

– Не говори, аж все посинели.

– Так только и надо с вами – да еще бы покруче, чтоб взяли за работу.

Обессиленный, он откинулся на спинку парты. Нет, он не умер. Покамест Бог пощадил его. Покамест он еще был в школьном знакомом мире. У окна стояли мистер Тэйт и Винсент Цаплэнд, беседовали и шутили, глядя на унылый дождь и покачивая головами.

– Надеюсь, небо расчистится. Мы тут сговаривались с друзьями прокатиться к Малахайду на велосипедах. Но на дорогах сейчас, небось, по колено.

– Может быть, расчистится, сэр.

Такие знакомые голоса, знакомые разговоры, тишина в классе, когда голоса замолкли и раздавались лишь звуки мирно пасущегося стада – то мальчики жевали в спокойствии свои завтраки, – все это убавкивало его душевную боль.

Еще есть время. О, Дева Мария, прибежище грешников, заступись! О, Дева Непорочная, спаси от пучины смерти!

Урок английского начался с заданий на историческую тему. Царственные особы, фавориты, интриганы, епископы как безмолвные привидения проходили под покровом имен. Все умерли – все были судимы. Какая польза человеку приобрести мир, если

он потеряет свою душу? Он понял наконец. Вокруг простиралась человеческая жизнь: мирная долина, на которой братски трудились люди-муравьи, а их мертвые спали тихим сном под могильными холмами. Его коснулся локоть соседа, и сердце тоже ощутило касание – и когда он отвечал на вопрос учителя, то слышал собственный голос, проникнутый спокойствием смирения и раскаяния.

Душа его продолжала погружаться в стихию мира и покаяния, она больше была не в силах терзаться ужасом и, погружаясь, возносила робкую молитву. О да, он будет помилован: он покается в сердце своем и будет прощен, и тогда сущие там, над нами, сущие на небесах, увидят, как он будет навёрстывать, искупать прошлое – всей жизнью, каждым часом ее. Только помедлите!

– Всем, Господи! Всем, всем!

Кто-то приоткрыл дверь и сказал, что в часовне уже принимают исповедь. Четверо мальчиков вышли из класса, и он слышал, как по коридору проходят другие. Холодок и дрожь пробежали по сердцу, они были несильные, как легкое дуновение, но, молча прислушиваясь и страдая, он испытывал такое чувство, словно приложил ухо к самому сердцу и чувствовал его вплотную, испуганно дрожащим, слышал трепыхание его желудочков.

Никакого выхода нет. Он должен исповедаться, высказать словами все, что делал и думал, грех за грехом. Но как же? Как?

– Отец, я...

Эта мысль как холодное блестящее лезвие вошла в его податливую, слабую плоть: исповедь. Но только не здесь, не в часовне колледжа. Он исповедуеться во всем, в каждом грехе содеянном или мысленном, чистосердечно – но только не здесь, среди соучеников. Подальше отсюда, где-нибудь в глухом месте он вышпечет свой позор – и смиренно он молил Бога не гневаться на него за то, что у него не хватает смелости исповедаться в школьной часовне, и в беспредельной приниженности духа просил безгласно, чтобы его простили и отроческие сердца товарищей.

А время шло.

Он снова сидел в часовне на передней скамье. Дневной свет снаружи уже слабел и, тускло просачиваясь сквозь красные занавеси, рождал впечатление, как будто заходит солнце последнего дня и души всех созываются на Страшный суд.

– Отвержен я от очей Твоих – слова эти, дорогие мои младшие братья во Христе, из псалма тридцатого, стих двадцать третий. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Проповедник заговорил спокойным и приветливым голосом, у него было доброе лицо. Мягким движением он сложил вместе пальцы ладоней, и между их сомкнутыми кончиками образовалась хрупкая клетка.

– Сегодня утром в нашем размышлении об аде мы пытались достичь того, что святой основатель нашего ордена в своей книге духовных упражнений именуется воображением места. Иными словами, мы пытались вообразить чувствами нашего разума, то есть нашим воображением, материальную природу этого ужаснейшего места и физические мучения, которые испытывают все пребывающие в аду. Сейчас, в этой вечерней беседе, мы остановимся на природе духовных мучений ада.

– Запомните, что грех – это двоякое преступление. Это безвольное подчинение зову низменных инстинктов нашей падшей природы, влекущихся ко всему грубому и животному; но это также и отвращение от советов и указаний нашей высшей природы, от всего чистого и святого, от Самого Святейшего Господа. И в силу этого грех смертный карается в преисподней двумя различными видами кары: физической и духовной.

– Далее, из всех духовных скорбей наибольшей является скорбь утраты – она столь велика, что мучения ее превосходят все прочие. Как говорит святой Фома, величайший учитель церкви, прозываемый ангельским доктором, самое страшное проклятие состоит в том, что разумение человека всецело лишается божественного света, а его влечения упорно отверщаются от благодати Божией. Бог, как вы помните, бесконечно благ, а значит, и утрата подобного блага – бесконечно мучительная утрата. В этой жизни мы не слишком ясно представляем себе, какова же эта утрата; но осужденные в аду, к вящему мучению своему, полностью понимают и то, что они утратили, и то, что эта утрата вызвана собственным их грехом, и то, что она вечна и окончательна. В самый миг кончины распадаются узы плоти, и душа тотчас же устремляется к Богу. Она влечется к Богу как к средоточию своего существования. Помните, дорогие друзья мои, что наши души жаждут быть с Богом. Мы исходим от Бога, живем Богом, принадлежим Богу – принадлежим Ему неотъемлемо. Божественною своей любовью Бог любит каждую человеческую душу, и каждая человеческая душа живет в этой любви. И как может быть иначе? Каждый наш вздох, каждый помысл, каждое мгновение нашей жизни исходят от неиссякаемой благодати Божией. И если мучительно для матери разлучаться с младенцем, для мужа – быть на чужбине, вдали от родного очага, для друга – не иметь связи с другом – о, подумайте только, какую скорбь и тоску переживает душа, лишаемая присутствия всеблагого и любящего Создателя, Того, Кто вызвал эту душу из ничто к бытию, поддерживал ее в жизни, любил ее беспредельной любовью. Итак, именно это – вечное отлучение от величайшего блага, от Бога, чувство тоски от этого отлучения, твердое знание того, что отлучение вечно и никакое изменение невозможно, – именно это и есть величайшая мука, какую способна перенести сотворенная душа: *roena damni*, мука утраты.

– Второй вид мук, терзающих души осужденных в аду, это муки совести. Как черви заводятся в мертвом теле при разложении, так разлагаются в погибших душах грехи, и при разложении их рождаются бесконечные угрызения – жало совести, или, как называет его папа Иннокентий III, червь с тройным жалом. Первое жало, что вонзает этот жестокий червь, – воспоминания о былых наслаждениях. О, как эти воспоминания ужасны! Горделивый монарх, ввергнутый в море огненное, будет вспоминать пышное величие своего двора; муж мудрый, но порочный – свои книги, научные приборы; ценитель художеств – свои прекрасные сокровища, картины, статуи; тот, кто влекся к изысканному столу, – роскошные пиры, деликатнейшие яства, тонкие вина; скряга вспомнит сундуки с золотом; грабитель – богатства, несправедливо добытые; жестокие, злобные, мстительные убийцы – тешившие их кровавые деяния и злодейства; сластолюбцы и прелюбодеи – неопишимо грязные наслаждения, которым они предавались. Все это они вспомнят – и с отвращением ужаснутся себе и грехам своим. Ибо какими жалкими покажутся эти наслаждения душе, обреченной веки вечные мучиться в адском пламени! Какая бешеная ярость их охватит при мысли, что небесное блаженство они променяли на прах земной, на горстку металла, пустые почести, телесные удобства и щекотанье нервов! Тут они истинно раскаются: и это – второе жало червя совести, позднее бесполезное сокрушение о грехах. Правосудие Божие велит, чтобы разум этих несчастных был неотступно прикован ко грехам, в коих они повинны, и притом, как указывает святой Августин, Бог наделит их Своим

собственным познанием греха, так что грех явится им во всей гнусной его злокозненности, таким, каков он пред очами Самого Господа. Узрят они грехи свои во всей мерзости их, и раскаются, однако поздно уж будет – и примутся они тогда оплакивать все благие возможности, которыми в свое время пренебрегли. И сие есть последнее, самое язвящее и жестокое жало червя совести. Будет говорить совесть: имел ты и время и полную возможность покаяться, однако не каялся. Ты был воспитан родителями твоими в вере. В помощь тебе даны были и таинства, и благодать, и индульгенции святой церкви. Был и служитель Божий, дабы проповеданием наставить тебя, направить на путь, когда ты сбился с него, даровать прощение грехов твоих, сколь мерзки и многочисленны они бы ни были, лишь бы только ты исповедался и покаялся. Но нет. Ты не хотел этого. Презрел ты служителей твоей религии, стороной обходил исповедальню и глубже и глубже погрязал в трясине греха. Бог тебя призывал, грозил, заклинал вернуться к Нему. О, какое горе, какой позор! Владыка вселенной заклинал, умолял тебя, тварь из персти земной, любить Его, сотворившего тебя, и соблюдать закон Его. Нет! Ты не хотел этого. А теперь, хоть бы ты затопил весь ад своими слезами, если бы еще мог плакать, весь этот океан раскаяния бессилен тебе дать то, что дала бы одна-единственная слеза искреннего раскаяния, пролитая в земной жизни. Теперь ты вымаливаешь единый миг земной жизни, дабы покаяться. Напрасно уже. То время прошло – прошло навсегда.

– Таково троякое жало совести, этой змеи, гложащей самую глубину сердца у несчастных в аду, так что они, исполнившись адской злобы, проклинают и себя, и свое безумие, и пособников во зле, толкавших их на погибель, и бесов, что искушали их при жизни, а теперь, в вечности, их мучат и издеваются над ними; хулят и проклинают даже Самого Всевышнего, Чье милосердие и терпение они презрели и осмеяли, но Чьей власти и правосудия им не дано избежать.

– Следующая духовная мука, которой подвергаются осужденные, есть мука всеохватности. Человек в своей земной жизни способен творить множество разных зол, но он не способен их творить разом все, поскольку одно зло противодействует другому и его исправляет, точно как один яд нередко может исцелить от другого. В аду же, наоборот, одно мучение не только не противодействует другому, а еще усиливает его. И мало этого: наши духовные способности более совершенны, чем телесные чувства, и потому они способны страдать сильнее. Как каждое из чувств терзается своею особой мукой, так же точно и каждая из духовных способностей: фантазия – жуткими образами, эмоции – попеременно тоской и яростью, сознание и разум – внутренней тьмой, которая страшнее тьмы внешней, что царит в этой чудовищной темнице. Та злоба, хоть и бессильная, которой одержимы эти бесовские души, есть зло безграничной всеохватности и беспредельной длительности, состояние столь ужасающей злобности, что мы даже не сумеем представить его себе, если не осознаем всю чудовищность греха и все отвращение, какое питает к нему Всевышний.

– Сей муке всеохватности противоположна другая мука, которая ей тем не менее сопутствует: мука напряженности страдания. Ад – средоточие и центр зла, а как вы понимаете, к центру всегда напряжение растет, сгущается. И нет ровно никаких сил противодействующих или просто сторонних, которые хоть на йоту смягчали бы, умеряли адскую муку. Даже то, что само по себе добро, в аду становится злом. Общение, которое в земных скорбях нас утешает, поддерживает, там делается сплошной пыткой – познание, к которому стремятся как к главному сокровищу разума, там будет ненавистнее, чем невежество, – а свет, столь желанный для любой твари, от царя природы до малейшей травки в лесу, – там вызывает лютое отвращение. В земной жизни наши страдания или не слишком долги, или не слишком

сильны, ибо природа человека либо пересиливает их путем привыкания, либо рушится под их тяжестью, и тогда им настает конец. Но в аду нельзя пересилить муки привыканием. Здесь они, будучи непереносимой силы, в то же время отличаются бесконечным многообразием, так что одна мука как бы воспламеняет другую, а та, в свою очередь, делает пламя первой еще более яростным. Не может также природа избавиться от этих сильнейших и многообразных мучений, рухнув под ними, ибо душа грешника пребывает и сохраняется во зле, дабы ее страдание пребывало с ней неизменно и могло бы все возрастать. Безграничная всеохватность мук, немыслимое напряжение страданий, постоянная смена пыток – именно этого требует божественное величие, столь поруганное грешниками, именно так велит святых небес, отвергнутая ради низменных похотливых наслаждений падшей плоти. И именно к этому взывает невинная кровь Агнца Божия, пролитая во искупление грешников и поправная гнуснейшими из всех гнусных.

– Последнее же мучение, поистине вершина всех мук в этом страшном месте, – это вечность ада. Вечность! Какое ужасающее, неумолимое слово! Вечность! Чей разум способен ее постичь? А здесь, не забудьте, это вечность мучений. Если бы даже муки ада были не столь страшны, они все равно сделались бы наисильнейшими за счет того, что им назначено длиться вечно. Но они, будучи вечными, еще к тому же обладают, вы помните, нестерпимым напряжением, непереносимой всеохватностью. Терпеть целую вечность хотя бы и комариный укус было бы страшной мукой. Так каково же тогда переносить все сменяющиеся муки ада всю вечность? Веки вечные! Без конца! Не год, не столетие – без конца. Лишь попытайтесь представить страшный смысл этого. Вы все не раз видели песок на берегу моря. Видели, какие мельчайшие, крошечные его песчинки. Какое множество этих песчинок в маленькой горсточке, которую ребенок схватит, играя! А теперь представьте себе гору такого песка в миллион миль высотой, вздымающуюся от земли до небес, и в миллион миль шириной, доходящую до самых отдаленных границ, и в миллион миль толщиной – и представьте эту всю громадную массу из бесчисленных частиц песка еще умноженной во столько раз, сколько листьев в лесу, капель в безбрежном океане, перьев у всех птиц, чешуек у рыб, шерстинок у всех зверей, атомов в воздушном пространстве – и представьте, что однажды в миллион лет птичка подлетает к горе и уносит в клюве одну песчинку. Сколько же пройдет миллионов и миллионов веков, прежде чем птичка унесет хотя бы один квадратный фут этой горы – и сколько понадобится столетий, эпох, эонов, пока она не унесет гору целиком? А между тем по прошествии всего этого безмерного периода времени не протечет и одного-единственного мгновения вечности. По прошествии всех этих миллиардов и триллионов лет вечность едва-едва лишь начнется. И если та гора вновь воздвигнется после того, как была вся унесена – и если вновь птичка, подлетая, унесет ее по одной песчинке – и если так она будет воздвигаться и уноситься столько раз, сколько звезд в небе, атомов во вселенной, капель воды в море, листьев на деревьях, перьев у птиц, чешуек у рыб, шерстинок у всех зверей – к концу всех этих бесчисленных появлений и исчезаний сей необъятной горы не протечет и одного-единственного мгновения вечности. Даже тогда, к концу такого периода, по прошествии такой массы лет, от простой мысли о которой у нас голова кружится и ум заходит за разум – вечность едва-едва лишь начнется.

– Один великий святой – один из отцов нашего ордена, как я помню, – некогда сподобился видения ада. Представилось ему, что он стоит посреди громадной залы, темной, беззвучной, и только слышно тиканье гигантских часов. Это тиканье было непрестанно – и показалось святому, что в его звуке непрестанно повторялись слова: всегда, никогда, всегда, никогда. Всегда быть в аду – никогда на небесах; всегда быть отринутым от лица Божьего – никогда не насладиться блаженным созерцанием; всегда быть добычей пламени, пищей червей, жертвой раскаленных



путьев – никогда не избавиться от этих страданий; всегда иметь совесть казнящую, память взъяренную, разум, объятый отчаянием и тьмой, – никогда от этого не уйти; всегда упрекать и проклинать гнусных бесов, что злобно радуются бедствиям одурченных ими, – никогда не узреть сияющих одеяний блаженных духов; всегда взывать к Богу из бездны пламени, моля Его об одном-единственном мгновении передышки от невообразимых страданий, – никогда, ни на один миг не обрести прощения Божия; всегда испытывать муки – никогда наслаждения; всегда быть с проклятиями – никогда со спасенными; всегда – никогда! всегда – никогда! Какая жуткая кара! Вечность бесконечной агонии, бесконечных телесных и духовных мучений, без единого лучика надежды, единого мига облегчения – лишь одни муки, безграничного напряжения, безграничной всеохватности, беспредельно длящиеся и беспредельно многообразные; лишь пытка, вечно терзающая жертву, но вечно сохраняющая ее; лишь тоска и отчаяние, вечно раздирающие дух, покуда казнится плоть: вечность, каждое мгновение которой есть тоже вечность, и притом вечность горестей. Вот та страшная кара, что назначена для скончавшихся в смертном грехе Богом всемогущим и справедливым.

– Да, справедливым. Люди рассуждают по людскому своему разумению и поражаются, как это Бог может назначить вечное, нескончаемое наказание в адском пламени всего за единственный тяжкий грех. Они так судят, потому что ослеплены грубыми обманами плоти и темнотой человеческого разумения и не способны постичь всю чудовищную пагубность греха смертного. Они так судят, потому что не способны постичь, что даже у греха простимого природа столь мерзка и чудовищна, что если бы всемогущий Творец мог разом прекратить все несчастья и все зло в мире – все войны, болезни, разбой, преступления, убийства и смерти – ценою того, чтобы Он оставил безнаказанным один-единственный простимый грех – всего один и простимый, ложь, гневный взгляд, минутное попущенье лени – Он, Бог великий и всемогущий, не мог бы так сделать, ибо всякий грех, будь то делом или помышлением, есть преступление Его закона, и Бог не был бы Богом, если бы не покарал преступника.

– Один грех, одно мгновение восставшей гордыни разума, повлек падение Люцифера и трети ангельских воинств с вершин их славы. Один грех, одно мгновение слабости и безумия, изгнал Адама и Еву из рая и принес в мир смерть и страдания. Дабы искупить последствия этого греха, Единородный Сын Божий сошел на землю, и пострадал, и умер самой жестокой смертью, претерпев в течение трех часов распятие на кресте.

– О, дорогие мои младшие братья во Христе, неужели мы оскорбим доброго Искупителя и вызовем Его гнев? Вновь станем попираť распятое, истерзанное тело Его? Оплевывать лик Его, полный любви и скорби? Подобно жестоким иудеям, грубым солдатам, и мы тоже станем поносить кроткого, милосердного Спасителя, Который один ради нас топтал страшное точило скорбей?[100 - Парафраз Ис. 63: 3.] Каждое греховное слово – рана на страждущем Его теле. Каждое деяние греховное – терний, впивающийся в Его чело. Каждый нечистый помысл, попускаемый с потворством, – острое копье, пронзающее Его святое и любящее сердце. Нет, нет! Ни одно человеческое существо не способно совершить то, что так глубоко оскорбляет божественное величие, что карается вечной мукой, что распинает снова Сына Божия и снова предаёт Его глумлению.

– Молю Господа, чтобы мои слабые увещевания содействовали бы ныне тому, чтобы укрепить в святости пребывающих в состоянии благодати, дать опору колеблющимся и обратиться вновь к состоянию благодати бедную заблудшую душу, если имеется такая меж вас. Молю Господа, и вы молитесь со мной, дабы смогли мы покаяться во грехах наших. А теперь я прошу вас всех повторить за мной покаянную молитву, преклонив

колена в этой скромной часовне пред лицом Господа. Он здесь, в сей дарохранильнице, исполненный любви к роду человеческому, готовый дать утешение скорбящим. Не страшитесь. Сколь бы ни были грехи ваши многочисленны или тяжки, они будут прощены, если вы покаетесь в них. И пусть вас не удерживает мирской стыд. Бог ведь по-прежнему – Господь милосердный, Который желает грешнику не вечной гибели, а покаяния и праведной жизни.

– Он вас призывает к Себе. Ему вы принадлежите. Он вас сотворил из ничто. Он вас любил так, как один лишь Бог может любить. Руки Его простерты, чтобы принять вас, пускай вы и согрешили против Него. Прииди к Нему, бедный грешник, бедный, неразумный, заблудший грешник. Настало время урочное. Час настал.

Священник встал, повернулся к алтарю и в сгустившемся сумраке преклонил колени на ступеньке перед дарохранильницей. Он ждал, пока в часовне все станут на колени и прекратятся любые звуки. Потом, подняв голову, он начал истово читать покаянную молитву, один стих за другим. Мальчики вторили ему, один стих за другим. Стивен, у которого язык прилип к гортани, склонил голову и молился сердцем.

– Господи, Боже мой! –  
– Господи, Боже мой! –  
– Истинно сокрушаюсь я –  
– Истинно сокрушаюсь я –  
– Ибо прогневил Тебя –  
– Ибо прогневил Тебя –  
– И ненавистны мне грехи мои –  
– И ненавистны мне грехи мои –  
– Паче всех зол иных –  
– Паче всех зол иных –  
– Ибо неуютны они Тебе, Господи, Боже мой –  
– Ибо неуютны они Тебе, Господи, Боже мой –  
– Тебе, к Кому подобает обратиться –  
– Тебе, к Кому подобает обратиться –  
– всю любовь мою –  
– всю любовь мою –  
– и полагаю твердый себе обет –  
– и полагаю твердый себе обет –  
– Твоею святою благодатью –  
– Твоею святою благодатью –  
– да не прогневлю Тебя отныне и до конца дней моих –  
– да не прогневлю Тебя отныне и до конца дней моих –  
– и исправлю пути свои –  
– и исправлю пути свои –

\* \* \*

После обеда он пошел вверх к себе в комнату, чтобы побыть наедине со своей душой – и на каждой ступеньке его душа как будто вздыхала – его душа тоже взбиралась на каждую ступеньку и вздыхала, совершая подъем сквозь пространство вязкого сумрака.

На площадке у двери он помедлил, а потом, нажав на фарфоровую ручку, отворил дверь разом. Со страхом он еще подождал, душа в нем изнемогала, и он безмолвно

молился, чтобы смерть не коснулась его чела, когда он перешагнет порог, и чтобы бесам, населяющим тьму, не дано было над ним власти. На пороге подождал неподвижно снова, как перед входом в некую темную пещеру. Там были лица и глаза – они выжидали и следили.

– Мы конечно прекрасно знали что хотя это неизбежно должно было выйти на свет ему будет необычайно трудно стремиться к попытке себя заставить попытаться обрести стремление признать полномочного духовного посланника и потому мы конечно прекрасно знали...

Шепчущие лица выжидали и следили, нашептывающие голоса заполнили темные недра пещеры. Он испытывал сильнейший страх, и физический, и духовный, но, смело подняв голову, он решительно вошел в комнату. Тамбур, комната, та же комната и то же окно. Спокойно он повторял себе, что эти слова абсолютно бессмысленны, все те, что ему казались звучащими, нашептываемыми из тьмы. Он повторял себе, что это всего лишь его комната с распахнутой дверью.

Он закрыл дверь, быстро подошел к кровати и стал на колени подле нее, закрыв руками лицо. Ладони у него были холодные, влажные, и его всюду знобило. Телесное недомогание, усталость, озноб одолевали его, действовали на его мысли. Зачем он тут стоит на коленях как ребенок, читающий молитвы на ночь? Чтобы остаться наедине со своей душой, проверить свою совесть, взглянуть в упор на свои грехи, точно восстановив, когда, как и при каких обстоятельствах он их совершил, – и оплакать их. Но он не мог плакать. Не мог вызвать их в своей памяти. Он ощущал лишь боль в теле и душе, и все его существо, память, воля, разумение, плоть, бессильно оцепенело.

Это бесовская работа, это они стараются спутать его мысли и затуманить совесть, они нападают на него у врат плоти его, трусливой и развращенной грехом, – и, робко умоляя Бога простить ему его слабость, он заполз в кровать и, завернувшись потуже в одеяла, снова закрыл лицо руками. Он согрешил. Он согрешил так тяжело против небес и пред Богом, что недостойн больше называться сыном Божиим.

Неужели же это он, Стивен Дедал, проделывал все эти вещи? Совесть его в ответ вздохнула. Да, проделывал, тайно, мерзко, и не один раз, и, закоренев в своей нераскаянности греховной, смел еще носить маску святости пред самым алтарем, когда душа в нем была одна разлагающаяся масса. Как Бог не поразил его смертью? Грехи, как толпа прокаженных, обступили его кольцом, притискивались со всех сторон, дыша на него. Он силился забыть их, отдаваясь молитве, весь тесно сжавшись и крепко закрыв глаза – но чувства души было не закрыть – его глаза были крепко зажмурены, но он видел те места, где грешил, уши были плотно зажаты, но он слышал. Его сильнейшим желанием было не слышать и не видеть. И это желание не отступало, пока все тело не начало содрогаться под напором его, а чувства души не затмились. Они затмились на миг и отверзлись вновь. И он увидел.

Поле, заросшее сорняками, чертополохом, крапивой. Среди торчащих засохших стеблей этой растительности всюду раскиданы побитые канистры, жестянки, спиральи и кучи затвердевших испражнений. Над всей помойкой поднимается слабый свет болотных огней, пробивающийся сквозь щетину серо-зеленой поросли. Зловонный дух, такой же слабый и мерзкий, как этот свет, ползет, клубясь, из жестянок, от слежавшегося дерьма.

Какие-то твари в поле; одна, три, шесть – твари движутся по полю туда и сюда. Козловатые твари с человеческими лицами, рогами во лбу, жидкими бородавками,

каучуково-серые. Они бродят, передвигаются туда и сюда, волоча за собой длинные хвосты, в их мутных глазах злобный блеск. Осколом жестокого злорадства тускло светятся их старческие костлявые лица. Один кутается в рваный фланелевый жилет, другой скулит без конца, когда в его бороденку вцепляются колючки и прутья. Невнятная речь срывается с их пересохших губ, меж тем как они со свистящим звуком кружат медленными кругами по полю, завивая туда и сюда круги среди сорных трав, задевая гремящие жестянки хвостами. Они кружат медленными кругами, все ближе, все теснее, тесней, чтобы окружить, окружить, с их губ срывается невнятная речь, свистящие длинные хвосты облеплены вонючим дерьмом, ужасающие морды задраны к небу...

– Спасите!

Он как безумный отбросил одеяло, чтобы скорее высвободить лицо и шею. Вот он, его ад. Бог дал ему увидеть тот ад, что уготован за его грехи, – злобный, вонючий, скотский – ад похотливых козлоподобных бесов. Его они ждут! Его!

Он вскочил с постели, клубок вонючего воздуха душил его горло, полз ниже, сводил кишки. Воздуха! Воздуха небес! Шатаясь, он двинулся к окну, глухо мыча, близкий к обмороку от тошноты. Около умывальника ему схватило внутренности, и он сжал руками, что было силы, холодный лоб, корчась в неудержимом приступе рвоты.

Когда приступ иссяк, он добрал с трудом до окна и, открыв его, сел подле в углу, опершись локтем на подоконник. Дождь перестал, меж светящимися точками подымались вверх испарения и желтоватая мгла облекала город коконом мягкой пряжи. Тишь была в небесах, светившихся слабым светом, воздух живителен как в чаще, омытой ливнем, и в окружении мирной жизни, мерцающих огней, легких благоуханий он дал обет своему сердцу.

Он молился:

– Некогда Он судил прийти на землю в небесной славе, но мы согрешили, и тогда поистине не мог Он уже явиться нам, иначе как скрыв завесой Свое величие и умалив сияние, ибо Он Бог. Итак, пришел Он не в силе Своей, но в слабости, и на место Свое послал тебя, создание тварное, с тою красотой и славой, что для нас восприемлемы. И ныне самый лик твой и очертанья, о возлюбленная мати, говорят нам о Вечном, и не земной красоте, опасной для взора, они подобны, но подобны звезде утренней, ставшей символом твоим, звезде ясной и мелодичной, несущей весть о небе и вселяющей мир. О дня провозвестнице и паломника светоче! Не оставь нас и впредь наставлением твоим. Во мраке ночи, в глухой пустыне укажи путь нам ко Иисусу Христу, Господу нашему, укажи нам путь в дом наш.

Глаза его застилали слезы, и, подняв смиренный взгляд к небу, он заплакал о своей утраченной чистоте.

Когда совсем стемнело, он вышел из дому. С ощущением сырой мглы, со стуком захлопнувшейся двери к нему тут же снова вернулись острые угрызения, приглушенные было слезами и молитвой. Исповедь! Исповедь! Приглушать угрызения молитвою и слезами – этого было мало. Он должен пасть на колени перед служителем Святого Духа и исповедать ему правдиво и покаянно все свои тайные грехи. Прежде чем он снова услышит, как дверь их дома, открываясь, чтобы его впустить, глухо заденет за порог, прежде чем снова увидит накрытый к ужину стол на кухне, он падет на колени и исповедается. Это же так просто.

Угрызения совести утихли, и он быстро зашагал вперед по темным улицам. На этом тротуаре множество плит, а в городе множество тротуаров, а в мире множество городов. Но у вечности вообще нет конца. Сейчас он пребывает в смертном грехе. Даже если однажды все равно смертный грех. Может случиться в одно мгновение. Но как же, так моментально? Едва увидел или подумал, что увидел. Глаза что-то видят, заранее они этого не хотели видеть. И потом раз – и готово. Но как же, эта часть тела, она что, может понимать, или как? Змей, хитрейший из зверей полевых. Должно быть, она понимает один миг, когда возникает вожделение, а потом уже она греховно длит это свое вожделение, один миг за другим. Чувствует, понимает и вожделеет. Что ж это за жуткий предмет? Кто ее такой создал, эту скотскую часть тела, что она может скотски понимать, скотски вожделеть? На самом ли деле это он – или это нечто нечеловеческое, движимое какой-то душой, более низменной, чем его душа? Его душа содрогнулась, когда он представил себе вялую змееподобную жизнь, питающуюся нежной сердцевиной его жизни и насыщаемую слизью похоти. О, зачем это так? Зачем?

Он весь съезжился в мрачной тени этой мысли, полный приниженности и страха пред Богом. Кто создал все вещи и человека. Безумие. Кому только могло такое прийти на ум? И съжившись во тьме и убожестве, он бессловесно взывал к своему ангелу-хранителю, дабы тот мечом своим изгнал демона, нашепывающего его сознанию.

Нашептывание прекратилось, и он четко осознал, что его собственная душа грешила по своей воле, и словом, и делом, и помышлением, имея орудием греха собственное его тело. Исповедь! Он должен исповедаться в каждом своем грехе. Как же он сможет высказать словами священнику то, что содеял? Он должен. Должен. Или как же он сможет это объяснить, не умерев от стыда? А как же он смог это все проделать, не умерев от стыда? Безумец, грязный безумец! Исповедь! О, ведь тогда он вправду станет снова свободен и безгрешен! Может быть, священник поймет. О Боже милостивый!

Он все шагал и шагал по улицам с тусклым освещением, страхась остановиться хоть на секунду, чтобы никак не показалось, будто он хочет уклониться от того, что его ждет, и страхась прибыть к цели, к тому, чего неотступно жаждал. Как прекрасна должна быть душа в состоянии благодати, когда Господь на нее взирает с любовью!

Растрепанные бабы с корзинами сидели вдоль обочины тротуара, сырые пряди волос налипли у них на лоб. Вид их, сгорбившихся и сидящих в грязи, не был прекрасен. Но Богу видимы были души их, и, если были они в состоянии благодати, то сияли светом и Бог, взирая на них, любил их.

Опустошающее чувство унижения дохнуло хладом на его душу, заставив подумать, до чего же он пал, ощутить, что души их, тех, дороже Богу, нежели его душа. Ветер дохнул на него и умчался к мириадам и мириадам других душ, которым милость Божия сияла то сильнее, то слабей, подобно звездам, что светят то ярче, то бледнее, замирают и гаснут. И души мерцающие уплывали прочь, замирая и угасая, сливаясь в одном потоке. Одна погибла – крошечная душа – его душа. Она вспыхнула и погасла, забытая, погибшая. Конец: мрак, хлад, пустота, ничто.

Сознание места медленно возвращалось к нему, словно волна отлива по широкой полосе неосвещенного, неоощенного, непрожитого времени. Убогая сцена составила вокруг: простонародная речь, газовые рожки лавок, запахи рыбы, спиртного, мокрых опилок, снующие мужчины и женщины. Старуха собралась перейти

улицу, в руке керосиновый бидон. Нагнувшись к ней, он спросил, есть ли где-нибудь недалеко церковь.

– Церковь, сэр? Да, на Черч-стрит.

– Черч-стрит?

Она взяла бидон в другую руку и показала, куда ему – и когда она протянула из-под бахромы платка свою высохшую правую руку, от которой пахло, он нагнулся к ней еще ближе, утешаемый и печалимый звуками ее голоса.

– Благодарю вас.

– Сделайте милость, сэр.

Свечи на главном алтаре были уже потушены, но благовоние ладана плыло еще в темном храме. Бородатые, с набожными лицами прислужники уносили балдахин через боковую дверь, и ризничий направлял их сдержанными жестами и словами. Кое-кто из верных еще задержались, одни молились у боковых алтарей, другие стояли на коленях подле исповедален. Он робко приблизился и стал на колени в последнем ряду скамей, признательный за мирную тишину и благоухающий сумрак храма. Планка, на которую опирались его колени, была узкой, вытертой, а те, кто стоял на коленях подле него, были смиренные последователи Иисуса. Иисус тоже родился в бедности и работал у плотника, пилил и строгал, и первые Его речи о Царствии Божием были к бедным рыбакам, и всех Он учил смирению и кротости сердца.

Он опустил голову на руки, вменяя своему сердцу быть смиренным и кротким, так чтобы он мог стать таким же, как те, что стояли на коленях рядом с ним, и молитва его была бы столь же угодна Господу, как их молитва. Он молился с ними рядом, но молитва шла тяжело. Его душа была в мерзости греха, и он не смел молить о прощении с простодушием и доверием, как те, кого Иисус неисповедимыми путями Божьими призвал первыми к Себе, – как плотники, рыбаки, простые бедные люди, которые занимались скромным ремеслом: обрабатывали дерево, терпеливо чинили сети.

Высокая фигура приблизилась со стороны бокового нефа, и ждущие исповеди задвигались; подняв быстро взгляд в последний момент, он успел заметить седую длинную бороду и коричневую рясу капуцина. Священник скрылся в исповедальне. Двое поднялись и вошли также, с двух сторон. Деревянная ставенка задвинулась, и тишину нарушил слабый шум шепота.

Кровь в венах у него тоже зашумела, шепча, зашумела и зашепталась, словно греховный город, поднятый ото сна и услышавший свой смертный приговор. Язычки пламени летали, падали, на людские жилища мягко падали хлопья пепла. Люди пробуждались от сна, люди задвигались в беспокойстве, почуяв жар.

Ставенка отодвинулась. Покаявшийся вышел сбоку. Открылась дальняя ставенка. На то место, где стоял на коленях первый покаявшийся, прошла спокойно, бесшумно женщина. Снова раздался слабый шепот.

Еще можно пока уйти. Можно подняться, сделать шаг, потом выйти тихо и потом побежать, побежать стремглав, помчаться по темным улицам. Еще можно скрыться от этого позора. Пусть бы любое страшное преступление, только не этот грех! Пусть бы даже убийство! Огненные язычки падали на него отовсюду, обжигая, – постыдные

мысли, постыдные слова, постыдные поступки. Стыд и позор покрыли его с головы до ног, как тонкая пелена раскаленного тлеющего пепла. Выговорить это словами! Его душа не сможет, она задохнется, прекратит быть.

Ставенка отодвинулась. Покаявшийся вышел с другой стороны исповедальни. Открылась ближняя ставенка. Следующий вошел туда, откуда возник ушедший. Мягкие шепчущие звуки плыли влажными облачками из исповедальни. Это женщина – мягкие, шепчущие облачка, мягкий и влажный шепот – испаряется, отшептал.

Он ударял себя покаянно кулаком в грудь, тайком, за укрытием деревянного подлокотника. Он примирится, воссоединится с людьми и с Богом. Возлюбит ближнего своего. Возлюбит Бога, Который его сотворил и любил его. Падет на колени, и будет молиться вместе с другими, и будет счастлив. И воззрит Господь на него и на них и возлюбит всех их.

Нетрудно быть добрым. Бремя Божие сладостно и легко[101 - Парафраз Мф. 11: 30.]. Было бы лучше никогда не грешить, всегда оставаться в детстве, потому что Бог любит детей и допускает их к Себе. Грешить тягостно и ужасно. Но Господь милосерден к бедным грешникам, которые истинно раскаиваются. Какая истина в этом! Это же и есть настоящая доброта.

Ставенку внезапно толкнули. Женщина вышла. Следующим был он. Он в ужасе поднялся и, ничего не видя перед собой, прошел в исповедальню.

Наконец-то. В сумраке и тишине он стал на колени и поднял глаза на белое распятие, висевшее перед ним. Господь ведь видит, что он раскаивается. Он поведает все грехи свои. Исповедь будет долгой-долгой. Все, кто в церкви, узнают, какой он грешник. Пусть знают. Такова истина. Но Бог обещал ему прощение, если он скорбит о грехах своих. А он скорбит. Сжав руки, он простер их к белевшей фигуре, он молился глазами, в которых все помутилось, молился всем содрогающимся телом, как потерянный мотал туда-сюда головой, молился стонающими губами.

– Каюсь, каюсь! О, каюсь!

Ставенка стукнула, и сердце в его груди резко подскочило. За решеткой было лицо старого священника, который сидел вполоборота к нему, опершись на руку. Он перекрестился и попросил священника благословить его, ибо он согрешил. Затем, опустив голову, прочел со страхом «Confiteor». На словах самая тяжкая моя вина он остановился, его дыхание иссякло.

– Когда ты исповедовался в последний раз, сын мой?

– Очень давно, отец.

– Месяц назад, сын мой?

– Больше, отец.

– Три месяца, сын мой?

– Больше, отец.

– Шесть месяцев?

– Восемь месяцев, отец.

Итак, он начал. Священник спросил:

– И что ты можешь вспомнить за это время?

Он начал исповедовать свои грехи: пропускал обеды, не читал молитвы, лгал.

– Что-нибудь еще, сын мой?

Грехи гнева, зависти, чревоугодия, тщеславия, непослушания.

– Что-нибудь еще, сын мой?

– Лень.

– Что-нибудь еще, сын мой?

Выхода нет. Он прошептал:

– Я... совершал грехи блуда, отец.

Священник не повернул головы.

– С самим собой, сын мой?

– И... с другими.

– С женщинами, сын мой?

– Да, отец.

– С замужними женщинами, сын мой?

Он не знает. Грехи струйкой стекали с его губ, один за другим, постыдными каплями истекали из его души, сочащейся, как язва, гноем и кровью, изливались мерзкой струей порока. Вот выдавились последние – вязкие, грязные. Больше нечего было исповедать. Он поник головой, сломленный.

Священник молчал. Потом спросил:

– Сколько тебе лет, сын мой?

– Шестнадцать, отец.

Священник несколько раз провел рукой по лицу. Потом, опирая лоб на ладонь, наклонился ближе к решетке и, по-прежнему с отведенным взглядом, заговорил медленно. Его голос был старческим и усталым.

– Ты очень молод еще, сын мой, – сказал он, – и я молю тебя оставить сей грех. Этот грех страшен. Он убивает тело и убивает душу. Он – корень множества преступлений и несчастий. Во имя Господа нашего, дитя мое, оставь грех сей. Он унижителен и недостойн мужчины. Ты сам не знаешь, куда эта злосчастная привычка



тебя заведет, как она может обратиться против тебя. Покуда ты будешь в этом грехе, бедный сын мой, ты ничего не значишь, не существуешь для глаз Божиих. Моли о помощи нашу святую мать Марию. Она поможет тебе, сын мой. Едва сей грех начнет одолевать разум твой – молись нашей Всеблагой Деве. Я уверен, что ты будешь так поступать. Покайся во всех этих грехах. Я верю, что ты раскаиваешься. И ныне ты дашь Богу обет, что по Его святой благодати ты никогда больше не прогневишь Его этим мерзким грехом. Ты дашь Богу этот торжественный обет, ты это обещаешь, сын мой?

– Да, отец.

Звуки усталого старческого голоса как отрадный дождь падали на его пересохшее и дрожащее сердце. Как отратно и как печально!

– Дай обет, сын мой. Дьявол совратил тебя. Гони же его прочь, в ад, когда он станет искушать тебя, чтобы ты бесчестил свое тело этим грехом; он – дух нечистый и ненавидящий Господа. Дай обет Богу, что ты оставишь сей грех, поистине гнусный, гнусный грех.

Ослепленный слезами, ослепленный светом милосердия Божия, он склонил голову, и услышал торжественные слова отпущения грехов, и увидел руку священника, что поднялась над ним в прощающем жесте.

– Господь да благословит тебя, сын мой. Молись за меня.

Он стал на колени в углу темного придела, чтобы прочесть покаянную молитву, и молитва возносилась к небу из его очистившегося сердца как струящееся благоухание белой розы.

Грязные улицы смотрели весело. Он торопился домой, чувствуя, как незримая благодать проникает и наполняет легкостью его тело. Вопреки всему, он совершил это. Он покаялся, и Господь простил его. Его душа стала вновь чистой и святой, святой и радостной.

Прекрасно было бы умереть, если бы такова была воля Господа. И было прекрасно жить, если воля Господа такова, жить в Божией благодати, в мире и добродетели, и с кротостью к ближним.

Он сидел в кухне у очага, от счастья не решаясь заговорить. До этой минуты он не знал, какой прекрасной, какой умиротворенной может быть жизнь. Зеленый лист бумаги, припиленный вокруг лампы, отбрасывал вниз мягкую тень. На буфете была тарелка с сосисками и пудингом, на полке яйца. Это все к завтраку после причастия в церкви колледжа. Пудинг, яйца, сосиски, чашка чаю. Как же, оказывается, проста и прекрасна жизнь! И вся жизнь впереди.

Словно во сне, он лег и уснул. Словно во сне, он поднялся и увидел, что вокруг утро. Словно во сне наяву, он шагал тихим утром к колледжу.

Все мальчики уже были в сборе, стоя на коленях каждый на своем месте. Счастливым, смущенным, он присоединился к ним. Весь алтарь был усыпан множеством благоухающих белых цветов – и в утреннем свете бледные огни свечей среди белых цветов были ясны и тихи как его собственная душа.

Он стоял на коленях перед алтарем среди одноклассников и вместе с ними

поддерживал руками на престольную пелену, словно живой опорой. Руки его дрожали, и душа также дрогнула, когда он услышал, как священник с чашей святых даров переходит от одного причастника к другому.

– Corpus Domini nostri[102 - Тело Господа нашего (лат.)].

Так это возможно? Вот он стоит здесь на коленях, безгрешный, робкий – и он почувствует на языке своем гостию, и Бог войдет в очистившееся его тело.

– In vitam eternam. Amen[103 - В жизнь вечную. Аминь (лат.)].

Иная жизнь! Жизнь благодати, добродетели, счастья! Это было реальностью. Это не сон, от которого он пробудится. Прошлое прошло.

– Corpus Domini nostri.

Чаша со святыми дарами достигла его.

#### Глава IV

Воскресенье было посвящено тайне Пресвятой Троицы, понедельник – Святому Духу, вторник – Ангелам-Хранителям, среда – Святому Иосифу, четверг – Преблаженному Таинству Алтаря, пятница – Страстям Господним, суббота – Пресвятой Деве Марии.

Каждое утро он заново освящал себя, проникаясь присутствием некоторого святого образа или тайны. Его день начинался самоотверженным отданием каждого помысла и деяния этого дня на волю верховного понтифика и затем – ранней мессой. Колючий утренний воздух подстегивал его рьяное благочестие, и часто, стоя на коленях в полупустом приделе и следуя за бормотаньем священника по своему переложенному закладками молитвеннику, он бросал взгляд на фигуру в облачении, стоящую в полумраке меж двух свечей – то были заветы ветхий и новый – и воображал, что он на богослужении в катакомбах.

Каждый день его жизнь распределялась по определенным сферам благочестия. Пылом духовным и молитвами он щедро накапливал для душ в чистилище целые столетия выкупа, набравшиеся из дней, сороков и лет. Но духовное торжество, которое он испытывал, с легкостью достигая фантастических сокращений сроков положенных кар, все-таки не давало его молитвенному усердию полного вознаграждения, ибо ему не дано было знать, насколько же именно сократил он своим заступничеством временные мученья страждущих душ – и, страшась, что в пучине огня чистилища, который отличен от адского лишь только одним отсутствием вечности, его покаяние окажется не более действенно, чем капля влаги, он что ни день увлекал душу свою на все ширящиеся круги сверхдолжных трудов.

Каждая часть его дня, разделенного согласно тому, что он теперь рассматривал как свои обязанности на данной духовной стадии, вращалась вокруг определенного центра духовной энергии. Его жизнь будто приблизилась к вечности – каждая мысль, каждое слово, поступок, каждое внутреннее движение могли, лучась, отдаваться на небесах – и временами это ощущение мгновенного резонанса было так живо, что ему казалось, будто каждым подвигом его душа нажимает клавиши огромного кассового аппарата и он видит, как сумма покупки мгновенно появляется на небесах не цифрой, а хрупким столбиком благовоний или нежным цветком.

Также и розарии, которые он твердил непрестанно – ибо он теперь носил четки в кармане брюк, чтобы можно было читать их, ходя по улицам, – превращались в гирлянды цветов такой неземной нежности, что они ему представлялись столь же бескрасочными и безуханными, сколь они были безымянны. Каждый из своих трех ежедневных розариев он посвящал укреплению души своей в одной из трех богословских добродетелей: в вере во Отца, Кто его сотворил, в надежде на Сына, Кто его искупил, и в любви ко Духу Святому, Кто его освятил; и эту трижды тройную молитву он обращал к Трем ипостасям через Деву Марию, во имя радостных, скорбных и славных Ее тайн.

Далее, в каждый из семи дней недели он молился о том, чтобы на душу его снисходил один из семи даров Святого Духа и дары эти день за днем изгоняли бы из его души семь смертных грехов, кои прежде оскверняли ее; и о каждом из даров он молился в назначенный для того день, с доверием ожидая, что дар сей будет ниспослан – хотя иногда ему и казалось странным, что мудрость, разумение и познание столь по своей природе различны – коль скоро о каждом из этих даров надлежит молиться особо от прочих. Однако он верил, что одолеет и это затруднение на некой высшей ступени духовного пути, когда его грешная душа восстанет из слабости и будет просвещена Третью Ипостасью Пресвятой Троицы. Этой вере его придавали трепетность и еще бо&#769;льшую силу божественный мрак и безмолвие, в коих пребывает незримый Параклит[104 - Утешитель (греч.)], Чьи символы – голубь и всесильный вихрь, и грех против Которого не прощается, вечное таинственное и сокровенное Сущее, Кому как Богу священники раз в год служат мессы в алых, точно языки пламени, облачениях.

Образы, с помощью которых читаемые им духовные книги усиленно затемняли природу и единосущность Трех Ипостасей Троицы, – Отец, извечно созерцающий как в зеркале Свои Божественные Совершенства и присно рождающий Вечного Сына, Святой Дух, извечно исходящий от Отца и Сына, – в силу их высокой непостижимости легче принимались его умом, нежели та простая истина, что Бог любил его душу извечно, во веки веков, еще до того, как он рожден был в мир, и до того, как существовал сам мир.

Он слышал, как слова, обозначающие страсти любви и ненависти, торжественно возглашались со сцены, с церковной кафедры, читал, как они торжественно превозносятся в книгах, и его удивляло, отчего они не находят совершенно никакого пристанища в его душе и он неспособен себя заставить произносить эти слова с убежденностью. На него часто налетал мгновенный гнев, но он никогда не мог превратить его в стойкую страсть, и всякий раз ощущал, как гнев его оставляет, словно с самого его тела с легкостью слетала какая-то внешняя оболочка или шелуха. Или он чувствовал, как что-то неуловимое, мрачное, нашептывающее проникает все его существо и зажигает его греховной похотью – однако и это куда-то ускользало недосыгаемо, и разум оставался ясен и безразличен. И казалось, это и были те единственные любовь и ненависть, что могли найти пристанище в его душе.

Но он не мог больше сомневаться в реальности любви, ибо Сам Бог извечно любил именно его, лично его душу божественною любовью. Постепенно, по мере того как душа его наполнялась духовным знанием, весь мир открывался ему как необъятное и стройное выражение божественного могущества и любви. Каждый миг жизни, каждое ощущение превращались в божественный дар, за который, будь то всего-навсего зрелище дрожащего на ветке листочка, душе его надлежало славить и благодарить Подателя. При всей своей сложности и весомой плотности, мир существовал теперь

для его души исключительно лишь как теорема о божественном могуществе и любви и вездесущии. Это дарованное душе его чувство божественного смысла во всей природе было столь целостным и бесспорным, что он с трудом понимал, зачем ему, собственно, продолжать жить. Однако и это было частью божественного замысла, и он не смел ставить под вопрос пользу этого – тем паче что уж кто иной, как он, столь мерзко и тяжело против этого замысла согрешил. Кроткая и приниженная сознанием единого, вечного, вездесущего и совершенного бытия, душа его вновь принимала на себя бремя обетов, месс, молитв, церковных таинств и самоистязаний; и лишь теперь, впервые с тех пор, как он скорбел над великой тайной любви, он ощутил в себе теплое движение, будто зарождалась новая жизнь или добродетель самой души. Поза экстаза в духовной живописи – воздетые и разверстые руки, отверстые уста и взгляд словно на грани обморока – стала для него образом молящейся души, смиренной и замирающей пред своим Создателем.

Однако опасность духовной экзальтации была известна ему, и он не позволял себе пренебречь хотя бы самым малым или простым делом благочестия; и притом желанием его скорее было избыть греховное прошлое путем постоянного умерщвления плоти, нежели устремляться к святости, что чревато опасностью. Каждое из своих чувств он подчинил строгой дисциплине. Дабы умерщвлять зрение, сделал для себя правилом ходить по улицам с опущенными глазами, не глядя по сторонам и никогда не оглядываясь. Тщательно избегал встречаться взглядом с женщинами. Время от времени муштровал глаза резкими волевыми усилиями, скажем резко отрывая их от страницы посреди фразы и захлопывая книгу. Дабы умерщвлять слух, не следил за своим ломающимся голосом, перестал петь и насвистывать и не делал попыток скрыться от болезненно раздражавших звуков, таких как скрежет ножей на точильном колесе, скрип головешек о совок, стук по выбиваемому ковру. Умерщвлять обоняние оказалось труднее, так как он у себя не обнаружил инстинктивного отвращения к дурным запахам, будь то уличные, вроде запахов навоза или дегтя, или запахи его собственного тела, дававшие ему материал для любопытных сравнений и экспериментов. В конце концов он нашел, что его обоняние не выносит только некой определенной вони, такой как дух тухлой рыбы или застоялой мочи, и при каждой возможности заставлял себя переносить эту вонь. Дабы умерщвлять чувство вкуса, приучал себя к строгим застольным правилам, в точности соблюдал все церковные посты и старался всегда себя отвлекать во время еды, чтобы не обращать внимания на вкус блюд. Но с особою изощренностью, с усердной изобретательностью он предавался умерщвлению осязания. Он никогда не менял сознательно положения тела в постели, усаживался в наиболее неудобных позах, стоически переносил любой зуд, боль, никогда не грелся у очага, выстаивал на коленях всю мессу, кроме евангельских чтений, не вытирал до конца шею и лицо, чтобы холодный воздух их обжигал, и, если только руки не были заняты четками, всегда держал их плотно прижатыми к бокам, как у бегуна, и никогда не держал их ни за спиной, ни в карманах.

Искушений смертными грехами у него больше не было. Но удивительно было ему увидеть, что и после всех хитроумных мер благочестия и самообуздания он так легко поддавался ребяческим и недостойным слабостям. Все посты и молитвы почти не помогали ему не впадать в гнев, когда мать чихала или когда ему мешали во время его подвигов. И требовалось огромное усилие воли, чтобы обуздать произвольный порыв, толкавший отдалиться этому раздражению. В памяти у него возникали картины тех приступов мелочного гнева, что он часто наблюдал у своих учителей, – дергающиеся рты, закушенные губы, побагровевшие щеки – и сравнение с ними расстраивало его, сколько ни прививал он себе смирение. Слить свою жизнь с общим потоком других жизней было для него труднее всякого поста или молитвы – и именно то, что он никогда не мог этого достичь в удовлетворительной для себя

степени, в конце концов породило в его душе чувство духовной сухости, вместе с которым поднялись колебания и сомнения. Душа его проходила полосу уныния; казалось, самые таинства обратились в высохшие источники. Исповедь стала клапаном, через который вырывались мелкие нераскаянные слабости. Принятие гостии уже не давало теперь ему тех минут растворенья в девственном восторге самоотдачи, что приносило духовное приобщение, коего он порой достигал в завершающий миг некоторых приступов ко Святому Таинству. Он готовился к этим приступам по старому обветшавшему томику с поблекшими буквами и иссохшими пожелтевшими листами. Книга написана была святым Альфонсом Лигурийским. Поблекнувший мир пылкой любви, девственной отзывчивости, казалось, оживал для его души на этих страницах, где образы Песни песней переплетались с молитвами причастника. Неслышный голос, казалось, ласкал и славословил его душу, призывая ее, нареченную невесту, восстать для обручения и двинуться в путь, с вершины Аманы, от гор барсовых[105 - Парафраз Песн. 4: 8.]; и казалось, душа, предаваясь на его волю, отвечала таким же неслышным голосом: *Inter ubera mea commorabitur*[106 - У груди моих пребывает (лат.). Песн. 1: 12.].

Эта идея самоотдачи стала опасно притягательной для него сейчас, когда он ощутил душу свою вновь осаждаемой настойчивыми зовами плоти, которые вновь начали ему нашептывать во время молитв и медитаций. Сознание того, что он может одним своим изволением, одним помыслом разрушить все, чего он достиг, давало ему острое чувство собственной власти. Ему представлялось, будто к его голым ступням медленно подкрадывается прилив, и он поджидает, как первая слабая, робкая волна бесшумно коснется его разгоряченной кожи. И потом, почти в самый миг касания, почти на грани греховного изволения, он вдруг оказывался на сухой полосе, совсем вдали от волны – спасенный внезапным усилием воли или неожиданным духовным порывом – и, наблюдая, как серебряная черта прилива издали начинает снова подкрадываться к его ногам, он вновь ощущал волнуемое чувство власти и удовлетворение тем, что он не поддался и не разрушил всего.

После того как такое ускользание от искустельного потока повторялось много раз, у него появлялось беспокойство, он спрашивал, не раскрадывается ли у него по мелочам та самая благодать, которую он так не желал утрачивать. Стойкая уверенность в своей безопасности убывала, и на смену ей возникал смутный страх, что в действительности душа его пала, не сознавая того. Только с трудом он возвращал себе прежнее сознание своего пребывания в состоянии благодати, убеждая себя, что при каждом искушении он возносил надлежащую молитву и та благодать, о которой он молил, не могла быть не подана ему, Господь просто должен был ее подать. Сама сила и частота искушений показали ему наконец всю истинность того, что он слышал об испытаниях святых. Сильные и частые искушения как раз доказывали, что твердыня души его не пала и что сатана неистово пытается ее сокрушить.

Нередко на исповеди, покайся в своих колебаниях и сомнениях, в какой-нибудь мелкой вспышке гнева, минутной рассеянности во время молитвы, прикровенном своеволии, сказавшемся в поступках или речах, он, прежде чем получить отпущение, слышал указание духовника назвать какой-нибудь давний грех. Со смирением и стыдом он называл его и каялся в нем снова. Смирение и стыд вызывала у него мысль, что до конца ему никогда не освободиться от этого греха, сколь свято он бы ни жил и каких бы еще ни достиг добродетелей и совершенств. Томящее чувство вины будет всегда при нем – он исповедуется, покается, получит отпущение – и снова исповедуется, покается, получит отпущение – и все тщетно. Может быть, та первая, поспешная исповедь, вырванная у него страхом адских мук, не была угодна? Может быть, озабоченный лишь неминуемой погибелью, он не имел настоящей скорби о

грехах своих? Но ведь лучшим свидетельством того, что исповедь его была угодна и скорбь о грехах подлинна, было, он это знал, исправление его жизни.

– Ведь я же исправил свою жизнь, разве нет? – спрашивал он себя.

\* \* \*

Ректор стоял в нише окна, спиной к свету, опираясь локтем на коричневый экран перед шторой; он говорил, улыбался и при этом неторопливо поигрывал шнурком другой шторы. Стивен стоял перед ним, следя глазами то за угасанием долгого летнего дня над крышами соседних домов, то за неторопливыми, плавными движениями пальцев пастыря. Лицо священника было совсем в тени, но гаснущий свет, падая сзади, очерчивал его глубоко вдавленные виски и линии его черепа. Слух Стивена отмечал в его голосе ударения и ритмы, меж тем как он солидно и приветливо говорил на всякие нейтральные темы – о только что кончившихся каникулах, об орденских колледжах за границей, о перемещениях учителей. Солидный и приветливый голос вел непринужденную речь, а в паузах Стивен считал своим долгом поддерживать беседу вежливыми вопросами. Он знал, что все это лишь прелюдия, и ждал, каким будет продолжение. Как только ему сообщили, что его вызывает ректор, ум его погрузился в догадки о цели вызова; и пока он сидел немалое время в приемной, с беспокойством ожидая прихода ректора и переводя взор по стенам от одной назидательной картины к другой, его разум так же переходил от одной догадки к другой – но в конце концов смысл вызова почти прояснился. И едва он подумал, что лучше бы ректор не смог прийти из-за чего-нибудь неожиданного, как послышался звук поворачивающейся дверной ручки и шелест сутаны.

Ректор заговорил о доминиканском и францисканском орденах, о дружбе святого Фомы со святым Бонавентурой. Облачение капуцинов было, на его взгляд, несколько...

Лицо Стивена отразило снисходительную улыбку священника, и, не стремясь присоединять свое суждение, он лишь сделал легкий недоуменный жест губами.

– Я слышал, – продолжал ректор, – сейчас среди самих капуцинов поговаривают о том, чтобы его отменить, как другие францисканцы уже сделали.

– Я думаю, в монастырях его все же сохранят, – сказал Стивен.

– Да, разумеется, – сказал ректор, – в монастырях оно вполне уместно, но для улицы его действительно лучше бы отменить, вы согласны?

– Ведь оно, вероятно, неудобно?

– Конечно, еще бы. Представьте себе, когда я был в Бельгии, я там постоянно, в любую погоду, видел их на велосипедах в этих штуковинах, подобранных выше колен! Зрелище совершенно нелепое. Les jupes[107 - юбки (фр.).] – так их называют в Бельгии.

Гласная получилась у него искаженной до неразборчивости.

– Как-как называют?

– Les jupes.

– А-а.

Стивен снова улыбнулся в ответ на улыбку, которой он не мог видеть на затененном лице священника – лишь ее образ или призрак мелькнули быстро в его сознании, когда он слушал тихий, сдержанный голос. Он спокойно смотрел в окно на угасающий день, радуясь вечерней прохладе и желтым отсветам сумерек, что делали незаметным слабый румянец, вспыхнувший на его щеках.

Названия предметов женского платья, названия тонких мягких тканей, из которых их делали, всегда связывались в его сознании с каким-то тонким греховным ароматом. Маленьким мальчиком он воображал, что вожди – это красивые шелковые ленты, и был потрясен, когда в Стрэдбруке впервые потрогал кожаную засаленную упряжь. Его так же потрясло, когда он впервые ощутил под своими дрожащими пальцами шершавую пряжу женского чулка – ибо из всего прочитанного ум его удерживал только то, что звучало эхом или пророчеством его собственных состояний, и он решался представлять себе душу или тело женщины, полные нежной жизни, лишь в окружении мягкозвучных речей или в облаке мягкорозовых материй.

Но из уст пастыря фраза не была наивностью, он знал, что священникам не положено шутить на такие темы. Шутливость была намеренной, и он чувствовал, как из темноты глаза следят за его лицом. Все, что ему приходилось слышать или читать про хитрость иезуитов, он, не колеблясь, отбрасывал как не подтверждаемое его собственным опытом. В своих наставниках, даже когда они ему не были симпатичны, он всегда видел умных, серьезных пастырей, развитых и телом, и духом. Это были для него мужчины, которые решительно обливаются холодной водой и носят прохладное свежее белье. За все годы, что он прожил среди них в Клонгоузе и Бельведере, он всего дважды получил наказание линейкой, и, хотя эти наказания были незаслуженны, он знал зато, что многое ему сошло безнаказанно. За все эти годы ни от кого из учителей он не услышал ни одного необдуманного слова. От них он узнал христианское учение, они его направляли к праведной жизни, а когда он впал в тяжкий грех, они же вели его по пути возвращения в лоно благодати. Их присутствие вызывало у него неуверенность в себе, когда он был рохлей в Клонгоузе, и потом в Бельведере снова вызывало неуверенность в себе, поскольку он находился в двусмысленном положении. Это постоянное ощущение у него осталось вплоть до последнего года жизни в колледже. Он никогда не совершил никакого послушания, не дал неумным сотоварищам сбить себя и заставить отойти от своего правила спокойно повиноваться, и даже если и сомневался в верности каких-то учительских суждений, то никогда не думал сомневаться открыто. В последнее время некоторые их оценки стали казаться ему слегка наивны, и это вызывало в нем чувства грусти и сожаления, как будто он медленно покидал привычный мир и слушал его наречие в последний раз. Однажды несколько мальчиков беседовали со священником под навесом возле часовни, и он слышал, как священник сказал:

– Я думаю, лорд Маколей за всю свою жизнь наверняка не совершил ни единого смертного греха, то есть умышленного смертного греха.

Кто-то из мальчиков потом спросил, верно ли, что Виктор Гюго величайший французский писатель. Священник ответил, что, когда Виктор Гюго стал противником церкви, он писал просто несравненно хуже, чем когда был католиком.

– Но есть многие из видных французских критиков, – добавил священник, – кто считает, что даже у Виктора Гюго, великого, конечно, писателя, стиль не был таким же ясным, как у Луи Вейо.

Слабый румянец, вспыхнувший на щеках Стивена после намека священника, прошел, глаза смотрели по-прежнему в бесцветное небо. Однако в сознании его все проносилось туда-сюда какое-то беспокойное сомнение. Быстро мелькали неясные воспоминания: он узнавал сцены, лица и одновременно понимал, что во всех сценах что-то самое важное от него ускользает. Вот он прогуливается у спортплощадок в Клонгоузе, следит за играющими и ест цукатики из своей крикетной шапочки. Несколько иезуитов прохаживаются по велосипедной дорожке в обществе дам. В отдаленных углах памяти отдавались эхом какие-то словечки, выражения, ходившие в Клонгоузе.

Его слух пытался уловить это эхо в тиши приемной, когда до его сознания дошло, что священник обращается к нему уже другим тоном:

– Я вызвал тебя сегодня, Стивен, потому что хотел побеседовать с тобой об одном очень важном деле.

– Да, сэр.

– Чувствовал ли ты когда-нибудь, что у тебя есть призвание?

Стивен разжал губы, чтобы сказать да, но вдруг удержался. Священник подождал ответа и затем добавил:

– Я хочу сказать, чувствовал ли ты в себе, в душе своей, желание вступить в орден. Подумай.

– Иногда я об этом думал, – сказал Стивен.

Священник отпустил шнурок шторы и, сложив руки, оперся на них подбородком в сосредоточенном раздумье.

– В таком колледже, как наш, – молвил он наконец, – бывают ученики, один или два или, возможно, три, кого Господь призывает к духовной жизни. Такой ученик выделяется среди своих товарищей благочестием, выделяется тем, что показывает достойный пример другим. Он пользуется уважением у них, они могут, к примеру, выбрать его старостой святого братства. Ты, Стивен, был в нашем колледже именно таким учеником, ты – староста нашего братства Пресвятой Девы. И, может быть, ты и есть тот ученик нашего колледжа, кого Господь замыслил призвать к себе.

Усиленная нота гордости зазвучала здесь в тоне ректора, сменив раздумчивость, и сердце Стивена в ответ забило быстрее.

– Такое призвание, Стивен, – продолжал священник, – это наивысшая честь, которую Всемогущий Бог может даровать человеку. Ни один король, ни один император на земле не наделен властью служителя Божия. Ни ангел, ни архангел на небесах, ни святой, ни даже сама Пресвятая Дева не наделены властью служителя Божия: властью ключей – властью связывать и разрешать грехи[108 - Парафраз Мф. 16: 19.]; властью экзорциста – властью изгонять из Божиих тварей властвующих над ними нечистых духов; властью и полномочием призывать Великого Господа Небес сходить на престол и претворяться в хлеб и вино. Поистине страшная власть, Стивен!

Щеки Стивена снова вспыхнули, потому что в этой гордой речи эхом звучали его собственные горделивые мечтания. Как часто видел он себя священнослужителем, спокойно и смиренно владеющим страшной властью, перед которой благоговеют ангелы



и святые! Душа его любила предаваться этому желанию втайне. Он видел себя молодым иереем, держащимся молчаливо, входящим быстрыми шагами в исповедальню, всходящим по алтарным ступеням, кадящим, преклоняющим колена, свершающим туманные священнодействия, которые влекли его своим подобием реальности и своей дистанцией от нее. В той призрачной жизни, которою он жил в этих мечтаниях, он присваивал себе голоса, жесты, подмеченные у разных священников. В коленопреклонении он отводил в сторону колена, как некто один; кадилом покачивал лишь слегка, подобно другому; и риза его, когда, благословив паству, он вновь поворачивался к алтарю, немного распахивалась – как у третьего. В этих призрачных воображаемых сценах ему больше всего нравилось представлять себя на втором месте. Он отстранялся от миссии литургисающего, ибо ему неприятно было представлять, что вся эта туманная помпезность сойдется в заключение на его особе или что обряд отводит ему настолько ясные и законченные функции. Он мечтал о младших церковных должностях: стоять во время мессы в иподиаконском облачении, поодаль от алтаря, позабытым всеми, на плечах орарь, его концами он держит дискос; или же по совершении бескровной жертвы, в шитом золотом диаконском стихаре, стоять одной ступенью ниже литургисающего, сложив руки и повернувшись лицом к молящимся, – и возглашать *Ite, missa est*[109 - Идите, месса окончена (лат.) – заключительные слова мессы.]. Если когда-нибудь он и видел себя в роли литургисающего, то это было как на картинках с изображением мессы в детском молитвеннике – в церкви без прихожан, только с ангелом у жертвенника, перед неукрашенным алтарем и с прислужником-отроком, лишь немного более юным, чем он сам. Пожалуй, воля его влеклась к встрече с реальностью лишь в туманных обрядах жертвоприношений и таинств – и отчасти как раз отсутствие установленного ритуала сковывало его и обрекало на пассивность, когда он молчаливо подавлял свой гнев или гордость или же, вопреки пылкому желанию, не решался дать поцелуй.

Сейчас он в почтительном молчании внимал речи пастыря, и за звучащими словами ему еще отчетливей слышался голос, звавший его приблизиться, предлагавший ему тайную мудрость и тайную власть. Он узнает тогда, каков же грех Симона Волхва и каков грех против Святого Духа, за который не бывает прощения. Он узнает темные тайны, скрытые от других, от тех, кто был зачат и рожден во гневе. Узнает грехи, греховные желания и мысли, греховные деяния других, выслушивая, как они будут вышептываться ему в исповедальне устами женщин и девушек под покровом стыда, в сумраке церкви – но душа его, которой путем наложения рук при поставлении его в сан таинственно сообщится неуязвимость, затем вновь приблизится незапятнанной к мирной белизне алтаря. Ни следа греха не останется на руках, которыми он вознесет и преломит хлеб причастия, ни следа греха не останется на молящихся устах его, дабы не вкусил и не выпил он осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем[110 - 1 Кор. 11: 28–29.]. Он будет хранить тайную мудрость и тайную власть, оставаясь безгрешным как невинный младенец – и пребудет священником вовек по чину Мелхиседека[111 - Евр. 5: 6; Пс. 109: 4.].

– Я отслужу завтра мессу, – сказал ректор, – чтобы Господь Всемогущий открыл тебе Свою волю. Тебе же, Стивен, следует молиться твоему святому предстателю, первомученику, кому дана великая власть от Бога, дабы просветил Бог твой разум. Но ты должен быть твердо уверен, Стивен, что у тебя есть призвание, ибо ужасно будет, если позднее ты поймешь, что его не было. Помни: ставший священником – всегда священник. Из катехизиса ты знаешь, что таинство рукоположения принадлежит к тем таинствам, что совершаются единственный раз, ибо оно оставляет в душе неизгладимый, ничем и никогда не стираемый духовный след. Ты должен все это взвесить заранее, пока не поздно. Это вопрос великой важности, Стивен, ибо от него может зависеть спасение твоей бессмертной души. Помолимся Богу вместе.

Он отворил тяжелую входную дверь и протянул руку так, словно уже своему сотоварищу по духовной жизни. Стивен вышел на широкую площадку над лестницей и ощутил мягкую ласку вечернего ветерка. У церкви Финдлейтера вышагивала четверка молодых людей, обнявшись под руки, качая в такт головами и ступая в такт бойкому мотивчику, который передний наигрывал на концертино. В одно мгновение, как всегда действовали на него первые такты неожиданной мелодии, звуки музыки пронеслись над причудливыми строениями его мыслей, рассыпав их безболезненно и бесшумно, как набежавшая волна рассыпает детские песочные башни. Улыбаясь простенькому мотиву, он поднял глаза на лицо священника и, увидев на нем безрадостное отражение угасшего дня, медленно забрал свою руку, которая со слабой покорностью переносила сотоварищество пожатия.

Пока он спускался по лестнице, впечатление от этой безрадостной маски на пороге колледжа, отражающей угасший день, подчинило себе его возбужденные размышления о своей участи. Через сознание степенно потянулась тень жизни колледжа. Степенная, размеренная, бесстрастная жизнь ожидала его в ордене, жизнь без забот о материальном. Он представлял себе, как проведет первую ночь в новициате и в каком страхе проснется поутру в дортуаре. К нему вернулся тревожащий запах длинных коридоров в Клонгоузе, и он услышал тихий шепот горящих газовых рожков. Из всех частей его существа вдруг разом начало излучаться резкое беспокойство. Лихорадочно ускорился пульс, и какой-то гул бессмысленных слов в беспорядке разметал его мысли во все стороны. Легкие расширились и сжимались, словно вдыхали теплый, сырой и душный воздух, и он снова чувствовал теплый и сырой воздух в ванной Клонгоуза над мутной торфяного цвета водой.

Какой-то инстинкт, разбуженный этими воспоминаниями, более сильный, чем воспитание, чем религиозность, восставал в нем при всяком приближении к этой жизни – инстинкт неуловимый, враждебный, вооружавший его против покорного согласия. Холод и размеренность этой жизни отталкивали его. Он видел, как поднимается промозглым утром и в общей цепочке следует к ранней мессе и тщетно пытается с помощью молитв побороть тошноту в желудке. Видел, как сидит за обедом в колледже со всей общиной. А что же станет тогда с этой сидящей в нем застенчивостью, из-за которой ему непереносимо было есть и пить в чужом месте? Что станет с гордостью его духа, которая всегда заставляла его смотреть на себя как на существо, всюду стоящее особняком?

Его преподобие Стивен Дедал, S. J. [112 - Societas Jesu – Общество Иисуса (иезуитский орден) (лат.).]

Имя его в этой новой жизни вдруг встало перед глазами, выписанное всеми буквами, а следом за ним в уме возникло какое-то неопределенное лицо, или цвет лица. Этот цвет то бледнел, то усиливался, как перемены оттенков тусклого кирпично-красного. Были ли это те же оттенки красноты раздраженной кожи, которые он так часто видел утром зимой на бритых отвислых щеках священников? Лицо было безглазое, кисло-набожное, с багровыми пятнами сдавленного гнева. Не был ли это всплывший в уме призрак лица иезуита, которого одни мальчики называли Остроскулым, а другие – Старым Лисом Кемпбеллом?

Он проходил в это время мимо иезуитского дома на Гардинер-стрит и ощутил слабый интерес, какое окно будет его, если он когда-нибудь вступит в орден. Потом его заинтересовала слабость этого интереса, отдаленность души его от того, что он совсем недавно воображал ее святыней, слабость узды, наложенной на него годами послушания и дисциплины, – слабость, сразу же выступившая, едва явилась угрозой, что один бесповоротный поступок навсегда отнимет его свободу, временную и

вечную. Голос ректора, убеждавший его в верховной миссии церкви, в великой тайне и власти священнического сана, попусту повторялся в его сознании. Душа его не внимала, не откликалась – она отсутствовала, и он уже понимал, что все выслушанные им призывы превратились в пустые официальные фразы. Нет, никогда он не будет кадить у алтаря в одеждах священника. Удел его – уклоняться от всех институтов, общественных и религиозных. Мудрость призывов пастыря не смогла задеть его за живое. Ему суждено овладеть собственной мудростью, не сливаясь с другими, или же овладеть мудростью других, блуждая среди ловушек мира.

Ловушки мира – пути греха. И он падет. Пока еще он не пал, но он падет – неслышно, мгновенно. Не пасть – это слишком, слишком трудно – и он ощущал, как в некий момент, неслышно, свершится падение его души – падение близится, оно еще не пришло, его душа покуда не пала – но она на грани паденья.

Переходя мост через воды Толки, он бросил беглый и безразличный взгляд на голубую выцветшую фигуру Пресвятой Девы, стоявшую птицеподобно на столбике среди кучки бедных домишек, напоминавшей по форме окорок. Потом он свернул налево, в переулок, который вел к его дому. С огородов, протянувшихся по речному откосу, слабо доносилась кислая вонь гнилой капусты. Он улыбнулся при мысли, что вот эта стихия, застойная и растительная жизнь, беспорядок, хаос, развал его отчего дома, одержат победу в его душе. Короткий смешок сорвался с губ его, когда он вдруг вспомнил бобыля-огородника, трудившегося на огородах за их домом. Они прозвали его дядя в шляпе. Слегка погодя у него вырвался сам собой и второй смешок, когда он вспомнил, как дядя в шляпе трудился – сперва посмотрит на небо, потом по очереди на все стороны света – и потом с тяжким вздохом воткнет заступ в землю.

Он толкнул входную дверь без замка и через голый коридор прошел в кухню. За столом сидела часть его братьев и сестер. Чаепитие уже заканчивалось, и в стеклянных кружках и баночках из-под джема, заменявших чайные чашки, виднелись только остатки жидкого, спитого чая на дне. Несъедобные корки, ломти хлеба, посыпанного сахаром, темные от пролитого на них чая, валялись разбросанными по столу. Там и сям расплывались чайные лужицы, и нож со сломанной костяной ручкой торчал из нутра раскромсанного картофельного пирога.

Печальное и мягкое серо-голубое свечение угасавшего дня, проникая через окно, через открытую дверь, окутывало и смягчало укору совести, которые тотчас вспыхнули в сердце Стивена. Все, в чем было отказано им, было щедро дано ему, старшему – но в мягком свечении сумерек он не увидел на их лицах никакой злобы.

Он сел за стол рядом с ними и спросил, где отец и мать. Ответ был:

– Пошлити домти смотретьти.

Опять переезд! Один ученик в Бельведере по фамилии Фоллон не раз его спрашивал, глупо хихикая, почему это они без конца переезжают. Лоб его сразу же затемнила презрительная складка, потому что ему снова послышалось это глупое хихиканье.

– А что это мы снова переезжаем, можно узнать? – спросил он.

Та же из сестер ответила:

– Дати насти хозяинти гонитти.

Голос самого младшего из братьев, сидевшего дальше всех, у камина, затянул «Часто ночью тихой». Другие по очереди подхватили, и вскоре все они пели хором. Так они будут петь часами, песню за песней, и на один голос, и на несколько, пока не угаснут последние бледные отблески на горизонте и не появятся темные ночные облака. Пока не наступит ночь.

Он подождал, слушая, несколько минут, а потом присоединился к пению. С чувством душевной боли он вслушивался в нотки усталости, звучащие в их звонких, чистых, невинных голосах. Они еще не успели пуститься в странствие по жизни – и словно уже устали от дороги.

Он слушал хор голосов в кухне, который бесчисленно отражался и умножался в хорах бесчисленных поколений детей – и во всех отражениях, словно повторяющееся эхо, слышал ноты усталости и страдания. Казалось, все устало от жизни, еще не вступив в нее. И он вспомнил, что Ньюмен слышал эту ноту также в обрывках строк Вергилия, выразивших, подобно голосу самой Природы, те страдания и усталость, но все же и надежду на лучшее, что были уделом ее детей во все времена.

\* \* \*

Он не мог больше ждать.

От паба Байрона до врат Клонтарфской часовни, от врат Клонтарфской часовни до паба Байрона, и опять обратно к часовне, и опять обратно до паба – сначала он шагал медленно, тщательно стараясь ступать в середину, а не на границы плит тротуара, потом начал подгонять ритм шагов к ритму стихов. Вот уже целый час, как отец там скрылся с Дэном Кросби, преподавателем, чтобы расспросить его насчет университета. И целый час он расхаживал взад и вперед в ожидании – но больше он не мог ждать.

Он резко повернул к Буллю, ускорив шаг, чтобы отец своим свистом не мог бы вернуть его обратно; и через несколько секунд, обогнув угол полицейских казарм, был уже вне опасности.

Да, мать была против этой идеи, ему это читалось в ее безучастном молчании. Но ее недоверие подстегивало его еще сильнее, чем тщеславие отца – и он хладнокровно размышлял о своих наблюдениях над тем, как вера, что угасала в его душе, в материнском взоре делалась все более твердой, истовой. Смутная враждебность против ее отказа в поддержке нарастала в нем, затуманивая сознание, словно облако, а когда она рассеялась, словно облако, и сознание вновь стало безмятежным и полным сыновней преданности, он смутно осознал, не чувствуя сожалений, что это бесшумно образовалась первая трещинка, разъединившая их жизни.

Университет! Значит, он миновал все дозоры часовых, что стояли стражами его детства и стремились удержать его при себе, чтобы он им подчинялся и служил бы их целям. Удовлетворение и за ним следом гордость возносили его, словно медленные высокие волны. Цель, служить которой он был рожден, хотя еще и не разглядел ее, позволила ему вырваться незримым путем – и теперь опять звала за собой, и перед ним открывались новые приключения. Казалось, он слышит звуки порывистой музыки, то взмывающей на целый тон вверх, то падающей на кварту вниз, и вновь на целый тон вверх и на большую терцию вниз, – будто тройственные языки пламени, вылетающие порывисто из полночного леса. То была прелюдия эльфов,

бесконечная, бесформенная, она становилась все быстрее, неистовей, языки пламени вырывались из ритма, и ему казалось, он слышит, как под кустами, в траве мчатся какие-то дикие создания, и топот их ног как шум дождя по листве. Топот их ног нестройным гулом отдавался в его сознании, ног зайцев и кроликов, оленей, серн, антилоп, и потом он наконец перестал слышать их, а в памяти прозвучал гордый ритм строк Ньюмена: В беге сравнится он с быстрыми сернами и пребывает под мышцами вечными.

Смутный образ проникнут был ощутимой гордостью, и это вернуло мысли его к достоинству служения, им отвергнутого. Все детские годы он раздумывал о том, что так часто мнилось ему его жребием – но, когда настал момент повиноваться призыву, он ушел в сторону, повинаясь инстинкту своеволия. И теперь поздно уже. Елей рукоположения никогда не умастит его тела. Он отказался. Почему?

У Доллимаунта он свернул к морю и, проходя по легкому деревянному мостику, почувствовал, как доски его сотрясаются от топота ног в грубой обуви. Отряд братьев-христиан возвращался с Булля и начинал как раз переходить через мост. Они шли попарно, одна пара за другой вступали на мост, и вскоре он весь раскачивался в такт. Грубые лица шли мимо, пара за парой, выкрашенные морем в оттенки охристого, багрового, лилового, и хотя он делал усилие смотреть на них непринужденно и равнодушно, его собственное лицо окрасилось слабой краской стыда, жалости, сочувствия. Досадуя на себя, он старался скрыть свое лицо от их взглядов, направив свой в сторону, на мелкую бурлящую воду под мостом, но и там виделись ему отражения их тяжеловесных шляп, бедных воротничков-ленточек, мешковатых монашеских одежд.

– Брат Хикки.

Брат Квейд.

Брат Макардл.

Брат Кео.

Их набожность наверняка подобна их именам, их лицам, их одежаниям, и попусту было бы ему себя убеждать, что их сердца смиренные и сокрушенные, быть может, приносили куда более щедрую дань благочестия, чем его сердце, и дань эта была во много крат угоднее Богу, чем его разработанная система поклонения. Попусту было бы внушать себе великодушие к ним, говорить себе, что, если он когда-нибудь постучится у их врат, отбросив свою гордыню, поруганный и в нищенском рубище, они будут великодушны к нему и возлюбят его как самих себя. Попусту, да к тому же и раздражающе было бы, вопреки собственной бесстрастной уверенности, пытаться утверждать, что заповедь любви нам велит возлюбить нашего ближнего не с тою же силою любви как самого себя, а всего лишь любовью того же самого рода, как любовь к самому себе.

Он извлек одно выражение из своих сокровищ и тихо про себя произнес:

– День пестро-перистых, рожденных морем облаков.

Фраза, день и пейзаж сливались в один аккорд. Слова. Или их краски? Он дал им волю просверкать и померкнуть, всем оттенкам по очереди: золото восхода, рыжинка и зелень яблочных садов, лазурь волн, серая бахрома облачной кудели. Нет, не в красках дело – а это строй и равновесие звучащей фразы. Значит, его больше

влекли ритмические взлеты и падения слов, чем связь их с легендами, с красками? Или, будучи столь же слаб глазами, как робок духом, он находил меньше удовольствия в игре преломлений лучащегося чувственного мира сквозь призму языка, многоцветного и богато расписанного, чем в созерцании внутреннего мира личных переживаний, зеркально отраженного в ясной, гибкой, ритмичной прозе?

С качающегося мостика он вновь ступил на твердую землю. В ту же минуту ему показалось, что в воздухе пахнуло холодом, и, скосив взгляд на воду, он увидел, как под налетевшим вихрем волны прилива разом потемнели и подернулись рябью. Легкий толчок в сердце, легкий спазм в горле снова напомнили ему, насколько плоть его страшит холодящий недочеловеческий дух моря – но он не пустился через дюны налево, а продолжал идти прямо вдоль хребта скал, подступавших к устью реки.

Пасмурный свет слабо освещал серое полотно вод там, где река входила в залив. Вдалеке, вниз по медленно текущей Лиффи чертили небо стройные мачты; еще дальше рисовались сквозь дымку смутные очертания города. Как едва различимый рисунок на гобелене, древний как человеческая усталость, представал его взору через вневременное пространство образ седьмого града христианского мира, не более древнего, не более утомленного и не менее покорного своим господам, чем был он во времена Тингмота.

В унылой апатии он поднял глаза к плывущим медленно облакам, пестро-перистым, рожденным морем. словно орда кочевников, странствующих в пустыне небес, шли они высоко над Ирландией, держа на запад. Европа, откуда пришли они, лежала там за Ирландским морем, Европа чужезычная и многодолинная, опоясанная лесами и крепостями, полная окопавшихся и изготовившихся в поход народов. Ему слышалась где-то в нем, внутри, путаная музыка из имен, из воспоминаний, которые он почти узнавал, но не мог ухватить хотя бы на миг – потом музыка начала уплывать, уплывать, уплывать – и от каждого уплывающего шлейфа музыкальной туманности отделялся один долгий призывный звук, как звезда прорезающий сумрак тишины. Эгей! Эгей! Эгей! То зывал голос из потустороннего мира.

– Привет, Стефанос!

– Грядет великий Дедал!

– Ох!.. Эй, будет, Двайер! Будет, говорю, а то в рожу получишь... Ох!

– Таусер, молодчага! Окуни, окуни его!

– Сюда, Дедал! Бус Стефануменос! Бус Стефанефорос!

– Ага, окунай! Давай, Таусер, пусть хлебнет!

– Помогите, эй, помогите!.. Ох!

Он узнавал их всех вместе по голосам, прежде чем мог различить лица. От одного вида этого месива мокрой наготы его пробрало холодом до костей. На их телах, трупной белизны, или с бледно-золотым отливом, или с грубым загаром, блестела морская влага. Служивший трамплином камень, плохо прилаженный на других камнях, шатавшийся при каждом прыжке, и грубо отесанные камни пологого волнореза, на который они взбирались в своей возне, блестели холодным мокрым блеском. Полотенца, которыми они хлестались, набрякли от холодной морской воды, а волосы

слиплись, пропитавшись холодной соленой жижей.

Он внял их окликам и остановился, отзываясь легкими репликами на их шутки. Какие все они были невыразительные: Шьюли – без широкого, вечно расстегнутого воротничка, Эннис – без ярко-красного пояса с пряжкой в виде змеи, Коннолли – без своей охотничьей куртки с карманами, лишенными клапанов. Вид их вызывал боль; и боль, острую как нож, вызывали признаки взросления, которые делали отталкивающей их жалкую наготу. Может быть, своим шумным скопищем они спасались от страха, таившегося в их душах. Но он, отделенный от скопища и от шума, хорошо помнил, в каком страхе стоял он перед тайной собственного тела.

– Стефанос Дедалос! Бус Стефануменос! Бус Стефанефорос!

Их подтрунивания были не новы для него, и теперь они льстили его спокойной, горделивой самостоятельности. Теперь, как никогда прежде, его странное имя звучало для него пророчеством. Воздух, серый и теплый, казался таким вневременным, а настроение его таким переливчатым, отрешенным от всего личного, что все столетия для него сравнялись. Вот только что, миг назад, сквозь облик города в дымке проглянул призрак древнего королевства датчан. Сейчас же в имени легендарного искусника ему слышался шум смутно различных волн; и представлялась крылатая тень, летящая над волнами, медленно поднимающаяся ввысь. Что значила она? Была ли то причудливая эмблема, открывающая страницу некой средневековой книги пророчеств и символов – подобный соколу человек, взлетающий над морем – к солнцу, предвестник цели, служить которой он был рожден, к которой шел сквозь туманы детства и отрочества, – символ художника, который в своей мастерской выковывает заново из косной земной материи новое существо, парящее, неосязаемое, нетленное?

Сердце его трепетало, дыхание участилось, и шальной порыв пронесся чрез все его существо, словно бы оно воспаряло к солнцу. Сердце трепетало в экстазе страха, но душа уносилась ввысь. Душа парила в потустороннем мире, а тело, такое знакомое, очистилось в одно дыхание, освободилось от неуверенности, стало лучащимся и слилось со стихией духа. Экстазом полета лучились его глаза, наполнялось рвущееся из груди дыхание, и все члены сделались тоже трепетными, лучащимися, подхваченными неудержимым ветром.

– Раз, два... Берегись!

– Ай, меня утонуло!

– Раз! Два! Три! Прыгай!

– А теперь я! теперь я!

– И – раз!.. Уф!..

– Стефанефорос!..

Горло его томилось желанием издать крик, крик сокола или орла в вышине, желанием пронзительно выкрикнуть всем ветрам о своем освобождении. Жизнь призывала душу его к себе, и голос ее не был ни грубым угрюмым голосом мира долга и безнадежности, ни тем нечеловеческим голосом, что звал его к тусклой службе у алтаря. Одно мгновение шального полета освободило его, и ликующий крик, которому не дали вырваться его уста, расколол его мозг.

– Стефанефорос!..

Что теперь это все, как не саван, сброшенный с тела смерти, – этот страх, не оставлявший его ни ночью ни днем, неуверенность, кругом оковавшая его, стыд, унижавший его и внешне, и внутренне, – разве это не саван, не могильные покровы?

Душа его восстала из могилы отрочества, стряхнув с себя могильные одеяния. Да! Да! Да! Как великий искусник, чье имя он носит, он гордо создаст из свободы и мощи своей души нечто новое и живое, парящее и прекрасное, неосязаемое, нетленное.

Он возбужденно пустился дальше, сойдя со скал, он больше не мог сдерживать разгоряченную кровь. Его щеки, он чувствовал, горели, из горла рвалась песня, ноги стремились неудержимо в путь, дальше и дальше, на край света. Вперед! Вперед! – словно взывало его сердце. Над морем сгустится мгла, долины оденет ночь, а перед путником забрезжит заря, откроет ему незнакомые поля, и холмы, и лица. Где?

Он глянул на север в сторону Хоута. Море отступило за линию водорослей с мелкой стороны волнореза, и волна быстро убегала вдоль кромки берега. На мелководье обнажился уже длинный овал теплого сухого песка. Тут и там среди мелкой зыби поблескивали песчаные островки; у этих островков и вокруг длинной овальной отмели среди мелких ручейков на пляже рассеяны были легкоодетые пестроодетые фигуры, которые перемещались и нагибались.

Через минуту он уже стоял босой, засунув носки в карманы и повесив через плечо парусиновые туфли, связанные за шнурки, – потом добыл из наносов прилива между скал заостренную, изъеденную солью палку и спустился по волнорезу вниз.

Поток струился по пляжу – и, медленно бредя вверх по его течению, он всматривался в бесконечную вибрацию водорослей. Изумрудные, черные, рыжие, оливковые, они двигались под водой, кружась и покачиваясь. В струях потока, что казались темней от этой бесконечной вибрации, вибрировали отражения облаков. Облака плыли по ветру над его головой в тиши – и в тиши у ног его плыли по течению пучки водорослей – тишь стояла в сером и теплом воздухе – а в жилах его пела шальная новая жизнь.

Куда кануло его отрочество? Где душа его, отступившая пред своей судьбой, чтобы скорбеть в одиночестве над позором своих ран и царствовать в убогой обители самообмана, облачившись в истлевший саван и венки, который распадется в прах от одного прикосновения? И где он сам теперь?

Он был один. Ни под чьим надзором, вплотную к неистовому сердцу жизни, счастливый. Один – юный и своевольный, с неистовым сердцем, один в неистовых воздушных просторах, среди соленых волн, морских щедрот – водорослей и ракушек, солнечного света в пасмурной серой дымке, и пестроодетых легкоодетых фигур детей и девушек, и звучащих в воздухе детских и девичьих голосов.

Перед ним посреди ручья стояла девушка, она стояла одна, не двигаясь и глядя на море. Она напоминала создание, каким-то волшебством превращенное в подобие невиданной и прекрасной морской птицы. Ее длинные, стройные, обнаженные ноги, точеные, будто ноги цапли, были белы и чисты, лишь одна изумрудная полоска водорослей метила их как знак. Выше колен ноги были полней, мягкого оттенка



слоновой кости, и только уже почти у бедер нагота их скрывалась белыми оборками панталон, как белым пушистым оперением. Подол серо-голубого платья был спереди смело подобран и подоткнут вокруг талии, а сзади спускался голубиным хвостом. Грудь тоже как у птицы мягкая и хрупкая – хрупкая и мягкая как грудка темноперой голубки. Но длинные светлые волосы были девичьи – и девичьим было ее лицо, отмеченное чудом смертной красы.

Она стояла одна, не двигаясь и глядя на море; когда же она ощутила его присутствие, его взгляд, полный преклонения, она повернула свой взгляд к нему и спокойно встретилась с ним глазами, без смущенья и без развязности. Долго, долго она выдерживала его взгляд, а потом отвела спокойно глаза, устремив их вниз, на ручей, и тихо плеская воду ногой – туда, сюда. Первый легкий звук тихо плещущейся воды нарушил молчание, звук легкий, негромко шепчущий, легкий как звон во сне – плеск туда и сюда, туда и сюда – и легкий румянец задрожал на ее щеках.

– Боже небесный! – воскликнула душа Стивена в экстазе мирской радости.

Внезапно он отвернулся от нее и зашагал стремительно прочь по берегу. Щеки его горели – тело было в огне – ноги дрожали. Вдаль, вдаль, вдаль, вдаль устремлялся он по пескам, распевая неистовый гимн морю, приветным зовом встречая пришествие жизни, которая позвала его.

Образ ее навеки вошел в его душу, и ни единым словом не было нарушено священное молчание его восторга. Ее глаза позвали его, и душа рванулась навстречу зову. Жить, заблуждаться, падать и побеждать, вновь творить жизнь из жизни! Неистовый ангел явился ему, ангел смертной красоты и юности, посланница сияющих царств жизни, чтобы в один миг восторга перед ним распахнулись все врата путей заблуждения и славы. Вдаль, вдаль, вдаль, вдаль!

Он остановился внезапно и услышал в тишине стук собственного сердца. Куда он забрел? И который час?

Кругом не было ни души, и в воздухе не доносилось ни звука. Отлив, однако, сменялся уже приливом, и день клонился к закату. Он повернул прочь от моря и бегом начал подниматься по отлогому пляжу, не обращая внимания на острую гальку, – пока не заметил песчаную ложбинку меж дюн, поросших пучками трав. Там он прилег, чтобы мирная тишина вечера помогла успокоить его взбунтовавшуюся кровь.

Он чувствовал над собой просторный и равнодушный купол, спокойное шествие небесных тел – под собой же чувствовал землю, что родила его, приняла к своей груди.

В сонной истоме он закрыл глаза. Веки его вздрагивали, словно бы чувствуя широкое круговращательное движение земли и ее стражей, словно бы ощущая странный свет какого-то нового мира. Душа его, замирая, погружалась в этот мир, фантастический, неясный, нечеткий, как в морской глубине, где перемещались туманные очертания и существа. Мир, или мерцанье, или цветок? Мерцая и дрожа, дрожа и распускаясь, вспыхнувший свет, раскрывающийся цветок, он развertyвался, следуя бесконечно сам за собою, вспыхивая ярко-алым, распускаясь, тускнея до бледнейше-розового, лепесток за лепестком, волна света за волной света, заливая все небо своими мягкими сполохами, каждый насыщеннее всех прежних.

Уже совсем вечерело, когда он проснулся; песок и сухие травы его ложа успели остыть. Он медленно встал и, вспомнив восторженные видения своего сна, вздохнул над пережитой радостью.

Поднявшись на вершину дюны, он осмотрелся вокруг. Вечерело. Ободок молодого месяца прорезал бледную пустоту небес как обод серебряного обруча, зарывшегося в серый песок, – и прилив быстро подкатывался к земле, шепча волнами и превращая в островки последние одинокие фигурки в дальних озерах.

## Глава V

Он выпил до капли третью чашку жидкого чая и, глядя в темную гущу на дне банки, стал грызть валявшиеся поблизости корки поджаренного хлеба. В желтоватой гуще была лунка, словно промоина в болоте, и лужица на ее дне вызвала в его памяти темную, торфяного цвета воду в ванне Клонгоуза. Под руками у него стояла коробка с закладными, в которой только что рылись, и он бездумно вынимал из нее жирными пальцами один за другим синие и белые билетки, исписанные каракулями и промокнутые песком, мятые и украшенные именем закладчика, Дейли или Макивой.

1 Пара сапог.

1 Пальто, перекраш.

3 Мелочи в белой тр.

1 Кальсоны мужские.

Отложив их в сторону, он в задумчивости воззрился на крышку коробки, в пятнах от раздавленных вшей, и рассеянно спросил:

– А на сколько у нас часы сейчас вперед?

Мать приподняла побитый будильник, лежавший на боку на каминной полке, и стал виден циферблат, на котором было без четверти двенадцать. Потом опять положила его на бок.

– На час двадцать пять, – сказала она. – Верное время двадцать минут одиннадцатого. Видит Бог, ты уж постарался бы вовремя уходить на лекции.

– Приготовьте мне место для мытья, – сказал Стивен.

– Кейти, приготовь Стивену место для мытья.

– Буди, приготовь Стивену место для мытья.

– Я не могу, я тут с синькой. Мэгги, давай ты приготовь.

Когда эмалированный таз пристроили в раковину и на край его повесили старую рукавичку для мытья, Стивен дал матери протереть ему шею, промыть в складках ушей и в складках у крыльев носа.

– Плохие это дела, – сказала она, – если студент университета такой грязнуля,

что матери приходится его мыть.

– Но это же для тебя удовольствие, – спокойно отвечал Стивен.

Сверху раздался пронзительный свист, и мать, бросив ему в руки волглую блузу, сказала:

– Вытирайся и уходи поскорей, ради всего благого.

Второй резкий свист, долгий и с гневной силой, заставил одну из девочек подойти к лестнице.

– Да, папа.

– Эта ленивая сука, твой братец, уже убрался?

– Да, папа.

– Это точно?

– Да, папа.

– Угм!

Девочка вернулась на место, делая ему знаки поторопиться и удирать черным ходом. Засмеявшись, Стивен сказал:

– У него странные понятия о полах, если он думает, что сука мужского пола.

– Как, Стивен, тебе не стыдно, – сказала мать. – Настанет день, ты еще пожалеешь, что тебя занесло в это заведение. Ты так с тех пор изменился.

– Всем привет, – сказал Стивен, улыбаясь и целуя в знак прощания кончики своих пальцев.

Проулок за их террасой раскис от дождя, и, пока он медленно пробирался по нему, выбирая путь между кучами размокшего сора, он слышал, как в лечебнице для душевнобольных монахинь за высокой стеной раздаются вопли безумной:

– Иисусе! О, Иисусе! Иисусе!

Досадливо встряхнув головой, он постарался избавиться от этого крика и заторопился вперед, спотыкаясь о вонючие отбросы. Сердце уже саднило от горечи и отвращения. Свист отца, причитания матери, вопли невидимой сумасшедшей слились в многоголосый оскорбительный хор, грозивший унижить его юношеское самолюбие. Проклиная все эти голоса, он изгнал даже сам отзвук их из своего сердца – но, идя по улице и глядя, как серый свет утра доходит к нему сквозь кроны деревьев, роняющие капли дождя, вдыхая странный пьянящий запах намокшей коры и листьев, он ощутил, что душа его освобождается от скорбей своих.

Огруженные от дождя деревья вызвали у него, как всегда, воспоминания о девушках и женщинах из пьес Герхарда Гауптмана; воспоминания об их незаметных горестях и душистый запах, льющийся с влажных веток, слились в одно ощущение тихой радости. Утренний путь его по городу начался, и он заранее знал, что, проходя болотистые

низины Фэрвью, он будет думать об аскетической сребротканой прозе Ньюмена; и что на Северной Стрэнд-роуд, рассеянно поглядывая в окна съестных лавок, припомнит мрачный юмор Гвидо Кавальканти и улыбнется; и что у мастерской каменотеса Берда на Толбот-плейс сквозь него, словно свежий ветер, пронесется дух Ибсена, дух красоты своенравной и мальчишеской; и что, минуя портовую лавку на той стороне Лиффи, черную от угольной пыли, он будет про себя повторять песню Бена Джонсона, начинающуюся словами:

Я утомлен не больше был, когда прилег...

Когда ум его бывал утомлен своими поисками сути прекрасного в призрачных словесах Аристотеля и Аквината, он часто искал наслаждения в изящных песнях Елизаветинцев. В одеянье усомнившегося монаха, нередко стаивал он под окнами этого века, затаясь в тени и внимая задумчивой и насмешливой музыке лютнистов или задорному смеху гулящих женок, пока слишком грубый хохот или потускневшее от времени реченье, непотребное либо напыщенное, не уязвляли его монашескую гордость, заставляя покинуть свое убежище.

Премудрость, в раздумьях над которой он проводил, как все думали, дни свои напролет, будучи отторгаем ею от общества сверстников, была всего лишь тощим набором изречений из поэтики и психологии Аристотеля, а также из «Synopsis Philosophiae Scholasticae ad mentem divi Thomae»[113 - «Свод схоластической философии по учению святого Фомы» (лат.)]. Мысль его блуждала в тумане сомнений и недоверия к себе, порой озаряясь вспышками интуиции – но эти вспышки доставляли столь великолепную ясность, что в такие мгновения весь мир под его ногами исчезал, будто испепеленный дотла, – и после этого его язык делался неповоротлив, а взор встречал чужие взоры безответно, словно не видя, ибо он чувствовал, что дух прекрасного окутывал его подобно мантии, и он, хотя бы в мечтаниях, познал благородство. Но, когда гордая эта немота оставляла его, он только рад был вновь очутиться в гуще обычных существований, бесстрашно и с легким сердцем прокладывая свой путь сквозь шумный, убогий и беспечный город.

Возле ограждений канала ему повстречался чахоточный с кукольным лицом, в шляпе без полей, в каштановом, наглухо застегнутом пальто и со сложенным зонтиком, который он держал, выставив перед собой наподобие жезла водоискателей; по скату горбатого мостика тот мелкими шажками приближался к нему. Похоже, уже одиннадцать, подумал он и заглянул внутрь молочной узнать время. Тамошние часы заверяли, что времени без пяти пять, однако, отведя взгляд, он услышал, как быстрые четкие удары каких-то незримых часов неподалеку пробили одиннадцать. При этих звуках он рассмеялся – ему вспомнился Макканн, и он увидел его плотную фигуру в охотничьей куртке, в бриджах, с козлиной светлой бородкой, как тот стоит, борясь с ветром, возле Хопкинса на углу и изрекает:

– Вы, Дедал, антисоциальное существо, поглощенное самим собой. А я не таков. Я демократ и буду работать, буду бороться за социальную свободу и равенство классов и полов в будущих Соединенных Штатах Европы.

Одиннадцать! Значит, уже и на эту лекцию поздно. А день-то какой сегодня? Он остановился у киоска прочесть газетную шапку. Четверг. С десяти до одиннадцати английский, с одиннадцати до двенадцати французский, с двенадцати и до часу физика. Он представил лекцию по английскому и тут же почувствовал себя, даже на расстоянии, растерянным и беспомощным. Он видел головы однокурсников, покорно склоненные над тетрадками, куда они записывали, что велено заучить: определения по имени и определения по существу, примеры их, даты рождения и смерти, основные

произведения, положительные и параллельно отрицательные отзывы критики. Его же голова не была склоненной, и мысли его были далеко; оглядывал ли он немногочисленных студентов вокруг или смотрел в окно на обезлюдившие аллеи Стивенс-Грин, его неотступно преследовал унылый запах подвальной сырости и разложения. Еще одна голова, прямо перед ним в первых рядах, прочно торчала над согбенными однокашниками, словно голова священника, призывающего к смирению перед чашей собравшихся вокруг смиренных прихожан. Почему, думая о Крэнли, он никогда не мог вызвать в воображении всю фигуру его, а мог только голову и лицо? Вот и сейчас, на фоне серого утра, он видел перед собой, словно призрак во сне, лицо отрубленной головы или посмертную маску, венчаемую на лбу, как железным венцом, прямыми черными торчащими волосами. Лицо священника – во всем, в аскетической бледности, в широких раскрытых носа, темных впадинках под глазами и возле рта; и в длинных, бескровных, чуть усмехающихся губах – и, живо припоминая, как день за днем, ночь за ночью он рассказывал Крэнли обо всех своих душевных бурях, смятениях и тоске, чтобы получить в ответ одно лишь внимающее молчание друга, Стивен вполне бы сказал себе, что лицо это – лицо провинившегося священника, который выслушивает исповеди, не имея власти дать отпущение, если бы не продолжал ощущать в памяти пристальный взгляд его темных женственных глаз.

Это видение словно приоткрыло ему некую темную пещеру странных раздумий, но он тотчас же отвернулся, чувствуя, что еще не настал час вступить туда. Однако безучастность друга, как цветок белладонны, разливала в окружающем воздухе тонкие смертельные испарения, и он поймал себя на том, что, глядя по сторонам, фиксирует взглядом то одно, то другое выдернутое слово и тупо дивится, как оно мгновенно и беззвучно теряет смысл – пока наконец каждая вывеска попутной лавчонки не стала казаться его уму магическим заклинанием и душа его съезжилась, вздыхая по-стариковски, меж тем как он шагал по проулку среди этих груд мертвых слов. Ощущение языка уплывало из его сознания, каплями вливаясь в сами отдельные слова, которые принялись сплетаться и расплетаться в прихотливом ритме:

Здесь плющ плющится по стене  
Он плещет, пляшет по стене  
Здесь плющ плющится по стене  
Здесь желтый жметя плющ к стене  
Как плющ желтеет на стене.

Возможна ли этакая чепуха? Боже милостивый! Что это еще за плющ, который плющится по стене? Желтый плющ – это еще куда ни шло. Желтый плюмаж – положим, тоже. А если плюмажный плющ?

Слово вдруг ожило, засверкало в его мозгу, воображению представились пышные плюмажи, торжественные процессии в древности или в каких-то дальних краях, в Индии или Древнем Риме... Из Индии вывозили золото, слоновую кость, эту слоновую кость выпиливали из крапчатых слоновых бивней. Ivory, ivoire, avorio, ebur[114 - Слоновая кость (англ., фр., ит., лат.)]. Одним из первых латинских образцов, которые он когда-то заучивал, была фраза: India mittit ebur[115 - Индия поставляет слоновую кость (лат.)], и ему припомнилось суровое северное лицо ректора, учившего его пересказывать по-английски «Метаморфозы» Овидия возвышенным языком, который звучал нелепо, когда речь шла о горшках, боровах и свином сале. То небольшое, что он знал о законах латинского стихосложения, он выучил из потрепанной книжки, написанной португальским священником.

Contrahit orator, variant in carmine vates[116 - Оратор краток, певцы в стихах многообразны (лат.); из книги иезуита Мануэля Алвариша (1526–

1583), автора латинской грамматики, включавшей также правила латинского стихосложения.]].

Кризисы, победы, расколы в римской истории преподносились ему в избитых словах *in tanto discrimine*[117 - В таком бедствии (лат.).] – и он пытался разглядеть общественную жизнь города городов сквозь призму слов *implere ollam denariorum*, которые ректор звучно переводил как «наполнить сосуд динариями». Страницы его старенького Горация никогда не казались для его пальцев холодными, даже когда холодными были сами пальцы – это были живые страницы – и пятьдесят лет назад их перелистывали живые пальцы Джона Дункана Инверэрити и его брата Уильяма Малкольма Инверэрити. Да, именно эти благородные имена стояли на выцветшем заглавном листе, и даже для столь слабого латиниста, как он, выцветшие стихи источали аромат, точно все эти годы они хранились в мирте, лаванде и вербене. Но все-таки его уязвляло, когда он думал, что всегда будет не больше чем робким гостем на пиру мировой культуры, а та монашеская ученость, на языке которой он тщился создать философию прекрасного, ценилась его веком не выше, чем курьезные вычурные наречия геральдики и соколиной охоты.

Серая громада колледжа Тринити слева от него, тяжело вдвинутая в невежество города, как большой тусклый камень в грубую неуклюжую оправу, давила на его разум – и, стремясь в разных смыслах уйти из протестантских сетей, он вышел к комичному памятнику национальному поэту Ирландии.

Он взглянул на него без гнева – поскольку, хотя дряблость тела и духа как невидимая нечисть ползла вверх по нему – по присогнутым ногам, по складкам плаща, вокруг холопской головы героя, – памятник, казалось, смиренно сознавал свое унижение. Это был фирболг, присвоивший тогу милезийца, и он вспомнил своего приятеля Давина, студента из крестьян. Фирболг было его шутовское прозвище, но молодой крестьянин охотно мирился с ним:

– Ладно, Стиви, раз ты говоришь, у меня голова дубовая, так и зови меня как хочешь.

Уменьшительная форма своего имени из уст друга приятно тронула Стивена, когда он ее услышал впервые; ибо со всеми студентами манера обращения была у него очень формальной, как равно и у них с ним. Часто, когда он сидел у Давина на Грантем-стрит, не без удивления поглядывая на выстроенные парами у стены добротные сапоги своего приятеля и повторяя для его неискушенного слуха чужие строки и строфы, в которых прятались его собственные чаяния и разочарования, грубый ум его слушателя-фирболга то привлекал к себе, то отталкивал его разум – привлекал врожденною и спокойной учливой внимательностью, старинным причудливым словцом или выражением, бурным восторгом перед грубой телесной мощью – Давин был ярким поклонником кельта Майкла Кьюсака – и вдруг внезапно отталкивал неспособностью понимания, толстокожестью чувств или застывшим страхом во взгляде – страхом, въевшимся в душу голодающей ирландской деревни, где комендантский час поныне наводил страх.

Равное преклонение юного крестьянина вызывали спортивные подвиги его дяди, атлета Мэта Давина, и скорбные предания Ирландии. По слухам среди студентов, которые старались любой ценой придать некую значительность пустой жизни колледжа, его твердо считали фением. Нянька его научила ирландскому языку и наполнила его примитивное воображение неровным светом ирландской мифологии. Он относился к этой мифологии, на которой ничей ум не прочертил еще линии прекрасного, и к ее неудобоваримым сказаниям, что ветвились, проходя свои циклы,

точно так же, как к католической религии – с рабской и тупой верностью. Все что угодно из мира мысли, из мира чувств, если только это к нему приходило из Англии или через английскую культуру, ум его, верный своей присяге, встречал в штыки – а о земном шаре за пределами Англии ему известно было лишь то, что во Франции существует Иностраный легион, в который он, по его словам, собирался вступить.

Такие планы, в сочетании с нравом юноши, дали Стивену повод прозвать его ручным гуськом, причем в это прозвище он вложил также и элемент раздражения – раздражения той вялой сдержанностью и в словах и в действиях, которая свойственна была его другу и столь часто отделяла барьером живой ум Стивена от сокровенных путей ирландской жизни.

Как-то вечером, возбужденный буйными и цветистыми речами, в которых Стивен давал себе разрядку от хладного молчания своего интеллектуального бунта, молодой крестьянин вызвал перед воображением Стивена странное видение. Они медленно направлялись к дому Давина по темным и узким улочкам убогого еврейского квартала.

– Прошлой осенью, Стиви, когда уж дело было к зиме, приключилась тут со мной одна штука. Ни одной живой душе я про это не сказывал, вот тебе первому. Запомню, то ли октябрь был, то ли ноябрь. Октябрь, потому как это все еще до того, что мне сюда было ехать поступать на подготовительный.

Улыбаясь, Стивен обернулся к товарищу, польщенный его доверием и вновь покоряемый его простонародною речью.

– Я целый день тогда пробыл в Баттевенте, не знаю уж, ты ведаешь, где это такое, там матч был, «Ребята Кроука» и «Храбрецы из Терльса» играли в хэрлинг. Ну, это была битва, Стиви! Брательник мой двоюродный Фонзи Давин, на нем всю одежду в клочья порвали. Он был в команде Лимерика на задней линии, но только он половину игры с нападающими гонял и орал как бешеный. Вот уж не забуду этого дня! Один из Кроуков так его клюшкой долбанул, что, вот перед Богом, всего на какую-то чуточку не в висок. Могу побожиться, Стиви, кабы угодило малость повыше, тут ему и конец.

– Я рад, что он уцелел, – сказал Стивен смеясь. – Но это, я думаю, еще не та необычная история, которая приключилась с тобой?

– Ну да, тебе, конечно, неинтересно. Так вот, после того матча пошла там такая всякая суматоха, что я опоздал на поезд, и никого даже не нашлось, с кем подъехать, потому как в Каслтаунроше было церковное собрание и все телеги с округи там были. Ничего не попишешь – либо ты оставайся на ночь, либо давай на своих двоих. Ну, я и попер, и уже под вечер подхожу к Бэллихаурским холмам, а оттуда до Килмэлока еще добрых миль десять, и дальше за ним длинная дорога, глухая. По этой дороге ты там не встретишь ни домика и ни единого звука не услышишь. И уж темно совсем стало. Я раза два останавливался в кустах, чтоб засмолить трубку, и кабы не сильная роса, так, пожалуй, бы растянулся и заснул. Наконец за каким-то поворотом гляжу – маленький домик и свет в окне. Я подхожу, стучусь. Голос спрашивает, кто там, я отвечаю, что мол возвращаюсь домой после матча в Баттевенте и не дали бы мне напиток. Вскорости открывает дверь молодая женщина и выносит мне кружку молока. А сама полураздета, похоже, когда я постучал, собиралась лечь спать; волосы были у ней распущены, и мне так показалось по фигуре, по какому-то выражению в глазах, что она беременная. Мы долго разговаривали, и все в дверях, и я даже подумал, что странно, ведь у нее

плечи и грудь совсем голые. Она меня спросила, я не устал ли, и может я бы хотел тут переночевать. Сказала, она одна в доме, муж мол уехал утром в Куинстаун, сестру свою проводить. И пока она говорила, Стиви, она все время мне смотрела в лицо, а стояла до того близко ко мне, что я чувствовал ее дыхание. А когда я наконец отдаю ей кружку, она берет мою руку, меня тянет через порог и говорит: Зайди, оставайся на ночь. Не бойся, вовсе тут нечего бояться. Никого нету, одни мы с тобой... А я, Стиви, не вошел. Сказал ей спасибо и снова в путь, а сам будто в лихорадке. На первом повороте оглядываюсь – а она так и стоит в дверях.

Эти последние слова рассказа как песня отдавались в его мозгу, вставала фигура женщины, за ней, словно ее отраженья, фигуры других крестьянских женщин, кого он видел стоящими в дверях своих домиков, когда кебы из колледжа проезжали через Клейн – образ их общего, ее и его, народа, душа его, которая, подобно летучей мыши, в темноте, тайне и одиночестве пробуждалась к сознанию и взглядом, голосом, жестами простодушной женщины предлагала чужаку разделить с нею ложе.

Рука легла ему на плечо, и молодой голос крикнул:

– А как же ваша подружка, сэр? Купите для почина! Вот хорошенький букетик. Возьмите, сэр!

Голубые цветы, которые она протягивала, и голубые глаза ее показались ему в эту минуту образом чистейшего простодушия, и он выждал, пока этот образ растает, оставив лишь оборванное платье, влажные жесткие волосы и лицо с дерзким выражением.

– Купите, сэр! Не забывайте свою подружку!

– У меня нет денег, – сказал Стивен.

– Возьмите, сэр, вот хорошенький букетик! Всего за пенни!

– Вы слышали, что я сказал? – спросил Стивен, наклоняясь к ней. – Я сказал: у меня нет денег. Повторяю это еще раз.

– Ну что ж, когда-нибудь наверняка будут, Бог даст, – секунду помолчав, ответила девушка.

– Возможно, – сказал Стивен, – но у меня нет таких ожиданий.

Он быстро отошел от девушки, боясь, что ее фамильярность будет переходить в насмешку, и предпочитая удалиться, прежде чем она начнет предлагать свой товар другим, какому-нибудь английскому туристу или студенту Тринити. Грэфтон-стрит, по которой он зашагал, поддержала впечатление безнадежной бедности. В начале улицы посреди дороги была установлена плита в память Вулфа Тона, и он вспомнил, как был на ее открытии вместе с отцом. С горечью он припомнил всю фальшивую и бестактную сцену. Там были четыре французских делегата, сидевших в коляске, и один из них, толстый улыбающийся молодой человек, держал насаженный на палку плакат с напечатанными словами: Vive l'Irlande [118 - Да здравствует Ирландия! (фр.)].

Однако деревья в Стивенс-Грин благоухали после дождя, и напитанная дождем почва испускала тленный запах, слабый аромат ладана, поднимающийся из множества сердец сквозь гниющую листву. Душа разгульного, продажного города, о котором ему



рассказывали старшие, обратилась со временем в этот легкий тленный запах, поднимающийся от земли, и он знал, что через минуту, вступив в темный колледж, он ощутит иную растленность, чем та, которой прославились Повеса Иган и Поджигатель Церквей Уэйли.

Идти наверх, на лекцию по французскому, уже было поздно. Пройдя через холл, он повернул по коридору налево, к физической аудитории. Коридор был темен и тих, однако он не был без наблюдения. Отчего так чувствовалось ему, что он не без наблюдения? Может быть, оттого, что он слышал, будто во времена Повесы Уэйли тут была потайная лестница? Или, может быть, этот дом иезуитов экстерриториален и он здесь был среди чужеземцев? Ирландия Тона и Парнелла будто куда-то отступила в пространстве.

Он открыл дверь аудитории и остановился в сером и зябком свете, пробивавшемся сквозь пыльные окна. Чья-то фигура, присевшая на корточки, виднелась у большой каминной решетки; худоба ее и седины сказали ему, что это декан разжигает огонь в камине. Тихо затворив дверь, Стивен подошел ближе.

– Доброе утро, сэр! Не надо ли вам помочь?

Священник вскинул глаза.

– Минутку, мистер Дедал, – сказал он, – и вы увидите. Разжигать камин – целая наука. Есть науки гуманитарные, а есть науки полезные. Это как раз одна из полезных наук.

– Я постараюсь ей научиться, – сказал Стивен.

– Не переложить угля, – продолжал декан, действуя проворно руками, – в этом главный секрет.

Он вытащил из боковых карманов сутаны четыре свечных огарка и ловко их разместил среди угля и скрученной бумаги. Стивен наблюдал за ним молча. Коленопреклоненный на каминной плите, раскладывающий бумажные жгуты и огарки, он больше, чем когда-либо, походил на левита Господа, смиренного служителя, приготавливающего жертвенник к жертве в пустом храме. Подобно грубой одежде левита, изношенная выцветшая сутана облекала коленопреклоненную фигуру, которой было бы неловко и тягостно в пышных ризах или в обшитом бубенцами ефode. Сама плоть его стала ветха деньми в скромном служении Господу – храня огонь на алтаре, передавая конфиденциальные сообщения, опекая чад мира сего, тотчас карая, когда прикажут, – однако не обрела благодати красоты, присущей святости или духовному сану. Да что там, и сама душа его стала ветха деньми в этом служении, не возвысившись к свету и красоте, не источая благоухания святости, – умерщвленная воля, столь же глухая к радости своего смирения, сколь старческое тело его, сухое и узловатое, покрытое серым пухом с серебристыми кончиками, было глухо к радостям любви или битвы.

Оставаясь на корточках, декан следил, как загораются щепки. Чтобы заполнить пару, Стивен сказал:

– Думаю, что я не сумею разжечь огонь.

– Ведь вы художник, не так ли, мистер Дедал? – сказал декан, поднимая взгляд и помаргивая выцветшими глазами. – Назначение художника – творить прекрасное. Но

что есть прекрасное – это уже другой вопрос.

Он медленно, сухо потер руки перед таким затруднением.

– Можете ли вы этот вопрос разрешить? – спросил он.

– Аквинат, – отвечал Стивен, – говорит так: *Pulchra sunt quae visa placent*[119 - Прекрасно то, что приятно для зрения (лат.)].

– Вот этот огонь приятен для глаз, – сказал декан. – Является ли он вследствие этого прекрасным?

– Постольку, поскольку он постигается зрительно – а это, я полагаю, означает эстетическое восприятие – он является прекрасным. Но Аквинат также говорит: *Vopit est in quod tendit appetitus*[120 - Благо то, к чему устремляется желание (лат.)]. Постольку, поскольку он удовлетворяет животную потребность в тепле, он благо. В аду, однако, он зло.

– Совершенно верно, – сказал декан. – Вы, несомненно, попали в точку.

Он быстро встал, подошел к двери, приоткрыл ее и сказал:

– Говорят, тяга весьма полезна в этом деле.

Когда он вернулся к камину, слегка прихрамывая, но бодрым шагом, Стивен увидел, как из глаз, лишенных цвета и лишенных любви, на него смотрит безмолвная душа иезуита. Подобно Игнатию, он был хром, но в его глазах не горело пламя энтузиазма Игнатия. Даже легендарное коварство ордена, коварство более тонкое и тайное, чем все их знаменитые книги о тайной и тонкой мудрости, не зажигало душу его апостольским рвением. Казалось, он пользовался приемами, знанием и хитростями мира сего, как предписано, только для вящей славы Божией, без радости от владения ими и без ненависти к злу, заключенному в них, но только лишь обращая их против самих себя смиренным, но твердым жестом – и казалось, что вопреки этому безгласному служению, он не питает никакой любви к своему учителю и разве что малую любовь к тем целям, которым служит. *Similiter atque senis baculus*[121 - Подобно посоху старца (лат.)], он был, как того и желалось бы основателю ордена, – посохом в руке старца, годным и чтобы его поставили в угол, и чтобы на него опирались в непогоду или в пути ночью, и чтобы положили на садовую скамейку подле букета дамы, и чтобы угрожающе замахнулись им.

Поглаживая подбородок, декан стоял у камина.

– Когда же мы сможем от вас что-нибудь услышать по вопросам эстетики? – спросил он.

– От меня?! – с изумлением сказал Стивен. – У меня какая-то мысль заводится раз в две недели в лучшем случае.

– Это очень глубокие вопросы, мистер Дедал, – сказал декан. – Вглядываться в них – как смотреть в бездну морскую с Мохерских скал. Многие ныряют и не возвращаются. Лишь опытный водолаз может спуститься в эти глубины, исследовать их и выплыть обратно на поверхность.

– Если вы говорите о спекулятивных рассуждениях, сэр, – сказал Стивен, – то я к

тому же уверен, что никакой свободной мысли не существует, коль скоро всякое мышление должно повиноваться собственным своим законам.

– Хм!..

– Я могу сейчас развить это в свете некоторых идей Аристотеля и Фомы.

– Понимаю, вполне понимаю вас.

– Они мне требуются лишь для моих целей и для указания пути, покуда я при их свете не создам что-нибудь свое. Если лампа начнет коптить и чадить, я постараюсь почистить ее. А если она не будет давать достаточно света, я продам ее и куплю другую.

– У Эпиктета, – сказал декан, – тоже была лампа, которую после его смерти продали за баснословную цену. Это была лампа, при которой он писал свои философские сочинения. Вы читали Эпиктета?

– Старец, который говорил, что душа подобна тазу с водой, – резко сказал Стивен.

– В своем безыскусном стиле он нам рассказывает, – продолжал декан, – что он поставил железную лампу перед статуей одного из богов, а вор украл эту лампу. Что же сделал философ? Он рассудил, что красть – в природе вора, и решил на следующий день купить глиняную лампу взамен железной.

Дух растопленного сала, исходящий от огарков декана, сплетался в сознании Стивена со звяканьем слов: таз – лампа, лампа – таз. Жесткий голос священника тоже звякал. Мысль Стивена инстинктивно остановилась, скованная этими странными звучаньями, образами и лицом священника, которое казалось похожим на незажженную лампу или отражатель, висящий не под тем углом. Что скрывалось за ним или, может быть, в нем? Мрачная оцепенелость души или же мрачность грозовой тучи, заряженной понимающим разумом и чреватой мраком Божественным?

– Я имел в виду лампу иного рода, сэр, – сказал Стивен.

– Безусловно, – сказал декан.

– Одна из трудностей эстетического обсуждения, – продолжал Стивен, – состоит в том, чтобы понять, употребляются ли слова в согласии с литературной традицией или с бытовой речью. Я вспоминаю одну фразу у Ньюмена, где говорится о том, что Пречистая Дева разрешает кающегося. В бытовой речи этому слову придается совсем другой смысл. Надеюсь, вы мне разрешите быть откровенным?

– Конечно, конечно, – любезно сказал декан.

– Да нет же, – улыбаясь сказал Стивен, – я имел в виду...

– Да, да, понимаю, – живо подхватил декан, – вы имели в виду разные значения глагола разрешать.

Он выдвинул вперед нижнюю челюсть и коротко, сухо кашлянул.

– Если вернуться к лампе, – сказал он, – то ее заправка – тоже тонкое дело. Масло должно быть чистое, а когда вы его наливаете, нужно тщательно следить,

чтобы не перелить, не наливать больше, чем проходит через воронку.

– Какую воронку? – спросил Стивен.

– Воронка, через которую наливают масло в лампу.

– Как? – спросил снова Стивен. – Это разве называют воронкой? А это разве не цедилка?

– А что такое цедилка?

– Ну, это... это воронка.

– Разве она называется цедилкой у ирландцев? – спросил декан. – Первый раз в жизни слышу такое слово.

– Ее называют цедилкой в Нижней Драмкондре, – сказал Стивен, смеясь, – а там уж говорят на самом лучшем английском.

– Цедилка, – повторил задумчиво декан, – какое интересное слово. Надо посмотреть его в словаре. Обязательно посмотрю.

Учтивость его слегка отдавала фальшью, и Стивен взглянул на этого обращенного англичанина такими же глазами, какими старший брат в притче мог бы взглянуть на блудного. Смиранный последователь, шедший в хвосте за чередой громких обращений, бедный англичанин в Ирландии, он появился на сцене истории иезуитов, когда эта странная комедия интриг и страданий, зависти, борьбы, низости уже близилась, казалось, к концу: поздний пришлец, запоздалый дух. Что же его подвигнуло? Быть может, он родился и вырос среди твердых сектантов-диссидентов, видевших спасение лишь во едином Иисусе и с отвращением отвергавших пустую напыщенность официальной церкви. Не почувствовал ли он нужду в вере неявной посреди сектантского разброда, разноречащих и неумных схизматиков, всех этих последователей шести принципов, людей собственного народа, баптистов семени и баптистов змеи, супралапсарианских догматиков? Обрел ли он истинную церковь внезапно, размотав до конца, как нитку с катушки, какую-нибудь тонкую нить рассуждений о вдуновении или о наложении рук или об исхождении Святого Духа? Или же Господь Христос коснулся его и повелел следовать за собою, когда он сидел у дверей какой-нибудь часовенки под жестяной кровлей, зевая и подсчитывая церковные гроши, как некогда призвал Он ученика, сидевшего за сбором пошлин?

Декан снова повторил слово:

– Цедилка! Нет, в самом деле это интересно!

– Вопрос, который вы задали мне раньше, по-моему, более интересен. Что такое красота, которую художник пытается выразить с помощью комков глины? – отвечал Стивен холодно.

Случайное слово, казалось, обратило его чувствительность острием против учливого и бдительного врага. Он ощущал ожог отверженности, сознавая, что человек, с которым он беседует, соотечественник Бена Джонсона. Он думал:

– Язык, на котором мы говорим сейчас, – его язык, и только потом мой. Семья, Христос, пиво, учитель – как все эти слова различны в его и в моих устах! Я не

могу ни сказать, ни написать эти слова, не испытал духовного беспокойства. Его язык, столь знакомый и столь чужой, всегда для меня останется лишь благоприобретенным. Я не создавал его слов и не принимал их. Мой голос не подпускает их. Моя душа ярится в тени его языка.

– И каково различие между прекрасным и возвышенным, – добавил декан, – а также между нравственной и материальной красотой? И какого рода красота свойственна каждому из видов искусства? Вот интересные вопросы, которыми следовало бы заняться.

Стивен, внезапно обескураженный сухим и твердым тоном декана, хранил молчание. Декан также смолк – и в тишине издали донесся поднимающийся по лестнице шум голосов и топот сапог.

– Но, предавшись подобным спекуляциям, – заключил декан, – рискуешь погибнуть от истощения. Прежде всего вы должны получить диплом. Поставьте это себе первой целью. Затем мало-помалу вы найдете свой путь. Я подразумеваю тут все, и жизненный путь, и путь вашей мысли. Вначале, возможно, придется попытеть как на подъеме в гору. Взять мистера Мунена. У него это долго заняло, дойти до вершин. Но он их достиг.

– У меня может не оказаться его талантов, – спокойно возразил Стивен.

– Как знать? – живо отозвался декан. – Нам самим неизвестно, что в нас скрывается. Я убежден, что никак нельзя заранее падать духом. *Per aspera ad astra*[122 - Через тернии к звездам (лат.)].

Он быстро отошел от очага и направился в сторону площадки, взглянуть на появление первокурсников.

Прислонясь к камину, Стивен слышал, как он бодро и безразлично здоровается с каждым из студентов, и почти воочию видел откровенные усмешки у тех, кто был поглубей. Жалость, ввергающая в уныние, как роса начала выпадать на его сердце, легко поддающееся печали, – жалость к этому верному служителю рыцарственного Лойолы, сводному брату духовных лиц, на словах более сговорчивому, а в душе более стойкому, чем они; к тому, кого он никогда не назовет своим духовным отцом; и он подумал, что этот человек и его собратья прослыли радеющими о мирском не только у тех, кто сам был не от мира сего, но равно и у людей мирских – за то, что во все века своей истории они выступали пред Божиим правосудием адвокатами душ вялых, безразличных, расчетливых.

О приходе преподавателя возвестили несколько залпов кентской пальбы тяжелых сапог студентов, сидевших в верхних рядах аудитории под серыми, в паутине, окнами. Началась переключка, и самые разноголосые ответы раздавались до тех пор, пока не прозвучало имя Питера Берна.

– Здесь!

Гулкий глубокий бас отозвался с верхнего ряда, меж тем как с других скамей понеслись протестующие покашливания.

Сделав малую пару, преподаватель вызвал следующего:

– Крэнли!

Ответа не было.

– Мистер Крэнли!

Улыбка пробежала по лицу Стивена, когда он подумал, в каких занятиях пребывает его друг.

– Поищите-ка в Лепардстауне! – раздался голос со скамьи за спиной.

Стивен быстро обернулся, однако свиноватая физиономия Мойнихана, очерченная серым и тусклым светом, глядела невозмутимо. Дана была формула, и зашуршали тетради. Стивен снова обернулся и сказал:

– Дай мне листок бумаги, ради бога.

– Тебе что, приспичило? – с широкой ухмылкой спросил Мойнихан.

Он вырвал страницу из чернового блокнота и, протягивая ее, шепнул:

– При необходимости любой мирянин, любая женщина могут совершить это.

Формула, послушно записанная на клочке бумаги, свертывающиеся и разворачивающиеся вычисления преподавателя, призрачные символы силы и скорости завораживали и изнуляли ум Стивена. Он слышал от кого-то, что старик-профессор – атеист и масон. О серый, унылый день! Он походил на некий лимб терпеливого безгорестного сознания, в котором могли бы обитать души математиков – направляя длинные плавные контуры из одной плоскости в другую, где царят сумерки еще бледней и разреженней, – излучая быстрые вихри, несущиеся к крайним пределам вселенной – ширящейся, удаляющейся и делающейся все неощутимей.

– Итак, мы должны отличать эллипс от эллипсоида. Вероятно, некоторые из присутствующих здесь знакомы с сочинениями мистера У. Ш. Гилберта. В одной из своих песен он описывает бильярдного шулера, который осужден играть

На столе косом  
Согнутым кием  
И не круглым, а длинным шаром.

– Так вот, он имеет в виду шар в форме эллипсоида, о главных осях которого я только что говорил.

Мойнихан нагнулся к уху Стивена и прошептал:

– Почему теперь эллипсоидальные шарики?! Спешите ко мне, дамочки, я кавалерист!

Грубый юмор товарища как свежий ветер пронесся по монастырю сознания Стивена, резвая жизнь встряхнула уныло висевшие по стенам сутаны, пустив их плясать и развеяться в бесчинном шабаше. Облаченья наполнились ветром, в них возникали фигуры братии: декан, эконом, тучный и краснолицый, в шапке седых волос, ректор, маленький священник с волосами хохолком, пишущий благочестивые стихи, квадратная фигура мужиковатого преподавателя экономики, длинная фигура молодого преподавателя психологии, обсуждающего со своими студентами на площадке проблему совести и подобного жирафу посреди стада антилоп, объедающему верхушки деревьев,

важный и озабоченный староста братства, полный круглоголовый преподаватель итальянского с плутоватыми глазками. Они семенили и спотыкались, припрыгивали и кувыркались, как в чехарде, задирая сутаны, сотрясались от зычного нутряного хохота, обнявши за талию друг друга, шлепая друг друга по заду, называя друг друга панибратскими прозвищами, они потешались своими грубыми буйствами и вдруг с видом пробудившегося достоинства возмущались каким-нибудь выпадом, украдкой перешептывались парочками, прикрывая рот ладонью.

Преподаватель подошел к стеклянному шкафу у стены, достал с полки комплект катушек, обдул пыль с них со всех сторон и бережно водрузил на стол. Продолжая лекцию, он держал на них свой палец. Как он объяснил, проволока на современных катушках делалась из сплава, изобретенного недавно Ф. У. Мартино и называемого платиноидом.

Он четко произнес инициалы и фамилию изобретателя. Мойнихан шепнул сзади:

– Старик Фунт Устриц Мартино. Фу, Мартино!

– Спроси его, – шепнул Стивен с усталым юмором, – не нужен ли ему субъект для опытов на электрическом стуле? Я к его услугам.

Увидев, что преподаватель нагнулся над катушками, Мойнихан привстал с места и, тихо пощелкивая пальцами правой руки, захныкал голосом мальчишки-ябедника:

– Сэр, этот вот мальчик гадкие слова грит, сэр!

– Платиноид, – вещал торжественно преподаватель, – предпочитают нейзильберу, поскольку у него более низкий коэффициент изменения сопротивления при изменениях температуры. Проволоку из платиноида изолируют, и в шелковом изолирующем покрытии навивают на эбонитовые бобины, такие как та, на которой мой палец. Если бы изоляции не употреблялось, в катушках индуцировался бы сторонний ток. Бобины пропитывают горячим парафином..

Со скамьи ниже и впереди Стивена резкий голос с ольстерским акцентом спросил:

– Разве нас будут экзаменовать по прикладным наукам?

Столь же торжественно преподаватель принялся жонглировать понятиями чистая наука и прикладная наука. Грузный студент в золотых очках удивленно уставился на задавшего вопрос. Мойнихан сзади шепнул своим обычным голосом:

– Уж этот Макалистер всегда урвет свой фунт мяса!

Стивен холодно взглянул вниз на продолговатый череп с густой и косматой порослью цвета пакли. Голос, акцент и образ мысли спросившего раздражали его, и, дав волю своему раздражению, он позволил себе дойти до явной недоброжелательности, подумав, что лучше бы уж папаша этого студента послал сына учиться в Белфаст и тем сэкономил бы, глядишь, на проезде.

Продолговатый череп не обернулся навстречу сей мысленной стреле, однако она вернулась обратно, к своей тетиве – поскольку перед взором Стивена вдруг встало кефирнобледное лицо студента.

– Это не моя мысль, – сказал он тотчас себе. – Она – от того шута-ирландца, что

на задней скамье. Терпение. Ты можешь с уверенностью сказать, кто из них променял душу твоего народа и предал его избранников – спросивший или язвивший? Терпение. Вспомни Эпиктета. Видимо, это в его характере – задать такой вопрос в такой момент, таким тоном и притом с неправильным ударением, прикладными?

Нудный голос преподавателя продолжал медленно и мерно наматываться на катушки, про которые он рассказывал, удваивая, утраивая, учетверяя свою снотворную энергию, между тем как катушки умножали свои омы сопротивления.

Голос Мойнихана позади откликнулся как эхо на отдаленный звонок:

– Мы закрываемся, господа!

Холл был заполненным и гудящим. На столе возле двери стояли два портрета в рамках, а между ними лежал длинный бумажный лист с неровными столбцами подписей. Макканн проворно сновал среди студентов, говоря быстро, парируя возражения и одного за другим подводя к столу. В глубине холла стоял декан, который беседовал с молодым преподавателем, важно кивал и поглаживал рукой подбородок.

Стивен, притиснутый толпой к двери, остановился в нерешительности. Из-под широкого падающего листа мягкой шляпы его стерегли темные глаза Крэнли.

– Ты подписал? – спросил Стивен.

Крэнли сомкнул длинные и тонкие губы, ушел на мгновение в себя и ответил:

– Ego habeo[123 - Подписал (лат.)].

– А для чего?

– Quod?[124 - Что? (лат.)]

– Для чего это?

Крэнли повернул бледное лицо к Стивену и сказал кротко и горько:

– Per rex universalis[125 - За всеобщий мир (лат.)].

Стивен показал пальцем на фотографию царя и сказал:

– У него лицо упившегося Христа.

Презрение и гнев в его голосе заставили Крэнли оторваться от спокойного созерцания стен холла.

– Ты раздражен чем-то?

– Нет, – ответил Стивен.

– В плохом настроении?

– Нет.

– Credo ut vos sanguinarius mendax estis, – сказал Крэнли, – quia faces vostra



monstrat ut vos in damno malo humore estis[126 - Полагаю, ты отъявленный лжец, так как по лицу твоему видно, что ты в чертовски дурном настроении (школярская латынь с англ. вкраплениями).].

Мойнихан, пробираясь к столу, шепнул Стивену на ухо:

– Макканн на боевом коне. Готов стоять до последней капли. Новенький образцовый мир. Запрет на все горячительные и право голоса сукам.

Стивен усмехнулся стилю конфиденциального сообщения и, когда Мойнихан отошел, вновь обернулся навстречу взгляду Крэнли.

– Ты, может быть, мне объяснишь, – спросил он, – почему он так охотно изливает свою душу мне на ухо? Можешь объяснить?

Мрачная складка появилась на лбу Крэнли. Он воззрился на стол, склонясь над которым Мойнихан присоединял свое имя к списку, и сурово отрезал:

– Чистое г![127 - В ориг.: A sugar! – популярный тогда эвфемизм для shit, говно.]

– Quis est in malo humore, – сказал Стивен, – ego aut vos?[128 - Кто в плохом настроении – я или ты? (лат.)]

Крэнли не отозвался на шпильку. Мрачно продолжая размышлять над своей оценкой, с той же рубленой силой он повторил:

– Чистейшее паскудное г, вот он кто!

Это было его обычной эпитафией для скончавшихся дружб, и Стивен подумал, не будет ли это некогда сказано тем же тоном в память ему. Тяжелая неуклюжая фраза медленно оседала, исчезая из его слуха, как проваливается камень в трясины. Стивен следил, как она оседает, так же как оседали многие другие прежде, и чувствовал на сердце ее гнетущую тяжесть. В отличие от Давина, в речи Крэнли не было ни редкостных оборотов елизаветинского языка, ни причудливых трансформаций ирландских идиом. Тягучесть этой речи была эхом дублинских набережных, отражающимся в мрачной запустелой гавани, а ее энергия – эхом церковного красноречия Дублина, отражающимся от амвона в Уиклоу.

Угрюмая складка исчезла со лба Крэнли, когда с другого конца холла к ним направился быстрыми шагами Макканн.

– Вот и вы! – произнес бодро Макканн.

– Вот и я, – произнес Стивен.

– Как всегда с опозданием. Не могли бы вы совмещать ваши прогрессивные взгляды с некоторым уважением к точности?

– Этот вопрос не стоит в повестке дня, – сказал Стивен. – Следующий пункт.

Улыбающиеся глаза его были уставлены на плитку молочного шоколада в серебряной обертке, торчащую из нагрудного кармана пропагандиста. Вокруг сомкнулось кольцо слушателей, желающих стать свидетелями состязания умов. Худощавый студент с

оливковой кожей и гладкими черными волосами, просунув голову между ними, с каждой фразой переводил взгляд с одного на другого, будто стараясь поймать фразу на лету своим влажным открытым ртом. Крэнли вытащил из кармана маленький серый мячик и начал его тщательно изучать, крутя так и этак.

– Следующий пункт? – повторил Макканн. – Гм!

Он громко хохотнул, улыбнулся широко и дважды себя подергал за козлиную соломённого цвета бородку, свисавшую с туповатого подбородка.

– Следующий пункт состоит в подписании декларации.

– А вы мне заплатите, если я подпишу? – спросил Стивен.

– Я думал, что вы идеалист, – сказал Макканн.

Студент с цыганской наружностью обернулся и сказал невнятным бляющим голосом, обращаясь к окружающим:

– Адская сила, вот странный подход. Такой подход это, по-моему, корыстный подход.

Его голос угас в молчании. Никто не обратил внимания на слова. Он повернул свое оливковое лицо с лошадиным выражением к Стивену, приглашая его продолжить.

Макканн начал энергичную речь о царском рескрипте, о Стэде, о всеобщем разоружении, о третейском суде для международных конфликтов, о знамениях времени, новом человечестве и новом евангелии жизни, согласно которому долгом общества станет обеспечить наибольшее счастье наибольшему числу людей наиболее дешевым способом.

Цыганистый студент заключил эту речь возгласом:

– Тройное ура всемирному братству!

– Валяй, Темпл, – сказал стоявший рядом дюжий краснощекий студент. – Я тебе потом пинту поставлю.

– Я верю во всемирное братство, – продолжал Темпл, бросая по сторонам взгляды своих темных овальных глаз. – А Маркс это ж просто жулик паршивый!

Крэнли схватил его крепко за руку, чтобы он придержал язык, и с кривой улыбкой несколько раз повторил:

– Полегче, полегче, полегче!

Темпл, стараясь высвободить руку, гнул свое, у рта его была легкая пена:

– Социализм был основан ирландцем, а первым человеком в Европе, кто проповедовал свободу мысли, был Коллинз. Двести лет назад. Он обличал всякую поповщину, этот философ из Миддлсекса. Ура Джону Энтони Коллинзу!

Тонкий голос на краю собравшейся кучки отозвался:

– Пип! пип!

Мойнихан прошептал Стивену на ухо:

– А как насчет бедной сестренки Джона Энтони:

Лотти Коллинз без штанишек,  
Одолжите ей свои?

Стивен рассмеялся, и довольный Мойнихан опять зашептал:

– На Джоне Энтони Коллинзе, как ни поставь, всегда поимеешь пять бобиков.

– Жду вашего ответа, – коротко сказал Макканн.

– Меня этот вопрос нисколько не интересует, – устало сказал Стивен. – Вам это хорошо известно. Зачем же вы устраиваете эту сцену?

– Прекрасно, – сказал Макканн, чмокнув губами. – Так, значит, вы реакционер?

– Вы думаете, на меня производит впечатление, когда вы махаете деревянной шпагой? – спросил Стивен.

– Метафоры! – резко сказал Макканн. – Давайте перейдем к фактам.

Стивен вспыхнул и отвернулся. Макканн, не унимаясь, с враждебной иронией произнес:

– Начинающие поэты, как видно, ставят себя выше столь пустяковых вопросов, как вопрос о всеобщем мире.

Крэнли поднял голову и, держа свой мячик, словно миротворящую жертву между двух спорящих, сказал:

– *Pax super totum sanguinarium globum*[129 - Мир на всем окаянном шаре (лом. лат.)].

Раздвинув столпившихся, Стивен сердито дернул плечом в сторону портрета царя и сказал:

– Держитесь за вашу икону. Если уж нам необходим Иисус, пусть это будет легитимный Иисус.

– Адская сила, вот это здорово сказано! – воскликнул цыганистый студент, обращаясь к своим соседям. – Славное выражение. Мне это выражение страсть как нравится.

Он проглотил слюну, будто глотал фразу, и, теребя кепку за козырек, спросил Стивена:

– Простите, сэр, а вот этим выражением вы что хотели сказать?

Чувствуя, как рядом стоящие его подталкивают, он обернулся к ним:

– Да мне охота узнать, что он этим выражением сказать хотел.

Опять повернувшись к Стивену, он шепотом проговорил:

– А вы в Иисуса верите? Я верю в человека. Я, конечно, не знаю, вы в человека верите или нет. Я вами восхищаюсь, сэр. Восхищаюсь разумом человека, независимого от всех религий. Скажите, а насчет разума Иисуса вы как мыслите?

– Валяй, Темпл! – сказал дюжий краснощекий студент, имевший обыкновение всегда повторять одно и то же. – Пинта за мной.

– Он думает, я болван, – пояснил Темпл Стивену, – потому как я верю в силу разума.

Крэнли, обняв под руки Стивена и его поклонника, объявил:

– Nos ad manum ballum jocabimus[130 - Давайте сыграем в ручной мяч (лат.)].

Стивен, увлекаемый прочь, заметил покрасневшее, с топорными чертами, лицо Макканна.

– Моя подпись не имеет значения, – сказал он вежливо. – Вы правы, что идете своим путем. Но дайте и мне идти моим.

– Дедал, – сказал Макканн твердым тоном. – Я убежден, вы неплохой человек, но вам предстоит еще осознать ценность альтруизма и чувства личной ответственности.

Чей-то голос сказал:

– Интеллектуальным вывертам не место в этом движении.

Стивен не обернулся на голос, по резкому тону узнав Макалистера. Крэнли торжественно прокладывая путь сквозь толпу студентов, держа под руки Стивена и Темпла, подобно священнику, шествующему в алтарь в сопровождении сослужащих.

Темпл, перегнувшись к Стивену через грудь Крэнли, живо проговорил:

– Слыхали, что Макалистер сказал? Этот малый завидует вам, не замечали? Крэнли-то не заметил, бьюсь об заклад. А я вот, адская сила, сразу заметил.

Минуя часть холла, где стоял декан, они заметили, как тот тщится сбежать от своего собеседника-студента. Декан стоял у лестницы, уже занеся ногу на нижнюю ступеньку, уже подобрав для подъема свою поношенную сутану с женской заботливостью, и, постоянно кивая, повторял:

– Вне всякого сомнения, мистер Хэккет! Замечательно! Вне всякого сомнения.

Посреди холла староста братства тихим и недовольным голосом вел серьезный разговор со студентом-пансионером. Разговаривая, он слегка морщил свой веснушчатый лоб и в паузах между фразами покусывал тонкий костяной карандаш.

– Я надеюсь, с подготовительного все придут. За первый курс можно ручаться. За второй тоже. Наша задача это проверить новичков.

В дверях Темпл, опять перегнувшись через Крэнли, зашептал торопливо:

– А вы знаете, он женат? Он уже был женат, до того как они его обратили. Где-то там у него жена и дети. Адская сила, во чудная история! А?

Его шепот перешел в хитрый кудахтающий смешок. Едва они очутились за дверью, Крэнли грубо схватил его за шиворот и начал трясти, приговаривая:

– Хренов ты гугнивый ублюдок! Вот те на библии, во всем этом хреновом окаянном мире не найдешь второй такой хреновой макаки, как ты!

Пытаясь вывернуться, Темпл продолжал хитренько и довольно хихикать, а Крэнли, встряхивая, каждый раз повторял:

– Хренов чертов окаянный ублюдок!

Они пересекали заросший сад. Ректор, закутавшись в тяжелый широкий плащ, шел им навстречу по одной из дорожек, читая правило. В конце дорожки, у поворота, он остановился и поднял глаза. Студенты поклонились ему, Темпл, как прежде, затеребил козырек кепки. Дальше шли молча. Когда подходили к площадке, Стивен услышал глухие стуки рук игроков, влажные шлепки мяча и голос Давина, возбужденно вскрикивающего при каждом ударе.

Трое остановились у ящика, на котором сидел, наблюдая за игрой, Давин. Вскоре Темпл перегнулся в очередной раз к Стивену и сказал:

– Звиняюсь, а я вот хотел вас спросить, вы верите, что Жан-Жак Руссо был искренний человек?

Стивен расхохотался от души. Крэнли схватил поломанную бочарную доску, валявшуюся у него под ногами в траве, и, быстро обернувшись, угрожающе произнес:

– Темпл, клянусь богом, если ты скажешь еще хоть слово кому-нибудь или о чем-нибудь, я тут же тебя прикончу *super spottum*[131 - На месте (школьная лат.)].]

– Мне думается, он был, как и вы, эмоциональная личность, – сказал Стивен.

– Да провались он и пропади! – произнес резко Крэнли. – Не трать ты на него слов. Говорить с Темплом – это, знаешь, все одно что с ночным горшком. Гуляй-ка отсюда, Темпл. Гуляй домой с богом.

– Плевать я на тебя хотел, Крэнли, – отвечал Темпл, подавшись из досягаемости поднятой доски и указывая на Стивена. – Вот он единственный человек в этом учреждении, у которого индивидуальный образ мыслей.

– Учреждение! Индивидуальный! – воскликнул Крэнли. – Да гуляй домой, провались отсюда, ты ж безнадежный хренов болван.

– Я эмоциональная личность, – сказал Темпл. – Это во как верно сказано. И я, может, горжусь, что я эмоционалист.

Он стал бочком удаляться по аллее, хитро посмеиваясь. Крэнли смотрел ему вслед пустым взглядом без выражения.

– Любуйтесь! – сказал он. – Видали вы когда-нибудь такого обтирателя стен?

Эту фразу его приветствовал каким-то неестественным смехом студент, который стоял, привалясь к стене и надвинув на глаза кепку. Тонкий визгливый смех исходил из такого дюжего туловища, что казалось, будто повизгивает слон. Все тело студента сотрясало, и от удовольствия он потирал руки в паху.

– Линч проснулся, – сказал Крэнли.

В качестве ответа Линч выпрямился и выпятил грудь.

– Линч раздувает грудь в знак критического отношения к жизни, – сказал Стивен.

Линч звучно хлопнул себя по груди и спросил:

– Тут кто-то возражает против моей комплекции?

Крэнли решил принять слова буквально, и они начали бороться; потом разошлись, тяжело дыша, с лицами, побагровевшими от схватки. Стивен наклонился к Давину, который был весь поглощен игрой, не слыша разговоров вокруг.

– А как мой ручной гусек? – спросил Стивен. – Тоже подписал?

Давин, кивнув, сказал:

– А ты, Стиви?

Стивен покачал головой.

– Ужасный ты человек, Стиви, – сказал Давин, вынимая трубочку изо рта. – Ты всегда один.

– Теперь, когда ты подписал петицию о всеобщем мире, – сказал Стивен, – я думаю, ты сожжешь ту маленькую тетрадку, что я у тебя видал.

Поскольку Давин молчал, Стивен начал цитировать:

– Фианна, шагом марш! Фианна, правое плечо вперед! Фианна, отдать честь, по номерам рассчитайсь, раз, два!

– Это другое дело, – сказал Давин. – Прежде чего бы то ни было, я ирландский националист. А ты вот от всего в стороне. Ты, Стиви, уродился насмешником.

– Когда вы поднимете очередное восстание, вооружась клюшками, – сказал Стивен, – и вам нужен будет неизбежный стукач, ты мне скажи. В нашем колледже я тебе подыщу парочку.

– Я тебя никак не пойму, – сказал Давин. – То я слышу, как ты поносишь английскую литературу. Теперь поносишь ирландских стукачей. Потом, что у тебя за имя, что у тебя за идеи... Да ты вообще ирландец или нет?

– Давай сходим вместе в архив, и я тебе покажу родословную моей семьи, – сказал Стивен.

– Тогда будь с нами, – сказал Давин. – Почему ты не изучаешь ирландский? Почему ты бросил классы лиги после первого же занятия?

– Одна причина тебе известна, – ответил Стивен.

Давин покачал головой и засмеялся.

– Да ну, брось, – сказал он. – Это что ли из-за той девицы и отца Морана? Да это же все ты сам выдумал, Стиви. Они просто разговаривали и смеялись.

Помолчав, Стивен дружески положил руку Давину на плечо.

– Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? – сказал он. – В то первое утро, когда мы встретились, ты меня спросил, как пройти в деканат, причем сделал ударение на первом слоге. Помнишь это? А помнишь, как ты тогда к каждому иезуиту обращался «отец мой»? Я иногда спрашиваю себя: Такой же ли он невинный, как его речь?

– Я человек простой, – сказал Давин. – Ты это знаешь. Когда ты мне в тот вечер на Харкорт-стрит рассказал все эти вещи про свою жизнь, ей-богу, Стиви, я потом есть не мог. Мне до того было плохо. Я полночи заснуть не мог. Зачем ты мне это все рассказал?

– Вот спасибо, – промолвил Стивен. – Ты хочешь сказать, что я чудовище.

– Да нет, – сказал Давин. – Но лучше бы ты мне не рассказывал.

За спокойным покровом дружелюбия Стивен начал вскипать.

– Этот народ, эта страна, эта жизнь породили меня, – сказал он. – И я себя буду выражать, каков я есть.

– Попробуй быть с нами, – повторил Давин. – В душе ты ирландец, но у тебя гордости слишком много.

– Мои предки отреклись от своего языка и приняли другой, – сказал Стивен. – Они позволили кучке чужеземцев поработить себя. И ты воображаешь, что я своей жизнью и своей личностью буду расплачиваться за их долги? Чего это ради?

– Ради нашей свободы, – сказал Давин.

– Со времен Тона и до времени Парнелла, – сказал Стивен, – не было ни одного честного, искреннего человека, который бы отдал вам свою жизнь, молодость, свои чувства – без того, чтобы вы его не предали или бросили в нужде или ославили или променяли бы на кого-нибудь. И ты мне предлагаешь быть с вами. Да пропадите вы все.

– Они погибли за свои идеалы, Стиви, – сказал Давин. – Но придет и наш день, поверь мне.

Поглощенный своими мыслями, Стивен минуту помолчал.

– Душа впервые рождается, – заговорил он задумчиво, – в такие минуты, о которых

я тебе говорил. Ее рождение медленно и окутано мраком, оно таинственней, чем рождение тела. Когда же душа человека рождается вот в этой стране, на нее набрасывают сети, чтобы не дать ей взлететь. Ты говоришь мне о национальности, языке, религии. Я постараюсь избежать этих сетей.

Давин выбил пепел из своей трубки.

– Слишком заумно для меня, Стиви, – сказал он. – Но родина – это для человека на первом месте. Ирландия прежде всего, Стиви. Поэтом или мистиком ты можешь быть потом.

– Знаешь, что такое Ирландия? – спросил Стивен с холодной яростью. – Ирландия – это старая чушка, что жрет своих поросят.

Давин поднялся с ящика и направился к играющим, грустно покачивая головой. Но через минуту грусть у него уже прошла, и он с жаром принялся спорить о чем-то с Крэнли и двумя игроками, которые закончили партию. Они уговорились сыграть вчетвером, причем Крэнли настаивал, чтобы играли его мячом. Ударив им два-три раза о землю, он сильно и ловко послал мяч в конец площадки, откликнувшись на донесшийся стук:

– Душу твою!

Стивен стоял рядом с Линчем, пока счет не начал расти; потом дернул Линча за рукав, предлагая уходить. Линч подчинился со словами:

– Поелику трогаем, как выражается Крэнли.

Стивен улыбнулся скрытому выпадку. Они прошли снова через сад и, миновав холл, где трясущийся швейцар прикалывал объявление на доску, вышли наружу. У подножия ступеней они остановились; Стивен извлек пачку сигарет и предложил спутнику закурить.

– Я знаю, ты без гроша, – сказал он.

– Ах ты, желтый наглец! – ответил Линч.

Это вторичное доказательство высокой культуры Линча вновь вызвало улыбку Стивена.

– Счастливым днем для европейской культуры, – сказал он, – когда тебе пришла идея ругаться по-желтому.

Они закурили и пошли направо. После паузы Стивен заговорил:

– Аристотель не дает определений сострадания и страха. А я даю. Я считаю...

Линч остановился и бесцеремонно прервал его:

– Будет! Не желаю слушать! Тошнит. Мы вчера вечером с Хораном и Гоггинсом напились по-желтому.

Стивен продолжал:



– Сострадание – это чувство, которое останавливает разум в присутствии всего значительного и постоянного в людском страдании и соединяет нас с тем, кто страдает. Страх – это чувство, которое останавливает разум в присутствии всего значительного и постоянного в людском страдании и соединяет нас с тайной его причиной.

– Повтори, – сказал Линч.

Стивен медленно повторил определения.

– На днях в Лондоне, – продолжал он, – молодая девушка села в кеб. Она ехала встречать мать, с которой не виделась много лет. На углу какой-то улицы оглобля повозки вдребезги разбивает окно кеба. Длинный и острый как игла осколок разбитого стекла пронзает сердце девушки. Она умерла на месте. Репортер называет это трагической смертью. Это неверно. Согласно моим определениям, эта смерть не будит чувств сострадания и страха.

– Чувство трагического, по сути дела, – это лицо, обращенное в обе стороны, к страху и к состраданию, и обе эти стороны – его фазы. Ты заметил, я использую слово останавливает. Этим я указываю, что трагическая эмоция статична. Верней, статична драматическая эмоция. Чувства, возбуждаемые неподлинным искусством, это кинетические чувства, каковы желание и отвращение. Желание нас толкает овладеть, приблизиться; отвращение – бросить и отойти. Это кинетические эмоции. Искусства, что вызывают их, – порнография и дидактика – стало быть, неподлинные искусства. Таким образом, эстетическое чувство (я пользуюсь общераспространенным термином) статично. Мысль останавливается, поднявшись выше желания и отвращения.

– Ты говоришь, искусство не должно возбуждать желания, – сказал Линч. – А я ведь тебе рассказывал, что я как-то в музее написал карандашом свое имя на заднице Венеры Праксителя. Это что, не желание?

– Я имею в виду нормальные натуры, – сказал Стивен. – Ты еще мне рассказывал, как ты жрал коровий навоз в этой чудесной своей кармелитской школе.

Линч снова заржал визгливо и потер в паху руки, не вынимая их из карманов.

– Было, было такое! – воскликнул он.

Повернувшись к спутнику, Стивен на секунду глянул ему прямо в глаза. Линч, перестав смеяться, встретил этот взгляд присмиренно. Длинная, узкая, сплюснутая голова под кепкой с длинным козырьком напоминала какое-то пресмыкающееся с капюшоном. Глаза тоже напоминали пресмыкающееся своим тусклым блеском и неподвижностью. Но в этот миг в их присмирившем, настороженном взоре светилась крохотная человеческая точка, окно съжившейся души, изъязвленной и саможесточившейся.

– Что до этого, – сказал Стивен, как бы вежливо оговариваясь, – все мы животные. И я тоже.

– Это точно, – сказал Линч.

– Но сейчас мы в мире духовного, – продолжал Стивен. – Желание и отвращение, вызываемые неподлинными эстетическими средствами, не являются эстетическими эмоциями не только потому, что они кинетичны по характеру, но и потому, что они

всего-навсего физические. Наша плоть сжимается, когда ее что-то страшит, и отзывается на присутствие желанного непроизвольной реакцией нервной системы. Наши веки закрываются сами, прежде чем мы сознаем, что мошка может попасть в глаз.

– Не всегда, – критично заметил Линч.

– Точно так же, – продолжал Стивен, – твоя плоть отозвалась на присутствие обнаженной статуи, но это, повторяю, непроизвольная реакция нервной системы. Красота, выраженная художником, не может пробудить в нас ни кинетической эмоции, ни чисто физического ощущения. Она пробуждает или должна пробуждать, порождает или должна порождать эстетический стасис – идеальное сострадание или идеальный страх, – стасис, который возникает, длится и наконец разрешается в том, что я называю ритмом красоты.

– А это что такое? – спросил Линч.

– Ритм, – сказал Стивен, – это первое формальное эстетическое соотношение частей друг с другом в любом эстетическом целом, или же отношение эстетического целого к его части или частям, или же отношение любой части эстетического целого ко всему целому.

– Если это ритм, – сказал Линч, – тогда дай мне услышать, что ты называешь красотой. И, пожалуйста, учти, что хотя я и поедал навозные лепешки, но преклоняюсь я исключительно перед красотой.

В знак одобрения Стивен приподнял кепку. Потом, слегка покраснев, взял Линча за рукав его твидовой куртки.

– Мы правы, – сказал он, – а другие ошибаются. Говорить об этих вещах, пытаться постичь их природу, а постигнув – медленно, упорно, смиренно пытаться выразить, заново извлечь из грубой земли или из того, что она дает, из звука, формы и цвета, этих врат темницы нашей души, – образ красоты, которую мы постигли, – вот что такое искусство.

Они приблизились к мосту через канал и, повернув, пошли под деревьями. Грязно-серый свет, отражающийся в почти неподвижной воде, запах мокрых веток над головами – казалось, все восставало против течения мыслей Стивена.

– Но ты не ответил на мой вопрос, – сказал Линч. – Что такое искусство? Что такое красота, которую оно выражает?

– Да это же было самым первым определением, которое я тебе дал, сонноголовое ты ничтожество, – сказал Стивен. – Я тогда еще только начинал продумывать эти вещи для себя. Помнишь тот вечер? Крэнли еще разозлился и стал нам расписывать, какой бекон в Уиклоу.

– Помню, – сказал Линч. – Он все нам без конца плел про этих хреновых треклятых свиней.

– Искусство, – сказал Стивен, – это организация человеком вещей чувственных или интеллигибельных с эстетической целью. О свиньях ты помнишь, а вот это забыл. Безнадежная вы парочка, ты и Крэнли.

Обратив гримасу к серому неприветливому небу, Линч отвечал:

– Если я должен слушать твою эстетическую философию, так дай мне еще сигаретку, по крайней мере. Меня она не волнует. Меня даже бабы не волнуют. Провались вы все к дьяволу. Хочу работу на пятьсот фунтов в год. Ты ж мне ее не достанешь.

Стивен протянул ему пачку сигарет. Линч вынул последнюю там оставшуюся и сказал кратко:

– Продолжай.

– Как утверждает Аквинат, – сказал Стивен, – прекрасно то, восприятие чего нам приятно.

Линч кивнул.

– Помню, – сказал он. – *Pulchra sunt quae visa placent*.

– Он употребляет слово *visa*, – продолжал Стивен, – подразумевая под ним любое эстетическое восприятие: зрение, слух или какие-либо другие его виды. Это слово, при всей его неопределенности, достаточно все же ясно, чтобы исключить хорошее и дурное, которые вызывают в нас желание и отвращение. Безусловно, это слово подразумевает стасис, а не кинесис. А что такое истина? Она тоже вызывает стасис сознания. Ты бы не написал свое имя карандашом на гипотенузе прямоугольного треугольника.

– Нет уж, – сказал Линч, – мне подавай гипотенузу Венеры.

– Итак, истина статична. Кажется, Платон говорит, что прекрасное – сияние истины. Не думаю, что это имеет какой-нибудь иной смысл, кроме того, что истина и прекрасное родственны. Истина познается разумом, каковой умиротворяют наиболее удовлетворяющие соотношения вещей умопостигаемых; прекрасное же воспринимается воображением, каковое умиротворяют наиболее удовлетворяющие соотношения вещей чувственных. Первый шаг на пути к истине – постичь строение и пределы разума, понять самый акт познания. Вся философская система Аристотеля опирается на его сочинение о психологии; а оно, я думаю, в свою очередь опирается на утверждение, что один и тот же атрибут не может одновременно и в той же связи принадлежать и не принадлежать одному и тому же субъекту. Первый шаг на пути к красоте – постичь строение и пределы воображения, понять самый акт эстетического восприятия. Ясно?

– Но что же такое красота? – нетерпеливо спросил Линч. – Дай еще какое-нибудь определение. То, на что нравится смотреть! И это все, на что ты способен со своим Аквинатом?

– Возьмем женщину, – сказал Стивен.

– Возьмем-ка ее! – с пылом поддержал Линч.

– Греки, турки, китайцы, копты, готтентоты – у всех свой идеал женской красоты, – сказал Стивен. – Это похоже на лабиринт, из которого нельзя выбраться. И все же я вижу два выхода из него. Первая гипотеза: всякое физическое качество из тех, что восхищают мужчину в женщине, напрямую связано с ее многообразными функциями продолжения рода. Возможно, это так. Мир, пожалуй,

еще скучней, чем даже твои, Линч, представления о нем. Но мне этот выход не по вкусу. Он ведет скорее к еврике, чем к эстетике. Он ведет из лабиринта напрямик в новую чистенькую аудиторию, где Макканн, держа одну руку на «Происхождении видов», а другую на Новом Завете, объясняет тебе, что ты любишься пышными бедрами Венеры, ибо предчувствуешь, что она тебе принесет крепких отпрысков, и любишься ее пышными грудями, ибо предчувствуешь, что она будет давать хорошее молоко вашим с ней детям.

– Раз так, Макканн – самый желтейший и серно-желтый лжец! – произнес энергично Линч.

– Остается другой выход, – смеясь сказал Стивен.

– А именно? – спросил Линч.

– Другая гипотеза... – начал Стивен.

Длинная телега, груженная железным ломом, выехала из-за угла больницы сэра Патрика Дана, и конец фразы Стивена утонул в гулком грохоте дребезжащего и громяющего металла. Линч, заткнув уши, чертыхался непрерывно, покуда телега не проехала. Потом резко развернулся на каблуках. Стивен тоже повернулся и несколько секунд выжидал, чтобы раздражение спутника улеглось.

– Другая гипотеза, – повторил он, – указывает иной выход. Хотя отнюдь не все будут находить прекрасным один и тот же предмет, но всякий, кто восхищается прекрасным предметом, находит в нем известные удовлетворяющие соотношения, соответствующие стадиям эстетического восприятия. Эти соотношения чувственного, которые тебе видятся в одной форме, а мне в другой, должны, следовательно, быть необходимыми качествами прекрасного. Теперь мы снова можем вернуться к старому другу Фоме и заполучить еще на полпенни мудрости.

Линч расхохотался.

– Мне до того забавно, – сказал он, – что ты его то и дело поминаешь, будто ты сам – пузатый бодрый монах. Ты это без шутки?

– Макалистер, – отвечал Стивен, – назвал бы мою эстетическую теорию прикладным Аквинатом. Во всех этих разделах эстетической философии я до самого конца с Фомой. Но вот когда мы подойдем к феноменам художественного замысла, его вызревания и воплощения, мне потребуется новая терминология и новый личный опыт.

– Конечно, – сказал Линч, – в конце концов, Аквинат, при всем уме своем, просто-напросто пузатый добрый монах. Но про новый личный опыт и новую терминологию ты мне уж как-нибудь в другой раз. Давай, закругляйся с первой частью.

– Кто знает, – сказал Стивен с улыбкой, – возможно, Аквинат меня бы понял лучше, чем ты. Он был поэт. Он сочинил гимн для службы Страстного четверга. Гимн этот начинается так: *Pange, lingua, gloriosi...*[132 - *Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium...* – Славь, мой язык, тайну преславного тела... (лат.)], и это, говорят, прекраснейшее из всех песнопений. Это гимн тонкий, умягчающий душу. Люблю его. И все-таки ни один гимн не сравнится с этой величественной и скорбной песнью на крестный ход, «*Vexilla Regis*» Венанция Фортуната.

Линч запел тихо и торжественно низким глубоким басом:

Impleta sunt quae concinit  
David fideli carmine  
Dicendo nationibus

Regnavit a ligno Deus[133 - Исполнились, исполнились Давидовы речения, Языкам возвещавшие: Се царь наш с древа правит вас. (Пер. с лат. С. С. Аверинцева.)].

– Здорово, – произнес он с чувством. – Вот это музыка!

Они свернули на Нижнюю Маунт-стрит. Через несколько шагов от угла их приветствовал толстый молодой человек в шелковом кашне.

– Слыхали результаты экзаменов? – спросил он, останавливаясь. – Гриффин провалился, Холпин и О’Флинн прошли по отделению гражданского ведомства. Мунен по индийскому ведомству на пятом, О’Шоннеси на четырнадцатом месте. Патриоты у Кларка им пирушку устроили, и все ели карри.

Его пухлое бледное лицо было добродушно-злобным, и по мере изложения вестей об успехах его маленькие заплывшие глазки делались почти невидимы, а слабый одышливый голос почти неслышим.

В ответ на вопрос Стивена глаза и голос вынырнули из своих укрытий.

– Да, Маккаллох и я, – сказал он. – Он выбрал чистую математику, а я политическую историю. Всего там двадцать предметов. Еще я выбрал ботанику. Вы знаете же, я член полевого клуба.

Он отступил от них на шаг и с величественным видом положил жирную руку в шерстяной перчатке себе на грудь, откуда тотчас же вырвался одышливый приглушенный смех.

– В следующий раз, когда поедешь на поле, привези нам репы и лука, – мрачно сказал Стивен, – сделаем тушеное мясо.

Толстый студент снисходительно засмеялся и сказал:

– Мы все в полевом клубе принадлежим к самой уважаемой публике. Прошлую субботу мы ездили всемером в Гленмалюр.

– С женщинами, Донован? – спросил Линч.

Донован снова возложил руку на грудь и сказал:

– Наша цель – приобретать знания.

Потом он быстро спросил:

– Я слышал, ты пишешь какое-то сочинение по эстетике?

Стивен ответил неопределенно-отрицательным жестом.

– Гете и Лессинг много писали на эту тему, – сказал Донован. – Классическая

школа, романтическая школа и все тому подобное. «Лаокоон» меня сильно заинтересовал, когда я читал его. Конечно, это сплошь в немецком идеалистическом духе, этак сверхглубоко...

Никто ему не ответил. Донован любезно простился с ними.

– Что ж, мне надо идти, – сказал он мягко и благодушно. – У меня сильное подозрение, граничащее с уверенностью, что сестрица готовит сегодня блинчики к семейному обеду Донованов.

– До свидания, – сказал Стивен ему вдогонку, – не забудь про репу и лук для нас с приятелем.

Линч глядел ему вслед, и губы его медленно искривлялись в презрении, покуда лицо не начало походить на дьявольскую маску.

– Подумать только, что это блиноядное желтое дерьмо может найти отличную работу, – наконец сказал он, – а я должен курить грошовые сигареты.

Они повернули к Меррион-сквер и некоторое время шли молча.

– Закончу то, что я говорил о красоте, – сказал Стивен. – Наиболее удовлетворяющие соотношения чувственного должны, стало быть, соответствовать необходимым фазам художественного восприятия. Найди их, и ты найдешь атрибуты абсолютной красоты. Аквинат говорит: *Ad pulchritudinem tria requiruntur, integritas, consonantia, claritas*. Я перевожу это так: Три условия требуются для красоты: целостность, гармония и сияние. Соответствуют ли они фазам восприятия? Ты следишь?

– Конечно слежу, – сказал Линч. – Если ты думаешь, что у меня дерьмический интеллект, поди догони Донована и попроси его тебя послушать.

Стивен показал на корзинку, которую мальчишка из мясной лавки надел себе на голову, перевернув вверх дном.

– Посмотри на эту корзинку, – сказал он.

– Ну, вижу, – ответил Линч.

– Чтобы увидеть эту корзинку, – сказал Стивен, – твое сознание прежде всего отделяет ее от остальной видимой вселенной, которая не есть корзина. Первая фаза восприятия – это прочерчивание линии, ограничивающей объект восприятия. Эстетический образ представляется нам в пространстве или во времени. Слышимое представляется во времени, зримое же – в пространстве. Но, будь то пространственный или временной, эстетический образ прежде всего воспринимается высвеченным как самоограниченный и самодовлеющий на необъятном фоне пространства или времени, которые им не являются. Ты воспринимаешь его как единую вещь, видишь как одно целое – то есть воспринимаешь его целостность. Это и есть *integritas*.

– В самое яблочко, – сказал Линч смеясь. – Давай дальше.

– Затем, – продолжал Стивен, – ты переходишь от одной точки к другой, следуя за линиями формы предмета; постигаешь предмет в его очертаниях как определенное

равновесие его частей; чувствуешь ритм его структуры. Другими словами, за синтезом непосредственного восприятия следует анализ постижения. Почувствовав вначале, что это один, единый предмет, ты чувствуешь теперь, что это таки предмет. Ты постигаешь его как сложное, множественное, делимое, способное к разделению, состоящее из частей, являющееся суммой, итогом этих частей – то есть как нечто гармоничное, согласованное. Это и есть *consonantia*.

– Снова в яблочко! – сказал Линч умным тоном. – Объясни мне теперь про *claritas*, и за мной сигара.

– Что значит это слово у Фомы, не совсем ясно, – сказал Стивен. – Он употребляет термин, который кажется неточным. Меня это слово долго сбивало с толку. Оно тянуло считать, будто Фома имел в виду символизм или идеализм, когда высшее свойство красоты – это свет, исходящий из какого-то иного мира, идея, лишь тенью которой служит материя, реальность, для которой материя лишь символ. Я думал, что он, видимо, понимает под *claritas* художественное открытие божественного замысла в предмете и его представление или же силу обобщения, которая делает эстетический образ универсальным, распространяет сияние его шире его конкретных условий. Но все это литературщина. Теперь я так это понимаю. Сначала ты воспринял корзинку как единый предмет, как целостность, а затем, путем анализа с точки зрения формы, постиг как предмет: и так ты произвел единственный синтез, что допустим логически и эстетически. Ты видишь, что эта корзинка – именно тот предмет, каким она является, а не какой-то другой. Сияние, о котором говорит Аквинат, это то, что в схоластике называют *quidditas*, чуждость вещи. Это высшее качество ощущается художником, когда впервые в его воображении зарождается эстетический образ. Ум в этот таинственный миг Шелли прекрасно сравнил с тлеющим углем: это миг, когда высшее качество красоты, светлое сияние эстетического образа, отчетливо высвечивается в сознании, остановленном его целостностью и очарованном его гармонией; это сияющий немой стасис эстетического наслаждения, духовное состояние, очень похожее на сердечное явление, для которого итальянский физиолог Луиджи Гальвани нашел выражение, почти столь же прекрасное, как у Шелли, – замороженность сердца.

Стивен умолк, и, хотя его спутник не говорил ничего, он чувствовал, что его слова создали вокруг них тишину, замороженную мыслью.

– То, что я сказал, – продолжал он, – относится к красоте в широком смысле слова, в том смысле, который оно имеет в литературной традиции. В бытовой речи смысл у него другой. Когда мы говорим о красоте в этом втором смысле, наше суждение прежде всего определяется самим искусством, а также видом искусства. Образ должен, разумеется, связывать сознание и чувства художника с сознанием и чувствами других людей. Если мы это учтем, то увидим, что искусство с необходимостью разделяется на три последовательно восходящих вида: лирику, или вид, где художник дает образ в непосредственном отношении к самому себе; эпос, где он дает образ в опосредованном отношении к себе или другим; и драму, где он дает образ в непосредственном отношении к другим.

– Ты мне это объяснял несколько дней назад, – сказал Линч, – тогда у нас и началась эта вся дискуссия.

– У меня есть дома тетрадка, – сказал Стивен, – в которую я записал разные вопросы куда забавней твоих. Когда я над ними думал, тогда я и додумался до той теории, что сейчас втолковываю тебе. Вот некоторые из тех вопросов. Трагичен или комичен изящно сделанный стул? Является ли портрет Моны Лизы благим, если у меня

возникает желание его увидеть? Лиричен, эпичен или драматичен бюст сэра Филипа Крэмптона? Может ли быть произведением искусства испражнение, или дитя, или вошь? Если нет, то почему?

– А правда, почему? – сказал Линч, смеясь.

– Если человек, в ярости ударяя топором по бревну, вырубит изображение коровы, – продолжал Стивен, – будет ли это изображение произведением искусства? Если нет, то почему?

– Ну, это отлично, – сказал Линч, снова засмеявшись. – От этого воняет настоящей схоластикой.

– Лессингу, – сказал Стивен, – не следовало писать о скульптурной группе. В менее высоких искусствах те формы или виды, о которых я говорил, недостаточно четко различаются друг от друга. Даже в литературе, высшем и наиболее духовном из искусств, эти формы часто бывают смешаны. Форма лирическая – это, в сущности, простейшее словесное облачение момента эмоции, ритмический возглас в духе тех, какие в седой древности подбадривали человека, когда он налегал на весла или тащил камни в гору. Издающий такой возглас скорее осознает момент эмоции, нежели себя самого как переживающего эмоцию. Простейшую эпическую форму мы видим рождающейся из лирической литературы, когда художник углубленно сосредоточивается на себе самом как на центре эпического события, и эта форма развивается, пока центр эмоциональной тяжести не станет равно удаленным от самого художника и от других. На этой ступени повествование перестает быть только личным. Личность художника переходит в повествование, она движется и кружит вокруг действующих лиц и действия, обтекает их как живоносное море. Как раз такую ступень развития мы находим в старинной английской балладе «Терпин-герой», где повествование в начале ведется от первого лица, а в конце от третьего. Драматическая же форма достигается, когда жизненная стихия, что обтекает, кружась и завихряясь, каждое действующее лицо, наполняет каждое такой жизненной силой, что это лицо, он или она, обретает собственное и неприкосновенное эстетическое бытие. Личность художника – сначала вскрик, ритм, настроение, затем повествование, льющееся и посверкивающее, и наконец она утончает себя до небытия, деперсонализуется, так сказать. Эстетический образ в драматической форме – это жизнь, очищенная в воображении и вновь изведенная из него вовне. Таинство эстетического творения, подобное таинству творения материального, завершено. Художник, как Бог-творец, остается внутри, или позади, или поверх, или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, равнодушно подпиливающий себе ногти.

– Стараясь их тоже утончить до небытия, – заключил Линч.

Мелкий дождик заморосил с высокого пасмурного неба, и они свернули на Дьюкс-лоун, чтобы успеть дойти до Национальной библиотеки, прежде чем хлынет ливень.

– Взбрело ж тебе, – угрюмо проговорил Линч, – распинаться о красоте и воображении на этом жалком богооставленном острове. Ничего странного, что художник убрался то ли внутрь, то ли поверх своего создания, как только сварганил эту страну.

Дождь усилился. Пройдя мимо ирландской Королевской академии, они увидели кучку студентов, укрывшихся от дождя под аркадами библиотеки. Крэнли, прислонясь к



колонне, ковырял в зубах заостренной спичкой, слушая разговор приятелей. Несколько девушек стояли возле входной двери. Линч шепнул Стивену:

– Твоя милая здесь.

Стивен молча выбрал место на лестнице, на ступеньку пониже группы, не обращая внимания на сильный дождь и время от времени взглядывая в ее сторону. Она тоже стояла молча среди подруг. Нет священника, не с кем пофлиртовать, подумал он с нарочитой горечью, вспомнив, как видел ее в последний раз. Линч прав был. Его разум, опустошившись от теорий и от смелости, впадал в безучастный покой.

Он прислушался к разговору студентов. Они говорили о своих двух товарищах, которые сдали выпускные экзамены по медицине, о возможности устроиться на океанские пароходы, о доходной и недоходной практике.

– Да ерунда это. Практика в ирландской деревне выгодней.

– Хайнс пробыл два года в Ливерпуле и то же самое говорит. Жуткая, говорит, дыра. Ничего, кроме акушерства. За визит полкроны.

– И по-твоему, значит, лучше тут работать в деревне, чем в таком вот богатом городе? Я знаю одного парня...

– У Хайнса мозгов просто не хватает. Он всегда брал зубрежкой, одной зубрежкой.

– Да бросьте его. В большом торговом городе отличные деньги можно делать.

– Все зависит от практики.

– *Ego credo ut vita pauperum est simpliciter atrox, simpliciter sanguinarius atrox, in Liverpoolio*[134 - Я думаю, беднякам в Ливерпуле живется просто ужасно, чертовски скверно (лат.)].

Их голоса долетали до его слуха как бы издали, прерывистыми пульсациями. Она собиралась уходить вместе с подругами.

Быстрый и легкий ливень прошел, замешкавшись алмазною гроздью среди кустов на прямоугольнике двора, где подымался пар от почерневшей земли. Девушки постукивали каблучками, стоя на ступеньках колоннады, весело и спокойно переговаривались, поглядывая на облака, искусно подставляя зонтики под редкие последние капли, снова закрывая их и с кокетливой скромностью подбирая юбки.

Не слишком ли он строго судил ее? А что если ее жизнь – простые четки с бусинами часов, жизнь простая и непонятная как жизнь птицы, веселая утром, неугомонная днем, усталая на закате? И сердце у нее простое и своенравное, как у птицы?

\* \* \*

На рассвете он проснулся. Какая сладостная музыка! Вся душа его была омыта росой. По спящему простертому телу скользили прохладные волны бледного света. Он лежал без движения, а душа словно покачивалась на прохладных волнах, внимая тихой сладостной музыке. Разум медленно пробуждался к пульсирующему утреннему познанию, к вдохновениям утра. Все существо его наполнял дух чистый, словно

чистой вода, сладостный как роса, плывущий как музыка. Но сколь неосяземо он в него проникал, сколь бесстрастно, словно был дыханием самих серафимов! Душа пробуждалась медленно, боясь проснуться совсем. Это был тот безветренный рассветный час, когда пробуждается безумие, и странные растения раскрываются к свету, и вылетают беззвучно мотыльки.

Завороженность сердца! Ночь была замороженной. Во сне или в видении он познал экстаз серафической жизни. Был ли это лишь один миг замороженности – или же долгие часы – дни – годы – века?

Миг вдохновения, казалось, теперь отражался сразу со всех сторон, от массы туманных обстоятельств того, что произошло или могло бы произойти. Миг сверкнул, будто вспышка света, и облачки этого тумана обстоятельств мягко заслоняли теперь оставленное им послесвечение, складываясь в некую неясную форму. О! В девственном лоне воображения Слово делалось плотью. Архангел Гавриил сошел в обитель Девы. В духе его, что был посещен белым пламенем, сгущалось послесвечение, сгущалось в розовый знойный свет. Этот розовый знойный свет – ее непостижимое и своенравное сердце, непостижимое ни одному мужчине ни в прошлом, ни в будущем, своенравным же бывшее прежде начала мира – и мнимые эту знойно светящейся розой, сонмы серафимов и ангелов низвергались с небес.

Не истомил ли тебя знойный путь?  
Ангелы пали от чар твоих.  
Завороженные дни позабудь.

Стихи пробивались из глубины сознания к губам, и, бормоча их, он чувствовал, как сквозь них пробивается ритм вилланеллы. Светящаяся роза испускала лучи – рифмы: путь, позабудь, окунуть, прильнуть. Лучи воспламеняли мир, сжигали сердца ангелов и людей: лучи розы, что была ее своенравным сердцем.

Стоит манящему взгляду блеснуть,  
Страстный огонь уж в сердце проник.  
Не истомил ли тебя знойный путь?

А дальше? Ритм замер – замолк – снова начал пульсировать. Что дальше? Дым фимиама, благовонный дым возносится с алтаря мира.

Дым благовоний отрадно вдохнуть,  
Звучной хвалы отовсюду клик.  
Завороженные дни позабудь.

Дым курений восходит со всей земли, от океанов, окутанных испарениями, это фимиамы воздаваемой ей хвалы. Земля – будто кадило, курящееся, качающееся, колеблющееся – будто шар благовоний – эллипсоидальный шарик. Ритм замер внезапно – вопль сердца оборвался. Губы принялись снова и снова вышептывать первую строфу – потом, путаясь, подбирали какие-то полустихия, запинались, сбивались – смолкли. Вопль сердца оборвался.

Дымчатый безветренный час миновал, и за голыми стеклами окна занимался утренний свет. Далеко-далеко слабо ударил колокол. Чирикнула птичка, другая, третья. Потом колокол и птицы смолкли. Повсюду, на запад и на восток, разливался тусклый белесый свет, застилая весь мир, застилая розовое сияние в его сердце.

Боясь потерять, он быстро приподнялся на локте, отыскивая бумагу и карандаш. На

столе не было ничего, только глубокая тарелка с остатками риса от его ужина да подсвечник с потеками свечного сала и бумажным кружком в свежих подпалинах. Устало он протянул руку к спинке кровати и стал шарить в карманах висевшей там куртки. Пальцы нащупали карандаш, потом пачку сигарет. Он снова лег, разорвал пачку, выложил последнюю папиросу на подоконник и начал записывать строфы вилланеллы мелкими четкими буквами на грубом картоне.

Записав их, он откинулся на комковатую подушку, вновь начал их вышептывать. Комки сбившихся перьев под головой вызвали воспоминание о комках свалявшегося конского волоса в сиденье дивана у ней в гостиной, где он обычно сидел, с улыбкой или серьезным видом, спрашивая себя, зачем он сюда явился, недовольный и ею и собой, удручаемый литографией Святого Сердца над незанятым буфетом. Он видел, как она подходит к нему во время паузы в разговоре, просит спеть что-нибудь из его таких интересных песен. Видел, как он садится за старое пианино, перебирает пожелтевшие клавиши и на фоне возобновившейся беседы поет для девушки, что стоит у камина, какую-нибудь изящную песню Елизаветинцев, нежно-печальную жалобу разлуки, песнь победы при Азенкуре, радостную мелодию «Зеленые рукава». Пока он поет, а она слушает или делает вид, сердце его спокойно, но, когда затейливые старинные песни кончаются и он снова слышит разговоры в гостиной, ему вспоминается его собственный сарказм: дом, где молодых людей чересчур скоро начинают называть запросто по имени.

В отдельные минуты ее глаза, казалось, уже готовы были довериться ему, но он ждал напрасно. Сейчас она проносилась в его памяти в легком танце, как в тот вечер на карнавале, в развевающемся белом платье, с веткой белых цветов в волосах. Танцуя в хороводе, она приближалась к нему, приблизилась, глаза смотрели чуть в сторону, на щеках легкий румянец. Хоровод разомкнулся, и на мгновение ее ручка, словно какая-то изящная покупка, оказалась в его руке.

– Вас так редко сейчас увидишь.

– Да, я от природы монах.

– Боюсь, что вы еретик.

– Вас это очень пугает?

Вместо ответа она, танцуя, удалялась от него вдоль цепи рук, легко, неуловимо кружа, не отдаваясь никому. Белая ветка кивала в такт ее движениям, и когда она попадала в полосу тени, румянец на щеках казался ярче.

Монах! Его собственный образ предстал перед ним: осквернитель обители, еретик-францисканец, желающий и не желающий служить Богу, плетущий, как Герардино да Борго Сан-Доннино, тонкую сеть софизмов, нашептывающий ей на ухо.

Нет, это не его образ. Скорей, это образ молодого священника, с которым он видел ее последний раз, когда она на него поглядывала глазами голубки, теребя страницы ирландского разговорника.

– Да-да, дамы к нам тоже начинают ходить. Я вижу это каждый день. Дамы с нами. Они лучшие союзницы ирландского языка.

– А церковь, отец Моран?

– Церковь тоже. Она тоже сближается. Работа идет и там, насчет церкви не беспокойтесь.

Тьфу! Он правильно поступил тогда, с презрением покинув комнату. Правильно, что не поклонился ей на лестнице в библиотеке. Правильно, что оставил ее кокетничать с этим своим священником, заигрывать с церковью, этой судомойкой христианства.

Грубый гнев изгнал из его души последние остатки экстаза и, разом разбив ее нежный образ, расшвырял во все стороны осколки. Со всех сторон в памяти всплывали уродливые отражения ее образа: цветочница в отрепьях, с влажными жесткими волосами и дерзким лицом, что говорила про его подружку и упрашивала купить букетик; служанка из соседнего дома, которая, гремя посудой, распевала протяжно, как поют в деревнях, первые куплеты «Средь гор и озер Килларни»; девушка, что рассмеялась, увидев, как он споткнулся, зацепившись рваной подметкой за железную решетку на тротуаре у Корк-хилла; девушка с маленьким пухлым ротиком, привлечшим его, – она выходила с кондитерской фабрики братьев Джекобс и, заметив его взгляд, через плечо крикнула ему:

– Ну как, бровь дугой, лохматый, я те приглянулась?

Однако он чувствовал, что и сам этот гнев его был тоже формой поклонения ей, как бы ни удалось ему унижить и осмеять ее образ. Он вышел тогда из класса с презрением, но оно не было вполне искренним, он чувствовал, что за темными глазами, на которые длинные ресницы бросали живую тень, быть может, скрывается тайна ее народа. Бродя по улицам в тот день, он твердил себе с горечью, что она – воплощение женской природы своей страны, душа, подобная летучей мыши, пробуждающаяся к сознанию самой себя в темноте, тайне и одиночестве, душа, что, проведя недолгое время – без любви, без греха – с безликим возлюбленным, затем отправляется вышептать свои невинные проступки в зарешеченное ухо священника. Его гнев против нее нашел себе выход в грубых насмешках над ее ухажером, чье имя, голос, лицо оскорбляли его обманутую гордость: осутаненный мужик, один брат у него – дублинский полисмен, другой – на кухне в кабаке прислуживает в Мойколлене. И это ему она откроет робкую наготу своей души, тому, кто обучен всего-навсего отправлять обряды, а не ему, служителю бессмертного воображения, претворяющему насущный хлеб опыта в сияющую плоть вечно живой жизни.

Сияющий образ таинства причастия разом вдруг собрал воедино все нити его горьких раздумий, стенания претворились в гимн благодарности и хвалы.

Наших страданий саднящую суть  
К небу возносит причастный гимн.  
Не истомил ли тебя знойный путь?

Жадем мы руки в моленьи взметнуть,  
К жертвенной чаше припасть на миг.  
Завороженные дни позабудь.

Он повторял стихи вслух, с первых слов, покуда их музыка и ритм не заполнили сознание, вселив в него прощение и покой, – потом тщательно их переписал, чтобы лучше почувствовать, прочитав глазами, и снова откинулся на подушку.

Уже совсем рассвело. Еще не доносилось ни звука, однако он знал, что вот-вот повсюду вокруг пробудится жизнь с ее привычным шумом, грубыми голосами и полусонными молитвами. Съежившись на постели, он отвернулся от этой жизни к

стене, натянув на голову одеяло и разглядывая крупные алые выцветшие розы на рваных обоях. Алым сиянием их он старался оживить свою угасающую радость, воображением превращая их в розовый путь от своего ложа ввысь, к небесам, усыпанный алыми цветами. Как он устал, истомлен! Его тоже истомил знойный путь!

Ощущение тепла и томной усталости охватило его, спускаясь вдоль позвоночника от плотно закутанной головы. Он чувствовал, как оно спускается, и, мысленно видя себя лежащим, улыбнулся. Сейчас он заснет.

Спустя десять лет он снова посвятил ей стихи. Десять лет назад у нее была на голове шаль, плотно закутывающая ее, в ночном воздухе клубился пар от ее теплого дыхания и башмачки постукивали по замерзшей дороге. Рейс был последний; гневные облезлые лошади знали это и потряхивали бубенчиками, в ясную ночь посылая вразумление о том. Кондуктор разговаривал с вожатым, и оба то и дело кивали головами в зеленом свете фонаря. Они стояли на ступеньках вагона, он на верхней, она на нижней ступеньке. Пока они говорили, она несколько раз поднималась на его ступеньку и снова спускалась на свою, а раз или два осталась возле него, забыв сойти вниз, только потом сходила. Пусть так! Пусть так!

Десять лет меж той мудростью детишек и его нынешним безумием. А что, если послать ей стихи? Они будут зачитаны вслух за утренним чаем, под стук ложек об яичную скорлупу. Поистине безумие! Братья ее будут с хохотом вырывать листок друг у друга жесткими и грубыми пальцами. Слащавый священник, ее дядюшка, сидя в кресле и держа листок перед собой на отставленной руке, прочтет их с улыбкой и одобрит литературную форму.

Нет, нет: это безумие. Если бы даже он ей послал стихи, она бы не стала их показывать. Нет, нет: она не способна на это.

Ему начало казаться, что он несправедлив к ней. Чувство ее невинности увлекло его почти до жалости к ней: невинности, которая была для него неведомой, пока он не обрел ее познания через грех, невинности, которая была неведомой и для нее тоже, покуда она была невинна или покуда к ней не пришла в первый раз странная унижительная немочь женской природы. Только тогда ее душа начала жить, как его душа – когда он впервые согрешил; и сердце его переполнилось нежным состраданием, когда он вспомнил ее хрупкую бледность, ее глаза, огорченные и униженные темным стыдом естества.

Где была она в то время, как его душа переходила от экстаза к томлению? Может ли быть, что неисповедимыми путями духовной жизни ее душа в эти самые минуты знала о поклонении, которое воздается ей? Да. Может быть.

Жар желания снова загорелся в его душе, зажег и охватил все тело. Чувствуя его желание, она, искусительница в его вилланелле, пробуждалась от благоуханного сна. Ее черные, томные глаза открывались навстречу его взорам. Нагая стать ее, лучащаяся, теплая и благоуханная, манила и притягивала как магнит, обволакивала как сияющее облако, обволакивала как текущие воды жизни; и словно туманное облако или воды, кругоомывающие пространство, текущие буквы речи, знаки стихии тайны, устремились, спеша излиться.

Не истомил ли тебя знойный путь?  
Ангелы пали от чар твоих.  
Завороженные дни позабудь.

Стоит манящему взгляду блеснуть –  
Страстный огонь уж в сердце проник.  
Не истомил ли тебя знойный путь?

Дым благовоний отрадно вдохнуть,  
Звучной хвалы отовсюду клик.  
Завороженные дни позабудь.

Наших страданий саднящую суть  
К небу возносит причастный гимн.  
Не истомил ли тебя знойный путь?

Жажем мы руки в моленье взметнуть,  
К жертвенной чаше припасть на миг.  
Завороженные дни позабудь.

Только не в силах мы глаз отвернуть,  
Взоры и стать твоя – как магнит.  
Как истомил тебя знойный твой путь!  
Завороженные дни позабудь.

\* \* \*

Что это за птицы? Опираясь устало на ясеневую трость, он остановился на ступеньках библиотеки, чтобы рассмотреть их. Они кружили над выступающим углом дома на Моулсворт-стрит. В вечернем воздухе конца марта четко прочерчивался их полет, их темные тельца, стремительные, вибрирующие, рисовались четко на небе, будто на какой-то тонкой свисающей ткани дымчато-голубого цвета.

Он наблюдал полет. Одна за другою: темной стрелой, зигзаг, вновь стрелой, резко вбок, плавная кривая, трепет крылышек. Попробовал сосчитать, пока еще не все стремительные, вибрирующие тельца пронесли мимо: шесть, десять, одиннадцать... – интересно, четное или нечетное число их тут всех? Двенадцать, тринадцать – две неслись по спирали из глубин неба. Они летали и высоко, и низко, но все время кругами, мчась по прямой и закругляя ее, и всегда слева направо, кружили вокруг какого-то небесного храма.

Он прислушался к их крику – будто писк мыши за обшивкой стены – пронзительная двойная нота. Ноты, однако, были более долгими, пронзительными, жужжащими, непохожими на крик земной твари, они понижались то на терцию, то на кварту, выдавали трель, когда летящие клювы рассекали воздух. Тонкий отчетливый пронзительный крик падал сверху, как нити шелкового света, разматывающиеся с жужжащего веретена.

Этот нечеловечий визг умиротворял его слух, которому все еще продолжали слышаться материнские рыдания и упреки, а темные хрупкие вибрирующие тельца, мелькающие, порхающие, кружащие вокруг воздушного храма в дымчатых небесах, умиротворяли его взгляд, перед которым еще стояло лицо матери.

Зачем он стоит здесь на ступенях, уставившись в небо и наблюдая полет, слушая эти пронзительные двойные крики? Ждет ли он доброго или дурного знамения? В уме промелькнула фраза из Корнелия Агриппы, а следом за ней в разные стороны замелькали обрывки мыслей из Сведенборга о связи между птицами и предметами

разума и о том, что твари воздушные наделены знанием и ведают свои сроки и времена года, ибо в отличие от людей они сохранили порядок своей жизни, а не извратили этот порядок своим умом.

Веками люди наблюдали полет птиц в небе – как он сейчас. Колоннада над ним смутно напоминала ему древний храм, а ясеневая трость, на которую он утомленно оперся, – изогнутый жезл авгура. В глубине его утомленности зашевелился страх перед неизвестным – страх перед символами и знаменами, перед человеком, чье имя он носил, человеком, подобным ястребу и улетевшим из плена на сплетенных из ивы крыльях; и перед Тотом, богом писцов, что писал тростниковой палочкой на табличке и носил на своей узкой голове ибиса двурогий серп.

Он улыбнулся, когда подумал об этом боге, потому что вставший образ напомнил ему судью в парике, с носом бутылкой, вставляющего запястье в судебную бумагу, которую держит на вытянутой руке, и понял, что ни за что бы не вспомнил имени бога, если бы оно не звучало похоже на одно ирландское ругательство. Тут было безумие. Но было ли это то самое безумие, из-за которого он собрался покинуть навсегда дом благоразумия и молитвы, в котором родился, и уклад жизни, из которого произошел?

Они вновь появились с резкими криками над выступающим углом дома и, темные, унеслись на фоне бледнеющего неба. Что это за птицы? Ласточки, вероятно, вернулись с юга. Значит, и ему пора уезжать, ведь они – птицы, что вечно прилетают и улетают, вьют недолговечные гнезда под кровлей людских жилищ и покидают устроенные гнезда для новых странствий.

Склоните лица, Уна и Алиль,  
Гляжу на них, как ласточка глядит  
На гнездышко, собираясь уж в полет  
Над звонкой зыбью.

Тихая текучая радость, как ширящийся шум звенящих зыбей, заполнила его память и сознание, и в сердце его вошел тихий покой безмолвных блекнувших просторов неба над водной ширью, покой океанского безмолвия и ласточек, пролетающих в сумерках над струящимися водами.

Тихая текучая радость наполняла эти слова, где мягкие и долгие гласные мягко сталкивались и разделялись, и налагались и снова разбежались, и без конца колыхали белые буруны-колокольчики волн в немом переливе и немом перезвоне и мягком замирающем зове; и он ощутил, как то самое знамение, которого он искал в кружащем полете птиц, в бледнеющем просторе неба над головой, вылетело из его сердца, словно птица из пристанища, стремительно и спокойно.

Символ дороги или одиночества? Под действием стихов, что продолжали напевно звучать в ушах, перед его глазами всплыла постепенно сцена, которую он наблюдал в вечер открытия Национального театра. Он сидел один на галерке, апатично разглядывая цвет дублинской культуры в партере, кричаще безвкусные декорации и марионеточные фигуры в обрамлении слепящих огней рампы. За спиной у него потел грузный полисмен, который, казалось, все время порывался приступить к наведению порядка. Собратья-студенты, разбросанные тут и там, устраивали кошачий концерт: по залу дружными волнами проносился свист, издевательские возгласы, улюлюканье.

– Клевета на Ирландию!

- Немецкое производство!
- Кошунство!
- Мы нашей веры не продавали!
- Ни одна ирландка так не поступит!
- Не надо нам домодельных атеистов!
- Не надо нам начинающих буддистов!

Из окна сверху донеслось вдруг короткое шипение, означавшее, что в читальне зажгли свет. Он вошел в мягко осветившийся вестибюль с колоннами, поднялся по лестнице и через щелкнувший турникет прошел в зал.

Крэнли сидел у полок со словарями. На деревянной подставке перед ним лежала толстая книга, раскрытая на заглавном листе. Откинувшись на стуле, он на манер исповедника наклонял ухо к лицу студента-медика, который читал ему задачу из шахматной странички в газете. Стивен сел справа от него; священник, что сидел напротив, сердито захлопнул свой номер «Тэблета» и встал.

Крэнли умиротворенно посмотрел ему вслед, а студент-медик сделал голос потише:

- Пешка на е4.
- Давай лучше выйдем, Диксон, – сказал Стивен предостерегающе. – Он пошел жаловаться.

Диксон сложил газету и, с достоинством поднявшись, сказал:

- Наши части отступили в полном порядке.
- Захватив оружие и скот, – прибавил Стивен, показывая на заглавие книги, лежавшей перед Крэнли: «Болезни рогатого скота».

Когда они двигались в проходе между столами, Стивен сказал:

- Крэнли, мне нужно с тобой поговорить.

Крэнли не ответил и не обернулся. Положив книгу на стойку, он вышел, ноги в ладной обуви четко пристукивали по полу. На площадке лестницы он остановился и, глядя отсутствующе на Диксона, повторил:

- Пешка на хреново е4.
- Можно и так выразиться, – отвечал Диксон.

У него был ровный бесцветный голос, вежливые манеры, на пальце чистой пухлой руки поблескивал перстень с печаткой.

В вестибюле к ним подошел похожий на карлика человечек. Небритое лицо его под куполом крохотной шляпчонки выразило удовольствие, заулыбалось, послышался шепоток. Глаза же были грустными, как у обезьяны.



– Добрый вечер, капитан, – сказал Крэнли, останавливаясь.

– Добрый вечер, джентльмены, – сказала обезьянья мордочка, вся в щетине.

– Очень тепло для марта, – сказал Крэнли, – наверху окна открыли.

Диксон улыбнулся и повертел перстень. Чернявое личико, сморщенное по-обезьянью, собрало человеческий ротик в удовлетворенную мину, и голос промурлыкал:

– Чудесная погода для марта. Просто чудесная.

– Там наверху две юные прелестные леди уже заждались вас, капитан, – сказал Диксон.

Крэнли с доброжелательной улыбкой заметил:

– У капитана только одна любовь, сэр Вальтер Скотт. Верно ведь, капитан?

– Что вы теперь читаете, капитан? – спросил Диксон. – «Ламмермурскую невесту»?

– Люблю старину Скотта, – произнесли мягкие губы. – На мой взгляд, он прямо себе замечательно пишет. Нет такого писателя, чтобы был как ровня сэру Вальтеру Скотту.

В такт своим похвалам он мягко поводил в воздухе тонкой сморщенной смуглой ручкой, меж тем как тонкие подвижные веки быстро мигали, прикрывая грустные глазки.

Для слуха Стивена еще грустней была его речь: с жеманным выговором, шелестящая и липкая, изуродованная ошибками, – и, слушая, он раздумывал, правду ли о нем говорят, верно ли, что жидкая кровь в этом сморщенном тельце благородна и произошла от кровосмесительной любви?

Деревья в парке огрузли от дождя, и дождь, как прежде и без конца падал в озеро, простершееся серым щитом. Там проплыла стая лебедей, вода и берег были загажены их белесовато-зеленой жижей. Они нежно обнимались, побуждаемые серым дождливым днем, молчанием намокших деревьев, щитовидным свидетелем-озером, лебедями. В объятии их не было ни страсти, ни радости, его рука обнимала шею сестры. На ней была серая шерстяная накидка, от плеч до талии обвившаяся вокруг нее наискосок, светлая головка склонилась со стыдливой податливостью. У него – темно-рыжие вихрастые волосы, сильные и нежные руки хорошей формы, в веснушках. Лицо. Лица не было видно. Лицо брата склонилось над ее светлыми, пахнувшими дождем волосами. Ласкающая рука, веснушчатая, сильная, хорошей формы, была рукой Давина.

Он нахмурился, в гневе на свои мысли и на сморщенного человечка, что снова вызвал их. В памяти всплыли отцовские издевки над шайкой из Бантри. Он отстранил их и с тяжестью на душе вновь погрузился в свои мысли. А почему бы не руки Крэнли? Или простота и невинность Давина более потаенно уязвляли его?

Вместе с Диксоном он двинулся дальше через вестибюль, предоставив Крэнли церемонно прощаться с карликом.

Под портиком в небольшой кучке студентов стоял Темпл. Один из студентов крикнул:

– Диксон, иди-ка сюда, послушай. Темпл в ударе.

Темпл поглядел на него своими темными цыганскими глазами.

– Ты, О'Кифф, лицемер, – сказал он. – А Диксон, тот улыбака. Адская сила, вот это, я думаю, отличное литературное выражение.

Он хитро засмеялся, заглядывая в лицо Стивену и повторяя:

– Адская сила, мне до того это нравится! Улыбака.

Толстый студент, стоявший пониже их на ступеньках, сказал:

– Ты про любовницу доскажи, Темпл, вот что нам интересно.

– Да была у него, ей-ей, – отвечал Темпл. – А он притом был женат. И попы все ходили туда обедать. Адская сила, я так думаю, они там все приложились.

– Это, как говорится, трястись на кляче, чтобы сберечь рысака, – сказал Диксон.

– Признайся, Темпл, – сказал О'Кифф, – ты сколько кварт портера в себя влил сегодня?

– Вся вот твоя умственная душа в этой фразе, О'Кифф, – отвечал Темпл с предельным презрением.

Волоча ноги, он обошел столпившихся студентов и обратился к Стивену:

– Вы знали, что Форстеры – короли Бельгии? – спросил он.

В дверях появился Крэнли в сдвинутой на затылок шапке, усердно ковыряя в зубах.

– А, вот он, мудрец-то наш, – приветствовал Темпл. – Ты про Форстеров знал такое?

Он помолчал, дожидаясь ответа. Крэнли же извлек самодельной зубочисткой фиговое зернышко из зубов и пристально уставился на него.

– Род Форстеров, – продолжал Темпл, – происходит от Болдуина Первого, короля Фландрии. Его звали Форестер. Форестер и Форстер – одна и та же фамилия. Потомок Болдуина Первого, капитан Фрэнсис Форстер, обосновался в Ирландии и женился на дочери последнего вождя Клэнбрассла. А еще есть Блейк-Форстеры, так это другая ветвь.

– От Обалдуя, короля Фландрии, – произнес Крэнли, принимаясь снова ковырять в выставленных на обозрение блестящих зубах.

– Где ты это все раскопал? – спросил О'Кифф.

– Я всю историю вашего рода тоже знаю, – заявил Темпл, повернувшись к Стивену. – Вы знаете, что у Гиральда Камбрийского про ваш род сказано?

– Он что, тоже от Болдуина произошел? – спросил высокий, чахоточного вида студент с темными глазами.

– От Обалдуя, – повторил Крэнли, отсасывая щель между зубами.

– *Pernobilis et pervetusta familia*[135 - Благороднейший древний род (лат.)], – сказал Темпл Стивену.

Толстый студент на нижней ступеньке слегка пукнул. Диксон повернулся к нему и спросил вежливо:

– Ангел провещал?

Крэнли тоже повернулся и резко, но без злости сказал:

– Знаешь, Гоггинс, ты самая расхреновейшая грязная скотина, какую я видел.

– Я одно только хотел сказать, – отвечал решительно Гоггинс, – что никому от этого вреда нет.

– Будем надеяться, – сказал Диксон сладким голосом, – это было не того рода, что научно определяется как *paulo post futurum*[136 - Будущее непосредственное (лат.)], термин грамматики.].

– Я же вот вам сказал, что он улыбака! – воскликнул Темпл, поворачиваясь в обе стороны. – Я ж дал ему это прозвище!

– Слышали, не глухие, – сказал высокий чахоточный.

Крэнли продолжал, нахмурясь, смотреть на толстого студента, стоявшего на ступеньку ниже. Потом с отвращением фыркнул и пихнул его с силой вниз.

– Пшел вон, – крикнул он грубо, – проваливай, горшок вонючий. Вонючий горшок, вот ты кто.

Гоггинс соскочил на дорожку, но тут же, в ус не дую, водворился обратно. Темпл, оглянувшись на Стивена, спросил:

– А вот вы верите в закон наследственности?

– Ты пьян или что, о чем ты толкуешь? – спросил Крэнли, обозревая его с большим удивлением.

– Самое глубокое изречение из всех, – увлеченно продолжал Темпл, – это что написано в зоологии, в конце. Воспроизведение – начало смерти.

Он робко коснулся локтя Стивена и сказал с жаром:

– Раз вы поэт, так вы же чувствуете, до чего это глубоко!

Крэнли ткнул в него длинным указательным пальцем.

– Смотрите на него! – сказал он с презрением. – Перед вами надежда Ирландии!

Слова и жест вызвали общий смех. Темпл, однако, храбро повернулся к нему со словами:

– Ты, Крэнли, вечно надо мной издеваешься, я что – не вижу? Но только я тебя ровно ничем не хуже. Я знаешь что думаю про тебя по сравнению со мной?

– Дорогой мой, – любезно произнес Крэнли, – да ведь ты неспособен, абсолютно неспособен думать.

– Нет, ты вот знаешь, что я думаю про тебя и про меня, если нас вместе сравнить? – не унимался Темпл.

– Выкладывай, Темпл! – крикнул со своей ступеньки толстый студент. – Давай малыми порциями!

Говоря, Темпл поворачивался то направо, то налево, делая слабые дергающиеся жесты.

– Я мудила, – произнес он, безнадежно мотая головой. – Я это сам знаю. И сам это признаю.

Диксон легонько похлопал его по плечу и сказал ласково:

– Это делает тебе честь, Темпл.

– Но он, – продолжал Темпл, показывая на Крэнли, – он такой же мудила, как и я. Только он этого не знает, вот вам и вся разница.

Взрыв хохота заглушил окончание фразы. Он снова повернулся к Стивену и с неожиданной увлеченностью сказал:

– Это ужасно интересное слово, единственное двойственное число во всем английском языке. Вы знали это?

– Да? – рассеянно сказал Стивен.

Он смотрел на лицо Крэнли, твердо очерченное, страдающее, освещаемое улыбкой притворного терпения. Грубое слово скатилось с него как помой, выплеснутые на древнее изваяние, привыкшее терпеть поругания, – и тут, глядя на него, он увидел, как Крэнли приветственно приподнял шляпу, обнажив голову с черными жесткими волосами, торчащими надо лбом, словно железный венец.

Она вышла из портика библиотеки и, не взглянув на Стивена, ответила на приветствие Крэнли. Он тоже? Кажется, Крэнли немного покраснел? Или это от слов Темпла? Уже сильно смеркалось. Он не мог разглядеть.

Не этим ли объяснялось безучастное молчание друга, его резкие замечания, внезапные взрывы грубости, которыми он так часто обрывал пылкие, сумасбродные признания Стивена? Стивен легко прощал ему, обнаружив в себе самом такую же грубость по отношению к себе. Ему припомнилась вечерняя сцена в лесу около Малахайда, где он проезжал на скрипучем, у кого-то одолженном велосипеде и сделал остановку, желая помолиться Богу. Он воздел руки, обращаясь в экстазе к темному храму деревьев, сознавая, что находится на священной земле, в священный час. А когда из-за поворота дороги в сумерках показались два полисмена, он тут

же оборвал молитву и засвистел мотивчик из модного представления.

Он начал постукивать по цоколю колонны стершимся концом своей ясеневой тросточки. Или, может быть, Крэнли не расслышал его? Что ж, тогда подождем. Разговор вокруг на мгновение прекратился, и из окна сверху вновь донеслось тихое шипение. Но никаких звуков больше не было в воздухе, и ласточки, чей полет он празднично следил, давно спали.

Она ушла в сумерки. И поэтому в воздухе настало безмолвие, помимо лишь тихого шипения сверху. И поэтому все языки прекратили вокруг свою болтовню. Ниспадала тьма.

Тьма ниспадает с небес...

Играя как стайка эльфов, поблескивая легким светом, вокруг него закружилась трепещущая радость. Что вызвало ее? Девичий силуэт в сумерках или поэтическая строка с ее черными гласными и полным открытым звуком, подобным пению лютни?

Он медленно удалялся, углубляясь в сгущающийся мрак в конце колоннады, мерно постукивая по плитам тростью, чтобы скрыть от оставшихся позади студентов свою погруженность в мечты, – и дал разуму позволение призвать к себе век Дауленда, Берда и Нэша.

Глаза, раскрывающиеся из тьмы желания, глаза, которых не затмит загорающийся восход. Чем еще была томная прелесть их, как не разнеженностью распутства? И разве не был их мерцающий блеск – блеском пены, прикрывавшей клоаку двора слянявого Стюарта? Язык памяти приносил ему вкус янтарных вин, замирающие обрывки нежных мелодий, движенья горделивой паваны; глаза памяти видели любезных дам в Ковент-Гардене, завлекающих из своих лож, посылающих поцелуи обольстительными устами, видели рябых девок из таверн, юных жен, игриво уступающих своим соблазнительям, обуянных ненасытной жадой объятий.

Удовольствия эти образы не принесли. Они были потайными и разжигаящими, но ее образ не смешивался с ними. О ней нельзя было думать так. Он даже не пробовал думать о ней так. Значит, его разум не может доверять самому себе? Старые фразы, в которых была лишь сладость заново откопанного, как у фиговых зернышек, которые Крэнли выковыривал из щелей между своими белейшими зубами.

То была и не мысль, и не видение, хотя смутно он сознавал, что ее силуэт движется сейчас где-то в городе, направляясь к ее жилью. Сначала смутно, но потом сильно, отчетливо он ощутил запах ее тела. Он чувствовал, как кровь его закипает волнением. Да, это запах ее тела – томящий, кружащий голову – раскинувшееся теплое тело, омываемое полной желанья музыкой его стихов, – мягкое белье, скрытое от взора, насыщенное ароматами и росой ее плоти.

По затылку у него ползла вошь. Ловко просунув большой и указательный пальцы за отложной воротник, он поймал ее и, прежде чем отшвырнуть, покатал между пальцами секунду мягкое, но ломкое, как зернышко риса, тельце. Мелькнула мысль, останется ли она жива, и следом мелькнула фраза из Корнелия а Лапиде: курьезная фраза, утверждавшая, что вши, рожденные человеческим потом, не созданы были Богом вместе со всею живностью на шестой день. Но зуд, раздражавший кожу на шее, принес раздражение и в мысли. Жизнь тела его, с плохой одеждой, плохой пищей, ползающими вшами, вдруг вызвала у него резкий приступ отчаяния, заставивший плотно закрыть глаза – и во тьме он увидел ломкие, светящиеся тельца вшей,

которые падали, быстро крутятся в воздухе. Да – это не тьма ниспадала с неба. Это свет.

Свет ниспадает с небес.

Он не смог даже правильно вспомнить строчку из Нэша. И все образы, что она вызвала, были ложными. В разуме у него развелись гниды. Его мысли – вши, рожденные из пота лени.

Он быстро зашагал вдоль колоннады обратно к группе студентов. Раз так, пусть идет себе, и черт с ней. Пускай любит чистоплотного атлета, который каждое утро моет свою мощную грудь в черной поросли. Всего ей лучшего.

Крэнли вытащил из карманного запаса еще одну сушеную фигу и принялся медленно и звучно жевать ее. Темпл сидел, прислонясь к колонне, надвинув на дремлющие глаза фуражку. Из портика вышел коренастый молодой человек с кожаным портфелем под мышкой. Он направился к группе, пристукивая по каменным плитам каблуками и острием массивного зонтика. Подойдя, он приветственно поднял зонтик и произнес:

– Добрый вечер, джентльмены.

Затем зонтик снова стукнул о плиты, а хозяин его захихикал и нервически затряс головой. Высокий чахоточный студент, Диксон и О'Кифф ничего не ответили ему, продолжая разговаривать между собой по-ирландски. Тогда он повернулся к Крэнли и сказал:

– Добрый вечер, персонально тебе.

Сделав указующий жест зонтом, он опять захихикал. Крэнли, который продолжал жевать фигу, отвечал с громким чавканьем:

– Добрый? Ага. Вечер добрый.

Коренастый студент серьезно посмотрел на него и с мягкой укоризной помахал зонтиком.

– Я замечаю, – сказал он, – что ты намерен говорить самоочевидные вещи.

– Угу, – промычал Крэнли, протягивая к собеседнику на ладони остатки недоеденной фигуры и поднося их к самому его рту, как бы предлагая доесть.

Тот не стал есть, но, проявляя свое специфическое чувство юмора, важно спросил, по-прежнему подхихикивая и помогая речи зонтом:

– Не подразумеваешь ли ты, что...

Он сделал паузу, указал в упор на изжеванный огрызок фигуры и произнес громко:

– Вот о чем мой намек.

– Угу, – повторил свой звук Крэнли.

– Ты подразумеваешь это, – продолжал коренастый, – как *ipso facto*[137 - Буквально это самое (лат.).] или же, так скажем, как нечто иносказательное?

Диксон, оборачиваясь в сторону от своих собеседников, сказал:

– Глинн, тебя тут Гоггинс ждал. Он пошел в «Адельфи» искать Мойнихана и тебя. А тут что у тебя такое? – спросил он, хлопнув по портфелю, зажатому у Глинна под мышкой.

– Экзаменационные работы, – ответил Глинн. – Я экзаменую их ежемесячно, чтобы убедиться в полезности своего преподавания.

Он тоже похлопал по портфелю, деликатно кашлянул и улыбнулся.

– Преподавание! – грубо вмешался Крэнли. – Это ты, стало быть, про босоногих детишек, которых обучает этакая хренова обезьяна, как ты. Сохрани их, Господи!

Заправив в рот еще кусок фиги, он отшвырнул прочь огрызок.

– Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне [138 - Мф. 19: 14.], – сказал Глинн дружелюбным тоном.

– Хренова обезьяна! – с напором повторил Крэнли. – Да еще богохульствующая хренова обезьяна!

Темпл встал и подошел к Глинну, толкнув неуклюже Крэнли по пути.

– Эти слова, что вы сказали сейчас, – объявил он, – это ж из Евангелия, насчет не препятствуйте детям приходить ко мне.

– Давай-ка спи дальше, Темпл, – сказал О'Кифф.

– Так я что хочу сказать, – продолжал Темпл, адресуясь к Глинну, – раз Иисус не препятствовал детям приходить к нему, чего же ихняя церковь всех отправляет в ад, кто некрещеным помрет? Это почему, а?

– А ты сам-то крещеный, Темпл? – спросил чахоточный студент.

– Нет, вот почему их в ад отправляют, если Иисус говорил, чтобы все к нему приходило? – настаивал Темпл, стараясь заглянуть в глаза Глинну.

Глинн кашлянул и отвечал вежливо, с трудом сдерживая нервное хихиканье и помогая каждому слову зонтом:

– Если такие обстоятельства, по вашему замечанию, налицо, то я усиленно задаю вопрос, откуда эта наличность.

– Да оттуда что церковь жестока, как все старые грешницы, – сказал Темпл.

– Вполне ли ты правоверен в этом вопросе, Темпл? – вкрадчиво спросил Диксон.

– Это святой Августин сказал, что некрещеные дети пойдут в ад, – отвечал Темпл, – потому как он сам был старый жестокий грешник.

– Снимаю перед тобой шляпу, – сказал Диксон, – но мне все-таки помнится, что для таких случаев существует лимб.

– Да брось ты с ним спорить, Диксон, – грубо отрубил Крэнли. – Не спорь и не гляди на него. Возьми да отведи домой на веревке как блеющего козла.

– Лимб! – воскликнул Темпл. – Тоже вот отличная выдумка, под стать аду.

– Только без его неудобств, – заметил Диксон.

Он повернулся ко всем с улыбкой и сказал:

– Надеюсь, я выражаю мнение всех присутствующих.

– Ты прав, – сказал решительно Глинн. – Ирландия в этом вопросе единодушна.

Концом зонта он пристукнул по каменному полу колоннады.

– Ад, – сказал Темпл. – Эту придумку серолицей супружницы сатаны я могу уважать. Ад, тут что-то есть римское, такое как стены римские – мощное, уродливое. А лимб – это что?

– Уложи-ка его в люльку обратно, Крэнли! – крикнул О’Кифф.

Крэнли быстро шагнул к Темплу, остановился и, топнув ногой, прикрикнул как на курицу:

– Кыш!

Темпл тут же подался в сторону.

– А знаете, что такое лимб? – закричал он. – Знаете, как такие штуки у нас называются в Роскоммоне?

– Кыш! Пшел вон! – закричал Крэнли, хлопая в ладоши.

– Ни тебе задница, ни локоть! – презрительно крикнул Темпл. – Вот это что, ваш лимб.

– Дай-ка мне твою палку, – сказал Крэнли.

Рывком он завладел тростью Стивена и ринулся вниз по лестнице, но Темпл, услышав звуки погони, помчался в сумерках как ловкий и быстроногий зверь. Тяжелые сапоги Крэнли загромыхали по квадрату двора, а потом грузно простучали обратно, раскидывая гравий при каждом шаге.

В походке его был гнев, и гневным, резким был жест, которым он сунул палку обратно в руки Стивена. Стивен чувствовал, что у этой разгневанности есть иная причина, но, изображая спокойствие, он слегка тронул Крэнли за руку и кротко промолвил:

– Крэнли, я ведь сказал тебе, что мне надо с тобой поговорить. Идем отсюда.

Крэнли посмотрел на него и после небольшой паузы спросил:

– Сейчас?



– Да, сейчас, – сказал Стивен. – Тут мы не можем говорить. Идем отсюда.

Молча они пересекли дворик. Со ступенек колоннады, оставшихся позади, послышался негромко насвистываемый мотив птичьего зова из «Зигфрида». Крэнли обернулся: и Диксон, тот, кто свистел, крикнул им:

– Друзья, вы куда? А как насчет той партии, Крэнли?

Перекрикиваясь в вечерней тишине через двор, они стали сговариваться о партии в бильярд в отеле «Адельфи». Стивен продолжал путь один, выйдя на тихую Килдер-стрит. Напротив гостиницы «Под кленом» он остановился и снова стал терпеливо ждать. Название гостиницы, бесцветное полированное дерево, бесцветный и безразличный фасад кольнули его как чей-то презрительно-вежливый взгляд. Он с гневом смотрел в мягко освещенный холл гостиницы, рисуя в воображении гладкую и безмятежную жизнь населявших ее ирландских патрициев. Мысли их занимают военные поставки, управляющие поместьями – на дорогах страны им кланяются крестьяне – они знают названия разных французских блюд и отдают приказания своим кучерам крикливыми голосами, провинциальность которых пробивается сквозь накрепко заученный выговор.

Как пробиться ему к их сознанию, как подействовать на воображение их дочерей, прежде чем они зачнут от своих эсквайров, – чтобы они вырастили потомство не такое жалкое, как они сами. И в сгущающемся сумраке он чувствовал, как помыслы и желания народа, к которому он принадлежал, мечутся будто летучие мыши на темных деревенских проселках, под кронами деревьев и по берегам ручьев, над болотами и прудами. Женщина поджидала у дверей, когда Давин проходил ночью, она дала ему кружку молока и почти зазывала его к себе в постель – потому что у Давина были кроткие глаза того, кто может сохранить тайну. Но его женские глаза никогда не зазывали.

Кто-то крепко взял его под руку, и голос Крэнли сказал:

– Поелику трогаем.

Они зашагали молча к югу. Потом Крэнли сказал:

– Этот треклятый идиот Темпл! Клянусь Моисеем, когда-нибудь я этого парня прикончу.

Но гнева уже не было в его голосе, и Стивен спрашивал себя, вспоминает ли он, как она поздоровалась с ним в портике.

Они повернули налево и пошли дальше. Пройдя так некоторое время, Стивен сказал:

– Крэнли, у меня была сегодня неприятная стычка.

– С домашними? – спросил Крэнли.

– С матерью.

– Насчет религии?

– Да, – ответил Стивен.

Крэнли немного помолчал и спросил:

– А сколько лет твоей матери?

– Не так много, – ответил Стивен. – Она хочет, чтобы я причастился на Пасху.

– А ты?

– Не стану.

– А собственно, почему?

– Не буду служить, – ответил Стивен.

– Такое заявление уже делалось, – спокойно заметил Крэнли.

– А вот теперь снова делается, – произнес Стивен с жаром.

– Не горячись, старина. Ты дьявольски возбудимая личность, знаешь ли, – сказал Крэнли, крепче прижав к себе руку Стивена.

Эти слова его сопровождалось нервным смешком; дружески и участливо он заглянул в лицо Стивену, говоря:

– Ты знаешь, что ты возбудимая личность?

– Уж как-нибудь знаю, – отвечал Стивен, тоже смеясь.

Их отчужденность последнего времени вдруг исчезла, и сознания их стали вновь близкими друг другу.

– Ты веришь в евхаристию? – спросил Крэнли.

– Нет, – сказал Стивен.

– Значит, ты отрицаешь эту веру?

– Я не верю, и я не отрицаю веры, – ответил Стивен.

– Сомнения бывают у многих, даже у верующих, но они их преодолевают либо отодвигают в сторону, – сказал Крэнли. – Или твои сомнения в этом пункте слишком сильные?

– Я не хочу их преодолевать, – отвечал Стивен.

Крэнли в минутном замешательстве извлек из кармана очередную фигу и было уже собрался ее сунуть в рот, когда Стивен остановил его:

– Не надо, пожалуйста. Ты же не можешь обсуждать эти вещи с набитым ртом.

Крэнли остановился под фонарем и при свете его оглядел фигу. Затем понюхал ее одной ноздрей и другой по очереди, откусил маленький кусочек, выплюнул его и наконец резко отшвырнул фигу в канаву.

– Изыди от меня, проклятая, в огонь вечный! – провозгласил он ей вслед.

Он снова взял Стивена под руку и двинулся дальше, говоря:

– Ты не боишься, что эти слова будут сказаны тебе в день суда?

– А что мне предлагается другой стороной? – спросил Стивен. – Вечное блаженство в компании нашего декана?

– Учти, что он будет среди прославленных.

– Еще бы, – не без горечи сказал Стивен, – такой блестящий, умелый, невозмутимый, а главное, проникательный.

– Любопытно, знаешь ли, – спокойно заметил Крэнли, – до чего твой ум насквозь пропитан религией, которую ты, по твоим словам, отрицаешь. А когда ты был школьником, ты верил? Держу пари, что да.

– Да, – отвечал Стивен.

– И был счастлив тогда? – мягко спросил Крэнли. – Более счастлив, чем, к примеру, сейчас?

– Я бывал часто счастлив и часто несчастен. Я был кем-то другим тогда.

– Как это кем-то другим? Что ты под этим понимаешь?

– Я хочу сказать, что я был не тем, какой я теперь, не тем, каким должен был стать.

– Не тем, какой ты теперь, и не тем, каким ты должен был стать, – повторил Крэнли. – А можно тебе задать один вопрос? Ты любишь свою мать?

Стивен медленно покачал головой.

– Я не знаю, что означают твои слова, – просто сказал он.

– Ты что, никогда не любил никого? – спросил Крэнли.

– Ты хочешь сказать, женщин?

– Я не об этом говорю, – сказал Крэнли более холодным тоном. – Я спрашиваю тебя: чувствовал ли ты когда-нибудь любовь к кому-нибудь или к чему-нибудь?

Стивен шел рядом со своим другом, угрюмо глядя себе под ноги.

– Я пытался любить Бога, – выговорил он наконец. – Кажется, мне это не удалось. Это очень трудно. Я старался сливать мою волю с волей Божьей миг за мигом, каждый миг. И вот это иногда удавалось. Пожалуй, я и сейчас мог бы...

Крэнли без обиняков перебил его:

– Твоя мать прожила счастливую жизнь?

– Откуда я знаю? – сказал Стивен.

– Сколько у нее детей?

– Девять или десять, – отвечал Стивен. – Несколько умерло.

– А твой отец... – Крэнли прервал себя на секунду – потом снова заговорил: – Я не хочу вмешиваться в твои семейные дела. Но твой отец, он был ведь, что называется, состоятельным человеком? Я имею в виду, когда ты еще подрастал?

– Да, – сказал Стивен.

– А кем он был? – спросил Крэнли, помолчав.

Стивен с готовностью начал перечислять занятия своего отца.

– Студент-медик, гребец, тенор, любитель-актер, горлопан-политик, мелкий помещик, мелкий рантье, пьяница, славный малый, отличный рассказчик, чей-то секретарь, кто-то на винном заводе, сборщик налогов, банкрот, а в настоящем певец собственного прошлого.

Крэнли засмеялся и, еще крепче прижав к себе руку Стивена, сказал:

– Винный завод – это здорово, черт возьми!

– Ну что ты еще хочешь знать? – спросил Стивен.

– А сейчас вы нормально обеспечены?

– А что, по мне не видно? – был резкий ответ.

– Итак, – протянул Крэнли задумчиво, – ты был рожден в лоне изобилия.

Он произнес эту фразу отдельно и громко, как часто произносил термины и технические выражения, словно желая дать понять слушателю, что он ими не вполне убежден.

– Твоя мать перенесла, должно быть, порядком страданий, – продолжал Крэнли. – И ты не хотел бы ее избавить от еще больших, даже если... Или хотел бы?

– Если бы я это мог, – сказал Стивен, – то это мне бы не стоило больших усилий.

– Так вот и сделай это, – сказал Крэнли. – Сделай, как ей хочется. Что тебе стоит? Раз ты это отрицаешь, это будет пустая форма, ничего больше. А ей ты этим успокоишь душу.

Он закончил речь и, поскольку Стивен не отвечал, остался в молчании. Затем, как бы выражая вслух ход своих мыслей, снова заговорил:

– В этой вонючей навозной куче, которую называют миром, все что угодно сомнительно, но только не материнская любовь. Мать производит тебя на свет, вынашивает в своем теле. Что мы знаем о ее чувствах? Но какие бы они ни были, они, по крайней мере, должны быть настоящими. Должны быть. Что все наши идеи,

амбиции? Так, игра. Идеи! У этого блеющего козла Темпла тоже идеи. И у Макканна идеи. Любой осел на дороге думает, что у него есть идеи.

Стивен, пытаясь вслушаться в невысказанную речь за этими словами, нарочито небрежно сказал:

– Паскаль, насколько я помню, не позволял матери целовать себя, так как боялся прикосновения женщины.

– Значит, Паскаль – свинья, – сказал Крэнли.

– Алоизий Гонзага был, кажется, настроен так же.

– Раз так, он – еще одна свинья, – сказал Крэнли.

– Церковь считает его святым, – возразил Стивен.

– А мне никакой хреновой разницы, кто там его кем считает, – решительно и грубо отрезал Крэнли. – Я его считаю свиньей.

Стивен, обдумывая каждое слово в уме, продолжал:

– Иисус тоже как будто обращался со своей матерью не особенно учтиво на людях, но вот Суарес, иезуитский теолог и испанский дворянин, его оправдывает.

– А тебе не приходила в голову мысль, – спросил Крэнли, – что Иисус не был тем, за кого он себя выдавал?

– Первый, кому эта мысль пришла в голову, – ответил Стивен, – был сам Иисус.

– Я хочу сказать, – продолжал Крэнли более резким тоном, – не приходила ли тебе в голову мысль, что он был сознательный лицемер, гроб повапленный, как он назвал своих современников-иудеев? Говоря совсем напрямик, что он был подлец?

– Такая мысль никогда мне не приходила, – ответил Стивен, – но мне интересно знать, стараешься ли ты обратить меня или совратить себя?

Обернувшись к другу, он увидел на его лице смутную усмешку, которой тот усилием воли старался придать тонкую многозначительность.

Неожиданно Крэнли спросил просто и деловито:

– Скажи по правде, тебя не шокировали мои слова?

– В какой-то мере, – ответил Стивен.

– А почему же ты был шокирован, – продолжал Крэнли тем же тоном, – если ты уверен, что наша религия – обман и Иисус не был сыном Божиим?

– А я в этом совсем не уверен, – сказал Стивен. – Он, скорее, походит на сына Бога, чем на сына Марии.

– Вот потому ты и не хочешь причащаться, – спросил Крэнли, – что в этом деле ты тоже не уверен? Ты чувствуешь, что причастие действительно может быть телом и

кровью сына Божия, а не ломтиком хлеба? И ты страшишься, что это может так быть?

– Да, – спокойно ответил Стивен. – Я чувствую это, и я страшусь этого.

– Понятно, – сказал Крэнли.

Стивен, опешив от его тона, как бы закрывающего дискуссию, тотчас поспешил ее вновь открыть.

– Я боюсь многого, – сказал он, – собак, лошадей, оружия, моря, грозы, машин, проселочных дорог ночью.

– Но почему ты боишься кусочка хлеба?

– Мне представляется, – сказал Стивен, – что за всем, чего я боюсь, кроется какая-то зловещая реальность.

– Значит, ты боишься, – спросил Крэнли, – что Бог Римско-католической церкви может тебя покарать смертью и проклятием, если ты кощунственно примешь причастие?

– Бог Римско-католической церкви мог бы это сделать и сейчас, – сказал Стивен. – Но больше, чем этого, я боюсь химического процесса, который начнется в моей душе от фальшивого поклонения символу, за которым высятся двадцать столетий могущества и благоговения.

– А мог бы ты, – спросил Крэнли, – совершить это кощунство в случае какой-нибудь крайней опасности? К примеру, если бы ты жил во времена преследования католиков?

– Я не берусь отвечать за прошлое, – возразил Стивен. – Возможно, что и не мог бы.

– Значит, ты не собираешься стать протестантом?

– Я тебе сказал, что потерял веру, – ответил Стивен. – Но я не потерял уважения к себе. Что это за освобождение, если я откажусь от нелепости, которая последовательна и логична, и приму другую нелепость, только уже нелогичную и непоследовательную?

Они дошли до района Пембрук и теперь, шагая медленно вдоль его обсаженных улиц, ощущали, как деревья и светящиеся окна вилл успокаивают их разгоряченные головы. Достаток и безмятежность царили здесь, и эта атмосфера, казалось, сглаживала их нужду. В кухонном окне за кустами лавров мерцал свет и слышно было, как там служанка точит ножи и распевает. Она пела «Рози О’Грейди», отрывисто разделяя строки.

Крэнли остановился послушать и сказал:

– *Mulier cantat*[139 - Женщина поет (лат.)].

Мягкая красота латинского слова завораживающе коснулась вечерней тьмы, и это невесомое касание было более убеждающим, чем касание музыки или руки женщины. Прекратилось препирательство их умов. Женская фигура, какую она появляется в церкви во время литургии, тихо возникла в темноте: фигура в белом одеянии,

маленькая и мальчишески-стройная, с ниспадающими концами пояса. Послышался ее голос из дальнего хора, по-мальчишески высокий и ломкий, выводящий первые слова женщины, что прорывают мрак и вопли первого песнопения страстей:

– Et tu cum Yesu Galilaeo eras[140 - И ты был с Иисусом Галилеянином (лат.). Мф. 26: 69.].

И все сердца, дрогнув, устремляются к ее голосу, сверкающему, как юная звезда, сверкающему ярче, когда голос выводит пропарокситон, и слабее – в конце каденции.

Пение кончилось, и они пошли дальше. Энергично подчеркивая ритм, Крэнли повторил окончание припева:

Мы свадьбу устроим  
И счастье найдем,  
С моей милой Розы  
В любви заживем.

– Вот тебе истинная поэзия, – сказал он. – Истинная любовь.

Он посмотрел на Стивена искоса и с некой странной улыбкой спросил:

– А ты как считаешь, это поэзия? И что эти слова означают, тебе понятно?

– Я бы сначала хотел поглядеть на Розы, – сказал Стивен.

– Ее-то найти нетрудно, – сказал Крэнли.

Его шляпа сползла на лоб. Он сдвинул ее назад – и в тени деревьев Стивен увидел бледное лицо, обрамленное ночью, и темные большие глаза. Да. Его лицо красиво, тело крепко и мужественно. Он говорил о материнской любви. Значит, он чувствует страдания женщин, их слабости душевные и телесные – и он будет защищать их сильной, твердой рукой, склонит перед ними свой разум.

Стало быть, в путь – время уходить. Мягкий негромкий голос звучал в одиноком сердце Стивена, веля и убеждая уйти, внушая, что дружбе пришел конец. Да – он уйдет. Бороться, соперничать с другим – это не для него. Он знает свой удел.

– Я, возможно, уеду, – сказал он.

– Куда? – спросил Крэнли.

– Куда удастся, – ответил Стивен.

– Да, – сказал Крэнли. – Здесь тебе будет, пожалуй, трудновато теперь. Но только ли это тебя заставляет уезжать?

– Я должен уехать, – сказал Стивен.

– Потому что если ты на самом деле не хочешь уезжать, – продолжал Крэнли, – вовсе не обязательно тебе считать, что тебя выгоняют, что ты какой-то еретик или вне закона. Полно есть добрых верующих, кто думает как и ты. Тебя это удивляет? Но церковь – это же не каменное здание, это даже не духовенство с его догматами.

Это все множество людей, что в ней были рождены. Я не знаю, что бы ты хотел делать в жизни. То, о чем ты мне говорил в тот вечер, когда мы стояли у вокзала на Харкорт-стрит?

– Именно, – сказал Стивен, невольно улыбнувшись привычке Крэнли запоминать мысли по их связи с местом. – В тот вечер ты битых полчаса препирался с Догерти, какой самый краткий путь в Лэррес из Селлигепа.

– Дубина! – сказал Крэнли с полным презрением. – Что он знает про путь в Лэррес из Селлигепа? Да что он вообще знает? У него вместо головы лоханка, и та дырявая!

Он громко расхохотался.

– Ладно, – сказал Стивен, – а вот остальное ты помнишь?

– То есть о чем ты говорил? – спросил Крэнли. – Да, помню. Открыть такую форму жизни или искусства, в которой твой дух мог бы выразить себя с полной свободой, без оков.

Стивен приподнял шляпу, признательно подтверждая.

– Свобода! – повторил Крэнли. – Да у тебя не хватает свободы даже на кощунство. Вот скажи, ты бы мог ограбить?

– Скорее я буду просить милостыню, – был ответ.

– А если не подадут ничего, ограбил бы?

– Ты хочешь, чтобы я сказал, – молвил Стивен, – что право собственности условно и при известных обстоятельствах воровство не есть преступление. По таким принципам все готовы действовать. Поэтому я отвечать так не стану. Обратись к иезуитскому богослову Хуану Мариане де Талавера, и он тебе заодно объяснит, при каких обстоятельствах вполне законно убить короля и как это лучше сделать – подсыпать ему яду в кубок или, может быть, пропитать отравой одежду, седло. А меня ты лучше спроси, позволил ли бы я другим себя ограбить? А если ограбят, то стал бы я, как принято выражаться, предавать их карающей деснице правосудия?

– Ну и как, стал бы?

– Я думаю, – сказал Стивен, – мне было бы одинаково тяжело что ограбить, что быть ограбленным.

– Понимаю, – сказал Крэнли.

Он извлек свою спичку и принялся вычищать щель между зубами. Потом небрежно спросил:

– Скажи, а ты мог бы, например, лишить девушку невинности?

– Прошу прощения, – вежливо сказал Стивен. – Разве это не мечта большинства молодых людей?

– А твоя точка зрения?



Эта последняя фраза, едкая, как запах гари, будящая печаль, разбередила мозг Стивена, начав окутывать его тяжелыми испарениями.

– Послушай, Крэнли, – сказал он. – Ты расспрашиваешь меня, что бы я стал делать и чего бы не стал. А я скажу тебе, что я хочу делать и чего делать не буду. Я не буду служить тому, во что я больше не верю, пусть это и называется моим домом, моей родиной, моей церковью. И я буду стараться выразить себя в какой-либо форме жизни, форме искусства так свободно и полно, как я только смогу, и защищаться буду лишь тем оружием, которое я позволяю себе использовать: молчанием, изгнанием и хитроумием.

Крэнли схватил Стивена за руку и повернул его по кругу, обратив назад, к Лисон-парку. Он засмеялся лукаво и прижал к себе руку Стивена с теплой привязанностью старшего.

– Хитроумием?! – сказал он. – Это ты-то? Бедняга-поэт!

– А ты меня заставил исповедаться тебе, – сказал Стивен, взволнованный его пожатием, – как я тебе исповедовался уж столько раз.

– Да, дитя мое, – произнес Крэнли тем же веселым тоном.

– Ты заставил меня исповедаться в моих страхах. Но я скажу тебе и о том, чего я не боюсь. Я не боюсь остаться один или быть отвергнутым ради кого-то другого, не боюсь бросить то, что мне надо бросить. И я не боюсь совершить ошибку, даже великую ошибку, ошибку на всю жизнь, а может, и на всю вечность.

Крэнли, вновь посерьезнев, замедлил шаг и сказал:

– Один, абсолютно один. Ты этого не боишься. А ты понимаешь, что это слово значит? Не только быть отдельным, отделенным от всех, но не иметь даже ни единого друга.

– Я приму этот риск, – сказал Стивен.

– И не иметь такого человека, кто был бы больше чем друг, больше даже чем самый благородный, преданный друг.

Его слова, казалось, задели какую-то сокровенную струну в нем самом. Говорил ли он о себе, о том себе, каким был или хотел быть? Несколько мгновений Стивен молча вглядывался в его лицо. На нем были холод и печаль. Он говорил о себе, о собственном одиночестве, которого он боялся.

– О ком ты говоришь? – спросил Стивен после молчания.

Крэнли не ответил.

\* \* \*

20 марта. Длинный разговор с Крэнли на тему о моем бунте. Он выступал в важной своей манере. Я – учтив и податлив. Нападал на меня по линии любви к матери. Пытался представить себе его мать – не смог. Однажды у него вылетело невзначай,

что, когда он родился, отцу было шестьдесят один год. Его могу представить. Здоровяк-фермер. Костюм толстой шерсти, крапчатый. Ступни массивные. Косматая борода с проседью. Наверняка ходит на собачьи бега. Выплачивает церковный сбор отцу Двайеру из Лэрреса, исправно, но без особой щедрости. Не прочь иногда поболтать с девицами вечерком. Но вот мать? Очень молодая или очень старая? Первое едва ли. Тогда бы Крэнли в таком духе не говорил. Значит, старая. Видимо, и заброшенная. Откуда и отчаяние у Крэнли в душе: плод истощенных чресл.

21 марта, утро. Это я думал еще вчера ночью в постели, но был слишком ленив и слишком свободен, чтобы приписать. Свободен, именно. Истощенные чресла – это у Елизаветы и Захарии. Стало быть, он – предтеча. Один пункт: питается преимущественно грудинкой и сушеными фигами. Читай: акридами и диким медом. Потом, когда думаю о нем, перед глазами всегда встает суровая отсеченная голова или мертвая маска, как бы вычерченная на сером занавесе или на плащанице. Усекновение главы – так это зовется в народе божьем. Пришел в недоумение по поводу святого Иоанна у Латинских ворот. Что я вижу? Обезглавленного предтечу, пытающегося взломать замок.

21 марта, вечер. Свободен. И душой, и воображением. Пусть мертвые погребают мертвецов[141 - Парафраз Мф. 8: 22.]. Ага. И пусть мертвецы женятся на мертвых.

22 марта. Вместе с Линчем шли следом за упитанной больничной сиделкой. Это идея Линча. Мне не нравится. Две тощие голодные борзые семят за телкой.

23 марта. Не видел ее с того вечера. Болеет? Сидит, верно, у камина, на плечах мамочкина шаль. Однако не унывает. Дать вкусной кашки? Не покушаешь?

24 марта. Сначала вышел спор с матерью. Тема – Пресвятая Дева Мария. Пол мой и возраст были помехой. Чтобы выйти из положения, противопоставил отношения Иисуса с его Папашей и Марии с ее сыном. Сказал, религия – это не роддом. Мать снисходительна. Говорит, у меня извращенный ум и я слишком много читаю. Неправда. Читал мало, понял еще меньше. Потом она сказала, я еще вернусь к вере, потому что у меня беспокойный ум. Это значит, покинуть церковь черным ходом греха и вернуться через слуховое окно раскаяния. Каяться не могу. Высказал это ей и попросил шесть пенсов. Получил три.

Потом пошел в университет. Тут опять диспут, с коротышкой Гецци – голова круглая, глазки плута. На сей раз – по поводу Бруно из Нолы. Начал по-итальянски, закончил на ломаном английском. Он сказал, Бруно был жуткий еретик. Я отвечаю, что его жутко сожгли. Он не без огорчения признает. Потом дал мне рецепт того, что он называет *risotto alla bergamasca*[142 - Ризотто по-бергамасски (ит.) – национальное итальянское блюдо.]. Когда он произносит мягкое «о», так выпячивает пухлые свои плотоядные губы, будто целует гласную. Интересно, он...? А он бы мог покаяться? Да, вполне – и пустить две круглые плутовские слезы, по одной из каждого глаза.

Пересекая Стивенс-Грин, то бишь мой лужок[143 - Stephen's Green, букв.: Луг Стивена (англ.)], вспомнил: это же его соотечественники, а не мои изобрели то, что Крэнли в тот вечер назвал нашей религией. Четверо из них, солдаты девяносто седьмого пехотного полка, сидели у подножия креста и бросали кости, разыгрывая пальто распятого.

Пошел в библиотеку, пытался читать три журнала. Бесполезно. Она все еще не показывается. Опасаюсь ли я? Чего? Того, что она больше никогда не покажется.

Блейк писал:

Я думаю, умрет ли Уильям Бонд,  
Ведь мне известно, что он тяжело болен.

Увы, бедный Уильям!

Я был как-то в диораме в Ротонде. В конце там показывали портреты всяких шишек. Среди них – Уильяма Юрта Гладстона, тогда только что умершего. Оркестр заиграл «О Билли, нам тебя недостает!».

Поистине нация баранов!

25 марта, утро. Беспокойная ночь, сны. Хочется сбросить их с себя.

Длинная загибающаяся галерея. С пола поднимаются, как столбы, темные испарения. Множество каменных изваяний каких-то легендарных королей. Их руки устало сложены на коленях, их взоры застланы, потому что перед ними, как темные испарения, без конца поднимаются заблужденья людей.

Странные фигуры появляются из пещеры. Они меньше ростом, чем люди. Кажется, будто они не совсем отделены друг от друга. На их фосфоресцирующих лицах темные потеки. Они пристально глядят на меня, глаза их будто вопрошают о чем-то. Они молчат.

30 марта. Сегодня вечером Крэнли торчал в портике библиотеки. Загадал загадку Диксону и ее брату. Мать уронила ребенка в Нил. Никак не отвяжется от матери. Ребенка схватил крокодил. Мать просит отдать его. Крокодил соглашается: отдаст, но только если она угадает, что он с ним сделает, сожрет или не сожрет.

Такой образ мыслей, сказал бы Лепид, поистине вырастает из вашей грязи под действием вашего солнца.

А мой? Разве не таков же? Так в Нилогрязь его!

1 апреля. Не одобряю последней фразы.

2 апреля. Видел ее – пила чай с пирожными в кондитерской Джонстона, Муни и О'Брайена. Точней, это линксоглазый Линч увидел ее, когда мы там проходили. Он говорит, ее брат пригласил к ним Крэнли. А крокодила он захватил с собой? Никак теперь он – воссиявший свет? Что ж, а открыл-то его я. Заявляю, что я. Он тихо сиял из-за мешка с уиклоускими отрубями.

3 апреля. Встретил Давина в табачной лавке против церкви Финдлейтера. Он был в черном свитере и с клюшкой в руках. Спросил меня, правда ли, что я уезжаю, и почему. Сказал ему, что кратчайший путь в Тару – via Холихед. Тут мой отец подходит. Знакомлю их. Отец вежливо присматривается. Спросил Давина, не позволит ли он слегка его угостить. Давин не мог, спешил на какой-то митинг. Когда мы отошли, отец сказал, у него хороший взгляд – честный, открытый. Спросил меня, почему я не запишусь в гребной клуб. Я пообещал подумать. Потом рассказал, как он некогда поверг Пеннифезера в отчаяние. Хочет, чтобы я шел в юристы. Говорит, мне это подходит в точности. Грязи и крокодилов прибавляется.

5 апреля. Буйная весна. По небу мчатся облака. О, жизнь! Темный бурлящий поток мчит с торфяников, и яблони роняют в него свои нежные лепестки. Меж листьев тут и там девичьи глаза. Девушки скромные и шаловливые. Все русые или блондинки – никаких брюнеток. Блондинки сильнее краснеют. Гопля!

6 апреля. Конечно, она помнит прошлое. Линч говорит, все женщины помнят. Тогда она помнит время своего детства – и моего, если только я был ребенком когда-нибудь. Прошлое поглощено настоящим, а настоящее живо только в том, что оно рождает будущее. Если Линч прав, статуи женщин всегда должны быть полностью задрапированы, и так, чтобы одна рука у женщины ощупывала бы с сожалением ее заднюю часть.

6 апреля, позже. Майкл Робартис вспоминает утраченную красоту, и, когда его руки обнимают ее, он сжимает в объятиях прелесть, давно исчезнувшую из мира. Не то. Совсем не то. Я хочу сжимать в объятиях прелесть, которая еще не пришла в мир.

10 апреля. Чуть слышно, под тяжким покровом ночи, чрез безмолвие града, чьи сны сменились тяжким сном без сновидений, подобно усталому любовнику, которого не трогают больше ласки, доносится стук копыт по дороге. Звуки приближаются к мосту, стали слышней – и в тот миг, когда они мчатся мимо темных окон, безмолвие пререзает, будто стрела, тревога. Теперь они уже слышны вдалеке, копыта алмазами просверкнули под тяжким покровом ночи, стремясь среди уснувших полей – к какой цели странствия? – к чьему сердцу? – и с какими вестями?

11 апреля. Перечел записанное прошлой ночью. Туманные слова о каком-то туманном переживании. Понравилось бы это ей? По-моему, да. Стало быть, и мне тоже должно нравиться.

13 апреля. Эта цедилка у меня долго не выходила из головы. Я его отыскал в словаре и обнаружил, что это отличное английское слово – английское, старое, добротное. К черту декана с его воронкой! Зачем он сюда явился, учить нас своему языку или учиться ему у нас? И в том случае и в другом к черту его!

14 апреля. Джон Альфонс Малреннан только что вернулся с запада Ирландии. (Прошу европейские и азиатские газеты перепечатать это сообщение.) Рассказывает, что встретил там в горной хижине старика. У старика красные глаза и короткая трубочка во рту. Старик говорил по-ирландски. И Малреннан говорил по-ирландски. Потом старик и Малреннан говорили по-английски. Малреннан ему рассказывал о Вселенной, о звездах. Старик сидел, слушал, курил, поплеывал. А потом сказал:

– Пра-слово, диковинные твари живут на том краю света.

Я боюсь его. Боюсь его остекленевших глаз с красными ободками. Это с ним суждено мне бороться всю эту ночь, пока не придет рассвет, пока не придет конец ему или мне, душить его жилистую шею, пока... Пока что? Пока он мне не сдастся? Нет, я ему не желаю зла.

15 апреля. Сегодня столкнулся с ней носом к носу на Грэфтон-стрит. Нас толпой вынесло друг к другу. Остановились. Она спросила, почему я совершенно не захожу, сказала, что слышала всяческие истории обо мне. Но это все так, чтобы только протянуть время. Спросила, пишу ли я стихи. О ком? – спросил я. Это еще больше ее смутило, а я себя почувствовал виноватым и мелким. Тут же выключил этот кран и пустил в ход духовно-героический охлаждающий аппарат, изобретенный и запатентованный во всех странах Данте Алигьери. Заговорил оживленно о себе и о

своих планах. Но посреди этого я некстати вдруг делаю резкий жест, какой-то бунтарский. Со стороны выглядело, наверно, как некий малый горсть гороха швыряет в небо. Кругом начинают глазеть на нас. Тогда она немедля мне пожимает руку и выражает надежду, уходя, что мне удастся осуществить свои планы.

Я считаю, это по-дружески, а вы разве не согласны?

Да, она нравилась мне сегодня. Очень или не очень? Не знаю. Она мне нравилась, и, кажется, это новое чувство для меня. Но тогда все прочее, все, что я думал, что думал, и все, что я чувствовал, что чувствовал, одним словом, все предыдущее, на самом деле... А, брось, старина! Поди выпиши!

16 апреля. В путь, в путь!

Зов рук и голосов: белые руки дорог, их обещания тесных объятий и черные руки высоких кораблей, неподвижно застывших под луной, их повесть о дальних странах. Их руки тянутся ко мне, желая сказать: мы одни – приди. И голоса вторят им: мы родичи твои. И в воздухе делается тесно от их скопления, они взывают ко мне, своему сородичу, готовясь в путь, расправляя крылья юности, ликующей и пугающей.

26 апреля. Мать укладывает мои новые вещи, что куплены у старьевщика. По ее словам, она сейчас молится за то, чтобы вдали от дома и от друзей я бы сам познал, что такое сердце и как оно чувствует. Аминь! Да будет так. Приветствую тебя, жизнь! Я уйду, чтобы в миллионный раз испытать встречу с неподдельной реальностью и выковать в кузне моей души несотворенное сознание моего народа.

27 апреля. Древний отче, древний искусник, будь мне отныне и навсегда доброй опорой.

Дублин, 1904 – Триест, 1914

#### Комментарии

Джеймс Джойс подвержен был многим суевериям, и в кругу самых стойких у него была вера в числа. Самым главным, самым магическим числом было четыре. Могущественная Четверица властвует в мире Джойса, и ее присутствие виделось ему повсюду. Его немыслимый последний роман, «Поминки по Финнегану», демонстрирует это в полной мере; хотя понять его невозможно, но ученые комментаторы донесли до всех, что в этом романе реальность сплошь расчленена, четвертована, насыщена воплощениями верховной Четверки. Но вот что, кажется, ускользнуло и от комментаторов, и от самого автора: под знаком Четверки определенно стоит не только конец, но и начало творческого пути классика! Этот путь имеет у Джойса вполне четкое строение: сначала идет ранний период, затем – период «Улисса». И если взглянуть на ранний период, на созданное художником до его Главного Творения, мы можем заметить, что этот этап – явственно под эгидой Четверицы. Ибо то, что им в этот период создано, составляет не что иное как четверицу квартет:

«Эпифании» (1900–1903);

«Герой Стивен» (1904–1906);

«Дублинцы» (1904–1907);

«Портрет художника в юности» (1907–1914).

С 1914 г. наступает этап «Улисса». Квартет, в свою очередь, делится на равные половины: две первые его части – писания, оставленные художником в архиве, опыты начальные и подготовительные, «виртуальная проза»; вторые же две части – книги, законченные и выпущенные, «актуальная проза». Ради точности, надо еще добавить, что перед первой большой прозой, «Героем Стивеном», появился своеобразный пролог, «Портрет художника». Но это – лишь несколько страниц, написанных в один день, 7 января 1904 г., и можно считать, что этот малый «Портрет» не нарушает сакральную структуру.

В нашем издании русскому читателю впервые представлен Первый Квартет Джойса в его полном составе. Все его части переведены и откомментированы нами. Читателю становится доступен единый взгляд на все творчество художника-в-юности и, сопоставив это творчество с великим романом, что родился на следующем этапе, мы можем достичь цельной оценки «раннего Джойса». Да, на фоне вершины «Улисса», здесь еще «ничего особенного», мы – не на горах, а в предгорьях. Но эти предгорья многое предвещают. Не может не поражать огромная поглощенность художника своим делом, писательством, постоянная интенсивная сосредоточенность, концентрация на нем. В дополнение к Квартету, тут важны и письма к брату Станиславу, много цитируемые в нашем комментарии: в них очень живо видна эта концентрация. Сквозь все бурные перипетии жизни художника-в-юности идет неостановимый, углубленный творческий процесс; и к концу раннего периода в нем уже намечается, проступает определенная модель творчества.

В начале главную роль играет «иезуитский ум» Джойса. Он очень рационально, систематично препарировывает выбранную область реальности, размечает и расчерчивает ее, изготавливает схемы и списки, проводит инвентаризацию и каталогизацию жизни. Затем намеченное начинает педантично исполняться. И лишь постепенно художник выходит на простор, в свободный полет, где он – один на один со Словом, оставив схемы и задания позади. Джойс – из тех, которые долго запрягают. Но зато здесь начинается непредсказуемое. Сгущенная энергия творчества показывает его огромный потенциал; и уже ранний период демонстрирует, что в своем творческом процессе художник способен к открытию, качественному скачку. Таким скачком являются «Мертвые», вынашивавшиеся долго после всех остальных новелл «Дублинцев», и еще более яркий пример скачка – рождение «Портрета художника в юности», принципиально нового проекта, после отвергнутого «Героя Стивена». Очень ощутимо, что импульс творческого поиска далеко не исчерпан и не иссяк, и мы можем ожидать нового качественного скачка. Однако заведомо невозможно было предвидеть и предсказать «Улисса».

### Эпифании

Как многое, что связано с Джеймсом Джойсом, его «Эпифании» имеют заметно мифологизированную репутацию. Они очень редко печатаются, очень мало читаются, но у них красивое непонятное название, за которым легко рисуется нечто таинственное, возможно, даже мистическое. То, что о них общеизвестно, дает о них туманное представление: это как будто некий особый жанр прозы, изобретенный юным Джойсом специально для передачи каких-то духовных событий весьма неясного

свойства, случающихся при встрече художника с действительностью. Литература о Джойсе большей частью тоже оставляет эпифании в загадочном ореоле: обычно она следует за их характеристиками у самого автора, скупыми, странно звучащими и способными лишь укрепить такой ореол.

На мой взгляд, однако, предмет проще; или, точнее сказать, у него совершенно простая суть, на которую лишь накладываются некоторые усложняющие моменты. Суть в том, что все эпифании – это небольшие образчики довольно простого письма, и появление их на свет имеет столь же простую первопричину: то обстоятельство, что всякий писатель сперва должен учиться писать, должен расписывать себя. С этой работой каждый справляется по-своему: делают заготовки, наброски, зарисовки, придумывают разные упражнения, запасают слова, фразы, образы... Как правило, подобные подготовительные труды остаются в записных книжках начинающего художника – им не придают самостоятельной ценности. Но с Джойсом, однако, это не так. Его никогда нельзя было обвинить в недооценке своего таланта и достижений – и то, что иной художник-в-юности считал бы простою пробой пера, у него подается как «эпифании на зеленых овальных листах, глубочайше глубокие, копии разослать в случае кончины [автора] во все великие библиотеки, включая Александрийскую». Впрочем, этот иронический отзыв – его же собственный, через дюжину лет, в «Улиссе»: художник всегда сохранял и способность трезвой самоиронии.

Итак, эпифании – наброски или мини-этюды в прозе, которые Джойс создавал в свой начальный период, приблизительно в 1900–1903 гг., до того как перешел к сочинению «настоящей», сюжетной прозы. Главные же особенности, определившие их судьбу, заключаются не столько в них самих, сколько в том значении и том толковании, какие им придавал автор. Это толкование эпифаний – первое практическое следствие ключевого внутреннего события юности Джойса, которое можно кратко охарактеризовать как смену приоритетов, верховных ценностей, когда он отверг религию и на высшее место в своем мире возвел искусство (подробнее об этом событии см. в: С. С. Хоружий. «Улисс» в русском зеркале. М., 1994; ниже эта книга будет упоминаться как «Зеркало»). При этом перевороте «иезуитский ум» Джойса стал тут же использовать религиозный дискурс как основу для эстетического дискурса. Богословские понятия и идеи начали у него наполняться эстетическим содержанием, и «эпифания» – один из важных примеров этой модуляции. Джойс не оригинален в ней: подобная модуляция типична для европейского символизма и декаданса, начиная, по крайней мере, с Бодлера. В частности, в романе «Огонь» Г. Д'Аннунцио первая часть именуется «Эпифания огня», и высказывалась гипотеза, что термин пришел к Джойсу именно от Д'Аннунцио (известно, что он читал «Огонь» в 1900 г.).

В христианском богословии эпифания (греч. проявление, манифестация) – Богоявление, зримое проявление Божественного в тварном мире, совершившееся, по Евангелию, в событии Крещения Христа в Иордане, а по традиции Западной Церкви, также и в событии Рождества, в явлении Христа волхвам. О своем (пере)толковании понятия Джойс говорит бегло несколько раз, и однажды, в «Герое Стивене», дает даже некое подобие дефиниции: «Под эпифанией он понимал моментальное духовное проявление, возможно, в резкой вульгарности речи или жеста, возможно, в ярко отпечатлевшемся движении самого ума. Он считал, что долг литератора – фиксировать такие эпифании со всем тщанием, поскольку они – самые ускользающие, самые тонкие моменты». Далее, в довольно пространным рассуждении, это новое понятие включается в схоластическую эстетику, которую увлеченно развивал тогда Джойс, отправляясь от определения прекрасного у Фомы Аквината. Но эти его построения плохо отвечали действительным мотивам и принципам его искусства, даже и раннего. Сегодня они представляют интерес лишь как факт биографии художника и

едва ли помогают нашему пониманию эпифаний. Не очень продвигает к этому пониманию и черта, особо подчеркиваемая Джойсом: эпифании не сочиняются, а только фиксируются художником. Здесь, в этой их «невыдуманности», ему виделся принципиальный момент, в котором и заключается их ценность, их истинность.

Сомнительная, однако, позиция! Когда фиксируются «движения самого ума», содержания сознания – как и чем отличается «сочиненное» от «реального»? И то и другое – в одной голове, меж ними заведомо не провести грани. А когда фиксируется внешнее событие, то для выявления его духовной, эстетической ценности, для превращения его в художественный феномен разве не требуется творческое участие преображающего ума художника, который нечто отбрасывает как шелуху в сыром эмпирическом явлении, а нечто вносит в него? Разумеется же, эстетический феномен – не «сочиненное» и не «эмпирическое», а третье, в котором безнадежно и незачем пытаться отделить второе от первого. – В итоге Джойсова «теория эпифаний», его собственное их видение, не могут сегодня служить для нас надежной опорой. Но, быть может, тут не так и нужна целая теория? Мы, во всяком случае, без нее обойдемся. Из всех построений Джойса мы обратим внимание на одно лишь простое указание, заключенное в его дефиниции: все эпифании разделяются на два класса, в одном из которых – описания «движений ума», то бишь мыслей, образов, сцен, проходящих в сознании, тогда как в другом – описания событий жизни. Это указание вполне ложится на материал; при этом мы видим, что большую часть «умственных» эпифаний составляют сны, а эпифании «жизненные», в соответствии с особой сосредоточенностью Джойса-художника на речи и слове, представляют собою в основном краткие диалоги; но иногда также и выразительные «жесты»; Р. Шоулз и Р. М. Кейн, подготовившие базовое издание эпифаний, называют эпифании этого класса «драматическими». Стоит также иметь в виду стихи Джойса, писавшиеся в тот же период, что эпифании, и вошедшие затем в сборник «Камерная музыка» [144 - См. двуязычное издание с рус. пер. Г. Кружкова: Джеймс Джойс. Стихотворения. М., 2003.]. В крупном, они решали ту же задачу: как говорит «Герой Стивен», «в стихах он [Стивен, но равно и его автор] старался схватить свои самые ускользающие настроения»; и поучительно проследить, для каких именно настроений художнику-в-юности оказывается адекватна поэтическая или прозаическая форма выражения.

Свой взгляд на эпифании выразили также два человека, ближайше связанных с Джойсом в пору их создания: его брат Станислав, Станни, в книге «Сторож брату моему» (ставшей одним из главных источников для изучения биографии классика) и его знаменитый друг-враг Оливер Сент-Джон Гогарти (ставший главным отрицательным героем «Улисса»). По воспоминаниям Станни, «эти заметки были сначала ироническими наблюдениями оговорки, малых оплошностей, невольных жестов... в которых люди выдавали именно то, что они больше всего старались скрыть» [145 - S. Joyce. My Brother's Keeper. N.-Y., Viking Press, 1958. P. 124. Название книги – из ответа Каина Богу на вопрос о судьбе Авеля (Быт. 4: 9): характерный холодный юмор Станни.]. Как он полагает, в эпифаниях отразился глубокий интерес Джойса к бессознательному. Что же до Гогарти, его отзыв относится ко времени, когда «Улисс» давно уже вышел и сам он стал всемирно известен в качестве Быка Маллигана, грубого интригана и предателя. Излишне говорить, что это наложило свой отпечаток на его суждение. Тем не менее это суждение не столь далеко от Станни: он также видит в эпифаниях, прежде всего, словечки и черточки, подслушанные и подсмотренные у окружающих. Он лишь рисует собиравание материала художником в самом утрированном, иронически-пренебрежительном стиле: «Я пытаюсь припомнить... какие же «народные выражения» Джойс собирал от меня или от Элльвуда... Кто из нас одарил его «Эпифанией» и заставил спешить в сортир, чтобы ее записать?... Любая секретность портит искренние отношения. Я не возражаю, если



меня записывают, но быть против своей воли героем его «Эпифаний» – это раздражает»[146 - Oliver St. John Gogarty. *As I was going down Sackville street*. N.-Y., 1937. P. 294.]

Поистине, нет пророка в своем отечестве: оба отзыва вовсе не стремятся понять обсуждаемое явление в его литературном существе, в его значении для творчества Джеймса Джойса. Но они и не совсем не впопад, они что-то отразили из этого существа эпифаний. Художник, мы помним, эпифанию не сочиняет, а лишь фиксирует; однако для этого он должен ее увидеть, и это – особое искусство. Надо уметь подождать, понаблюдать, если хотите, действительно, подсмотреть – чтобы схватить тот миг, когда вдруг вырвется, проглянет сама душа, сама сокровенная суть. Суть чего? А чего угодно, способно к эпифании всё: уличная перебранка, клубок мыслей в сознании, любое явление и любой предмет – Стивен в «Герое Стивена» разъясняет идею эпифании на примере уличных часов. Не менее важный вопрос – а что есть эта суть? Для религиозного взгляда это – «божественное начало», кроющееся в вещах и явлениях. Для фрейдиста мир вещей безразличен, а в явлениях человеческого поведения кроется движущее ими бессознательное. Первый взгляд художник отверг, и Станни склонен считать, что он принял второй. Но это не так – оба полюса были не для него. Мир Джойса своеобразней, и мы сейчас не станем описывать его, отослав читателя к нашему «Зеркалу». Укажем лишь, что позиция художника заведомо не сводится к чистому эстетизму: то, что вдруг прорывается наружу и манифестирует себя в эпифании, не есть для него одна только художественная выразительность феномена.

Дошедший до нас корпус эпифаний насчитывает 40 текстов. Порядок их расположения, принятый в современных изданиях, был определен в базовой публикации Р. Шоулза и Р. М. Кейна: *The Workshop of Daedalus. James Joyce and the Raw Materials for A Portrait of the Artist as a Young Man*. Collected and edited by Robert Scholes and Richard M. Kain. Northwestern University Press. Evanston, Illinois. 1965. В основе этого расположения – проставленная предположительно самим Джойсом нумерация набора из 22-х эпифаний, ныне находящегося в собрании Университета Буффало. Эта нумерация не сплошная, эпифании носят номера от 1 до 71; и специалисты полагают, что цифра 71 приблизительно соответствует полному числу некогда написанных текстов. Остальные 18 эпифаний, находящиеся в собрании Корнеллского университета и номеров не несущие, были размещены публикаторами между пронумерованными текстами «по соображениям вероятия». Порядок расположения был у Джойса вовсе не произволен и не совпадал с порядком написания: ибо 9 марта 1903 г. Джойс сообщает брату Станни, что написал 15 новых эпифаний, «из коих двенадцать это включения, а три – добавления», явно имея в виду некоторый уже закрепленный порядок текстов. Принципы, определявшие этот порядок, неизвестны, но можно уверенно предполагать, что эпифании предназначались для включения в будущую большую прозу в качестве заготовок. В этом качестве они и использовались, хотя первоначально существовали в виде отдельного рукописного сборника, который давался литературным знакомым – в частности, Дж. Расселу, одному из лидеров Ирландского возрождения и будущему инициатору «Дублинцев».

Консенсус специалистов считает, что начало писания «Героя Стивена» в январе-феврале 1904 г. – финальный рубеж в истории эпифаний. Джойс перестает их писать и вместо этого включает уже написанные в сочиняемый роман. В «Героя Стивена» они вставляются систематически, и можно даже заметить определенную согласованность между порядком пронумерованных эпифаний и сюжетным развитием романа. Можно предполагать, что отсутствующие эпифании имели аналогичную связь с отсутствующими главами «Героя Стивена». Некоторую роль эпифании продолжают

играть и в дальнейшей прозе Джойса, хотя эта роль постепенно убывает. В «Портрет художника в юности» эпифании включаются более скупое и в более измененном виде; в «Улиссе» мы находим совсем немногие и сильно переработанные.

Наш перевод «Эпифаний» выполнен по указанному изданию Р. Шоулза и Р. М. Кейна.

1.

(1) – Здесь и ниже после номера эпифании по нумерации Шоулза – Кейна мы в скобках проставляем (где он имеется) ее номер по собственной нумерации Джойса.

[Брэй: в гостиной...] – В этой эпифании и ряде других Джойс в скобках указывает место ее действия. В местечке Брэй вблизи Дублина семейство Джойсов жило с мая 1887 по 1891 г.

Реинкарнации: с незначительными изменениями, в начале гл. 1 «Портрета художника в юности» (конечно, вместо «Джойса» здесь также его реинкарнация, Стивен).

2.

Эпифания, что начинается как «драматическая» и переходит в «умственную». В ее основе – детские впечатления Джойса от чтения книг Эркмана-Шатриана.

3.

«Драматическая» эпифания, восходящая, видимо, к глубоко запавшему детскому воспоминанию.

...вразумленье... – В оригинале admonition, слово библейского звучания: очередной пример модуляции религиозного дискурса в художественный.

Реинкарнации: «Герой Стивен», конец гл. XVII, кратким намеком; «Портрет» – трижды: в начале гл. 2, почти буквально; далее в гл. 2 – беглым упоминанием; гл. 5 – с небольшими изменениями, как воспоминание.

4.

[Дублин: на Маунтджой-сквер] – Семья Джойса жила поблизости от Маунтджой-сквер в 1893 г.; согласно Р. Элманну, главному биографу классика, это была их последняя квартира в фешенебельной части Дублина.

5.

«Драматическая» эпифания, место действия которой то же, что и в новелле «Мертвые», – дом двоюродных бабок Джойса, 15 Ашер-Айленд.

Реинкарнации: «Портрет», начало гл. 2 – в более подробной форме, с другими именами, Джим, в частности, уже заменен на Стивена. «Улисс», начало эп. 17 – неявное упоминание, как одного из событий разжигания огня, которые наблюдал

Стивен (здесь имена те же, что в «Мертвых»).

6.

«Умственная» эпифания, восходящая к переживаниям последнего периода пылкой религиозности Джойса, в 14–15 лет.

Реинкарнации: «Портрет», гл. 3, в несколько расширенном виде. Согласно заметкам к «Герою Стивену», эпифания предназначалась для несохранившихся глав романа, относящихся к 1893 г.

7.

«Драматическая» эпифания из того же периода, описывающая, как в начале гл. 4 «Портрета», благостное состояние души после исповеди, причастия и примирения с Богом.

8.

Хотя Станни Джойс в своей книге «Сторож брату моему» причисляет эту эпифанию к «эпифаниям снов», она скорее принадлежит к «драматическому» классу и, во всяком случае, используется в «Герое Стивене» в реальном контексте.

Реинкарнации: «Герой Стивен», гл. XVI, с малыми изменениями.

9.

[Маллинггар...] – в этом городке Джойс провел с отцом некоторое время летом 1900 г.

«Икземинер» – выпускавшийся в Маллинггаре еженедельник «Уэстмит икземинер».

Реинкарнации: «Герой Стивен», гл. XIV, с малыми изменениями.

10.

«Оленья голова» – трактир в Дублине.

...отец Рассел? – Отождествляется как отец Мэтью Рассел (1834–1912), один из дублинских иезуитов, связанный с иезуитской церковью на Гардинер-стрит (многократно фигурирующей у Джойса) и, по всей вероятности, преподававший в университете, где Джойс учился.

11.

«Драматическая» эпифания, содержание которой разъясняется из ее контекста в «Герое Стивене»: описывается игра в шарады, где загадан Ибсен. Возраст Ибсена указывает, что действие происходит в 1900 г.

[... в доме Шихи...] – Семейство Шихи, глава которого был довольно видным чиновником и политиком, принадлежало к близкому окружению Джойса все годы его отрочества и юности; оно описывается в «Герое Стивене» под фамилией Дэниэл.

Реинкарнации: «Герой Стивен», гл. XVI, с изменениями и другими именами.

12.

Дальнейшая сценка из той же игры в шарады.

Реинкарнации: «Герой Стивен», гл. XVI, в расширенном виде, с другими именами.

13.

Хотя действие этой эпифании также относится к 1900 г., но, согласно комментаторам, Джойса здесь поздравляют с его блестящим певческим выступлением в концерте 14 (или 16, по другим источникам) мая 1904 г. (а следом за поздравлением отговаривают от карьеры певца).

Фоллон – один из соучеников Джойса в иезуитском колледже Бельведер, где Джойс обучался в 1893–1898 гг.

14.

Очередная из серии «драматических» эпифаний со сценками в доме Шихи.

Реинкарнации: «Герой Стивен», конец гл. XVI, в расширенном виде и со снятыми именами участников.

15.

«Драматическая» эпифания, точно соответствующая дефиниции: фиксирующая кричащую «вульгарность речи и жеста».

Реинкарнации: «Герой Стивен», гл. XIV, в расширенном виде.

16.

Столь же образцовая «эпифания сновидения»; по свидетельству Станни, написана в 1901 г., одну из первых в этом роде.

17.

Действие происходит, очевидно, после выхода в свет в ноябре 1901 г. статьи Джойса «Торжество черни».

Скеффингтон, Фрэнсис (1878–1916) – филолог, близкий знакомый Джойса и друг дома Шихи (позднее – супруг Ханны Шихи, расстрелянный англичанами в дни Пасхального

восстания 1916 г.). Как и Джойс, он был студентом дублинского Университетского колледжа, и Джойс считал его «самым умным» из всех студентов (конечно, после себя). В дальнейшей прозе Джойса он фигурирует как Макканн.

Быть может, уже в этот миг... – финальная фраза в статье «Торжество черни».

18.

По поводу этой сценки и ряда с ней схожих может явиться вопрос: но что здесь «эпифанического», художественно выразительного? Ответ в том, что, по убеждению Джойса, в таких сценках сгущенно выступают, «эпифанируют» свойства дублинской жизни, среды, общества, его удручавшие и возмущавшие: тягостная вялость и пустота, тривиальность мыслей и чувств, банальность, постоянно скатывающаяся в вульгарность...

[...на Северной Кольцевой...] – Семейство Джойсов проживало поблизости от Северной Кольцевой с конца октября 1902 г. по 1904 г. Их квартира – вероятное место эпифании; однако Шоулз и Кейн датируют последнюю декабрем 1901 г.

...на кончике носа у Джойса появляются звезды? – На известном портрете-шарже Сесара Абена, сделанном в 1932 г. по случаю 50-летия классика, по настоянию Джойса, на кончике его носа была помещена звезда.

19.

Эпифания, связанная с событиями болезни и смерти Джорджи, брата Джойса. Даты жизни его: 4 июля 1887 г. – 9 марта 1902 г.

[...в доме на Гленгарифф-пэрейд...] – Семейство Джойсов проживало на этой улице в 1901–1902 гг.

Реинкарнации: «Герой Стивен», конец гл. XXI, в более драматической тональности и с заменой имен: вместо «миссис Джойс» – мать, «Джойс» – Стивен, «Джорджи» – Айсабел.

20.

Прямое продолжение предшествующей эпифании. Джойс был привязан к Джорджи больше, чем ко всем другим своим братьям и сестрам.

Я не могу молиться за него... – тема, затем возникающая в «Улиссе» в связи со смертью матери Стивена.

21.

Расположение данной эпифании заставляет связывать ее также с кончиной Джорджи, однако, по свидетельству Станни Джойса, сценка относится к похоронам их матери, Мэй Джойс, в августе 1903 г.

Реинкарнации: «Герой Стивен», гл. XXII, с малыми изменениями; «Улисс», эп. 6 – в

более сжатой форме и с более резкими акцентами.

22.

Продолжение комплекса, связанного с кончиной Джорджи; однако по смысловой нагрузке эпифания примыкает к линии разоблачений обыденной банальности и безжизненности. В «Герое Стивене», куда она включена, герой видит в этом обмене репликами «акмэ неубедительности».

Реинкарнации: «Герой Стивен», гл. XXII, в расширенной форме и с прописанными акцентами.

23.

Последняя из эпифаний, относящихся к смерти Джорджи. По свидетельству Станни, это – «эпифания сновидения», герой которого – покойный брат.

24.

Эпифания, переходящая в символистский дискурс, с мотивами и образами библейской «Песни песней». Влияния символизма у раннего Джойса весьма заметны.

Реинкарнации: «Портрет», начало гл. 4, с полным перенесением в духовный контекст.

25.

Здесь главный эпифанический эффект – в сведении вплотную контрастных миров «девичьей компании» и «голодных мальчишек».

...тихие четки часов... – образ, возможно заимствованный из стихотворения «Сестры Вечного Поклонения» Э. Доусона (1867–1900).

...высокое простое здание... – иезуитский колледж Клонгоуз Вуд, где Джойс учился в 1888–1891 гг.

Реинкарнации: «Герой Стивен», начало гл. XXIII, слегка расширенно; «Портрет», гл. 5 – более сжато, без части, относящейся к мальчишкам.

26.

Эпифания, вновь возвращающая в дом Шихи. По указанию Станни, сценка соответствует одному званому вечеру у Шихи в 1903 г., для посещения которого Джойс одолжил костюм у своего нового друга О. Гогарти (будущего Быка Маллигана в «Улиссе»). Героиня сценки, по всей видимости, Ханна Шихи.

Реинкарнации: «Портрет», гл. 5 – с более тщательной и тонкой отделкой.

27.

Эпифания в символистском стиле – и очень характерно, что, будучи включена в «Портрет», она там вызывает иронический комментарий Художника-в-юности: «туманные слова о каких-то туманных переживаниях». Даже в ранний период отношение Джойса к символизму было амбивалентно, а влияние последнего – не особо длительно.

Реинкарнации: «Портрет», конец гл. 5, почти буквально.

28.

Характерная «эпифания сновидения».

Реинкарнации: «Портрет», гл. 1, как часть более обширного сна.

29.

Также «эпифания сновидения».

Реинкарнации: «Портрет», конец гл. 5, почти буквально.

30.

Эпифания, использованная и в «Герое Стивене», и в «Портрете», несет ключевые мотивы всего раннего периода Джойса. Здесь редкий случай, когда символистский дискурс несколько не описателен и не риторичен, а предельно насыщен смыслом. В частности, мотив готовящегося улета выводит к мифу о Дедале и Икаре (напомним, Стивен – «Дедал»).

Реинкарнации: «Герой Стивен», гл. XIV, где протагонист – в третьем лице; «Портрет», гл. 5, финал – почти буквально.

31.

«Умственная» эпифания, развертывающая внутренний мир художника в символистском дискурсе; по смыслу, настроению, образности она примыкает к предыдущей. Согласно Станни, одна из самых поздних эпифаний (конец 1903 г.).

32.

Эпифания также из поздних, которая могла бы быть как из сна, так и из жизни. Часть эпифанического эффекта доставляет контраст безобразной «толпы в загончике» и прекрасного образа коня и всадника в лучах солнца.

Реинкарнации: «Улисс», эп. 2, в заметно переписанном, более сжатом виде.

33.

Эта уличная зарисовка, пожалуй, не очень эпифанична, в ней нет особой интенсивности, насыщенности, будь то смысловой или эмоциональной. Но она отражает стойкий интерес Джойса к феномену проституции. Как указывает сам Джойс в письме от 29 августа 1904 г. к Норе Барнакл, своей будущей жене, написана она была в период его жизни в Париже (1902–1903 гг.).

Реинкарнации: «Улисс», эп. 3, в весьма измененном виде.

34.

Эпифания, относящаяся, согласно Станни, также к парижскому периоду. Как говорит Станни в книге «Сторож брату моему», в этом сне к Джойсу приходит мать, образ которой смешивается с образом Девы Марии.

Реинкарнации: «Улисс», эп. 15, в совершенно иной тональности; текстуально сохранены лишь две последние фразы.

35.

Еще зарисовка из мира проституции, отменно эпифаническая по резкой вульгарности языка. Эпифания может относиться к пребыванию Джойса в Лондоне по пути в Дублин после первого визита в Париж (перед Рождеством 1902 г.) либо по пути из Дублина обратно в Париж (в январе 1903 г.). Публикация 1965 г. избирает первое из этих пребываний, но Ж. Обер, публикатор французского издания «Эпифаний», высказывается в пользу второго, более длительного.

Реинкарнации: в «Улиссе» (эп. 15) использовано лишь смачное выражение «хер беложопай» (white-arsed bugger).

36.

Эпифания сновидения, связанного с фигурой Ибсена.

Рина – имя старшей из сестер Тесман в пьесе «Гедда Габлер».

37.

На редкость удачный, живой образчик, где схвачен момент существования личности в богатстве всех его измерений, всех способов человеческого восприятия: здесь зрительные образы, звук внешний и внутренний, в сознании, запахи, дискурс осязательный и кинестетический («улегся на палубе»). Дополнительный эпифанический эффект – в контрасте чистых голосов, стройной гармонии духовного пения со сплошным туманом и обстановкой «возле машинного отделения». Согласно Станни, эпифания относится к возвращению Джойса в Дублин в апреле 1903 г., по телеграмме отца об опасном состоянии матери.

38.



Очередная «драматическая» эпифания с разоблачением невыносимой банальности существования.

Реинкарнации: «Улисс», в начале эп. 13, с изменениями.

39.

Стиль и лексика эпифании напоминают У. Пейтера, чьи книги об итальянском искусстве и культуре Возрождения были знамениты в те годы. В «Улиссе» стиль Пейтера станет одним из образцов, имитируемых в «Быках Солнца». Определенной картины Рафаэля с описанием Джойса не ассоциируется, но книги на его картинах, особенно ранних, появляются нередко.

40.

Как указывают публикаторы, смысловые акценты этой эпифании – самоуверенная манера Гогарти и его адрес в весьма фешенебельном районе. Джойс познакомился с Гогарти в начале 1903 г., между двумя своими поездками в Париж, и был с ним в дружеском и тесном общении вплоть до ссоры и разрыва в сентябре 1904 г.

#### Портрет художника

Этот текст – пролог ко всей большой прозе Джойса. Он во многих отношениях уникален. Во-первых, он написан, не переводя дыхания, за один день 7 января 1904 г.: то есть не столько написан, сколько вылился. Во-вторых, уникальна его роль в творчестве художника: как признано, в этом обыденном тексте – задание, зерно и зачин творчества Джеймса Джойса надолго вперед – не на всю ли жизнь? В-третьих, текст написан был для определенного журнала, по заказу, однако не был опубликован – ни сразу по написании, ни когда-либо при жизни автора. В Дублине начиналось издание журнала «Дана. Журнал независимой мысли»; как было условлено, юный Джойс доставил свой текст главному редактору Уильяму К. Маги (позднее изображенному в «Улиссе»). Далее процитируем мемуары последнего: «Пока я читал, Джеймс Джойс в молчании наблюдал за мною. Когда же я вернул ему манускрипт, робко проговорив, что не возьмусь публиковать то, что сам абсолютно не понимаю, он положил его в свой карман и без единого слова удалился». В 1928 г. манускрипт был подарен автором мисс Сильвии Бич, верной устроительнице его литературных дел. Опубликован он был впервые в журнале Йельского университета в 1960 г. (Yale Review. Spring 1960. Vol. XLIX, 355–369).

Наш перевод выполнен по критическому изданию текста, подготовленному Р. Шоулзом и Р. М. Кейном и опубликованному в цит. сборнике «The Workshop of Daedalus» (pp. 60–68).

...ритм, первое или формальное отношение их частей. – Одна из формул томистской эстетики Джойса, ср.: «Ритм – это первое формальное эстетическое соотношение частей друг с другом» («Портрет художника в юности», гл. V).

...его блещущие олени рога... – Образ оленя всегда оставался в кругу символических образов Джойса. Уже в августе 1904 г. Джойс буквально повторит этот образ из

«Портрета» в поэме «Священный Синод» («Рога мои олени блещут в воздухе»); затем мы найдем его вариации и в «Портрете художника в юности» (гл. IV), и в «Улиссе» (эп. 3).

...куплет Дэвиса... – Томас Осборн Дэвис (1814–1845) – деятель национального движения (основатель организации «Молодая Ирландия» и журнала «Нация») и весьма посредственный поэт; имеется в виду, вероятно, его патриотический стих «Да будет нация опять», упоминаемый также в «Улиссе» (эп. 12).

...память Макмануса... кардинала Коллена. – Пол Коллен (1803–1878), архиепископ Дублинский, был в 1866 г. возведен в сан кардинала. Теренс Макманус (1823?–1860) – один из вождей террористов-фениев; когда он скончался в Сан-Франциско и тело его было доставлено в Дублин, архиепископ Коллен воспретил служить по нем заупокойную мессу.

Поверелло, «беднячок» (ит.) – прозвание св. Франциска Ассизского.

Аббат Иоахим (Флорский, ок. 1145 – ок. 1202) – итальянский мистик, чьи рассуждения-пророчества (в форме комментария на Апокалипсис) о всемирной истории и грядущем царстве Св. Духа находили много приверженцев в разные эпохи, начиная с сер. XIII в., когда движение «спиритуалов» во францисканском ордене объявило писания Иоахима «Вечным Евангелием». Одно из очередных увлечений иоахимизмом, осужденным Церковью еще в XIII в., распространилось в культурных кругах Европы на рубеже XIX и XX вв. В Дублине его адептом был Йейтс, и через его рассказ «Скрижали закона» (1897) увлечением заразился и Джойс, упоминающий Иоахима во многих текстах, включая «Героя Стивена», «Портрет художника в юности» и «Улисса» (эп. 3).

Бруно Ноланец – Джордано Бруно (1548–1600), происходивший из Нолы и часто называвший себя и подписывавшийся Ноланцем. Увлеченный интерес к Бруно отразился у Джойса уже в ранних статьях «Триумф черни» (1901) и «Философия Бруно» (1903) и был присущ ему всю жизнь, найдя выражение и в «Поминках по Финнегану». Упоминания Бруно имеются и в «Герое Стивене», и в большом «Портрете».

Михаил Сендивогиус (или Седзивой, 1556–1636) – польский философ и алхимик.

Сведенборг Эммануил (1688–1772) – одна из ведущих фигур европейского оккультизма, шведский мистик-визионер, философ и естествоиспытатель.

Св. Иоанн Креста, или Хуан де ла Крус (1542–1591) – испанский мистик и поэт, реформатор западного монашества; развивал мистику Божественного мрака и ночи.

...отметами сути всей природы... – вариация формулы Якова Беме (1575–1624) «отметы сути вещей» (*signatura rerum*), позднее используемой в «Улиссе» (эп. 3).

Как алхимик... отделяя тончайшее от грубого. – Парафраз алхимического трактата «Космополит», приписывавшегося Сендивогиусу (см. выше), но в действительности принадлежащего шотландскому алхимику Сетону: «художник не делает ничего иного, помимо отделения тончайшего от грубого».

...синие треугольники... – По всей вероятности, аллюзия на теософические спекуляции (в частности, в «Тайной доктрине» Е. П. Блаватской) по поводу «пифагорова треугольника».

Рыбообразные божества, упоминаемые затем в «Улиссе» (эп. 1), – также фигурируют в «Тайной доктрине»; комментаторы «Улисса» Д. Гиффорд и Р. Зайдмен связывают их также (впрочем, не приводя обоснований) с фоморами, или форморайнами, мифическим морским племенем гигантов – насельников древней Ирландии.

Летом же его увлекало к морю. – Блуждания по берегу моря, сопровождающие их эмоции и мысли – сквозной лирический и символический мотив раннего Джойса – ср. «Герой Стивен», гл. XXV, «Портрет художника в юности», гл. IV, «Улисс», эп. 3.

...сентенцию Августина... – Приводимая цитата (она же приводится и в эп. 9 «Улисса») – из «Исповеди», VII, 12.

Дражайшая из смертных!.. – Последующий пассаж сливает высокую и низкую линии. Аллюзии на лирическое увлечение той, кто будет позднее названа Эммой Клери (см. ниже прим. к с. 63), и на приключение похоти, греховную инициацию, описываемую в конце гл. II «Портрета».

...посланница сияющих царств жизни. – Выражение, перешедшее в «Портрет художника в юности» (финал гл. IV).

...Дева Древ Яблоневых... – перекликается со стихотворением VII в сборнике лирики Джойса «Камерная музыка»: «Любовь моя среди яблоневых древ...»; стихотворение впервые опубликовано в 1904 г.

...покровителю искусств... – Вероятно, имеется в виду леди Августа Грегори (1852–1932), входившая в круг ведущих фигур Ирландского возрождения конца XIX – начала XX в. К ее помощи и протекции Джойс прибегал не раз; она упоминается также в «Улиссе» (эп. 9), и подробнее об их отношениях см. в наших прим. к этому эпизоду.

...капиталисту... – Имеется в виду американец Томас Келли, к которому Джойс обращался в конце 1903 г. с просьбой о средствах на издание журнала.

...церебрации. – Ныне устаревший психологический термин, обозначавший переработку данных чувственного восприятия в мозгу.

...на острове... под... управлением Их Мощностей и Их Бычностей. – Очевидно, «Мощности» и «Бычности» – соответственно, католическая церковь и Английская империя (от Джон Буль, бык); их совместный гнет над Ирландией – в дальнейшем постоянная тема Джойса.

...его Nemo... было отважно... выставлено в пику похабству преисподних нашей Святой Матери... – Это Nemo юного Джойса – первая декларация его антиклерикальной и богоборческой позиции. В дальнейшем такие декларации войдут в каждый из текстов Стивениады, и Nemo сменится на еще более вызывающий Люциферов девиз *Non serviam*.

...из тридцатилетней войны в Германии родилась великодушная идея... – Имеется в виду становление социал-демократии, активно развернувшееся в Германии после войны 1870 г.

...завладевала умами на соборах латинян. – В 1903 г. премьер-министром Италии стал представитель левых сил Дж. Джолитти (1842–1928).

...просветление ваших трудящихся масс... – Лексика этого финала – красноречивое

свидетельство социалистических убеждений Джойса. Они продержались у него несколько лет, и он даже называл себя иногда «художник-социалист».

## Герой Стивен

Первый роман Джойса назван именем главного героя; но с этим героем у художника связан отнюдь не только этот роман. «Герой Стивен» – часть целого комплекса или корпуса текстов, связуемых фигурой Стивена Дедала, – часть джойсовской Стивениады. Стивениада образует контекст, куда органически входит данный роман; и для понимания романа необходимо представлять ее очертания. Что она включает в себя? Ответ оказывается неожидан: взглядевшись, мы обнаруживаем, что Стивениада охватывает, на поверку, едва ли не все творчество художника.

В «Портрете художника» имени Стивена еще нет, но в свете дальнейших текстов нет сомнений, что герой этого этюда – не кто иной, как он. За этим прологом Стивениады идут «Герой Стивен», «Портрет художника в юности», «Улисс» – три романа, прочно в нее входящие. Они позволяют определить Стивениаду как автобиографическую эпопею, однако крайне своеобразную: она отнюдь не имеет явной принадлежности к автобиографическому жанру и является автобиографической лишь в более общем смысле – в том, что главным человеческим материалом в ней служит автору собственная личность и, кроме того, присутствует сквозной автобиографический герой. Но и последний роман Джойса, темнейшие «Поминки по Финнегану», примыкает к Стивениаде тесно и неотрывно, обе указанные черты эпопеи в нем по-прежнему присутствуют. Правда, как и в «прологе», герой тут не носит имени Стивена, но, по уникальной природе этого романа, он и не мог бы его носить, здесь все имена зыбки, мнимы и всё растворяется в стихии изобретаемого художником праязыка. Даже и «Дублинцы» в известном смысле примыкают к Стивениаде же, ибо эпопея доброю долей вбирает в себя мир, созданный в новеллах, – их пейзаж, среду, персонажей... И в итоге Стивениада – это, по существу, вся крупная проза Джойса (с «Изгнанниками» как неизбежным исключением, подтверждающим правило).

В рамках Стивениады «Герой Стивен» наиболее близок к прямолинейной автобиографичности. В целом роман тесно привязан к жизни автора в 1898–1900 гг., хотя нередко включает и материал примыкающих лет. Почти все персонажи имеют реальных прототипов, от которых не слишком отходят; мы будем указывать прототипы по мере появления персонажей. Значительных исключений – всего одно: автор не имел богатого покровителя, и его крестный отец (умерший в 1898 г.), в отличие от крестного Стивена в романе, не играл такой роли. Болезнь и смерть Айсабел, сестры героя (главы XIX – XXII), также не повторяют событий жизни, но имеют частичное соответствие в смерти Джорджа, брата автора, в марте 1902 г.

В плане сюжетном, «Герой Стивен» – последовательный и подробный рассказ о жизни дублинского юноши, Стивена Дедала, начиная с раннего детства. Дошедшая до нас часть романа – рассказ о поездке героя к своему крестному отцу (глава XIV) и о первых двух годах его учения в Дублинском католическом университете (главы XV–XXV). Нет сомнений, что в исчезнувших главах I – XIII описывались детство и отрочество Героя Стивена: его жизнь в семье, ученье в колледже Клонгоуз (1888–1891) и колледже Бельведер (1893–1898); это вполне доказывают и общая логика замысла, и сохранившиеся заметки автора к главам VIII–XI. В дошедшей же части перед нами – юность героя. В центре рассказа – главные события его внутренней и внешней жизни: первое любовное увлечение, первые попытки творчества в стихах и

прозе, занятия эстетикой и разрыв с господствующими взглядами на религию, нацию, искусство, утрата веры и уход из Церкви, публичный доклад с выражением своих неортодоксальных позиций и растущая изоляция. Время действия, не указываемое автором, фиксируется по упоминаемым событиям: в частности, мирные инициативы императора России Николая II (см. гл. XIX) имели место в 1898 г. Идеиные темы, идейные конфликты романа довольно просты и представлены прозрачно, прямо. Герой Стивен смотрит скептически на пылкий национализм и культ «простого народа», увлекающие большинство его сверстников. Он порывает с религией по двояким и равно несложным причинам: позитивистское неверие в догматы и чудеса и убеждение в крайне негативной роли католической церкви как в истории, так и в современной жизни Ирландии (впрочем, за вычетом Средневековья, когда страна была «островом святых и мудрецов», а монастыри – ее лучшим украшением, очагами просвещения). Церковь для Стивена – источник еще худшего гнета, чем гнет колонизаторов-англичан. Отбросив католицизм, он делает своей новой религией искусство и развивает «целую науку эстетику», черпая, однако, все ее главные идеи у Фомы Аквинского.

Судьба текста романа такова. «Герой Стивен» был издан в 1944 г. по авторской рукописи – а точнее, по ее части, бывшей в распоряжении первого публикатора романа, Теодора Спенсера из Гарвардского университета. В 1963 г. появилось «пересмотренное и дополненное» издание, подготовленное Дж. Дж. Слокамом и Х. Кэйхуном по той же рукописи, дополненной 25 страницами, что оставались до 1950 г. во владении Станислава Джойса. Указанная рукопись была пронумерована самим автором, и на сегодня из нее доступны и изданы следующие страницы, общим числом 401:

477–506, 519–523, 526–732, 734, 736–765, 765–а, 777–902.

В структуре романа это соответствует главам XIV (частично), XV–XXV. О характере рукописи говорит нижеследующая справка, составленная первым ее издателем.

#### Указания публикатора

В дошедшей до нас рукописи Джойса имеются два рода авторской правки. Правка первого рода произведена, когда рукопись переписывалась с черновика; некоторые слова вычеркнуты, другие заменены. Эти исправления обозначены в публикации путем заключения первоначального текста в квадратные скобки, вслед за которыми помещен исправленный вариант. В рукописи также имеются явные описки – повторы отдельных слов, пропущенные слова и пунктуационные ошибки. В подобных случаях сделанные исправления не отмечались.

Правка второго рода носит не столь ясный характер. Джойс, по всей видимости, просмотрел рукопись с красным и синим карандашами и подчеркнул, отчеркнул на полях или вычеркнул некоторые фразы, части фраз и абзацы. Можно предположить, что они не нравились ему и он намеревался их изменить или выбросить. Очевидно, что для получения точного представления о рукописи и о том, как Джойс относился к ней, данные пометы должны быть указаны. Поэтому везде, где они имеются, они обозначены надстрочным индексом «к» (карандаш) в начале и в конце выделяемого ими текста. Эти карандашные пометки сделаны размашисто, как бы в нетерпении или спешке, и потому не всегда легко понять, где же начинается и кончается не удовлетворявший автора текст. Однако в большинстве случаев правка сделана достаточно ясно, а пометки определенно принадлежат руке самого Джойса, поскольку тем же карандашом он иногда делал и словесные исправления, в которых можно

узнать его почерк.

Теодор Спенсер [1944]

В настоящее время описанная рукопись находится почти целиком в библиотеке Гарвардского университета, небольшая часть (гл. XIV) – в библиотеках Йельского и Корнеллского университетов.

Наш перевод выполнен по изданию: James Joyce. Stephen Hero. Revised edition with additional material and a Foreword by John J. Slocum and Herbert Cahoon. Paladin, London, 1991.

Что же до построчного комментария, то в данном случае одна из главных его задач – текстологическая. «Герой Стивен» – текст, стоящий между двумя другими текстами, двумя «Портретами», малым 1904 г. и большим 1914 г., и теснейше переплетенный с ними. Мы сделали попытку раскрыть это переплетение, указывая все сколько-нибудь значимые пересечения, заимствования и параллели трех текстов Стивениады. Но, разумеется, не все вообще: это сделало бы объем комментария весьма близким к объему комментируемого романа.

Герой Стивен – название романа, по разысканиям Р. Элманна, маститейшего из джойсоведов, несет ироническую аллюзию на любимую Джойсом балладу о знаменитом разбойнике, «Терпин-терой», а также, возможно, и на «Чайльд Гарольда» Байрона. Отчасти можно добавить сюда и «Героя нашего времени» Лермонтова. О смысловых нагрузках имени Стивен для Джойса см. в нашем «Зеркале», эп. 2.

[XIV]

[...] наций... пугающей. – Фрагмент близок к тексту эпифании 30, а также к записи за 16 апреля в дневнике героя, заключающем «Портрет художника в юности».

Отъезд в Париж – эта надпись Джойса уводит от текста, поскольку обе поездки автора в Париж были уже после учебы в университете, в 1902–1903 гг., тогда как вся данная глава предшествует «университетскому эпизоду». С другой стороны, надпись – в прямой связи с предшествующим фрагментом, ибо в «Портрете» этот фрагмент помещен в финале романа, где говорится о приготовлениях героя к отъезду в Париж. Вывод тот, что Джойс решил использовать фрагмент для «Портрета» и указал записью, в какое место нового романа (а именно в финал) фрагмент предназначен.

...пахло крестьянами... в церквушке Клонгоуза... – «запах старых крестьян... во время воскресной службы» в церкви колледжа Клонгоуз Стивен вспоминает в гл. I «Портрета художника в юности» (с. 418), так что здесь – указание на то, что в начальных главах этого романа Джойс использовал материал неизвестных ныне начальных глав «Героя Стивена».

...к берегу Лох-Оул. – Живописное озеро в окрестностях Маллингара, куда в «Улиссе» (эп. 4) собирается на пикник дочь Леопольда Блума, Милли, работающая в студии фотографа в Маллингаре.

...три рода крещения... – согласно блаж. Августину, церковному таинству крещения могут быть также равносильны «крещение кровью», в мученичестве, и «крещение желанием», в акте совершенной любви к Богу.

...Тэйт... профессор английского языка действует в одной из сцен в гл. II «Портрета», как учитель Стивена в колледже Бельведер (его прототип – мистер Демпси, учитель английского языка в Бельведере). Этим подтверждается, что время действия главы – до поступления Стивена в университет.

...сидел у огня старик... – подобная встреча со стариком-крестьянином описана, с меньшей подделкой под простонародную речь, в записи за 14 апреля в дневнике Стивена («Портрет», гл. V).

...горбатый нищий... – Последующая сценка совпадает почти буквально с эпифанией 15.

...он наблюдал за лицами инспекторов в школе... – Фраза переключается со сценой наказания Стивена в гл. I «Портрета».

Стивен узнал Нэша... старого недруга... – В гл. II «Портрета» описана стычка Стивена с соучениками по колледжу Бельведер, в числе которых – Нэш. Контекст вновь подтверждает, что в «Портрете» использованы начальные, не дошедшие до нас главы «Героя Стивена».

...в Клонлиффе... – колледж Святого Креста, духовная семинария в Клонлиффе (один из северных кварталов Дублина).

...свой дом... женись молодым. – Пассаж совпадает с частью эпифании 9.

«Лампа» – католический литературный еженедельник, издававшийся в Лондоне.

[XV]

...его лицо... было... лицом распутника. – Мотив, проходящий также в «Портрете художника» (см. с. 28) и ниже, в гл. XXI (с. 167). Как можно судить, Джойс, движимый остатками католической морали, имеет в виду, что на внешности героя отразилась его греховная сексуальная активность – контакты с проститутками и мастурбация.

...декан и эконом. – Бегло описаны в гл. V «Портрета художника в юности». В этой же главе целый ряд других фигур и деталей университетской жизни Стивена также совпадает или переключается с «Героем Стивеном»; мы отмечаем только отдельные из них.

Мэдден – прототип этого героя – Джордж Стивен Клэнси (1879–1921), активист национально-радикального движения, погибший во время гражданской войны в Ирландии. В «Портрете» он носит имя Давин, и в одной из бесед с ним Стивен вспоминает их первую встречу, точно как она описана в «Герое Стивене» (в «Портрете» же ее описания нет).

Грин – парк Сент-Стивенс-Грин, куда выходило здание университета; здание Национальной библиотеки расположено по другую сторону парка.

Патер Батт – декан, фигурирует также в «Портрете» (гл. V) и упоминается в «Улиссе» (эпизоды 9, 17); в жизни то был о. Джозеф Дарлингтон, О. И. (1850–1939).

...условия, которым должны подчиняться слова... – Излагаемая «теория» Стивена развита Йейтсом в сочинении «Разговаривая с Псалтырью» (1902).

Днесь жизнь моя... – из стихотворения Байрона «В день, завершающий мои тридцать шесть лет».

И. Э. Фримен (1823–1892) – историк английского Средневековья; Уильям Моррис (1834–1896) – художник, философ и влиятельный деятель культуры, вдохновитель движения прерафаэлитов.

...этимологический словарь Скита... – «An Ethymological Dictionary of the English Language», by the Rev. Walter W. Skeat, Oxford, 1882. На рубеже веков наряду с ним уже появились и первые тома знаменитого словаря «The Oxford English Dictionary».

Был специальный семинар... – В «Портрете художника в юности» тема об учебных сочинениях Стивена по английской литературе перенесена на период учебы в Бельведере (гл. II).

...настаивая на важности того, что он называл литературной традицией. – Ср. в рецензии «Ирландский поэт» (1902): «Безусловно, литература – не величайшее из искусств, но это искусство, основанное на определенной традиции».

...цитату из Ньюмена. – Данная сцена и следующая за ней слиты в «Портрете» (гл. V) в одну, но более пространную, из которой явствует, что обсуждаемая фраза Ньюмена – из сборника его речей «Славословия Марии» (1849): «И введена была я [Дева Мария] в сонм святых». Сцена же с разжиганием камина, упоминаемая также в эп. 17 «Улисса», по свидетельству Дж. Берна (в романе – Крэнли), не происходила с Джойсом, но была ему рассказана Берном в 1902 г. Согласно Берну, к его рассказу ближе описание в «Герое Стивене», чем в «Портрете».

...песни шута... – «Двенадцатая ночь», II, 4 и V, 1.

...ректор не дал разрешения... – Ср. «Портрет художника», с. 25.

...эпизод со вспышкой религиозности... – См. «Портрет художника в юности», гл. III; в жизни «вспышка» происходила зимой 1896/97 г.

...распутывать свои дела втайне... – Эта фраза и следующая за ней – вариация «Портрета художника», см. с. 24.

[XVI]

...у Блейка и Рембо о значениях букв... – Символический или мистический смысл звуков и букв – тема, издавна соединяющая символистскую литературу и мистико-окультурную мысль. Начиная с текстов герметической и каббалистической традиции, тема возникла у множества авторов; в частности, к Блейку, писавшему о ней в своих Символических Книгах, она перешла от Беме и Сведенборга, а к Джойсу, весьма вероятно, от его дублинских знакомых, вождей ирландского символизма Йейтса и



Рассела (см. «Зеркало», эп. 2, об отношениях юного Джойса с ними и их кругом). Рембо писал о значениях гласных в знаменитом сонете «Гласные» (1872), а также – как о гласных, так и о согласных – в эссе «Алхимия слова», входящем в Бред Второй «Сезона в аду».

Изоляция – первый принцип художественной экономии. – См. «Портрет художника», с. 26.

...первородные вопли... дикие ритмы гребцов... – По мнению комментаторов, эти мысли о генезисе искусства навеяны книгой: Y. Hirn. *The Origin of Art. A Psychological and Sociological Inquiry*. London, 1900; они также варьируются в беседе Стивена с Линчем в гл. V «Портрета».

...упорядочивающую линию... – Одно из ключевых понятий эстетики раннего Джойса, родственное возникающим в «Портрете художника» «индивидуизирующему ритму» и «изгибу эмоции». Подобные понятия восходят к «линии прекрасного» в английской эстетике XVI в., в частности, у Хогарта, который говорит о «линии красоты» (волнистой) и «линии привлекательности» (извилистой или змеевидной). Непосредственно к Джойсу они перешли, видимо, от Йейтса, подробно писавшего об «упорядочивающей линии» в эссе «Уильям Блейк и его иллюстрации к «Божественной комедии»» (1891).

...«Лаокоон» Лессинга... – Г. Э. Лессинг (1729–1781) – немецкий драматург и теоретик искусства, «Лаокоон» – его главный труд по эстетике. Идеи Лессинга фигурируют и в «Портрете» и особенно в «Улиссе» (эп. 3).

Мог ли художник... изобразительным... – выпад против эстетики Гегеля, которому принадлежит оспариваемая позиция.

...презрение к тем критикам, для которых термины «греческий» и «классический» были взаимно заменимы... – Ниже (гл. XVIII), а также в эссе «Джеймс Кларенс Мэнген» (1902) Джойс развивает свою, отличную трактовку классического.

Частью неискоренимого эгоизма... – Отсюда и до конца абзаца – почти буквальный повтор из «Портрета художника», см. с. 24; метафора оленьих рогов в сходном смысле употреблена и в сатирической поэме «Священный Синод» (авг. 1904).

Морис... сообщил Стивену, что он ведет дневник их бесед. – Станислав, брат Джойса, действительно вел такой дневник, ныне изданный и служащий для джойсоведения важным источником.

Клонтарф – один из северных кварталов Дублина.

Фэрвью – квартал на востоке Дублина, при впадении в Лиффи речки Толки.

...собака... задирала морду... – Эта же зарисовка – в эпифании 8.

Макканн – под этим именем выведен филолог Френсис Skeffington (см. комм. к эпифании 17).

Крэнли – прототип его, Дж. Берн (1879–1960), был ближайшим другом Джойса в годы учебы в университете. Согласно мемуарам Берна, Джойс дал ему прозвание Крэнли по фамилии известного ирландского церковного деятеля XIV–XV вв., дублинского архиепископа Томаса Крэнли; последний был кармелитом, а Берн учился в школе

этого ордена.

«Самозванец» – одноактная пьеса М. Метерлинка (1890). Начиная с 1898–1899 гг. Джойс проявлял большой интерес к творчеству Метерлинка, отразившийся, в частности, в «Улиссе».

..Руссо.. стащил ложки... – В своей «Исповеди» Руссо говорит не о краже ложек, а о краже ленты у мадмуазель Понталь; этот рассказ передает и английская биография, которую мог иметь в виду Джойс (виконта Джона Морли, вышедшая в 1873 г.).

Стивен начал изучать датский... – Джойс довольно неплохо изучил его.

Тургенев – в отличие от восхищения Стивена, реакция Джойса на его творчество была лишь сдержанным одобрением, с оговорками.

Доннибрук – юго-восточный пригород Дублина.

В семействе было несколько дочерей на выданье... – Описание семейства Дэниэлов соответствует дублинскому семейству Шихи (см. комм. к эпифании 11). Отец семейства, Дэвид Шихи (1844–1932), долгое время был членом парламента; его супруга выведена под своим именем в «Улиссе» (эп. 10). Одна из дочерей, Ханна, позднее вышла замуж за Skeffingtona (в романе – Макканна; намеки на это событие – в гл. XXI и далее). Следуя своей репутации «феминиста», ее супруг изменил в браке свою фамилию на Шихи-Скеффингтон. Другая дочь, Мэри, была предметом стойкого юношеского увлечения Джойса; она выведена в романе в образе Эммы Клери – знакомой, но не дочери Дэниэлов, чтобы уменьшить буквальность соответствий.

«Душка Данди» – песня из мелодрамы Вальтера Скотта «Гибель Девогойла».

Господин спикер... К порядку! – Близкая, но более краткая пародия – эпифания 14, более поздняя вариация на ту же тему – в эп. 12 «Улисса».

Я знал, что вы имеете в виду его... – Правда? – расширенная переработка эпифании 11.

..вступить в Лигу. – Гэльская лига (основана в 1893 г.) – самая массовая из многочисленных националистических организаций, возникших в Ирландии в 80–90-е годы.

[XVII]

..заботу о потомстве больше всего проявляют те, у кого нет потомства... – точная цитата из «Опытов» Фр. Бэкона («О родителях и детях»).

..Папа преподнес запоздалого кардинала острову... – В 1866 г. в сан кардинала впервые в истории был возведен ирландец, архиепископ дублинский Пол Коллен (1803–1878).

Мистер Кейси – Джон Келли, друг семьи Джойсов, подолгу гостивший в их доме; под этим же именем выведен в гл. I «Портрета».

«Шинн Фейн» – «Мы Сами» (ирл.), лозунг ирландского патриотического движения.

Шонизм – слово образовано от «Шон» – Джон (подразумевается Джон Буль) и означает пресмыкательство перед англичанами.

«Всемогущий доллар» – выражение, пущенное в ход еще Вашингтоном Ирвингом, впервые – в эссе «Магнолия» (1837).

Мистер Хьюз – в литературе не указывается прототипа для этого персонажа, обрисованного с явной неприязнью. Однако, вероятней всего, таким прототипом служил хотя бы отчасти аналог Хьюза в биографии автора: Джойс, как и Стивен, посещал курсы ирландского языка, где его учителем был Патрик Пирс, позднее – один из вождей Пасхального восстания 1916 г., расстрелянный англичанами. Известно, что Джойс неприязненно относился к Пирсу и бросил курсы оттого, что тот говорил презрительно-издевательски обо всей английской литературе.

Тринити-колледж, т. е. Колледж Святой Троицы, – первый университет в Ирландии, протестантский, основан в 1591 г. С 1873 г. допуск в него был формально открыт католикам, однако они избегали его.

Кингс-Иннс – дублинский колледж юридических наук.

...чернобородый гражданин... – известный националистический деятель Майкл Кьюсак (1847–1907); под прозвищем Гражданин он выведен как один из главных героев эпизода «Циклопы» в «Улиссе».

Хэрлинг – род хоккея на траве, вид спорта, известный в Ирландии с древности, упоминаемый в мифах и легендах. Его возрождение, главным двигателем которого был Кьюсак, играло важную роль в патриотическом движении; на похоронах Парнелла в 1891 г. за гробом его шли две тысячи игроков в хэрлинг.

...редактор еженедельника партии непримиримых... – Артур Гриффит (1872–1922) и газета «Юнайтед айришмен».

...перспектива помощи Ирландии со стороны французского правительства. – Франция традиционно поддерживала антианглийские настроения и движения в Ирландии, но эта поддержка отнюдь не всегда была активной и твердой, и Джойс не раз иронизировал над надеждами на нее у патриотов; ср... напр., в эп. 12 «Улисса».

...примером для Ирландии выставляли случай Венгрии... – В последние десятилетия XIX в. Венгрия сумела добиться для себя почти полного равноправия с Австрией в рамках Австро-Венгерской империи. Ряд деятелей ирландского национализма, в частности Гриффит, говорили о возможности для Ирландии использовать этот опыт; в «Улиссе» Джойс припишет эту идею Блуму.

...принимать... шиллинг... – В английской армии вольноопределяющемуся вручалась символическая плата в один шиллинг.

Советник Короны – титул, дававшийся заслуженным, крупным адвокатам.

Сарсфилд, Патрик (ум. 1693), Хью О’Нил (1540?–1616), Рыжий Хью О’Доннелл (1572–1602) – ирландские военачальники, герои войн за независимость с Англией.

Портобелло – район на юге центральной части Дублина.

Отец Моран – бегло появляется также в гл. V «Портрета».

«Град священный» (1892), протестантский гимн С. Адамса на слова Ф. Уэзерли; упоминается в заметках Джойса как худший пример деградации духовной музыки и служит звуковым фоном бордельной сцены в «Улиссе».

...она села... на трамвай... стоя на подножке, протянула руку ему... – Эта сцена прощания – возвращающийся мотив раннего Джойса: в эпифании 3 рисуется упомянутый «эпизод детства», когда на подножке трамвая (тогда еще конного) стоял Стивен, а Эмма (неназванная) то поднималась к нему, то сходила вниз; затем этот же эпизод описывается в гл. II «Портрета», затем припоминается в этой же главе и поздней снова припоминается в гл. V.

## [XVIII]

...весь доклад... был готов у него в уме... – В рассуждениях этой главы излагаются не столько идеи доклада «Драма и жизнь» (1899), сколько итоги всех размышлений Джойса ко времени написания «Героя Стивена» (1904–1905 гг.); многое, в частности, здесь восходит к статье «Джеймс Кларенс Мэнген» (1902).

Долфинс-Барн – квартал на юго-западе Дублина.

Графство Мит – на северо-западе от Дублина.

Уэллс – в гл. I «Портрета» соученик Стивена и главный его обидчик в Клонгоузе; Боланд упомянут в «Портрете» среди соучеников Стивена не в Клонгоузе (гл. I), но лишь в Бельведере (гл. II), как «первый тупица» в классе и участник стычки со Стивеном. Рэт бегло упомянут среди соучеников в Клонгоузе.

Брэй – местечко в двадцати километрах к юго-востоку от Дублина, где семья Джойсов жила в 1887–1891 гг.

«Трильби» (1894) – роман Джорджа Дю Морье (1834–1896), пользовавшийся большим успехом; неоднократно упоминается в «Улиссе».

...с высоко подобранными сутанами – так женщины подбирают юбки... – мотив, возникающий также в «Портрете» (гл. IV).

...три самых великих человека в Европе... это Гладстон... – Уильям Ю. Гладстон (1809–1898) – английский политик, четырежды премьер-министр Англии, пользовался в Ирландии популярностью за терпимость к католикам и поддержку гомруля. Джойс резко расходился с общим мнением, считая Гладстона ответственным за «моральное убийство Парнелла»; его негативное отношение к Гладстону отражено в «Портрете» (гл. V) и некоторых статьях, в частности «Тень Парнелла» (1912).

...искусство есть... с эстетической целью... – Это определение искусства повторяется в беседе Стивена с Линчем в гл. V «Портрета»; в этой же беседе повторяются и другие основные тезисы следующих ниже эстетических рассуждений. В тексте доклада «Драма и жизнь» этих рассуждений большею частью нет.

...высвободить нежную душу образа из путаницы окутывающих его обстоятельств и вновь воплотить ее... – Эта формула близка к эстетике американских трансценденталистов, у которых понятие «обстоятельств» выражало идею сковывающего, деформирующего окружения и необходимости преодолеть его. Джойс

был знаком с этой эстетикой, а главный представитель трансценденталистов, Р. Эмерсон, назван им «гигантом» в ранней статье «Новая драма Ибсена» (1900).

Классический стиль... – Данный абзац и следующий за ним, развивающие тему о классическом и романтическом стилях, взяты почти буквально из статьи «Джеймс Кларенс Мэнген» (1902).

...каждая эпоха должна... разметать окрест. – Также близкая вариация вышеуказанной статьи.

...рождение красоты, сияния истины. И несколько ниже Так человеческий дух непрестанно утверждает себя. – Выражения коренных убеждений Джойса: в том, что прекрасное есть «сияние истины» и что в творчестве человек вечно утверждает себя. Оба убеждения варьируются им неоднократно – в статье «Джеймс Кларенс Мэнген», в гл. V «Портрета», второе утверждение также и в «Улиссе»...

...он смог оценить, что доклад написан прекрасно. – Подобную оценку искусства слова Джойс всегда приводит с иронией, как выражение неспособности понимания.

...здешнюю мистическую команду. – На грани веков в Дублине уже получили известность увлечения ряда литераторов, прежде всего Йейтса и Дж. Рассела, мистикой и теософией.

Явь ли ты, мой Идеал? – Сей стих вызывает восхищение «Навсикаи», Герти Макдауэлл, в эп. 13 «Улисса», и там же сообщается, что автор его – Луис Дж. Уолш. Уолш (1880–1942) был соучеником Джойса в университете, потом – юристом и дилетантом-стихотворцем. Он не раз оказывался удачливым соперником Джойса: в 1898 г. получил первую награду по ораторскому искусству, а в 1899 г. был избран, опередив кандидатуру Джойса, казначеем Литературно-исторического общества; на чтении доклада «Драма и жизнь» он также выступил с возражениями и был поддержан аудиторией.

Ли – река, протекающая через город Корк, откуда были родом Саймон Дедал и Джон Джойс.

Нора Хельмер – героиня пьесы Ибсена «Кукольный дом», доктор Штокман – пьесы «Враг народа».

«Маленький лорд Фаунтлерой» (1886) – знаменитый детский роман англо-американской писательницы Френсис Х. Барнетт (1849–1924).

Хилан, главный оратор... – в образе этого персонажа соединены черты Луиса Дж. Уолша (см. выше прим. к с. 96) и Артура Клери, другого университетского соученика автора.

Диллон, ректор университета – естественно, его прототип – отец Уильям Дилэни, ректор университета, где учился Джойс. Первоначальное ректорское запрещение доклада Джойса, беседа его с ректором и отмена запрета в результате беседы – действительные факты.

«Апология» – «Apologia pro vita sua», рассказ Ньюмена о своем духовном пути, написанный в ответ на нападки Чарльза Кингсли (1819–1875), печатно обвинявшего Ньюмена в сделках с совестью. Ньюмен перешел в католичество в 1845 г., «Апология» же была выпущена им в 1864 г.

Христиания (ныне Осло) – там Ибсен провел свои последние годы.

*Pulcra sunt quae visa placent* – не вполне точная цитата из «Суммы теологии» Фомы Аквинского (I, q 5, a 4); *Ad pulcritudinem... claritas* – там же, I, q 39, a 8 (цитата также неточна). Подробное толкование этих тезисов Стивен развивает в беседе с Линчем в гл. V «Портрета».

Определение блага у Аквината... о «потребностях». – Эта реплика Стивена становится ясна из его беседы с деканом в начале гл. V «Портрета», где дана и цитата из Фомы о «потребностях».

Генри Ирвинг (1838–1905) – великий английский актер, один из возродителей шекспировского театра.

Перемахивая... в Маллинггар... – Стивен вспоминает разговоры у мистера Фулэма (гл. XIV).

[XIX]

Заседание вел мистер Кин... – На докладе Джойса 20 января 1900 г. председательствующим был профессор английской литературы Мейдженис, упоминаемый в «Улиссе» (эп. 9). Событие доклада недаром избрано кульминацией романа: «Драма и жизнь» – концептуально наиболее значительный текст раннего Джойса, «сильнейшее из всех ранних утверждений своего метода и своих намерений» (Р. Элманн) у будущего классика. Событие описано близко к жизни, но не без отклонений: в реальности критика не принимала столь угрожающе-агрессивных форм, как в выступлении Хьюза, а кроме того, в финале докладчик взял заключительное слово и за 30 минут уверенно разбил всех критиков, заслужив шумные аплодисменты. Подобный характер отклоненья станет типичным для всей Стивениады: рисуя автобиографического героя, Джойс смещает в нем свои уверенность, силу и победительность к неуверенности, слабости и крушениям. Очевидна ближайшая причина смещения: в концепции Джойса, судьба художника обязана быть страдательной и трагической. Но интересно подумать и о других причинах, связанных с самоощущением автора, его «образом себя»: они также явно присутствовали.

...имперским, императорским, императивным. – Этот строенный эпитет использован позднее в «Улиссе» (эп. 7).

...санитарные условия банного заведения. – Ирония по поводу сюжета «Врага народа».

...конфликт между романтиками и классицистами есть условие всякого достижения... – парафраз одного из исходных тезисов эссе «Джеймс Кларенс Мэнген».

Король Альфред Великий (прав. 871–899) – король Уэссекский, герой борьбы англосаксов с завоевателями-норманнами, законодатель, просветитель и один из создателей английского литературного языка.

Стивен... отправился домой в одиночестве. – Финал, который позднее, повторяясь, обретет у Джойса парадигматический смысл: Стивен остается в одиночестве и опустошенности, фрустрации после успешно сыгранной театральной роли («Портрет», гл. II), после успешного диспута о Шекспире («Улисс», эп. 9) – и за этим стоят

те же интуиции о природе творчества и творческого процесса, те же глубоко личные и острые переживания, что в конце концов выразятся в яростно-безнадежной иронии образа Шема-писак в «Поминках по Финнегану». В русской словесности здесь уместно припомнить пушкинское: «Свой подвиг свершив, я стою как поденщик ненужный...».

Темпл, фигурирующий также в гл. V «Портрета», имеет своим прототипом студента-медика Джона Р. Элвуда, с которым Джойс встречался всего более в 1903 г.

Уиклоу – название графства к югу от Дублина, а также его столицы, небольшого городка на побережье.

О’Нил – прототип этого эпизодического персонажа не выяснен.

...блестящие черные глаза... – Во влиянии Крэнли на Стивена, как в жизни Берна на Джойса, играли заметную роль внешние детали: лицо и взгляд, манера говорить и держаться; в «Портрете» (начало гл. V) Стивен размышляет о внешности Крэнли и его «темных женственных глазах».

Айсабел – образ сочиненный и составной; вклад в него внесли, в частности, брат Джордж (1887–1902) и сестра Мейбл (1896–1911; в одной записке 1928 г. Джойс – случайно или нет – пишет: «моя сестра Айсабел, родившаяся в 1896 и умершая в 1911 году...»).

Отец Стивена... – К изображению ситуации опускающегося Дедала-отца близко описание мистера Кернана, проходящего «кривую упадка», в рассказе «Милость Божия».

Фраза, которую проповедники превращают в заповедь повиновения... – слова Иисуса «кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22: 21).

...рассказ о жизни Иисуса... повиновался другим. – В заметках, примыкающих к «Портрету художника», есть фраза об Иисусе Христе: «Его методы генералиссимуса».

...этот импульс... другой естественный импульс... – первая, пока малоотчетливая формулировка стойкого убеждения Джойса, которое он позднее выражал афоризмом: «Все религии ложь, но католичество – прекрасная ложь». При этом он считал католичество не только прекрасным, но и образцово-логичным зданием, в противоположность протестантизму.

...собачка Ланти Макхейла... – Эта поговорка встречается в речи Рассказчика в эп. 12 «Улисса».

...Стивен обнаружил Макканна, стоящего в вестибюле... – Дальнейшая сцена с адресом русскому царю – один из двух эпизодов, что повторяются, в близких описаниях, и в «Герое Стивене», и в «Портрете» (второй эпизод – беседа Стивена с Крэнли в гл. XX). Обсуждаемое обращение императора Николая II привело к созыву международной конференции в Гааге летом 1899 г., которая положила начало попыткам международной регуляции ведения войн.

Редактор «Ривью оф ривьюз» – Уильям Т. Стед (1849–1912), крупный журналист, издатель и убежденный пацифист.

Лорд Айви – Эдвард С. Гиннесс, граф Айви (1847–1912), совладелец знаменитой

фирмы по производству пива.

Tenebrae – ныне уже не практикуемый род католической мессы во время Страстной недели, служившейся вечером в Великую среду, Великий четверг и Великую пятницу. Символизируя наставление тьмы при распятии Христа, в обряде Tenebrae свечи, зажженные в начале службы, гасили по одной после каждого псалма. Вместе с рукописью «Героя Стивена» находился листок с краткими заметками Джойса о службах Страстной седмицы, где в разделе о Великой пятнице, в частности, стояло: «Трисвятое, принесенное ребенком с неба во время землетрясения в Константинополе:

Agius o Theos  
Agius Yschiros  
Agius Athanatos eleison imas».

(Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас, греч.).

Глинн – фигурирует также в гл. V «Портрета»; прототип не выяснен.

...о Седьмом Слове. – В католичестве особо выделяются и чтятся семь слов, сказанных Иисусом на кресте, согласно евангелиям; седьмое и последнее слово – «Совершилось» (Ин. 19: 30).

[XX]

«Совет отцу» – имеется в виду, вероятно, сентиментальное стихотворение «История для отцов»; «Болезни быков» – в мемуарах Берна свидетельствуется, что эта книга и эпизод с ее чтением – реальные факты.

У него была вызывающая манера... языка. – С небольшим изменением фраза повторяется в гл. V «Портрета».

«День-деньской... в цветах». – Из поэмы «Прометей освобожденный» Шелли. В этом месте поэмы говорится о созерцании, в котором могут рождаться бессмертные формы, – идея, родственная идее «эпифаний» у Джойса (см. ниже, гл. XXIV). Возможно, что внимание Джойса к этому фрагменту Шелли привлек его разбор в эссе Дж. А. Саймондса «Реализм и идеализм» (1890).

Пепельная Среда – среда на первой неделе Великого поста; ждать двенадцатого часа – откладывать до последней возможности.

Хоут – мыс на севере Дублинской бухты.

...Иисус был единственным... кто имел волосы совершенно каштанового цвета... кто имел рост в точности шесть футов... – поверья о Христе, восходящие к древним апокрифам и популярные в католической народной религиозности; второе из них упоминается также в «Улиссе» (см. эп. 17 и прим., где я указываю источники поверья).

Разве ты тогда не был лучше, счастливее? – В гл. V «Портрета» этот вопрос задает Стивену Крэнли.

Я знала, не будет от этого добра... – Ср. в «Портрете»: «мать была против этой идеи» (гл. IV).



Линч – под этим именем во всех трех романах Стивениады выведен Винцент Косгрейв (ум. 1927), близкий знакомый университетских лет автора. Когда писался «Герой Стивен», главное событие в их отношениях было еще впереди: в 1909 г. Косгрейв оклеветал Нору перед Джойсом, был разоблачен и навсегда получил у него клеймо предателя, Иуды. Но примечательным образом, тень этого предательства как бы уже заранее витала и в жизни, и в прозе. Тема Линча не только в «Улиссе» и «Портрете» (т. е. после 1909 г.), но уже и в «Герое Стивене» несет ноты неверного, недоброго, низменного, слышные даже в выборе имени: невзирая на просьбы и возражения Косгрейва, Джойс дал ему в книге заклеянное имя судьи, который повесил своего сына. См. также ниже, с. 227.

...выпячивал вперед грудь... к жизни. – Эта ироническая характеристика манеры Линча, пародирующая известный афоризм Мэтью Арнольда, повторяется в «Портрете» (гл. V) устами Крэнли.

...кровавого прилагательного... – обычное ругательное слово тех времен, bloody – окаянный, проклятый; его буквальное значение – кровавый, но этимологическое происхождение – от божбы, by our Lady – клянусь Богоматерью.

«Оракул» – одно из значений английского oracle – «двусмысленность».

Крэнли... я оставил Церковь. – Ср. «Портрет художника», с. 25–26.

...ты бы не причастился кощунственно? – В беседе Стивена с Крэнли в гл. V «Портрета» и этот вопрос, и другие обсуждаются не только по форме, но часто и по существу иначе.

Больше я подчиняться не буду. – Очередной вариант богоборческой декларации Стивена, которая в «Портрете художника» выражалась девизом Nemo (см. с. 29 и прим.), а в «Портрете художника в юности» (гл. V) и затем в «Улиссе» будет выражаться Люциферовой формулой Non serviam – «Не буду служить».

Я беру весь риск на себя. – Еще одна ключевая, рубежная декларация героя – и автора, – которая в «Портрете» заключает роман (перед дневниковыми записями, играющими роль полуэпилога).

[XXI]

...на острове Булл... – остров в устье Лиффи, обычное место купанья горожан.

Либертизм – старый простонародный квартал на юго-востоке Дублина; название (букв., «свободы») и происхождение – те же, что у русских слобод (= «свобод»): пригородное поселение пришлых свободных людей.

...располагался... напротив выхода с какой-нибудь фабрики... – Сценка перекликается с образом девушки у ворот кондитерской фабрики в гл. V «Портрета».

Мойнихан – под этим именем здесь и в гл. V «Портрета» выведен Роберт Кинахан (1880–1921), университетский соученик Джойса, бывший в 1901–1902 гг. президентом Литературно-исторического общества.

Лекки У. Э. (1838–1903) – ирландский историк и политик, труды которого – в

частности, «История рационализма», «История европейской морали от Августа до Карла Великого», «Демократия и свобода» – пользовались большим влиянием.

...бросая взгляды... вслед больничной сиделке... – Сценка, варьируемая и в «Портрете» (гл. V, запись в дневнике за 22 марта), и в «Улиссе» (эп. 3).

Мистер Панч – известный фольклорный персонаж, особенно популярный по юмористическому журналу «Панч».

Доулэнд, Джон (1583?–1626) – композитор и лютнист, песни которого Джойс необычайно любил; упоминается и в «Портрете», и в «Улиссе».

...о... расточительной религиозности... ценности таинств. – Фраза сливает два пассажа из «Портрета художника», см. с. 23 и 24.

Патер Хили – его прототип не выяснен.

Эшмид-Бартлетт, Эллис (1849–1902) – английский политик-консерватор, решительный противник Гладстона.

Джон Бойл О’Рейли – третьестепенный ирландский литератор патриотического направления, писавший в последние десятилетия XIX в.

frode – имеется в виду строка из «Ада»: *Ma perche frode e del’uom proprio male* («Но коль скоро обман есть зло, присущее человеку...» – «Ад», XI, 25).

...шалых и нелепых невинностей... – Выражение из «Портрета художника», см. с. 25. «Шальные невинности», *foolish virginities*, – производное от употребленного выше выражения «шалые девы», *foolish virgins*, которое, будучи калькой французского *vierges folles*, служит одним из обычных синонимов распутниц и проституток. Т. о., Джойсова игра слов означает уподобление послушно-благочестивого юношества продажным женщинам, а университета – лупанарию.

...мистеру Дедалу... переместил свой лагерь. – Частые переезды бедневшего семейства Джойсов отражены также в «Портрете», гл. II и гл. IV.

Унесет мое сердце к тебе... – из песни «Южные ветры», которую Дедал-отец исполняет также в своем карнавальном появлении в миражах «Цирцеи» («Улисс», эп. 15), а в жизни любил петь Джойс-отец.

...когда... играли на пианино... просила открыть дверь ее комнаты... – В «Улиссе» (эп. 1) эта деталь отнесена к болезни матери.

На Аранские острова с гэльской группой приглашает поехать Габриэла Конроя мисс Айворз в «Мертвых».

...знак вульгарных страстей. – См. выше прим. к с. 48.

Видения... крушений... как наваждение зла... – парафраз «Портрета художника», с. 28–29.

Силуэт... возник в глубине комнаты... – Отсюда и до конца главы – расширенная переработка эпифании 19, где еще имена – как в жизни: мать – миссис Джойс, Стивен – Джим и Айсабел – Джорджи. В обоих случаях описана сцена незадолго до

смерти Джорджа, в марте 1902 г., когда у него начался перитонит. От такого же внезапного перитонита умрет и сам Джойс, так что можно с небольшой натяжкой считать, что в этой ранней эпифании он описал и свою смерть.

[XXII]

...дядюшка... в молодости нечто себе позволил... – Описанный случай отвечает сюжету созданного в тот же период, летом 1905 г., рассказа «Пансион» в «Дублинцах»; герой рассказа, Боб Дорен, появляется также в «Улиссе» (эп. 12 и др.).

Кладбище Гласневин – главное католическое кладбище Дублина, место действия эпизода «Аид» в «Улиссе».

Девочка... бежала на шаг впереди... – вариация эпифании 21; другая вариация этой же эпифании – в «Аиде».

Из ризницы вышел патер... – В сценах службы и похорон целый ряд выражений и деталей затем повторяются в «Аиде»; сравнительно с «Героем Стивеном», описания «Аида» весьма расширены.

Макканн... потряс руку Стивена... причиняет боль. – Вариация эпифании 22, где персонажи еще именуется как в жизни: Skeffington, Джойс, и речь о смерти брата, а не сестры.

Отец Артифони – отец Гецци, преподававший Стивену итальянский язык в университете. В «Портрете» он выведен под своим именем; в «Улиссе» же имя Альмидано Артифони носит персонаж, прототип которого уже не Пецци, а действительный Альмидано Артифони, директор школы Берлица в Триесте (Джойс познакомился с ним в 1904 г.).

«Изгнание торжествующего зверя» (1584) – один из ранних диалогов Джордано Бруно, который инквизиция признала наиболее еретическим.

Бруно... был ужасно сожжен. – Приводимый обмен репликами повторен в пересказе в дневнике, заключающем «Портрет» (запись за 24 марта).

Третья Италия – здесь: итальянская община в Ирландии.

Ирредентизм, от ит. *irredenta*, неискупленная, – итальянское политическое течение, стоявшее за присоединение к Итальянскому государству всех населенных итальянцами областей, включая Папскую область.

...волосы его были завиты спереди. – У Джойса – знаковая деталь, говорящая о напыщенной претенциозности и внешней подделке; ср. сатирический образ в «Улиссе»: «рифмоплет, волосенки мажет медвежьим салом, над десным оком завиточек приклеен» (эп. 13).

...странную кончину французского писателя-атеиста... – вариация фразы о смерти Золя в «Портрете художника», см. с. 24.

Они восхищались Гладстоном... память кардинала Коллена. – Почти неизменный пассаж из «Портрета художника», см. с. 24–25 и прим. к ней.

Церковь говорит... – парафраз Ин. 15: 13: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Ренан говорит... – весьма неточная передача известного изречения Ренана «Религии порождаются мучениками».

Песня – простое ритмическое высвобождение эмоции. – Ср. в «Портрете»: «Форма лирическая – это... простейшее словесное облачение момента эмоции» (гл. V).

...Стивен набрел на старую библиотеку... – Посещения библиотеки Марша (где Джойс был всего дважды, 22 и 23 октября 1902 г., и читал не книги Треченто, а венецианское издание Иоахима Флорского 1589 г.) упоминаются также в эп. 3 «Улисса».

Ересиарх из Ассизи – разумеется, это наименование св. Франциска Ассизского справедливо лишь в том очень условном смысле, что францисканское движение встречало в Церкви не только поддержку, но и противодействие.

Илия – Илия да Кортоне, глава францисканского ордена в 1221–1239 гг.

Иоахим – Иоахим Флорский, см. прим. к с. 26.

...снес... бремя грехов своих... – исповедь и причастие Джойса в церкви капуцинов в декабре 1896 г., описываемые в конце гл. III «Портрета».

Якопоне – Якопоне да Тоди, францисканский поэт-мистик XIII в., написавший, в частности, знаменитый гимн о Богородице у распятия «Stabat Mater dolorosa».

...загадкам высокомерного Иисуса... – Загадочность Иисуса – сквозная его черта у Джойса; ср. напр., в «Улиссе»: «Долгий взгляд темных глаз, загадочные слова» (эп. 2).

Они образуют свою отдельную церковь... призывающие к себе других. – Аллюзии на речи Ахерна в повлиявших на Джойса «Скрижалях закона» Йейтса, где он, в частности, говорит, что «открыл закон своего бытия» и что может «достичь Бога лишь благодаря чувству отделенности от него, которое мы называем грехом».

...выверт начал окрашивать его жизнь. – Парафраз «Портрета художника», см. с. 26.

...водить омара на ярко-голубом поводке... – Теофиль Готье в книге «Портреты и литературные воспоминания» (1875) рассказывает, как Жерар де Нерваль прогуливал омара на поводке в садах Пале-Рояля.

Bonum simpliciter... bonum arduum. – Согласно Фоме Аквинскому, первое понятие – благо само по себе, противопоставляемое благу по отношению к чему-либо (bonum secundum quid); к этому роду причисляются, в частности, внешние блага, такие как почести и богатства. Благо же труднодостижимое выступает предметом надежды.

[XXIII]

Королевский университет, открытый в 1882 г., также обучал студентов-католиков, но, в отличие от Университетского колледжа, где учился Джойс, не был под эгидой иезуитов.

...выпуск ежемесячного журнала... – В университете, где учился Джойс, выпускался студенческий журнал «Святой Стивен» (напомним, что университет находился в парке Святого Стивена); его редактором был Константин Каррен, выведенный в «Портрете» как Донован, коротко знакомый с Джойсом и оставивший воспоминания о нем.

...мне заплатят? – Я думал, что ты идеалист... – подобный обмен репликами – типовой для образа Стивена: он присутствует и в «Портрете» (в сцене с адресом русскому царю, гл. V), и в «Улиссе» (эп. 1, с Хейнсом, и эп. 9, с Эглинтоном).

...священник, читающий «Тэблет»... («Скрижаль», ультракатолический журнал) и негодующий на Стивена и Крэнли – сценка, повторяемая в «Портрете» (гл. V).

Быстрый и легкий ливень прошел... звериный рев... – Эта сцена после дождя, переходящая в воспоминание о колледже Клонгоуз, – расширенная переработка эпифании 25. Заключительный образ малыша Стивена, затыкающего-оттыкающего уши в столовой Клонгоуза, отсутствует в эпифании, но присутствует в начале «Портрета» (с. 414).

...искусство жеста... – Тезис Стивена и последующая мизансцена варьируются в «Улиссе» (начало эп. 15).

«О, эта грусть желтых песков» – песня Ариэля в «Буре» (I, 2), которая была положена на музыку Перселлом.

Дух современности – вивисекторский дух. – Вивисекция была активно обсуждаемой темой в последние десятилетия XIX в. в связи с развитием экспериментальной медицины и, в частности, широко известными работами Клода Бернара. О ней писали Золя, Гюйсманс и др., и Джойс был явно знаком с некоторыми из этих писаний.

Древний метод рассматривал закон с фонарем справедливости... – метафора рассмотрения явлений «с фонарем» некоторого принципа, очень возможно, взята из Предисловия к «Наоборот» К. Гюйсманса (1903).

Италия... нача[ла] рассматривать преступника в его становлении и действии. – Имеются в виду весьма популярные тогда теории Ч. Ломброзо (1838–1909) и его школы.

...женщина... маленького роста... соломенная черная шляпка. – Этот же образ уличной женщины проходит в «Улиссе» (эп. 11, 13, 16).

...рассказ о смерти Иисуса... – Э. Ренан. Жизнь Иисуса, гл. 25.

...Иисус был маньяком. – Ренан не выдвигает такой теории, но говорит, что чудеса и деяния святых позитивистская наука могла бы приписать болезни мозга, и это лишь свидетельствует об ее ограниченности («Жизнь Иисуса», гл. XVI, XXVIII).

Яшодхара – в буддийской мифологии, кузина и жена Будды Шакьямуни.

«Омыты в крови Агнца» – протестантский гимн.

...небольшой крест!.. рабскую покорность. – парафразы «Портрета художника», см. с. 25.

...обездоленный... – сквозная черта образа Стивена в его сознании, имеющая

переключки с «Айвенго» Вальтера Скотта и сонетом «El desdichado» Жерара де Нерваля.

Службу клерком у Гиннеса рекомендовал Джойсу его декан о. Джозеф Дарлингтон, а Стивену – о. Батт (см. ниже. гл. XXV).

...шалльных... невинностей! – См. выше, прим. к с. 164.

...чуму, имя которой – католицизм. – Последующий абзац – одна из основных деклараций, показывающих, что движущий мотив антихристианства раннего Джойса – сложившаяся у него оппозиция: дух христианства – дух жизни, творчества, красоты (почти синонимичных для него).

«Каллиста» (1856) – роман Ньюмена, где яркое описание нашествия саранчи (гл. XV) стало знаменитым и общеизвестным.

...голос нового человечества... – Вера в светлое будущее – стойкий компонент убеждений молодого Джойса, с пафосом утверждаемый в финалах его ранних текстов («Триумф черни», «Портрет художника», «Портрет художника в юности»), но позднее перешедший в свою противоположность.

Я буду в саду. Откройте окно... – Эта же мизансцена, но в платонически-мелодраматической модуляции – в финале «Мертвых» (рассказ Греты); ее происхождение – эпизод юности Норы Барнакл, рассказанный ею Джойсу.

[XXIV]

...важность Гёте... – Имеется в виду гётеанская тема неудержимой изменчивости, преходящего характера человеческих чувств.

Симония – продажа даров Божиих, даров духовных за деньги – одно из стойких обвинений Джойса в адрес христианских институтов.

Женщина... продала тело государству... – Ср. реплику Стивена в «Улиссе» (эп. 16) по поводу этой же женщины: «Она дорого покупает и дешево продает».

...признак современного духа – стремление избегать... абсолютных утверждений. – Тезис, почерпнутый Джойсом у Уолтера Патера и повторяемый также в рецензии 1903 г. на драму Ибсена «Каталина».

Тим Хили (1855–1931) – ирландский политик, ближайший сподвижник Парнелла, ставший затем его противником; его личность и действия вызывали ярые споры, отголоски которых есть и в «Портрете», и в «Улиссе».

...изготавливает торпеду. – Аллюзия на стихотворение Ибсена «Моему другу, революционному оратору», которое заканчивается строками: «Вы при Потопе постройте флот, / Я же с наслаждением торпедирую ковчег». Позднее Джойс активно использует это стихотворение в «Поминках по Финнегану».

Экклз-стрит – улица, где в доме 7 в 1908–1910 гг. жил Берн (Крэнли) и где Джойс поселил Блума в «Улиссе».

«Вилланелла искусительницы» – вилланелла Стивена – трудно сказать, эта или иная

– текстуально приводится в «Портрете» (гл. V).

...ирландского паралича. – Паралитичность ирландской жизни – частая тема раннего Джойса, вошедшая, по его словам, в концепцию «Дублинцев» и явно возникающая в рассказе «Сестры». См также выше, в гл. XXI, XXIII и «Портрет художника», с. 30. На появление этой темы у Джойса повлияли, возможно, популярные тогда идеи Макса Нордау о вырождении.

...нащупыванья духовного ока... – Тема «духовного ока» традиционна в поэзии, мистике, философии; к контексту Джойса довольно близко ее появление у Ницше в «Рождении трагедии», где он говорит, что «для одухотворенного взора мир бесконечно расширяется и освещается изнутри» (разд. 21. Пер. Г. А. Рачинского // Ф. Ницше. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 143).

Ни одна эстетическая теория... – Аналогичное эстетическое рассуждение в «Портрете» развивается в беседе с Линчем.

...черным... желтым... – Здесь Джойс не исправил своей ошибки: траурный цвет в Китае – белый.

...цельность, симметрия и сияние. – Следует обсуждение тезиса Фомы, который Стивен приводил прежде в беседе с ректором (гл. XVIII). Обсуждение весьма близко к беседе с Линчем в «Портрете», но здесь оно дополнительно связывается с идеей эпифании; quidditas – схоластическая категория «чтойности» или «самости» вещи.

...мимо них прошла Эмма. – Эта же сценка – в гл. V «Портрета».

Поелику трогаем – это выражение приписывается Крэнли и в «Портрете».

[XXV]

Крэнли... ковырял в зубах... необычайно тщательно... – навязчивая деталь образа Крэнли также и в «Портрете».

Арно – река, протекающая через Флоренцию.

На углу у Ноблетта... – один из магазинов дублинского кондитера Ноблетта, в центре города, на Грэфтон-стрит.

Отец Батт... намекнул на... вакансии... – предложение Стивену места в колледже не фигурирует в «Портрете», но в жизни подобное предложение Джойсу делалось.

...службу клерком у Гиннеса... – См. выше с. 194 и прим.

...погибнете... от истощения... – Эта и ряд других реплик отца Батта в этой беседе, в «Портрете» произносятся им при другой встрече со Стивеном – в сцене с разжиганием камина.

...иезуиты... в два счета могут тебя устроить. – В «Портрете» Дедал-отец произносит сходные реплики об иезуитах в связи с устройством Стивена в колледж Бельведер, в гл. II.

...хлестать портер... приличное поведение... – Приличным для человека общества было бы

взять виски, а не пинту портера.

...не повстречал другой Люси... – Отсыл к некоему эпизоду из недошедшей части романа, который, по контексту, аналогичен эпизоду встречи на пляже, заключающему гл. IV «Портрета» (возможно и то, что этот эпизод в «Портрете» попросту перенесен из «Героя Стивена»). В «Портрете» героиня встречи не названа, и здесь мы узнаем ее имя. С учетом ударной, ключевой роли эпизода в «Портрете» (поздней он же станет ключом и к эп. 13 в «Улиссе»), весьма возможно, что имя несет символический смысл, от *lux*, свет.

...встречал... промокших Братьев-христиан или полицейских агентов в штатском... – Вновь нарочитое сближение Церкви и полиции. Братья-христиане – организация католиков-мирян, содержащая сеть дешевых школ для малоимущих сословий. Встреча с Братями-христианами на берегу – эпизод в гл. IV «Портрета».

Ты... низменная личность... ты непременно вылезешь преподнести мне... пакость. – В связи с этой характеристикой Линча см. прим. к с. 144.

...похабные вонючие преисподние... – Ср. «Портрет художника», с. 29, а также проповедь об аде в гл. III «Портрета». Тема адских мук, первоначально породившая у Стивена – и Джойса – «лихорадочный приступ святости» (свидетельство Стивена в гл. XV), впоследствии стала восприниматься им как одна из самых отталкивающих черт христианской религиозности. Ср. в «Улиссе» реплику Маллигана о Стивене: «Ему свихнули мозги картинами адских мук» (эп. 10).

Не буду служить... – Известная нам часть романа заканчивается уже отмечавшимся лейтмотивом богоборческого освобождения. В «Портрете» финал будет сходным, но будет и существенно обогащен: согласно метафорической концепции этого романа, освобождение является также завершением «внутриутробного развития» художника, вынашивания им самого себя, – и его рождением в мир.

...я за это взялся как следует. – У Джойса родились планы написать Ибсену письмо по-норвежски, что он и исполнил в марте 1901 г.

## Дублинцы

Первая книга прозы Джойса, выпущенная им в свет, родилась по случаю и по заказу. В июне или июле 1904 г. начинающий литератор получил следующее письмо:

Дорогой Джойс. Прочтите рассказ в этой газете, «Айриш хомстед». Могли бы вы написать что-нибудь простое, сельское, оживляющее, с настроением и чтобы не скандализовало читателей. Если вы пришлете короткий рассказ, приблизительно на 1800 слов, главный редактор вам выдаст 1 фунт. Это быстрый заработок, если вы пишете легко и не видите препятствий к тому, чтобы однажды польстить простым умам и простым вкусам. Можете взять какой угодно псевдоним. Ваш искренне,

Дж. У. Рассел

Предложение исходило от одного из лидеров Ирландского литературного возрождения, и начинающий литератор охотно воспользовался случайным шансом. Но в жизни гения,



как настаивает Джеймс Джойс, нет места случайности, «все его блуждания – врата открытия». Если же изъясняться не столь возвышенно, то мы скажем, что молодой Джойс сумел превратить случайный шанс в решающую ступень своего писательского становления. На основе малого предложения немедленно вырастает крупный и самостоятельный замысел. Уже в начале июля Константину Каррену, университетскому другу Джойса, пишется такое письмо:

Дорогой Каррен. Неоценимо! Тысяча благодарностей! Я закончил жуткую главу, на сто две страницы, и теперь книга у Рассела. Через неделю я пришлю тебе эту главу. Я сочиняю серию эпиклезов – числом десять – для одной газеты. Первый уже закончен. Всю серию я назову «Дублинцы», чтобы дать возможность разгадать душу этой гемиплегии[147 - Гемиплегия – односторонний паралич.] или этого паралича, который многие принимают за город. В скором времени ожидай роскошного издания всех моих лимериков. Следующие сочиняются.

С. Д.

Книга, о которой здесь речь, – «Герой Стивен», бурно писавшийся еще с зимы, но оставшийся тем не менее только неизданной, «виртуальной» прозой. Инициалы в конце письма означают «Стивен Дедал», псевдоним, под которым вскоре появятся и первые «эпиклезы». Эпиклезис – литургический термин, призывание Духа Святого снизойти на Святые Дары, хлеб и вино, и их претворить в Тело и Кровь Христовы. Два вычурных и, казалось бы, абсолютно посторонних слова, эпиклезис и гемиплегия, на поверку сгущенно выражают готовую и очень цельную концепцию художественного замысла. Писатель замышляет цикл рассказов, в которых будет выражена душа Дублина – города, который взгляду художника видится как феномен паралича, полного или одностороннего. И это выражение души средствами искусства, эстетический акт, есть действие высших сил, если угодно, священнодействие, «эпиклезис»: как видим, здесь налицо то самое замещение религии искусством, поставление искусства на место религии, что составляет суть духовного переворота, совершившегося с художником в юности. Заявленная термином литургическая параллель со всей отчетливостью утверждается в общении с братом Станни: «Тебе не кажется, что есть сходство между тайной Мессы и тем, что я пытаюсь делать... претворяя хлеб обиденной жизни в нечто, имеющее собственную и непреходящую жизнь в искусстве (artistic life)?»[148 - Joyce S. My Brother's Keeper. N.-Y.: Viking Press, 1958. P. 103–104.] Другим знаковым словом, столь же наглядно показывающим замену религии Христа религией искусства, служит у Джойса «эпифания».

Писательскому темпераменту Джойса свойствен бурный старт. Невзирая на сложные обстоятельства, на отъезд из страны 9 октября 1904 г., на прекращение публикации цикла после трех первых «эпиклезов», – «Дублинцы» создаются неумоимо, параллельно с «Героем Стивеном»; но если последний постепенно начинает казаться неудачным и не доводится до конца, то «Дублинцы» благополучно достигают завершения. На пути к нему они, однако, также не избегают творческих кризисов.

Первоначально намеченное число «эпиклезов» – десять. Затем это число возрастает до двенадцати; и осенью 1905 г. автор пишет из Триеста лондонскому издателю Гранту Ричардсу, предлагая сборник к изданию: «Моя вторая законченная книга[149 - Первая книга – сборник стихов «Камерная музыка», который Джойсу удастся выпустить в свет лишь в 1907 г.] называется «Дублинцы». Это последовательность из двенадцати коротких новелл. Возможно, вы решите, что она может иметь

коммерческий успех». В это же время он сообщает брату Станиславу, как видится ему строение сборника: «Рассказы идут в следующем порядке: «Сестры», «Встреча» и еще один[150 - «Аравия».], – это истории из моего детства; «Пансион», «После гонок» и «Эвелин» – истории из отрочества; «Земля», «Взаимные дополнения» и «Печальное происшествие» – взрослые рассказы; «День плюща в Зале Заседаний», «Мать» и последний рассказ в книге[151 - «Милость Божия».] – истории из общественной жизни Дублина. Когда подумаешь, что Дублин служит столицей уже тысячи лет, что это – «второй» город Британской Империи, что он почти втрое больше Венеции, – странным кажется, что ни один художник до сих пор не представил его миру» (письмо от 24 сентября 1905 г.). В своей основе эта простая схема сохранилась и в окончательной форме сборника, в которой он ныне известен нам. В феврале 1906 г. к дюжине добавляется новый рассказ, «Два кавалера», и автор предлагает его прислать издателю, «если только число тринадцать не будит в вас суеверных опасений»; а весьма вскоре, в апреле, возникает еще один рассказ, «Облачко». Место им находится без труда: «Два кавалера» помещаются рядом с «Пансионом», «Облачко» – с «Взаимными дополнениями», поскольку в обоих случаях имеются явственные переключки.

So far so good. Хотя тут и там в рассказах «Дублинцев» видна еще печать раннего периода с его внешними заданиями, идейными и техническими, с отработкою приемов письма, – здесь, без сомнения, также налицо новое и оригинальное видение самого жанра рассказа, проведенное сильно и уверенно (и неоспоримо родственное новеллистике Чехова[152 - Тут всегда, впрочем, напоминают утверждение Джойса (сделанное им своему биографу Х. Горману) о том, что в годы сочинения «Дублинцев» он еще не читал Чехова. Во всем корпусе текстов Джойса, включая письма, никаких упоминаний Чехова нет.]). У художника были все основания считать родившийся цикл новелл творческой удачей. И тем не менее – в творческой истории книги тут же настает трудности. Автора не покидает ощущение, что его труд еще не имеет последней завершенности, ему чего-то недостает; и мысль его продолжает продуцировать идеи и замыслы, связанные с формой рассказа. Первый из таких замыслов не продвинулся никуда, но тем не менее стал позднее широко известен, ибо для нового рассказа Джойс наметил имя «Улисс» – и теперь этот замысел считают самым ранним истоком великого романа. Вся история его – пунктир из кратких сообщений в письмах к Станни:

30 сентября 1906 г., постскриптом к открытке: «В уме у меня новый рассказ для «Дублинцев». Он будет про мистера Хантера».

13 ноября 1906 г.: «Я собрался начать рассказ «Улисс», но сейчас слишком много дел... А что ты думаешь о таком названии рассказа про Хантера?»

3 декабря 1906 г.: «Пиши мне также про Хантера».

6 февраля 1907 г.: ««Улисс» так никуда и не пошел дальше названия».

Последний вердикт оказался поспешен. Альфред Х. Хантер, дублинский еврей, которому, по слухам, изменяла жена, внес явный вклад в образ Леопольда Блума; и уже в конце написания романа Джойс снова спрашивает о нем, на сей раз – у своей тетушки Джозефины Мерри: «Что ты знаешь про Хантера, который жил на Клонлифф-роуд?» (письмо от 14 октября 1921 г.).

Следом за идеей «Улисса» у художника возникает целый букет других идей для рассказов. Письма к брату в начале 1907 г. говорят о родившихся «идеях трех или четырех маленьких бессмертных новелл», указывают и их названия: «Тайная вечеря»,

«Улица», «Никакого выхода», «Мщение», «Катарсис». С этими идеями ассоциируется и план, который сообщался брату еще летом 1905 г.: «Я имею намерение закончить «Дублинцев» к концу года и продолжить их книгой «Провинциаль»» (письмо от 12 июля 1905 г.). Не случайно, что в этот же период изобилия бродящих идей он раскрывает брату ходы своего писательского воображения: «Странно, откуда берутся идеи для рассказов. Маленький глупый Вудмен доставил мне «Пансион», Ферреро – «Двух кавалеров»[153 - См. комментарий к указанным рассказам.]. Другие пришли от меня самого или от чего-то услышанного. Сейчас у меня что-то такое варится в голове, но вообще зима у меня закрытый сезон» (письмо от 11 февраля 1907 г.). Но все перечисленные рассказы, равно как и сборник «Провинциаль», никогда не материализовались. Все проекты и колебания этого периода нашли свое разрешение в том же 1907 г., в создании «Мертвых».

Издательские проблемы разрешались дольше и были болезненней. Мытарства рукописи «Дублинцев» поражают воображение; укажем кратко главные вехи их. 3 декабря 1905 г. рукопись (из двенадцати рассказов) послана лондонскому издателю Гранту Ричардсу. В феврале 1906 г. между ним и автором заключается контракт, предполагающий издание уже 14 рассказов. Вскоре, однако, печатник отказывается их набирать, опасаясь преследования за их «безнравственность» (по английскому закону вина была бы возложена на него равно с издателем). После изнурительных дискуссий в октябре 1906 г. рукопись была возвращена автору. В следующие два года Джойс пытается найти другие контакты и наконец после длительной переписки, во время своего визита в Дублин летом 1909 г., он заключает контракт с дублинским издательством «Маунзл», одним из руководителей которого был литератор Джордж Робертс, давний его знакомый. Сроком публикации определен был июль 1910 г., но задолго до этой даты издатели начали требовать изменений и купюр. Последовала новая серия дискуссий, еще более изнурительная и долгая, растянувшаяся до 1912 г. В конце концов, однако, в период третьего и последнего визита Джойса на родину летом 1912 г. тираж книги был отпечатан. Тем не менее он не вышел в свет. В последний момент издатели выставили новые требования, а когда соглашение по ним было достигнуто, на сцену вновь выступил печатник, и очень решительно: он попросту объявил, что весь тираж будет уничтожен. Что и было сделано. Казнь книги стала подлинной и тяжелой травмой для автора. В тот же день, 11 сентября 1912 г., он покинул Ирландию, чтобы никогда уже не вернуться. Сразу же за событием он выразил все, что думал по его поводу, в резком стихотворном памфлете «Газ из горелки».

Публикация многострадальной книги состоялась наконец в 1914 г., когда тот же Грант Ричардс выразил согласие выпустить ее в свет уже без всяких условий и претензий к ее тексту. Но мытарства не закончились на этом. По разным техническим причинам издание оказалось весьма неисправным: оно не прошло предполагавшейся второй корректуры, а множество исправлений, присылавшихся Джойсом, не были внесены. В итоге выправленный текст «Дублинцев», отвечающий воле автора, появился в свет лишь спустя четверть века после его кончины. Это было издание, подготовленное Робертом Шоулзом на базе целого ряда его текстологических штудий.

Первый русский перевод сборника появился в печати еще в 1927 г. и стал первой книгой Джойса, выпущенной в СССР: Дублинцы / Перевод и предисловие Е. Н. Федотовой: Л., Мысль, 1927. Этот перевод был неполным: в издание не вошли «Сестры», «Встреча», «Милость Божия» и «Мать». Полный перевод, выполненный теми же советскими переводчицами, что участвовали в незавершенном проекте перевода «Улисса» (Е. Д. Калашниковой, В. М. Топер и др.), вышел в свет в 1937 г.: Дублинцы / Перевод под ред. И. А. Кашкина. Послесловие Н. Гарина (псевдоним И.

И. Анисимова. – С. Х.). В дальнейшем он не раз переиздавался.

Настоящий перевод выполнен нами по указанному выше выправленному критическому изданию: *Dubliners* / Ed. R. Scholes. N.-Y.: Viking Press, 1969.

## Сестры

Рассказ, написанный первым из всего цикла, Джойс помещает первым и в полном составе «Дублинцев». Причины к тому прозрачны. В контексте сборника в целом вещь сразу обнаруживает свой стратегический смысл – смысл ожившей метафоры. Идея параличной дублинской жизни, определявшая замысел книги изначально, на первых же ее страницах с силою воплощается в образах последних дней и кончины старого паралитика – и небольшой текст, будто камертон, задает тон всей книге. Эти образы, пожалуй, уже отдаленно предвещают беккетовских калек; а прием ожившей метафоры в дальнейшем станет у Джойса одним из активно используемых средств. Ранний и малый текст, что может легко показаться незначительным, на поверку заряжен и чреват не менее зрелой прозы Джойса.

«Сестры» были опубликованы в выпуске «Айриш хомстед» за 13 августа 1904 г. под псевдонимом Стивен Дедал (что было первым появлением этого имени в печати). В дальнейшем рассказ прошел две редакции, в октябре 1905 г. и июне-июле 1906 г.; последняя редакция существенно изменила и расширила текст.

1 июля 1895 г. – выбор даты обдуман (в раннем варианте было 2 июля). У католиков этот день – праздник Крови Христовой, что соотносится с мотивом чаши, которую священник разбил и которая была вложена в руки его на смертном одре (в раннем варианте в руках его были четки). Кроме того, по католическому календарю это же и день св. Симеона Юродивого, то бишь безумца (VI в., день памяти по православному календарю – 21 июля).

Его Преподобие Джеймс Флинн... – В роду матери Джойса был приходской священник о. Флинн, который вынужден был оставить службу из-за умственного расстройства.

Я чувствовал, что я... может быть в Персии... – Первое появление типового сна прозы Джойса – сна о Востоке, со штампами «восточного колорита». Дальнейшие образцы – сны Стивена и Блума в «Улиссе».

...был совершенно отрешенным. – В неоднократных повторениях слова «отрешенный» (*resigned*) имеется в виду также и второй его смысл, «отставленный от должности».

## Встреча

По свидетельству Станни, брата автора, встреча описанного типа произошла у двух братьев в 1895 г.; пожилого педераста, которого они приняли тогда за сумасшедшего, сбежавшего из лечебницы, встречали и другие их знакомые. В отличие от «Двух кавалеров» и «Взаимных дополнений» в издательских мытарствах «Дублинцев» рассказ сначала не вызывал обвинений в непечатности, но, когда сам Джойс в письме намекнул Гранту Ричардсу на особенности его темы, тот немедленно потребовал его удаления.

Рассказ был закончен в середине сентября 1905 г. и был девятым в порядке

написания цикла. Позднейшая редакция его была минимальной.

...в нашем колледже! – Прототипом колледжа служит, очевидно, иезуитский колледж Бельведер, подробно описываемый в «Портрете художника в юности».

...прогуляться до Голубятни. – Популярный маршрут воскресных прогулок дублинцев. «Голубятня» (Pigeon House) – место пивного заведения, которое некогда содержал м-р Пиджен, т. е. «голубь»; затем на этом месте была сооружена Дублинская электростанция.

...пеленальщики! – Одно из презрительных прозвищ, которые давали католики протестантам. Происходит из исторического анекдота: католики-миряне не читали Писания, и один из них, попав на протестантскую проповедь и услышав там текст «найдете младенца в пеленах» (Лк. 2: 12), нашел последнее слово смешным и обозвал проповедника «пеленальщиком».

Дойдя до Утюга... – так прозывали в старом Дублине вход на городской пляж из-за его очертаний.

Томас Мур (1779–1852) – широко популярный ирландский поэт-романтик. У Джойса часто упоминаются и он сам, и его стихи, в особенности из цикла «Ирландские мелодии» (1807–1835).

## Аравия

Благотворительный базар «Аравия» с выручкой в пользу одной из дублинских больниц устраивался в Дублине 14–19 мая 1894 г.

Рассказ сочинен одиннадцатым в порядке написания цикла. Его текст, законченный в сентябре-октябре 1905 г., в дальнейшем не подвергался заметным изменениям.

...из школы Братьев-Христиан... – организация католиков-мирян, содержавшая сеть дешевых школ для малоимущих сословий.

«Записки Видока» – «Записки» знаменитого французского сыщика-авантюриста, вышедшие в свет впервые в 1828 г., далеко не принадлежали к благочестивой литературе.

«Сбирайтесь все» – традиционный зачин ирландских народных песен при их исполнении уличными певцами.

О’Донован Росса (1831–1915) – один из знаменитых вождей ирландских воинствующих националистов.

«Прощание араба со своим скакуном» – стихотворение Кэролайн Нортон (1808–1877).

## Эвелин

Рассказ, сочиненный следом за «Сестрами», вторым в цикле, явственно продолжает ту же тему парализованности, оцепенелости ирландской жизни, чреватой срывами в

безумие, в бессильный бунт. Он был опубликован в «Айриш хомстед» 10 сентября 1904 г. под тем же псевдонимом Стивен Дедал; для книжной публикации он был заметно отредактирован и местами переписан.

Блаженная Маргарита Мария Алакок (1647–1690), к которой восходит культ Сердца Иисусова, была необычайно почитаема в Ирландии задолго до своего прославления в 1920 г. В связи с лейтмотивом «Дублинцев» не исключено, что, вводя ее упоминание, Джойс учитывал следующую деталь ее жития: в детстве она четыре года пролежала в параличе.

«Цыганка» – опера ирландского композитора Майкла У. Болфа (1808–1870).

После гонок

Реальный план рассказа – Международные автомобильные гонки на кубок Гордона Беннетта, происходившие в окрестностях Дублина 2 июля 1903 г. За три месяца до события, в начале апреля, Джойс, находясь в Париже, взял интервью у одного из его французских участников, которое было опубликовано в газете «Айриш таймс».

Рассказ был написан после «Эвелин», третьим в цикле, и опубликован в «Айриш хомстед» 17 декабря 1904 г., также под псевдонимом Стивен Дедал. Автор был весьма не удовлетворен текстом; в 1906 г. он писал брату, что хотел бы переписать рассказ и считает его наряду с «Печальным происшествием» худшим в сборнике. Соответственно, текст подвергся неоднократной и значительной редакции.

...их друзей французов. – Среди ирландцев было широко распространено дружественное отношение к французам как союзникам, от которых можно ожидать поддержки и помощи против англичан. В целом ряде исторических эпизодов Франция действительно пыталась оказывать такую поддержку, однако ни одна попытка не была успешной. Но все же, по крайней мере, Франция всегда оставалась главным прибежищем ирландской политической и повстанческой эмиграции.

...водитель победившей немецкой машины был... бельгиец. – Победителем в гонках 2 июля 1903 г. стал Енаци, представлявший Германию и упоминаемый в «Улиссе» (эп. 14).

...ряд... контрактов от полиции... – Джойс специально выяснял через брата, что полиция Дублина заключала подобные контракты.

...Дублинский университет. – Имеется в виду протестантский Тринити-колледж, что соответствует переходу отца Джимми на проанглийские позиции.

«Cadet Roussel» – парижская кафешантанная песенка начала XX в.

Два кавалера

Этот типичный «эюд городских нравов» или, по выражению самого Джойса, «ирландский пейзаж», был сочинен уже к концу цикла и очень ценился автором. Защищая рассказ от исключения из сборника, он писал Гранту Ричардсу: «Удалить рассказ было бы катастрофой, это один из самых важных в книге. Я бы скорее пожертвовал пятью другими (могу их назвать), чем этим. Он нравится мне больше».

всех, после «Дня плюща в Зале Заседаний»» (письмо от 20 мая 1906 г.). Тем не менее он все же затем согласился на это исключение – пожалуй, самая болезненная из его уступок во всей столь болезненной издательской истории сборника.

По приведенному свидетельству автора, идея рассказа подсказана итальянским историком Гильельмо Ферреро (1871–1943); но брат Станни поясняет в своей книге «Сторож брату моему», что ссылка на Ферреро означает в действительности ссылку на «Трех мушкетеров»: в книге «Молодая Европа» (1897) Ферреро, описывая моральный кодекс солдата, упоминает эпизод, где Портос заполучает деньги от своей дамы. Оба героя-кавалера прочно принадлежат к созданной Джойсом галерее дублинских персонажей, оба фигурируют и в «Улиссе»: Корли – в эп. 16, Ленехан – в целом ряде эпизодов, с теми же опознавательными деталями – морская фуражка, французские словечки. Оба имеют прототипов: Ленехан, хотя и носит имя репортера «Айриш таймс», списан Джойсом близко к натуре со своего приятеля Майкла Харта, спортивного журналиста; Корли же был и в жизни сыном полицейского инспектора; узнав от Джойса, что тот его описал в рассказе, он выразил свой полный восторг.

Рассказ был написан зимой 1905/06 г. и послан Гранту Ричардсу 23 февраля 1906 г. Последующие изменения текста, по-видимому, не были значительны.

...на манер флорентийцев. – Произношение с придыханием, как Хорли.

Беспутный Лотарио – ставший нарицательным соблазнитель из трагедии Николаса Роу «Чистосердечно раскаявшийся» (1703).

«Безмолвна О'Мойл» – начальная строка ставшего народной песней стихотворения «Песнь Фионнулы» из цикла «Мелодий» Томаса Мура.

Холохан – также из галереи дублинских типов, фигурирует в рассказе «Мать» и упоминается в «Улиссе».

Маленькая золотая монета – совершен или полусовершен; в описываемое время заработок домашней прислуги не менее чем за две-три недели.

## Пансион

Сюжет рассказа подсказал автору «маленький глупый Вудмен» – коллега по школе Берлица в Триесте, поведавший ему слухи, что ходили насчет хозяйки школы и ее дочери. С другой стороны, аналогичная история упоминается и в «Герое Стивене», где ее героем служит «один из дядюшек» Стивена. В своей дальнейшей женатой жизни Боб Дорен, протагонист рассказа, изображен в «Улиссе» (эп. 12 и др.). Имя героини, Полли Муни, позаимствовано у одной из подруг Норы, жены автора.

«Пансион» – пятый из рассказов сборника в порядке написания. Сохранившаяся рукопись имеет дату 1 июля 1905 г. и подпись «Стивен Дедал», делающую вероятным, что автор хотел послать, а возможно, и посылал рассказ в «Айриш хомстед» (но публикации его там не было). В числе других «Пансион» также был предметом дискуссий с Грантом Ричардсом; в этот период и позднее он претерпел значительную редактуру.

«Мадам» – напомним, что так называли обычно хозяек публичных домов.

«Рейнолдс ньюспейпер» – журнал с радикальной репутацией, претендовавший на защиту интересов народных масс.

#### Облачко

Название рассказа – одна из немногочисленных загадок «Дублинцев». Предлагался ряд объяснений, но все достаточно отдаленные, как например, библейский отсыл: «Небольшое облако поднимается от моря» (3 Цар 18: 44) – знак, что исполнится пророчество Илии. Сам же рассказ, написанный предпоследним в сборнике, вызывал большое удовлетворение автора, который писал брату: «Одна страница из «Облачка» доставляет мне больше удовольствия, чем все мои стихотворения» (письмо от 18 октября 1906 г.). Яркая, колоритная фигура Игнатия Галлахера – органическая часть Дублина Джойса. Его прототип – журналист Фред Галлахер, который из-за скандальной истории был вынужден покинуть Дублин, но затем сделал неплохую карьеру в журналистике Лондона и Парижа (самый сенсационный эпизод этой карьеры описан близко к действительности в эп. 7 «Улисса»). В «Улиссе» мелькает и ряд других представителей семьи Галлахеров, с которой Джойсы были знакомы и некоторое время жили рядом. В оценке Верховного Джойсоведа Ричарда Элманна образ Игнатия Галлахера принадлежит к тому же типу «напористых и непробиваемых» (stocky insensitives), как Бык Маллиган и Буян Бойлан в «Улиссе».

Отличное, свободное письмо рассказа связано, конечно, и с тем, что рассказ писался уже четырнадцатым, предпоследним в цикле. Он был сочинен в начале 1906 г. и послан горе-издателю Гранту Ричардсу в июле. Существенных изменений в начальный текст, видимо, не вносилось.

Кингс-Иннс – центральная адвокатская контора Дублина.

Корлесс – разговорное название (по имени владельца) фешенебельного дублинского ресторана. В «Портрете художника в юности» Стивен устраивает здесь обед для своих родителей, получив школьную награду. Позднее владельцами ресторана стали братья Джеммет, и под их именем он дважды упоминается в «Улиссе».

...испуганные Аталанты. – В греческой мифологии Аталанта – единственная женщина – участница охоты на Калидонского вепря; миф о ней обрел популярность в англоязычной культуре рубежа XIX – XX вв. благодаря символистской драме Суинберна «Аталанта в Калидоне».

...английские критики причислили бы его к кельтской школе... – Имеется в виду дублинское литературное движение Кельтского возрождения, ведущими фигурами которого были Йейтс, Дж. Рассел, Синг и др.

...в добром дряхлом Дублине... – ставшее нарицательным выражением, название книги ирландской писательницы леди Сидни Морган (1780–1859); оно служит также одним из заголовков в эп. 7 «Улисса».

Закатный луч угас... – начальные строки стихотворения «На смерть молодой леди», открывающего первую книгу стихов Байрона «Часы праздности» (1807).

Взаимные дополнения



Этот рассказ внес немалый вклад в издательские трудности «Дублинцев» по оригинальной причине: издатели опасались преследований со стороны владельцев питейных заведений, описанных Джойсом под своими названиями. К его реальному плану можно в известной мере также отнести фигуру м-ра Оллейна, который в жизни был директором спиртового завода, и отец Джойса некоторое время служил у него секретарем. Финальная сцена с избиением ребенка восходит, по свидетельствам брата автора, к семейным преданиям о нравах дядюшки Вилли, двоюродного деда Джойса. Теснейше причастный к литературному процессу Джойса, брат Станни считал «Взаимные дополнения» лучшей новеллой в «Дублинцах».

Рассказ был написан шестым в цикле, следом за «Пансионом», летом 1905 г. и, по предположениям, также имел первоначально подпись «Стивен Дедал». Хотя на промежуточной стадии Джойс действительно изменил в нем названия и имена, затем статус-кво был возвращен. Сохранившиеся материалы показывают существенную стилистическую отделку текста.

...своих парней, Леонарда... Флинна. – Падди Леонард, Флинн Длинный Нос: эти персонажи, появляющиеся ниже, затем возникают в эп. 8 «Улисса» и в том же месте, баре Дэви Берна.

Крона! – Пять шиллингов. Укажем для ориентации, что недельное жалованье героя могло быть в диапазоне 25–30 шиллингов.

...у Дэви Берна... Скотч-хаус. – Популярные дублинские трактиры, фигурирующие и в «Улиссе».

...в стиле вольноречивых пастухов в эклогах... – Стоящие в оригинале *liberal shepherds* отсылают не к эклогам, а к «Гамлету», к реплике Королевы: *...liberal shepherds give a grosser name...* (Акт IV, сцена 7; в пер. М. Лозинского: ...у вольных пастухов грубей их кличка).

## Земля

Рассказ имел сложную историю. В ранней версии, от которой дошло четыре страницы, он носил название «Сочельник» и имел иных героев. Затем, уже в новой версии, он именовался «Канун Дня Всех Святых» и лишь через полгода по завершении получил окончательное название. В создании цикла «Земля» следовала четвертой, сразу же за тремя первыми новеллами, напечатанными в «Айриш хомстед». Ранняя версия писалась еще осенью 1904 г., окончательная же версия была послана Станни (который еще оставался в Дублине, чтобы последовать за братом в Италию в октябре 1905 г.) в январе 1905 г., с указанием передать текст также в «Айриш хомстед». В дальнейшем Джойс пытался, опять-таки безуспешно, напечатать рассказ в других изданиях.

«Стирка Вечернего Дублина». – Как разъясняет Джойс в письме к брату, название прачечной, содержимой благочестивыми протестантскими дамами, несет назидательную идею: оно «предполагает, что вечерний Дублин полон порочных и потерянных женщин, которых собирают и обращают к благому делу стирки наших рубашек» (письмо от 13 ноября 1906 г.). Как название, так и местоположение прачечной взяты из жизни.

...Марии достанется обязательно кольцо... – Имеется в виду обряд гадания (которое

затем и происходит в доме, куда едет Мария). Канун католического Дня Всех Святых совпадал с кануном Нового года по старинному кельтскому календарю (1 ноября) и был поэтому традиционным днем обрядов и игр с гаданьями. В описываемом обряде кольцо значило предстоящую свадьбу, молитвенник – уход в монастырь, вода – жизнь, земля – смерть.

«Мне снилось» – песня из II акта оперы «Цыганка» М. Болфа (см. выше комм. к рассказу «Эвелин»). Мария пропускает второй куплет, где поется, как рыцари предлагают героине руку и сердце.

### Печальное происшествие

Автор был определенно недоволен этим рассказом (ср., к примеру: «Два худших рассказа – это «После гонок» и «Печальное происшествие»). Письмо к брату от 6 ноября 1906 г.). Уже по завершении он порядочное время собирался переписать его или, по крайней мере, расширить, писал брату, что делает заготовки для этого; и сегодня специалисты расходятся во мнениях, были ли эти заготовки полностью или частично использованы в окончательном варианте. Сохранившаяся рукопись несет множество поправок, подчисток и помарок. Эти сложные отношения с текстом в какой-то степени наверняка имеют личную, психологическую причину, поскольку в рассказе и в характере его героя много деталей и черт, связанных с самим автором, а еще больше – с его братом. За счет этой особенности реальный план рассказа более глубок и насыщен, чем во всех прочих новеллах сборника. Сюжетная завязка взята из жизни брата Станни: это он познакомился в театрально-концертном зале «Ротонда» с красивой дамой, которую потом встретил снова (но отношений, однако, не завязал). Образ героя также связан со Станни, и весьма тесно – в своей книге «Сторож брату моему» последний пишет: «Создавая мистера Даффи, он [Джойс] воспользовался множеством черт моего характера, как то: моим отвращением перед алкоголизмом, отчужденностью к социализму, привычкой записывать краткие сентенции на листочках, которые скалывались скрепкой. Джим предложил для этих таблеток мудрости название «желчные пилюли». Две из них взяты в рассказ... [154 - См. ниже прим. к с. 311 (Прим. С. Х.).] Джим также передал мистеру Даффи кое-какие собственные свои черты, чтобы поднять его интеллектуальный уровень: свой интерес к Ницше и свой перевод «Михаэля Крамера». Даже наружность мистера Даффи – это, по словам Станни, «портрет того, каким я, как считал брат, должен стать, приближаясь к старости». Надо сказать, Станни был вообще так тесно причастен к работе брата над «Дублинцами», что тот собирался посвятить ему книгу (письмо от 7 февраля 1905 г.).

Рассказ является седьмым в порядке написания цикла; закончен он был в августе 1905 г.

«Манутский катехизис» – стандартный катехизис ирландских католиков, выпускавшийся в Мануте, главном церковном центре Ирландии (вблизи Дублина).

...перевод «Михаэля Крамера»... – как сказано выше, сделал сам Джойс, считавший Гауптмана полноправным наследником Ибсена; он также перевел и «Перед восходом солнца».

Синико – фамилия одного из триестских знакомых Джойса.

Собрания Ирландской социалистической партии – а точнее, Ирландской

социалистической республиканской партии – посещал сам Джойс, иногда в компании Станни; но Джойс, в отличие от брата, сохранил симпатии к социализму на заметный период.

...каждая связь... дружба между мужчиной и женщиной... – фразы, взятые Джойсом из сентенций («желчных пилюль») Станни.

Смерть дамы на станции Сидни-Пэрейд. – Текст репортажа о происшествии Джойс писал крайне тщательно, выдерживая все специфические требования стиля и формы. В «Улиссе» (эп. 17) сообщаются дополнительные сведения об инциденте: он произошел 14 октября 1903 г., и на похоронах миссис Синико 17 октября присутствовал Леопольд Блум.

#### День плюща в Зале Заседаний

Этот рассказ Джойс считал лучшим из всех в «Дублинцах» (ср., например, отзыв о нем в цитате, приводимой в комментарии к «Двум кавалерам»). Идею новеллы, как он бегло пишет в письме, ему навеял – как? чем? ср. ниже комм. к «Мертвым» – Анатолий Франс, однако всю «базу данных» доставил опять-таки брат Станни. В «Стороже брату моему» он пишет: «В письме, которое я послал Джиму в Париж [в конце 1902 г. – С. Х.], я описал залу заседаний и людей, что приходили туда, в точности как мы их видим сейчас в «Дне плюща»». Затем, когда Джойс вернулся домой на Рождество, брат дополнил его свое описание изустно. В тот период Станни служил секретарем своего (и Джима) отца, который работал агентом по избирательной кампании для одного из кандидатов на муниципальных выборах. По словам Станни, им были описаны и старик-сторож с его семейными огорчениями, и сомнительный священник, и энтузиаст, декламирующий стих, и другие работники по выборам. Что до мистера Хенчи, то он несет черты отца братьев, Джона Джойса. Пылкий парнеллит с «говорящей фамилией» Хайнс (она происходит от ирландского корня, означающего «плющ») переходит затем в «Улисса» (эп. 12, 15), равно как и Бэнтам Лайонс, Крофтон и «делатель мэров» Феннинг. Стих-панегирик в честь Парнелла сочинил сам Джойс, хотя, по предположению Р. Эллманна, образцом для него послужило стихотворение «Герои Эрина», которое написал и исполнял как песню его отец.

Рассказ появился на свет восьмым; сохранившаяся рукопись несет в конце дату 29 августа 1905 г. Издатели предъявляли к тексту претензии как морального, так и политического свойства – последнее особенно в связи с речами героев о нравах правящего монарха Эдуарда VII. В качестве последнего средства в споре Джойс в 1911 г. послал гранки рассказа лично его величеству, уже следующему монарху, Георгу V, подчеркнув спорные места и прося короля решить, оскорбительны ли они для памяти его отца. Ответ личного секретаря Георга V гласил, что выражение мнений его величества по подобным вопросам не допускается дворцовым протоколом. В итоге Джойс согласился на некоторые изменения; он также проделал значительную чисто литературную правку.

День плюща – 6 октября, день кончины Ч. Ст. Парнелла (1846–1891), крупнейшего лидера движения за самоуправление Ирландии (гомруль). В этот день его многочисленные почитатели носили в петлице листок плюща как памятный знак. Конец пути Парнелла был драматическим: его любовная связь повлекла громкий скандал, осуждение Церкви, а затем – раскол среди его сторонников и утрату лидерства; после этого вскоре он заболел и скоропостижно умер во цвете лет. Джойс был

почитателем Парнелла с самого детства, и на одном из этапов издательской истории «Дублинцев» пытался устроить, чтобы книга вышла в свет в День плюща. Чтобы приурочить действие рассказа к этому дню, он даже отступил от своего принципа строгой верности жизни: на его вопрос к Станни, могут ли быть муниципальные выборы в октябре, тот отвечал, что это едва ли возможно, разве что в случае внезапной смерти советника.

Фени, от «Фианны», дружины воинов Финна Маккула в ирландской мифологии, – ирландские сторонники прямой вооруженной борьбы с англичанами. Их первые организации возникают в США в 1850-е гг. и в 60-е гг. уже активно действуют в Ирландии, большею частью как боевики в горах.

Замок, или «Дублинский замок», – резиденция высшей администрации и руководства полицией Дублина.

...один такой коротенький... – Комментаторам не удалось отождествить коротенького.

Майор Сэрр – Генри Чарльз Сэрр (1764–1841), ирландский пособник англичан, известный своей жестокостью при подавлении восстания 1798 г.

Дворец (Mansion House) – так именуются резиденции и лорд-мэра Дублина, и лорд-мэра Лондона.

Ведь еще Парнелл... – В 1885 г., когда Эдуард VII, еще в свою бытность принцем Уэльским, приезжал в Ирландию, Парнелл выступал против оказания ему официальных почестей.

Старушка ни разу не ездила... – В действительности королева Виктория посещала Ирландию четырежды (в 1849, 1853, 1861 и 1900 гг.), чего заведомо не может не знать дублинский бизнесмен и политик мистер Хенчи. По этому поводу один из комментаторов «Дублинцев» говорит: «Джойс очень любит заставлять своих героев произносить невозможные вещи».

Невенчаный король – в Ирландии так называли Парнелла часто и привычно.

Мать

В основе сюжетного конфликта – случай с самим автором. В большом концерте в зале Эншент 27 августа 1904 г., где он выступал как певец (главное событие его певческой карьеры), пианистка-аккомпаниатор неожиданно удалилась, а заменившая ее была столь неумелой, что Джойсу пришлось самому аккомпанировать себе. Изображенный в рассказе дублинский кружок нашел затем оригинальное отражение в «Улиссе», в финальном монологе Молли: «Кэтлин Карни и ее свора доносчиц... стайка пердучих пигалиц мельтешат кругом да трещат о политике в которой они понимают как моя задница... ирландские красотки домашней выделки».

Рассказ был написан десятым в цикле и отослан по завершении брату в конце сентября 1905 г. Сравнительно с другими рассказами дальнейшие редакционные изменения в нем были минимальны.

Холохан... Прыгунчик. – Упоминается не раз в «Улиссе» (эп. 5 и др.).

...приступал к алтарю в первую пятницу каждого месяца... – практика, восходящая, как и культ Сердца Иисусова, к Маргарите Марии Алакокской.

Академия – Королевская Музыкальная академия в Дублине.

Скерри, Хоут, Грейстоунз – популярные дачные места в ближних окрестностях Дублина.

...имя ее дочери... – В пору Ирландского (или Кельтского) Возрождения имя Кэтлин приобрело символическое звучание – за счет того, главным образом, что Йейтс в своих драмах «Графиня Кэтлин» (1892) и «Кэтлин-ни-Хулихан» (1902) усиленно выдвигал мифологический мотив олицетворения Ирландии в фигуре бедной старушки Кэтлин-ни-Хулихан.

Несколько молодых людей с ярко-голубыми значками... – члены Гэльской спортивной ассоциации (основана в 1884 г.), одной из первых организаций, возникших в русле Ирландского возрождения.

Но это... не меняет наш контракт... – В описываемой среде было обычно принято (хотя и не записано формально), что в случае финансовой неудачи предприятия гонорары распределяются в конце исходя из фактической суммы сборов. Миссис Карни не желает признавать этого неписаного правила, в чем и состоит суть дальнейшего конфликта.

«Маритана» (1845) – опера ирландского композитора У. В. Уоллеса (1814–1865), популярная в Ирландии еще и в начале XX в., упоминаемая в «Улиссе».

...в театре Куинз. – Театр Королевы (Queen's Theatre), один из трех самых крупных театров Дублина начала XX в.

О'Мэдден Берк – персонаж, имеющий своим прототипом дублинского журналиста О'Лири Кертиса и действующий также в «Улиссе» (эп. 7).

...миссис Пэт Кэмпбелл, наст. имя Беатрис Стелла Таннер (1865–1940) – знаменитая английская актриса, приятельница Дж. Б. Шоу.

«Килларни» – сентиментальная баллада на музыку М. Болфа, весьма популярная в XIX в., но не в XX в.

## Милость Божия

Рассказ имеет свою особую концепцию, которую брат Станни излагает так: ««Милость Божия» – это первая вещь, которую он [Дж. Джойс] сочинил, следуя некоему точному плану. Схема не нова, и нужно не слишком много проницательности, чтобы ее различить: Ад, Чистилище и Рай. Падение мистера Кернана вниз по ступенькам к сортиру представляет собою его спуск в Ад, лечение его на постельном режиме – Чистилище, и, наконец, церковь, где он со своими друзьями слушает проповедь, – это Рай. В «Милости Божией» эта схема носит иронический характер, с примесью сдержанного гнева, но по ней брат сочинял и свои поздние произведения». Хотя и ироническая, эта концепция согласуется с тем, что рассказ предполагался последним в сборнике и потому, по зарождавшемуся уже пристрастию Джойса к парадигме круга или кольца, должен был возвращать к началу, к «Сестрам», где темой также служили отношения церковного и мирского.

Реальный план рассказа богат: как его основные персонажи (Кернан, Пауэр, Каннингем, Маккой), так и ряд более мелких имеют дублинских прототипов. Прототип главного героя – Нед Торнтон, сосед семейства Джойсов в период их жизни на Северной Ричмонд-стрит с 1894 г. (хотя с лестницы в пивной загремел не он, а лично Джон Джойс, отец автора). Но еще более насыщен интертекстуальный план: почти все данные в рассказе характеристики и обстоятельства названной четверки персонажей затем фигурируют в «Улиссе», где не только упоминаются, но и разнообразно обыгрываются – так, запойная супруга мистера Каннингема исполняет опереточный номер с зонтиком (эп. 15). Кернану же персонально посвящена одна из 19 синхронных сцен в эп. 10.

Работа над рассказом прошла два этапа. Закончив текст к концу ноября 1905 г. и отослав его Гранту Ричардсу 3 декабря в качестве последнего в сборнике из двенадцати рассказов, Джойс затем вернулся к нему в период пребывания в Риме. Он изучал материалы Первого Ватиканского собора 1870 г., принявшего догмат о папской непогрешимости, и сделал новую редакцию и новую рукопись рассказа, которая дошла до нас.

Храм Марии Звезды Морей обильно упоминается в эп. 13 «Улисса».

Томас-стрит – на юго-востоке Дублина, тогда как дом Кернанов – в северном пригороде, соседствующем с городским кладбищем.

Банши – в кельтской мифологии фея смерти, дух, появляющийся и стонающий за окнами дома, где кому-то предстоит умереть.

...побывал... рекламным агентом для «Айриш таймс» и для «Фрименс джорнел»... – Первая из этих газет была проанглийской и против гомруля, вторая же – умеренно националистической, так что послужной список Маккоя говорит о его политической беспринципности.

...на известную привилегию путешественников. – Покупать или заказывать в трактирах спиртное в неположенные часы, в частности, по воскресеньям.

Мистер Харфорд. – Ряд его черт – жестокое ростовщичество и лихоимство, прозвище жида, слабоумный сын – сближают его с фигурой ростовщика Рувима Дж. Додда в «Улиссе».

Макаули – хозяин довольно респектабельного паба недалеко от иезуитской церкви Св. Франциска Ксаверия.

Отец Борделл – в оригинале отец Пердон, фамилия которого ассоциируется с Пердон-стрит, улицей дублинских борделей. Его прототипом послужил отец Бернард Вохен, знаменитый в Ирландии своими проповедями в эксцентрическом и бурном стиле и упоминаемый не раз в «Улиссе».

Отец Том Берк (1830–1883) – знаменитый проповедник, резко критиковавший английское правление в Ирландии.

Узник Ватикана – так называли пап Пия IX (1846–1878) и Льва XIII (1878–1903) в связи с ликвидацией Папского государства в 1870 г.

Оранжист – обычное именование сторонников англичан в Ирландии; в узком смысле – член протестантского ордена оранжистов, учрежденного в 1795 г. в честь короля Вильгельма III Оран(ж)ского.

Фогарти – упоминается бегло в «Улиссе» (эп. 6).

...объединение латинской и греческой церквей. – Лев XIII действительно имел такие стремления и, в частности, выпустил обращение (не возымевшее отклика) к православным и протестантам с призывом воссоединиться с Римской церковью.

У него был девиз... – Никакого девиза папы не имеют, но в довольно известном средневековом апокрифе «Пророчество о папах» будущие папы определялись краткими формулами: Пий IX – «Крест от креста» (Cruce de cruce), Лев XIII – «Свет в небесах» (Lumen in caelo).

...служба Tenebrae. – Была любима Джойсом, она описывается и обсуждается в «Герое Стивене».

...одно из стихотворений папы Льва было про изобретение фотографии... – латинское восьмистишие, вошедшее в книгу его стихов, имевшуюся у Джойса в библиотеке.

«Великие умы недалеко от безумия» – вольная передача широко популярного афоризма Джона Драйдена (1631–1700).

...немецкий кардинал... второй – это был Джон Макхейл. – Главным противником догмата о папской непогрешимости был И. фон Деллингер (1799–1890), не кардинал, но профессор теологии в Мюнхене; он не был участником Ватиканского собора, покинул Римскую церковь и основал движение старокатоликов. Джон Макхейл, архиепископ Туамский (1791–1881), поборник ирландской культуры, традиций, языка, был противником догмата, но при голосовании отсутствовал, а позднее принял догмат. Два голоса против догмата принадлежали итальянскому и североамериканскому епископам, но оба они затем согласились изменить свою позицию.

...на открытии памятника сэру Джону Грею. – Состоялось 24 июня 1879 г.; Джон Макхейл присутствовал на событии, хотя Джон Грей (1816–1875) был протестантским политиком.

Эдмонд Двайер Грей (1845–1888) – сын Джона Грея.

...свечки я исключаю! – Этот мотив восходит уже к Джону Джойсу. Станни Джойс в своем дневнике (который читался братом) и позднее в «Стороже брату моему» описывает эпизод из жизни отца, прямо соотносящийся с рассказом. Он пишет, что около 1902 г. (время действия рассказа) приятели Джойса-старшего Мэтью Кейн (прототип Мартина Каннинггема), Бойд и Ченс (прототип Маккоя) уговорили его вместе с ними совершить говение в иезуитской церкви на Гардинер-стрит. Два вечера Джон Джойс ходил на проповедь и возвращался весьма сильно пьяным, второй раз его доставил домой Ченс. Когда же встал вопрос о том, чтобы наутро идти к причастию, он заявил, в точности как мистер Кернан в рассказе, что согласен проделать «всю эту штуку», но – «только никаких свечек!».

«Ибо сыны века...» – В изложении проповеди отца Борделла немало элементов иронии и язвительной насмешки в адрес иезуитского приспособленчества к мирским интересам. Финал же рассказа вносит излюбленную Джойсом кольцевую структуру: он дает понять, что название рассказа, «Grace», должно скорее быть понято не в

церковном, а в самом мирском смысле: английское *grace* значит также «отсрочка платы по векселю».

## Мертвые

К последнему и главному рассказу цикла также относится криптоическое указание автора, что идею рассказа подсказал Анатолий Франс. Мне кажется очень вероятной разгадка этого указания, предложенная Р. Элманном. В новелле Франса «Прокуратор Иудеи» Понтий Пилат на склоне лет предается в беседе с другом воспоминаниям о днях своей службы в Иудее. У каждого читателя возникает ожидание, когда же в этих воспоминаниях появится человек, сделавший имя прокуратора бессмертным в истории. Но он не появляется; и в конце новеллы на вопрос друга, не помнит ли он некоего Иисуса из Назарета, прокуратор отвечает: не припоминаю такого. Новеллу, ее читательское восприятие, формирует отсутствующий Иисус: прием весьма в духе Джойса! и, если еще учесть названия рассказов, вполне можно согласиться с Элманном, что в значительной мере «День плюща» формирует отсутствующий, скончавшийся Парнелл, а «Мертвых» – мертвый Майкл Фьюри.

Ключевой сюжетный элемент и ключевой мотив ревности к мертвому, тесных отношений, продолжающих связывать воедино живых и мертвых, пришли из биографии автора. Как поведала ему жена, Нора Барнакл, в ее ранние годы, когда она жила на западе страны, в Голуэе, за нею ухаживал юноша Майкл Бодкин, который вскоре, однако, заболел туберкулезом и был прикован к постели. Узнав, что Нора собирается уезжать в Дублин, он в проливной дождь тайком выбрался из больницы и достиг ее дома, он хотел с нею попрощаться и спеть для нее в саду под деревом. Через небольшое время, будучи уже в Дублине, Нора узнала о его смерти (как выяснили не столь давно, Майкл Бодкин умер 11 февраля 1900 г., будучи двадцати лет; Норе было тогда шестнадцать). При своем посещении Голуэя в 1912 г. Джойс совершил поездку к его могиле.

Центральный образ Габриэла Конроя автобиографичен далеко не в одном этом эпизоде. В большой мере Джойс наделил героя своими эмоциями, особенно в его отношении к жене (напротив, в отношении к себе самому они расходятся – будущий классик был уверен в себе и не мучим комплексом неполноценности). У Габриэла те же занятия, что у его автора: он пишет рецензии, преподает язык; у него та же прическа, отчасти та же наружность. Цитата из его письма Грете в конце рассказа – из письма Джойса к Норе. И так далее. Однако отдельные черты взяты у друга Джойса, Константина Каррена, а некоторые – и у отца автора: так, Джон Джойс в больших застольях родственников непревзойденно разрезал гуся и говорил речи; Станни указывает, что речь Габриэла весьма в стиле речей их отца. В целом же, как заключает Элманн, «Габриэл создан главным образом из Каррена, отца Джойса и самого Джойса». Имя его отсылает к названию романа Ф. Брет-Гарта «Габриэл Конрой» (1876) и, возможно, также предполагает библейские коннотации. Образ жены героя несет явные черты Норы – важнее, чем происхождение с Запада, их сближает глубокая цельность и естественность. Из жизни автора и «три грации» Дублина, хозяйки дома на Ашер-Айленд, равно как и сам дом. В этом доме, куда семья Джойсов не раз являлась на праздничные застолья, жили двоюродные бабки Джойса, миссис Лайонс и миссис Калланан (превращенные в двух мисс Моркан), а также дочка последней, Мэри-Элин (ставшая Мэри-Джейн). Из круга личных и семейных знакомых – прототипы нескольких малых персонажей.

С другой стороны, рассказ имел и «идейное задание»: на подступах к «Мертвым» Джойс писал Станни, что он покамест не отдал должное одному важному качеству



Дублина, теплому гостеприимству его обитателей, меж тем как это – «добродетель, которая, насколько я знаю, не существует больше нигде в Европе» (письмо от 25 сентября 1906 г.). Нельзя не признать, что это задание рассказ выполняет усиленно и прямолинейно.

Рассказ, обдумывавшийся задолго, писался в Триесте весной и летом 1907 г. и был закончен к началу сентября. Насколько можно судить по дошедшим материалам, редакционные изменения в нем были не особенно значительными.

...у Адама и Евы... – церковь Непорочного Зачатия, приходской храм для Ашер-Айленд (вопреки названию, набережной, а не острова).

...из «Мелодий». – Часто упоминаемый у Джойса поэтический цикл «Ирландские мелодии» Т. Мура оставался весьма популярным в начале XX в.

Монкстаун – один из южных пригородов Дублина.

Менестрели Кристи – разъездная опереточная труппа Джорджа Кристи из Нью-Йорка; ее певцы и актеры часто выступали в негритянском гриме.

Грешем – один из самых фешенебельных отелей в центре Дублина.

Бартелл Д'Арси – упоминается в «Улиссе», где даже входит в список (мнимых) любовников Молли Блум. Его прототипом послужил знаменитый дублинский тенор Бартон Макгаккин, в «Улиссе» также упоминаемый (эп. 11).

...двух принцев, задушенных в Тауэре. – Сюжет из «Ричарда III» Шекспира, убийство в 1483 г. двух юных сыновей Эдуарда IV по приказанию его брата Ричарда III.

Мисс Айворз – ее прототипом служит Кэтлин Шихи, из дублинского семейства, с которым Джойс был близко знаком.

«Дейли экспресс» – консервативная газета, враждебная ирландскому национализму; рецензии для нее писал и сам Джойс.

Аранские острова – небольшие острова на Западе Ирландии. Их население сохраняло язык и обычаи кельтской старины, и деятели Ирландского Возрождения придавали им символическое значение оплота и очага возрождаемой национальной культуры.

Коннахт – одна из западных областей Ирландии.

«Свадебный наряд» – песня Дж. Линли на мотив арии из «Пуритан» В. Беллини (1834).

...папы... выгоняет из хоров женщин... – В 1903 г. Пий X принял решение об удалении женщин из церковных хоров, с передачей партий сопрано и контральто мальчикам, в соответствии с прежним порядком.

...во второй части пантомимы в «Гэйети» поет... – «Гэйети» – дублинский театр-варьете; пантомимой тогда назывались представления типа водевиля, с песнями и танцами.

«Миньона» (1866) – опера французского композитора А. Тома (1811–1896) на сюжет

из «Вильгельма Мейстера» Гёте.

Джорджина Берне... Титъенс... – За вычетом Джорджины Берне и Равелли, все названные имена принадлежат известным звездам европейской оперы середины и конца XIX в.

«Пусть паду я как солдат» – ария из оперы «Маритана» (см. комм. к рассказу «Мать»).

«Лукреция Борджиа» – опера Г. Доницетти (1833) по мотивам пьесы В. Гюго, «Динора» – под таким названием итальянскими труппами ставилась комическая опера Дж. Мейербергера «Плоэрмельское прощение» (1859).

Паркинсон – Уильям Паркинсон, английский тенор, выступавший в Дублине в 1870-х гг.

Маунт-Меллерей – монастырь траппистов, одного из наиболее строгих аскетических орденов западного монашества, в графстве Уотерфорд на юге Ирландии.

Менее обширное время – парафраз ставшей крылатым выражением строки А. Теннисона «Обширные времена великой Элизабет».

...чьей славе мир не позволит... – одна из ранних заготовок автора к «Дублинцам», часть фразы из сочинения Дж. Мильтона «Основания церковного правления против священства» (1641).

Крахмальная фабрика была у прадеда Джойса по материнской линии, мистера Флинна.

Статуя короля Билли – памятник Вильгельму III Оранскому перед зданием колледжа Тринити. Окончательно закрепивший владычество англичан, этот монарх пользовался особой неприязнью ирландских католиков.

Ах, дождик льет... – рефрен старинной ирландской баллады «Девушка из Огрима» (Огрим – местность в западном графстве Голуэй). Сюжет баллады – судьба девушки, соблазненной и брошенной с младенцем; когда она приходит к своему соблазнителю, тот не впускает ее в дом и устраивает ей допрос, заставляя оставаться под дождем с ребенком на руках. Как вспоминал Константин Каррен, Джойс часто пел эту очень длинную балладу, уверяя, что знает тридцать пять ее строф.

Сэр, а огонь очень горячий? – В первом издании 1914 г., как и во многих последующих, эта реплика относилась не к Грете, а к Габриэлу. Лишь в критическом издании Р. Шоулза, установившем окончательный текст «Дублинцев» (1968), была учтена поправка, сделанная Джойсом в гранках.

Габриэл указал на статую... – Статуя Дэниэла О'Коннелла, воздвигнутая в 1882 г.

...касание ее тела, странного, музыкального, благоухающего... – набор эпитетов, который Джойс относил к Норе, к ее телу. Ср.: «А ты помнишь три слова, которые я использовал в «Мертвых», говоря о твоём теле? Вот они: странное, музыкальное, благоухающее». (Из письма Джойса к Норе Барнакл от 22 августа 1912 г.)

Снова пошел снег. – Знаменитый финальный пассаж новеллы связан с двумя источниками – с описаниями снегопада в Песни XII «Илиады» и в зачине вышеупомянутого романа Ф. Брет-Гарта «Габриэл Конрой». Более тесное соответствие – со вторым снегопадом. Отметим также, что финал создает кольцевую структуру

всего цикла, осуществляя возврат к его началу – хотя и ненавязчивый, на лексическом уровне: лейтмотивный эпитет последней фразы, *faintly*, тихо, мы находим и в первых фразах «Сестер».

### Портрет художника в юности

Выпуская в свет свой первый законченный роман, Джойс выставил под его текстом даты работы над ним: Дублин 1904 – Триест 1914. Это значит, что все время писания «Героя Стивена», 1904–1906 гг., художник также включал в период создания «Портрета» – тем самым придавая незаконченному роману статус ранней версии романа опубликованного. Нельзя не увидеть здесь еще одно доказательство той нераздельной связи, переплетенности двух романов, которую мы отмечали в Комментарии к «Герою Стивену». У них – одна, общая история, которую мы и рассмотрим в общей статье о генезисе и первых текстах Стивениады. Здесь же ограничимся описанием внешних обстоятельств, то бишь истории публикации большого «Портрета».

Возможности публикации романа, тогда еще не законченного, возникают у Джойса в начале 1914 г. благодаря деятельному участию Эзры Паунда, который жил тогда в Лондоне, с энтузиазмом сражаясь за дело литературного авангарда. С его появлением в многотрудной истории «Портрета» открывается заключительный этап, соединивший в себе два одновременных процесса: публикацию и срочное, интенсивное дописывание. Публикация вначале осуществлялась в журнальной форме, на страницах лондонского журнала «Эгоист». Побывавший сначала «Свободной женщиной» (с 1911 г.), а затем «Новой свободной женщиной», этот журнал быстро стал из феминистского органа весьма заметным очагом новой литературы; помимо Джойса и Паунда, с ним связаны были Т. С. Элиот, Р. Олдингтон, Ребекка Уэст. Особое удовлетворение Джойса вызвала дата первого выпуска с начальной частью «Портрета»: 2 февраля 1914 г., день рождения автора. Роман начал печататься малыми порциями; однако в середине лета, после публикации трех глав, наступил перерыв; его объясняют тем, что главы 4, 5, по всему вероятно, тогда еще не были написаны. Финал романа, последние страницы его, давались с особенным трудом. Новые порции текста начали поступать в редакцию с ноября; и растянувшаяся во времени, занявшая целых 25 выпусков журнала публикация была наконец завершена 1 сентября 1915 г. Предполагают, что почти до последних выпусков продолжалось и дописывание финала, вопреки выставленной автором дате завершения работы.

Публикация книжного издания первоначально встретила все те же препятствия, что выпали на долю «Дублинцев»: целый ряд издателей отвергли книгу; когда же редактор «Эгоиста», мисс Харриет Шоу Уивер, решила сама стать издательницей «Портрета», выяснилось, что английские печатники отказываются книгу набирать. Тем не менее литературная ситуация классика успела весьма измениться за это время: теперь у него была влиятельная «группа поддержки», которую неутомимо активизировал Эзра Паунд. Не кто иной, как Герберт Уэллс предоставил в его распоряжение литературного агента Джеймса Пинкера, оказавшегося очень небесполезным. Издатель был найден в Америке, там же оказалось возможным и набрать книгу. В итоге всего «Портрет художника в юности» вышел в свет в Нью-Йорке в издательстве Б. У. Хюбша (B. W. Huebsch), с датой публикации 29 декабря 1916 г. Возможно, эта дата слегка опережала реальность, но сам художник настаивал, чтобы она осталась в пределах 1916 г.: этот год, связанный с магической Четверкой, он назначил заранее для себя счастливым. Затем без промедления последовало издание романа в Англии, с того же набора. По обе

стороны океана роман был одобрительно встречен критикой, и многие литературные мэтры – в частности, Йейтс и Уэллс – давали книге высокую и хвалебную оценку. Но Джойс, всегда столь чувствительный к реакции мира на свое творчество, сейчас не уделял этой реакции большого внимания: в 1917 г. он был давно уже и глубоко погружен в напряженный труд над «Улиссом».

Первый русский перевод романа был выполнен во второй половине 1930-х гг. М. П. Богословской-Бобровой, опубликован впервые в 1976 г. в журнале «Иностранная литература» и затем не раз выходил отдельными изданиями. Другой перевод, сделанный В. С. Франком в зарубежье, был опубликован в Италии в 1968 г.: Джамс Джойс. Портрет художника в юности. Перевел с английского Виктор Франк. Edizioni Scientifiche Italiane. Napoli.

Наш перевод выполнен по каноническому современному изданию оригинала: *A Portrait of the Artist as a Young Man. The definitive text, corrected from the Dublin holograph by Chester G. Anderson and reviewed by Richard Ellmann. Viking Press, 1964.*

Особой задачей перевода служила идентичная трансляция специфических аспектов текста, из коих здесь укажем лишь три:

– весь обширный пласт отношений с католическими культурой, укладом, структурами сознания у Джойса предстает четко, аналитично и в двойной перспективе – с отличным знанием изнутри и свободной оценкой извне;

– описания умственных и душевных процессов в сознании героя на стадиях «отроческого кризиса идентичности» отражают внутреннюю полемику автора с фрейдизмом, уже влиятельным в западной культуре: они могут рассматриваться как богатые, пронизательные описания невротических состояний и процессов, самостоятельные в трактовке бессознательного, а не следующие канонам Фрейда;

– утяжеленная, теоретизированная лексика в определенных местах – один из характерных речевых жанров раннего Джойса; это – поиск юным художником способов выражения своих внутренних состояний и мыслей о мире.

\* \* \*

Мир романа – как внутренний мир художника-в-юности, так и изображаемый мир Ирландии на грани XIX и XX вв. – в значительной мере был вобран в дальнейшем в мир «Улисса», и в этом Сверх-романе он был раскрыт глубже, богаче и многомерней. Поэтому нижеследующий комментарий тесно связан с нашим комментарием к «Улиссу». В отдельных случаях мы заимствуем материал из этого комментария; в целом же рекомендуем читателю иметь в виду эту связь как источник расширения информации. В частности, следует учитывать, что большинство интертекстуальных переключек и иных связующих нитей между «Портретом» и «Улиссом» указано в комментарии к последнему.

*Et ignotas animum dimittit in artes.* – Эпиграф взят из части «Метаморфоз», излагающей миф о Дедале (VIII, 152–235).

Глава I

Эту историю ему рассказывал папа... – Ср. в письме Джона Джойса автору, 31 января 1931 г.: «Помнишь ли ты старые времена на Брайтон-сквер, когда ты был мальчик бу-бу, а я тебя водил в скверик и рассказывал про му-му, которая приходит с гор и забирает малышей».

Бетти Берн – Берн – фамилия близкого друга студенческих лет Джойса, послужившего прототипом Крэнли, персонажа «Героя Стивена» и «Портрета» (гл. V). О Крэнли см. прим. к с. 654.

Расцветали розы... – старинная ирландская сентиментальная песня «Лили Дэйл».

Дядя Чарльз и Дэнти – прототип дяди Чарльза – Уильям О’Коннелл из Корка, двоюродный дед автора, живший в семье Джойсов в 1887–1893 гг.; Дэнти, она же миссис Риордан – ее прототипом послужила миссис Харн Конвей, гувернантка в семье Джойсов в детские годы писателя. «Дэнти» было ее домашним прозвищем, от «аунти», тетушка, и по созвучию с Данте. В «Улиссе» она – общая знакомая Стивена и Блума (эп. 6, 12, 17, 18).

Майкл Дэвитт (1846–1906) – один из крупнейших лидеров ирландских националистов, деятельность которого была, в первую очередь, связана с борьбой за земельные права ирландских крестьян. Отсюда наивный символизм Дэнти: щетка в честь Дэвитта – цвета земли, в честь Парнелла – национального цвета Ирландии.

Парнелл. – См. прим. к с. 685; более подробно – прим. к эп. 2 «Улисса».

Эйлин – дочка соседей Джойсов, живших в доме 4 (а не 7) на Мартелло-террас в 1887–1891 гг.; именно она написала Джойсу, когда он был в Клонгоузе, письмо со стихом, который варьирует Леопольд Блум в «Калипсо» (эп. 4 «Улисса»).

...в рай не возьмут... глаза расклюют. – Вариация эпифании 1.

Он топтался в хвосте... чувствовал свое тело слабым и маленьким... – явный уход от автобиографичности. Джойс мальчиком был весел и боек, хорошо физически развит и не раз завоевывал призы в спорте, хотя и не терпел грубых видов его – бокс, борьбу, регби.

Роди Кикем, Роуч, Кэнтвелл, Сесил Сандер... – из 22 упоминаемых в романе соучеников Стивена в Клонгоузе почти все носят имена и фамилии реальных соучеников автора.

...в вестибюле замка... – главным зданием колледжа Клонгоуз был замок, купленный орденом иезуитов в 1813 г.

Гамильтон Роуэн (1751–1834) – сподвижник Вулфа Тона (1763–1798), одного из знаменитейших вождей ирландского освободительного движения, предводителя восстания 1798 г. После поражения восстания Роуэн скрывался в замке Клонгоуз; бросив свою шляпу из окна на ограду замка, он заставил преследователей решить, что он покинул замок.

Кардинал Томас Уолси (ок. 1475–1530) – лорд-канцлер Англии при Генрихе VIII, попавший в опалу и под суд в конце жизни.

...его столкнул в желоб в уборной... – злослучие, постигшее классика весной

1891 г.

...своей табакерочкой... – тоже из жизни, она была у Джойса в Клонгоузе, забавной формы подарок крестного.

Отец Арнолл – о. Уильям Пауэр, инспектор младших классов.

...из младших и средних классов. – В Клонгоузе младшие классы (три, из которых два были приготовительными) включали детей до 13 лет, средние – с 13 до 15, старшие – с 15 до 18 лет.

...третьего класса... – В Клонгоузе – старший из младших классов и низший из трех «классов грамматики».

Туллабег – местечко, где находился иезуитский колледж Св. Станислава, объединившийся с колледжем Клонгоуз-Вуд в 1885 г.

Целовать маму – хорошо это или нехорошо? – При строгом католическом воспитании вопрос вовсе не абсурдный. Св. Алоизий Гонзага (1568–1591), один из трех «святых отроков», почитаемых католиками, был, по житию его, «слишком чист» и не целовал свою мать; ниже в романе (гл. V) этот же вопрос возникает в связи с Паскалем.

...мистер Кейси... – Джон Келли, друг семьи Джойсов, не раз подолгу гостивший у них.

Клейн – деревушка между Клонгоузом и Сэллинзом, жители которой, не имея своей приходской церкви, посещали службы в колледже.

...мальчикам в дортуаре... – Сам Стивен не был, стало быть, в дортуаре – как и Джойс, который, будучи много младше соучеников, два первых года спал не в дортуаре, а в комнате по соседству, за ширмами.

...по лестнице кто-то поднимается. – Замок Клонгоуз принадлежал до 1813 г. роду Браунов, и, по легендам, в нем появлялся призрак Максимилиана фон Брауна (1705–1757), одного из «диких гусей» (ирландских эмигрантов, большей частью военных, служивших в армиях разных стран), фельдмаршала австрийской армии, погибшего в битве под Прагой.

Боденстаун – кладбище, где похоронен Вулф Тон.

Плющ и остролист – традиционные рождественские украшения, их сочетание фигурирует во множестве песен и стихов.

Брат Майкл – брат Джон Хэнли, О. И.

...его двоюродный дед... подносил адрес освободителю. – Истинное событие, «дедушка» – прадед Джойса Джон О'Кеннелл, отец Уильяма, «дяди Чарльза» в романе; Освободитель – Дэниэл О'Коннелл (1775–1847), крупнейший деятель легальной борьбы Ирландии за независимость, сумевший добиться равноправия для католиков и за это получивший в стране имя Освободителя.

Он увидел море... – Стивен воображает сцену в дублинском порту Кингстаун 11 октября 1891 г., когда в гавань входил корабль с телом Парнелла, скончавшегося 6 октября на дальнем западе страны, в Голуэе.

...делал подарок королеве Виктории... – Джон Келли, прототип мистера Кейси, сидел несколько раз в тюрьме за участие в «аграрных беспорядках», и от щипанья пакли на тюремных работах три пальца его остались скрюченными.

...я заплачу церковный сбор... – Реплика намекает на агитацию ирландских священников против Парнелла. Тема дальнейших споров за столом – позиция католической церкви в антипарнелловской кампании в 1890 г.

Билли – архиепископ Дублинский, Уильям Дж. Уолш (1841–1921); бочка с потрохами из Армаха – кардинал Майкл Лог, архиепископ Армаский, примас Ирландии; Конюх лорда Лейтрима – поспешил на помощь своему хозяину, богатому, жестокому и распутному помещику, когда совершалось его убийство молодым крестьянином, мстившим за честь сестры.

...в графстве Уиклоу, где мы... находимся. – Семья Джойсов жила тогда в местечке Брэй под Дублином, на границе графств Дублин и Уиклоу.

Аркоу – прибрежный городок, около 40 км от Дублина.

Парижская биржа! – В 1890 г. Парнелла ложно обвиняли в присвоении размещенных в Париже средств Национальной ирландской лиги; Мистер Фокс – одно из имен, которыми пользовался Парнелл в тайной переписке со своей возлюбленной Китти О'Шей.

...однажды... к ним пришел сержант... – реальный случай: офицер полиции, придя к Джойсам, предупредил, что им получен приказ об аресте мистера Келли. Станни Джойс поясняет в своей книге, что офицер принадлежал к клану Джойсов.

...стукнула джентльмена по голове зонтиком... – также реальный случай.

Белые ребята – группы крестьян-повстанцев в 60-х гг. XVIII в., члены которых надевали, как опознавательные знаки, белые рубахи поверх одежды.

Чарльз Корнуоллис (1738–1805) – в июне 1798 г. был назначен лордом-наместником Ирландии и начальником войск, подавлявших восстание. Иерархия Католической церкви, более страшась Французской революции, чем господства Англии, и тогда, и позднее проявляла полную покорность последней; в частности, Джеймс Лэниган, епископ Оссорский (ум. 1812) в период подготовки унии 1800 г. (ликвидировавшей Ирландский парламент) преподнес приветственный адрес Корнуоллису.

Теренс Белью Макманус – см. прим. к с. 25.

Пол Коллен – см. прим. к с. 25.

Лайонс-Хилл – на полпути между Клонгоузом и Дублином.

Мальчик, который носил кадило... – Кадилоносцем в Клонгоузе был сам Джойс; и Стивен в «Улиссе» вспоминает, как он «держал кадило в Клонгоузе» (эп. 1).

Балбес... Юлий Цезарь... – школьные коверканья латинских учебных фраз; Балбес – от Луция Корнелия Бальбуса, сподвижника Цезаря, Белая Галка – от сочинения Цезаря «De Bello Gallico», «О Галльской войне».

...получай шесть и восемь. – Обычное наказание в Клонгоузе: три удара линейкой по

каждой руке, а потом четыре удара.

Генерал – глава иезуитского ордена, провинциал – глава иезуитов определенного региона (провинции).

Отец Долан – о. Джеймс Дэли; дальнейший эпизод произошел с Джойсом в 1888 г. и многократно упоминается в «Улиссе».

Завтра, и завтра, и еще завтра... – «Макбет», V, 5.

Ричмэл Мэгнолл (1761–1820) – английская дама – педагог Richmal Mangnall (в оригинале у Джойса ошибочно Magnall), автор энциклопедии в форме вопросов: «Исторические и прочие вопросы для юношества». Стиль и слог этого вопросника, крайне популярного в английских школах, были использованы Джойсом в эп. 17 «Улисса».

...рассказы о Греции и Риме Питера Парли. – Под псевдонимом Питер Парли американский автор Сэмюэл Гудрич (1793–1860) выпустил, в числе прочих книг для детей, «Рассказы о Древней и Новой Греции» (1831) и «Рассказы о Древнем Риме» (1833), компилятивные и написанные в осовременивающем стиле.

Св. Франциск Ксаверий (1506–1552) – один из ближайших сподвижников Игнатия Лойолы, основателей ордена иезуитов, проповедовавший в Индии и Японии. Лоренцо Риччи (1703–1775) – генерал ордена иезуитов в 1758–1775 гг., в критические годы запрета ордена. Св. Станислав Костка (1550–1568), канонизован в 1726 г., Св. Алоизий Гонзага – см. прим. к с. 416; блаженный Иоанн Берхманс (1599–1621), канонизован в 1888 г. Питер Кенни, О. И., приобрел замок Клонгоуз для ордена и основал в нем колледж.

## Глава II

...в Блэкроке... – События начала главы отвечают периоду 1892–1893 гг., когда семья Джойсов, постепенно беднея, перебралась ближе к Дублину, в Блэкрок.

Растратил в Корке большое состояние не Уильям, прототип дяди Чарльза, а брат его, родной дед автора.

...к замку... – замок Фраскати в Блэкроке.

Однажды утром... – описывается переезд семейства в Дублин, на Фиц-гиббон-стрит, в 1893 г.

...у своей тетушки. – Прототип ее – Джозефина Мерри, жена Уильяма Мерри (Ричи Гулдинга в «Улиссе»). Из всех родственников она была наиболее близка Джойсу, и он долго переписывался с нею.

Девочка с кудряшками – Кэтси Мерри, дочь Уильяма и Джозефины.

...в узкой столовой... раздражается хрупким смехом. – Эпизод близко использует эпифанию 5 (где вместо имени Стивен еще стоит «Джим»). Место действия, лица – те же, что в новелле «Мертвые»: двоюродные бабки Джойса и их дом, 15, Ашер-Айленд.

...в передней одеваются... – эпизод использует, с изменениями, эпифанию 3.



К Э-К- инициалами обозначена Эмма Клери, лирическая героиня романа, прототипом которой была Мэри Шихи (см. «Зеркало»). Подобные заголовки имеются в первом сборнике стихов Байрона «Часы праздности».

...стихотворение в честь Парнелла... – первое творение классика, стих «Et tu, Nealy» на смерть Парнелла (осень 1891). Отец, а за ним и биографы автора утверждают, что Джон Джойс напечатал стих и послал его, в частности, папе римскому; однако, по наводившимся специально справкам, в библиотеке Ватикана он отсутствует; налоговые извещения Джон Джойс рассылал по своей должности сборщика местных налогов.

Я на него налетел... – Уличная встреча Джона Джойса с о. Конми привела к принятию Джима и его брата Станни (в романе – Морис) на казенный счет в дублинский иезуитский колледж Бельведер, весной 1893 г. Конми был тогда инспектором этого колледжа, но не был еще провинциалом ордена. Братья-христиане – см. прим. к с. 226.

...кому... отдадут это место... – Джон Джойс, потеряв должность (отчего Джиму и пришлось покинуть Клонгоуз), был в безуспешных поисках новой.

...спектакля на Троичной неделе... – В мае 1898 г. в Бельведере школьниками была поставлена пьеса «Наоборот» (1883) по роману Френсиса Ансти (псевдоним Томаса Гатри, 1854–1936). В этой постановке Джойс исполнял роль директора школы.

Унтер – в Британской империи (как и в советской) учителями физкультуры бывали обычно отставные военные малых чинов.

Цаплэнд (в оригинале – Heron, цапля) – собирательный образ с двумя прототипами, братьями Винсентом и Альбрехтом Коннолли, соучениками автора в Бельведере.

...поизображать нашего ректора. – Именно это с большим успехом сделал в спектакле Джойс, хотя «Портрет» этого не говорит.

...авторов, подрывающих основы... – В те годы Джойс прочел, в частности, Ницше, Маркса, Бакунина, Джордано Бруно, Лео Таксиля.

Фредерик Мэрриэт (1792–1848) – посредственный, но популярный прозаик, почти исключительно с морской тематикой.

Кардинал Джон Г. Ньюмен (1801–1890), Альфред Теннисон (1809–1892) – отношение Джойса/Стивена к их творчеству (восхищенное в первом случае, пренебрежительно-презрительное во втором) раскрывается также и в «Улиссе».

...он не поэт... – Суждение Цаплэнда довольно невежественно, ибо поэзия Ньюмена, особенно же «Сон Геронтия», была знаменита.

...Тайсон при въезде в Иерусалим... – вариация шуточной песенки, с аллюзией на въезд Христа во Иерусалим на осле; дальнейшая стычка – реальный случай, в котором Джойсу изрядно порвали проволокой одежду.

...в нем совсем не осталось зла... какая-то сила совлекает с него скоропалительный гнев... – детальный, тонкий психоаналитический разбор этого пассажа дал Жак Лакан в семинаре 11 мая 1976 г. (анализу «Портрета» был посвящен год работы

знаменитого Лакановского семинара в Париже).

движение за национальное возрождение, а также зачатки Ирландского литературного возрождения тогда набирали силу; в частности, в 1893 г. была основана Гэльская лига. См. «Зеркало».

«Лилия Килларни» (1862) – опера английского композитора Дж. Бенедикта (1804–1885) на сюжет популярной ирландской драмы Дайона Бусико «Коллин бон» (Девушка с красивыми волосами, ирл.).

Обездоленность – один из существенных мотивов самосознания Стивена (и Джойса), см. «Улисс», эп. 3, 9 и др.

Юнцам не спится... – одна из любимых песен Джойса, как и его отца.

Сбирайтесь все... – см. прим. к с. 248.

Бакалея часто служила в Ирландии и распивочною.

...самый красивый мужчина в Корке... – И это, и прочие сведения, излагаемые мистером Дедалом, точно передают семейные предания Джойсов.

Керри – одно из южных графств.

Ты не устала ли?.. – первые строки незаконченного стихотворения Шелли «К луне» (1820).

В здании старого Ирландского парламента, ликвидированного Унией 1800 г., с 1802 г. размещался Ирландский банк.

Джон Хили-Хатчинсон (1724–1794) – ирландский политик и экономист, либеральной и патриотической ориентации; Генри Флуд (1732–1791), Генри Граттан (1746–1820) – ирландские политики и знаменитые ораторы; Чарльз Кендал Буш (1767–1843) – юрист и политик, соратник Граттана.

Недожаренный – прозвище, данное Джойсом вполне фешенебельному дублинскому ресторану Томаса Корлесса, который описан в «Дублинцах» («Облачко») и в который Джойс пригласил своих родителей, получив наградные деньги в 1894 г. «Ингомар» – немецкая мелодрама Ф. Хана (1851); «Дама из Лиона, или Любовь и гордость» (1838) – историко-романтическая драма Э. Дж. Бульвер-Литтона (1803–1873).

Клод Мельнот – романтический герой «Дамы из Лиона», носивший прозвище Принц.

Как-то он забрел в паутину... – первое описание квартала публичных домов, где в «Улиссе» происходит действие эп. 15.

### Глава III

Согласно дефинициям католической теологии, благодать освящающая, или собственно благодать, – «дар, вселяемый в душу и там пребывающий, по образу постоянного качества»; благодать действующая – «временная помощь, посредством коей Бог дает человеку дозреть до спасительной перемены».

...старостой братства... – Джойс получил это звание 25 сентября 1896 г. и был вновь переизбран в нем (редкое исключение) 17 декабря 1897 г., за полгода до окончания колледжа; пророчествующие псалмы – псалмы, где принято усматривать пророчества о Деве Марии; католическое богословие выделяет их 9.

«ясная и мелодичная...» – из заключительной части проповеди «Славословия Марии» Дж. Ньюмена, отсылающей к одноименному сочинению св. Альфонса Лигуори (1696–1789), основателя Ордена редemptористов, и вошедшей в книгу Ньюмена «Речи к разным собраниям» (1849).

Мой друг, прекрасный Бомбадос – строка из точно не установленного дублинского представления.

За ректором из дома пришли. – В иезуитском словаре «дом» – место проживания членов ордена, установленное его руководством.

Суждение святого Иакова – Иак. 2: 10.

«Во всех делах твоих...» – цитата не из Екклесиаста, но из Книги Премудрости Иисуса сына Сирахова, Сир. 7: 39. Следующая далее проповедь имеет в своей основе реально произнесенную в Бельведере о. Джеймсом Колленом; она являет собой классический образец иезуитской риторики и имеет близкое сходство с текстом итальянского иезуита Дж. Пинамонти (1632–1703) «Ад, открытый христианам» (англ. пер. 1715). Эпизод, ставший важной вехой в сознании и жизни Стивена, имеет целый ряд реминисценций в «Улиссе». Разумеется, проповедь пронизана библейскими коннотациями, из коих мы отмечаем лишь главнейшие.

Звезды небесные падают... Небо скрылось... – парафраз Откр. 6: 12–14.

...души... ринутся в Иосафатову долину... – «Я [Иегова] соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд» (Иоил. 3: 2).

...девять чинов ангельских... – включенная в католическую доктрину «небесная иерархия» псевдо-Дионисия Ареопагита; она объемлет три иерархии, подразделяемые каждая на три лика: серафимы, херувимы, престолы – господства, силы, власти – начала, архангелы, ангелы. В перечислении проповедника престолы и господства переставлены местами.

...темные врата... трепещущая душа. – Парафраз финальной фразы французского романа М. Тинэйра «Дом греха» (1902, англ. пер. 1903), уже и ранее перефразированной Джойсом в газетной рецензии на этот роман («Французский религиозный роман», 1903).

Аддисон... послал за... графом Уорвиком... – событие, не вполне удостоверенное, но излагаемое в «Жизнеописаниях английских поэтов» Сэмюэла Джонсона. Джозеф Аддисон (1672–1719) – английский прозаик, журналист, политический деятель; граф Уорвик – его приемный сын.

чья красота... мелодична – расширение уже приводившейся цитаты Дж. Ньюмена (см. с. 496 и прим.).

...Бог сотворил их, дабы вновь заполнилось место... – Излагаемое здесь учение, что падение ангелов свершилось до сотворения человека, преобладает в католичестве, но не является принятым как догмат. С вилланеллой Стивена в гл. V соединяется

иной мотив, также распространенный (и подкрепляемый некоторыми местами Писания): падение ангелов – следствие их похотения к дочерям человеческим.

*Non serviam* – не буду служить (лат.), в Библии (Иер. 2: 20) Господь приписывает такую позицию Израилю; делаемое же в проповеди отнесение ее к Сатане – богословское мнение, теологумен. В сознании Стивена эта формула твердо служит декларацией бунта и богоборчества.

как свидетельствует... Ансельм в книге о подобиях... – Приводимого утверждения не найдено у св. Ансельма Кентерберийского (1033–1109), однако оно содержится в вышеупомянутом тексте Пинамонти (см. прим. к с. 499).

...огнь печи Вавилонской утратил свой жар... – при сжигании Навуходоносором трех отроков иудейских, Дан. 3.

Святой Джованни Фиданца Бонавентура (1321–1373) – кардинал, крупнейший францисканский богослов-мистик.

Святая Екатерина Сиенская (1347–1380) – доминиканская монахиня, с ранних лет имевшая видения, прославленная за жертвенное служение больным и бедным.

Воображение или представление места – начальное упражнение в системе «Духовных упражнений» Лойолы, вошедшей в основу духовной дисциплины иезуитов. Оно означает «своего рода созидание некоего места... ясное и отчетливое представление места, где находится то, что я хочу созерцать» (Игнатий Лойола. Духовные упражнения. Первая неделя. Первое упражнение. Первое вступление).

...жало совести... – сквозной мотив в сознании Стивена в «Улиссе», ср., напр., «жагала сраму» в эп. 1 и прим.

Папа Иннокентий III (1160–1216, папа с 1198) – один из самых могущественных средневековых пап, впервые введший в употребление титул «Наместник Христа». Образ тройного жала – из его аскетического сочинения «О презрении к миру, или Об убожестве человеческого состояния».

...неугодны они Тебе, Господи, Боже мой... – Как было замечено, из покаянной молитвы в романе выпущен один член: согласно Манутскому Катехизису, за приведенными словами должно следовать: «...Твоей бесконечной благости. Объяснений такого пропуска в литературе нет, и у читателя – свобода истолкования.

Поле, заросшее сорняками... Спасите! – расширенный вариант эпифании 6.

Некогда Он... дом наш. – Третье и наидлиннейшее цитирование того же места из «Славословий Марии» Ньюмена, см. выше с. 496, 506.

...он должен пасть на колени... и исповедать ему правдиво... – Эпизод исповеди и следующего за ней причастия также соответствует биографии Джойса.

Сознание места... – отсыл к духовному упражнению «представление места», описанному выше.

Воскресенье было посвящено... – Здесь и далее описывается один из типовых распорядков благочестивой жизни католика в добрые старые времена. Принималось, что «сверхдолжные» (не входящие в обязательное правило) молитвы и иные дела благочестия сокращают душам прежде усопших их пребывание в чистилище на определенные сроки, точно исчисляемые Церковью в днях, сороках (сорокадневных интервалах) и годах (к примеру, 200 дней – за чтение литании Богородицы Лоретской, и т. п.).

Розарии – сложная система многократных повторов молитвы «Аве Мария», обычно практикуемая по четкам.

Семь даров Святого Духа – премудрость, разум, совет, крепость, ведение, благочестие, страх Господень (Ис. 11: 2–3).

...скорбел над великой тайной любви... – парафраз строки одного из любимейших стихотворений Джойса, «Песни Фергуса» Йейтса. В «Улиссе» эта строка и все стихотворение проходят сквозною нитью.

Святой Альфонс Лигурийский (1696–1789) – миссионер, основатель ордена редемптористов (братьев-искупителей) со строгим уставом. Имеется в виду его книга «Как приступать к Святым Тайнам, с прибавлением благочестивого метода слушать мессу» (англ. пер. 1840).

Неслышный голос... commorabitur... – из эпифании 24.

Ректор стоял... – Последующая сцена, как и предложение о вступлении в орден – реальные события.

Святой Фома принадлежал к доминиканскому ордену, святой Бонавентура – к францисканскому.

Лорд Томас Б. Маколей (1800–1852) – английский историк и эссеист.

Луи Вейо (1813–1883) – французский журналист, эссеист, ярый католик.

...грех Симона Волхва... – «симония», покушение приобрести дар апостольский за деньги (Деян. 8: 9–24).

Фоллон – соученик Джойса в Бельведере (единственный, перешедший в роман со своим именем, в отличие от двух десятков соучеников в Клонгоузе).

Часто ночью тихой – песня на слова Т. Мура.

«...выражавших... во все времена». – Из «Грамматики согласия» Дж. Ньюмена. Полный вид фразы: «Возможно, поэтому Средневековье видело в Вергилии поэта и волхва; его слог и отдельные слова, его проникновенные полустихия, выражавшие... во все времена...»

От паба Байрона... – Патрик Байрон, дублинский торговец и трактирщик; к Булло – Норс-Булл Айленд, островок в устье Лиффи, соединенный с берегом дамбой.

«В беге сравнится он... под мышцами вечными». – Из «Идеи университета» Дж. Ньюмена (1852). Конец цитаты – парафраз Втор. 33: 27. Отметим также в этом и след. абзаце возвращающийся личный лейтмотив оленя, символ гордого и вызывающего

существа, бесстрашного перед нападениями. Ср. малый «Портрет», с. 24 и прим.

...из своих сокровищ... – В «Герое Стивене» Джойс описывает, как он всюду постоянно собирал словесное «сокровище» – красивые или колоритные слова, обороты, фразы (см. с. 50, 53); «День... облаков» – из романа Х. Миллера «Свидетельство скал» (1869), пытавшегося примирить библейскую и научную картины появления Земли и человека на ней.

...седьмого града христианского мира... – средневековый титул Дублина; Тингмот – совет, правивший Ирландией, когда она была покорена датскими викингами.

Бус Стефануменос, Бус Стефанофорос – оба выражения означают «бык венценосный» (греч.), в греческой классике – жертвенное животное, украшенное венком и предназначенное для заклятия.

Он глянул на север... – Последующая сцена имеет многочисленные переключки с эп. 3 «Улисса».

Мерцая и дрожа... всех прежних. – В этом пассаже заметны отголоски финала «Божественной Комедии» («Рай», Песнь XXXVIII).

## Глава V

...матери приходится его мыть. – Некоторую свою нелюбовь к мытью в молодости Джойс передает, утрируя, Стивену и в «Портрете», и в «Улиссе».

Герхард Гауптман (1862–1945) – немецкий драматург, творчеством которого Джойс увлекался с 1901 г.

Гвидо Кавальканти (ок. 1250–1300) – итальянский поэт и друг Данте. Контекст отсылает к тому же эпизоду, который Стивен вспоминает в «Улиссе» (эп. 3), – эпизоду, связанному с прогулкой Гвидо на кладбище.

Бен Джонсон (1572/3–1637) – английский поэт, драматург и критик, друг Шекспира; «Я утомлен не больше был...» – из эпилога его пьесы «Видение восторга».

Елизаветинцы – деятели культурного возрождения в эпоху королевы Елизаветы I (1558–1603).

...дух прекрасного... познал благородство. – Парафразы «Портрета художника», см. с. 25.

Макканн – см. прим. к с. 12.

Крэнли – см. прим. к с. 60.

...к... памятнику национальному поэту Ирландии. – Памятник Тому Муру, стоящий перед колледжем Тринити, где он учился.

Фирболги и милезийцы – полулегендарные народы, населявшие Ирландию ок. IV и ок. I в. до н. э., соответственно, и во всем противоположные: первые – невежественные карлики, вторые – высокорослые и ценители просвещения; Мур на памятнике облачен в милезийскую тогу.

Давин – персонаж, восходящий к тому же прототипу, что и Мэдден в «Герое Стивене», см. с. 49 и прим.; речь его в оригинале насыщена ирландизмами и диалектизмами.

Майкл Кьюсак – см. прим. к с. 79.

Комендантский час вводился англичанами в сельских местностях Ирландии в период восстания 1798 г., а также в годы голода 1845–1848 гг.

...атлета Мэта Давина... – В те годы в Дублине были весьма известны братья-спортсмены Пэт и Морис Давины.

Линия прекрасного – понятие классической английской эстетики У. Хогарта и Э. Берка.

...прозвать его ручным гуськом – в противоположность «диким гусям», см. прим. к с. 420.

Баттевент – городок в южном графстве Корк.

«Ребята Кроука» – название команды – в честь архиепископа Уильяма Кроука, великого поборника ирландских видов спорта, в частности хэрлинга.

Плита в память Вулфа Тона была открыта 15 августа 1898 г., в столетнюю годовщину восстания.

Повеса Иган – Джон Иган (ок. 1750–1820), политик и юрист, прославившийся грубым и буйным нравом (Джойс/Стивен путает его прозвище: им было не Повеса (Buck), а Драчун (Bully)); Поджигатель Церквей Уэйли – крупный помещик, протестант, получивший свое прозвище за многочисленные поджоги католических храмов в период восстания 1798 г.; Повеса Уэйли – Томас Уэйли (1766–1800), сын «Поджигателя Церквей», продажный политик, игрок и эксцентрик, живший в особняке на Стивенс-Грин, 86, где позднее разместился Университетский колледж, alma mater Стивена и его автора.

Ефод – верхняя одежда иудейского первосвященника (Исх. 28: 6 и др.).

Pulchra sunt... – точная формулировка Фомы слегка иная: Pulchra enim dicuntur ea quae visa placent (Сумма теологии I, q 5, a 4). Тезис томистской эстетики, важный для раннего Джойса и обширно им обсуждаемый ниже, а также в «Герое Стивене» (см. с. 108 и прим.). Bonum est... – Сумма против язычников, гл. III.

Similiter... – выражение из «Конституций» ордена иезуитов.

...душа подобна тазу с водой... – Эпиктет. Беседы. Кн. III, 3: 20–22; случай с украденной лампой – там же. Кн. 1: 18, 15.

...одну фразу у Ньюмена... – «Я укоренена была в почтенном народе и введена была в сонм святых». Дж. Ньюмен. Славословия Марии (парафраз Сир. 24: 13).

...последователь... за чередой громких обращений... – О. Дарлингтон, прототип декана о. Батта, обратился в католичество, будучи прежде священником в англиканской церкви; волна обращений англичан в католичество, связанная с так наз.

Оксфордским движением (что стремилось приблизить учение и практику англиканства к католицизму) и с обращением Ньюмена (1845), проходила в 40 – 50-е годы XIX в.; неясная вера – по католическому богословию, вера, не соединяемая с познанием и с понятиями, но просто приемлющая то, что Церковь утверждает как истину; последователи шести принципов, или же «баптисты шести принципов» – американская баптистская секта, основанная в Лондоне в 1690 г. («принципы» – из Евр. 6: 1–3); собственный народ (Втор. 14: 2) – секта, возникшая в Англии в 1839 г., отрицавшая доктрину предопределения, а также все способы лечения, кроме молитвенных; баптисты семени и баптисты змеи – секты в южных штатах Америки, куда входили последователи Джона Чепмена по прозвищу Джонни Яблочное Семя (1775–1847), американского харизматика, соединявшего проповедь Библии, Сведенборга и целительных растений; супралапсарианские догматики – оформившаяся в 1835 г. ветвь крайнего кальвинизма, учащая о предвечном двойном предопределении, праведников – к блаженству, грешников – к вечным мукам; Господь призвал ученика – Мф. 9: 9.

Залпы кентской пальбы – выражение, означающее громкий топот и возникшее в связи с митингами против равноправия католиков в 1828–1829 гг. в графстве Кент.

Лепардстаун – местечко под Дублином, где происходили скачки.

При необходимости...это. – Формула катехизиса, относящаяся к совершению таинства крещения.

Лимб, или же *limbo patrum* – по католическому учению, местопребывание душ «праотцев» – ветхозаветных пророков и праведников до искупительной жертвы Христа.

У. Ш. Гилберт (1838–1911) – английский драматург и либреттист; совместно с композитором А. Салливаном ему принадлежит большое число популярных опер и оперетт. Приводимые строки – из акта III оперы «Микадо» (1885).

Ф. У. Мартино – вероятно, Ф. Мартин (1863–?), автор работ по химии платины.

...урвет свой фунт мяса! – «Венецианский купец», I, 3.

Стивен холодно взглянул вниз... прикладными? – Этот пассаж – сжатая, мастерская экспозиция особой позиции Стивена и Джойса в ключевом ирландском противостоянии националистов и сторонников Англии. Эта оппозиция тут дана в форме мизансцены, с графической четкостью: впереди Стивена – студент-ольстерец, позади – «шут-ирландец», сам же он – в средней позиции меж ними, и его внутренняя реплика производит деконструкцию бинарной оппозиции: оба ее полюса равно «променяли душу народа».

...фотографию царя... – российского императора Николая II, инициатора конференции за всеобщий мир, состоявшейся в Гааге в 1899 г.

Уильям Томас Стэд (1849–1912) – английский журналист и политик, активный деятель пацифистского движения.

...обеспечить наибольшее счастье наибольшему числу людей... – основоположный принцип философии утилитаризма Дж. Бентама (1748–1832).

Темпл – см. прим. к с. 117.



Социализм был основан ирландцем... – патриотическая гипербола типа «Россия – родина слонов», свойственная ирландцам не менее, чем русским; Энтони (не Джон Энтони) Коллинз (1676–1729) – философ-вольнодумец, критик религии; Лотти Коллинз – кафешантанная певица, знаменитая в 1890-х гг., приводимые строки – из распространенной в Дублине переделки ее популярнейшего шлягера.

Феликс Хэкетт – один из соучеников Джойса по университету.

Линч – см. прим. к с. 144.

Фианна – легендарная дружина воинов героя ирландских саг Финна Маккула; в XIX в. так были названы боевые дружины фениев, воинствующих ирландских националистов-радикалов. Цитаты Стивена – из военного пособия, составленного для ее членов.

Классы лиги – классы ирландского (гэльского) языка, организованные Гэльской лигой.

...помнишь... когда мы встретились... – Упомянутая сцена описана в «Герое Стивене», гл. XV.

Ирландия – это старая чушка, что жрет своих поросят. – Стивен буквально повторяет это в «Улиссе», в финале «Цирцеи». Возможная у Джойса коннотация – образ из «Истории Ирландии» Джеффри Китинга (XVII в.): Ирландию «пожирает отродье любой заморской чушки».

Аристотель не дает определений сострадания и страха. – Неверное утверждение: страх определяется в «Риторике», кн. II, гл. 5, сострадание – там же, в гл. 8.

Гоггинс – в «Герое Стивене» этот персонаж явно имеет прототипом Гогарти, в «Портрете» Джойс убавил их сходство.

...из звука, формы и цвета, этих врат темницы нашей души... – мотивы Платона, ср. «Кратил» 400 с, «Федон» 62 b.

...Платон говорит, что прекрасное – сияние истины. – Ср. «Федр» 277–278, «Пир» 210–211.

Греки, турки... – излагаемые тут идеи – из «Эстетики» Гегеля.

Range, lingua... – «Воспой, язык...», знаменитый гимн сочинения св. Фомы Аквинского (1263); первый стих его заимствован из гимна Венанция Фортуната. Венанций Фортунат (530–603) – церковный деятель, епископ Пуатье, поэт. Линч распевает четвертую строфу его гимна *Vexilla Regis prodeunt* (Се грядут царские хоругви), поемого в Страстную пятницу, за литургией Преждеосвященных Даров.

Том Кларк – владелец табачного и газетного магазина, активный участник фенианского движения и Пасхального восстания 1916 г., казненный англичанами; под «ирландцами» имеются в виду члены национального движения.

Донован – прототипом его был Константин Каррен, соученик Джойса по университету, упоминаемый в «Улиссе» (эп. 2) и оставивший воспоминания о Джойсе.

«Лаокоон» Стивен обсуждает в «Герое Стивене», указывая ряд своих расхождений с Лессингом (см с. 55).

Ad pulchritudinem... claritas – не вполне точная цитата из «Суммы теологии», I, q 39, а 8.

Шелли... сравнил с тлеющим углем... – В эссе «Защита поэзии» (1821); образ этот важен для Джойса, и он приводит его не раз, в том числе в «Улиссе» (эп. 9).

Луиджи Гальвани (1737–1798) – итальянский физиолог и физик, один из основоположников учения об электричестве.

Старинная английская баллада «Терпин-герой» о легендарном разбойнике, повешенном в 1739 г., была любима Джойсом, исполнялась им и даже, возможно, отразилась в названии его первого романа.

...экстаз серафической жизни. – Имеется в виду францисканская мистика и религиозность, оказавшая заметное влияние на Джойса (см., в частности, ниже); св. Франциск имел прозвание «серафического отца», от бывшего ему видения серафима.

...сонмы серафимов и ангелов низвергались с небес. – Абзац, завершаемый этой фразой, – поэтико-богословская фантазия, вольно сливающая мотивы Благовещенья и падения ангелов (ср. прим. к с. 507). Принадлежность Люцифера к чину серафимов – католический теологумен.

Вилланелла, «деревенская песнь», – одна из форм французской и итальянской средневековой народной поэзии, характеризуемая трехстрочной строфой и повторами; употреблялась иногда в модернистской поэзии конца XIX – начала XX в., в частности Э. Доусоном (1867–1900).

...воспоминание о комках свалявшегося конского волоса в сиденье дивана... – здесь и далее детали, что проходят в памяти Стивена, соответствуют описаниям вечеров в семье Дэниэлов в «Герое Стивене».

...песнь победы при Азенкуре... – ода Майкла Дрэйтона (1563–1631), сочиненная в память победы Генриха V в 1415 г.; «Зеленые рукава» – одна из самых известных старинных английских мелодий.

Герардино да Борго Сан-Доннино (?–1276) – монах-францисканец с бурной биографией, вождь подвергавшегося гонениям движения иоахимитов, которое возникло во францисканской среде и проповедовало учение Иоахима Флорского (см. прим. к с. 26); Герардино был первым систематизатором этого учения.

«Средь гор и озер Килларни» – первая строка баллады «Килларни» М. Болфа (см. прим. к с. 340).

Мойколлен – городишко на крайнем западе Ирландии.

Не истомил ли тебя знойный путь?... – вилланелла Стивена – одно из ранних (1900–1901) стихотворений Джойса. В ней сплетены многие мотивы католической теологии (параллель между Евой и Девой Марией как «Второй Евой»), апокрифической библейской Книги Еноха (говорящей о падении ангелов из-за их вождения к дочерям человеческим) и средневековой мистики.

Ждет ли он доброго или дурного знамения?.. – тема знамений и гаданий пришла, вероятно, к Джойсу от Йейтса; Корнелий Агриппа Неттесгеймский (1486–1535) – натурфилософ и оккультист, трактующий об оракулах и гаданиях (в частности, по полету птиц) в своем главном труде «De occulta philosophia» (1531), гл. LIV–LVI; какую фразу его Джойс имеет в виду, едва ли точно установимо. Текст же из Э. Сведенборга (1688–1772) определяется точнее: это – «Небо и Земля», разд. 108, где ряд терминов и выражений совпадает с пассажем Джойса.

Образ Тота – бога писцов восходит к «Федру» Платона (ср.: «один из древних богов... которому посвящена птица, называемая ибисом... Тот... первый изобрел письмена», etc. – 274 cd.).

...звучало похоже на одно ирландское ругательство. – Обладая слухом и фантазией Джойса, можно услышать имя бога, Тот, в звучании популярной гэльской божбы *ta a fhios ag Fia*, буквально означающей «олень знает», причем олень, *Fia*, замещает табуированное *Dia*, Бог.

Склоните лица... – начало финального монолога героини в пьесе Йейтса «Графиня Кетлин» (1892).

...сцена...в вечер открытия... – скандал, устроенный ультрапатриотами на премьере пьесы «Графиня Кетлин» в Ирландском литературном театре 8 мая 1899 г. Предметом протестов было решение героини продать душу нечистому, дабы спасти свой народ, причем обвинители игнорировали благочестивую концовку, где Кетлин получала оправдание Богоматери. Джойс после премьеры отказался подписать письмо протеста, организованное его другом Скеффингтоном (Макканном «Портрета»).

Не надо нам начинающих буддистов! – намек на увлечения Йейтса восточной мудростью.

«Тэблет» (Скрижаль) – английский ультракатолический журнал.

Диксон – в «Улиссе» – медик, знакомый Блума (эп. 6, 14).

Шайка из Бантри – группа ирландских политиков, уроженцев графства Бантри (на юго-западе страны), которые в решающий момент изменили Парнеллу.

Гиральд Камбрийский – Гиральд де Барри (ок. 1146 – ок. 1223), английский хронист и автор двух книг об Ирландии; в трудах его не упоминаются ни фамилия Джойс, ни фамилия Дедал.

*Pernobitis et pervetusta familia* – в хрониках этими эпитетами наделяется английский род Фитц-Стивенов, игравший видную роль в покорении Ирландии.

Это ужасно интересное слово... единственное двойственное число... – Слово «мудила» в оригинале соответствует англ. *ballocks* (яйца самца), что есть, вопреки Темплу, форма обычного множественного, а не двойственного числа.

...в лесу около Малахайда... в экстазе... – эпизод, упоминаемый в малом «Портрете», см. с. 23.

«Тьма ниспадает с небес» – измененная (верный вариант будет ниже) строка из комедии писателя и поэта-елизаветинца Томаса Нэша (1567–1601) «Последняя воля и

завещание Саммера» (1592, изд. 1600).

Джон Доуленд (1563–1626) – английский композитор и лютнист, Уильям Берд (1543–1623) – крупнейший из композиторов-елизаветинцев, придворный музыкант Елизаветы; слюнтяй Стюарт – Яков I Стюарт (1566–1625, правил в 1603–1625), согласно источникам, производил подобное впечатление – как своею личностью, так и правлением; Ковент-Гарден – рыночная площадь в Лондоне, а также театр, выстроенный на этой площади в 1732 г.

Корнелиус а Лапиде, О. И. (1567–1637) – именитый католический богослов, автор монументального Комментария к Священному Писанию, где и содержится указанное Стивеном утверждение.

«Адельфи» – дублинская гостиница.

...серолицей супружницы Сатаны... – Греховности, согласно «Потерянному раю» Мильтона (кн. II).

Роскоммон – графство и небольшой городок в Центральной Ирландии.

Не буду служить – один из лейтмотивов образа Стивена, см. прим. к с. 507.

Паскаль... не позволял матери целовать себя... – Стивен (и Джойс?) несколько путает: у Паскаля в детстве отмечена была иная странность, он не переносил, когда его отец и мать близко приближались друг к другу; Алоизий Гонзага – см. прим. к с. 416.

Иисус тоже... его оправдывает. – «Неучтивость» Иисуса с матерью, обсуждаемая Стивеном – и католической теологией, – заключена в стихе Ин. 2: 4, который в русском и славянском текстах (калькирующих сжато-неопределенный греческий оригинал) не содержит никакой «неучтивости» («Что Мне и Тебе, Жено?»), однако в Вульгате, французских и английских текстах приобретает ее: «Женщина, что [общего] между мной и тобой?» Франсиско Суарес (1548–1617), крупный теолог-иезуит, разъясняет эти слова, говоря, что Мария (речь тут о чуде в Кане Галилейской) из человеческого тщеславия просила Сына о чуде, и потому Он должен был отвечать с отчужденностью.

...от нелепости... непоследовательную? – Джойс много раз повторял это сопоставление католичества и протестантства, явно нравившееся ему.

Пембрук – один из богатых кварталов Дублина.

Селлигеп, Лэррес – деревушки в графстве Уиклоу, к югу от Дублина.

Хуан Мариана де Талавера, О. И. (1537–1623) в трактате «О короле и королевской власти» (1599) действительно разбирает темы убийства и отравления короля («тирана»), и рассуждения его Стивен передает верно. В них выражена позиция так наз. «монархомахов», иезуитских теоретиков примата папской власти над королевской.

Молчание, изгнание и хитроумие – эту трехчленную формулу высказывает (по латыни – *Fuge, late, tace*) Люсьен де Рюбампре в «Блеске и нищете куртизанок». Не без основания ее признают жизненным девизом и самого Джойса. Чего он не знал, вероятно, у нее – весьма древняя история с корнями в раннехристианском

монашестве: по одному из кратких рассказов (апофтегм) об отцах-пустынниках, авва Арсений услышал глас, говорящий ему: убегай, скрывайся, храни безмолвие. От глагола *hesychadzei* в греческом тексте этой апофтегмы идет нить к понятию исихии (священнобезмолвия) и термину «исихазм», так что в данном пункте у Стивена и Джойса есть переключка с исихастской духовностью.

Да, дитя мое... – Крэнли копирует исповедующего священника.

Истощенные чресла... предтеча... – см. Лк. 1 и Мф. 3.

Пришел в недоумение... взломать замок. – Шутка по поводу того, что церковь святого Иоанна у Латинских Ворот (Сан-Джованни а Порта Латина) в Риме была посвящена первоначально Христу Спасителю, а затем Иоанну Крестителю и Иоанну Богослову (совместно). По преданию (позднему), на этом месте св. Иоанн Богослов был чудесно спасен от мучительной казни в кипящем масле.

Гецци – профессор, у которого Джойс в университете учился итальянскому языку; Бруно из Нолы – Джордано Бруно.

Солдаты... бросали кости... – вариация на тему Ин. 19: 23–24 (только у Иоанна говорится, что воинов у распятия было четверо).

Я думаю... тяжело болен. – Из стихотворения У. Блейка «Уильям Бонд» (1803).

Ротонда – театр и концертный зал в центре Дублина.

Уильям Юарт Гладстон – см. прим. к с. 90.

О, Вилли, нам тебя недостает! – американская песенка.

Длинная загибающаяся галерея. – Данный абзац есть почти в точности в эпифании 29.

Мать уронила ребенка в Нил... – апория, разбираемая в философии стоиков.

Лепид, Марк Эмилий Младший (I в. до н. э.) – сподвижник Цезаря; фраза Стивена – вариация реплики Лепида у Шекспира в драме «Антоний и Клеопатра»: «Ваши египетские гады заводятся в вашей египетской земле от вашего египетского солнца. Вот, например, крокодил» (II, 7; пер. М. Донского).

Линксоглазый – рысьеглазый (*lynx* – рысь, лат.); созвучие линкс – Линч устойчиво связывается с последним – в частности, и в «Улиссе».

Тара – королевская столица древней Ирландии; Холихед – ближайший от Дублина английский порт.

...поверг Пеннифезера в отчаяние. – Отголосок семейных историй: часть родового имущества Джойсов перешла к деду (не отцу) классика, также Джеймсу Джойсу, от некоего Уильяма Пеннифезера.

Майкл Робартис вспоминает утраченную красоту... – контаминация двух вещей Йейтса: стихотворения «Он вспоминает утраченную красоту...» (образы этого стихотворения следуют далее) и рассказа «*Rosa Alchemica*» (герой которого – Майкл Робартес).

Чуть слышно, под тяжким покровом ночи... – эпифания 26.

...бороться всю эту ночь, пока не придет рассвет... – вероятно аллюзия на борьбу Иакова с Богом, Быт. 32: 24–31.

...выковать в кузне моей души... – ср. выше, с. 552–553: первое появление мотива.

Ранний Джойс, или Стивениада до Одиссеи

Есть ёмкое суждение, сделанное великими знатоками Джойса: «Невероятно, до какой степени Джойс в юности [Joyce as a young man, отсыл к названию романа] знал, куда он направляется»[155 - Scholes R., Kain R. M. The First Version of «A Portrait». Introductory note // The Workshop of Daedalus. P. 58.]. Оно сразу интригует – но, прежде всего, хочется ему возразить: право, так ли это, возможно ли это вообще? Как все мы знаем, та точка, куда Джойс направлялся, его точка кульминации, – «Улисс», его предельно новая, небывалая проза. Разве же знал Джойс в юности, что он идет к ней? Разве не крайне далеки от нее ранние его опыты, собранные в этой книге? Да и сама по себе эта проза настолько неожиданна, необычна, что предвидеть ее задолго, двигаться к ней целенаправленно кажется невыносимым, нереальным. Но при всем том мы ясно чувствуем правоту суждения. Уже и в пору первых шагов, первых скромных опусов художника-в-юности его творческое поведение отличают уверенность, твердость, самостоятельность. Он не чуждается литературных кругов, ищет с ними контакта и входит в них – но при этом не только не включается в мейнстрим, в литературные силы национального движения, но высказывается критически об этом мейнстриме, ведет себя вызывающе с его главными фигурами. Он явно стремится прокладывать собственную линию – и это отнюдь не только во внешнем поведении. Едва ли не большую твердость и самостоятельность он проявляет в своем писательстве. Хотя оно едва началось, он в нем ведет себя никак не учеником, он ищет общения, читателя, но никак не наставленья и руководства, не принимает советов и отказывается от любых уступок конвенциональности. Полное впечатление, что он органически неспособен отступить от своего пути – а это и значит, что он вполне «знает, куда он направляется». Иными словами, у него есть свой вектор.

Едва ли, однако, можно сказать, что Джойс знал уже и то, к чему этот вектор приведет. Наши возраженья в начале тоже верны. Нет сомнений, что даль великого романа художник-в-юности сквозь свой магический кристалл еще неясно различал; возможно, и вовсе не различал. Контрапунктом приведенной цитаты звучит суждение другого глубокого исследователя: «Джойс лишь постепенно осознал, что же он делает»[156 - Adams R. M. After Joyce. Studies in Fiction After «Ulysses». New-York: Oxford University Press, 1977. P. 24.]. Но самое важное – что твердо имелся вектор.

Станем же вместе с Джойсом двигаться вдоль вектора Джойса – продвигаться в предгорьях «Улисса», – следя, как вершина будет постепенно приближаться и проясняться. Наука самая увлекательная.

\* \* \*

Сразу заметим важное: Джойс-художник начинается не прямо с художества, а скорее с «теоретических подступов» к нему, с обдумывания его сути, его задач. Он –

антипод известного типа «органического», непосредственного художника, у которого пишется само, без концепций и схем; в его творческом процессе искусство всегда пропущено сквозь рефлексию. И первый, исходный этап его творчества главным своим содержанием имеет становление концепции, которую затем будет воплощать его искусство.

Литературное крещение Джойса – доклад-эссе «Драма и жизнь», прочитанный 20 января 1900 г. в Литературном и Историческом обществе Университетского колледжа, студентом которого он был в 1898–1902 гг. (Событие это подробно описано в «Герое Стивене».) В одном из вариантов доклад носил название «Искусство и жизнь», и это название есть точная формула художественного идеала юного Джойса. Ему виделось нераздельное единство, соединение двух стихий, которые он тогда, после пройденного уже религиозного кризиса, решительно сделал верховными началами своего мира. Они обе утверждаются, возвеличиваются им с энтузиазмом и лирическим пафосом; дух раннего Джойса – пафос жизни, но жизни творящей, творческой, которая сама из себя изводит искусство, естественно и органично оказывается совпадающей с ним. Тогда в его словаре – отчасти из-за увлечения Ибсеном – «драма» означала высший род, квинтэссенцию, почти синоним искусства как такового, и он писал: «Драма возникает спонтанно из жизни, она ее вечная ровесница», – обе стихии должны проникать и наполнять, оплодотворять друг друга. Двуединство искусства и жизни – вот идея, с вынашивания и освоения которой начинает строиться творческий мир Джойса. Так или иначе с этой идеей связано большинствоopusов начального периода 1900–1903 гг.: статья «Новая драма Ибсена» (1900)[157 - Эта статья-рецензия на драму «Когда мы мертвые пробуждаемся» привлекла внимание самого Ибсена, который направил Джойсу благодарственное письмо.], полемическая заметка «Торжество черни» (1901) об ирландском театре, доклад-эссе «Джеймс Кларенс Мэнген», прочитанный в том же Обществе 15 февраля 1902 г.; с ее же позиций пишутся и книжные рецензии, целый ряд которых Джойс публикует в 1902–1903 гг. С этим же руслом, несомненно, можно ассоциировать и эпифании, также принадлежащие данному этапу: событие эпифании естественно понимать как своего рода встречу искусства и жизни, манифестацию искусства, таящегося обычно в жизни под спудом.

Столь же несомненно, однако, что в контексте европейской культуры рубежа XIX и XX вв. концепция Джойса в этой ее ранней форме не несла ничего особо оригинального. Родственные идеи и поиски без труда можно было тогда найти в художественной жизни многих европейских стран и России. Поэтому позиция художника-в-юности, усиленно утверждающего свою особенность, отличность от всех фигур и всех течений в искусстве, покамест еще не была достаточно обоснованной. Но весьма вскоре, уже на следующем этапе Джойс сумеет придать известным и распространенным идеям свой поворот, свое более оригинальное наполнение.

Обозначившийся уже в докладе «Драма и жизнь» вектор Джойса направлял к двуединству Искусства и Жизни: к созданию искусства как художественного претворения жизни во всей ее полноте. Однако этап «теоретических подступов» затянулся. Для интенсивного внутреннего развития молодого Джойса четыре года, 1900–1903, – долгий срок, даже очень долгий – однако искусство, как примадонна, медлило с появлением. Художнику, у которого настоящее, полноценное художество никак не начинало рождаться, было – позволю себе процитировать свое «Зеркало» – «маятно, моркотно, коломятно», творческое напряжение бродило, накапливалось – но наконец все это нашло себе разрешение в рубежном событии: создании этюда «Портрет художника». Событие заняло всего один день, 7 января 1904 г., но стало вехой и рубежом, откуда открылся путь к большой прозе Джойса.

«Портрет художника» входит внутрь, вглубь двуединства Искусства и Жизни, показывая, в чем же его реализация, его художественное воплощение. (Впрочем, надо учитывать, что «показывает» он это в чрезвычайно закрытом и темном стиле, так что показывает – лишь самому автору, а не читателю. Возможно, поэтому автор и не публиковал его.) В осуществлении союза Искусства и Жизни на сцену выходит главная фигура, художник. Он – критически необходимая точка встречи двух стихий, деятельный фокус, что сводит их собой и в себе. Лишь в этой встрече, сопрягаясь, обе стихии находят свое истинное исполнение; художник и искусство – высшее проявление жизни, живое *par excellence*. В творческом акте, событии сопряженья стихий, Жизнь предстает как жизнь, претворяемая художником (в Искусство), пропускаемая им чрез себя, переплавляемая им в себе, и тем самым – как Жизнь художника. Тогда, в свою очередь, Искусство – не что иное, как сама Жизнь, явленная как эстетическая реальность, художественная форма; и коль скоро в этом космосе встречи двух стихий Жизнь – то же что Жизнь Художника, то Искусство – Портрет Художника.

Но что есть «портрет»? Этим вопросом открывается «Портрет художника», и юный художник имеет уже свой ответ. Портрет видится как противоположность «чугунного мемориала»; он форма, но он и жизнь, и, как жизнь, он исполнен движения, пульсации. Но это не все и даже не главное: как жизнь художника и портрет художника, портрет – не слепая, мятущаяся протоплазмическая жизнь, а живое лицо с неповторимыми чертами. В нем должны быть воплощены качества личного бытия, личность же индивидуальна и уникальна. Итак, форме надлежит быть динамичной, живущей формой и вдобавок нести личную идентичность, уникальность. Следуя за вектором Джойса, мы здесь уже видим в перспективе один из ведущих принципов будущей джойсовской поэтики: именно через форму, в свойствах формы должны быть явлены главные свойства самого эстетического предмета. Эти интуиции выливаются в ключевые формулы «Портрета художника»: портрет должен раскрывать, высвобождать сокровенный «индивидуальный ритм», представлять собою «изгиб эмоции».

Ясно, что в этих формулах заключены определяющие задания уже отнюдь не самого этюда, не «малого портрета», но некоей большой прозы, которая должна дать исполнение полномасштабного Портрета Художника; и притом, вместе с общим заданием, здесь намечены и определенные принципы формы и письма. Тем самым «Портрет художника» открывал путь к большой прозе Джойса – даже не столько к конкретному роману, который тут же начал писаться (как раз «Герой Стивен» оказался неудачной попыткой), сколько к некоторому новому типу прозы, к проекту прозы как исполнения Портрета Художника. Этот проект стал жизненным проектом Джойса: вся созданная классиком большая проза может рассматриваться как ряд последовательных опытов в этом собственном его роде прозы. Мы не будем доказывать это утверждение, отослав читателя еще к одному «Портрету художника» – теперь уже нашему докладу-эссе [158 - Хоружий С. С. Портрет художника // Человек. RU. Гуманитарный альманах (Новосибирск). 2008. № 4. С. 115–130.]. Сейчас предмет наш – ранняя проза, и мы скажем только, что первый опыт в новом роде начал создаваться немедленно – сам Джойс именно так и понимал свой этюд: как данный наконец-то сигнал к отправлению. То был, по замыслу, обширный роман с центральной фигурой откровенно автобиографического героя-художника. По предложению брата Станислава (который ранее предложил и название для ключевого этюда) роман назван был «Герой Стивен».

Имя Стивен Дедал, которое получил портретируемый Художник, было нагружено для Джойса многими смыслами. Дедал – древний мастер-искусник, создатель и запутанного, губительного лабиринта, и возносящих, освобождающих крыльев, притом творящий в изгнании, на чужбине. Стивен – от греческого «стефанос», венки,



символ славы; к тому же это имя новозаветного первомученика Стефана. Все эти мотивы весьма значимы для Джойса, и из многих идей, которые они могут порождать, главной была идея участи художника-творца, соединяющей славу и страдания. Столь насыщенное глубинными смыслами, это имя стало для Джойса важной частью его жизненного проекта. Он использует его и как собственный псевдоним, в том же 1904 г. подписывая им первые рассказы «Дублинцев» при их публикации. Имя закрепляется и на все дальнейшие опыты большой прозы; и по этому имени вся созданная их серия может нами именоваться Стивениада.

\* \* \*

Здесь нам стоит ненадолго сменить дискурс, чтобы поведать о несколько авантурных внешних обстоятельствах «Героя Стивена». У первого романа Джойса – драматичная судьба в стиле Джойса: с элементами прикола, мифа и детектива.

О существовании этого романа публика впервые узнала в 1935 г. – не по публикации, а из каталога парижского книжного магазина «Шекспир и К°»: одним из пунктов этого каталога (предлагавшего не только книги, но и архивные материалы) стояла рукопись Джойса, описываемая как «страницы 519–902 ранней версии «Портрета художника в юности»», относящиеся к 1903 г. Далее это описание, данное хозяйкой магазина мисс Сильвией Бич – близкой знакомой автора и издательницей его «Улисса», – доверительно сообщало: «Когда рукопись вернулась к автору, будучи отвергнута двадцатым по счету издателем, автор бросил ее в огонь, откуда миссис Джойс, рискуя обжечь руки, спасла предлагаемые страницы». В 1938 г. рукопись была куплена Гарвардским университетом. В 1944 г. ее издал Теодор Спенсер, но еще раньше, в том же 1938 г., Спенсер успел обратиться с письмом к самому Джойсу, спрашивая подробностей о романе. Ответ, пришедший от секретаря мэтра, Поля Леона, извещал: «Обширная, около тысячи страниц, рукопись первого черного варианта (draft) «Портрета художника в юности», которую он [автор] называет изделием школьника, была им написана в девятнадцать-двадцать лет, и ныне она порциями распродана различным американским институтам». Этих институтов, однако, не называлось. Не упоминалось и о сожжении; да гарвардская рукопись и не имела никаких следов огня. Тем не менее биография Джойса, написанная под его собственным надзором и вышедшая в тот же период (в 1940 г.), вновь говорила про аутодафе: «В 1908 г... Джойс сжег часть «Героя Стивена» (как тогда называлась книга) в порыве налетевшего отчаяния и затем начал роман заново, в более сжатой форме». Что до времени написания, то биография сообщала: к отъезду из Ирландии (осень 1904 г.) у автора имелись лишь первая глава романа и заметки к дальнейшему; каталог, напомним, указывал на 1903 г., а письмо к Спенсеру – на 1901–1902 гг. (когда автору было 19–20 лет). Все три свидетельства, столь по-разному говорящие и о датировке, и о судьбе романа, восходили к самому автору, но при этом ни одно из них не было его прямым личным заявлением. Эта хитросплетенная игра в недомолвки была как нельзя более характерна для Джойса. Своеобразная стратегия, которой он следовал и в жизни и в творчестве, в своем письме, включала в себя уклончивость, лукавые умолчания и загадки.

В очередной раз художник успешно навязал миру свою игру и свою стратегию. Несколько десятилетий ученые прилежно разгадывали недомолвки и раскапывали архивы. Расскажем коротко о плодах сих усилий (рассказ более подробный можно найти в нашем «Зеркале»).

Получив с «Портретом художника» сигнал к отправлению, Джойс немедленно набросал

план маршрута: уже в день своего рождения, 2 февраля 1904 г., он изложил брату Станни программу и план романа. Исполнение двигалось с завидною быстротой. Первая глава «Героя Стивена» была написана уже к 10 февраля, и дальнейшие возникали столь же резво: к 29 марта «Герой Стивен» имел уже целых 11 глав. Затем работу приостановили существенные события: знакомство с Норой Барнакл, будущей женой художника, конфликт с ближайшим другом Гогарти (доставивший интригу для будущего «Улисса») и отъезд за границу, к которому художник давно стремился.

9 октября Джойс покидает Ирландию вместе с Норой. Первый пункт в их эмигрантской жизни – Цюрих, и здесь, в этом же месяце, автор заканчивает главу 12. Вскоре Джойс и Нора перебрались в городок Пула на Адриатике, где к Рождеству закончены были главы 13 и 14. Контуры замысла уточняются: роман должен иметь 63 главы, из них «приблизительно десять» должен занять «Университетский эпизод» – рассказ о времени учебы автора-героя в Дублинском католическом университете (иезуитском Университетском колледже). Именно этот рассказ – говорящий, впрочем, лишь о двух первых годах учебы – составляет сегодня почти всю дошедшую до нас часть романа, главы 15–25. Писались они в том же скоростном темпе: 7 февраля 1905 г. автор сообщал брату, что закончил главы 15, 16 и сочиняет главу 17-ю; 15 марта – что закончены 18 глав. В начале марта Джойс и Нора перекочевывают из Пулы в Триест, однако темпы производства не падают: к 4 апреля выданы на гора 20 глав, ко 2 мая – 21, к 7 июня – 24. На подходе уже постепенно следующий эпизод, который автор именует «Эпизод Башни»: он должен рассказать о том, о чем знает сегодня каждый образованный человек на планете, – о недолгой жизни юного Джойса в башне Мартелло. Но каждый образованный человек знает об этом не из романа «Герой Стивен», а совсем из другого, который называется «Улисс».

Стахановская вахта молодого ударника пера резко затормозилась сразу же после «Университетского эпизода». С лета 1905 г. письма Джойса больше уже не пестрят упоминаниями о романе. В марте 1906 г. он сообщает в Дублин, что в его рукописи 25 глав – и, зная, что 24 в ней уже было едва ли не год назад, мы заключаем, что «Герой Стивен» стоит на месте. Сдвинуться с места ему уже не было суждено. Летом 1906 г. Джойс уезжает в Рим, где трудится клерком в банке. Он всем недоволен, клянет судьбу, пьет, буянит и весьма мало пишет, занимаясь к тому же «Дублинцами», а не романом. Весной 1907 г. он возвращается в Триест, однако не возвращается к роману. Давно ясно, что главные трудности его продолжения – внутренние, не внешние; автор все сильнее ощущает недовольство создаваемой вещью. Наступает явный момент утери вектора, теперь уже Джойс не знает, куда ему надо направляться. Во всей его творческой биографии это – редчайшие моменты, и нетрудно сразу назвать главные из них: перед рождением «Портрета художника»; между «Героем Стивеном» и «Портретом художника в юности»; и наконец в финале, после завершения «Поминок по Финнегану».

Творческий кризис 1906–1907 гг. был, пожалуй, самым затяжным и серьезным на всем пути художника-в-юности. Выход же из него принесла... болезнь. Летом 1907 г. острое воспаление суставов уложило художника в больницу, где он лежал крайне продуктивно, написав свой лучший рассказ, «Мертвых», и продумав судьбу романа. 8 сентября он сообщил брату свой вердикт: «Герой Стивен» будет нацело переписан. Начальные главы о раннем детстве должны быть отброшены, дальнейшие радикально переработаны, переведены в иной стиль, а число глав, вместо намеченного 63, станет всего лишь пять. Менялось и название вещи: Джойс решил вернуться к названию этюда-пролога, удлинив его до «Портрета художника в юности». К работе над новым портретом художник приступил тут же.

Понятно, что за изменением схемы романа лежали и некие более глубокие изменения. Не концепции, нет: основой концепции продолжал оставаться Портрет Художника. Изменились – стратегия и способ воплощения концепции. В «Герое Стивене» они были бесхитростны и прямолинейны: художник подробно описывал труды и дни художника, начиная с раннего его детства. Но чем дальше, тем больше он обнаруживал, что его описания бессильны дать искомый портрет; делалось ясно, что задача написания портрета требует некой своей формы. Как пришло решение, мы не знаем; однако нам ясно, что оно могло прийти из нового обращения в исходную точку, к этюду-прологу.

Если в него взглянуть, «Портрет художника» содержал в зачатке две крупные идеи, для Джойса личные и важные. Одна – это идея портрета, несущая в себе джойсовское решение темы личности – как темы о корнях и природе самоидентичности, уникальной индивидуальности каждого. Портрет художника должен быть – внутренний портрет, имеющий уловить и передать его «изгиб эмоции», индивидуальный и индивидуализирующий ритм, пульсацию жизни его души и ума (на этапе «Улисса» эта идея получит существенное развитие, которое я описываю в Тематическом плане комментария к «Евмению»). Эту идею мы уже отмечали выше, но в этюде есть и еще одна. Это – метафора творчества, творческого развития как беременности собою, как направленного, телеологического вызревания внутреннего мира, рождающего как плод – мир художества и плод художества, форму. Эту биологическую метафору Джойс воспринимал глубоко серьезно, как настоящую структурную аналогию, процесс созревания плода в утробе вызывал у него самый пристальный интерес, и позднее в «Улиссе» мы найдем много тому свидетельств. Что же до «Героя Стивена», то, как нетрудно согласиться, его прямолинейное письмо не умело реализовать собою ни той ни другой идеи – когда художник это заметил, и пришел кризис. Напротив, «Портрет художника в юности» уже в своей структуре делал решающий шаг к их осуществлению.

В свете этих идей композиция «Портрета» из пяти глав есть именно та форма, что выражает контуры «портрета художника», ритм внутренней жизни, вынашивающей форму. (Кстати, она возникла у Джойса вскоре после рождения дочери, и в период беременности Норы он очень внимательно наблюдал процесс.) Главы 1, 3, 5 здесь предстают как три стадии или фазы вызревания плода:

Глава 1 – истоки Художника;

Глава 3 – Художник-в-юности как личность религиозная;

Глава 5 – претворение личности религиозной в художественную: рождение Художника.

Главы же 2, 4 суть переходные фазы между тремя главными.

Одновременно здесь налицо и реализация первой идеи, здесь уловлен и передан индивидуализирующий ритм, уникальный изгиб личности художника. Этот изгиб выражен в духовном переломе, что проходит художник: он переживает кризис, катастрофу, катарсис, и в результате из пылкого, истово верующего католика становится столь же истовым и пылким художником. Критический поворот жизненной линии, схваченный в романе, и есть искомый изгиб, и его существо – это перелом-перерождение, в котором личность совершает модуляцию из стихии религии в стихию искусства.

В итоге «Портрет-2» сумел-таки стать исполнением задания, что задал «Портрет-1». Однако рождение пятиглавой схемы было, разумеется, лишь ключом и зачином; само же исполнение заняло семь долгих лет. Вновь были трудности и недовольства; если глава 1 была уже завершена к 29 сентября 1907 г., а главы 1–3 – в апреле

1908 г., то главу 4 художник закончил лишь в 1911 г. Трудности эти и иные (отсутствие читателя, страдная участь «Дублинцев» – см. комментарий к ним и «Зеркало») в ту пору делали его душевное состояние весьма скверным, и однажды в порыве ярости он швырнул рукопись в горящий камин. Как видели мы при изложении истории «Героя Стивена», художник позднее не делал тайны из этого колоритного эпизода; но, как часто в биографии Джойса, версия события, выпущенная в обращение, была несколько обработанной. Как ныне выяснено (Х. В. Габлером в 1976 г.), аутодафе свершилось в 1911 г., и уже не с «Героем Стивеном», что давно был оставлен, а с некоторым промежуточным вариантом «Портрета-2». Мизансцена также отличалась от канонической версии, по которой рукопись выхватила из огня Нора, жена художника. В биографии дотошнейшего Р. Элмана мы прочтем, что, хотя рукопись была брошена в камин в ходе тяжелого разговора Джойса с Норой, вывучена обратно она была сестрой Джойса Эйлин, вошедшей в эту минуту [159 - Как присовокупляет Элман, на следующий день Джойс в благодарность купил сестре пару перчаток и три разных куска мыла, сказав при вручении подарка: «Там есть страницы, которые я никогда б не смог заново написать»]. Так или иначе, в рукописи романа, хранящейся ныне в Национальной библиотеке в Дублине, глава 4 и первые 13 страниц главы 5 носят следы огня. Эти последние главы давались автору с великим трудом, и в конце 1913 г. он еще усиленно корпел над ними – когда письмо американского поэта Эзры Паунда принесло крупный поворот в его творческой судьбе – а для начала в судьбе романа.

Написав Джойсу по наущению Йейтса, прочтя вскоре «Дублинцев» и начало «Портрета», Паунд стал ярым поклонником его таланта и неутомимым устройтеlem его литературных дел. После всех драматических и травматических перипетий с изданием «Дублинцев» (см. комментарий к ним) Джойс был, по сути, лишен возможности печататься. Паунд, живший тогда в Лондоне, немедленно предложил ему страницы нескольких журналов по обе стороны океана. Уже в январе 1914 г. лондонский журнал «Эгоист» по рекомендации Паунда принимает решение о публикации «Портрета». С этого начинается издательская история романа, которая описана уже нами в комментарии к нему.

\* \* \*

Не ставя особых задач литературоведческого анализа, я все же полагаю полезным дать в заключение краткую характеристику формы и письма двух ранних опытов большой прозы Джойса. В особенности стоит взглянуть на «Героя Стивена»: если о «Портрете» давно существует целая литература, то этот роман, заброшенный самим автором, совсем мало читают и обсуждают, поставив изначально на нем печать «первого неудачного опыта».

Вполне ли она заслуженна? За что именно автор его отверг? Уже беглый взгляд на «Героя Стивена» убеждает в непригодности самого простого ответа: роман брошен явно не оттого, что он сам по себе плох, что литературный уровень его низок. Напротив, хотя отсутствие опыта порой ощутимо, но в целом роман написан живо и мастерски – поразительно мастерски, если вспомнить, что автору двадцать два – двадцать три года! Ключи к судьбе текста, стало быть, надо искать в другом; и чтобы найти их, нам следует, несомненно, обратиться к заданиям романа. Мы помним, что в романе должно достигаться двуединство Искусства и Жизни, воплощаемое в «портрете художника», и этот портрет должен нести в себе некий изгиб уникальности, индивидулирующий ритм.

Нельзя сказать, чтобы текст, вначале так бойко выходивший из-под пера, совсем не

воплощал этих предносившихся заданий. Художник явно пытается им следовать, и у него это отчасти выходит. Нетрудно даже увидеть, в какой части: выходит то, чего можно достичь словесно, декларативно. Герой пространно излагает свои воззрения на искусство, но это мало служит заданиям: свою новаторскую поэтику Джойс пока может выразить лишь сжато-загадочно, как в этюде-прологе, и его рассуждения на темы Фомы Аквинского далеки и от прозы «Героя Стивена», и еще больше от той, какую он начнет создавать в будущем. Удачнее – с другим полюсом двуединства, жизнью. «Герою Стивену» удастся донести переполняющую героя и автора истовую жажду жизни и свежести, их резкое отвращение к любой мертвенности и затхлости, их юное жизнечувствие, которое удивительно сродни жизнечувствию раннего Пастернака и «Сестре моей жизни» с ее девизом: «Да будет жизнь всегда свежа!» Но этого было мало. Решающие элементы, ключи крылись в форме: именно ей надлежало делать создаваемый текст тем, что было замышлено, портретом художника. И чем дальше продвигался роман, тем ясней становилось автору, что форма «Героя Стивена» не делала и не могла делать этого.

Трудности с формой коренились в самой природе джойсовского таланта. Дар Джойса огромен, он ярко чувствуется и в его первом романе – но он вовсе не был равновелик во всех аспектах, всех измерениях искусства прозы. В первую очередь это был дар слова, и уже гораздо менее – дар художественного воображения. Стороны творчества, основанные на этом воображении, – а именно к ним и принадлежат проблемы глобальной формы, такие как сюжетосложение, композиция, архитектоника, – не были сильным местом художника, особенно – художника-в-юности. Поздней он научится справляться с ними – помимо писательского таланта, он был еще на редкость умен, и многие свои слабости сумел обратить в достоинства. В «Улиссе» он привлечет на помощь Гомера по части композиции и архитектоники – и выйдет лучше, чем если бы придумал свое, потому что великую парадигму одиссеи самому не придумать. Скучность того дара, в котором непревзойден был Шекспир, дара творения живых лиц и сцен, он возместит дотошнейшим сбором данных – и опять победит: повтор всех реалий эмпирии признают не рабскою зависимостью, а новой интересной игрой. Но в пору «Героя Стивена» до этих побед еще далеко. Для своего первого романа художник принял простейшую, лежащую на поверхности модель нарративной прозы, последовательного и подробного, всеизлагающего повествования. Как показывают сохранившиеся заготовки, он прилежно инвентаризовал свою жизнь – разбил на хронологические промежутки, для каждого составил роспись событий, обширные списки персонажей, разделив их на группы, – и пунктуально переводил сей инвентарь в романские главы. Нельзя сказать, чтобы такая модель была уже априори чем-то плоха, порочна; но она не могла отвечать исходным заданиям. Эта сериальная форма своими свойствами соответственна была жизни сырой, эмпирии жизни – но не жизни художника, претворяемой в искусство и совпадающей с ним. Порождая лишь бесконечный рассказ о цепи внешних событий, она не несла внутреннего драматизма и не могла явить собою портрет художника: с размножением событий и персонажей, «индивидуальный ритм» и «изгиб эмоции» оказывались затерянными, запутавшимися в гуще несущественного материала.

В писанье назревал кризис, и он весьма обострялся той особою ролью, которая отводилась писательству и искусству в мире Джойса. Изначально, с детства, этот мир усвоил характерное строение и определяющие черты мира истового католика иезуитского воспитания. Затем совершился духовный перелом, описанный добросовестно в самом романе. Он вызвал крушение веры и уход из Церкви – однако много раз замечалось, что в итоге перелома неизменной осталась характерная структура личности: по этой структуре, юный бунтарь остался религиозным человеком, человеком культа и поклонения, как равно и сохранил привитую

иезуитами дисциплину ума. Сменился лишь предмет культа, род высших ценностей: на место Бога и Церкви были поставлены Искусство и Жизнь, слитые воедино в напряженной, пульсирующей полноте. Тем самым творчество получало религиозный, если угодно, литургический смысл – смысл высшего служения, которому юный художник решил посвятить жизнь, – и неудача, несостоятельность в творчестве была равнозначна краху в этом высшем служении, высшем жребии человека. Проблемы формы приобретали экзистенциальную значимость, эмоциональную остроту и были способны ввергнуть в экстремальную ситуацию.

Такова внутренняя история, которая привела к кульминации конфликта – обрыву писания и трудному рождению иного замысла – рождению, весьма символично, даже и в физических муках, в период острой болезни. Пружины неудачной судьбы романа теперь раскрылись; но чтобы увидеть их, мы должны были направлять внимание сугубо на недостатки текста – что, разумеется, не дает вполне адекватной оценки вещи. Перейдя же к непредвзятому взгляду, мы заметим и многие достоинства: мы видим множество мест, написанных ярко, совершенно не ученически; встречаем цепкий взгляд и смелую мысль, тонкие соображения и рассуждения. Идея глубже, мы подмечаем и некую общую черту: как сказал бы философ, в серии Джойсовых опытов романа проявляется нечто вроде гегелевской триады – в целом ряде сторон «Портрет художника в юности» выступает как бы антитезисом к «Герою Стивену», тогда как «Улисс» – синтезом их обоих.

«Герой Стивен», первое покушение на большую прозу юноши двадцати двух – двадцати трех лет, несет все черты начального опуса, он до предела непосредствен – но в его непосредственности соседствуют два очень разных рода необычностей, отклонений от литературной нормы и стилистического канона: с одной стороны, следы некоей неуклюжести, отсутствия навыков, тогда как с другой – специфические отличия джойсовского письма и стиля, присущие его дарованию, заложенные в его личности. Разочаровавшись в первой попытке и отталкиваясь от нее, Джойс в «Портрете» имел, как мне видится, стремление – сделать наконец, черт возьми, настоящий крепкий роман! Движимый этим стремленьем, он не только сумел наделить следующий текст драматичной и «говорящей» формой символистского романа, но и заметно сгладил в нем все необычности – как плоды неумения, так и ростки будущей зрелой прозы, неповторимых странностей и вызовов Джойса-мастера. И в итоге – неудачливый «Герой Стивен» порою ближе к «Улиссу», чем вполне удачный «Портрет». Предоставляя поиск примеров читателю как интересное упражнение, мы ограничимся здесь одним-двумя.

Фраза и синтаксис в «Герое Стивене» существуют в двух главных вариациях: они либо примитивны, либо переусложнены. Середины нет. В письме чередуются пассажи, состоящие из простейших фраз с идентичной, монотонно повторяющейся структурой, и эксцентрически удлинённые, запутанные и закрученные синтаксические конструкции. Письмо первого рода – печать неопытности, но второго – характернейшая джойсовская черта, столь знакомая по «Улиссу». Контрастное сочетание их сложилось вовсе не преднамеренно, однако в «Улиссе» оно также будет использовано, уже как сознательный прием «контрастного письма». Что же до «Портрета художника в юности», то для него характерно письмо более усредненное и сглаженное, без этих крайностей, как если бы автор действительно желал написать «роман как роман». Несомненно, он это мог – и столь же несомненно, в этом не мог сполна проявить себя его дар. То же приблизительно можно сказать о лексике. Язык «Героя Стивена» очень ярок и богат (что всегда, увы, насколько-то теряется в переводе), но и чрезвычайно неровен: изобилуют странности и неправильности в выборе слов, труднопонятные семантические сдвиги... И опять-таки, в «Портрете» это будет приглажено и приглушено – чтобы в «Улиссе» вернуться с удесyтеренной

силой.

Но правило держится исключениями, и стоит заметить, что по крайней мере в одном важном аспекте именно «Портрет» приближается к «Улиссу», тогда как «Герой Стивен» еще очень далек от него. Я говорю о знаменитом закрытом письме, о скрытности, окольности, аллюзивности стиля Джойса: в раннем опусе все это еще не началось. Уже в «Портрете» дескрипция и наррация начнут активно приобретать эти черты; в них возникнут беглый намек, косвенная характеристика, лаконичное и загадочное упоминание – а в «Улиссе» такие средства получают решительное господство, почти вытеснив прямое и бесхитростное сообщение читателю чего бы то ни было. Но «Герой Стивен» не знает других способов сообщения, тут обо всем – незатейливо и напрямик. «В «Портрете художника в юности» мы смотрим в комнату через замочную скважину... в «Герое Стивене» – через открытую дверь», – писал Теодор Спенсер в предисловии к первому изданию романа. Разумеется, этот прямой стиль гораздо информативней закрытого письма. Убывает художественная ценность – возрастает документальная: «Герой Стивен» с готовностью выкладывает многое из того, о чем поздние части Стивениады говорят лишь загадочно и вскользь. Две важнейшие фигуры своих ранних лет художник вообще изъясил из этих частей – брата Станни и героиню юношеской влюбленности Мэри Шихи; и только «Герой Стивен» в образах Мориса и Эммы Клери рисует эти фигуры и роль их в жизни Героя. Объемными «реалистическими образами» предстают ближайшие спутники студенческих лет – Берн, Кострейв, Skeffington (в романе, соответственно, Крэнли, Линч, Макканн); в зримых картинах является жизнь семьи Джойсов – сюжет, также почти изъятый в дальнейшем. С той же прямолинейной открытостью выписан и внутренний мир – пунктуально и добросовестно раскрываются все реакции Героя, его воззрения и пристрастия, переполняющая его лирическая стихия... Так Джойс не будет уже писать нигде. Только здесь мы находим и рассказ о культе Ибсена, который исповедовал юный Джойс. И наконец, куда прямей и подробней, чем любой другой текст Джойса, «Герой Стивен» представляет позиции художника в двух главных и больных темах ирландского сознания – темах родины и религии.

Но, помимо самоочевидного прибавления информации, этот открытый и прямолинейный дискурс раннего Джойса несет еще и нечто иное, лежащее много глубже. За ним скрывается, на поверку, весьма своеобразный характер авторской позиции и всего космоса романа. Спросим: от какого лица написан «Герой Стивен»? Казалось бы, спрашивать не о чем – тут один из тех пунктов, где роман начинающего автора самым явным образом следует простейшей модели. Рассказ ведется внетекстовым повествователем, пресловутым автором-демиургом классического романа. От третьего лица, стало быть. И все же – взглядемся в это лицо. Для автора-демиурга равно открыт весь мир, сотворенный им; он может вселяться во всех героев, входить в сознание каждого. Здесь же налицо связь повествователя всего с единственным сознанием – сознанием Героя. Никаких иных сознаний не раскрывается, он входит в одно лишь это. Еще чуть взглядевшись, мы усиливаем этот вывод: автор-демиург вовсе не входит в сознание Героя – он попросту не выходит из него! Все, что говорится в романе, говорится с его позиции – иными словами, от его лица. Наивное письмо «Героя Стивена» наполняет роман немислимым числом фраз, однообразно начинающихся с имени Героя, – и сейчас мы понимаем природу этого стилистического огреха: так бывает, когда текст пишется исключительно о себе и от себя, от первого лица, – только при этом обычно на месте имени, склоняемого и повторяемого без конца, стоит местоимение первого лица. Вывод прост и неоспорим: в действительности, весь «Герой Стивен» есть рассказ от первого лица, Ich-Erzählung, и только местоимение «Я» во всех его бесчисленных повторениях заменено именем «Стивен».

Итак, в дискурсе романа, в структуре его речевых жанров ведущее повествование в третьем лице равнозначно рассказу от первого лица, «Стивен» выполняет роль «Я». Эта замена первого лица третьим далеко не случайна, в ней есть идея, а точнее – претензия. Каждый род авторского присутствия в мире текста имеет свои права и прерогативы, и рассказчик «Героя Стивена», узурпируя права третьего лица, получает от этого немалые преимущества. С позицией «Я», внутритекстового рассказчика, ассоциируются ограниченность горизонта описания и его субъективность – так что, делая свое «Я» третьим лицом, вненаходимым внетекстовым демиургом, юный Джойс освобождается от этих несовершенств и повышает статус своей речи до статуса объективной, а то и абсолютной истины. В частности, он получает богатые возможности для приукрашивания и восхваления себя – но это для него мелко. Замах художника уже в юности глобальней. Утверждая, что в космосе романа его первое лицо, его Я, полностью равнозначно запредельному третьему лицу – ибо правомочно говорить от него, вести рассказ в третьем лице, – он отождествляет горизонт, мир того и другого; и это значит, что его Я, его сознание – не что иное, как весь мир, Универсум. В наивном строении дискурса нам открывается наивный абсолютизм эгоцентрического авторского сознания, позиция, что сродни солипсизму Беркли – над коим Джойс, кстати, с интересом размышлял. И мы призадумываемся: так ли уж это все наивно?

Замеченные нами черты были стойко присущи сознанию и мироощущению Джойса с ранних лет. Начиная с «Героя Стивена», он в разных текстах не раз варьирует дерзкое утверждение, что его разум для него значительнее, чем вся Ирландия. Как сейчас ясно, это утверждение – не только эпатаж, но и обдуманый тезис, вытекающий из другого тезиса: его сознание – вся Вселенная, самодостаточная и безграничная. Эти стойкие убеждения постепенно пролагали свой путь в художественную практику. Уже в «Портрете художника в юности» они делаются предметом рефлексии в речах Стивена, рассуждающего о разных обличьях, под коими автор волен являться в созданном им мире. В «Улиссе» они получают полное воплощение в небывалых свойствах мира текста и небывалых моделях авторского дискурса. Но на поверку этот неведомый прежде тип авторского сознания, равно утверждающий свою прихотливую индивидуальность и свою абсолютную космичность, присутствует уже и в первом романе мастера. В этом, если хотите, еще одно объяснение его названия: коль скоро Стивен – сам Универсум, еще бы он не герой!

\* \* \*

Напомним, что по срокам, указанным самим автором, «Портрет художника в юности» писался дольше, чем знаменитый «Улисс», – на добрых три года, если не на четыре. Описанный выше процесс создания романа прямо наталкивает на любимую Джойсову биометафору: он был поистине трудным вынашиванием, которое прошло три стадии: один день (стадия «Портрета-1») – три года (стадия «Героя Стивена») – семь лет (стадия «Портрета-2»). Что ж в итоге? Наш современник открывает роман – и, в отличие от «Улисса», не обнаруживает «ничего особенного». Текст хорошо знакомого рода: психологическая проза, роман воспитания... – во всех европейских литературах XIX столетия это один из самых распространенных жанров; и стиль, язык, исполнение на первый взгляд также не поражают. Чего же Джойс так трудился? Над чем корпел? – Общий ответ был уже нами дан: роман имел собственное особое задание – исполнить «портрет художника», что влекло новые задачи в области формы и письма. На уровне композиции исполнением задания стала схема из пяти глав; но разумеется, это исполнение не могло ограничиться одной композицией, а включало и определенные принципы поэтики.



Поэтика «Портрета» – на редкость исхоженная и избитая почва. Несколько десятилетий кряду роман был одним из самых популярных текстов в западной литературной науке, как для отдельных штудий, так и для иллюстраций различных свойств современной прозы. Среди его бесчисленных предлагавшихся прочтений и толкований можно, пожалуй, выделить два основных русла. В одном ставили во главу угла «сочетание романтизма и иронии» (Р. М. Адамс) в «Портрете», трактуя это сочетание в рамках теорий Нортропа Фрая или школы Новой критики; и без конца дискутировали о том, преобладает ли у Джойса в построении фигуры Стивена романтическая или ироническая установка. Наряду с этим получил, конечно, распространение и психоаналитический подход. Кульминацией всех попыток его приложения к «Портрету» стали разработки Лакана: так или иначе с романом была связана большая часть заседаний Лакановского семинара в целиком посвященном Джойсу рабочем сезоне 1975–1976 гг.; главными темами анализа здесь стали теория эпифаний, отношения с отцом, парадигма искупления. Как мы отметили в комментарии, наличие в романе пласта проблематики и способа виденья, родственных психоанализу (но от него и отличных!), мы учитывали в переводе. В целом, однако, в качестве концептуальной базы поэтики данный подход слишком узок и догматичен; и оба указанных русла сегодня достаточно устарели. Мы не станем погружаться в пучину всех этих разноречивых специальных работ, нередко без нужды усложненных. Расставим лишь самые общие вехи.

Прежде всего надо уточнить, конечно, слова о романе воспитания: в широком понимании к нему принадлежат и «Герой Стивен», и «Портрет», но крайне существенно, что они принадлежат разным эпохам или формациям жанра. Рубеж, что разделяет между собой отброшенную попытку и следующий за ней состоявшийся роман, здесь выступает очень наглядно: мы видим, что за сменой моделей формы стоял, по существу, переход из одной литературной эпохи в другую. «Герой Стивен», с его линейным и бесхитростным нарративом, явным образом пребывает в рамках реалистической модели, в литературной парадигме старого реализма. В «Портрете» же художник сумел драматизировать то, что в «Герое Стивене» он всего только излагал. Его «говорящая» форма, собою выражающая свойства предмета, несущая его индивидулирующий ритм, изгиб его эмоции, – не что иное, как новая, символистская и модернистская модель формы; и первый, миниатюрный «Портрет» уже был заявкой именно такой модели. Для литературной науки «Портрет художника в юности» – образец именно модернистского романа – той литературной формации, которой принадлежит, скажем, проза Г. Джеймса, А. Жиды, Р. де Гурмона, Д'Аннунцио, Брюсова, Сологуба и массы других авторов. Излюбленным же образцом он стал оттого, что многие особенности поэтики модернистской прозы в нем собраны концентрированно и представлены весьма выпукло.

К примеру, можно заметить, что ключевая черта формы «Портрета», индивидулирующий ритм, тщательно проработана, подчеркнута. Ритм акцентирован серией кульминаций, расположенных в финале каждой главы:

Глава 1: Кульминация-пролог: победа малыша Стивена;

Глава 2: Кульминация Падения;

Глава 3: Кульминация Восстания (религиозного);

Глава 4: Кульминация – Принятие новой веры (в Искусство и Жизнь);

Глава 5: Кульминация всей «беременности собою»: рождение Художника.

Эта серия кульминаций – характерный элемент модернистской поэтики; меж ними устанавливаются свои внутренние отношения, переключки. Роберт Шоулз подметил любопытное остроконтрастное соответствие между финалами Второй и Третьей глав. Обе эти кульминации – сцены в дискурсе телесности, связанные с устами и языком: во Второй главе герой принимает поцелуй проститутки, в Третьей – Святое причастие. Шоулз пишет: «В последней фразе Второй главы Стивен ощутил язык женщины, прижимающийся в поцелуе, «какое-то неведомое и робкое притяжение». В последних строках Третьей главы его язык принимает Тело Господа. Возможен ли более яркий контраст, более насыщенный эмоциональными и интеллектуальными выходами (*implications*)? Поэтика здесь активно воплощает цель автора – показать Стивена колеблющимся между полюсами греховного и святого, которые оба мощно влекут его, но из которых ни один – как покажут следующие главы – не способен удержать его до конца. И ключевым элементом, создающим нужный контраст, служит сфокусированность на языке»[160 - Scholes R. *Joyce and Symbolism* // *Id. In Search of James Joyce*. University of Illinois Press. Urbana and Chicago, 1992. P. 101.]. Другое наблюдение над этой же серией делает Т. Э. Коннолли: он замечает в ней соответствие с развиваемой в романе эстетикой, согласно которой прекрасное предполагает «стасис эстетического наслаждения». Утверждение эстетического жизнеотношения совершается в Четвертой главе – и, как указывает Коннолли, именно здесь кульминация меняет свой характер с динамического или кинетического события на событие гармонически-статическое: «Все первые три главы завершаются кинетическими эмоциональными кульминациями, тогда как Четвертая глава завершается в эстетическом стасисе»[161 - Connolly T. E. *Kinesis and Stasis: Structural Rhythm in Joyce's «Portrait»*. The Reprint.].

Понятно, что коллекцию таких наблюдений нетрудно продолжить, как не столь трудно и выявить в романе еще множество элементов модернистской поэтики. Но мы вместо этого в заключение обратимся к началу, к истокам модернистского дискурса. Для любого крупного художника и мыслителя связь с истоками первостепенно важна, и Джойс здесь не исключение. По отношению же к модернистскому дискурсу, Отца репрезентирует фигура Флобера. Флоберовская нить – сквозная нить во всем совокупном тексте Джойса; уже в принципе эпифаний – фиксировать образцы «вульгарности речи или жеста» – нельзя не признать флоберовской установки. Однако в «Портрете» связь художника с Флобером испытывает качественное развитие, становится многомернее и отчетливей.

В той или иной мере «вектор Флобера» здесь постепенно становится определяющим во всех ведущих аспектах поэтики романа: модель автора, модель персонажа, модель письма. Джойс движется к отказу от абсолютной авторской позиции – от автора-демиурга, всеведущего и полновластного правителя мира классического романа, задающего все смыслы и все нормы этого мира. В «Портрете», как отмечают исследователи, налицо уже «флоберовский отказ Джойса выносить в своем тексте непререкаемые суждения о его персонажах» (Р. Шоулз). Что же до представления персонажей, то, по замечанию другого проницательного исследователя, «Джойс от Флобера усвоил, какой огромный потенциал таит истонченный или прозрачный персонаж: его можно сделать вместилищем таких литературных эффектов, которые он сам почти или вовсе не понимает»[162 - Adams R. M. *Op. cit.* P. 8–9.]. Замечание бесспорно, но здесь уже надо уточнить: это моделирование фигур, уходящее от фигур полномерно-реалистических к истончающимся, к прозрачным, к призрачным... – становится одной из ведущих литературных техник Джойса лишь позднее «Портрета», в котором такая техника еще только пробивается. Подобная же ситуация и с моделью письма. Мы приводили уже суждение Г. Спенсера о том, что «Портрет» переходит от описания «через открытую дверь» к описанию «через замочную скважину», и этот переход к модели закрытого письма тоже, конечно, соответствует «вектору

Флобера». «Портрет» продвигается в этом направлении довольно значительно, и Р. Шоулз отмечает связанную с этим своеобразную диалектику: закрытое письмо принципиально не задает «истинного» прочтения текста, оставляя открытыми все и любые версии его понимания; и письмо «Портрета», как он указывает, «создает впечатление открытости текста для любого возможного толкования, что предельно затрудняет выбор окончательного толкования»[163 - Scholes R. Stephen Dedalus, Poet or Aesthete? // Id. In Search of James Joyce. P. 71.]. Вектор Флобера задает импульс неостановимого творческого движения, поиска: начавшись, несомненно, в поэтике строительства, созидания формы и образа, «Портрет» к своему завершению несет уже в себе зерна будущей Джойсовой поэтики разложения формы и образа.

Так, по извечному закону творчества обращение к истокам вернейшим образом раскрывает дальнейшую перспективу. Связь с Флобером не давала художнику остановиться на рубеже «Портрета». Следуя путеводной нити Флобера, в «Портрете художника в юности» вектор Джойса указывает уже направление к вершине «Улисса».

Сергей Хоружий

Примечания

1 Парафраз Песн. 4: 8.

2

У груди́ей моих пребывает (лат.). Песн. 1: 12.

3

Отрицаю, отвергаю (лат.).

4

Рукопись романа не была подготовлена автором к печати, дойдя до нас неполной и неисправной. Пояснения помет в тексте, связанных с состоянием рукописи, см. в заметке Т. Спенсера (первого публикатора «Героя Стивена»), которую мы приводим в начале Комментария.

5

Заголовок крупно вписан между абзацами наискосок, синим карандашом.

6

На полях карандашом написано: «чем».

7

Мы воспроизводим стилистическую ошибку оригинала.

8

Мф. 8: 36.

9

Пропущено «на».

10

Рукопись здесь надорвана.

11

Надпись, сделанная красным карандашом и, вероятно, отражающая процесс перехода от «Героя Стивена» к «Портрету художника в юности».

12

Измененный вариант фразы написан карандашом на полях, возможно, позднее основной рукописи.

13

На полях против этих фраз написано красным карандашом: «не хотелось уходить».

14

Напротив этого абзаца написаны красным карандашом слова: «маскарад: Эмма».

15

Английский язык (ирл.).

16

В оригинале West-Briton, «западный британец» – одна из множества презрительных кличек ирландских приспешников англичан.

17

Надпись красным карандашом – позднейшая, ибо в рукописи нет разделяющего пространства.

18

Чурбан, неотесанный (ирл.).

19

Дублинский еженедельник на ирландском языке, с полным названием «Меч света» (An Claidheamh Soluis).

20

В этом месте на полях рукописи написана карандашом фраза для вставки после слова «оратор»: «предлагает ему виноград, «Я не ем мускатного винограда»», – но изменений текста, нужных для вставки, не сделано. Эта фраза встречается в гл. II «Портрета художника в юности».

21

Прекрасны те [предметы], что приятны для взгляда (лат.).

22

Для красоты потребны три вещи. [...] Цельность, согласованность, ясность (лат.).

23

- И прибывает в Уиклоу в два часа.
- Это занимает чертовски долго [...]
- Когда [...] на каком (лом. лат.) пароходе мы поедем? (фр.)
- На каком пароходе? [...] На «Королеве морей» (лом. лат.).

24

- А вот оратор, который в дурном настроении.
- Вовсе нет.
- Я думаю, что в дурном.
- Минимально.
- Я думаю, что ты треклятый лгун, поскольку лицо твое говорит, что ты в дурном настроении (лом. лат.).

25

Ты подвыпил? (лом. лат.)

26

Хорошо говорит. [...] Он патриот (лом. лат.).

27

Свинные ножки (ирл., верное написание cruibins).

28

– Видите, лед на улице... в Ливерпуле (гэл., нем. и лат., верное написание feuch).

29

«Дублинский вариант» Джейсус (Jaysus) включает игру слов: jау – модник, щеголь.

30

Народное произношение названия графства Уиклоу.

31

Двадцать один динарий [...] Сиречь ведро (лом. лат.).

32

Пошли играть в гандбол (лом. лат.).

33

Тьма; Преисподняя (лат.).

34

Исправлено красным карандашом на *Haec dicit Dominus* (как и следует); ниже требуется и еще поправка: после *sua* пропущено слово *mane*.

35

С вышеуказанными поправками: «Речет Господь: В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: пойдём и возвратимся к Господу» (лат.). Первое чтение католической службы Великой Пятницы (Ос. 6: 1).

36

На полях карандашом написано: «Идея козла отпущения в Ветхом Завете и Агнца Божьего в Новом (собственные слова Христа)». Возможно, это должно было следовать за словом «мира».

37

Употребительное в Ирландии название Страстной Среды, когда Иисус был предан

Иудой.

38

На полях написано карандашом: «джентльмен-мясник», однако не указано, куда должны быть вставлены эти слова.

39

Совершилось (лат.). Ин. 19: 30.

40

Вслед за этим карандашом написано: «Если я им сказал, что отсутствие воды в купели символизирует то, что, когда мы все омыты в крови Агнца, уже не требуется иных окроплений».

41

Деян. 2: 2.

42

В рукописи слова «создана мною и мне подобными» вставлены красным карандашом.

43

В рукописи это слово подчеркнуто карандашом и написано с опiskой: «анабилизм».

44

Напротив этой фразы имеется примечание карандашом: «Нужно дать по-ирландски». Почерк, которым написано это примечание, отличается от почерка рукописи. Возможно, что это почерк брата Джойса, Станислава, находившегося с Джойсом в Триесте с октября 1905 г.

45



Обман, мошенничество (ит.).

46

На полях карандашом стоит: «Глаз».

47

«Девушка с красивыми волосами» (ирл.), популярная мелодрама (1859) Дайона Бусико.

48

Это слово зачеркнуто, и красным карандашом вписано «белый».

49

В рукописи стоит: «инквизиционером». Слово «инквизитор» написано на полях рукой Станислава (?).

50

Здесь на полях написано почерком Станислава (?) «Требуется изменения».

51

Добро просто (лат.).

52

Добро труднодостижимое (лат.).

53

«Жажда» (лат.). Ин. 19: 28 – слова Иисуса на кресте.

54

Нагорная проповедь, Мт. 5: 28.

55

Проститутка, распутник (лат.). Первое существительное по-латыни среднего рода, но второе – мужского.

56

Поперек этого абзаца написано красным: «Гордость плоти».

57

На полях этой страницы рукописи написана карандашом фраза: «Стивен желал отомстить ирландским женщинам, которые, по его словам, составляют причину всех моральных самоубийств на острове».

58

Ср. 1Пет. 3: 2.

59

Вдохновение (лат.).

60

Вероятно, описка автора: по смыслу, должно стоять «убрать тебя».

61

Сволочь (фр.).

62

Ты пьян (лат.).

63

Шиллинг (жарг.).

64

Член Общества Иисусова (ордена иезуитов).

65

Парафраз Ин. 8: 23.

66

Предположительно, искаженное ирл. выражение на голуэйском диалекте: Deireadh amháin saráin – «В конце одни черви».

67

«Кадет Руссель»; «Хо-хо! И вправду!» (фр.)

68

Редкостный, изысканный (фр.).

69

Слово чести (фр.).

70

Рюмка на посошок (ирл.).

71

Шотландский хороводный танец.

72

Втайне (лат.); имеются в виду молитвы Евхаристического канона, произносимые священником не вслух, а в уме.

73

Блюститель Закона о Бедных (Poor Law Guardian) – чиновник, обыкновенно ведавший домами призрения и работными домами.

74

Shoneen, от Джон [Буль], как и West Briton, «британчик» (см. «Мертвые»), – одна из презрительных кличек, изобретенных националистами для сторонников англичан.

75

«Победа Ирландии» (ирл.).

76

Feis Ceoil – праздник (ирл.); название ежегодного (с 1897 г.) музыкального фестиваля в Дублине.

77

Omadhain, дурачок (ирл.).

78

Тьма; Преисподняя (лат.), а также название старинного типа католической службы Великой Пятницы.

79

Лк. 16: 8–9.

80

С вами благословение Божье (ирл.), формула прощания.

81

И к ремеслу незнакомому дух устремил.

Овидий. Метаморфозы, VIII, 188.

82

Лк. 17: 1–2.

83

Парафраз ветхозаветного стиха Зах. 2: 8, ошибочно приписываемый здесь Христу.

84

Море (лат.).

85

К вящей славе Божией (лат.) – девиз иезуитского ордена.

86

Laus Deo Semper – Вечно Бога Хвалит (лат.), формула, ставившаяся в конце сочинений в иезуитских школах.

87

Ср. Мф. 18: 17.

88

«Каюсь» (лат.) – католическая покаянная молитва.

89

Плод, зародыш (лат.).

90

Dilectus – выбор (лат.); название сборников латинских изречений.

91

Времена меняются, и мы меняемся с ними (лат.). Первый вариант – неправильный.

92

«Я возвысилась, как кедр на Ливане и как кипарис на горах Ермонских. Я возвысилась, как пальма в Енгадди и как розовые кусты в Иерихоне. Я, как красивая маслина в долине и как платан, возвысилась. Как корица и аспалаф, я издала ароматный запах и, как отличная смирна, распространила благоухание» (лат.). Сир. 24: 14–17; в латинском тексте у Джойса ряд мелких орфографических ошибок.

93

Мф. 5: 3–5.

94

Фамилия, означающая «Беззаконный» (англ.).

95

Мк. 8: 36.

96

Мф. 25: 41.

97

1 Кор. 15: 55; то же – Ос. 13: 14.

98

Быт. 3: 1.

99

Мф. 8: 12.

100

Парафраз Ис. 63: 3.

101

Парафраз Мф. 11: 30.

102

Тело Господа нашего (лат.).

103

В жизнь вечную. Аминь (лат.).

104

Утешитель (греч.).

105

Парафраз Песн. 4: 8.

106

У груди́ей моих пребывает (лат.). Песн. 1: 12.

107

Юбки (фр.).

108

Парафраз Мф. 16: 19.

109

Идите, месса окончена (лат.) – заключительные слова мессы.

110

1 Кор. 11: 28–29.

111

Евр. 5: 6; Пс. 109: 4.

112

Societas Jesu – Общество Иисуса (иезуитский орден) (лат.).

113

«Свод схоластической философии по учению святого Фомы» (лат.).

114



Слоновая кость (англ., фр., ит., лат.).

115

Индия поставляет слоновую кость (лат.).

116

Оратор краток, певцы в стихах многообразны (лат.); из книги иезуита Мануэля Алвариша (1526–1583), автора латинской грамматики, включавшей также правила латинского стихосложения.

117

В таком бедствии (лат.).

118

Да здравствует Ирландия! (фр.)

119

Прекрасно то, что приятно для зрения (лат.).

120

Благо то, к чему устремляется желание (лат.).

121

Подобно посоху старца (лат.).

122

Через тернии к звездам (лат.).

123

Подписал (лат.).

124

Что? (лат.)

125

За всеобщий мир (лат.).

126

Полагаю, ты отъявленный лжец, так как по лицу твоему видно, что ты в чертовски дурном настроении (школярская латынь с англ. вкраплениями).

127

В ориг.: A sugar! – популярный тогда эвфемизм для shit, говно.

128

Кто в плохом настроении – я или ты? (лат.)

129

Мир на всем окаянном шаре (лом. лат.).

130

Давайте сыграем в ручной мяч (лат.).

131

На месте (школьная лат.).

132

Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium... – Славь, мой язык, тайну преславного тела... (лат.)

133

Исполнились, исполнились

Давидовы речения,

Языкам возвещавшие:

Се царь наш с древа правит вас. (Пер. с лат. С. С. Аверинцева.)

134

Я думаю, беднякам в Ливерпуле живется просто ужасно, чертовски скверно (лат.).

135

Благороднейший древний род (лат.).

136

Будущее непосредственное (лат.), термин грамматики.

137

Буквально это самое (лат.).

138

Мф. 19: 14.

139

Женщина поет (лат.).

140

И ты был с Иисусом Галилеянином (лат.). Мф. 26: 69.

141

Парафраз Мф. 8: 22.

142

Ризотто по-бергамаски (ит.) – национальное итальянское блюдо.

143

Stephen's Green, букв.: Луг Стивена (англ.).

144

См. двуязычное издание с рус. пер. Г. Кружкова: Джеймс Джойс. Стихотворения. М., 2003.

145

S. Joyce. My Brother's Keeper. N.-Y., Viking Press, 1958. P. 124. Название книги – из ответа Каина Богу на вопрос о судьбе Авеля (Быт. 4: 9): характерный холодный юмор Станни.

146

Oliver St. John Gogarty. As I was going down Sackville street. N.-Y., 1937. P. 294.

147

Гемиплегия – односторонний паралич.

148

Joyce S. *My Brother's Keeper*. N.-Y.: Viking Press, 1958. P. 103–104.

149

Первая книга – сборник стихов «Камерная музыка», который Джойсу удастся выпустить в свет лишь в 1907 г.

150

«Аравия».

151

«Милость Божия».

152

Тут всегда, впрочем, напоминают утверждение Джойса (сделанное им своему биографу Х. Горману) о том, что в годы сочинения «Дублинцев» он еще не читал Чехова. Во всем корпусе текстов Джойса, включая письма, никаких упоминаний Чехова нет.

153

См. комментарий к указанным рассказам.

154

См. ниже прим. к с. 311 (Прим. С. Х.).

155

Scholes R., Kain R. M. The First Version of «A Portrait». Introductory note // *The Workshop of Daedalus*. P. 58.

156

Adams R. M. *After Joyce. Studies in Fiction After «Ulysses»*. New-York: Oxford University Press, 1977. P. 24.

157

Эта статья-рецензия на драму «Когда мы мертвые пробуждаемся» привлекла внимание самого Ибсена, который направил Джойсу благодарственное письмо.

158

Хоружий С. С. Портрет художника // Человек. RU. Гуманитарный альманах (Новосибирск). 2008. № 4. С. 115–130.

159

Как присовокупляет Элман, на следующий день Джойс в благодарность купил сестре пару перчаток и три разных куска мыла, сказав при вручении подарка: «Там есть страницы, которые я никогда б не смог заново написать».

160

Scholes R. *Joyce and Symbolism* // Id. *In Search of James Joyce*. University of Illinois Press. Urbana and Chicago, 1992. P. 101.

161

Connolly T. E. *Kinesis and Stasis: Structural Rhythm in Joyce's «Portrait»*. The Reprint.

162

Adams R. M. *Op. cit.* P. 8–9.

163 Scholes R. *Stephen Dedalus, Poet or Aesthete?* // Id. *In Search of James Joyce*. P. 71.